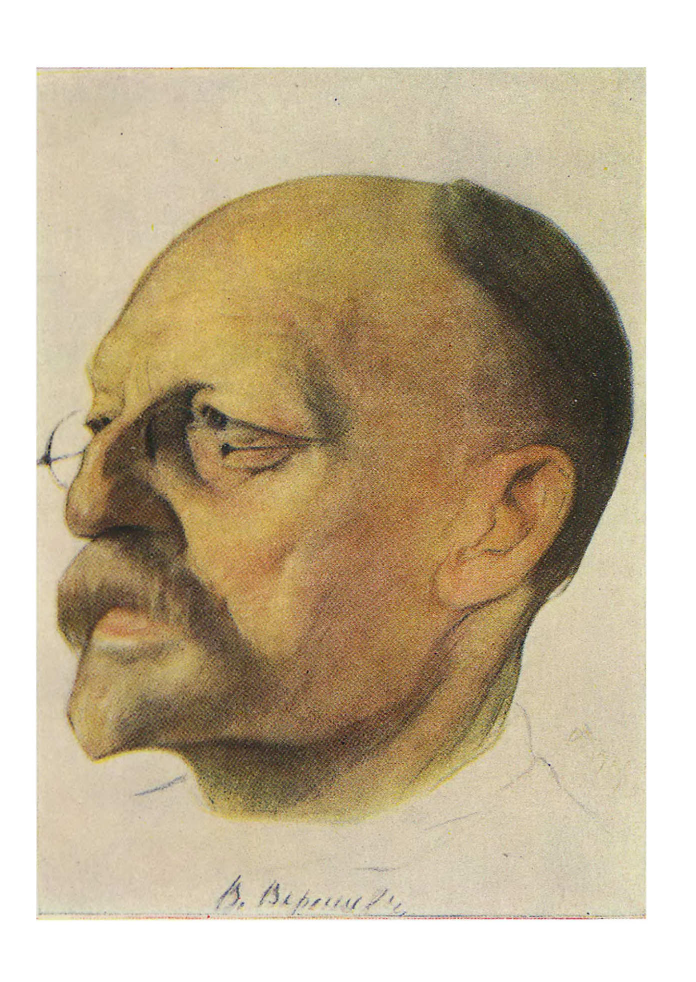
В. ВЕРЕСАЕВ

1



В. ВЕРЕСАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



ТОМ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1961

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Ю. У. Бабушкина.

На фронтисписе:
портрет В. В. Вересаева
работы Н. А. Андреева. 1923.

В. ВЕРЕСАЕВ

(1867—1945)

Редкое творческое долголетие выпало на долю В. Вересаева: шестьдесят лет проработал он в литературе. И каких лет! Он был «сопутником»[1] М. Горького, современником В. Гаршина и В. Короленко, А. Чехова и Л. Толстого, он был и нашим современником, современником М. Шолохова, А. Твардовского, Л. Леонова... Крах народничества, три русские революции, русско-японская, империалистическая, гражданская и Великая Отечественная войны, исторические свершения социализма... Как говорил сам писатель, прошлое не знало «ничего подобного тому бешеному ходу истории, подобно курьерскому поезду мчавшемуся, который на протяжении моей сознательной жизни мне пришлось наблюдать»[2].

В. Вересаев не всегда верно оценивал происходящие события. Но ему была свойственна поистине тургеневская чуткость к новому в общественной жизни — он искренне загорался настроениями дня, и этот жар его души отливался в произведения, которые современники по праву называли летописью русской общественной жизни конца XIX — начала XX века. И, как это ни парадоксально, чуткость к новому сочеталась у В. Вересаева с удивительной «нерушимостью взглядов». 24 октября 1889 года В. Вересаев записал в дневнике: «...пусть человек во всех кругом чувствует братьев,— чувствует сердцем, невольно. Ведь это — решение всех вопросов, смысл жизни, счастье... И хоть бы одну такую искру бросить!»[3]. И он остался верен этой заповеди навсегда. Сочетание столь, казалось бы, противоречивых качеств было, однако, у В. Вересаева органично, именно оно определило победы и поражения в творчестве писателя, его слабости и его силу.

---

[1] А. М. Горький. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову. «Архив А. М. Горького», т. VII, М., 1959, стр. 123.

[2] Рукописный отдел Института мировой литературы (ИМЛИ) имени А. М. Горького.

[3] Здесь и далее при ссылках на личный дневник В. Вересаева указывается только дата записи. Дневник хранится у В. М. Нольде (Москва), племянницы и литературного секретаря писателя.

Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев — это его псевдоним) родился 4/16 января 1867 года в семье тульского врача, в семье трудовой, демократической, но религиозной. Его отец, Викентий Игнатьевич, воспитывал детей на лучших произведениях родной литературы, заставлял «читать и перечитывать» Пушкина и Гоголя, Кольцова и Никитина, Помяловского и Лермонтова. Проводя лето в крохотном имении родителей Владычня, В. Вересаев пахал, косил, возил сено и снопы — отец стремился привить детям уважение к любому труду, ибо «цель и счастье жизни — труд» («Воспоминания»).

Политические же взгляды Викентия Игнатьевича были весьма умеренными. Нарастание революционной ситуации в России после поражения царского правительства в Крымской войне, народничество с его верой в крестьянскую революцию, рост рабочего движения в стране — все эти характерные знамения второй половины XIX века проходили мимо дома Смидовичей. Либеральные реформы и истая религиозность — вот те средства, с помощью которых, по мнению Викентия Игнатьевича, можно было создать всеобщее благоденствие.

На первых порах сын свято чтил идеалы и программу отца Его дневник, а ещё больше первые литературные опыты красноречиво об этом свидетельствуют. В стихах, а именно поэтом он твердо решил стать еще в тринадцать-четырнадцать лет, юный лирик звал следовать «трудною дорогой» «без страха и стыда», защищать «братьев меньших» — бедный люд, крестьянство. Но «трудная дорога» и защита «братьев меньших» отнюдь не означали для него борьбы за изменение общественных условий.

В. Вересаев уже в гимназии чувствовал эту безоружность своих идеалов, и одной из главных тем его дневника становится вопрос: чем и для чего жить? Юноша занимается историей, философией физиологией, изучает христианство и буддизм и находит все больше и больше противоречий и несообразностей в религии. Это был мучительный внутренний спор с непререкаемым авторитетом отца. Юноша то «положительно отвергает всю... церковную систему» (24 апреля 1884 года), то с ужасом отказывается от столь «безнравственных» выводов. И так метался он не один месяц. «...Эти сомненья... Хочешь другой раз пулю себе в лоб пустить, чтобы раскрыть скорее заветную тайну. Я ни в какие чудеса не верю, я не верю, что за самоубийство — только за это — попадешь в ад, если бы он даже был... Я даже почти не верю в бессмертие души... Но как тяжелы эти сомнения!» (7 октября 1884 года).

Еще мальчиком, гостя у родственников-помещиков, потом в имении родителей, В. Вересаев с болью наблюдал то бесправное положение, в котором находились «загорелые, пахнущие здоровым потом, исполненные величавой надменности и презрительности к неработающим» крестьяне. «...Стыдно становится и не веришь глазам, что это возможно». Зарождалась «неистовая ненависть к самодержавию, возмущение его угнетением и злодействами» («Воспоминания»). Юношу поражает в этих простых, морально крепких и чистых людях отсутствие религиозного благочестия, которое до сих пор ему казалось синонимом нравственности. У Вересаева растет уверенность, что в религии нет спасения для людей, и поклонение богу сменяется бунтом.

благоговение сменяется сарказмом. «Цель сотворения человека — прославлять бога — так, кажется?.. Положим, я имел бы силу творить, или возьмем пример более удобно-понятный — положим, у меня есть дети: начну я с ними обращаться как бог с людьми. «Зачем живу я?» — спросит меня мой сын. «Для того, чтобы мне угождать, прославлять меня, трепетать передо мною — вот цель всей твоей жизни. Я тебя так бесконечно люблю — отплати и мне такой же любовью, не то... засажу тебя туда, куда и ворон костей твоих не занашивал» Не правда ли, какая искренняя, бескорыстная любовь!» (30 июня 1884 года).

Уже в эти годы зарождается у Вересаева мечта об обществе людей-братьев, целью жизни становится «любовь, — любовь ко всем без исключения, всех обнимающая, никого не устраняющая: нет недостойных любви» (24 октября 1889 года). Тут еще много от христианского всепрощения. Но надежда на религию как на средство достижения этой цели разлетелась в прах, а другого средства не виделось. Вересаев исполнен ненависти к крепостному праву, видит свой долг в отстаивании интересов народных масс, в основном крестьян, но идеал его отвлечен, хоть и демократичен, ни на какие реальные социальные силы он не опирался.

Полный тревог и сомнений, отправляется В. Вересаев в 1884 году учиться в Петербург, поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. Там, он верит, будут найдены ответы, без которых жизнь бессмысленна.

В Петербурге еще была свежа в памяти эпоха полного господства народников в освободительном движении страны, их популярность в среде студенчества оставалась довольно значительной И Вересаев со всей самозабвенностью молодости отдается народническим теориям, с ними связывает надежды на создание общества людей-братьев. Он, как и его ближайшие товарищи, студенты Петербургского университета, с увлечением читает статьи лидера народничества Н. К. Михайловского, организует кружок, где жарко спорили не только на литературные и моральные темы, но и на темы общественные.

Но «в начале 80-х годов окончился героический поединок кучки народовольцев с огромным чудовищем самодержавия» [1]. 1 марта 1881 года народовольцы-террористы убили царя Александра II. Первая решительная попытка осуществления террористической программы русского народничества была одновременно и первым практическим доказательством ее тщетности. Царское правительство перешло в наступление. Ликвидируется высшее женское образование, усиливается гонение на студентов. «Народная воля» разгромлена. «Самодержавие справляло свою победу, душило и топтало все, что где-нибудь хоть немного смело шевельнуться. Наступили черные восьмидесятые годы. Прежние пути революционной борьбы оказались не ведущими к цели, новых путей не намечалось. Народ безмолвствовал. В интеллигенции шел полный разброд» [2]. Настроение «бездорожья» охватило ее бо́льшую часть.

---

[1] **Неопубликованная лекция В. Вересаева о М. Горьком, хранится у В. М. Нольде.**
[2] **Там же.**

Правда, в 80-е годы достигает сокрушительной силы сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина; своими очерками о деревне протестует против бесправия народа Глеб Успенский; усиливаются обличительные тенденции в творчестве В. Гаршина; о стремлении даже самых последних бродяг к «вольной волюшке» рассказывает В. Короленко. Но в большинстве своем отчаявшаяся и растерявшаяся русская интеллигенция отказывается от общественной борьбы.

В России «ширилась проповедь «малых дел». «Идеалом общественной деятельности» становилась «сельская учительница, несущая народу «свет знания» — в тех пределах, которые разрешал становой пристав». Прежнее революционное народничество «принимало... пассивную окраску», высказывались даже мысли, что «устроение жизни на социалистических началах возможно и под игом самодержавия» («Воспоминания»).

И Вересаев, всегда проверявший любую теорию тщательным анализом, Вересаев, еще совсем недавно счастливый оттого, что обрел «смысл жизни», разочаровывается в беспочвенных народнических прожектах и одновременно во всякой политической борьбе. «...Веры в народ не было. Было только сознание огромной вины перед ним и стыд за свое привилегированное положение... Борьба представлялась величественною, привлекательною, но трагически бесплодною...»[1]. «Не было перед глазами никаких путей»,— признавался писатель в мемуарах. Неотступной становится мысль о самоубийстве.

С головой уходит студент В. Вересаев в занятия и пишет, пишет стихи, прочно замкнутые в круге личных тем и переживаний. Лишь здесь, в любви, думается ему теперь, возможна та чистота и возвышенность человеческих отношений, о которой мечтал начинающий писатель. Да еще в искусстве: оно, как и любовь, способно облагородить человека.

Написанный в 1887 году рассказ «Загадка» на первый взгляд мало чем отличался от стихов юного поэта: тот же молодой герой со своими чуть грустными, чуть нарочитыми раздумьями, не идущими дальше, казалось бы, сугубо личного и интимного. Однако писатель не случайно именно с «Загадки» исчислял годы жизни в литературе, именно ею открывал свои собрания сочинений: в этом рассказе были намечены основные темы и идеи, волновавшие В. Вересаева в первое десятилетие его литературной деятельности. Писатель славил человека, способного силою своего духа сделать жизнь прекрасною, спорил, по сути дела, с модной философией Н. Минского, философией отчаяния. «Счастье в жертве» — эта «чудовищная мораль», утверждавшаяся в стихах Минского, захватила в те мрачные годы многих. Смысл его поэтических проповедей столь же прост, как и ужасен: «Не раздумывай над тем, нужна ли твоя жертва, есть ли в ней какой смысл, жертва сама по себе несет человеку высочайшее, ни с чем не сравнимое счастье», а в итоге таких жертв «мир... устанет от чрезмерности мук, захлебнется в крови, утомится борьбой — и по этой причине обратится к любви» («Воспоминания»). В. Вересаев же доказывал, что истинное

---

[1] Советские писатели. Автобиографии в двух томах, 1, Гослитиздат, М., 1959, стр. 230.

счастье в борьбе, призывал не терять веры в завтрашний день: «Пускай нет надежды, мы и самую надежду отвоюем'»

Вместе с тем в «Загадке» дали себя знать и заблуждения, свойственные раннему В. Вересаеву. Прежде всего идущее от былых народнических убеждений преувеличение роли интеллигенции в борьбе за лучшее будущее. Показательно, что в рассказе преображает мертвую природу и делает ее «осмысленной» и близкой людям музыкант своим искусством. В. Вересаеву все еще кажется, что искусство — одно из немногих средств превращения человека в Человека.

Как и в «Загадке», в первых произведениях, последовавших за ней, тему борьбы за человеческое счастье, за большого и прекрасного человека, тему борьбы со всем, что мешает утвердиться такой личности в жизни, В. Вересаев решает в плане морально-этическом. От попытки социального решения проблемы он пока далек, а потому, даже черпая из жизни факты откровенно социального, политического звучания, в своих первых рассказах осмысляет их в аспекте морально-психологическом.

Так произошло с «Порывом» (1889).

17 ноября 1886 года Петербургский союз студенческих землячеств решил организовать на Волковом кладбище панихиду по Добролюбову. Среди пришедших почтить память человека, отдавшего жизнь борьбе с самодержавием, был и В. Вересаев, хоть отец и предостерегал его всячески от какого-либо участия в «политике». На площади перед кладбищем толпу студентов остановила полиция. И Вересаев покинул товарищей. Позже писатель сурово осудил себя за это. В мемуарах он вспоминал: «Ничего в жизни не легло у меня на душу таким загрязняющим пятном, как этот проклятый день». А рассказ «Порыв», по свидетельству автора, опирающийся на случай у Волкова кладбища, назывался первоначально «Предатель». И при всем том подлинного смысла своего поступка, смысла своих разногласий с отцом В. Вересаев тогда еще не понимал. Разногласия отца и сына в рассказе отнюдь не носят социально-политического характера, фабула «Порыва» не имеет ничего общего с событиями 17 ноября. Сын без разрешения родителей бросился на помощь мельнику: вода, прорвавшая плотину, вот-вот поглотит его хозяйство. Отец не может простить сыну этого, с его точки зрения, бессмысленного геройства, сын, в свою очередь, восстает против обывательского благоразумия отца. Вот, собственно, и все. Тема решительно переведена в морально-этический план.

Переделка общества с помощью одного лишь искусства либо морального совершенствования людей — надежда не менее иллюзорная, чем ставка на религию. Но писатель не сдался на милость реакции, как это сделали его товарищи по университету: он оставался верен своему идеалу общества людей-братьев.

Годы 1888—1894 В. Вересаев, уже кандидат исторических наук, провел вдали от центров России — в «тихом Дерпте», на медицинском факультете местного университета, куда поступил, чтоб изучить «биологическую сторону человека, его физиологию и патологию; кроме того, специальность врача давала возможность близко сходиться с людьми самых разнообразных слоев и

укладов»[1],— все это, по мнению В. Вересаева, было совершенно необходимо настоящему писателю. Но, наезжая из Дерпта в Петербург, бывая у родственников в Туле или Екатеринославской губернии, он приглядывается к тем из сверстников, кто равнодушно растоптал, как «затасканную ветошку», свои былые идеалы, «прекрасно устроился» «и такого исполнился уважения к себе, что едва узнает товарищей» (20 января 1890 года). С капитуляцией русской интеллигенции В. Вересаев мириться не мог, и он берется за перо. «Мораль будет печальная: «идея» всякая хорошая — захватана грязными руками, пути все потеряны, тоска без просвету и надежды, «гибнущие», «торжествующая свинья...» (25 августа 1890 года). Этот замысел оформился в рассказ «Товарищи» (1892), в котором писатель повел речь о постыдной жизни «честных, симпатичных» интеллигентов, у которых «все назади осталось»: и мечты о подвиге, и «молодость, и вера, и идеалы». Все эти «бездеятельные, позорные» годы «сердце спало, мысль довольствовалась готовыми ответами и ни разу не шевельнулась самостоятельно. И дальше то же будет». А они ведь когда-то тоже учились, думали, искали... «И все это для того, чтобы здесь, где так нужны люди, только пьянствовать, сплетничать и жалеть, что не у кого научиться играть в карты». Они, «товарищи», сложили оружие перед жизнью, В. Вересаев дрался, хоть и весьма туманно представлял себе перспективу борьбы. И в «Товарищах», повествуя о деградации русской интеллигенции, он сосредоточивает свое внимание на моральном ее оскудении, оставляя в стороне политическую ее капитуляцию, место ее, роль и задачи в общественной борьбе России. И все же активная, воинствующая позиция писателя резко отличала его от основной массы интеллигенции тех лет, хнычущей или довольствующейся счастьем мещанина. Упорные поиски ответов на вопросы, чем и как жить, все ближе и ближе подводили В. Вересаева к истине. Если в «Загадке» и «Порыве» лишь ощущаются отголоски волнующих настроений времени, то с начала 90-х годов заявленная им в «Товарищах» тема судеб русской интеллигенции, ее заблуждений и надежд получает новое решение — писатель заговорил об общественном «бездорожье».

«Без дороги» (1894) — повесть итогов пережитого и передуманного. В ней В. Вересаев окончательно определился и как художник. Это отповедь поколению, «ужас и проклятие» которого в том, что «у него ничего нет». «Без дороги, без путеводной звезды оно гибнет невидно и бесповоротно...»

Повесть написана в форме дневника молодого врача Дмитрия Чеканова — страстная исповедь человека, пережившего иллюзорные мечты о служении народу и не сумевшего претворить их в жизнь. Он отказался от научной карьеры, от обеспеченного и уютного дома, бросил все и пошел на земскую службу. Земское начальство невзлюбило гордого и независимого доктора, и он «должен был уйти, если не хотел», чтобы ему «плевали в лицо». Нелюбовь начальства можно бы и пережить. Трагедия Чеканова в том, что он осознал бесплодность пути, избранного им: его деятельность и деятельность подобных ему подвижников мало что меняла в положении народа, который, привыкнув

[1] Советские писатели. Автобиографии в двух томах, том 1, Гослитиздат, М., 1959, стр. 231.

ненавидеть барина, отвечал Чекановым недоверием и глухой враждебностью. «Я только обманывал себя «делом»; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое, но где оно? Я потерял надежду найти». Больной туберкулезом, сломленный и растерявшийся, мечется Чеканов по жизни, не находя применения своим силам. И когда газеты принесли вести о катастрофическом распространении холерной эпидемии, он отправился на борьбу с нею. Чеканов уже не верит в народнические басни о просветительной работе среди народа, с помощью которой якобы можно коренным образом улучшить его жизнь, не верит в спасительную силу «малых дел». Он просто истомился бессмысленным своим существованием, просто не мог сидеть сложа руки, когда темные и забитые трудовые люди России бедствовали, он пошел «в самый огонь навстречу грозной гостье», может быть, навстречу смерти. Второй поход Чеканова «в народ» коренным образом отличается от первого: иллюзии были позади, никаких надежд на будущее, это был скорее шаг отчаяния, свидетельство краха всего, во что верил, чему поклонялся. Вторая часть повести, рассказывающая о борьбе с холерой в Слесарске, доказывает это со всей очевидностью. Несмотря на самоотверженную работу Чеканова, связанную порой с риском для жизни, народ в массе своей ни в коей мере не проникается гуманистическими идеалами честных интеллигентов, хуже того: он видит в них своих врагов. Символичен конец Чеканова: избитый толпой, одинокий и отчаявшийся, герой умирает.

Повестью «Без дороги» В. Вересаев опровергал беспочвенные верования народников в «природную революционность» русского мужика, в святую миссию интеллигенции, призванной повести за собой крестьянство на слом существующего социального строя. Изобличение прожектерского характера программы народников было тем убедительнее, что героем явился человек, неспособный на компромиссы, неспособный на сделки с совестью, человек большого ума и сердца. Он предпочитает смертельно опасную дорогу обывательскому благополучию (герои «Товарищей», жившие, кстати, в том же Слесарске, поступили по-иному). Но если даже такие люди, как Чеканов, теряли веру в будущее, то, значит, программа, которой они хотели руководствоваться в своей деятельности, никуда не годилась.

В повести «Без дороги» В. Вересаев рассчитывался не только с народническими иллюзиями, но и с недавними собственными. Гаврилов из повести — это отчасти вчерашний В. Вересаев, только Гаврилов недавние смутные чаяния В. Вересаева превратил в стройную программу и тем самым довел их до логического конца. Он ненавидит общество, построенное «на крайне ненормальных отношениях», спокойно и безбедно живущее трудом голодного народа. Он мечтает, чтобы господа сумели «возвыситься до идеи... слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату». А ликвидировать «крайне ненормальные отношения» и эксплуатацию народа, по-видимому, можно живым примером «уважаемых в городе людей», надо лишь получше убедить этих «уважаемых», «пригласить к себе в дом три-четыре нищих семьи, поселить их здесь,

кормить, поить и обучать» — словом, «братски разделить с обиженными свой дом, стол, всё». Подобный почин обязательно «найдет подражателей» — и все бедствия уничтожатся разом.

Может быть, и не в такой наивной форме, но В. Вересаев чуть раньше Гаврилова тоже рассчитывал на морально-этические пути преобразования общества. В повести же писатель заклеймил их как «карикатурно убогую... программу». И это был второй, чрезвычайно значительный итог идейных исканий автора «Без дороги».

В повести окончательно определяется основная тема многолетнего творчества В. Вересаева: судьбы русской интеллигенции и ее поиски путей борьбы за народное освобождение. Обращение к проблемам большого и актуального социального звучания, начиная с «Без дороги», становится характерной особенностью писателя. Складывается вересаевский метод изображения действительности.

В юношеских стихах характер лирического героя раскрывался В. Вересаевым почти исключительно через отношение к девушке или к религии. И высшим критерием в оценке человеческой личности являлась способность или неспособность к большой любви, к святой преданности богу. В повести же «Без дороги» основной аспект в изображении характеров героев — уяснение их мировоззрения, а оценивается человек в первую очередь по той роли, которую он играет в борьбе за лучшую жизнь простых людей России.

Именно поэтому «славный старик с интеллигентным лицом», страстно интересующийся наукой, врач Николай Иванович Ликонский получает в конечном счете убийственную характеристику. Он мещанин, на деле абсолютно равнодушен к горестям народным. И напротив: Наташа потому предстает самым светлым образом в повести, что, несмотря на провинциально-обывательские увещевания родных, несмотря на мертвящий скептицизм поучений Чеканова, упорно продолжает искать свое место в общественной жизни страны.

Размышляя над судьбами русской интеллигенции, над судьбами страны, В. Вересаев в повести «Без дороги», как и в других, более поздних своих произведениях, старался прочно держаться фактов жизни. Он шел от реальных событий собственной биографии в «Порыве», в «Товарищах» опирался на свои впечатления от встреч с бывшими однокашниками по Петербургскому университету. Повесть «Без дороги», кроме прочего, вобрала в себя наблюдения, накопившиеся у молодого писателя в 1892 году, когда он отдыхал в имении своего дяди под Тулой, а потом работал по борьбе с холерной эпидемией на руднике близ Юзовки. Твердая опора на реальные события жизни не случайна у В. Вересаева. Здесь был принцип, много позже сформулированный так: «Нужно настойчиво, не уставая, искать подходящего человека — на улице, в театре, в трамвае, в железнодорожном вагоне, пока не найдешь такого, который совершенно подходит к воображаемому тобою лицу» («Записи для себя»).

Его произведения не только художественны, но и документальны, по ним изучали русскую жизнь, историю борьбы народа за свое освобождение. В. Фигнер рассказывала: заключенные в

Шлиссельбургской крепости из попавшей к ним повести «На повороте» узнали, что Россия стоит накануне революции. А В И. Ленин в «Развитии капитализма в России», анализируя процесс обезземеливания крестьянства, сослался на рассказ В. Вересаева «Лизар» как на убедительный пример из жизни русской деревни.

Изображение человека, когда главным в его характеристике становится мировоззрение, влечет за собой целый ряд своеобразных стилевых особенностей. В. Вересаев отказывается от любовной интриги, а ведь чаще всего основные персонажи его повестей и рассказов — молодежь. Все внимание сосредоточено на идейных исканиях героев Излюбленная форма вересаевского повествования — диалог, жаркий спор героев о жизни, о политике, о проблемах социально-экономических.

Итак, В. Вересаев окончательно освободился от надежд на те тропинки к правде, которые предлагали народники, он показал своей повестью, что тропинки эти на поверку вовсе и не тропинки, а тупики. О марксистах в повести ни слова, но много лет спустя В. Вересаев говорил, что во время работы над «Без дороги» он «ненавидел марксистов»[1]. Что же исповедовал писатель?

В. Вересаев высмеял программу действий Гаврилова, высмеял предлагаемый им путь морального усовершенствования общества, но сама идея общества людей-братьев, так настойчиво проповедуемая Гавриловым, писателю по-прежнему дорога. Страницы дневника В. Вересаева полны горечи оттого, что критика упорно не хотела замечать этой его заветной мысли, зато отзыв безвестного автора в журнале «Русская мысль» (1895, № 10) вызвал истинное ликование. А «Русская мысль» писала следующее: «Герой повести г. Вересаева — весь любовь к людям. Он любит не только народ (эта любовь довольно абстрактная); он любит всех Иванов, Павлов, составляющих народ, любит своих больных, с невежеством которых борется, любит даже тех, которые его убивают. Он просто любит человека со всеми его достоинствами и недостатками, со всеми его высотами и низменностями». Отзыв этот В. Вересаев переписывает в свой дневник как первую глубокую и точную оценку повести «Без дороги». А от себя добавляет: «Сколько счастья дала мне судьба в эти последние месяцы,— и в заключение еще это! Самою заветною и затаенною мечтою моею было когда-нибудь заслужить такой отзыв,— ведь в этом вся суть, все счастье! Сегодня весь день у меня глупые слезы подступают к глазам и хочется плакать» (20 октября 1895 года). И неспроста же «проповедник-фанатик» Гаврилов, чья программа «карикатурно убога», кажется человеком «из другого мира, далекого и светлого», неспроста же Наташа считает, что «он лучше всех», а Чеканов чувствует себя рядом с ним просто «мелким и жалким».

Конечная цель, к которой В. Вересаев звал людей, осталась прежней, но все предлагавшиеся русской действительностью в начале 90-х годов средства изменения жизни были категори-

---

[1] В. Вересаев, Избранные произведения, Госиздат, М.-Л., 1928, стр. 31.

чески отвергнуты писателем. В этом смысле он тоже остался «без дороги». Вслед за Чекановым он мог бы воскликнуть: «Я не знаю! — в этом вся мука». «Истина, истина, где же ты?..» — фраза из дневника стала мрачным вопросом жизни В. Вересаева начала 90-х годов.

Этой мыслью он жил в Дерпте, эта мысль не оставляла его в Туле, куда он приехал практиковать после окончания Дерптского университета в 1894 году; с этой мыслью он отправился в том же году в Петербург, где устроился сверхштатным ординатором в Барачную больницу в память Боткина. В. Вересаеву необходимо было найти те реальные общественные силы, которые смогли бы претворить в жизнь его идеалы.

Еще в повести «Без дороги» он рассказал о деревенском парне Степане Бондареве, тянущемся к знанию, ставшем первым помощником Чеканова во время холерной эпидемии. В. Вересаев видел, что и в среде интеллигенции появляется молодежь, которую, как и Чеканова, не удовлетворяют «малые дела», но которая верит, что истинная дорога есть, не отчаивается и упорно, страстно ищет эту дорогу. Такова Наташа. В финале именно Степан и Наташа стоят у постели умирающего Чеканова: за народом и передовой интеллигенцией будущее — большего автор пока сказать не умел, роли рабочего класса он тогда еще не понимал. О многом говорит одна деталь: когда в 1892 году В. Вересаев заведовал холерным бараком на юге России, лучшим его помощником был некий Степан Бараненко, он-то и явился прототипом образа Степана Бондарева. В жизни Степан был шахтером, в повести он стал «деревенским парнем». С крестьянством и интеллигенцией продолжает связывать мечты о завтрашнем дне писатель. И здесь, конечно, ниточка тянется к былым народническим убеждениям автора.

Но наиболее точные ответы на мучившие В. Вересаева вопросы дала опять-таки жизнь. «Летом 1896 года вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, всех поразившая своею многочисленностью, выдержанностью и организованностью. Многих, кого не убеждала теория, убедила она,— меня в том числе»,— писал он в автобиографии.— «Общественное настроение было теперь совсем другое, чем в 80-х годах. Пришли новые люди — бодрые и верящие. Отказавшись от надежд на крестьянство, они указывали на быстро растущую и организующую силу в виде фабричного рабочего, приветствовали капитализм, создающий условия для развития этой новой силы. Кипела подпольная работа, шла широкая агитация на заводах и фабриках, велись кружковые занятия с рабочими, яро дебатировались вопросы тактики». И ему, так страстно искавшему этих бодрых и верящих людей, «почуялась огромная прочная новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории» [1]. В. Вересаев находится «в близких и разнообразных сношениях с рабочими и революционной молодежью» [2], помогает агитационной работе ленинского «Союза борьбы за освобождение

---

[1] Советские писатели. Автобиографии в двух томах, т. 1, Гослитиздат, М., 1959 стр. 232.
[2] Там же.

рабочего класса»: в больничной библиотеке, которой он заведовал, был устроен склад нелегальных изданий; в его квартире «происходили собрания руководящей головки» организации, печатались прокламации, в составлении их он сам принимал участие («Воспоминания»). Новое революционное учение становится для него «самым дорогим» [1].

Он первым среди крупных русских писателей обратил внимание на движение революционеров-марксистов и поверил в него. В. Вересаеву кажется, что он наконец-то обрел истину. И повесть «Без дороги» получает продолжение — рассказ «Поветрие» (1897). Та самая Наташа, которая не отставала от Чеканова с вопросом «Что мне делать?», теперь «нашла дорогу и верит в жизнь». Наташа не согласилась с братом, что эпоха «блестящих, великих дел» безвозвратно миновала, что единственный удел для любящих народ — «малые дела». Она порвала с обывательским миром родных и отправилась искать истину, на которую махнул рукой Чеканов. Четыре года странствовала по свету, «пришлось пережить немало», но зато теперь от нее так и веяло «бодростью, энергией и счастьем», теперь она знала, что ей делать: она пошла с революционерами-марксистами. Как и для самого В. Вересаева, для нее превратились во врагов прекраснодушные интеллигенты вроде Сергея Андреевича Троицкого с его любовью помечтать о светлом времени, когда люди станут братьями; стали врагами и выродившиеся народники: им «доставляет... нравственное удовлетворение» организация артелей, где кустари — недавние крестьяне — «должны жить между собою по божьей правде». Большего они придумать уже не в состоянии. Вместе с Наташей В. Вересаев приветствует развитие промышленности в России, вместе с нею он радуется: «Вырос и выступил на сцену новый глубоко революционный класс».

Но как раз этот революционный класс, его дела и думы остались за пределами рассказа. Мы не узнаем, как пришла к революционной программе переустройства общества Наташа, мы не видим и самих борцов-рабочих. «Поветрие» — даже не столько рассказ, скорее статья, написанная в форме диалога, спора представителей борющихся лагерей интеллигенции. Сам писатель объяснял это тем, что «показать представителей молодого поколения в *действии* было по тогдашним цензурным условиям совершенно немыслимо». Но дело, видимо, не только в этом. А. Н. Толстой очень верно замечал: «...Понять, освоить политически еще не значит освоить художнически» [2]. А «Поветрие» было первой в России попыткой освоить марксизм средствами художественной литературы. И уже в этом огромная заслуга Вересаева.

Вслед за «Поветрием» В. Вересаев пишет целую серию рассказов о крестьянстве. В них он с высоты завоеванной позиции оглядывается назад, дает новую для себя оценку роли и положения крестьянства в стране: об идеализации крестьянства нет теперь и речи.

---

[1] Письмо В. Вересаева к В. А. Поссе от 31 августа 1900 года. Рукописный отдел ИМЛИ имени А. М. Горького

[2] А. Н. *Толстой*. О литературе Статьи, выступления, письма, «Советский писатель», М., 1956, стр. 143.

Большинство крестьянских рассказов трактует различные социально-экономические тезисы марксистской науки: «Лизар» посвящен процессу обезземеливания крестьянства, «В сухом тумане» — перераспределению сил между городом и деревней. «Об одном доме» написано явно в пику народникам: община — одно из средств закабаления крестьянина, одна из причин его быстрого разорения. Причем порой рассуждения автора по социально-экономическим вопросам просто перемежались примерами — случаями из крестьянской жизни, что делало рассказы несколько назидательными. Это было тем более неоправданно, что и возница Лизар, «молчаливый, низенький старик», с его страшной философией «сокращения человека» («Лизар»); и литейщик, бросивший родную деревню в поисках заработка, лишенный семьи и простого человеческого счастья («В сухом тумане»); и герои рассказов «К спеху», «Об одном доме» — все они сами, без авторских комментариев, достаточно убедительно доказывали, что процесс разорения крестьянства, классового расслоения в деревне идет в России в полную силу, а люди — искалечены. В дальнейшем, при переизданиях рассказов, В. Вересаев сокращал публицистические куски.

Но вместе с тем для писателя, столь откровенно тяготеющего к проблемам социально-мировоззренческим, вполне логичным было обращение к прямому публицистическому слову. В. Вересаев ищет такой жанр, где эти, казалось бы, разнородные элементы — публицистика и собственно художественное описание — совместились бы органически.

Так он приходит к «Запискам врача» (1895—1900). Они «дали мне такую славу, которой без них я никогда бы не имел», — писал В. Вересаев в «Воспоминаниях». Жанр их необычен. Рассказ ведется от первого лица, основные вехи биографии героя почти полностью совпадают с биографией самого В. Вересаева. Его герой, как и сам автор, «кончил курс на медицинском факультете», затем «в небольшом губернском городе средней России» занимался частной практикой и, поняв, что для самостоятельной работы еще не подготовлен, уехал в Петербург учиться: устроился в больницу «сверхштатным». Многие рассуждения героя, эпизоды дословно переписаны из личного дневника писателя 1892—1900 годов. Как будто ясно: перед нами дневник, жанр, довольно часто встречающийся в литературе. Да и В. Вересаев, задумывая книгу, собирался назвать ее «Дневником студента-медика». Он настойчиво возражал против восприятия ее как чисто художественного произведения — «сухое описание опытов, состоящее почти сплошь из цитат, занимает в моей книге больше тридцати страниц». Но, с другой стороны, какой же это дневник, если сам писатель всячески подчеркивал: «В беллетристической части «Записок» не только фамилии, но и самые лица и обстановка — вымышлены, а не сфотографированы с действительности». Пожалуй, наиболее точное определение их жанра — публицистическая повесть. В ней органически объединились художественные зарисовки, элементы очерка, публицистики и научной статьи. В этом отношении В Вересаев развивал традиции шестидесятников, традиции народнической литературы, которая, особенно очерками Гл. Успенского, утверждала подобный синтез. Но идейное

наполнение старой формы было в «Записках», естественно, качественно иным.

В книге этой снова возникает излюбленная вересаевская тема — история «обыкновеннейшего, среднего» трудового интеллигента, история о том, как формировалось его мировоззрение. Однако «Записки врача» — новый шаг в решении наиболее близкой и дорогой В. Вересаеву темы. В «Без дороги» и «Поветрии» убеждения героев складывались в спорах, идущих в узком кругу интеллигенции. В «Записках» писатель скрупулезно показал и доказал, что сама логика жизни превращает всякого честного и ищущего интеллигента в революционера. Интеллигент В. Вересаева впервые столь решительно вышел на просторы жизни и ужаснулся бесправному положению народа, классовому неравенству, деградации общества, где «бедные болеют от нужды, богатые — от довольства».

Страдающему от головокружения и обмороков мальчишке — сапожнику Ваське — врач вынужден прописывать железо и мышьяк, хотя на самом деле единственное спасение для него — вырваться «из... темного, вонючего угла», каким была «мастерская, где он работает». А «прачке с экземою рук, ломовому извозчику с грыжею, прядильщику с чахоткою», «стыдясь комедии, которую разыгрываешь», приходится говорить, «что главное условие для выздоровления — это то, чтобы прачка не мочила себе рук, ломовой извозчик не поднимал тяжестей, а прядильщик избегал пыльных помещений». «...Оказывалось, что медицина есть наука о лечении одних лишь богатых и свободных людей. По отношению ко всем остальным она являлась лишь теоретической наукой о том, как можно было бы вылечить их, если бы они были богаты и свободны».

Герой начинает понимать классовую природу общества, начинает понимать, что для спасения людей необходимо «прежде всего бороться за устранение тех условий, которые делают» молодых стариками, которые фактически сокращают и без того короткую человеческую жизнь. Только тогда люди станут здоровыми и счастливыми. Но поначалу эта борьба с «грозным чудовищем» представляется ему чисто профессиональной борьбой: «Мы, врачи, должны объединиться» для совместных действий. Он еще надеется, что общество образумится и станет в равной мере заботиться о всех своих гражданах. Иллюзия наивная, и жизнь беспощадно опровергает ее. «Прижатые к стене» бедняки протестуют против гнета, рабочие бастуют. А встреча с революционером-рабочим в финале повести заставляет вересаевского интеллигента окончательно убедиться, что он заблуждался. «Выходом тут не может быть тот путь, о каком я думал. Это была бы не борьба отряда в рядах большой армии, это была бы борьба кучки людей против всех окружающих, и по этому самому она была бы бессмысленна и бесплодна». Лишь коренной слом существующего общественного строя, лишь социальная революция способна изменить условия жизни; рабочий-революционер — вот тот, кто сумеет наконец осуществить заветные идеалы человечества,— таков результат тех идейных исканий, к которому пришел герой «Записок врача», а вместе с ним и автор. Правда, литейщик по меди, появляющийся лишь в одном, хоть и кульминационном, эпизоде, ни словом не обмол-

вился о своей революционной деятельности. Автор только глухо намекнул на нее, подчеркнув, что харкающий кровью рабочий, не щадя себя, трудится за двоих: днем на заводе, а вечером либо «по делам бегает», либо книги и газеты читает. Пролетарий предстал в повести не столько полнокровным человеческим характером, сколько схематичной фигурой, олицетворенным аргументом, долженствующим убедить интеллигента в необходимости всенародной борьбы против существующего.

Это пока была робкая попытка в овладении образом нового героя, но он уже уверенно входил в произведения В. Вересаева, и это было завоевание принципиальное.

Именно в конце 90-х— начале 900-х годов заметно меняются и представления В. Вересаева о роли и значении искусства. В «Прекрасной Елене» (1896) и «Матери» (1902) он, как и в «Загадке», отстаивает могучую силу художественного образа, облагораживающего и возвышающего человека. Но в рассказе 1900 года «На эстраде» появляется еще и новый, весьма существенный мотив. «Загадка» стремилась уверить читателя в том, что по большей части именно искусство делает жизнь осмысленной и прекрасной. «На эстраде» прямо полемизирует с этим заблуждением: счастье искусства — ничто в сравнении со счастьем жизни — «в жизни оно гораздо более шероховато и более жгуче»; только то искусство оправдывает свое назначение, которое помогает борьбе, и, напротив, оно становится чаще всего прямо-таки вредным, коль скоро выливается в простую гамму «чудных звуков», в «наслаждение», усыпляющее жизненную активность человека. Писатель бросал вызов эстетическим принципам декадентов.

А написанная в 1901 году повесть «На повороте» окончательно убеждала, что марксизм для В. Вересаева отнюдь не был «поветрием». В рассказе о Наташе он приветствовал новое учение и с его позиций оценивал народничество; в «Записках врача» писатель показал, как сама жизнь приводит людей в стан борцов пролетариата. В последней повести он уже сам атаковал противников нового учения — марксизма. Раньше в произведениях Вересаева, в общем, шел теоретический спор, здесь, в повести «На повороте»,— баррикадный бой. Меняется сам принцип изображения человеческого характера. Народники Чеканов и Киселев были политическими банкротами, но они изображались людьми субъективно честными, искренне «сострадающими» горю народа. Читатель не всегда мог до конца понять авторское отношение к персонажам «Без дороги» и «Поветрия». Недаром идеолог народничества Н. Михайловский воспринял повесть «Без дороги» как вещь чрезвычайно ему близкую и всячески поддержал ее. Недаром критика тех лет при оценке «Поветрия» приходила к выводу, что «симпатии автора... далеко не на стороне марксистов» [1].

Теперь же В. Вересаев просто не в состоянии понять, как можно быть хорошим человеком и не помогать той великой борьбе за светлые идеалы общества людей-братьев, которую

---

[1] В. Ф. Боцяновский, В. В. Вересаев. Критико-биографический этюд, СПб, 1904, стр. 16.

развернули в стране марксисты. Нет, различие людей из противостоящих друг другу лагерей не только во взглядах — «в самом строе души». Писатель становится беспощадным, он изобличает и социальную позицию своих противников и их морально-психологический облик.

Владимир Токарев, пройдя через ссылку, отказывается от былых революционных убеждений, относя их за счет обычного наивного безрассудства молодости. Именно для таких, как Токарев, весьма удобна умеренная программа бернштейнианцев-экономистов, на знамени которых стоит «голый грош». Лозунг борьбы за экономическое улучшение жизни народа, а по сути борьба «по возможности» и в обход коренных пороков самодержавной государственной системы вполне устраивает бывшего «революционера», расписывающегося в собственном банкротстве. Слова о революционном деле теперь только прикрывают подспудные мечтания о сытом благополучии. Дом «великолепных либералов» Будиновских становится идеалом Токарева. В этом есть своя закономерность. Исходные принципы их житейской философии едины: «хочется жить для одного себя», и «чтоб все это покрывалось широким общественным делом», не требующим «слишком больших жертв».

Чем ниже падает иной человек, тем больше любит он поговорить о принципах, морали и долге. И Владимир Токарев создает в свое оправдание целые теории: революционность, мол, — дело чисто физиологическое. Революция — удел молодых. В двадцать лет «кровь кипит», «хочется подвигов», «грозы», «самоотверженной деятельности». Но когда, как Токареву, переваливает за тридцать, «крылья высыхают и обваливаются, и сам человек ссыхается». А дальше герой впадает просто в мистику. С возрастом, дескать, не только блекнут революционные заветы, с возрастом человек понимает, что он игрушка в руках «невидимого», которое «переселилось внутрь его, в его мозг, в сердце и кровь...» Человек чувствует, «как сам он беспомощен, как над ним стоят какие-то силы, перед которыми он раб...» Но и эти, столь сложные теоретические построения не могут убедить даже самого Токарева. Ему остается только признать, что он «обыкновенный, маленький человек», ему «судьбою предназначено одно: жить смирно и тихо, никуда не суясь, не имея никаких серьезных жизненных задач, — жить, как живут все кругом: так или иначе зарабатывать деньги, клясть труд», которым живет, «плодить детей и играть по вечерам в винт». Он возмущается, когда от него требуют «либо все, либо ничего»: «нужно быть глубоко благодарным просто за что-нибудь». Существование под флагом «ни герой, ни подлец» приводит Токарева к душевному опустошению, к попытке самоубийства. Но ведь он уже научился все поворачивать «на оправдание своей заплывающей жиром души». Какое уж тут самоубийство!

Основной удар в повести пришелся по откровенному ренегатству «экономистов», по обывательскому благоразумию либералов. Однако картина эпохи, нарисованная писателем, куда шире: он дал исторически точную характеристику разнообразным настроениям и веяниям в среде интеллигентской молодежи накануне революции 1905 года. В. Вересаев менее суров к тем, кто

искренне обеспокоен сегодняшним и завтрашним днем страны, но плутает в потемках и не знает, к чему приложить свои силы. Эти люди не будят ненависти, напротив, вызывают сочувствие, но и они в жизни лишние, а потому приговорены ею к гибели.

Всю себя отдает больным фельдшерица Варвара Васильевна, и работает она не за страх, а за совесть, с негодованием отвергает благодарность земского собрания: «Я работаю вовсе не для вашего земского собрания...». Но во имя чего она работает и живет, Варвара Васильевна и сама не знает. Была минута, когда «показалось... что что-то есть», почудился просветляющий душу «революционный прилив». «Но это оказалось миражем». Ни «малые дела», ни рассуждения о могучей стихийности, будто бы способной увлечь человека на подвиги, не дают успокоения. «Нет ничего, что действительно, серьезно бы захватывало, во что готова бы вложить всю душу». И Варвара Васильевна убивает себя: намеренно заражается сапом. Смерть ей кажется лучшим выходом из того тупика, в который она зашла.

Духовно сломлен и другой герой повести — Сергей. Он постоянный оппонент Токарева в спорах, но и он банкрот. Его возмущает ренегатство бывшего революционера, но сам пойти дальше анархического протеста или рассуждений вроде — «нужно, чтоб вокруг ключом била живая общественность, чтоб жизнь целиком захватывала душу, чтоб эта жизнь была велика и сильна, полна борьбы и света...», — дальше этих фраз он пойти не умеет, перейти от рассуждений к делу неспособен.

В. Вересаев не сомневался: Токаревы, Сергеи, Варвары Васильевны и им подобные остаются или останутся позади, уже народились люди, которые твердым шагом идут в будущее. Такова Таня Токарева. Эта девушка из интеллигенции стала «пролетарием до мозга костей», «никакие условности для нее не писаны, ничем она не связана». «С нею можно было говорить только о революции, все остальное ей было скучно, чуждо и представлялось пустяками». Владимир Токарев хотел ладить со всеми — и с умиротворенными либералами и с бурлящей молодежью. Варвара Васильевна «всем, даже самым чуждым ей по складу людям, умела внушить к себе мягкую любовь и уважение»; Таня, как истая революционерка, «возбуждала к себе в людях либо резко враждебное, либо уже горячо сочувственное, почти восторженное отношение». Токарев думал, как бы уютнее устроиться, Варвара Васильевна любила людей и по мере своих сил стремилась облегчить каждому его участь. Таня шла в бой.

Бой этот изображается писателем в аллегорической сцене грозы. По-другому писать о революции тогда было нельзя: свирепствовала царская цензура. Но в форме иносказательной В. Вересаев сумел быть достаточно ясным. Когда двинулись с юга тучи, засверкала молния и послышалось «глухое ворчание грома», раскололась интеллигенция. «Я... устал, присядем», — заявил Токарев. «Ну, что ж, присядем», — согласилась Варвара Васильевна. «И все сели». Только неугомонная Таня пыталась расшевелить «ползучих людей», боящихся «промочить ноги»: «Вперед, господа, вперед!» И, увлекая за собой Шеметова и Сергея, Таня пошла «по дороге навстречу ветру». «Я хочу идти

полным шагом, и плевать мне на все и на всех. Кто отстанет, — догоняй...»

Сцена грозы — ключевая в повести. Она показывает, как далеко ушел вперед сам В. Вересаев, а потому так переменилась его любимая героиня — девушка, идущая в революцию. Наташа в повести «Без дороги» восставала против политического пессимизма Чеканова, но никакой иной реальной программы действий она не знала. Наташа в «Поветрии» вступала в бескомпромиссный спор с народниками, отстаивая марксизм. Таня в «На повороте» рвется к практической деятельности, к сближению с рабочими, смело отстаивающими свои права. А ее завязывающаяся дружба с мастеровым — пример того союза рабочих и революционной интеллигенции, на который теперь ориентируется В. Вересаев. Да и трактовка образа рабочего заметно углубляется. «Смутный стыд за себя» ощущают и Токарев и Сергей после встречи с «сильным своею неотрывностью от жизни» рабочим-революционером Балуевым. Даже Таня признает его превосходство. Балуев, не в пример литейщику из «Записок врача», изображен уже в прямой и открытой борьбе с ренегатствующей, колеблющейся и растерявшейся интеллигенцией. И пусть Балуев не представлен в обстановке практической революционной работы — до такого изображения нового героя В. Вересаев еще не умел подняться,— но образ рабочего рисуется им впервые как образ революционера-деятеля, непримиримого борца.

Революционный подъем накануне 1905 года властно захватил Вересаева. Он ничего не умел делать вполовину, он не только писал о революции, он целиком отдался ей. Деятельность его обращает на себя внимание властей. В апреле 1901 года В Вересаева увольняют из больницы, на квартире у него производят обыск, а в июне постановление министра внутренних дел запрещает писателю в течение двух лет жить в столичных городах. Он уезжает в родную Тулу, где живет под надзором полиции. Но и там активно участвует в работе местной социал-демократической организации, по некоторым данным, пишет прокламации, а деньги, полученные за издание «Записок врача», отдает на революционную работу. И несколько позже, в начале 1904 года, хлопочет об издании нового русского перевода «Капитала» К. Маркса.

Автор «Поветрия» и «На повороте» широко печатается в журналах, которые в разное время были близки марксистам: «Новое слово», «Жизнь», «Начало» и др.,— входит в литературный кружок «Среда», объединивший крупнейших писателей-реалистов.

Становление его таланта, формирование его мировоззрения происходили под могучим влиянием М. Горького. «Отношения» с ним «мне страшно дороги» [1],— признавался В. Вересаев. Еще в 90-е годы М. Горький отметил тяготение В. Вересаева к острейшим социальным проблемам дня, уловил созвучность настроений автора «Без дороги» и «Конца Андрея Ивановича» некоторым собственным настроениям. В декабре 1899 года

---

[1] Письмо М. Горькому от 16 сентября 1900 г., Архив А. М. Горького.

М. Горький писал ему из Нижнего: «С Вами, более чем с кем-либо, я хотел бы иметь близкие отношения, хотел бы говорить Вам и слушать Вас» [1]. И в 1900 году. «... всей душою чувствую душу Вашу — прямую, свято-честную, смелую... Поверьте мне, что я этим письмом отнюдь не лезу в дружбу к Вам, а просто и искренне хочу засвидетельствовать мое глубокое уважение к Вам — человеку, мою любовь к Вам — писателю» [2]. А первые главы повести «На повороте» М. Горький встретил прямо-таки восхищенно: «Славная вещь!.. Здорово это, весело, бодро, возбуждает желание обнять Вас крепко, и — главное — своевременно это, как раз в пору, как раз Вы пишете о тех, о ком надо писать, для кого надо, и о том, о чем надо. Молодежь — боевая, верующая, работающая — наверное, сумеет оценить Вас» [3].

М. Горький включает произведения В. Вересаева, одного из «лучших русских беллетристов» [4], в большинство изданий, в которых сам принимает участие. Он же привлекает В. Вересаева к сотрудничеству в издательстве «Знание». А «в девятисотых — девятьсот десятых годах общественно-революционную функцию в литературе отправляли так называемые «знаньевцы» («Записи для себя») — объединившиеся вокруг издательства наиболее прогрессивные русские писатели с М. Горьким во главе. Вероятно, прежде всего на отношения этих лет опирался М. Горький, когда много позже, в 1925 году, писал В. Вересаеву: «...Всегда ощущал Вас человеком более близким мне, чем другие писатели нашего поколения. Это — правда. Это — хорошая правда; думаю, что я могу гордиться ею» [5].

Одним из своеобразных художников критического реализма вошел В. Вересаев в историю русской литературы конца прошлого—начала XX века. Высокую оценку дали его повестям и рассказам Л. Толстой, А. Чехов, В. Короленко. Понятно и отношение М. Горького к В. Вересаеву как к единомышленнику. Испытывая в своем творчестве довольно заметное влияние И. Тургенева, А. Чехова, Л. Толстого, В. Вересаев, однако, шел дальше в поисках путей борьбы с существующим общественным злом. Для него этот путь был в революции, в борьбе революционеров-марксистов. На эту особенность идейно-художественной позиции писателя в литературе первого десятилетия XX века обращали внимание уже современники, которые рассматривали его творчество как на редкость логичный, постепенный переход от одного этапа к другому — от А. Чехова к М. Горькому.

И вслед за М. Горьким, утверждавшим пролетария центральным героем литературы, В. Вересаев обращается к новому для него жизненному материалу. В 90-х годах пролетарий все чаще выходит на страницы повестей и рассказов В. Вересаева.

В записной книжке писателя, строго поделенной на рубрики, появляется новый, густо исписанный раздел: «Рабочие». Прав-

---

[1] А. М. Горький. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову. Архив А. М. Горького, т. VII, М., 1959, стр. 11.

[2] А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 28, М., 1954, стр. 128—129.

[3] Там же, стр. 232

[4] Там же, стр. 186.

[5] А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 29, М., 1955, стр 448

да, в творчестве В. Вересаева тогда больше фигурировал едва-едва приобщавшийся к жизни городского пролетария вчерашний крестьянин Ванька из одноименного рассказа; маляр и литейщик «В сухом тумане». Но уже в «Записках врача» В. Вересаев делает попытку нарисовать рабочего совсем иного плана — революционера-пролетария. А когда завершалась работа над «Записками», писатель задумал уже крупную вещь из жизни рабочих. В 1899 году он пишет рассказ о судьбе переплетного подмастерья — «Конец Андрея Ивановича», в 1903 году продолжает его рассказом о горестях жены Андрея Ивановича — «Конец Александры Михайловны (Честным путем)». Так родилась повесть «Два конца». М. Горький радовался наметившемуся сдвигу в творчестве автора «Без дороги» и «Поветрия». «Нельзя ли в февральской дать побольше Вересаева? — писал он в начале января 1899 года С. П. Дороватовскому.— Всеобщее мнение — это интересная тема и хорошо написано. Я говорю — это очень здорово написано... Если вы этого Вер<есаева> знаете, скажите ему от меня что-нибудь хорошее,— а?» [1]. И через несколько дней А. П. Чехову: «...После его «Без дороги» — «Андрей Иванович», кажется, лучшее, что он дал до сей поры» [2].

В. Вересаев и раньше всегда старался держаться событий и фактов, которые сам наблюдал, с которыми непосредственно сталкивался. Обратившись к изображению людей, куда менее ему знакомых, нежели интеллигенты, он еще строже придерживается фактического материала. За образами Андрея Ивановича и Александры Михайловны стоят совершенно реальные прототипы: хозяева той квартиры, где жил В. Вересаев в 1885—1886 годах. Даже фамилию героев он не выдумал, взял ту, что носил дед хозяина квартиры,— Колосов. Все это придает повести силу документа, но рабочих — практиков революции — он знал плохо, его окружением были революционно настроенные интеллигенты. Общую картину рабочего движения он представлял себе весьма смутно. Поэтому в повести «Два конца» революционные рабочие оказались отодвинутыми на второй план и были изображены весьма схематично. «Два конца» сильны своей критической направленностью. Центральными героями повести В. Вересаева стали люди, осознавшие, «что они живут, а жизни не видят», люди, в то же время сдавшиеся перед страшными условиями своего существования. Это и определило их «конец».

Андрей Иванович Колосов сочувственно слушает разговоры о равноправии женщины и вместе с тем не хочет признать полноценного человека в своей жене, бьет ее, запрещает учиться и работать, потому что ее дело — хозяйство, ее дело — о муже заботиться. У него «есть в груди вопросы, как говорится...—насущные», он соглашается, «что нужно стремиться к свету, к знанию... к прояснению своего разума», но, веривший когда-то в святую силу товарищества, он вдруг с горечью осознает, что в трудную минуту каждый заботится лишь о себе, и утешение находит в трактире.

---

[1] А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 28, М., 1954, стр 55

[2] Там же, стр. 55—56.

Знакомство с революционерами — «токарем по металлу из большого пригородного завода» Барсуковым и его товарищем Щепотьевым — неожиданно показывает ему, «что в стороне от него шла особая, неведомая жизнь, серьезная и труженическая, она не бежала сомнений и вопросов, не топила их в пьяном угаре, она сама шла им навстречу и упорно добивалась разрешения». Но он решительно ничего не делает, чтобы приобщиться к «бодрой и сильной» жизни. Так и тянулось это постылое существование без будущего, без борьбы, без «простора», и больной, никому не нужный, кроме жены, Андрей Иванович умирает от чахотки.

Жизнь его жены еще безотраднее. В конторе переплетной мастерской, той самой, где работал Андрей Иванович, а после его смерти Александра Михайловна, к девушкам и женщинам относились совсем иначе, чем к переплетным подмастерьям. «С подмастерьями считались, их требования принимались во внимание. Требования же девушек вызывали лишь негодующее недоумение». «За то, чтоб жить», жить хоть впроголодь и в рвани, женщине приходится продавать себя мастеру, хозяину мастерской — всем, от кого зависит, быть ли женщине сытой или умереть в нищете. Рухнули надежды Александры Михайловны на «честный путь», потому что «житья нет женщине, которая честная». Кончила с собой подруга Александры Михайловны по мастерской Таня. Сколько ни билась Колосова, а и ее сломили: «Жить хочешь, так потеряй себя...» Правда, вместо позорной продажи своего тела она заключила законную сделку — стала женой нелюбимого человека. Моральное падение, может быть, горше физической гибели.

В «Двух концах» социальные симпатии автора очевидны: они связаны с Барсуковым и Щепотьевым; проявились они и в символической концовке первой части — в картине «пробуждающейся, молодой, бодрой» природы. Но рассказать в полный голос о новых героях действительности В. Вересаев не сумел. И Барсуков и Щепотьев появлялись на страницах повести мельком, влияние их на судьбы героев и развитие сюжета было незначительным. В. Вересаев не раз собирался изменить финал «Конца Андрея Ивановича»: Колосов выздоравливает и примыкает к революционному движению. В архиве писателя сохранилась инсценировка рассказа. В последних картинах пьесы Андрей Иванович попадает на маевку рабочих, помогает соседке Елизавете Алексеевне прятать нелегальную литературу, а когда революционерку арестовывают жандармы, больной и ослабевший Колосов говорит: «Сотни других на ее место станут! Пожара теперь не потушишь!» Так Андрей Иванович Колосов мог вырасти до уровня горьковской Ниловны.

Приближался 1905 год. Талант В. Вересаева мужал. Кто знает, если б писателю довелось попасть в гущу событий первой русской революции, он, возможно, и встал бы твердой ногой в ряды пролетарских художников, ведь в повести «На повороте» он вплотную подошел к изображению революционного движения в России. Но писатель оказался оторванным от родины как раз в те годы, когда революционная волна достигла своей высшей точки. В июне 1904 года, как врач запаса, он был призван

на военную службу и вернулся с японской войны лишь в начале 1906 года.

Но и там, в далекой Маньчжурии, Вересаев окончательно пришел к выводу, что существующий строй изжил себя. Об этом он поведал читателю в записках «На японской войне» (1906—1907) и в примыкающем к ним цикле «Рассказов о японской войне» (1904—1906).

«На японской войне» — это, конечно, не просто военный дневник писателя. Это очерковая повесть, созданная по заранее обдуманному композиционному плану, да и написана она в основном уже по возвращении В. Вересаева в Россию. Записки — кульминационное произведение его дооктябрьского творчества. В них на конкретном материале русской жизни писатель впервые столь определенно раскрыл тему двух властей — власти самодержавной и власти народной.

Первую отличает «бестолочь». В трудную минуту проверяется духовная сила людей, в трудную минуту проверяется и жизнеспособность общества или государства. В напряженные дни войны, когда государственная машина должна бы работать предельно слаженно, «колесики, валики, шестерни» царской системы управления «деятельно и сердито вертятся, суетятся, но — друг за друга не цепляются, а вертятся без толку и без цели», «громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу неспособна».

Серьезно начальство занималось лишь добыванием наград и наживой. Империалистическая по своему характеру война развращала и русского солдата, часть из них, поощряемая командирами, превращалась в мародеров. Офицеры по большей части болели одной болезнью — «тыломанией». Те, кому не удавалось пристроиться на «покойных и безопасных должностях в тылу армии», заслыша о готовящемся бое, устремлялись в госпитали. Но даже и они, «здоровые и цветущие» больные, «только о наградах... и говорили, только о наградах и думали». Сборище темных личностей, мошенников с офицерскими погонами на плечах умудрялось ежедневно прикарманивать тысячи и сотни тысяч рублей. «...В Мукдене китайские лавочки совершенно открыто» торговали «фальшивыми китайскими расписками в получении какой угодно суммы». Главный врач госпиталя, где служил В. Вересаев, прибрал казенные деньги к рукам, а пустой денежный ящик и охранявшего солдата пытался оставить японцам.

Истинное братство встречалось лишь среди солдат. Готов рисковать собой Алешка, спасая раненого товарища. И делает он это просто, как само собой разумеющееся: ведь солдат солдату — брат («Издали»). Прошла горячка боя, и заботливыми друзьями выглядят солдаты, японец и русский, — еще недавно шедшие друг на друга, чтобы убивать («Враги»).

М. Горький был прав: события русско-японской войны нашли в В. Вересаеве «трезвого, честного свидетеля»[1]. Об этой, по словам В. И. Ленина, «глупой и преступной колониальной

---

[1] А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 28, М., 1954, стр. 316.

авантюре»[1] — войне в русской литературе написано довольно много. Только в одних сборниках «Знание», где печатались записки В. Вересаева, увидели свет и «Красный смех» Л. Андреева, и «Путь» Л. Сулержицкого, и «Отступление» Г. Эрастова. Авторы этих произведений с гневом писали о бессмысленности и ужасах бойни, устроенной царским правительством на полях Маньчжурии, но лишь В. Вересаев увидел в бесславной для России войне свидетельство краха всей самодержавно-крепостнической системы. Записки «На японской войне» явились великолепным подтверждением мысли В. И. Ленина о том, что «не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению»[2]. «Поразительно прекрасный в своем беззаветном мужестве, в железной выносливости» русский солдат не мог принести новой славы русскому оружию.

Больше того В. Вересаев с удовлетворением отмечает бурный рост самосознания народа, который начинает понимать, что его главные враги — совсем не японцы, а правители страны: «Они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами». Среди солдат только и разговоров, что о скорейшем объявлении «замирания». Вызревала глухая ненависть к «продавшим Россию», зрел протест: шли «страшные... расправы солдат с офицерами», с жадностью ловились слухи о «великой октябрьской забастовке», «о волнениях в России .., о громадных демонстрациях». Солдаты уже чувствовали себя их участниками. «Дай мы приедем, то ли еще будет!» — откровенно заявляли они. Писатель целиком в согласии с настроениями народа, одетого в шинели, констатирует, что истинное поле для «подвига и самопожертвования» не здесь, в Маньчжурии, а «внутри России — на работе революционной». А дорога домой, по местам, где к власти пришли стачечные комитеты, его окончательно в этом убеждает.

В последних главах записок В. Вересаев рассказал, как разительно отличались два мира: старый мир бюрократического равнодушия к человеку и мир новый, мир «светлой свободы». В районах, где действовали стачечные комитеты, «сильные не принуждением, а всеобщим признанием», за короткий срок был наведен порядок на железной дороге, быстро менялся общий стиль жизни. Преображались люди. Беглые портретные зарисовки людей, «до краев» полных «тем неожиданно новым и светлым», что раскрывалось перед ними в последние месяцы, удивительно похожи — и не случайно. Поражали «ясные молодые глаза» мелкого железнодорожного служащего, «хорошие, ясные глаза» проводника, и даже, глядя на старика, казалось, «будто живою водою вспрыснуло его ссохшуюся, старческую душу, она горела молодым, восторженным пламенем, и этот пламень неудержимо рвался наружу». Да, это были люди совсем «из другой породы, чем два года назад» — им вернула молодость революция.

Но стоило эшелону, в котором ехал В. Вересаев, попасть в районы, где распоряжалось военное командование, как начиналась знакомая «бестолочь», хамское отношение к человеку.

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 8, изд. 4-е, стр. 34.
[2] Там же, стр. 37.

В образе Балуева из повести «На повороте» В. Вересаев намечал основные психологические качества передового рабочего; в записках «На японской войне» он показал те практические революционные дела, которые совершали Балуевы. Однако оба эти плана в изображении нового героя — психологический облик и революционное дело — пока не совместились в едином образе, хотя писатель и очень близок был к этому.

А здесь, на родине, захваченный всенародным подъемом, В. Вересаев задумывает большую вещь. Он принимается за повесть о 1905 годе.

Писатель направляет своих героев в самую гущу событий: набрасывает сцены митингов, политических собраний, баррикадных боев, черносотенных погромов,— именно тут начинало разворачиваться действие. В. Вересаев собирался изобразить борьбу партий и политических направлений. Эсеры «влиянием не пользовались»,— замечает он. Тщетно стремились завоевать популярность среди рабочих и кадеты. Их оратор говорил звонко и с фальшивым пафосом: «Помните, что на нас смотрит история... Мы решаем судьбу России». Рабочие в ответ «толпою повалили к выходу, крича: «Долой! Долой!» Рабочие стоят за социал-демократов, удовлетворенно констатирует писатель.

Центральным героем повести, насколько можно судить по черновым записям[1], должна была стать та самая Таня, что рвалась к революционному делу еще в 1901 году, в повести «На повороте». Она духовно выросла и возмужала, она стала истой революционеркой, возглавляла отряды вооруженных рабочих-дружинников. Черносотенцы так и называли дружину — «Танькино войско». Плечом к плечу с Таней первый план повести заняли образы восставших пролетариев. ничего подобного никогда ранее не было в рассказах и повестях В. Вересаева. Здесь появлялся и старый рабочий, который «потерял веру в бога 9 января, когда на его глазах пули забили по иконам, когда затем повалились трупы и полилась по улицам кровь»; здесь появлялся и другой рабочий — он привык молчаливо сидеть в уголке; этот рабочий «с косым взглядом исподлобья», «глухим голосом» в дни 1905 года вдруг вырос в «могучего трибуна, владевшего толпою, как рабом», «его имя было на устах всего города». И еще один — «приговоренный к расстрелянию» рабочий, который, «прощаясь с сыном», сказал пророческие слова: «Ну, что ж, мне не удалось, может быть, удастся тебе».

Словом, русская литература могла получить вещь крупную, насквозь проникнутую революционным духом. Но В. Вересаев оставляет повесть о 1905 годе и пишет другую повесть — «К жизни» (1908).

Поиски писателем нового «смысла жизни» целиком связаны с ее главным героем Константином Чердынцевым, от лица которого ведется рассказ. Вначале он еще предстает человеком, искренне увлеченным массовым пролетарским движением,— выступает на митингах, пишет воззвания. Но «настроение неудержимо падает. Ничего не добившись, завод за заводом становится на работу». Гас революционный пламень в стране, и сдавал позиции В. Вересаев, капитулировал его герой. Поражение

[1] Хранятся у В. М. Нольде.

1905 года воспринималось писателем как «вырождение революции», как доказательство тщетности надежд на достижение с ее помощью заветного общества людей-братьев.

«Согнулись спины, потухли глаза. В темноте сонно и уныло, как невыспавшиеся рабы, ноют гудки. И идут в холоде угрюмые вереницы серых людей». Перед Чердынцевым во весь рост встал вопрос: в чем же, наконец, сущность жизни? В революции? Нет. «Так ничтожна суетня кругом»; «...мне стыдно за это... стыдно за все мелкие, без корней в душе ответы, которыми я до сих пор жил...» В служении каким-то иным высоким идеалам? Тоже нет. Константин Чердынцев приходит к выводу, что поведением, жизнью людей правит некое иррациональное начало — «хозяин», каждым человеком — свой, и каждый бессилен перед ним Люди неспособны подчинить свою жизнь борьбе за какие-либо идеи, ибо не вольны в своих поступках. А потому Чердынцеву на какой-то момент показалась убедительной затхлая философия обывателя. «Жизнь оправдывается только настоящим, а не будущим». Герой попадал в объятия нового противоречия, ставшего источником еще бо̀льших душевных мук: разве можно найти счастье в настоящем, коль скоро оно лишено надежд, мысли, одухотворенности?! И Чердынцев закономерно доходит до крайних пределов отчаяния: «...все-таки лучший выход взять всем людям да умереть. Настоящее решение всей жизненной чепухи — смерть и только смерть...»

Проведя героя через увлечения революцией, мещанским идеалом сытого довольства настоящим, декадентством и горячо оспаривая и то, и другое, и третье, В. Вересаев во второй части повести заставляет Чердынцева обрести истинный, по мнению писателя, смысл жизни. В близости к крестьянскому труду, связанному с «матушкой-землей», в постоянном общении с вечно юной природой подлинное счастье человека. Эта теория «живой жизни» сильно отдавала толстовством

Отказ от заветов революции 1905 года широко распространился тогда в неустойчивой среде интеллигенции. Но такой крутой поворот именно в творчестве В. Вересаева многих поразил. Однако стоило внимательнее приглядеться к его творчеству, как стало бы ясно: причины появления «живой жизни» имеют длинную и вполне логичную историю. Марксизм для него был все-таки только средством, а не мировоззрением. Писатель беспредельно и самоотверженно оставался верен отвлеченно демократическому идеалу союза людей-братьев. А средства? Средства в конце концов могли быть разные. Поскольку воплощение в жизнь этого идеала одно время как будто приближало народничество, В. Вересаев шел с народниками; поскольку потом на смену народникам пришли марксисты, В. Вересаев, не щадя себя, отдал свои силы марксизму,— не больше, но, будучи поборником пролетарской революции, он тем не менее порой смешивал подлинный, революционный марксизм с мнимым, «легальным»: в его воспоминаниях и «Записях для себя» новое философское учение нередко отождествлялось с социально-политическими воззрениями П. Струве и М. Туган-Барановского.

Писатель был согласен с марксистами в главном: жизнь требует революционного взрыва, и произведет этот взрыв пролета-

рий. Но он считал, что революционеры ленинцы, пожалуй, чересчур идеализируют человека, он опасался, что это-то их и погубит. Вересаев радуется, замечая, сколько в людях самопожертвования, героизма, человеколюбия; он убежден: эти лучшие качества будут развиваться, но просит не забывать и другого: «человек —...потомок дикого, хищного зверья»; животные начала в нем давали и будут давать себя знать постоянно («Записи для себя»).

Врач В. Вересаев никогда не забывал напомнить читателю, что естественно-биологические начала в людях сильны. Робел перед ними Чеканов, пасовал Токарев; они подчеркивались и в Сергее из «На повороте» и в героях «Двух концов». О силе биологического, «природного» в человеке шла речь и в одном из «японских рассказов» — «Ломайло» — и в записках «На японской войне». Сила биологического инстинкта в человеке, по мнению В. Вересаева, подчас побеждает все, даже инстинкт классовый.

Противоречивость и непрочность позиции писателя не раз приводили к тому, что в его произведениях наиболее значительная тема дня — тема революции — вдруг неожиданно вытеснялась интересом к вопросам второстепенным. Оценивая ту же повесть, «На повороте», В. И. Ленин писал М. А. Ульяновой: «Видаю иногда русские журналы — далеко не все и далеко не правильно. Как у вас довольны новой вересаевской повестью в «Мире Божьем»? Я поначалу ждал большего, а продолжением не совсем доволен» [1]. И на самом деле, бодрый, радостный тон первых глав «На повороте», в которых в основном раскрывался облик Тани и рассказывалось о Балуеве, сменялся мрачными описаниями деградации Токарева, Варвары Васильевны, Сергея.

В колебаниях В. Вересаева не было беспринципности или желания пойти с теми, за кем сегодня сила. Были святая верность своему идеалу и смутные представления о средствах, что помогут достичь воплощения идеалов в жизнь. Отсюда и колебания.

Характерно: и после повести «К жизни» В. Вересаев не сомневается, что продолжает ту же борьбу, которой отдал годы, просто ведет ее более верным способом. Он не капитулировал, как Л Андреев или А. Куприн, он трагически заблуждался,— совершенно искренне считал, что и теперь «ни от чего в прошлом» не отказывается, лишь стремится «быть значительно менее односторонним» [2]. Он по-прежнему восхищается стойкостью и моральной красотой рабочего дяди Белого и доктора Розанова («К жизни»), но на их революционную работу надежд больше не возлагает. Они и не заняли подобающего места в повести, остались очерченными бегло и схематично. Да и в целом писатель, несомненно, рассматривал «К жизни» как логическое продолжение той летописи надежд и разочарований русской интеллигенции, которую он начал еще в середине 90-х годов прошлого века. И в самом деле, настроения ренегатствующей интеллигенции были переданы в повести исторически точно.

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 37, изд. 4 е. стр. 263—264.

[2] Советские писатели, Автобиографии в двух томах, т. 1, Гослитиздат, М., 1959, стр. 233.

Повесть «К жизни» встретили в штыки как круги революционные, так и откровенно реакционная пресса. Писатель тяжело воспринял это всеобщее осуждение, он счел себя непонятым. «Я увидел, что у меня ничего не вышло,— писал он позднее в «Записях для себя»,— и тогда все свои искания и нахождения изложил в другой форме — в форме критического исследования». «Живая жизнь» (1909—1914) — работа, богатая тонкими и своеобразными мыслями о Достоевском, Л. Толстом и Ницше,— по своей общей проблематике мало чем отличалась от основной идейной направленности повести «К жизни».

Современники обрушились на повесть, но не потому, что они ее не поняли, корень дела был в другом. В. Вересаев пытался встать над схваткой, утвердить некий внесоциальный путь к счастью. И нечего удивляться, что книга вызвала недовольство обоих борющихся лагерей. Своим оптимизмом, своей верой в созидательные возможности человечества В. Вересаев противостоял реакционерам, оплевывавшим революцию и человека. Но в то же время он пытался увести читателя в сторону от социальной борьбы; он, так и не успев прочно утвердиться на горьковском пути в литературе, свернул с дороги. И его осудили те, кому было дорого дело народного освобождения.

И позже, вплоть до грозных дней 1917 года, писатель объективно занимает позицию двойственную.

Себя он, как и раньше, считает истым социал-демократом, марксистом. С радостью принимает писатель предложение стать одним из редакторов сборника, в котором предполагалось участие В И. Ленина и А. В Луначарского. Причем и в самом деле он был солидарен с ленинцами по целому ряду политических вопросов. Вместе с ними он провозглашает: «Конец войне! Никаких аннексий, никаких контрибуций. Полное самоопределение народов!» («Воспоминания»). И не только провозглашает лозунги, но и в своей практической деятельности всячески отстаивает их. Когда, например, С. Городецкий прислал ему как председателю правления и редактору «Книгоиздательства писателей в Москве» рассказ, В. Вересаев, не читая, отослал рукопись обратно. Дело в том что незадолго до этого С. Городецкий напечатал «чрезвычайно патриотическое стихотворение», «где восторженно воспевал императора Николая II, как вождя, ведущего» народ «против германцев за святое дело». «Какая бы ни была прекрасная вещь но мы не можем его именем пачкать наших сборников»,— заявил В. Вересаев товарищам («Воспоминания»).

А его собственный рассказ 1915 года «Марья Петровна» — горячий протест против антинародной империалистической войны. Простая русская женщина, забитая со «скучно-желтым лицом и выцветшими глазами», потеряла на войне сына. Но когда эта женщина увидела на вокзале дрожавшего от холода раненого венгерца, «больше не было в душе злобы». «Дрожащими руками она поспешно расстегнула свою лисью шубку»,— вероятно, единственную,— «расстегнула, скинула шубку и покрыла лежавшего венгерца». Цензура вычеркнула заключительную фразу рассказа: «Было ощущение одного общего, огромного несчастья, которое на всех обрушилось и всех уравняло»,— но и без этой концовки смысл рассказа был понятен.

И все-таки В. Вересаев заблуждался, считая себя социал-демократом. В возможность достижения лучшего будущего с помощью революции он больше не верил. Преклонялся перед мужеством революционеров, но тем не менее считал, что в своих планах и прогнозах они ошибаются Его же программа, образно названная «живой жизнью», была откровенно идеалистична. В психологически тонких рассказах 910-х годов («У черного крыльца», «Семейный роман», «У дервишей» и др.) подчеркивалось, что люди страдают, будучи искалечены обществом, и спасение для них — в пробуждении естественного, природного в себе, в «верности земле» [1].

В мировоззрение В. Вересаева, давно ставшего атеистом, вновь проникает идея бога. В письме М. Горькому от 8 ноября 1912 года, определяя характер намечавшихся «Книгоиздательством» сборников, он замечает: «Бог» принципиально не исключается,— но бог лишь как высшее чувствование, высшее проявление жизни, увенчание ее... Совершенно неприемлем бог, не из жизни вытекающий, а сверху спускающийся на нее и освещающий, бог не от избытка силы душевной, а от великой ее бедности...» [2].

Это не обычный бог, порабощающий людей, это новый бог — символ душевной крепости и победы людей над горестями жизни,— в духе богостроительства Богданова, Базарова и Луначарского, бог, которому после 1905 года отдал дань и М. Горький Но, как писал М. Горькому В. И. Ленин, «богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего.. всякий боженька есть труположство — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно... Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные «идейные» костюмы идея боженьки». «Идея бога всегда усыпляла и притупляла «социальные чувства», подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рабства (худшего, безысходного рабства)» [3].

Эта противоречивость политических воззрений В. Вересаева приводила к двойственности его литературной позиции. На посту председателя правления и редактора «Книгоиздательства писателей в Москве» он ведет войну за реализм, намеревается сделать из «Книгоиздательства» центр, противостоящий литературе буржуазного упадка, верит: сюда «потянется все живое в литературе, все любящее жизнь и верящее в будущее». Его программа недвусмысленна: «утверждение жизни» («Воспоминания»), «ничего... антиреволюционного», «произведения антижизненные, антиобщественные и нехудожественные безусловно исключаются», «борьба за ясность и простоту языка» [4].

---

[1] Архив А. М. Горького.
[2] Там же.
[3] В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, изд. 4-е, стр. 89, 90, 93.
[4] Письмо М. Горькому от 1 августа 1912 г. Архив А. М. Горького.

Вокруг издательства объединяются И. Бунин, А. Серафимович, И. Шмелев и другие крупные русские писатели. В. Вересаев особо печется о привлечении М. Горького, ибо он писатель — «очень нужный особенно в настоящее время»[1]. А исполненные революционного пафоса горьковские «Сказки об Италии» оцениваются им как «книга великолепная»[2]. «Сколько в них света и солнца,— и физического, и духовного, и как это нужно именно в нынешнее время»[3]. И «Сказки» выходят в числе первых книжек издательства.

В. Вересаев решительно отваживает декадентов, пытающихся проникнуть в «Книгоиздательство». Он обличает их «манерность и вычурность», низведение ими человека до уровня животного. Для В. Вересаева человек — высшее создание природы, писатель не теряет веры в светлое завтра людей.

Но в то же время в своих взглядах на искусство и действительность он нет-нет да и скатывался к аполитичности. Он порой отказывался от того искусства, что активно вмешивается в жизнь. А ведь именно за него В. Вересаев ратовал в рассказе «На эстраде». Внимание писателя сейчас привлекает другое. Весной 1913 года в Киеве он с интересом наблюдает ресторанного виолончелиста (позднее эти впечатления вылились в зарисовку «Истинный»); писателю импонирует музыкант, пренебрегающий мнением и отношением людей, в таком художнике он чувствует «товарища».

Идеал гармонического человека видится уже не в полной «бодростью, энергией и счастьем» Наташе Чекановой или «крепком, цельном,— прямо кряжистом» рабочем-революционере Тимофее Балуеве, а в «стареньком старичке» Андрее Павловиче Рамазанове, подлинную радость жизни нашедшем в слиянии с природой. Близ нее даже из «дряни, сорной травы» «получается красота» («Дедушка», 1915).

Но когда в 1917 году Россию потряс новый революционный взрыв, В. Вересаев, для которого судьба и будущее его народа всегда были важнее всех, пусть самых страстных, самых искренних жизненных и теоретических увлечений, не мог оставаться в сфере мнимозначительных морально-психологических вопросов. Как только он воочию убедился, что народ снова поднялся на борьбу, он принял в ней самое активное участие — пошел служить в советские учреждения: в 1917 году работал председателем художественно-просветительской комиссии при Совете рабочих депутатов в Москве, а в 1919 году, с переездом в Крым,— членом коллегии Наробраза в Феодосии. Еще находясь в Москве, он задумывает издание дешевой «Культурно-просветительной библиотеки».

Переломные моменты развития вересаевского творчества всегда сопровождались стремлением писателя определить для себя задачи искусства. «Загадка», «На эстраде», настроения, отразившиеся в «Истинном»,— все они имели именно такое

---

[1] Письмо М. Горькому от 8 ноября 1912 г. Архив А. М. Горького.

[2] Письмо Н. С. Ангарскому (Клестову) от 8 сентября 1912 г. Рукописный отдел Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

[3] Письмо М. Горькому от 18 сентября 1912 г. Архив А. М. Горького.

значение. И теперь, в преддверии небывалой эпохи, эпохи социализма, он пишет рассказ «Состязание» (1919), крайне существенный для уяснения его эстетических позиций. Состязание на лучшую картину, «изображающую красоту женщины», по единодушному решению толпы, выиграл не убеленный сединами Дважды Венчанный, исходивший полсвета в поисках идеальной «высшей красоты», а его ученик Единорог, для которого подлинно прекрасной оказалась «обыкновенная девушка, каких везде можно встретить десятки». Истинное искусство видит наивысшую красоту земли в простом народе, оно обращено к народу, главный судья для художника — народ. Таков теперь «символ веры» В. Вересаева.

И писатель берется за крупное художественное полотно о революции и гражданской войне. Романом «В тупике» (1920—1923) В Вересаев завершал летопись жизни таких интеллигентов, как Чеканов и Чердынцев. В октябре 1917 года их ждал тот же тупик, в который зашел герой романа доктор Сартанов. Ему глубоко чужда белогвардейщина, но он не представляет себе, что может дать народу и кровопролитная война, разразившаяся на просторах России. «Те ли одолевают, другие ли,— и победа не радостна и поражение не горько». «Жизнь изжита, впереди — ничего». «Давай умрем»,— предлагает он дочери.

Своего героя-интеллигента В. Вересаев осудил на смерть, сам же писатель пытался честно и объективно разобраться в том, что происходило в России. Он видел, как духовно расцветали люди. Простой мужик Афанасий Ханов стал председателем ревкома, всемирно известный академик Дмитревский оставил свой уютный рабочий кабинет, чтоб отдать силы народному образованию. Писатель преклонялся перед мужеством коммунистки Веры, старшей дочери доктора Сартанова,— она встретила расстрел пением «Интернационала».

И все-таки в водовороте революционных событий В. Вересаев оказался не с Хановым или Верой, В. Вересаеву ближе остальных младшая дочь Сартанова — Катя. Она пережила в 1905 году «самоотвержение, высокий идеализм, чистый молодой порыв»; считала и считает себя марксисткой, «работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была», мечтала об освобождении народа. Но когда прокатился по стране Октябрь — потерялась. Непримиримая война с буржуазией ей кажется излишней жестокостью: «Вы так: чтоб тем, кому было плохо, было хорошо, а тем, кому хорошо было, было бы плохо. Для чего это?» — спрашивает она. Когда были угнетены рабочие и крестьяне,— Катя возмущалась. Теперь угнетена буржуазия — и Катя возмущается снова.

В. Вересаеву кажется, что сбылись его опасения относительно темных начал в человеке,— и он, и его героиня не понимали сущности классовой борьбы. Нет, они как будто и остались верны идеалу социализма, но социализм для них — дело далекого будущего: «Россия экономически совершенно еще не готова для социализма».

Позиция Кати сродни меньшевизму, взгляды которого частично разделял и сам В. Вересаев. Социалистическую революцию, по мнению В. Вересаева и Кати, нужно делать «не вин-

товкой, не штыком, а только наукою и широким просвещением трудящихся масс». Разве можно достичь общества людей-братьев с помощью кровопролитной классовой войны?! Одно исключает другое,— так кажется В. Вересаеву, так кажется Кате. Но В. Вересаев, а вместе с ним и Катя в то же время коренным образом расходятся с трусливой и убогой позицией меньшевиков. Автор и его героиня понимают, что большевиков «сиянием... окружит история» за их самоотверженное служение идеалу социализма. Катя и В. Вересаев не хотели мешать большевикам, потому что иначе победит белогвардейщина, но Катя и В. Вересаев не могли и пойти с большевиками: слишком чужда и неприемлема мысль о кровопролитной революции.

«Я махнул рукою, и занялся изучением Пушкина и писанием воспоминаний,— самое стариковское дело» [1],— сообщал В. Вересаев М. Горькому вскоре после окончания романа «В тупике». В жизни писателя, пожалуй, не было более трудного времени, чем начало 20-х годов. Кризис этих лет оказался куда тяжелее кризиса, который пережил В. Вересаев во времена повести «К жизни» и «Живой жизни». Тогда он заблуждался, но субъективно ощущал себя на линии огня. Сейчас он, никогда не сомневавшийся, что дело писателя — «звать народные массы за собою, а не плестись в хвосте их настроений», отказался от всякой попытки вести за собой читателя, отгородился от действительности. Он даже пробует в «лекции для литературной студии» «Что нужно для того, чтобы быть читателем?» (1921) теоретически обосновать эту свою творческую замкнутость. «Выявление самого себя,— выявление сокровеннейшей, часто самому художнику непонятной сущности своей, своей единой неповторяемой личности, в этом — единственная истинная задача художества, и в этом также — вся тайна творчества. «А все остальное — литература!», говоря словами Верлэна»,— такова, он теперь утверждает, первая заповедь истинного художника. А отсюда вторая заповедь — в творчестве нужно «быть самим собою».

Художники, по его мнению, должны быть свободны от всяких теорий, от необходимости следовать каким-либо направлениям, художнику «очень мешает быть самим собою выяснение для себя задач искусства», «настоящий художник пишет так, как видит собственными глазами, а не как его приучили видеть книги и разговоры», настоящие художники творят «подсознательно», «из нутра» или просто «не ведают, что творят». Настоящие художники — «табун диких лошадей», за которым гоняются «классификаторы и схематизаторы», тщетно пытаясь пришпилить к хвостам «лошадей» «свою маленькую этикетку» [2]. Так В. Вересаев неожиданно оказывался где-то совсем рядом с русскими декадентами.

Кризис был мучителен. И снова на помощь приходит «живая жизнь», теперь уже как практическое средство самоуспокоения. «Эх, вся эта угрюмость, отчаяние, неприятие жизни,—

---

[1] Архив А. М. Горького.

[2] В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. VIII, изд. т-во «Недра», М., 1930, стр. 176—199.

как они вдруг становятся чуждыми и непонятными, когда человек начнет дышать чистым воздухом полей, моря или гор, когда солнце начнет горячо ласкать его обнаженную «кожу»... одним лучом солнца можно перестроить всю душу человека и жизненно страшное сделать смешным и нестрашным» [1]. Писатель часто уезжает из Москвы, живет на юге, в Коктебеле, усиленно занимается садом.

В. Вересаев остановился, но не остановилась жизнь, не остановилась литература. Она обогащалась молодыми именами — А. Фадеев, Д. Фурманов, М. Шолохов, десятки других, пришедших из того самого горнила революции, которая так напугала В. Вересаева. Литература, возглавленная М. Горьким и В. Маяковским, ставила и решала задачи огромного масштаба, задачи воспитания человека коммунистического общества.

А «живая жизнь» оставляла В. Вересаева не у дел и, главное, не приносила успокоения. Он был писателем, заменить литературу садом не мог. Тянет к письменному столу, все больше засасывает работа над воспоминаниями и изучением Пушкина Совсем недавно, в семнадцатом году, В. Вересаев решительно отверг предложение описать свои детские годы. «Кому это интересно?» [2] — удивлялся он. Теперь же ничего другого В. Вересаев писать не хочет. Но и в воспоминаниях он сосредоточивает свое внимание на том, что подальше отстоит от проблем общественных,— это характерная особенность всех трех мемуарных книг, задуманных им. Пишет историю своей жизни — «Из детских лет», о матери и отце, о семье и первой любви. «Меня просто интересовала душа мальчика», все остальное — меньше. Книгу «Записей для себя» начинает с размышлений о близкой смерти, он ждет ее как «блаженства», «как большого поднимающего, ослепительно яркого события». А параллельно пишет о детях — серию миниатюр из будущего цикла «Невыдуманных рассказов о прошлом». И здесь все покрывает добрая улыбка человека, спокойно приготовившегося оставить этот мир.

Но, конечно, такая жизнь и такая работа удовлетворения не давали. «Вчера ходил у себя по саду, подвязывал виноградные лозы к тычкам и думал: скоро, скоро уже придется жить «на пенсии»,— на духовной пенсии, с «заслуженным правом не работать». И не мог себе представить: как же это я тогда буду жить? Греться на солнышке, вспоминать былое и вот так ходить по саду, дрожащими руками подвязывать лозы. И больше ничего. Какая нелепость!»— записывает В. Вересаев в дневнике. Ему, привыкшему быть с теми, кто впереди, становилось все тягостнее отсиживаться в тылу, созревало решение о необходимости вырваться из того замкнутого круга, который писатель сам себе создал. Нужен был последний толчок извне, повод, чтобы от тоски по настоящей работе перейти к действию, с головой окунуться в не изведанную для писателя советскую жизнь.

И таким толчком явилось посещение в середине 20-х годов Вересаева незнакомой читательницей-комсомолкой. Девушка рассказала писателю о своей трудной судьбе и оставила ему

---

[1] Письмо Н. П. Ульянову от 7 августа 1928 г., ЦГАЛИ.

[2] Письмо И. А Белоусову от 3 июля 1917 года. Центральный Государственный Архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ).

дневник. В. Вересаев помог воспрянуть духом отчаявшейся было девушке, но эта встреча оказалась целительной не только для читательницы, а и для самого писателя. Он с особой остротой почувствовал, что новая, небывалая жизнь проходит мимо, и писательское любопытство толкнуло его пойти к заводской молодежи. В. Вересаев отправляется выступать «в клуб... завода «Красный богатырь», в селе Богородском, за Сокольниками». Он заявляет «молодым рабочим, комсомолкам и комсомольцам», «что хотел бы понаблюдать жизнь их завода». Молодежь встретила эту просьбу радостно — писателю выдали постоянный пропуск на завод. «Я себе нанял комнату невдалеке от завода и прожил в Богородском около полутора лет, иногда наезжая домой,— пишет В. Вересаев в своих неопубликованных воспоминаниях об истории работы над романом «Сестры» [1].— Свел много знакомств с рабочими и работницами... Бывал в комсомольской ячейке», ходил по цехам, в общежитие. Результатом явилась целая серия произведений о молодежи — рассказы «Исанка» (1927), «Мимоходом» (1929), «Болезнь Марины» (1930), роман «Сестры» (1928—1931). Результатом был и небывалый прилив творческих сил. «Мне идет шестьдесят третий год. Но я еще не чувствую надвигающейся смерти, в душе бодро и крепко. Огромная охота работать... Чувствую себя в душе настолько молодым, что иногда мелькает мысль: да не ошибка ли, что у меня в паспорте год рождения показан 1867, и что вот эти дряхлые, сгорбленные, такие бесспорные старики — мои ровесники?» — записывал В. Вересаев в дневнике 18 июля 1929 года.

«Исанка» — первый подступ к теме, и, должно быть, поэтому она столь уязвима. Писатель не столько рассказывал о жизни комсомольцев, сколько использовал новый жизненный материал для того, чтобы снова высказать свои излюбленные мысли. Он приписывает советской молодежи увлечение древнеэллинским культом здорового человеческого тела, культом тех самых эллинов, в которых В. Вересаев видел одно из осуществлений «живой жизни». Да и весь рассказ — немножко маскарад, где молодые люди в масках комсомольцев разыгрывают вековечную драму чистой женской любви, столкнувшейся с эгоистической мужской любовью-страстью. Победила чистота. И рассказ звучал оптимистически, в нем видна была большая вера в молодежь, которая сумеет утвердить светлые отношения между людьми. Некоторые качества духовного облика комсомольцев были и на самом деле схвачены верно: самозабвенность в борьбе за коммунизм, поглощенность делами общественными — эти «славные ребята» «и... на отдыхе не бросают общественной работы». В «Исанке» писатель еще не овладел темой, и тем не менее этот рассказ был верным залогом будущих побед писателя.

В рассказе «Болезнь Марины» В. Вересаев заговорил об остром для молодежи 20-х годов вопросе,— о нем тогда много спорили. Как совместить беззаветное служение новому обществу и свою личную жизнь? «Марина и Темка были перегружены работой»: «учеба, общественная работа», «иногда совсем как будто исчезало ощущение, что ты — отдельно существующий,

[1] Хранятся у В. М. Нольде.

живой человек, что у тебя могут быть какие-то свои, особенные от других людей интересы». И вдруг — «свое»: должен появиться ребенок. Пугает опасность погрязнуть в мещанстве. Темке «отчетливо представлялось, каким это песком посыплется на скользящие части быстро работавшей машины их жизни». Парень откровенно стыдится своего будущего отцовства, и тогда Марина выгоняет его: «Можно и ребенка иметь и не уходить от общественной работы». В. Вересаев отвечал на вопрос так, как отвечали на него в то время подлинные революционеры, а не герои демагогической фразы вроде Темки: революция тем и замечательна, что позволяет человеческой личности по-настоящему расцвесть. Было в «Болезни Марины» и другое — были отголоски «живой жизни», но размышления о «силе инстинкта, присущего человеку», оказались в тени, их оттеснила правда жизни.

А совсем коротенький рассказ «Мимоходом» вобрал в себя размышления В. Вересаева, которыми он мучился последнее десятилетие. Та «отборная интеллигенция», которой в свое время писатель посвятил столько страниц любви, интеллигенция, что умела хорошо мечтать, мечтать о самоотверженном и свободном труде для народа, оказалась беспомощной, когда революция претворила эти мечты в жизнь. Банкротство прекраснодушной интеллигенции В. Вересаев пережил как свою личную трагедию. Рассказ «Мимоходом» — преодоление этой трагедии. Появляется новый герой-интеллигент, человек скромного практического дела, органически неспособный к интеллигентской болтовне. Этот новый герой — студентка-комсомолка. В три дня, «мимоходом», привела она в порядок сельскую библиотеку, а «отборная интеллигенция» из дачников весь летний сезон «образовывала инициативную группу», «собирала общее собрание», избирала «исполбюро в составе семи человек», обсуждала план и в итоге постановила: «Ввиду окончания лета и начинающегося разъезда дачников отложить работу... общества шефства над деревней... до начала будущего сезона, а тогда взяться за дело с максимальной энергией».

Переполненный вновь обретенным «смыслом жизни», В. Вересаев решается писать большой роман об этой рождающейся в комсомоле и вузах советской интеллигенции.

Роман «Сестры» писатель тоже рассматривал как «неотделимое звено в цепи» произведений, «отражающих душевную жизнь «хорошей» русской интеллигенции. Роман, по мнению писателя, должен был отобразить первую страницу истории новой, советской интеллигенции. Вышло, правда, несколько иначе. Одно дело — небольшой рассказ, другое дело — роман. Роман требует доскональных, всесторонних и конкретных знаний жизненного материала. Их В. Вересаев пока не имел. «В колхозе не был и никаких материалов по этому вопросу приготовить не могу» [1], — писал он в 1930 году, то есть в тот момент, когда заканчивалась работа над романом «Сестры», третья часть которого целиком посвящена советской деревне. Писатель и сам чувствовал свою слабость в знании материала. Вероятно, по-

---

[1] Открытка В. Вересаева от 15 октября 1930 года, посланная устроителям выставки «Писатель и колхоз». Рукописный отдел ИМЛИ имени А. М. Горького.

этому в основу первой части романа он положил дневник той самой читательницы, которая однажды пришла к нему за советом, как жить. Многие сцены, которые по авторскому плану должны были быть, в дневнике отсутствовали. Они «по моей просьбе,— вспоминал В. Вересаев,— целиком были написаны той же моей приятельницей-комсомолкой, так что первая часть романа, если исключить ее творческую планировку, на три четверти принадлежит ей». Конечно, «там много присочиненного и коренным образом переработанного» писателем, но показательно, что анализ и обобщение фактов действительности он стремился подменить приведением документа. Однако в искусстве документ часто менее правдив, нежели художественное обобщение, творческая фантазия. Роман мыслился автору как широкая картина жизни молодой интеллигенции, комсомольцев. Дневник же повел его с этой широкой магистрали в переулки мелких, второстепенных тем, сомнительных решений поставленных в романе проблем. В центре повествования оказался не «настоящий рабочий пролетарий», пришедший в вуз, строящий социалистическую жизнь в городе и деревне, а некие сестры Ратниковы, у которых, по признанию одной из них, «две души»: «Верхняя... душа — вся в комсомоле, в коммунизме... А нижняя душа против всего этого бунтует, не хочет никаких пут, хочет думать без всяких «азбук коммунизма». Здесь, как и в «Исанке», вопросы новой морали советской молодежи нередко подменялись чрезвычайно раздутыми проблемами пола, культом свободной любви. Не умея проникнуть во внутренний мир молодежи, В. Вересаев приписывал своим положительным героям-комсомольцам черты аскетизма, душевной прямолинейности, ошибочно усматривая в этом качества формирующегося в стране гражданина социализма. И рядом — давнишние заблуждения автора, вера в могучую силу инстинкта, биологического в человеке, с чем, мол, нельзя не считаться, думая о строительстве социализма и социалистических отношений.

Это был «комсомол в кривом зеркале», как справедливо писала «Комсомольская правда» 1 июня 1933 года. Роман оказался бесспорным творческим поражением В. Вересаева, он просто не сумел разобраться в новой жизни, хотя и очень хотел этого.

Неудача снова выбила писателя из колеи. Он опять оставляет современную тему и обращается к воспоминаниям, занятиям историей литературы, переводам. Но характер воспоминаний В. Вересаева теперь уже резко меняется. К страницам, посвященным детству и юности — «В юные годы» (1925—1926),— добавляется вторая часть — «В студенческие годы», над которой он начал работать еще в 1928 году и которую завершил в 1935-м. В. Вересаев повел рассказ о типичной судьбе интеллигента-демократа, о том, как жизнь, бедствия народа, революционная среда студенчества, рост рабочего движения привели его к марксизму, в стан борцов за пролетарскую революцию. В книге «Записи для себя» размышления о смерти сменяются мыслями о литературе — об ответственности писателя перед народом, о беспомощности декадентства и всесилии реализма и — особенно примечательно — об активном вмешательстве художника в жизнь: «Писатель должен не наблюдать

жизнь, а жить в жизни, наблюдать ее не снаружи, а изнутри».

И литературоведческая, публицистическая работа В. Вересаева звучит современно. Писатель стремится говорить с самым широким читателем. По образцу «Пушкина в жизни» (1926) в 1933 году он заканчивает популярный «свод подлинных свидетельств современников» — «Гоголь в жизни». Продолжает заниматься и Пушкиным, в 1934 году издает «дополнение» к книге «Пушкин в жизни» — «Спутники Пушкина». В 1936 году печатает в газете «Известия» биографический очерк о поэте; пишет книгу о Пушкине для детского чтения. На примере Пушкина учит молодых писателей — статья «Великим хочешь быть — умей сжиматься» (1939). А когда началась Великая Отечественная война, Пушкин становится оружием В. Вересаева в его антифашистской публицистике («Пушкин о борьбе за родину»).

Статья о мужском эгоизме в семье — «Разрушение идолов»,— напечатанная в 1940 году «Известиями», вызвала горячую дискуссию. А с заметками «О культурности в быту» и «О культурности на производстве» писатель выступал по радио.

Общество людей-братьев строилось на глазах В. Вересаева, он понял это. В неопубликованной статье «Мужество» писатель решительно пересматривает свое отношение к тем самым событиям гражданской войны, о которых писал в романе «В тупике». Тогда, в начале 20-х годов, гражданская война воспринималась как «вихрь», «какая-то сумасшедшая смесь гордо провозглашенных прав и небывалого унижения личности», разжигания «самых подлых, эгоистических инстинктов». Теперь, с высоты завоеваний социализма, эпоха всенародной борьбы представляется эпохой «мужества», «революционного энтузиазма», мужество и энтузиазм противостояли «обывательской робости», «не знали чувства безнадежности», «смело» шли «даже на невозможное» «и достигали своего» — «требованием невозможного срывали действительность с ее петель»[1]. А сегодняшний день, «то, что есть — действительно... что-то такое изумительное, чего, по-моему, никогда в истории не было»[2],— говорил В. Вересаев в речи на вечере, посвященном 50-летию его литературной деятельности, 22 декабря 1935 года. «...Большевизм покорил и завоевал» его «своею мощностью, неоглядностью... отрицанием всякой серединки и обывательщины»[3].

Окончательно остался в прошлом вопрос, с кем он. При всей значительности воспоминаний, литературоведческой работы, переводов В. Вересаев не мог ограничиться ими: зреет план эпического произведения о России и революции. Так возникает цикл «Невыдуманных рассказов о прошлом»; их первоначальный замысел и осуществление так же несхожи между собой, как непохож В. Вересаев 20-х годов на В. Вересаева конца 30-х — начала 40-х годов. «Невыдуманные рассказы» — это, пожалуй, лебединая песнь старого писателя. Это, по сути, книга всей его

---

[1] Хранится у В. М. Нольде.
[2] Рукописный отдел ИМЛИ имени А. М. Горького.
[3] Неопубликованные воспоминания В. В. Вересаева о В. Я. Брюсове, хранятся у В. М. Нольде.

жизни. многие рассказы почти дословно воспроизводят заметки в дневнике и записных книжках 80—90-х годов, а последние миниатюры созданы в 1943—1945 годах. «Невыдуманные рассказы» вобрали не только многолетнюю творческую кладовую — записные книжки писателя, но и весь его творческий опыт.

В. Вересаев неоднократно говорил, что всякий писатель, если хочет оставить по себе след в искусстве, должен сказать свое слово, пусть не очень значительное, но обязательно свое, а не просто в подражание великим корифеям литературы. «Главное, чтоб был свой стакан. Если он есть у вас, если есть хоть маленькая рюмочка, то вы художник, вы вправе сидеть за тем столом, где с огромными своими чашами восседают Гомер, Эсхил, Дант, Шекспир, Пушкин, Толстой, Ибсен» [1], — замечал он в лекции «Что нужно для того, чтобы быть писателем?». Но добиться «своего стакана» в искусстве, даже «своей рюмочки» чрезвычайно трудно. Для этого, в частности, всякому, занимающемуся словесным творчеством, необходим трезвый учет своих возможностей, особенностей своего дарования, своих слабостей и сильных сторон. «Невыдуманные рассказы о прошлом» — яркий пример к этим рассуждениям писателя.

После неудачи «Сестер» он был особенно строг к себе, стремился максимально учесть свои возможности, «не переоценивать себя». И результат не замедлил сказаться: все то лучшее, что было свойственно творческой манере В. Вересаева, сконцентрировалось в «Невыдуманных рассказах», получив здесь наивысшее выражение.

Он всегда тяготел к автобиографизму, к изображению факта пережитого, виденного или кем-то ему сообщенного. Это и ограничивало возможности писателя, но и придавало его произведениям неподдельность документа эпохи. Пережив же поражение на широких просторах романа, требующего крупных обобщений, В. Вересаев теперь уже пишет только коротенькие рассказы и как никогда крепко держится реальных, житейских случаев, что подчеркнуто и заглавием цикла.

Он вовсе не собирался отказываться от типизации в искусстве, не предпринимал он и попыток свести работу художника к копированию попадающихся на глаза человеческих характеров и происшествий. В «Невыдуманных рассказах» нет или почти нет выдуманного, но они вместе с тем плод кропотливой работы художника, его творчества, а не «фотографирования» действительности. История о том, как благодаря стараниям матери из мальчика Левы вырос холодный эгоист («Всю жизнь отдала»), состоит из четырех «невыдуманных» эпизодов, но все они произошли в разное время и с разными людьми. А «пунктирный портрет» «Супруги», где характеристика мужа и жены дается посредством их разговоров, вобрал в себя забавные реплики, записанные В. Вересаевым на протяжении десятилетий и, конечно же, не от одних и тех же людей. Некоторые же реплики придуманы автором по образцу тех, что были в его записных книжках. И так чаще всего.

Конечно, в цикле В. Вересаева немало и таких рассказов,

---

[1] В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. VIII, изд. т-во «Недра», М., 1930, стр. 179—180.

где все, что описано, именно так на самом деле и происходило. В «Дне рождения» автор лишь назвал своего литературного секретаря Таней, а талантливый двенадцатилетний художник, с которого списан герой рассказа, стал «изумительно талантливым музыкантом». Во всем же остальном точно воспроизведена реальная история. Но и о подобных рассказах тоже трудно говорить, что они «просто из записной книжки». На полях одного из них В. Вересаев помечает: «До отчаяния плохо, переписываю в шестой раз. Без стержня, учительно. Беда!»[1]. И снова правит и переделывает «Euthymia».

Во внешне незамысловатых миниатюрах цикла писатель неизменно идет к типическому, к обобщению: либо из разбросанных по жизни «невыдуманных» фактов воссоздает единый человеческий характер и его судьбу (как в рассказе «Всю жизнь отдала»), либо выхватывает из жизни «готовую» историю, уже заключающую в себе обобщение (как в «Дне рождения»).

А те приемы «сжатия», «стискивания» сюжета, фразы, точный отбор фактов и деталей, в которых, как в капле, отражается мир, делали вересаевские миниатюры удивительно емкими. Писателя и раньше мучил секрет краткости. Еще в конце прошлого века он обнаружил явное пристрастие к форме лаконичной записи, отрывочному эпизоду. Дневник Чеканова («Без дороги») или «Записки врача» — это далеко не все примеры. С годами пристрастие к лаконичности усиливалось. «Великим хочешь быть — умей сжиматься» — не только заголовок одной из статей В. Вересаева о Пушкине, но и творческая программа, развитая затем в предисловии к «Невыдуманным рассказам о прошлом»: «...С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести; и все интереснее — живые рассказы о действительно бывшем... И вообще мне кажется, что беллетристы и поэты говорят ужасно много и ужасно много напихивают в свои произведения известки, единственное назначение которой — тонким слоем спаивать кирпичи». А эти «кирпичи» совсем незачем «развивать», обставлять психологией, описаниями природы, бытовыми подробностями, разгонять листа на три, на четыре,— они и без того «представляют самостоятельный художественный интерес». И если в предисловии, несомненно, была доля полемической крайности, то самими «Невыдуманными рассказами о прошлом» писатель действительно раскрыл некоторые плодотворные «секреты краткости».

В «Невыдуманных рассказах о прошлом» строгость В. Вересаева к слогу достигла высшей меры. Образцом и учителем безраздельно стал Пушкин, экономность и емкость фраз у которого восхищала. «Я не знаю ни одного другого поэта в мире, который столько сумел бы вложить в молчание многоточий»[2],— писал В Вересаев в черновых набросках «Над Пушкиным» (1942—1943 годы).

В цикле он прямо следует традициям пушкинской прозы с ее короткой фразой, экономностью в образах, резким повышением удельного веса глагола. Только, пожалуй, язык В. Ве-

---

[1] ЦГАЛИ
[2] Там же.

ресаева еще более аскетичен, фраза доведена до телеграфной краткости, и состоит она по большей части чуть ли не из одних глаголов, отмечающих поступок и действие героя; и в языке отразился общий принцип «Невыдуманных рассказов» — лаконизм — требовал раскрытия характеров героев в действии, без помощи авторского «комментирования» происходящего, как это бывает в драме. «Пришла в собор. Софийский собор открыт для посетителей целый день Димка ходила, смотрела, садилась отдохнуть, опять ходила. Никто не являлся. Она с утра не ела. От голода и пережитого волнения начала кружиться голова. Упадет в обморок, обратит на себя внимание... Всю силу воли направила на то, чтоб не упасть...» («Два побега»). Ни слова о внутреннем состоянии героини после побега из тюрьмы, и в то же время нервное возбуждение Димки ясно передано ее поведением.

Будучи решительным врагом словесных «вычурностей и кривлянья», при всей строгости к языку В. Вересаев, однако, чужд пассивному отношению к слову. Его забота о развитии литературного языка сказывалась не только в настойчивых поисках в народной гуще образных словечек и оборотов, она проявлялась в отыскивании лаконичных языковых форм. Это право он страстно защищал в оставшейся неопубликованной статье «О художественных редакторах» (март — апрель 1941 года). В ней он спорил с горе-редактором, который «со строгостью учителя, твердо усвоившего все правила школьной грамоты... следит за тем, чтобы все было написано «как принято». И особенно возмущала писателя редакторская правка по принципу — «Ничего нельзя писать сокращенно»: «Очевидно (вставлено: **что**) он их предупредил». «Семен послал в дивизию телеграмму (вставлено: **о том**), что Туз — бандит. Туз перехватил (вставлено: **эту**) телеграмму» [1]. Статья не была следствием минутного раздражения неудачной правкой «невыдуманного рассказа» «Туз» в редакции журнала «Тридцать дней». Спор был глубже. В противовес горе-редактору В. Вересаев стремился писать именно «сокращенно», настойчиво «стискивал» фразу, доводя ее порой до одного слова В рассказе без заглавия: «В восьмидесятых — девяностых годах в Петербурге на сцене русской оперы в Большом театре пел тенор Михаил Иванович Михайлов. Голос прекрасный» (Разрядка моя.— Ю. Б.). Примеров таких сколько угодно. И в каждом из них выделение одного, двух слов в самостоятельную фразу не случайно. Когда-то В. Маяковский отстаивал «лесенку» и мотивировал графическое дробление стихотворной строки стремлением обратить внимание читателя на какое-то особенно важное в смысловом отношении слово стиха. Тем самым повышалась значимость этого слова, его емкость. У В. Вересаева в основе тот же прием. Миниатюра о теноре Михайлове посвящена одной из загадок искусства: как уживается в человеке талант и недалекость, невежественность. Рассказ, собственно, состоит из нескольких «невыдуманных» фактов, демонстрирующих ограниченность Михайлова. Но они «заиграют», только если читателю будет ясно, что связаны с незаурядным человеком. Иначе потеряется волновавшая писа-

[1] ЦГАЛИ.

теля тема курьезов искусства, иначе тема низведется до плоских анекдотов. Писателю важно поэтому сразу же подчеркнуть, что Михайлов — талант. Можно было бы пространно описать его великолепные вокальные данные, а можно было сделать то, что сделал В. Вересаев,— в самом начале рассказа дать фразу в два слова: «Голос прекрасный». Графически выделенные, они обязательно обратят на себя внимание читателя и сохранятся в его памяти. Так восполняется краткость.

Писатель разбивал представление о коротком рассказе как о жанре, не позволяющем широко и полно отражать все многообразие мира, жанре ограниченном, а потому второсортном. «Невыдуманность» миниатюр при огромной их емкости и силе типизирующего заряда позволила В. Вересаеву из летописца русской интеллигенции стать летописцем революционной эпохи. Пусть каждая из них — только «короткая заметка», только «кирпич», из которых писатели обычно строят высокое здание повести или романа, но, объединенные вместе, они составили целостную картину жизни, проникнутую единой авторской идеей, картину всестороннюю и, если хотите, эпическую.

Смерть оборвала работу писателя над созданием единого ансамбля из более чем двухсот «невыдуманных рассказов». В. Вересаев успел систематизировать первые десять главок-разделов, включающих около ста пятидесяти миниатюр. По этим десяти разделам можно безошибочно судить об общем идейно-композиционном замысле автора, о весьма интересном и глубоко продуманном принципе расположения рассказов в книге.

Первые три главки цикла — нравы привилегированных слоев общества старой России: галерея «уродов прошлого», тех, кто калечил людей духовно и физически, и тех, что сами искалечены моралью царской действительности. Это и «не такой подлец», считающий вполне разумным собственное горе лечить чужими страданиями, и молодой писатель, в целях изучения психологии устраивающий гнусный эксперимент с любимой девушкой, и «богатый сибирский золотопромышленник», в ослеплении злобы истязающий собственную дочь. Писатель пока главным образом сосредоточивает свое внимание на внутреннем, психологическом облике этих душевно опустошенных и умственно убогих людей. О причинах такого разложения личности он здесь говорит скупо, но авторская точка зрения уже достаточно ощутима. Внешне забавный, а по сути своей страшный рассказ «парикмахера по собачьей части» прямо указывает на корни зла: они в классовом неравенстве, они в бессовестной эксплуатации бесправных мира сего. «Вот какие бывают графини! Прислуга умирай у нее, ей дела не будет... А для паршивой собачонки все готова делать!..» — так заканчивает свой рассказ герой, объясняя этим «всю дурость Петербурга».

После третьего раздела идет резкое углубление социальных мотивов в рассказах. В главе четвертой писатель показывает тех, на чьих спинах держится благополучие малых и «больших негодяев»,— показывает народ, крестьянство. Темнота, религиозный дурман не позволяют народу единым фронтом восстать против «дурости Петербурга». Но вместе с тем писатель отмечает природную моральную крепость простых тру-

жеников: жизнелюбие не оставляет бедноту даже в моменты самых тяжких горестей («На пожарище»).

Дав яркие зарисовки деградации «верхов» и забитости «низов», В. Вересаев в пятом и седьмом разделах группирует воспоминания об идейно-общественной жизни страны конца прошлого — начала XX века, о росте революционных настроений в среде русской интеллигенции. Он повествует о народоволке П. С. Ивановской, об отчаянной революционерке Димке, о социалистической пропаганде, которую вел среди рабочих П. Г. Смидович, об отповеди, данной большевиком И. И. Скворцовым-Степановым декадентствующим Д. Мережковскому и Андрею Белому.

А в шестую главу, вклинившуюся в эти воспоминания, В. Вересаев включает рассказы, показывающие, что революционные настроения все шире захватывают массы и становятся подлинно всенародными. Писатель теперь уже непосредственно сталкивает «хозяев жизни» с бесправными русскими мужиками, одетыми в солдатские шинели. Он изобличает равнодушие офицеров к своим подчиненным («Нашему госпиталю...»), систему, при которой всякий, добившийся хоть какой-нибудь власти, считает чуть ли не правилом хорошего тона измываться над тем, кто стоит ступенькой ниже по военно-служебной лестнице («Из нашей части...»). Непримиримыми врагами стали эксплуататоры и народ, наиболее передовые представители которого активно включились в революционную работу, так же, как бывший «токарь по металлу», солдат Дмитрий Сучков («Враги»).

А рассказ конца 20-х годов «Мимоходом», которым не случайно завершается седьмой раздел, повествует об истории, происшедшей в первые годы Советской власти. В нем писатель подводит итог тому анализу состояния и перспектив развития дореволюционного русского общества, который он предложил в первых семи главках, уточняет основную мысль цикла: в рассказе «Мимоходом» предстает образ будущего — нового человека, человека советской эпохи, чурающегося интеллигентской болтовни, скромного человека-деятеля.

Вересаевым написан не один роман, не одна повесть, но именно в миниатюрах он сумел впервые подняться до столь глубокого понимания закономерностей исторического развития. Именно «Невыдуманные рассказы» знаменуют смену центрального положительного героя его творчества: преданный народу, но вечно сомневающийся и заплутавшийся интеллигент уступает место девушкам из «Дня рождения» и «Мимоходом», Дмитрию Сучкову («Враги») — первому в творчестве В. Вересаева полнокровному образу борца-пролетария. Центральным положительным героем становится революционер, практик, трудом своим, скромно и без фраз обновляющий жизнь.

Такова ясная и четкая композиция цикла, не оставляющая сомнений в общем идейном замысле книги: многочисленные «невыдуманные рассказы» должны были стать мозаикой огромной картины, доказывающей закономерность движения России к революции, историческую справедливость торжества социалистического общества. В произведениях В. Вересаева дооктябрьских лет преобладали драматические, а порой и трагические ноты.

Это было естественно: повествуя об ужасах современной ему действительности, писатель нередко терял историческую перспективу. В «Невыдуманных рассказах о прошлом» он смотрит на те же события с новой позиции, с позиции общества, завоевавшего подлинную свободу народу, а потому преобладающая интонация в этом цикле жизнерадостная. Характерно, что подготовленная автором часть рукописи книги «Невыдуманных рассказов о прошлом» завершается заметками о детях, о тех, кому предстоит строить светлое общество будущего и жить в нем.

Повестью «На повороте», записками «На японской войне» и незавершенной рукописью о 1905 годе В. Вересаев вплотную подошел к М. Горькому, но в то время он не сумел овладеть новым методом, принципами изображения героя-пролетария, нередко пасовал при анализе исторической действительности. Потребовались десятилетия исканий, срывов, заблуждений, потребовался без малого тридцатилетний опыт советского общества, прежде чем писатель сумел перешагнуть грань, отделяющую его творчество от творчества художников социалистического реализма.

Многолетняя и плодотворная деятельность В. Вересаева в литературе была отмечена в 1939 году орденом Трудового Красного Знамени, а в 1943-м — присуждением Сталинской премии первой степени.

Он весь с головой в работе: беспрестанно наращивает цикл «Невыдуманных рассказов о прошлом», полон творческих планов, приступает к книге «Невыдуманных рассказов о настоящем». Но закончить выполнение этих замыслов ему не удалось: 3 июня 1945 года В. Вересаева не стало.

В своем творчестве Вересаев отразил две эпохи нашей литературы — критического реализма и реализма социалистического. На долгом и трудном писательском пути он не раз жестоко ошибался, но никогда не лгал, не заключал сделок с совестью, а честно искал правду. Вероятно, именно поэтому он уже глубоким стариком нашел в себе силы и замечательной книгой «Невыдуманных рассказов о прошлом» сумел встать вровень с новой, молодой литературой советской эпохи.

Ю. БАБУШКИН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1887—1900

ЗАГАДКА

Я ушел далеко за город. В широкой котловине тускло светились огни города, оттуда доносился смутный шум, грохот дрожек и обрывки музыки; был праздник, над окутанным пылью городом взвивались ракеты и римские свечи. А кругом была тишина. По краям дороги, за развесистыми ветлами, волновалась рожь, и тихо трещали перепела; звезды теплились в голубом небе.

Ровная, накатанная дорога, мягко серея в муравке, бежала в даль. Я шел в эту темную даль, и меня все полнее охватывала тишина. Теплый ветер слабо дул навстречу и шуршал в волосах; в нем слышался запах зреющей ржи и еще чего-то, что трудно было определить, но что всем существом своим говорило о ночи, о лете, о беспредельном просторе полей.

Все больше мною овладевало странное, но уже давно мне знакомое чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности. Эта ночь была удивительно хороша. Мне хотелось насладиться, упиться ею досыта. Но по опыту я знал, что она только измучит меня, что я могу пробродить здесь до самого утра и все-таки ворочусь домой недовольный и печальный.

Почему? Я сам не понимаю... Я не могу иначе, как с улыбкою, относиться к одухотворению природы поэтами и старыми философами, для меня природа как целое мертва.

В ней нет души, в ней нет свободы...

Но в такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь. тайная и неуловимая; что за изменяющимися звуками и

красками стоит какая-то вечная, неизменная и до отчаяния непонятная красота. Я чувствую,— эта красота недоступна мне, я не способен воспринять ее во всей целости; и то немногое, что она мне дает, заставляет только мучиться по остальному.

Никогда еще это настроение не овладевало мною так сильно, как теперь.

Огни города давно скрылись. Кругом лежали поля. Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барской усадьбы. Ночная тишина была полна жизнью и неясными звуками. Над рожью слышалось как будто чье-то широкое сдержанное дыхание; в темной дали чудились то песня, то всплеск воды, то слабый стон; крикнула ли это в небе спугнутая с гнезда цапля, пискнула ли жаба в соседнем болоте,— бог весть... Теплый воздух тихо струился, звезды мигали, как живые. Все дышало глубоким спокойствием и самоудовлетворением, каждый колебавшийся колос, каждый звук как будто чувствовал себя на месте, и только я один стоял перед этой ночью, одинокий и чуждый всему.

Она жила для себя. Мне было обидно, что ни одной живой души, кроме меня, нет здесь. Но я чувствовал, что ей самой, этой ночи, глубоко безразлично, смотрит ли на нее кто или нет и как к ней относится. Не будь и меня здесь, вымри весь земной шар,— и она продолжала бы сиять все тою же красотою, и не было бы ей дела до того, что красота эта пропадает даром, никого не радуя, никого не утешая.

Слабый ветер пронесся с запада, ласково пригнул головки полевых цветов, погнал волны по ржи и зашумел в густых липах сада. Меня потянуло в темную чащу лип и берез. Из людей я там никого не встречу: это усадьба старухи помещицы Ярцевой, и с нею живет только ее сын-студент; он застенчив и молчалив, но ему редко приходится сидеть дома; его наперерыв приглашают соседние помещицы и городские дамы. Говорят, он замечательно играет на скрипке и его московский учитель-профессор сулит ему великую будущность.

Я прошел по меже к саду, перебрался через заросшую крапивою канаву и покосившийся плетень. Под деревьями было темно и тихо, пахло влажною лесною травою. Небо здесь казалось темнее, а звезды ярче и больше, чем в поле. Вокруг меня с чуть слышным звоном мелькали летучие мыши, и казалось, будто слабо натянутые струны звенят в

воздухе. С деревьев что-то тихо сыпалось. В траве, за стволами лип, слышался смутный шорох и движение. И тут везде была какая-то тайная и своя, особая жизнь...

На востоке начинало светлеть, но звезды над ивами плотины блестели по-прежнему ярко; внизу, под горою, по широкой глади пруда шел пар; открытая дверь купальни странно поскрипывала в тишине. Однообразно кричал дергач. «Ччи-чи! Ччи-чи!» — спокойно и уверенно звучало в воздухе. Спокойно мерцали звезды, спокойно молчала ночь, и все вокруг дышало тою же уверенною в себе, нетревожною и до страдания загадочною красотою.

Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я присел на скамейку. Вдруг где-то недалеко за мною раздались звуки настраиваемой скрипки. Я с удивлением оглянулся: за кустами акаций белел зад небольшого флигеля, и звуки неслись из его раскрытых настежь, неосвещенных окон. Значит, молодой Ярцев дома... Музыкант стал играть. Я поднялся, чтобы уйти: грубым оскорблением окружающему казались мне эти искусственные человеческие звуки.

Я медленно подвигался вперед, осторожно ступая по траве, чтоб не хрустнул сучок, а Ярцев играл...

Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. Но что это была за импровизация! Прошло пять минут, десять, а я стоял не шевелясь и жадно слушал.

Звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-то, словно силились выразить что-то, что выразить были не в силах. Не самою мелодией приковывали они к себе внимание — ее, в строгом смысле, даже и не было,— а именно этим исканием, томлением по чем-то другом, что невольно ждалось впереди.— Сейчас уж будет *настоящее*— думалось мне. А звуки лились все так же неуверенно и сдержанно. Изредка мелькнет в них что-то — не мелодия, лишь обрывок, намек на мелодию,— но до того чудную, что сердце замирало. Вот-вот, казалось, схвачена будет тема,— и робкие ищущие звуки разольются божественно спокойною торжественною неземною песнью. Но проходила минута, и струны начинали звенеть сдерживаемыми рыданиями: намек остался непонятным, великая мысль, мелькнувшая на мгновенье, исчезла безвозвратно.

Что это? Неужели нашелся кто-то, кто переживал теперь то же самое, что я? Сомнения быть не могло: перед *ним* эта ночь стояла такою же мучительною и неразрешимою загадкой, как передо мною.

Вдруг раздался резкий, нетерпеливый аккорд, за ним другой, третий,— и бешеные звуки, перебивая друг друга, бурно полились из-под смычка. Как будто кто-то скованный яростно рванулся, стараясь разорвать цепи.

Это было что-то совсем новое и неожиданное. Однако чувствовалось, что именно нечто подобное и было нужно, что при прежнем нельзя было оставаться, потому что оно слишком измучило своею бесплодностью и безнадежностью... Теперь не слышно было тихих слез, не слышно было отчаяния; силою и дерзким вызовом звучала каждая нота. И что-то продолжало отчаянно бороться, и невозможное начинало казаться возможным; казалось, еще одно усилие — и крепкие цепи разлетятся вдребезги и начнется какая-то великая, неравная борьба. Такою повеяло молодостью, такою верою в себя и отвагою, что за исход борьбы не было страшно. «Пускай нет надежды, мы и самую надежду отвоюем!» — казалось, говорили эти могучие звуки.

Я задерживал дыхание и в восторге слушал. Ночь молчала и тоже прислушивалась,— чутко, удивленно прислушивалась к этому вихрю чуждых ей, страстных, негодующих звуков. Побледневшие звезды мигали реже и неувереннее; густой туман над прудом стоял неподвижно; березы замерли, поникнув плакучими ветвями, и все кругом замерло и притихло. Над всем властно царили несшиеся из флигеля звуки маленького, слабого инструмента, и эти звуки, казалось, гремели над землею, как раскаты грома.

С новым и странным чувством я огляделся вокруг. Та же ночь стояла передо мною в своей прежней загадочной красоте. Но я смотрел на нее уже другими глазами: все окружавшее было для меня теперь лишь прекрасным беззвучным аккомпанементом к тем боровшимся, страдавшим звукам.

Теперь все было осмысленно, все было полно глубокой, дух захватывающей, но родной, понятной сердцу красоты. И эта человеческая красота затмила, заслонила собою, не уничтожая *ту* красоту, по-прежнему далекую, по-прежнему непонятную и недоступную.

В первый раз я воротился в такую ночь домой счастливым и удовлетворенным.

1887—1895

ПОРЫВ

I

В тот вечер мы засиделись. По крыше барабанил дождь, сад шумел, где-то наверху, за стеною, быстро и мерно капало. Все снаружи сливалось в смутный шум, и рядом с ним в зале казалось особенно тихо. Самовар потух.

Шура тесно прижималась к маме. Мама гладила ее по голове и грустно говорила:

— Солнцевка наша с каждым годом все меньше дает доходу, земля заложена-перезаложена, нечем даже заплатить проценты в банк. Только и оставалось папе, что поступить на должность. А ехать приходится в Пожарск за двести верст. Отпуск бог весть когда дадут, живи там один-одинешенек... И как ему самому не хочется ехать! Вчера он говорил мне: «Уеду я в Пожарск,— когда я опять увижу мою Шурку, ее глазки и ласки?» И в рифму так: «глазки — ласки»...— слабо улыбнулась она.

— Мамочка, да зачем же ехать папе? — быстро и умоляюще возразила Лиза.— Ну, ты говоришь, что мало денег. Так мы можем есть черный хлеб, а не белый. Потом: зачем у нас пирожное? Ведь можно и без пирожного очень хорошо... Все эти деньги и можно копить, и тогда папе совсем не нужно ехать.

— Все это мало поможет... Вот теперь ты в гимназию поступаешь, Мите через три года уж ехать в университет. А там Шура подрастет. На все нужны деньги, деньги... С пирожного тут не много выгадаешь.

Мама задумалась. Старшая сестра Катя шила на машине. Мерный стук колеса одиноко раздавался в зале, не мешаясь с шумом дождя и ветра за окном.

— Да что это он, право, все у себя в кабинете сидит?..

Василий Алексеевич, иди, голубчик, к нам! — позвала мама.— Что это в самом деле! И так всего неделька осталась, а ты все у себя сидишь за бумагами. Успеешь еще.

Папа кашлянул, поднялся и, разминаясь, вошел в зал... Сухощавое лицо его было устало, глаза, как всегда, смотрели сумрачно и озабоченно.

— Ей-богу, ведь так и не увидишь тебя совсем. Посиди с нами хоть немножко.

— Нужно было там счеты свести за июнь... А дождь-то слышишь? — все идет и идет!.. Это уж пятый день без перерыва. Совсем сопреет хлеб в поле.

— А что барометр говорит?

— Э, что барометр! — Папа безнадежно махнул рукою, сел на диван и стал закуривать папиросу.— Ну, а ты что, козявка, смотришь? — ласково обратился он к Шуре, тихо щекоча ее.

Шура поежилась и, удерживая его руку, переглянулась с Лизой.

— Папа, а что я тебе скажу!

— Ну, что ж ты мне скажешь?

— Я сказку знаю.

— Сказку? Расскажи, расскажи!

Шура с значительной улыбкою снова взглянула на Лизу. Лиза слабо вспыхнула.

— Меня Лиза научила.

— Вот как! Ну, садись ко мне, рассказывай!

Шура взобралась к папе на колени, глубоко вздохнула, еще раз переглянулась с Лизой и, улыбаясь, поправила на себе передник.

— Ну, раз были три девочки... маленькие. У двух девочек была мама, а еще одна девочка была... Как это? Знаешь, у ней не было мамы. Это называется когда без мамы девочка... это...

— Ну, сиротка называется.

— Да, сиротка. Ну, хорошо. Две девочки были нехорошие, а мама их любила...

Шура рассказывала не торопясь, с чуть заметною улыбкою на губах. Зато Лиза сильно волновалась; она не спускала с Шуры пристального взгляда и каждую минуту была готова прийти на помощь. Но у Шуры дело шло хорошо.

Папа с тихою улыбкою слушал и играл ключиком от часов.

— Ну, она танцевала, танцевала и нечаянно потеряла

туфельку. Царь посмотрел — чья это туфелька? А Машечка взяла и поскорее уехала домой...

— Шура! Сандрильона! — быстро подсказала Лиза.

— Санди... лё...

Шура помолчала.

— Лиза, можно, я лучше «Машечка» буду говорить? А то так трудно — «Сирдилё».

— Говори, душечка, как хочешь, это все равно,— поддержал ее папа.— Ну?

— Ну, царь взял туфельку, посмотрел... А туфелька была та-а-ка-я хорошая! Царь взял и говорит: ту девочку, которой как раз... эта девочка моя мама будет.

— Жена то есть? — улыбнулся папа.

— Да, да, жена!.. Ну, тогда солдаты по-ошли, по-ошли... Взяли одну девочку — знаешь, ту, злую? — а ей пальчик не как раз. Мама ей тихонько сказала: отрежь себе пальчик! Ну, хорошо. Царь приехал, посмотрел,— туфелька как раз. Вдру-уг...

Лицо Шуры озарилось торжествующей улыбкой, глаза насмешливо сузились.

— Вдруг голубочки летят! Летят, летят, крыльями махают... Все испугались: что такое? А они летят и поют:

Царь, царь, посмотри:
Кровь течет на пальчике!

Царь посмотрел,— да!.. А-а, вот как! Ну, пшел вон!..

Мы расхохотались. Шура замолчала и удивленно оглядела нас: она этого смеха совсем не ждала. Папа схватил ее и стал осыпать поцелуями.

— Ах ты, Шурка, Шурка! — хохотал он.— «Пшел вон!»— великолепно... Ха-ха-ха!

Вдруг в окно передней раздался снаружи резкий, сильный удар; стекла задребезжали в рамах. Все замолчали и переглянулись. Еще раз ударили и еще,— все чаще и сильнее.

Папа в недоумении встал.

— Что там такое?

Мы поспешно вышли в переднюю, я раскрыл окно. Влажный, холодный ветер рванулся мне в лицо; в черном мраке не было ничего видно.

— Кто там?! — испуганно крикнул я.

Задыхающийся голос ответил из темноты:

— Я, барин, Алешка с мельницы! Впусти поскорей, позови старого барина!

Мы отперли дверь. Алешка вошел — бледный, растре-

панный; он был бос и без шапки, намокшая рубашка липла к телу.

— Помоги, барин! Тонем!

— Как «тонем»?! В чем дело?!

— Хлещет вода через плотину, удержу нет. Городище все залило, под самую мельницу подходит, гляди сейчас избу снесет... Хозяин к тебе послал, нельзя ли ребят ваших на подмогу... Что только делается!

— Господи ты мой боже! — Мама в ужасе перекрестилась.

Папа кашлянул и нахмурился, что всегда бывало, когда он волновался.

— Да с чего все это? — спросил он. — Щиты-то вы на плотине подняли?

— То-то, что нет! Да кто ж их знал? Полегоньку прибывала вода, — думали, спустить всегда поспеем: что ее понапрасну перед помолом спускать? А тут вдруг как нахлынула, — сразу на три четверти... И не подступишься к щитам, через них бьет... Говорят, верхнюю мельницу прорвало, богучаровскую.

— Ступай же, Митя, разбуди скорее работников, — обратилась ко мне мама. — Боже ты мой, боже. Вот несчастье-то!

— Да скажи, чтоб багров захватили и веревок, — добавил папа.

Алешка стоял, расставив ноги, и поводил лопатками под мокрою рубахою.

— Ты им, барин, на лошадях прикажи ехать, — сказал он. — Пешком теперь не пройдешь, весь луг залило.

Я выбежал на двор. Ночь была черная-черная. Сад глухо ревел, дождь бешено сек железную крышу дома, ветер шумно проносился в воздухе. Все кругом было необычно и страшно: в бушевавшем холодном мраке крылись стоны, гибель, смерть...

Я вбежал в сарай, где спали работники, ощупью нашел койку моего приятеля Герасима и стал его будить. Он спал как убитый, я еле растолкал его, долго он не мог ничего понять.

— Да вставай же, Герасим! Наводнение на мельнице, — поскорей!

— На-во-дне-нье?

Герасим, зевая, сел и обеими горстями стал скрести голову.

— Поскорей, Герасим! А то там все потонут, пока вы соберетесь.

— Небось не потонут... Эй, ребята! Вставай! Семеныч!

В углах заворочались.

— Чего там? — глухо отозвался Влас, рабочий староста.

— На мельницу ехать! Вставай, эй!..

— На мельницу? — сонно пролепетал Влас.

— Да ну, вставайте! Черти! Завалились!

Герасим прыгнул на пол. В углах заворочались сильней. Кто-то угрюмо спросил из темноты:

— На каку-таку мельницу?

Я с отчаянием воскликнул:

— Да вставайте же наконец! Наводнение на мельнице... Поскорей! Богучаровскую мельницу уже снесло, все Городище залило.

Работники стали подниматься.

Я сказал Власу о баграх и телегах и побежал домой к себе наверх. В темноте я отыскал и надел большие сапоги, пальто, но фуражки не было. Я вспомнил: она лежит в зале на окне.

— Куда это ты, Митя? — спросила мама, когда я вбежал в залу и схватил фуражку.

Я торопливо ответил:

— На мельницу с работниками!

— Это еще что тебе вздумалось! Утонуть, что ли, тебе хочется или простудиться? Нет, голубчик, вздор! И не думай!

Я остановился.

— Ну, мамочка, позволь ехать! — сказал я упавшим голосом.— Ведь вот работников же ты посылаешь!

— Нет, нет, нет, и не думай! Работники — совсем другое дело.

— Я лучше всех их плаваю, а с Герасимом мы вчера, когда боролись...

— Ну, нет, уж оставь это, пожалуйста. Нельзя — и нельзя. Об этом нечего и говорить.

Из кабинета вышел папа.

— О чем это? В чем дело? — спросил он.

— Да пустяки: Митя хочет ехать на мельницу.

Папа нахмурился.

— Что тебе там понадобилось? Оставь, брат, это, сделай милость! И без тебя все прекрасно обойдется. Ступай-ка лучше спать: уж первый час... Спать, спать, детки! По-

ра! — обратился он к сестрам.— И ты, клопенок, еще не спишь? Ах ты козявка! Сию минуту всем в постель! Марш!.. Раз, два, три!

Сестры простились и ушли. Папа с мамою отправились в кабинет. Я постоял в опустевшей зале и побрел к себе.

В полутемной передней, у окна, слабо рисовалась небольшая тень. Я вгляделся: это была Лиза. Она грызла на дрожащих пальцах ногти и следила за мною нахмуренными, блестящими глазами. Я встретился с нею взглядом и почему-то остановился.

— Ми-тя!

— Что?

— Митя, ты... поедешь туда?

Я угрюмо ответил:

— Ведь ты слышала, папа не позволил.

— Я не знаю... Я бы...— Лиза испуганно оглянулась

Меня вдруг охватила злоба.

— Что бы ты?! — закричал я, задыхаясь.— Чего ты тут стоишь? Скоро час, давно пора спать. Вот я папе скажу, что ты тут... по ночам...

И я быстро вышел.

II

Когда я поднялся к себе наверх, сердце стучало, колени дрожали и подгибались. Я постоял среди комнаты, подошел к окну и раскрыл его. Ветер обдал меня мелкими брызгами; небо было так черно, что на нем даже не видно было очертаний шумевших перед окном деревьев. Я высунулся из окна и стал смотреть влево, на двор.

В темноте двигались тусклые огни фонарей; летучий свет падал то на морду лошади, то на задок телеги, то на сумрачную фигуру работника. С воем ветра мешались грубые, заспанные голоса людей и напряженное лошадиное ржание В душе у меня росло смутное, волнующее чувство, я жадно следил за сборами и дрожал все сильнее.

Работники снарядились. Огни фонарей замелькали быстрее, раздались понукания, шум колес, и все исчезло в темноте. Сердце мое упало, я вдруг перестал дрожать, волнение прошло; с скверным, в чем-то оправдывающимся перед собою чувством я отошел от окна.

Вяло раскрыл Лермонтова, попробовал читать. Это был мой любимый поэт.

Час разлуки, час свиданья
Им не радость, не печаль,
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.

Господи, как бесцветно, как плоско и ненужно!.. Я с отвращением закрыл книгу и снова высунулся в окно.

Дождь все лил и лил; деревья бились под ветром и глухо стонали. В шуме непогоды мне чудились далекие, отчаянные вопли, треск и гул.

На дворе послышался быстрый, хляпающий по грязи топот скачущей лошади. Торопливый голос прокричал:

— Микола-ай! Поди у Степана Степаныча весла возьми: лодку спрашивают!

У меня радостно екнуло сердце: это кричал Герасим. Он был оттуда, где теперь в бушующей тьме кипела борьба и работа. И опять что-то всколыхнулось в душе, и прежняя дрожь побежала по спине и плечам.

На дворе снова замелькал фонарь. Послышался говор: Герасим спорил с дворником Николаем.

— А, ч-черт косоногий! — донесся озлобленный голос Герасима.— Да один с нею не справишься! В этакую-то пору!.. Я и весел в руки никогда не брал!

То, что нерешительно дрожало в глубине души, вдруг вольною, сильною волною взмыло вверх и радостно охватило душу. Я быстро надел пальто, фуражку и полез из окна. Руки и ноги скользили по намокшим, склизким планкам, перед глазами мелькнуло окно нижнего этажа, и я обрушился в кусты сирени под окном.

Отирая мокрые, исцарапанные руки о пальто, я подошел к спорившим.

— О чем это вы? — спросил я Герасима.

Герасим взглянул на меня и, не отвечая, снова обратился к Николаю:

— Черт косоногий, сволочь! Слышь, пойдем, что ли! Боисси!.. Нешто один с нею справишься?

— Сказано тебе: не приказала барыня отлучаться от двора,— огрызался Николай.

— «Барыня не приказала»!.. Леший этакий, боисси, в конуру запрятался.

— Э, плюнь ты на него! — с презрением крикнул я.— Гараська, идем со мной!

— О-о? — радостно отозвался Герасим.— Вот так барин!.. Пойдем!

Он взвалил весла на плечи. Мы побежали в сад.

Шлепая по лужам, мы пересекли липовую аллею, перелезли через плетень и по крутому скользкому откосу сбежали к реке.

Вода сажени на две выступила за обычную линию берега. Далеко в темноте уродливо чернела над водою накренившаяся, полузатопленная купальня.

— Эге!.. Мостки-то снесло! — протянул Герасим и остановился.— Вот и доберись до лодки!

Он сбросил весла на землю и почесал в затылке.

Я был как пьяный, все легко и смутно проносилось перед глазами, все делалось просто и скоро, как думалось. Тускло сверкала широкая полоса воды, отделявшая нас от лодки, руки сами собою сорвали с тела одежду, и я с разбега бросился в реку. Под водою у меня стеснилось в груди от холода. Потом вдруг все тело загорелось, как от кипятка. Я отвязал лодку от купальни и подплыл с нею к берегу.

Стуча зубами от холода и волнения, я торопливо одевался. Деревья уже не бились под ветром, сквозь разорванные тучи слабо мигали звезды. Мы сели в лодку, я налег на весла и вывел ее на середину реки. Река подхватила нас и помчала.

Плавно отошел назад темный сад, с тихим ропотом отряхивавшийся от дождевых капель; огонек мелькнул сквозь ветви и исчез. Глубокая тьма налегла на лодку. Над водяною гладью чуть темнели верхушки затопленных прибрежных кустов. Вокруг нас, шипя и сшибаясь струями, бежала черная вода.

Герасим неподвижно сидел на корме, понурив голову, и держался обеими руками за борта лодки. А мне было безумно весело; как будто вихрь какой-то подхватил меня, и я упоенно несся в нем; и такими маленькими, пустыми казались мне оставленные назади запреты и мои колебания. Вода шипела вокруг носа лодки, весла гнулись и трещали под моими руками, лодка неслась, как ласточка.

Герасим заговорил:

— А Городище как залило, страсть!.. Подъехали мы, лошади нейдут, назад ворочаются. Ребята по тайдаковской дороге в объезд поехали на березовую рощу...

Из темной дали все явственнее доносился гул бежавшей через плотину воды. Герасим встрепенулся и тряхнул головою.

— Ишь хлещет как! — с улыбкой сказал он, прислушиваясь.— Вот погоди, нанесет нас на плотину, тогда держись: так прямо в бучило и хахнет!

Я усмехнулся. Герасим продолжал меня пугать:

— А в бучиле-то шут сидит, дожидается... Как схваатит за ноги — ге-ге!.. Тогда, брат, посмеешься!

Мне было странно,— неужели Герасим думает, что мне хоть немножко страшно! Я, напротив, жалел, что кругом так мало опасности; мне хотелось бешено разогнать лодку и пустить ее прямо на плотину.

Река круто поворачивала вправо. Мы обогнули мыс. Неожиданно шум падающей воды раздался почти под самым носом лодки, хотя до плотины было еще четверть версты. Далеко в темноте, на склоне рощи, мелькали блестящие точки фонарей. Сквозь гул воды доносился заунывный женский вой.

— Вон они, и ребята подошли! — сказал Герасим, вглядывась в темноту.— Эге! Избу-то уж снесло!.. Держи к берегу!

Мы перерезали течение, выплыли на берег, глубоко залитый водою. У плотины, где раньше была изба, теперь вольно бурлила река. Черная вода стояла под дворовыми навесами и извилистыми волнами плескалась у окна уцелевшей людской.

III

Работники только что подъехали и, тихо переговариваясь, слезали с телег. К ним навстречу бросился мельник.

— Гляньте-ка, братцы, гляньте! — плакал он, и мокрые космы волос тряслись над бледным, жирным лицом.— Все как есть залило,— ничего не осталось!.. Изба-то, глядите вон,— нет ее! Все снесло... Голубчики вы мои! Помирать пора пришла!

Босой и распоясанный, он суетился вокруг работников и дрожащими руками указывал на мельницу.

— Ребяток-то спасли ли? — сурово спросил Влас, снимая сермяжный халат.

— Слава те, господи, повытаскали ребят! А добро все там осталось... И скотина вся там и сундук! — семьдесят, братцы, целковых в нем!.. Хряк вот в сенцах остался, слышь, визжит!

Работники нерешительно толклись вокруг телег и распутывали веревки.

— Ба-а-атюшка ты мой ро-о-одненький!..— скорчившись на узлах, глухо выла мельничиха, и казалось, что воет в трубе осенний ветер.

Один из работников, Афиноген,— высокий мужик с рябым, надменным лицом,— вдруг встрепенулся и бросил в телегу распутанную веревку.

— Ну, ну, ребята, пошевеливайся! — крикнул он.— Берись за багры, чего стоишь?.. Да вон никак и Гараська с лодкой!..

Мы въехали в круг света и подплыли к работникам.

— Эге, и барин тоже тут,— молодчага! — небрежно кинул Афиноген.

Я улыбнулся гордою, радостною улыбкою, но от его пренебрежительного взгляда улыбка закончилась неловким смешком. Афиноген прыгнул в лодку и крикнул мельнику:

— Иваныч, садись с нами! Показывай, где сундук.

Иваныч торопливо уселся на корму.

— Ну, барин, везите к избе! — скомандовал Афиноген.

Я взялся за весла.

— Смотри, ребята, трещит плотина-то,— робко сказал один из оставшихся работников.— Прорвет — и лодку унесет, и вас всех.

Я покосился на Афиногена и засмеялся.

— Ты-то чего боишься? Не тебя ведь унесет.

— Прихвати на случай веревкой за кольцо да придержи конец,— сказал Афиноген.

Веревку привязали к носу. Я налег на весла и подъехал к избе. Афиноген с Иванычем и Герасимом бросились в сени. Я остался ждать в лодке.

Огни фонарей ложились на воду тусклыми, дробящимися полосами. Черная группа работников по ту сторону заводи стояла недвижно и молча. Небо очистилось от туч, на востоке светлело. Из-за угла избы несся непрерывный гул бившей через плотину воды. Лодка подо мною мерно качалась и изредка стукалась о стену избы.

Вдруг где-то — я не успел сообразить где — что-то глухо затрещало и потом тяжело, раскатисто охнуло; я почувствовал, что меня с лодкою куда-то потянуло.

— Хо-о-оо! Держи, держи!!!

Лодка странно запрыгала и вдруг сильно тряхнула меня. Я инстинктивно впился руками в перекладину, перед глазами мелькнуло серое небо — и все вокруг заверте-

лось с оглушительным ревом. Огромный поток, мне казалось, подхватил меня и помчал куда-то в бездну. Я захлебывался...

Вдруг я почувствовал, что лежу на чем-то мягком и склизком. Земля дрожала от страшного гула. Я вскочил на ноги. Кругом воды уже не было. Ко мне подбегали работники, рядом в грязи валялась лодка. Звучали радостные голоса:

— И-ишь! Удержали! Не унесло!

Я молча взглянул на реку. Напор воды опрокинул половину плотины, сорвал по пути мельничные колеса и сильно покачнул свайный амбар. Далеко за плотиною, крутясь в огромных клубах желтой пены, выплывали обломки бревен, хвороста и колес. Вода бешено неслась через пробитое отверстие.

Маленький, пухлый Федосей любовно глядел на меня и изумленно говорил:

— И как это барин наш в бучило не уплыл! Вижу я, братцы мои, прорвало плотину,— ну, думаю, погибай наш барин! Место глыбкое, и не найдешь потом. Держу конец, а сам думаю: лодку, дескать, спасем, а барина нашего не доищемся. Ан вот он — он. Целехонек!

— Долго ли до греха! — вздохнул Влас.— Так бы и пропал паренек!.. О господи батюшка!

Я тряхнул головой и засмеялся.

— Ну, что об этом разговаривать! Не унесло, цел,— чего еще? Что так стоять? Пора и за работу.

В это время мне бросилось в глаза лицо Афиногена. Он смотрел на меня с легкой, едва заметною улыбкой под редкими усами; с такой улыбкой смотрел бы человек на своего спасенного младшего брата. Афиноген подошел ко мне.

— Ну, барин, вы теперь домой ступайте. Ишь промокли как: сухой нитки нет. Холодно. Да и папаша рассердятся; небось, не спросясь ушли?

Я радостно улыбнулся.

— Пускай рассердится!.. Да мне и не холодно вовсе.

Но это была неправда: я дрожал, как в ознобе; промокшее пальто коробом сидело на плечах, рубашка неприятно липла к телу.

Афиноген, Влас и Иваныч обсуждали, что теперь делать. Одни работники слушали их и вставляли свои замечания, другие смотрели, как мутно-желтая вода с ревом неслась сквозь пробоину в плотине. Кондратьевна, жена Ива-

ныча, молча сидела на узлах и апатично следила за мужем красными, опухшими от слез глазами.

Было уже совсем светло. Заря разгоралась все ярче, с востока дул холодный утренний ветерок. Я постоял на месте, окинул всех взглядом и побрел домой.

В окольном пути теперь не было надобности. Схлынувшая вода очистила Городище — луг, лежавший между мельницей и нашей усадьбой. Я прошел его и стал подниматься по дороге в гору. На полпути я оглянулся. Косые лучи утреннего солнца весело играли по лужам и по мокрой, блестящей отаве луга. В березовой роще, за лугом, протяжно стонали иволги; жаворонки заливались в небе.

Вокруг мельницы кипела дружная, горячая работа. Афиноген и Герасим каким-то непостижимым образом пробрались в свайный амбар, в который всей своею силой бил прорвавшийся поток. Уже несколько раз, как показалось мне, заметно дрогнуло крепкое бревенчатое здание, а в слуховое окно все еще вылетали мучные кули и, описав дугу над потоком, ударялись в берег, испуская клубы белой пыли. Остальные работники перебрались на ту сторону реки и старались поднять щиты, чтобы спасти уцелевшую часть плотины.

Мне стало грустно и стыдно, что я ухожу. Потянуло назад. Но было уже поздно, дома могли меня хватиться. Я пошел дальше.

С горы навстречу мне бежала низенькая, толстая фигура человека в темной одежде. Я с беспокойством приглядывался к ее неуклюже-быстрым движениям. Кто бы это мог быть?

Она все приближалась. Я вздрогнул: это была мама.

Редкие волосы ее выбились из-под платка и мокрыми прядями стлались по лицу; пальто было мокро и забрызгано грязью, лицо измучено долгою тревогою. Я в смущении остановился. А она бежала, скользя по грязи, через лужи и промоины, устремив на меня сиявшие счастьем глаза.

В два прыжка я очутился перед мамою и подхватил ее на руки. Она порывисто прижала меня к груди и осыпала поцелуями.

— Ну, слава, слава богу! — проговорила она наконец и начала креститься, в глубоком экстазе подняв глаза к небу; по лицу бежали крупные светлые слезы.

IV

На следующий день я проснулся поздно.

В комнате стоял золотистый сумрак от лучей, пробившихся сквозь занавески; муха со звоном билась о стекло. В доме было тихо, от сарая несся мерный лязг отбиваемых кос.

Я вскочил с постели бодрый, выспавшийся и быстро стал одеваться. Первые две-три минуты я почти не вспоминал о вчерашнем; на душе было радостно и легко, воспоминания проносились в голове, почти не схватываемые сознанием. Лишь умываясь, я вдруг вспомнил о случившемся и немножко смутился. Конечно, мама никому ничего не сказала бы. Но знала о моем ночном путешествии не она одна; ей самой сообщила о нем экономка Липатьевна. А у Липатьевны язык был очень длинный... Смущение мое, впрочем, сейчас же само собою рассеялось, и вниз я спустился в том же светлом, безотчетно радостном настроении.

Чай уже отпили. Катя ждала меня перед потухшим самоваром и вязала что-то крючком. Она встретила меня долгим, серьезным взглядом и молча опустила глаза на вязанье.

Я спросил, что теперь делается на мельнице. Она неохотно ответила и стала наливать мне чай. Вдруг из соседней комнаты, где была мамина спальня, раздался протяжный стон.

Я в смущении прислушался и взглянул на сестру. Она молча продолжала вязать, только губы ее страдальчески сжались. Я спросил:

— Катя, что это?

Она тихо ответила:

— У мамы ревматизм.

У меня неприятно сжалось сердце. Катя сидела, грустно и сосредоточенно склонившись над вязаньем.

— Никогда еще такого сильного не было: мама *плакала*,— прибавила она, не поднимая глаз.

Значит, страдания, правда, были невыносимы, мы знали слезы матери только о нас.

Из спальни вышел папа — нахмуренный, расстроенный. Холодно скользнул по мне взглядом и прошел к себе. Я встал и поплелся в спальню.

Мама лежала в постели с стыдливо страдальческою улыбкою на закушенных губах. Липатьевна, суетясь и взды-

хая, оправляла ее подушки. Пахло йодом. У окна стояла Лиза и, косясь на маму, нервно грызла ногти. Мы встретились с нею глазами. Она пугливо скользнула взглядом в сторону и съежилась Мама крепко поцеловала меня.

— Ну что, голубчик, как ты себя чувствуешь?

— Я?.. Ничего...— пролепетал я.

— Смотри, ничего ли? Может быть... О-о-о! — вдруг застонала она и крепко прикусила губу.— Липатьевна, голубушка, подай мне ту коробку с облатками! — сказала она, передохнув.

Я постоял на месте и, совершенно уничтоженный, вышел из комнаты.

У себя наверху я сел к столу и стиснул голову руками. Господи, что я наделал!

И что меня вчера понесло на мельницу? Что мне там понадобилось! Вспомнился туман радостного опьянения. Вспомнилось, как шипела река вокруг вольно мчавшейся лодки, как улыбнулся мне Афиноген. Мне тогда было весело, мне хотелось, чтобы Афиноген и все видели, какой я храбрый, а в это время... И передо мною вставало лицо матери, вчерашнее — сияющее любовью и счастьем, сегодняшнее — бледное, страдающее. И ни одного упрека, ни одной жалобы, ни даже намека!

На лестнице раздались быстрые шаги и отрывистое покашливание. Я замер: это был папа.

Он вошел. Я встал, чтобы поздороваться. Но папа, как будто не замечая, прошел к столу и сел в кресло.

— Я, брат, поговорить с тобой хотел,— сказал он, немного задыхаясь; взял со стола карандаш и стал вертеть его в руках.— Правда, что ты сегодня ночью ездил на мельницу?

Он с ожиданием устремил на меня взгляд поверх очков. Я чуть слышно ответил:

— Да.

— Так это правда?.. А я, брат, когда мне рассказали, сначала верить не хотел. Что же, самостоятельные, значит, теперь люди, а?

Я молчал.

— Значит, что отец там и мать запретили, до этого нам дела нет? Я сам себе теперь хозяин, а? так? Первый порыв — что́ там о других думать? Пускай там мать в грязи мокнет, пускай там все... Нам-то какое дело?

Он положил карандаш и заходил по комнате.

— Ну, полюбуйся теперь, послушай поди, как мать от боли стонет... А мы зато мельникова поросенка от потопления спасли! — горько усмехнулся он.

Я все молчал. Папа тоже замолчал, продолжая ходить по комнате. Потом снова заговорил, словно рассуждая сам с собою:

— То есть, чтоб до того увлечься, чтоб до того все забыть! Хоть бы немножко, хоть немножко подумать о том, что делаешь! Первый порыв, какой-то сумасшедший, безумный порыв! Хоть бы ты о том подумал: что бы ты там помог — ты, ребенок еще! Ведь там сильные, здоровые мужики были! Ну, а хорошо было бы, если бы ты простудился и схватил тиф? Пролежал бы три месяца, от товарищей отстал бы, и пришлось бы на второй год оставаться в том же классе. Да еще слава богу, если бы только тиф. Ну, а если бы ты утонул? Тебе наше горе, наши слезы нипочем?

Он остановился передо мною.

— Друг мой, не забывай, что ты у нас один. Мы с матерью — старики, не сегодня-завтра умрем,— на кого сестры останутся? На тебе, брат, лежат священные обязанности, и ты не имеешь права относиться к ним с легким сердцем.

Папа совсем успокоился; голос его звучал все мягче и ласковее. Но странно: чем дальше, тем быстрее улетучивалось во мне то настроение, в каком он меня застал. Что-то тяжелое и неприятное стало шевелиться у меня в душе.

Папа сделал движение; он, кажется, хотел обнять меня и поцеловать, он, кажется, ждал, что я выражу раскаяние. Я переступил с ноги на ногу, поднял глаза — и вдруг почувствовал, что непроизвольно, неожиданно для меня самого в них вспыхнул холодный, злой огонек.

Я быстро метнулся взглядом в сторону и закусил губу. Не знаю, заметил ли что папа. Он ласково положил мне руку на плечо и сказал:

— Ну, так не будем же, голубчик, ссориться с тобою; пожалуйста, только чтоб этого вперед никогда не было. Я понимаю, ты поступил так не от злого сердца; но думай же хоть немножко над тем, что ты делаешь.

— Я не виноват! — вдруг угрюмо буркнул я, не поднимая глаз.

Папа опустил руку.

— Не ви-но-ват?

Я стоял все так же насупившись и закусив губу. Изменившимся голосом папа спросил:

— Ты себя, Митя, не считаешь виноватым?

— Нет.

— Ах, тогда другое дело! Тогда, разумеется, другое дело. В таком случае и разговаривать не о чем.

Он повернулся и вышел из комнаты.

V

Я неподвижно стоял. Совершилось что-то невероятное, ужасное, чему даже нельзя подыскать имени... «Не виноват!» Неправда, я был виноват, я чувствовал себя виноватым. Какой-то бессмысленный, самому мне непонятный порыв вырвал у меня это грубое «нет!».

Я медленно спустился вниз и через сад ушел в поле.

В голове было смутно, сердце мертвым комком висело в груди. По золотистой ржи, не глядя на меня, тихо бежали волны; васильки чуждо синели над межою; и чуждо звенели в небе жаворонки. Я взглядывал на свой поступок со стороны, и мне казалось невероятным, чтоб я мог его совершить. Вдруг словно что осенило меня.

Господи, да чего же я! Идти скорей, сказать, что я сам не знаю, как это вышло, попросить прощения...

«Нет!» — раздался в душе негодующий голос.

И то же злобно-упрямое чувство, как тогда, разом охватило меня...

Я воротился домой поздно вечером, когда заря догорела и работники проехали на ночное.

В саду перед домом я остановился и заглянул в окно. В зале ужинали. Слышен был звон ножей и ложек, тихий говор. Мне видно было папу, сидевшего у самого окна, спиною ко мне. Я стал ждать. Наконец задвигались стулья, папа встал. Сестры подошли к нему прощаться. Он перекрестил их и перецеловал.

Я почувствовал, что все время упорным, злобным взглядом слежу за папою. Страшно мне стало, это к *нему* такое чувство!

В зале стихло. Я подождал и стал осторожно пробираться к себе. Но мама еще не спала. Когда я проходил по коридору, она окликнула меня. Делать было нечего, я собрался с духом и вошел, стараясь не смотреть ей в глаза.

Она лежала в постели с обложенною подушками, забинтованною рукою; мне показалось, что лицо ее за этот день похудело, а глаза стали больше.

— Слушай, Митя...— начала она. И пристально глядела на меня

Я смотрел в сторону, но чувствовал на себе ее взгляд, печальный и долгий. Она помолчала.

— Ты, конечно, попросил у папы прощения?

Я прикусил губу и насупился.

— Нет.

Мама молча и внимательно смотрела на меня.

— Да я и не знаю, в чем мне прощения просить,— прошептал я.

— Голубчик мой, что это с тобой сделалось? — с болью спросила она.— Ведь ты его так обидел! Он пришел ко мне,— я его просто не узнала: совсем лица нет... И за что это, за что? Что он тебя ласково попенял, что ты нас не послушался? За это? Так неужели же отец не может этого даже *требовать?* Или ты себя теперь считаешь самостоятельным человеком? Голубчик мой, ведь тебе же пятнадцать лет всего!

Я молчал. Ее глаза смотрели на меня, страдающие и кротко-укоризненные.

— Да, может быть, я еще попрошу прощения! — тихо сказал я.

Мама облегченно вздохнула.

— Ну, иди же, голубчик! Сейчас иди, не откладывай до завтра. Господь с тобой!

Я пошел.

В папином кабинете еще горел огонь. Я тихонько взялся за ручку двери...

Но через минуту я уже сидел у себя наверху, сгорбившись и угрюмо глядя в угол: дальше двери я к отцу не пошел; прежняя темная, непонятная мне сила с негодованием отшатнула меня от его порога. Теперь я окончательно чувствовал себя преступником,— закоренелым, не способным к раскаянию. Но я не ужасался; я ожесточенно закусывал губы и думал: «И пускай!»

Предо мною вставало лицо матери, кроткое, молящее; слышались слова всеобщего осуждения и негодования... «Ну что ж, пускай!» — угрюмо и вызывающе думал я.

VI

Спустившись назавтра к утреннему чаю, я застал всех, кроме мамы, в сборе. Разговор прекратился, как только я вошел. Папа поднял голову и с холодным удивлением измерил меня взглядом, словно недоумевал, что нужно здесь этому неизвестному человеку? Я насупился и, ни с кем не здороваясь, сел к столу.

Папа отвернулся, кашлянул и принялся за свой стакан.

Чай прошел в полном молчании. Катя сидела, строгая и печальная, неподвижно глядя на скатерть. Лиза уныло молчала. Видимо, обе они уже знали все. Шура и та притихла, с удивлением оглядывая нас.

Папа выпил стакан и сейчас же ушел. Молчание не прерывалось. Молча все встали из-за стола. Я подошел к Лизе.

— Хочешь, Лиза, идти на Волчьи Ямы? Там сегодня снопы возят — и работники наши, и щепотьевские мужики.

Я постарался сказать это самым обычным голосом, но вышло очень неестественно. Лиза печально и покорно взглянула на меня.

— Пойдем.

Мы отправились низом, через сад. Я шел, посвистывая и сбивая палкою головки попадавшимся татарникам и чертополоху. Лиза молча шла рядом.

— Митя!

— Что ты?

Лиза робко и с усилием сказала:

— Митя... попроси у папы... прощения...

Я нахмурился.

— Прощения? В чем это?

Она молчала.

— Пожалуйста, не суйся, куда тебя вовсе не спрашивают!

Лиза еще ниже опустила голову. Я снова начал сбивать палкою репейные головки.

— Митя, попроси прощения! — тихо повторила она и умоляюще взглянула на меня.

Я сердито повел плечами и пошел быстрее.

Всю остальную дорогу мы не сказали ни слова.

Что-то вдруг отдалило нас друг от друга.

С этой минуты я весь ушел в себя. Теперь никого не было на моей стороне. Я остался один.

И потянулись дни... Одиночество, в котором я очутился,

было полное. Не только все кругом,— собственное мое сознание было против меня. Только глубоко под сознанием, как скрученная пружина, напряженно дрожала смутная, непонятная мне сила. Она вела меня, направляла — и молчала. А рассудок ясно и строго произносил над нею осуждающий приговор, и я ничего не мог сказать в ее защиту. Но все равно! Злая ли то была сила, добрая ли,— она стала мне дороже меня, я бесповоротно отдался ей и шел с нею против всех.

Папа держался со мною так, как будто не замечал моего присутствия. Мама, прикованная ревматизмом к постели, не выходила из спальни. На прекрасном, всегда спокойном лице Кати я читал такое беспощадное осуждение себе, что, казалось, умри я — и то ее лицо не дрогнуло бы. Я с вызовом принимал это отношение и шел ему навстречу. Но с кем мне теперь было тяжело встречаться, это с Лизой: с ее бледного, страдающего лица смотрели на меня глаза с таким тоскливым вопросом... А я этого-то вопроса и не мог разрешить.

Иногда приходили минуты, когда как будто что-то прояснялось во мне, и я взглядывал на себя со стороны; тогда мне становилось странно,— я ли это живу и действую в своем теле? В такие минуты я замечал, что папа сильно похудел, что между его бровями прорезалась складка, которой раньше не было. И во мне шевелилась жалость к нему и зарождалось желание пойти и примириться с ним, снова все поставить по-старому. Но это желание скоро исчезало, и я снова замыкался в себе.

Время шло, и никакой перемены в наших отношениях не было. Но я был убежден, что между мной и папой еще произойдет что-то необыкновенное и страшное. Если бы папе не предстояло вскорости уехать, все, может быть, вошло бы постепенно в колею; но он через несколько дней надолго уезжал; как же он отнесется ко мне при прощании? Будет и тогда совершенно не замечать меня, как теперь? Это невозможно. Еще невозможнее ждать, чтоб он ласково и горячо простился со мною. Очевидно, должно было произойти что-то особенное...

VII

И вот наконец пришел последний день.

Папе нужно было выезжать к поезду около десяти часов вечера. С раннего утра все в доме стало вверх дном. Липать-

евна переносила из прачечной в залу выглаженное белье. В спальне, под маминым наблюдением, горничные укладывали чемоданы. Афиноген смазывал на дворе тарантас. Папа отдавал последние приказания старосте.

Я просидел у себя наверху весь день. Ни к завтраку, ни к обеду я не вышел. Мне страшно было идти вниз: там все должно было решиться. И я старался оттянуть эту минуту. Внизу ходили, кричали. Я прислушивался, как вор, боящийся, чтоб его не накрыли.

Часов в восемь вечера я собрался с духом и спустился в залу. Все были заняты, и на меня никто не обратил внимания. Я молча остановился у окна. Мимо меня проходили, но никто как будто не замечал меня, словно я был вещью вроде стола или стула, на который странно оглядываться.

Я стоял уже с полчаса.

«Час, другой,— и придет минута...» — вдруг мелькнуло в голове.

И мне стало ясно, что минута эта не пройдет мимо. До тех пор я просто ждал ее, теперь я всем существом почувствовал ее неизбежность. Ведь это *вправду* будет, и не когда-нибудь, а вот сейчас, теперь... Уже к десяти часам все решится; теперь восемь... В эти два часа...

Я прошелся по зале и опять подошел к окну. Сердце замирало от ужаса, злобы и отчаянной решимости.

«Господи, скорее бы!.. Пускай будет что будет, только скорей, скорей...»

Жук влетел в раскрытое окно, за рекою засветился огонек. Сад был еще полон стрекотаньем и чириканьем, но в ясном воздухе уже разливалось что-то задумчиво-тихое, молчаливое. Не шевелились деревья, река чуть зыбилась. И меня поразило, как все кругом торжественно-спокойно. Умереть бы теперь,— именно теперь же, не дожидаясь ничего...

В передней кто-то кашлянул.

— Барин, поди сюда! — услышал я голос Власа.

Я вышел.

— Поди позови ко мне папашу. Совсем из головы вон! Позабыл его про слеги новые спроеить. Скажи, что Влас, мол, пришел.

У меня в горле задрожал смех: слеги какие-то! Будто в этих несчастных слегах теперь дело! Папа стоял перед конторкою и перебирал бумаги. При моем входе он быстро поднял голову и впился в меня глазами.

— Папа, там Влас пришел, просит тебя на минутку.

— Что? — крикнул он плачущим голосом.

Я робко повторил:

— Влас тебя спрашивает. Про слеги новые.

Папа отвернулся и стал рыться в бумагах.

— Хорошо... Сейчас...

Я ушел. В зале уж накрывали ужинать. Николай, со связкою веревок в руках, прошел в мамину комнату, бережно ступая по полу неуклюжими сапогами. Я вышел на балкон и присел на ступеньку. Теперь у меня ничего не было в душе,— была пустота без чувства, без мысли. Как будто мою голову приложили к плахе.

Подали ужинать. Молча все сошлись. Молча и ели все, ни на кого не глядя. Та холодная, тоскливая тяжесть, которая ощущалась всю эту неделю, когда нам приходилось быть вместе, теперь достигла крайней степени. Наконец отужинали. Папа снова ушел к себе.

— Финаге-е-н!.. Лошадей запрягай! — услышал я на крыльце визгливый голос Липатьевны.

Не знаю, откуда у меня взялась смелость: я пошел к маме. Николай увязывал последний чемодан. Покончив с ним, он сложил все в углу один на другой и ушел.

— Митя,— услышал я тихий, дрожащий голос.

Мама смотрела на меня долгим, пристальным взглядом, словно подзывая к себе. Я сделал к ней два шага.

— Митечка! Попроси у папы... прощения...— сказала она и вдруг, всем телом наклонившись вперед, тихо, беспомощно заплакала.

Я остолбенел. Новая, дотоле никогда мною не слыханная нота звучала в ее голосе: то безвольная рабыня плакала, вымаливая у грозного господина хоть каплю сострадания.

— Посмотри на папу... Ведь он в эту неделю... на десять лет постарел,— еле проговорила она сквозь рыдания.

Что-то до крайности напрягшееся вдруг словно оборвалось во мне.

— Мама!.. Я... пойду...— сказал я, задыхаясь, и, высвободив руку, медленно пошел из комнаты.

Как будто чужая, посторонняя душе сила вела меня, не спрашивая, хочу ли я идти, нет ли. Перед папиной дверью я на минуту остановился. Та же сила толкнула меня вперед. Я вошел в кабинет.

Папа сидел за письменным столом и писал что-то в за-

писной книжке. Я неловко подошел и тихо сказал, глядя в землю:

— Папа, прости меня.

Папа перестал писать, как будто удивился и холодно взглянул на меня.

— Простить тебя? В чем? Я на тебя не сержусь.

И он снова взялся за карандаш. С минуту длилось молчание.

— Что же ты стоишь? Иди себе... Да вот, кстати: вели лошадей подавать, пора ехать.

— Прости меня! — повторил я и быстро взглянул на него.

— Поздно, голубчик мой! — печально сказал папа.— Теперь мне ехать пора, а не о прощении разговаривать. Как бы еще на поезд не опоздать. Да я на тебя вовсе и не сержусь. Тебе что, прощенье нужно? Изволь, я прощаю. Ведь тебе это действительно, как я вижу, крайне необходимо.

Он горько усмехнулся и замолчал. Я тоже замолчал, не двигаясь с места.

— О господи! — вдруг воскликнул папа и схватился за голову.— За что, за что мне это? Я тут сижу, как дурак, ночей не сплю напролет... Я пятьдесят лет не плакал, теперь я узнал, что такое слезы... О-о-о!.. О-о-о!.. Если бы у меня что-нибудь такое с отцом вышло, я на шею бы ему кинулся и слезами бы... слезами... А ему и горя мало!.. Ему это только пустая формальность!..

Он откинулся на спинку кресла и зарыдал.

Я быстро поднял голову: он, *он* плакал передо мною!.. Это было невероятно и ужасно. Я кинулся к нему и остановился, беспомощно опустив руки.

— Папочка, прости меня!.. — растерянно повторял я, с испугом и стыдом глядя на него.

— Ступай себе, бог тебе судья!..

Он положил голову на руки и продолжал беззвучно рыдать.

Я смотрел на него и не замечал, что у самого у меня слезы градом лились по лицу. Все, что случилось в последнюю неделю, вылетело у меня из головы; я видел только этого сдержанного человека, теперь плакавшего передо мною, как мальчик. Мне больно и обидно было за него, что он так унизился передо мною, и жалко было его; но главное, я видел теперь, как неизмеримо я не прав перед ним и как трудно мне искупить свою вину.

— За что это, за что? — сказал папа, закрыв глаза рукою.— Ведь ты меня ненавидеть начал, я это ясно вижу... Это за то, что я вам всю жизнь отдал, только о вас и думал. Я не о твоем непослушании говорю,— за это бог тебе судья. Но я в ужас прихожу, когда подумаю о твоей безумной, ничего не разбирающей порывистости, твоей способности увлекаться до полного ослепления. Ты не знаешь, к чему это ведет, а я знаю... У меня сердце кровью обливается, как представлю себе, что ждет тебя в будущем с твоим характером... И ведь мой долг,— *долг*, понимаешь ли ты? — удерживать тебя, предостерегать тебя. И за это-то эта ненависть, эта вражда!.. Бог тебя простит! После когда-нибудь ты оценишь все — тогда ты согласишься со мною, что я был прав...

— Папа... голубчик... прости меня!..— проговорил я, давясь от рыданий.

— Я тебе, друг мой, правду говорю; я на тебя не сержусь. Если ты не веришь мне, если не хочешь видеть моей любви к тебе...

Я в тоске спросил:

— Могу ли я по крайней мере надеяться, что не теперь, а хоть потом, когда-нибудь, ты меня простишь?

Не помню, что происходило дальше; помню только, что это было что-то мучительное, как горячечный сон.

Папа простился со мною нежно и ласково, перекрестил и поцеловал меня; как сквозь туман, вспоминаю наше крыльцо, мерцающие во мраке фонари, папу в дорожном пальто, лица мамы и сестер, поцелуи, пожелания... Звякнул колокольчик, лошади дернули, и ночная темь поглотила тарантас.

Я поднялся к себе наверх и растерянно подошел к окну. Вдали слабою трелью заливался колокольчик. Из-за зубчатого силуэта сосны выглядывал тонкий, блестящий серп месяца. Ветер слабо шумел в липах.

«А все-таки ты не виноват!»—угрюмо прошептал голос в глубине души.

Отчаяние овладело мною, когда я услышал этот задорный голос. Я задушил его в себе и продолжал растерянно смотреть в окно.

1889

ТОВАРИЩИ

Василий Михайлович сидел за стаканом чая у открытого окна. Он спал после обеда и только что поднялся — заспанный, хмурый. Спал плохо: все время сквозь сон он напряженно и тоскливо думал о чем-то; теперь он забыл, о чем думал, но на душе щемило, а в голове неотвязно стояли два стиха, бог весть с чего пришедшие на память:

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой...

Моросил дождь, на заросшей улице чернела грязная дорога; березы противоположного сада смутно рисовались на сером, дождливом небе; где-то кричали галки.

Василий Михайлович задумчиво и неподвижно смотрел в окно. Он думал о том, что уже целых два года прожил в Слесарске; эти два года пролетели страшно быстро, как одна неделя, а между тем воспоминанию не на чем остановиться: дни вяло тянулись за днями,— скучные, бессмысленные; опротивевшая служба, бесконечные прогулки по комнате, выпивки — и тупая тоска, из которой нет выхода, которая стала его обычным состоянием... Неужели так всю жизнь прожить? А между тем впереди уж ничего нет. Не нужно бы ярких радостей, разнообразия, счастья; довольно было бы знать, что живешь для чего-нибудь, что хоть кому-нибудь нужны твое дело, твой труд...

Дождь за окном моросил. Вода с однообразным шумом лилась из желоба в кадушку. В темневшей комнате мерно тикал маятник.

С улицы кто-то окликнул Василия Михайловича. Четве-

ро мужчин в белых фуражках, с раскрытыми зонтиками перебирались наискосок через дорогу к его квартире. Это были акцизники Зубаренко и Иванов, сослуживцы Василия Михайловича, врач Чуваев и Егоров, учитель прогимназии. Иванов, высокий и толстый человек, размахивая палкою, перепрыгивал впереди через лужи и кричал что-то Василию Михайловичу. Они шли к нему.

Василий Михайлович стоял у окна и, сморщившись, смотрел на Иванова. Теперь ему вдруг стала мила его печаль; он охотно остался бы с нею один.

Гости, стуча калошами, вошли в прихожую.

— Что это, господа, как вас редко видно? — сказал Василий Михайлович.

— Вопрос теперь не об этом,— лениво произнес доктор Чуваев, отряхивая воду с зонтика.— Вы лучше скажите: чаем нас напоите? пиво поставите?

— Ну, разумеется! — ответил Василий Михайлович, переходя в шутливо-грубоватый тон Чуваева.— Что я с вашим братом без пива делать буду?

Он пошел в кухню распорядиться. Когда он вернулся в залу, Иванов, смеясь и быстро расхаживая по комнате, рассказывал что-то; его широкое, добродушное лицо дышало весельем, но маленькие глаза смотрели, по обыкновению, жалко и растерянно.

Этот Иванов своею разговорчивостью спасал всех; Василий Михайлович не знал, что бы он без него стал делать с гостями; да, впрочем, они бы и не пришли к нему без Иванова. С тех пор как все они, товарищи по университету, неожиданно встретились в Слесарске в роли скромных чиновников, между ними легло что-то неискреннее и натянутое...

Василий Михайлович молча сел к окну. Иванов торопливо рассказывал:

— Эта дорога на Серебряные Пруды очень живописная. Налево Засека; справа, за рекой, Зыбинские горы... Один только недостаток: уже лет пять по этой дороге ни один черт не ездил. Ну вот я и счел нужным восполнить этот недостаток,— прибавил он, громко рассмеялся и оглядел всех своим растерянным взглядом.— Зайцев такая масса, просто удивительно! — обратился он к Василию Михайловичу.— И смелые какие!..

— Да вот как,— лениво вмешался Чуваев, никогда не бывавший в описываемых местах,— идешь — на краю до-

роги заяц; возьмешь его за уши, встряхнешь и опять пускаешь.

Иванов засмеялся.

— Да, да, почти так! Едем мы с хозяикою верхом, на дороге два зайца Она кричит на них, чтобы спугнуть с дороги...

— А они оборачиваются: «Убирайся к черту! Мы сами знаем, в какое время нам уходить!» — серьезно докончил Чуваев.

Учитель Егоров рассмеялся частым, густым смехом.

— Этакая дурища! Чего она обеспокоилась? Раздавить, что ли, боялась зайцев? «Мы сами знаем, в какое время нам уходить»,— ей-богу, славно!

Он стал закуривать и продолжал смеяться про себя остроте Чуваева.

В подобных разговорах пройдет весь вечер; Василий Михайлович знал это. Не молчать же, сойдясь вместе, а больше им говорить не о чем. Взгляды у всех очень честные, симпатичные и до мелочей одинаковые; заговори кто о чем серьезно,— и его слова встретятся скрытою улыбкою: ведь все, что он скажет, давно уже прочитано всеми в таких-то и таких-то хороших книжках.

Кухарка внесла самовар и заварила чай. Пересели к столу.

Чуваев небрежно сказал:

— А бой-баба эта хозяйка ваша!.. Что она теперь, с Почекаевым, что ли, валандается?

— Да-да, кажется,— неохотно отозвался Иванов

— Разве? — с удивлением спросил Егоров, насторожившись.— Вот тут и говори! Почекаев,— этакий, с позволения сказать, шиш!

— А вы что думаете? Он большим успехом пользуется у женщин.

— Да ведь это положительно уродец какой-то: маленький, на кривых ножках, лицо, как маска!

— Ну, там каков ни на есть,—улыбнулся Чуваев,—а его и сама Авдотья Николаевна близко знает, не то что хозяйка его.

Василий Михайлович сидел у окна и молчал. Зубаренко, приземистый хохол в темных очках, угрюмо нахмурившись, курил папиросу за папиросой и тоже молчал. Остальные гости пили чай, разговаривали и словно не замечали

настроения хозяина. Василий Михайлович пересел к столу и принял участие в общем разговоре.

Чай отпили. Чуваев и Василий Михайлович расспрашивали Егорова о его товарищах-учителях. Зубаренко и Иванов пересматривали на конце стола альбом; им попалась карточка Глеба Успенского, и они молчали, задумчиво глядя на его страдающее, измученное лицо.

Егоров говорил:

— Да вообще без винта тут не проживешь. Придешь к кому-нибудь: «А слышали вы, вчера Петр Петрович на большом шлеме сел без шести?» Слушаешь, как остолоп, и хлопаешь ушами. Ей-богу, хорошо бы научиться: славно бы можно вечера проводить.

— Найдите учителя, я тоже поучусь,— сказал Чуваев.

— Да, поди-ка! Кого ни попросишь,— ну, говорят, это слишком скучно.

— В семье, в школе нам никто никогда не говорил о наших обязанностях,— донесся с конца стола тихий, пришептывающий голос Зубаренки.— Не воруй, не лги, не обижай других, не, не, не... Вот была мораль.

Все насторожились и стали прислушиваться.

— Мы думали спокойно прожить с этою моралью, как жили наши отцы. И вдруг приходит книга и обращается к нам с неслыханно громадным запросом: она требует, чтоб вся жизнь была одним сплошным подвигом. Но где взять для этого сил? Книга этих сил дать не могла,— она их предполагала уже существующими... И вот результат: она только искалечила нас и пустила гулять по свету «с больною совестью»...

Все молчали и слушали — внимательно, враждебно и пугливо. Как будто Зубаренко выдавал всем тайну, которую они старательно скрывали друг от друга. Чуваев с усмешкою почесал в затылке и громко спросил:

— А что, Василий Михайлович, пиво поставите вы нам сегодня?

Зубаренко покраснел и замолчал. Все вдруг неестественно оживились. Василий Михайлович, жадно слушавший Зубаренка, уныло поднялся и пошел распорядиться.

Подали пиво. Чуваев разлил его по стаканам. Заговорили о борьбе Бисмарка с Вильгельмом, о выборах в Англии. Но разговор шел вяло, никто не смотрел друг другу в глаза.

— Что, господа, спеть бы что-нибудь! — предложил Егоров.

— Все старые, избитые песни надоели! — слабо запротестовал Иванов.

Чуваев потрепал его по плечу.

— Ничего, Петр Сергеевич! Вы в них каждый раз на новый манер врете.

— Уж лучше спойте вы нам для начала что-нибудь один

Чуваев стал и потянулся.

— Разве что для начала!.. Что же спеть-то?

— Спойте: «Так жизнь молодая...»

Чуваев выпил стакан пива, прислонился к стене и откашлялся. Немного помолчал, потом запел:

Так жизнь молодая проходит бесследно,
А там — там уж близко конец;
И все, как посмотришь, так пусто, так бледно!..

Как будто совсем другой человек стоял теперь перед Василием Михайловичем: Чуваев выпрямился, брови его нахмурились, и в них легла скорбная складка; в мягком полусвете, бросаемом абажуром лампы, его лицо смотрело сурово и необычно.

Чем вспомнить кипучую жизнь молодую?
Любовью ль холодной, любовью ль бесстрастной?..

Все молчали. Просто, без всяких усилий, песня вдруг съютила их и сблизила; все переживали одно и то же, и переживали вместе, и хорошо всем было... А Чуваев пел, и несдерживаемою тоскою зазвучал его голос при последних словах песни:

Застынь же ты, сердце, и с жизнью ненастной!..

Егоров провел рукою по лбу.

— Славно, ей-богу, славно!

— Ну, господа, теперь общее что-нибудь! — предложил Василий Михайлович; он оживился, ему вдруг стали милы его гости.— Андрей Иванович, за ваше здоровье! — обратился он к Чуваеву и с любовью поглядел на него.

Они чокнулись и выпили.

Пробки хлопали. Исчезла прежняя неловкость, все чувствовали себя свободно. Пиво развязало голоса. Чуваев запевал, остальные подхватывали. Пели: «Ой, во лузях», «Гой ты, Днипр», «Не осенний мелкий дождичек...»

И Василий Михайлович пел. Голова его слегка кружилась; все вокруг приняло мягкий поэтический оттенок; на душе было грустно. Опять вспомнились ему два последние

года, бездеятельные, позорные: сердце спало, мысль довольствовалась готовыми ответами и ни разу не шевельнулась самостоятельно. И дальше то же будет. А между тем он учился, он когда-то думал, искал... И все это для того, чтобы здесь, где так нужны люди, только пьянствовать, сплетничать и жалеть, что не у кого научиться играть в карты.

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой...

Было время, когда и он говорил это, и они все. Тогда хорошо было жить, будущее было светло, думалось, что не на пустяки даны силы...

Знакомые песни звучали в ушах и будили воспоминания. И на остальных всех пахнуло прежним временем; лица были задумчивы и грустны.

— Эх, господа! — воскликнул Василий Михайлович прерывающимся голосом.— Давайте старую споем, хорошую:

Этих чудных ночей
Уж немного осталось,
Золотых юных дней
Половина промчалась!..

Да, господа, не половина, а *все* промчались!.. Все назади осталось,— и молодость, и вера, и идеалы...

Чуваев вдруг усмехнулся:

— Ну, оставьте, Василий Михайлович! Какие там идеалы! Пиво-то вот пейте: совсем выдохлось.

Василий Михайлович осекся и опустил голову над столом.

— Нет, что же?.. У нас... идеалы...

— О господи! Ну какие у вас «идеалы»? — спросил Чуваев с такою улыбкою, что выдержал бы ее только человек, много и крепко верящий в себя.

Василий Михайлович печально поднялся и стал ходить. Остальные тоже были недовольны. Чуваев вмешался совсем некстати: пива было выпито достаточно, и теперь прежняя недоверчивость исчезла; всем хотелось раскрыть друг перед другом души, каяться в чем-то, даже плакать, пожалуй.

— Нет, господа, что же? Неужто так-таки и не было у нас ничего за душою? — сказал Егоров и сердито покосился на Чуваева.

Чуваев злорадно усмехнулся:

— Было, Алексей Иванович,— кто спорит! Только уж давно быльем поросло... Чего же вспоминать? Всякий заранее знает, что другой скажет: «Эх, господа,— было, а теперь нет... а могло бы быть...» И все-таки не будет... Старая это история, Алексей Иванович, а наше пошехонское дело теперь — пиво пить.

Чуваев попал в точку. Он в двух словах исчерпал то, что другие собирались выразить в длинных речах, о чем готовы были плакать, хоть и пьяными, но искренними и горькими слезами. И вот теперь эти накипевшие слезы и речи уперлись в пустое место.

Все неловко молчали. Ветер ударил в окно брызгами дождя, в спальне стукнула ставня... Василий Михайлович ходил по комнате и поглядывал на своих замолкших гостей.

И вдруг он почувствовал, как все они несчастны и, главно, как *одиноко* несчастны, как тяжело им нести это одинокое горе. И что-то горячее шевельнулось у него в сердце, ему захотелось сблизить их всех, хотелось сказать: «Господа! Чуваев прав,—все это так. Но для чего нам обманывать друг друга, для чего давить в себе то, что рвется наружу? Посмотрите, какие мы все измученные, как темно и холодно на душе! Ведь искра была,— почему же она погасла, почему не разгорелась? Почему жить так тяжело?!.»

Но Василий Михайлович ничего не сказал: он видел, теперь его слова ни в ком не нашли бы отголоска. Чуваев заставил всех очнуться, и каждый поспешил снова пугливо запереться в себе. Все были несчастны, да, но никто из них не уважал своего горя, да и не стоило оно уважения... Вот это-то последнее с особенною ясностью почувствовал Василий Михайлович: да, горе их — горе дряблое, бездеятельное, ему нет оправдания; стыдиться его нужно, а не нести в люди.

И еще более чуждыми, еще более далекими стали все друг другу...

— А что, господа, ведь пива-то нет больше,— вдруг сказал Егоров.

— Как нет? —испугался Василий Михайлович.— Я велел Матрене полторы дюжины принести, а тут всего десять бутылок.

Он стал искать на окне, под столом, вышел в кухню и разбудил Матрену: оказалось, она не дослышала и при-

несла только десять бутылок; теперь идти было уже поздно.

— Черт знает что такое! Хоть бы дюжину, а то какие-то десять бутылок! — с досадою сказал Василий Михайлович.— Ну, что же, господа, давайте хоть так что-нибудь еще споем.

Но дело не клеилось. Все опять замолчали. Это не тихий ангел пролетел, а проползало что-то мутное, тяжелое, скверное. В окна смотрела темная ночь, дождь стучал по крыше, в кухне храпела Матрена... Молча все поднялись, молча стали расходиться.

— Пошехонцы едут, цыц! — сердито ворчал Чуваев, пробираясь через огромную лужу на дворе и отмахиваясь зонтиком от собак.

1892

БЕЗ ДОРОГИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

20 июня 1892 года. С-цо Касаткино.

Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем.

И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять...

Кругом все так близко знакомо,— и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых три года не был здесь? Я как будто видел все это вчера. А между тем как долго шло время!..

Да, мало что хорошего вспомнишь за эти прожитые три года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираться вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя — уничтожиться, уничтожиться телом, душою, всем, чтоб ничего от тебя не осталось... Можно ли с этим жить? Невесело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти три года.

«Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня». Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди! Как они верили в себя! А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю,— это именно в неодолимую силу времени. «Зачем я от времени зависеть буду!» Зачем? Оно не отвечает; оно незаметно захватывает тебя и ведет куда хочет; хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет? Сознавай тогда, что ты идешь не по своей воле, протестуй всем своим существом,— оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое миросозерцание, на всю мою душевную жизнь... Гартман говорит, что убеждения наши — плод «бессознательного», а умом мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания; я чувствовал, что там где-то, в этом неуловимом «бессознательном», шла тайная, предательская, неведомая мне работа и что в один прекрасный день я вдруг окажусь во власти этого «бессознательного». Мысль эта наполняла меня ужасом: я слишком ясно видел, что правда, жизнь — все в *моем* миросозерцании, что если я его потеряю, я потеряю все.

То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени— сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось, неужели *эти*— всего только младшие братья вчерашних? В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло вовсе не во имя каких-либо новых начал,— о нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство,— ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил...

Я с пристальным вниманием следил за всеми этими пе-

ременами; обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной уродливости моего собственного положения: отчаянно стараясь стать *выше времени* (как будто это возможно!), недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно «обессмысленную щепку» когда-то «победоносного корабля». Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел наконец к результату, о котором говорил: уничтожиться, уничтожиться совершенно — единственное для меня спасение.

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать; но в этом-то нужно сознаться,— что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу,— так там холодно и темно, так гадко-жалок этот бессильный страх перед окружающим! И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты — какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем... Тяжело жить так. Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу, было много, особенно в последний год,— работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было; всем существом отдаться делу, *наркотизироваться* им, совершенно забыть себя,— вот была моя цель.

Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в земстве каким-то enfant terrible[1]; председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и в конце апреля свалился сам, а когда поправился... то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я *должен* был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо... Э, да что вспоминать! Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это!..

Большая зала старинного помещичьего дома; на столе кипит самовар; висячая лампа ярко освещает накрытый ужин, дальше, по углам комнаты, почти совсем темно; под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна рас-

---

[1] *Буквально:* ужасный ребенок; *здесь* — человек, позволяющий себе то, на что другие не отваживаются *(франц.)*.

крыты настежь, и теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом; с реки слабо доносятся женский смех и крики, плеск воды.

Мы ходим с дядей по зале. За эти три года он сильно постарел и растолстел, покрякивает после каждой фразы, но радушен и говорлив по-прежнему; он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная, румяная девка, с платочком на голове и босая, внесла шипящую на сковороде яичницу; по дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь; стаи мух под потолком всколыхнулись и загудели сильнее.

— А вот у нас одно есть, чего у вас нету,— сказал дядя, улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми близорукими глазками.

— Что это? — спросил я, сдерживая улыбку.

— Мухи!

Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание.

Тетя Софья Алексеевна воротилась с купанья; еще за две комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.

— Палашка! возьми простыню, повесь на дверь в спальне! Да зовите мальчиков к ужину, где они?.. Котлеты подавайте, варенец, сливки с погреба... Скорей! Где Аринка? А, яичницу уже подали,— говорит она, торопливо входя и садясь к самовару.— Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, чтоб остыла яичница? Садитесь!

Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу, ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия; ее поседевшие волосы, пушистою каймою окружающие круглое лицо, выглядят как напудренные.

— А как же? Разве без барышень можно? — спросил дядя.

— Можно, можно! Пускай не опаздывают!

— Нет, это нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?

— Да ну, будет тебе! Ведь Митя голоден с дороги. Тоже — рыцарь! — сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.

— Ну, нечего делать: приказано, так надо слушаться. Что ж, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки — и за яичницу примемся.

Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.

— А как водка будет по-латыни — aqua vitae? — спросил он.

— Да.

— Гм! «Вода жизни»...— Дядя несколько времени в раздумье смотрел на наполненные рюмки.— А ведь остроумно придумано! — сказал он, вскидывая на меня глазами, и засмеялся дребезжащим смехом.— Ну, будь здоров!

Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.

— Где же, однако, барышни наши? — спросил дядя с аппетитом пережевывая яичницу.— Я беспокоюсь.

— Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались,— ответила тетя.

В саду под окнами раздались голоса, стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась.

— Ну, вот тебе и барышни наши: слава богу, за полверсты слышно.

Они шумно вошли в залу. Лица их после купанья свежи и оживленны, темные волосы Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.

— Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?

— Я ныряла,— быстро ответила она, садясь к столу.

— Так что ж такое?

— Соня, передай ветчину... Ну, так вот нужно, чтоб волосы просохли.

— Зачем это нужно? — изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови.— Нет, взрослым девицам вовсе не подобает ходить с распущенными волосами! — сказал он, качая головой.

Но поучение его пропало даром; все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив: «Спасайся, кто может!» — вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась.

— Что это вы, Лида, в большой опасности находились? — вполголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь.

Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела взглядом на отца: значит, здесь тайна, которую мне объяснят потом.

— А что же ты, Дмитрий, макарон к котлетам не взял? — спохватился дядя.— Дай я тебе положу.

Он наложил мне в тарелку макарон.

— У итальянцев макароны — самое любимое кушанье,— сообщил он мне.

Очень радушный хозяин дядя, но, признаться, скучновато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что итальянцы любят макароны.

Пришли и мальчики. Миша — пятнадцатилетний сильный парень с мрачным насупленным лицом — молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше; это крепыш невысокого роста, с большой головой; он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.

— Ну, Митечка, рассказывай же, что ты это время поделывал,— сказала Софья Алексеевна, кладя мне руку на локоть.

Наташа подняла было голову и в ожидании устремила на меня глаза. Но мне так не хочется рассказывать...

— Ей-богу, тетя, ничего нет интересного; служил, лечил — вот и все... А скажите,— я сейчас через Шеметово ехал,— кто это там за околицей новую мельницу поставил?

— Да это же Устин наш, разве ты не знал? Как же, как же! Уж второй год работает мельница...

И начался длинный ряд деревенских новостей. В зале уютно, старинные, засиженные мухами часы мерно тикают, в окна светит месяц... Тихо и хорошо на душе. Все эти девчурки-подростки стали теперь взрослыми девушками; какие у них славные лица! Что-то представляет собою моя прежняя «девичья команда»? Так называла их всех Софья Алексеевна, когда я студентом приезжал сюда на лето...

С конца стола донесся ярый рев, от которого все вздрогнули.

— Что такое? — грозно крикнула тетя.— Кто это там?

— Это я! — торжественно объявил Петька.

— Ну, конечно, так и есть: кому же еще? Я тебе, дрянь мальчишка!

— Это я читать кончил,— объяснил Петька.

Дядя поднял голову и, словно только что проснулся, повел кругом глазами.

— Э... э... Что это? — спросил он, покрякивая.— Должно быть, Петька опять дикие звуки испускает, а?

Ему никто не ответил. Он крякнул и подложил себе в

чай сахару Петька сидел, развалясь на стуле, и широко ухмылялся.

— Крик могучий, крик пернатый... я в своем сердце ощутил... Крик ужасный, крик... неясный... я из себя испустил... Кхе-кхе-кхе! Как хорошо вышло!

И, совершенно довольный, Петька придвинул к себе тарелку и стал накладывать творогу. Кругом смеялись, а он старательно разминал ложкою творог с сахаром, как будто не о нем совсем шло дело.

Чай отпили.

— А что, Вера Николаевна, усладите вы сегодня наш слух своею музыкой? — спросил дядя.

Вера, племянница Софьи Алексеевны,— стройная, худощавая блондинка с матово-бледным лицом и добрыми глазами; она собирается осенью ехать в консерваторию, и говорят, у нее действительно есть талант.

— Да, да, Вера,— сказал я.— Сыграйте-ка что-нибудь после ужина; я в Пожарске столько слышал о вашем таланте.

Вера встрепенулась.

— Ах, господи! Митя, я вам наперед говорю: если вы такие вещи говорить будете, я н-ни за что не стану играть!

— Да не беспокойтесь, пожалуйста, я вот сначала послушаю. Очень может быть, что после этого и не стану говорить.

Дядя засмеялся и встал из-за стола.

— Ну, кажется, все уже кончили. Докажите ему, Вера Николаевна, что и Пожарск может собственных Невтонов рождать!

Все перешли в гостиную. Вера села за рояль, быстро пробежала рукой по клавишам и с размаху сильно ударила пальцем в середине клавиатуры.

— Что же вам сыграть? — спросила она, повернув ко мне голову.

— Это всегда так знаменитые музыканты начинают!— почтительно произнес Петька и ткнул указательным пальцем в Верин палец, нажимавший клавишу.

— Да ну, Петя, будет! — рассмеялась она, стряхивая его руку.

Тетя отогнала Петьку от рояля.

Я попросил играть Бетховена. Наташа широко распахнула двери балкона. Из сада потянуло росой и запахом душистого тополя; в акации щелкал запоздалый соловей,

и его песня покрылась громкими, дико оригинальными бетховенскими аккордами. В зале, при свете маленькой лампочки, убирали чай. Дядя сопел на диване и слушал, выкатив глаза.

Я мало понимаю в музыке; я даже не мог бы сказать, горе или радость выражены в сонате, которую играла Вера; но что-то накипает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое; многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как будто это другой кто жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня, я работал, горько смеясь в душе над самим собою... Да полно, прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и помощи; знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни... И принес я с собой оттуда лишь одно,— неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу.

Вера играла. Ее бледное лицо смотрело сосредоточенно, только в углах губ дрожала лукавая улыбка; пальцы тонких, красивых рук быстро бегали по клавишам... О да! Теперь бы и я мог уверенно сказать: сколько задорного молодого счастья в этих звуках! Они знать не хотят никакого горя: чудно хороша жизнь, вся она дышит красотою и радостью; к чему же выдумывать себе какие-то муки?.. Вершины тополей, освещенные месяцем, каждым листиком вырисовывались в прозрачном воздухе; за рекою, на склоне горы, темнели дубовые кусты, дальше тянулись поля, окутанные серебристым сумраком. Хорошо там теперь. Дядя по-прежнему сопел, понурив голову. Дремлет ли он, или слушает?

Ко мне неслышно подошла Наташа.

— Митя, пойдем мы сегодня гулять? — шепотом спросила она, близко наклонившись и блестя глазами.

— Конечно! — тихо ответил я.— А что, вам еще и теперь не позволяют гулять по вечерам?

Наташа с улыбкой наклонила голову, указала взглядом на отца и отошла.

Пальцы Веры с невозможною быстротою бегали по клавишам; бешено-веселые звуки крутились, захватывали и шаловливо уносили куда-то. Хотелось смеяться, смеяться без конца, и дурачиться, и радоваться тому, что и ты молод...

Раздались громовые заключительные аккорды. Вера опустила крышку рояля и быстро встала.

— Славно, Вера, ей-богу, славно! — воскликнул я, обеими руками крепко пожимая ее руки и любуясь ее счастливо улыбавшимся лицом.

Дядя поднялся с дивана и подошел к нам.

— Вера Николаевна своей музыкой, как Орфей в аду... укрощает камни...— любезно сказал он.

— Именно, именно, камни укрощает! — с мальчишеским чувством подхватил я.— За вашу музыку я вас сегодня гулять с собой возьму,— шутливо шепнул я ей.

— Благодарю! — ответила она улыбаясь.

Дядя зевнул и вынул часы.

— Ого! Уже скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую. Как ты думаешь, Дмитрий? В деревне всегда надо рано ложиться и рано вставать. Покойной ночи!.. Как это?.. э... э... Leben Sie wohl, essen Sie Kohl, trinken Sie Bier, lieben Sie mir!.. [1] Ххе-хе-хе-хе! — Дядя засмеялся и протянул мне руку.— Немцы без *бира* никогда не обойдутся.

Он простился и ушел. Я стал перелистывать лежавшую на столе «Ниву»; остальные тоже делали вид, что чем-то заняты. Тетя окинула всех нас взглядом и засмеялась.

— Ну, Митя, вы, я вижу, гулять собираетесь! — сказала она, лукаво грозя пальцем.

Я расхохотался и захлопнул «Ниву».

— Тетя, посмотрите, какая ночь!

— Да, Митечка, ведь ты же больше суток в дороге был! Ну, где тебе еще гулять?

— Речь тут не обо мне, тетя...

— Стал ты доктором, а, право, все такой же, как прежде...

— Ну, значит, позволяете! — заключил я.— А мальчиков можно с собой взять?

— Э, да уж идите все! — махнула она рукой.— Только, господа, потише, чтоб папка не слышал, а то буря будет... Я велю вам в зале кринку молока оставить: может быть, проголодаетесь... Прощайте! Счастливого пути!

Мы спустились в сад.

— Ну что же, господа, на лодке поедем? — шепотом спросил я.

---

[1] Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня!.. *(Немецкая поговорка.)*

— Конечно, на лодке!.. В Грёково,— быстро сказала Наташа.— Ах, Митя, ночь какая! Прогуляем сегодня до утра?..

Все были как-то особенно оживлены— даже полная, сонливая Соня, старшая сестра Наташи. Мы свернули в темную боковую аллею; в ней пахло сыростью, и свет месяца еле пробивался сквозь густую листву акаций.

— Вот, Митя, потеха была сегодня!—смеясь, заговорила Наташа.— Выкупались мы перед ужином и переехали в лодке на ту сторону; возвратились назад,— я весла выбросила на берег, выпрыгнула сама и нечаянно ногою оттолкнула лодку. Лида сидела на корме,— вдруг как вскочит: «Ах, господи-батюшки! Спасайся, кто может!» — и как была одетая,— в воду!

— Я испугалась: как бы мы без весел к берегу подъехали? —краснея, стала оправдываться Лида, сестра Веры.

Странная эта Лида: молчаливая и застенчивая, она краснеет при самом незначительном обращенном к ней слове.

— И вся, вся замочилась, выше пояса! — хохотала Наташа.— Пришлось сбегать домой, принести ей сухое платье.

— «Спасайся, кто может!» Ххо-ххо-ххо! — в восторге засмеялся Петька и обеими руками крепко обнял Лиду за талию.

— Да ну, Петька, пошел прочь! —с досадой сказала Лида.— Вешается ко всем.

— Ах, Лида, Лида! За что ты меня ожесточаешь? — меланхолически произнес Петька.— Если бы ты могла знать чувства мужского сердца!

— Ну, Петька! Шут! — лениво засмеялась Соня.

Аллея кончалась калиточкой. За нею по косогору спускалась к реке узкая тропинка. Наташа неожиданно положила руки на плечи Веры и вместе с нею быстро побежала под гору.

— Ай!.. Ната-а-аша!!! — закричала Вера, испуганно смеясь и стараясь остановиться. Петька помчался следом за ними.

Когда мы сошли к реке, Вера, обессилевшая от смеха и усталости, сидела на лавочке под черемухой и, свесив голову, громко, протяжно охала. Петька сидел рядом и тоже старательно охал.

— Да ну, Петя... Ради бога!.. Ох! —стонала она, хватаясь за грудь.— Будет!.. Ох, не могу!.. О-о-ох!

— О-о-ох! — вторил Петька.

Вера морщилась и бессильно махала руками, и все-таки смеялась.

— Ну, Верка, размякла совсем! — презрительно сказала Наташа, стоя на корме лодки.— Настоящая рыба!

— Господа! Ведь нас не только в доме, а и в Санине слышно,— запротестовал я.

— Ну, садитесь скорей в лодку, а то мы одни уедем!— крикнула Наташа.

— О-ох, Наташа, Наташа! — вздохнула Вера, поднимаясь и еле бредя к лодке.— Что ты со мною делаешь!

— Да ну же, садитесь скорей! — повторила Наташа, нетерпеливо раскачивая лодку.

Мы с Мишей сели за весла; Вера, Соня, Лида и Петька разместились в середине, Наташа — у руля. Лодка, описав полукруг, выплыла на середину неподвижной реки; купальня медленно отошла назад и скрылась за выступом. На горе темнел сад, который теперь казался еще гуще, чем днем, а по ту сторону реки над лугом высоко в небе стоял месяц, окруженный нежно-синею каймою.

Лодка шла быстро; вода журчала под носом; не хотелось говорить, отдавшись здоровому ощущению мускульной работы и тишине ночи. Меж деревьев всем широким фасадом выглянул дом с белыми колоннами балкона; окна везде были темны: все уже спят. Слева выдвинулись липы и снова скрыли дом. Сад исчез назади; по обе стороны тянулись луга; берег черною полосою отражался в воде, а дальше по реке играл месяц.

— Ах, какая чудная луна! — томно вздохнула Вера. Соня засмеялась.

— Вот, смотри, Митя, она всегда такая: просто не может равнодушно видеть месяца. Раз мы с нею шли в Пожарске через мост; на небе луна — тусклая, ничего хорошего; а Вера смотрит: «Ах, великолепная луна!..» Такая сентиментальная!

— Сентиментальная! А вот Наташа только что говорила, что я — рыба. Разве рыбы бывают сентиментальные?— спросила Вера с своею медленною и доброю улыбкою.

— Отчего же нет? Высунула рыба нос из воды, смотрит на луну: «Ах, ах! — великолепная луна!»

Соня сострила неожиданно для себя и залилась смехом. Я сложил весла и передохнул.

— Господа, давайте голоса ночи слушать,— предложила Наташа.— Миша, брось весла.

Лодка медленно проплыла несколько аршин, постепенно заворачивая вбок, и наконец остановилась. Все притихли. Две волны ударились о берега, и поверхность реки замерла. С луга тянуло запахом влажного сена, в Санине лаяли собаки. Где-то далеко заржала лошадь в ночном. Месяц слабо дрожал в синей воде, по поверхности реки расходились круги. Лодка повернула боком и совсем приблизилась к берегу. Дунул ветер и слабо зашелестел в осоке, где-то в траве вдруг забилась муха.

Я закурил папиросу и стал держать горящую спичку над водой. Из черной глубины быстро вынырнула рыба, оторопело уставилась на огонь выпученными, глупыми глазами и, вильнув хвостом, юркнула назад. Все рассмеялись.

— Как Вера на луну! — сказала Лида, лукаво дрогнув бровью.

Все засмеялись сильнее, а Лида покраснела.

— Ну, господа, дальше можно ехать,— сумрачно проговорил Миша, все время зевавший. Он снова взялся за весла.

Наташа перебралась с кормы на середину лодки.

— Митя, расскажи, за что тебя со службы выгнали,— сказала она, с детскою лаской заглядывая мне в глаза.

— За что выгнали? О, голубушка, это история долгая...

— Ну, все-таки расскажи!..

Я стал рассказывать. Все теснее сдвинулись вокруг. Между прочим, рассказал я и о своей первой стычке с председателем, после которой я из «преданного своему делу врача» превратился в «наглого и неотесанного фрондера»; приехав в деревню, где был мой пункт, принципал прислал мне следующую *собственноручную* записку: «Председатель управы желает видеть земского врача Чеканова; обедает у князя Серпуховского». Ну я ему на обратной стороне его записки ответил: «Земский врач Чеканов не желает видеть председателя управы и обедает у себя дома».

Все рассмеялись.

— Что же он? — быстро спросила Наташа.

— Да ничего. Ответа моего он никому не мог показать, потому что тогда бы прочли и его письмо; ну, а так врачу не пишут.

— Я не понимаю, Митя, как можно было так ответить,— сказала Вера.— Ведь он же ваш начальник?

— Да ну, Вера! Всегда вот такая! — нетерпеливо повела Наташа плечами.— Так что ж такое?

— Как — что ж такое? Вот из-за этого Митя потерял место. Хорошо еще, что он неженатый человек.

— Голубушка, Вера, и женатые отказывались от мест,— сказал я.— Читали вы в газетах о саратовской истории? Все врачи, как один человек, отказались. А нужно знать, какие это горькие бедняки были, многие с семьями,— подумать жутко!

Мы несколько времени плыли молча.

— Свобода вероисповедания...— задумчиво произнес Петька.

— К чему ты это сказал? — с усмешкою спросила Соня.

Петька помолчал.

— К чему я это, правда, сказал? — проговорил он с недоумевающей улыбкой.— А все-таки есть смысл.

— Какой же?

— Го-го!.. Какой! Свобода вероисповедания,— из-за нее в средние века сколько войн происходило.

— Ну так что ж?

— Ну так вот.

Я снова сел за весла. Лодка пошла быстрее. Наташа лихорадочно оживилась; она вдруг охватила обеими руками Веру и, хохоча, стала душить ее поцелуями. Вера крикнула, лодка накренилась и чуть не зачерпнула воды. Все сердито напали на Наташу: она, смеясь, села на корму и взялась за руль.

— Господи, вот сумасшедшая девчонка! Я так испугалась! — говорила Вера, оправляя прическу.

— Скорей, господа, скорей гребите! — говорила Наташа, откидывая распущенные волосы за спину.

Лодка вдруг с шуршащим шумом врезалась в тростник; нас обдало острым запахом аира, его початки закачались и раздались в стороны.

— Сильней гребите, сильней! — смеялась Наташа, нетерпеливо топая ногами. Весла путались в упругих корнях аира, лодка медленно двигалась вперед, окруженная сплошною стеною мясистых, острых, как иглы, стеблей.— Ну вот приехали! Вылезайте!

— Спорить трудно: действительно приехали! — засмеялся я.

Вера переглянулась с Лидой.

— Однако! Довольно-таки по-суворовски! — сказала она, поднимаясь.

— Ничего! Суворов был умный человек. Вылезай! Я вас в грёковской роще ужином накормлю.

— Да, если так, то... Ай, Наташа, осторожнее! Не качай лодку!

Мы вышли на берег. Спуск весь зарос лозняком и тальником. Приходилось прокладывать дорогу сквозь чащу. Миша и Соня недовольно ворчали на Наташу; Вера шла покорно и только охала, когда оступалась о пенек или тянувшуюся по земле ветку. Петька зато был совершенно доволен: он продирался сквозь кусты куда-то в сторону, вдоль реки, с величайшим удовольствием падал, опять поднимался и уходил все дальше.

— Не стоните, тут сейчас тропинка должна быть,— сказала Наташа.

Она остановилась и, подобравши волосы, широким узлом заколола их на затылке.

— Ах, Митя, если бы ты знал, как я рада, что ты приехал! — вдруг вполголоса сказала она и с быстрой, радостной улыбкой взглянула на меня из-под поднятой руки.

— Эй, вы... акафисты! — донесся из-за кустов голос Петьки.— Идите сюда: тропинка!

— Ну, слава богу! — облегченно вздохнула Соня, и все повернули на голос.

Мы поднялись по тропинке вверх. Над обрывом высились три молодых дубка, а дальше без конца тянулась во все стороны созревавшая рожь. Так и пахнуло в лицо теплом и простором. Внизу слабо дымилась неподвижная река.

— Ох, устала! — проговорила Вера, опускаясь на траву.— Господа, я не могу дальше идти, нужно отдохнуть... Ох! Садитесь!..

— Фу ты, безобразие! Как старуха, охает! — сказала Наташа.— Сколько раз ты сегодня охнула?

— Старость приходит, о-ох!..— вздохнула Вера и засмеялась.

Опершись на локоть, она закинула голову кверху и стала смотреть в небо. Мы все тоже сели. Наташа стояла на самом краю обрыва и смотрела на реку.

Ветер слабо дул с запада; кругом медленно волновалась рожь. Наташа повернулась и подставила лицо навстречу ветру.

— Господи!.. Наташа, смотри, где ты стоишь! — испуганно вскрикнула Вера.

Край обрыва надтреснул, и Наташа стояла на земляной

глыбе, нависшей над берегом. Наташа медленно посмотрела под ноги, потом на Веру; задорный бесенок глянул из ее глаз. Она качнулась, и глыба под нею дрогнула.

— Наташа, да сойди же сию минуту,— волновалась Вера.

— Ну, Верка, не сентиментальничай! — засмеялась Наташа, раскачиваясь на колыхавшейся глыбе.

— Ах, господи, бешеная девчонка!.. Наташа, ну ради бо-ога!..

— Наташа, да ты вправду с ума сошла! — воскликнул я, поднимаясь.

Но в это время глыба сорвалась, и Наташа вместе с нею рухнула вниз. Вера и Соня истерически вскрикнули. Внизу затрещали кусты. Я бросился туда.

Наташа, оправляя платье, быстро выходила из кустов на тропинку. Одна щека ее разгорелась, глаза ярко блестели.

— Ну, можно ли, Наташа, так?!. Что, ты больно ушиблась?

— Да ничего же, Митя, что ты! — ответила она, вспыхнув.

— Не может быть ничего: с этакой высоты!.. Эх, Наташа! Если ушиблась, так скажи же.

— Ах, Митя, какой ты чудак! — рассмеялась она.— Ну что это — из-за каждого пустяка такую тревогу подымать.

Она быстро стала подниматься по тропинке вверх.

— Это бог знает что такое! — сердито встретила ее Соня.— Право, ведь всему есть мера. Этакая глупость!.. Недоставало, чтобы ты себе сломала ногу.

Наташа широко раскрыла глаза и медленно спросила:

— Кому до этого дело?

— Ах, господи! — всплеснула Вера руками.— Вот меня всегда в таких случаях возмущает Наташа!.. «Кому дело!» Папе и маме твоим дело, нам всем дело!.. Как это так всегда, постоянно и постоянно о себе одной думать!

— Всегда, постоянно и постоянно...— благоговейно повторил Петька и задумался, словно стараясь вникнуть в глубокий смысл этих слов.

— Ну, ну *просто* — постоянно! — улыбнулась Вера.

Петька захихикал.

— Всегда, постоянно и постоянно! Как хорошо выходит: всегда, постоянно... и постоянно!

— Ну, господа, довольно сидеть! Идем дальше! — ска-

вала Наташа.— Вот так, прямо через рожь, всего полверсты будет до рощи.

— О Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь! — вздохнула Вера, опираясь о его плечо и поднимаясь.

Мы пошли через рожь по широкой меже, заросшей полынью и полевой рябинкой.

— Вот и дома тоже: когда я рассержусь, я начинаю говорить очень неправильно,— сказала Вера.— И мальчики сейчас этим пользуются.

— Вера, неужели вы тоже умеете сердиться? — удивленно спросил я

— О, да еще как! — улыбнулась она.— Только мальчики совсем не боятся. Я заговорюсь, скажу что-нибудь,— они сейчас подхватят, я и рассмеюсь. Особенно Саша,— он такой остроумный; и у него совсем какой-то особенный юмор.

Вера начала рассказывать о своих братьях. Знала она их удивительно: столько в ее рассказах сказалось наблюдательности, столько любви и тонкого психологического чутья, что я слушал с действительным интересом. Остальные довольно недвусмысленно выражали желание переменить разговор.

— Ну, ну, я сейчас кончу! — торопливо возражала Вера и продолжала рассказывать без конца.

Вдруг в темноте раздался звонкий подзатыльник, что-то охнуло, и Петька кубарем покатился в рожь.

— Дурак! — послышалось изо ржи.

Миша гневно крикнул:

— Я тебе еще не так влеплю, дрянь!

Петька вышел на межу и стал счищать с себя пыль.

— Думает, что сильнее, старший братец, так может что хочет делать! — сердился он.

— Да в чем дело? Миша, за что ты его? — спросила Соня.

— Черт знает что такое! Иду,— вдруг он меня за нос хватает!.. Попробуй-ка еще раз!

— А я почем знал, что это твой нос? Ты бы сказал. А то я вижу, морква какая-то торчит — длинная, мокрая... Мне, конечно, интересно.

— Глупо-с, Петенька! — ядовито заметил Миша.

— Склизкая такая, холодная...

Кругом смеялись. Петька был отомщен. Миша презрительно процедил:

— Шут гороховый!

— О-о-о-хо-хо! — глубоко вздохнул Петька, подтянул брюки и огляделся по сторонам.— У Наташи в глазах две курсистки сидят,— объявил он.— В каждом глазу по курсистке: одна в очках, другая без очков.

— Ну, оставь, Петя! — недовольно остановила Наташа.

— А ты разве на курсы собираешься? — быстро спросил я.

— Н-нет... не знаю,— ответила она и взглянула вперед.— Вот она, грёковская роща!

Средь светлой ржи, отлого тянувшейся вниз, широкою, неправильною полосою вилась грёковская лощина; на склоне ее, вся залитая лунным светом, темнела небольшая осиновая роща.

Лощинка была уже выкошена. Ручей, густо заросший тростником и резикой, сонно журчал в темноте; под обрывом близ омута что-то однообразно, чуть слышно пищало в воде. Из глубины лощины тянуло влажным, пахучим холодком.

Мы перебрались через ручей и вошли в рощу. В середине ее была сажалка, вся сплошь зацветшая. Наташа спустилась к самому ее берегу и из глубины развесистого липового куста достала небольшой холстинковый мешочек.

— Господа, костер нужно будет разводить! Вот вам ужин,— с торжеством заявила она.

В мешочке оказалось десятка три сырых картофелин, четыре ржаных лепешки и соль. Все расхохотались.

— Откуда это у тебя тут?

— Очень просто: я часто хожу сюда читать; проголодаюсь,— разведу костер, спеку картофелю и позавтракаю.

— Г-ге-ге! это нужно вперед знать,— сказал Петька, почесав за ухом.

Все рассыпались по роще, ломая для костра нижние сухие сучья осин. Роща огласилась треском, говором и смехом. Сучья стаскивались к берегу сажалки, где Вера и Соня разводили костер. Огонь запрыгал по трещавшим сучьям, освещая кусты и нижние ветви ближайших осин; между вершинами синело темное звездное небо; с костра вместе с дымом срывались искры и гасли далеко вверху. Вера отгребла в сторону горячий уголь и положила в него картофелины.

Сначала все шутили и смеялись, потом примолкли. Ко-

стер догорал, все было съедено. Петька, положив вихрастую голову на колени Веры, задремал; она с материнскою заботливостью укутала его своим платком и сидела не шевелясь. И опять, как тогда за роялем, ее лицо стало красиво и одухотворенно.

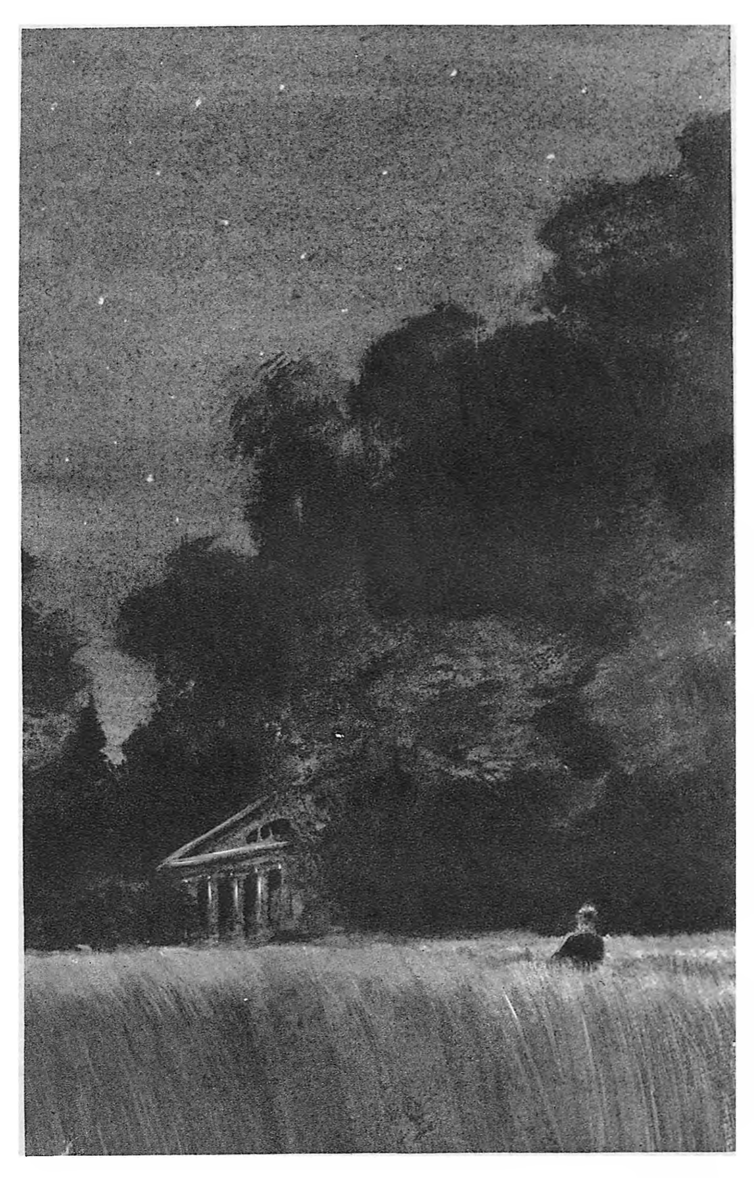
Мы долго сидели у костра; под пеплом бегали огненные змейки, листья осин слабо шумели над головой. Я рассказывал о своей службе, о голоде и голодном тифе, о том, как жалко было при этом положение нас, врачей: требовалось лишь одно — кормить, получше кормить здоровых, чтоб сделать их более устойчивыми против заражения; но пособий едва хватало на то, чтоб не дать им умереть с голоду. И вот одного за другим валила страшная болезнь, а мы беспомощно стояли перед нею со своими ненужными лекарствами... Вера сидела, задумчиво глядя на лицо спящего Петьки; кажется, она мало слушала: мысли ее были далеко, в Пожарске, и она думала о своих братьях.

Наконец мы собрались домой. Месяц уже давно сел, на востоке появилась светлая полоска; лощина тонула в белом тумане, и становилось холодно. Было поздно, приходилось возвращаться домой по самой короткой дороге; Наташа взялась сходить завтра утром за лодкой и пригнать ее домой. Мы поднялись на гору, прошли через рожь, потом долго шли по пару и вышли наконец на торную дорогу; круто обогнув крестьянские овсы, она мимо березовой рощи спускалась вниз к Большому лугу. Весь луг был покрыт густым туманом, и перед нами как будто медленно колыхалось огромное озеро. Мы спустились в это туманное озеро. Грудь теснило сыростью, тяжело было дышать; на траве по бокам дороги белела роса. Мы шли, рассекая туман.

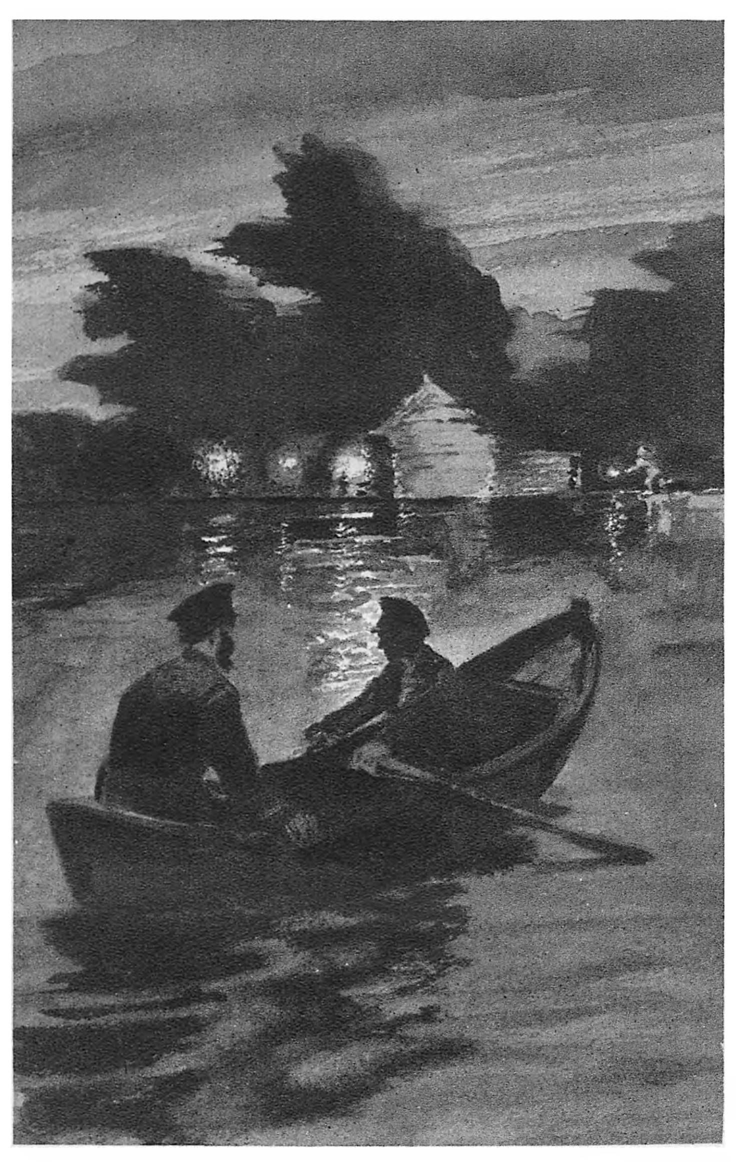
— Слушай! — сказала вдруг Наташа, схватив меня за локоть.

Мы остановились. Тишина кругом была мертвая: и вдруг, близ рощи, в овсах, робко, неуверенно зазвенел жаворонок... Его трель слабо оборвалась в сыром воздухе, и опять все смолкло, и стало еще тише.

Вдали начали вырисовываться в тумане темные силуэты деревьев и крыши изб; у околицы тявкнула собака. Мы поднялись по деревенской улице и вошли во двор. Здесь тумана уже не было; крыша сарая резко чернела на светлевшем небе; от скотного двора несло теплом и запахом навоза, там слышались мычание и глухой топот. Собаки спали вокруг крыльца.



«ЗАГАДКА».



«ПОРЫВ».

— Ну, господа, потише теперь, а то всех разбудим! — предупредил я.

В голове звенело, нервы были напряжены; у всех глаза странно блестели, и опять стало весело.

— Что ж, Митя, будем мы молоко пить? — спросила Наташа.

— Уж лучше не надо: разбудим мы всех.

— А мы вот как сделаем: мы к тебе наверх молоко принесем и там будем пить.

Мысль эту все одобрили. Мы пробрались наверх. За молоком откомандировали, конечно, Наташу. Она принесла огромную кринку молока и целый ситный хлеб.

— Господа, извольте только все молоко выпить! — объявила она.

— Почему это?

— А то мама увидит, что не все выпили, и вперед будет меньше оставлять.

— Эге! На этом основании, значит, каждый раз придется все выпивать!

Однако через четверть часа кувшин был уже пуст. Теперь, когда шуметь было нельзя, всеми овладело веселье неудержимое; каждое замечание, каждое слово приобретало необыкновенно смешное значение; все крепились, убеждали друг друга не смеяться, закусывали губы — и все-таки смеялись без конца... Мне с трудом удалось их выпроводить.

Однако засиделся же я! Солнце встало и косыми лучами скользит по кирпичной стене сарая, росистый сад полон стрекотаньем и чириканьем; старик Гаврила, с угрюмым, сонным лицом, запрягает в бочку лошадь, чтоб ехать за водою.

Спать!

21 июня

Проснулся я в начале двенадцатого и долго еще лежал в постели. В комнате полумрак, яркое полуденное солнце пробирается сквозь занавески и играет на стекле графина; тихо; снизу издалека доносятся звуки рояля... Чувствуешь себя здоровым и бодрым, на душе так хорошо, хочется улыбаться всему. Право, вовсе не трудно быть счастливым!

Миша и Петя пришли звать меня купаться. Я оделся, мы наперегонки сбежали к реке. Небо синее и горячее, солнце жжет; тенистый сад на горе, словно изнемогши от

жары, неподвижно дремлет. Но вода еще свежа, она охватывает тело мягкою, нежною прохладою; плывешь, еле двигая руками и ногами, в этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь освещенной солнцем воде. Мы купались около часа, пока не зазвонили к завтраку. Почти все уж были в сборе; на столе благодать: пирог, варенец, рубцы, редиска, ветчина, свежие огурцы. Я опять сидел возле дяди, и он любезно сообщил мне несколько очень новых и интересных сведений: что гречневая каша — национальное русское блюдо, что есть даже пословица: «Каша — мать наша», что немцы предпочитают пиво, а русские — водку, и т. п.

Вошла Наташа и села к столу.

— Что ж ты, Наташа, с Митею не здороваешься? — сказала Софья Алексеевна.— Ведь он с твоими «принципами» не знаком и может обидеться.

По губам Наташи скользнула быстрая усмешка; она протянула мне руку.

— У тебя какие же на этот счет «принципы»? — спросил я.

Наташа засмеялась.

— Я не знаю, о каких мама принципах говорит,— ответила она, садясь рядом со мною.— А только... Смотри: мы восемь часов назад виделись; если люди днем восемь часов не видятся, то ничего, а если они эти восемь часов спали, то нужно целоваться или руку пожимать. Ведь правда, смешно?

— Ничего смешного нет,— поучающе возразила Софья Алексеевна.— Это известное условие между людьми, которое...

— Нам все смешно, нам все решительно смешно! — вдруг вскипятился дядя, враждебно глядя на Наташу.— Здороваться и прощаться — это предрассудок; вести себя, как прилично взрослой девушке,— предрассудок... А вот начитаться разных книжонок и без критики, без рассуждения поступать по ним — это не предрассудок! Это идейно и благородно.

Наташа с усмешкой наклонилась над своею чашкою и молчала. Видимо, между нею и отцом лежало что-то не раз уже вызывавшее их на столкновения.

После завтрака я узнал от Веры о положении дела. Последние два года Наташа усердно готовилась по древним языкам к аттестату зрелости, который, как передавали газеты, будет требоваться для поступления в проектируемый

женский медицинский институт. Дядя был очень недоволен занятиями Наташи: двадцатитрехлетней Соне, по-видимому, уже нечего было рассчитывать на замужество; Наташа была живее и красивее сестры, и дядя надеялся хоть от нее дождаться внучат. Между тем Наташа с головою ушла в своих классиков; она в Пожарске никуда не выезжала и даже не выходила к гостям, которые приглашались специально для нее. Чтобы совершенно избавиться от всех этих выездов и гостей, она прошлою осенью решила остаться на всю зиму в деревне. Произошла очень тяжелая сцена с дядей; под конец он объявил Наташе, что пусть она живет, где хочет, но пусть же и от него не ждет ни в чем уступки. Наташа всю зиму прожила в деревне; по утрам она набирала в залу деревенских ребят и девок, учила их грамоте, читала им; по вечерам зубрила греческую грамматику Григоревского и переводила Гомера и Горация. Этою весною проект о женском медицинском институте был возвращен государственным советом; решение вопроса отодвинулось на неопределенное время. Наташа решила ехать хоть на Рождественские курсы лекарских помощниц. Но для поступления туда требуется родительское разрешение. Когда Наташа заговорила с дядей о курсах, он желчно рассмеялся и сказал, что просьба Наташи его очень удивляет: как это она, «такая самостоятельная», снисходит до просьб! Наташа возразила, что просит она у него только разрешения, содержать же себя будет сама (у нее было накоплено с уроков около трехсот рублей). Дядя отказал наотрез. За Наташу вступился доктор Ликонский, отец Веры и Лиды, единственный человек, имеющий влияние на упрямого и ограниченного дядю; но и его убеждения ничего не могли поделать. Дядя решительно объявил, что боится отпустить Наташу с ее характером в Петербург.

26 июня

Может быть, это — лишь следствие того подъема жизненных сил, который обыкновенно замечается после благополучно перенесенного тифа,— что до того? Я знаю только, что я глубоко счастлив, счастлив *так*, без всякой причины... Ясные дни, теплые, душистые ночи, музыка Веры — чего мне больше? Не замечаешь, идет ли время, или стоит. Никакие вопросы не мучают, на душе тихо и ясно. Я даже книг современных теперь не читаю: дед дяди был очень

образованный человек и оставил после себя огромную библиотеку; теперь она свалена в верхней кладовой и служит пищею мышам. Я целые часы провожу там, разбираю и привожу в порядок книги и бумаги. Мне нравится с головою уходить в эту давно исчезнувшую жизнь, где Вольтер уживался с житиями святых, Руссо — с крепостным правом, «Les liaisons dangereuses» [1] —с Фомою Кемпийским,— жизнь жестокую, наивную, сладострастную и сентиментальную.

Наташа навела ко мне массу больных. Все в деревне ей знакомы, и все ей приятели. Она сопутствует мне в обходах, развешивает лекарства. Странное что-то в ее отношениях ко мне: Наташа словно все время изучает меня; она как будто не то ждет от меня чего-то, не то ищет, как самой подойти ко мне. Может быть, впрочем, я ошибаюсь. Но какие славные у нее глаза!

От разговоров ее веет чем-то старым-старым, но таким хорошим; она хочет знать, как я смотрю на общину, какое значение придаю сектантству, считаю ли возможным и желательным развитие в России капитализма. И в расспросах ее сказывается предположение, что я непременно должен интересоваться всем этим. Что же? Я ведь действительно интересуюсь; однако, правду говоря, разговоры эти мне крайне неприятны. Я с величайшим удовольствием прочту книгу, где дается что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о нем; но пусть для моего собеседника, как и для меня, вопрос этот будет холодным теоретическим вопросом, вроде вопроса о правильности теории фагоцитоза или о вероятности гипотезы Альтмана. Наташа же вносит в дело слишком много страстности, и мне становится неловко. Я неохотно отвечаю ей и перевожу разговор на другое.

И еще в одном отношении я часто испытываю неловкость в разговоре с нею: Наташа знает, что я мог остаться при университете, имел возможность хорошо устроиться,— и вместо этого пошел в земские врачи. Она расспрашивает меня о моей деятельности, об отношениях к мужикам, усматривая во всем этом глубокую идейную подкладку, в разговоре ее проскальзывают слова «долг народу», «дело», «идея». Мне же эти слова режут ухо, как визг стекла под острым шилом.

---

[1] «Опасные связи» *(франц.)*.

27 июня

Со станции привезли газеты. В Баку — холера. Она медленно, но непрерывно поднимается вверх по Волге.

28 июня

Писать, так уж все писать, хоть гадко и противно вспоминать. После завтрака мы с Верой, Соней и Наташей играли на дворе в крокет. Разговор случайно зашел о тургеневской Елене; Соня, перечитывавшая недавно «Накануне», назвала Елену «самым светлым и сильным образом русской женщины». Я напал на такую незаслуженно высокую оценку Елены. Елена — это разновидность типа очень старого: неопределенные порывания вдаль, игнорирование окружающего, искание чего-то эффектного, яркого, необычного — в этом она вся. Инсарова она полюбила не за то, что он указал ей дело, а просто потому, что он окружен ореолом, что он — «замечательный человек»: для нее Инсаров совершенно заслоняет собою то дело, которому он служит. Конечно, выбор Елены делает ей честь, но... право полюбить, например, героя Гарибальди — «невелика штука», как выражается Шубин; невелика штука и умереть за *Италию* из любви к *Гарибальди*. Когда Инсаров опасно заболевает, Елена может найти утешение лишь в одной мысли: «если он умрет,— и меня не станет». Вне ее любви для нее ничего не существует, и понятно, что после смерти Инсарова она должна была поехать непременно в Болгарию... Нет, Елена вовсе не «самый светлый образ русской женщины». Неужели действительно все дело женщины заключается в том, чтобы отыскивать достойного ее любви мужчину-деятеля? Где же прямая потребность настоящего дела? Пусть это дело темно и невидно, пусть оно несет с собою одни лишения без конца, пусть на служение ему уходят молодость, счастье, здоровье, — что до того? Ведь не забава и не фон для поэтического романа; это — тяжелый труд, красный лишь сознанием, что живешь не напрасно. И у нас много было и есть женщин, для которых это сознание дороже самых блестящих героев...

Уж тогда, когда я говорил, во мне шевельнулось отвращение к моему приподнятому тону; но меня подчинило себе то жадное внимание, с каким слушала Наташа Она не спускала с меня радостно-недоумевающего взгляда, и

столько в этом взгляде было страха, что я оборву себя, по обыкновению замну разговор. Ну, вот — я не остановился, не свел разговора на другое... О мерзость!

И напрасно я стараюсь убедить себя, что говорил я искренне, что есть что-то болезненное в моей боязни к «высоким словам»: на душе скверно и стыдно, как будто я, из желания пустить пыль в глаза, нарядился в богатое чужое платье.

11 час. вечера

Весь вечер я просидел наверху в кладовой, разбирая книги. Солнце опустилось в багровые тучи, и несколько раз принимался накрапывать дождь. Дядя за ужином был угрюм и молчалив: он собирался начать назавтра возку сена, а барометр неожиданно сильно упал; на Выконке сено не успели скопнить, и оно осталось на ночь в кругах. Окна были раскрыты, в темном саду тихо шумел дождь. Наташа тоже была молчалива. Я несколько раз ловил на себе ее внимательный и нерешительный, словно выжидающий взгляд. После ужина, когда я прощался с нею, она, протягивая руку, вдруг взглянула на меня и тихо проговорила:

— Митя, мне так много хочется у тебя спросить.

И я — я не спросил, что именно; я только серьезно кивнул головою и, не глядя на Наташу, ответил, что я всегда к ее услугам. Как будто я в самом деле не знаю, что она хочет спросить...

30 июня

Все время я провожу в кладовой за книгами. Небо обложено тучами, дождь моросит без конца; в мутной сырой дали тянутся черные пашни, мокрые галки кричат на крыше... Я напрасно стараюсь подавить в себе беспричинное, глухое раздражение, не оставляющее меня ни на минуту. Раздражает и надоедливый шум дождя по крыше, и эти ветхие окна, из щелей которых дует нестерпимо, и несущийся от книг противный запах мышей и прелой бумаги. Когда я вспоминаю о своем гаденьком вилянье перед Наташей, меня злость берет: уже два дня прошло; как мальчик, шалость которого открыта, я боюсь разговора с нею и стараюсь избегать ее. И Наташа сразу заметила это. Она держится в стороне, но глаза ее смотрят печально и недоумевающе. Бог весть как объясняет она мое поведение. Сегодня утром я случайно встретился с нею в коридоре; она пугливо оглядела меня и молча прошла мимо.

Голова тяжела, в груди тупая, ноющая боль, и опять появился кашель...

1 июля

Я лег вчера спать еще до ужина. Сегодня проснулся рано. Отдернул занавески, раскрыл окно. Небо чистое и синее, солнце горячим светом заливает еще мокрый от дождя сад; на липах распустились первые цветки, и в свежем ветерке слабо чувствуется их запах; все кругом весело поет и чирикает... На душе ни следа вчерашнего. Грудь глубоко дышит, хочется напряжения, мускульной работы, чувствуешь себя бодрым и крепким.

Я пошел в конюшню и оседлал Бесенка. Он застоялся, мне с трудом удалось сесть на него. Бесенок сердито ржал и, весь дрожа от нетерпения, рвался подо мною и вперед и в стороны. Я нарочно, чтоб побороться с ним, проехал тихим шагом деревенскую улицу и весь Большой луг. От седла пахло кожею, и этот запах мешался с запахом влажной луговой травы.

Проехав плотину, я свернул на Опасовскую дорогу и пустил Бесенка вскачь. Он словно сорвался и понесся вперед как бешеный. Безумное веселье овладевает при такой езде; трава по краям дороги сливалась в одноцветные полосы, захватывало дух, а я все подгонял Бесенка, и он мчался, словно убегая от смерти.

Слева над рожью затемнел Санинский лес, я придержал Бесенка и вскоре остановился совсем. Рожь без конца тянулась во все стороны, по ней медленно бежали золотистые волны. Кругом была тишина; только в синем небе звенели жаворонки. Бесенок, подняв голову и насторожив уши, стоял и внимательно вглядывался в даль. Теплый ветер ровно дул мне в лицо, я не мог им надышаться...

Ясное небо, здоровье да воля,—
Здравствуй, раздолье широкого поля!..

Ласточка быстро пронеслась мимо ног лошади и вдруг, словно что вспомнив, взмахнула крылышками, издала мелодический звук и крутым полукругом вильнула обратно. Бесенок опустил голову и нетерпеливо переступил ногами Я повернул на дорогу, вившуюся среди ржи по направлению к Санинскому лесу.

«Здоровье»... Здоров я не был,— я чувствовал, что грудь моя больна; но мне доставляло даже удовольствие это совершенно безболезненное ощущение гнездящейся во мне

болезни, и весело было заглядывать ей прямо в лицо: да, у меня легкие усеяны тысячами тех предательских желтеньких бугорков, к которым я так пригляделся на вскрытиях,— а я вот еду и дышу полною грудью, и все у меня в душе смеется, и я не боюсь думать, что болен я — чахоткою...

Вспомнился мне профессор N, у которого я два года работал,— хмурый старик с грозными бровями и добрейшей душой; вспомнились мне его предостережения, когда я сообщил ему, что поступаю в земство.

— Да вы, батенька, знаете ли, что такое земская служба? — говорил он, сердито сверкая на меня глазами.— Туда идти, так прежде всего здоровьем нужно запастись бычачьим: промок под дождем, попал в полынью,— выбирайся да поезжай дальше: ничего! Ветром обдует и обсушит, на постоялом дворе выпьешь водочки,— и опять здоров. А вы посмотрите на себя, что у вас за грудь: выдуете ли вы хоть две-то тысячи в спирометр? Ваше дело — клиника, лаборатория. Поедете,— в первый же год чахотку наживете.

Я знал, что все это правда, и тем не менее поехал же; я и под дождем мокнул и в полыньи проваливался, спеша в весеннюю распутицу к роженице, корчащейся в эклamptических судорогах. Когда ночные поты и утренний кашель навели меня на подозрение и я нашел в своей мокроте коховские палочки — именно сознание, что я добровольно шел на это, и не дало мне пасть духом. И вот теперь я стыжусь... чего? — стыжусь говорить, что нужно жить не для себя одного! Передо мною встало побледневшее личико Наташи с большими, печальными глазами... Да неужели же я не имею права хоть настолько-то уважать себя, чтоб не бояться разговора с нею, не бояться того вопроса, с которым она хочет ко мне обратиться? А как я ее мучил!

Рожь кончилась, дорога вилась среди ореховых и дубовых кустов опушки и терялась в тенистой чаще леса. Меня отовсюду охватило свежим запахом дуба и лесной травы; высоко вверх взбегали кругом серые стволы осин, сквозь их жидкую листву нежно синело небо. Дорога была заброшенная и наполовину заросшая, ветви липовых и кленовых кустов низко наклонялись над нею; в траве виднелись оранжевые шляпки подосинников, ярко зеленела костеника; запахло папоротником... Угомонившийся Бесенок шел щеголеватым шагом, изогнув красивую черную шею; вдруг

он поднял голову и, взглянув вперед, громко заржал. На повороте дороги, в нескольких шагах от меня, показалась Наташа верхом на своем буланом Мальчике.

Увидев меня, она отшатнулась на седле и, нахмурившись, затянула поводья; лошадь прижала уши и, оседая на задние ноги, подалась назад.

— Наташа! ты каким образом здесь? — радостно крикнул я и поспешил ей навстречу.— Здравствуй, голубушка! — Я перегнулся с седла и крепко пожал ей руку.

Наташа слабо вспыхнула и оглядела меня быстрым, робким взглядом.

— Вот хорошо, что мы с тобою встретились! Если бы я знал, я бы нарочно именно сюда поехал. Посмотри, утро какое: едешь и не надышишься... Неужели ты уже домой? Поедем дальше, хочешь?..

Я говорил, а сам не отрывал глаз от ее милого, радостно-смущенного лица. Я видел, как она рада происшедшей во мне перемене и даже не старается скрыть этого, и мне неловко и стыдно было в душе, и хотелось яснее показать ей, как она мне дорога.

— Поедем, мне все равно,— в замешательстве ответила Наташа, поворачивая Мальчика.

— Ну вот спасибо!.. И как это мы с тобою именно здесь съехались? Как хорошо,— правда? Голубушка, поедем куда-нибудь... Хочешь в Заклятую Лощину?

Я с трудом удерживал Бесенка, он косился и грозно ржал на шедшего бок о бок Мальчика. Дорога была узкая, мокрые ветви осинок то и дело обдавали нас брызгами, и мы ехали совсем близко друг от друга.

— Я там была сейчас,— сказала Наташа,— ручей разлился и весь обратился в трясину; пробовала проехать,— нельзя.

Я взглянул на Наташу: она была там!.. Заклятая Лощина — это глухая трущоба, которая, говорят, кишит волками; ее и днем стараются обходить подальше. А эта девчурка едет туда одна ранним утром, так себе, для прогулки!.. Не знаю, настроение ли было такое, но в эту минуту меня все привлекало в Наташе: и ее свободная красивая посадка на лошади, и сиявшее счастьем смущенное лицо, и вся, вся она, такая славная и простая.

— Ну, как хочешь, а я тебя сегодня не скоро пущу домой,— засмеялся я.— Попалась, так уж такая судьба твоя! Поедем хоть куда-нибудь.

Мы свернули на широкую дорогу, пересекавшую лес. Прямая, как стрела, она бежала в зеленой, залитой солнцем просеке.

— Вот дорога, как раз для скачек,— сказал я и с улыбкой взглянул на Наташу.

Наташа встрепенулась.

— А ну, давай опять перегоняться! — предложила она, поправляясь на седле.— Теперь наши лошади одинаково устали.

Мы как-то уж перегонялись с Наташей, и обогнала она; но я перед тем проехал на Бесенке десять верст.

— Ну, ну, посмотрим!

Мы пустили лошадей вскачь. Но только что они расскакались и мой Бесенок начал наддавать, все больше опережая Мальчика, как явилось довольно неожиданное препятствие. На краю дороги бродили в кустах два больших поросенка, безмятежно взрывая рылами землю. Завидев нас, они испуганно шарахнулись из кустов, хрюкнули и пустились улепетывать по дороге. Мы ждали, конечно, что они сейчас свернут вбок, и скакали по-прежнему; но поросята неуклюже всё мчались перед нами, всхрюкивая и отчаянно махая коротенькими, тонкими хвостиками.

— Они теперь все время так бежать будут, ни за что не свернут! — крикнула Наташа, смеясь.

Мы стали задерживать разогнавшихся лошадей. Поросята побежали медленнее, взволнованно хрюкая и трясь боками друг о друга.

Мы попытались осторожно объехать их; поросята взвизгнули и опять как угорелые бросились вперед. Мы переглянулись и расхохотались.

— Вот так задача! — сказал я.

Наташа сдерживала, смеясь, рвавшегося вперед Мальчика. Теперь последняя неловкость между нами исчезла, Наташа оживилась, и было неудержимо весело.

— Ничего, все равно поедем! — сказала Наташа.— Это Дениса свиньи, лесника; их и без того следовало пригнать домой: вон куда они забрели, их еще волки съедят! Поедем к Денису, он нас молоком напоит. Его сторожка сейчас там, на полянке.

Мы поехали шагом, предшествуемые поросятами.

— Ты еще не видел этого Дениса, он всего два года здесь лесником. Такой потешный старичок,— маленький, худенький... Как-то, когда он только что поступил, мама

случайно заехала сюда; увидала его: «Голубчик мой, да что же ты за сторож? Ведь тебя всякий обидит!» А он отвечает: «Ничего, барыня, меня не найдут...»

Никогда еще я не видел Наташу такою: ее лицо так и дышало детскою, беззаветною радостью... Я не мог оторвать от нее глаз.

Лесная сторожка стояла в глубине широкой, недавно выкошенной поляны. Денис, в белой холщовой рубахе и лаптях, вышел нам навстречу.

— Денис, голубчик, здравствуй! К тебе мы! — сказала Наташа, соскакивая с лошади.

— А-а, барышня касаткинская,— воскликнул Денис, щурясь.— Просим милости, пожалуйте.— Сунув шапку под мышку, он взял за повод наших лошадей.

— Голубчик, надень шапку!.. И привяжем мы сами... А уж если хочешь быть другом, напои нас молоком... Едем мы сюда,— вот он и говорит: «Не даст нам Денис молока!» Кто, я говорю, Денис-то не даст?

— Господи! Да неужто ж мы какие-нибудь? Слава богу, найдется молочко, будьте покойны. Пожалуйте в горницу. Девка-то моя на деревню побежала, так уж сам услужу вам.

Было в Денисе что-то чрезвычайно комичное: он то и дело самым степенным образом гладил свою жидкую бороденку, серьезно хмурил брови, и все-таки ни следа степенности не было в его сморщенном в кулачок личике и всей его миниатюрной фигурке; получалось впечатление, будто маленький ребенок старается изобразить из себя почтенного, рассудительного старичка.

Мы вошли в избу. Денис поставил перед нами две чашки и кринку парного молока, нарезал ситнику. Наташа следила за ним радостно-смеющимися глазами и болтала без умолку.

— А чтой-то я вот барина этого раньше не видал никогда? — сказал Денис.— Смотрю, смотрю,— нет, чтой-то словно...

— Он недавно только приехал...

Денис поглядел на Наташу.

— Они что же, барышня,— уж не обессудьте на вопросе,— не женишком ли вам приходятся?

— Ну да же, конечно, женихом!

— То-то я все смотрю... Чтой-то думаю,— с чего такая радость?

— Да как же, Денис, не радоваться? Ведь сам знаешь, в нынешние времена жениха найти — дело нелегкое. Не найдешь их нигде, словно вымерли все.

Денис развел руками.

— Да ведь... О том и толк, барышня! Куда, мол, подевались все? Неизвестно!

— Вот-вот. Ну, а я вот нашла себе.

— Ну, дай вам бог счастливо!.. Они, что же, по акцизной части служат?

Наташа расхохоталась.

— Голубчик Денис, да почему же ты думаешь, что именно по акцизной?!

— Ну, ну, господь с тобой, матушка... Хе-хе-хе! — рассмеялся и Денис, глядя на нее.

Узнав, что я доктор, он придал своему лицу страдальческое выражение и стал сообщать мне о своих многочисленных болезнях.

Мы просидели у него с полчаса. Попытался я ему заплатить за молоко, но Денис обиделся и отказался наотрез.

От него мы поехали на Гремучие колодцы, оттуда в Богучаровскую рощу. В Богучарове, у земского врача Троицкого, пили чай... Домой воротились мы только к обеду.

2 июля, 10 час. утра

Перечитал я написанное вчера... Меня опьянили яркое утро, запах леса, это радостное, молодое лицо; я смотрел вчера на Наташу и думал: так будет выглядеть она, когда полюбит. Тут была теперь не любовь, тут было нечто другое; но мне не хотелось об этом думать, мне только хотелось, чтоб подольше на меня смотрели так эти сиявшие счастьем глаза. Теперь мне досадно, и злость берет: к чему все это было? Я одного лишь хочу здесь,— отдохнуть, ни о чем не думать. А Наташа стоит передо мною— верящая, ожидающая...

11 час. вечера

Ну, произошел наконец разговор... После ужина Вера с Лидой играли в четыре руки какой-то испанский танец Сарасате. Я сидел в гостиной, потом вышел на балкон. Наташа стояла, прислонясь к решетке, и смотрела в сад. Ночь была безлунная и звездная, из темной чащи несло росою. Я остановился в дверях и закурил папиросу.

Наташа обернулась на свет спички.

— Ах, это ты, Митя! — тихо сказала она, выпрямляясь. —Хочешь, пойдем в сад?.. Посмотри, как... хорошо...

Голос ее обрывался, и она взволнованно теребила кружево на своем рукаве.

Мы спустились в цветник и пошли по аллее.

— Помнишь, Митя,— вдруг решительно заговорила Наташа,— помнишь, ты говорил недавно о сознании, что живешь не напрасно, что это самое главное в жизни... Я и прежде, до тебя много думала об этом... Ведь это ужасно — жить и ничего не видеть впереди: кому ты нужна? Ведь это сознание, о котором ты говорил,— ведь это самое большое счастье...

Я молча шел, кусая губы. В душе у меня поднималось злобное, враждебное чувство к Наташе; должна же бы она наконец понять, что для меня этот разговор тяжел и неприятен, что его бесполезно затевать; должна бы она хоть немного пожалеть меня. И меня еще больше настраивало против нее, что мне приходится ждать сожаления и пощады от этого почти ребенка.

Наташа замолчала.

— Я слышал, что ты прошлую зиму занималась здесь с деревенскими ребятами,— проговорил я.— Ну, как ты с охотою занималась, нравится тебе это дело?

— Д-да,— сказала Наташа, запнувшись.

— Ну вот и дело. Если хочешь совершенно отдаться ему, поступи в сельские учительницы. Тогда ты будешь близко стоять к народу, можешь сойтись с ним, влиять на него...

Я говорил, как плохой актер говорит заученный монолог, и мерзко было на душе... Мне вдруг пришла в голову мысль: а что бы я сказал ей, если бы не было этой спасительной сельской учительницы, альфы и омеги «настоящего» дела?

Наташа шла, опустив голову.

— Голубушка, это дело мелко, что говорить,— сказал я, помолчав.— Но где теперь блестящие, великие дела? Да не по ним и узнается человек. Это дело мелко, но оно дает великие результаты.

Я почти физически страдал: как все фальшиво и фразисто! Мне казалось, теперь Наташа видит меня насквозь; и казалось мне еще, что и сам я только теперь увидел себя в настоящем свете, увидел, какая безнадежная пустота во мне...

— Вот это прелестно! — раздался в темноте голос Веры.— Мы с Лидой играем для них, стараемся, а они себе ушли и гуляют здесь! Стоит вам играть после этого! Никогда не стану больше!

Вера, Лида и Соня подошли к нам. Я был рад, что кончился разговор.

3 июля

Привезли газеты. На меня вдруг пахнуло совсем из другого мира. Холера расходится все шире, как степной пожар, и захватывает одну губернию за другою; люди в стихийном ужасе бегут от нее, в народе ходят зловещие слухи. А наши медики дружно и весело идут в самый огонь навстречу грозной гостье. Столько силы чуется, столько молодости и отваги. Хорошо становится на душе... Завтра я уезжаю в Пожарск.

4 июля

Я в Пожарске. Приехал я на лошадях вместе с Наташею, которой нужно сделать в городе какие-то покупки. Мы остановились у Николая Ивановича Ликонского, отца Веры и Лиды. Он врач и имеет в городе обширную практику. Теперь, летом, он живет совсем один в своем большом доме; жена его с младшими детьми гостит тоже где-то в деревне. Николай Иванович — славный старик с интеллигентным лицом и до сих пор интересуется наукой; каждую свободную минуту он проводит в своей лаборатории.

Приехали мы вечером, к ужину. Я расспрашивал Николая Ивановича о холере. Она серпом окружила нашу губернию, и кое-где были уже единичные случаи заболевания. В самом Пожарске во врачах не нуждаются, но в уездах недостаток; в уездном городе Слесарске не могут найти врача для зареченской стороны, Чемеровки, заселенной мастеровщиной. Завтра пошлю туда заявление.

5 июля. Воскресенье

На заборах и фонарных столбах расклеены объявления, приглашающие жителей города Пожарска принять участие в имеющем произойти сегодня в соборе «молебствии об избавлении от болезни, называемой холерой, за коим последует торжественный крестный ход по всему городу». Я был на молебне. На улицах словно все вымерло; огромная соборная площадь была покрыта несметной толпой; пробраться в самый собор нечего было и думать. Ласточки

со звоном кружили вокруг колоколен; солнце играло на золоте прислоненных к стенам хоругвей; из церкви чуть слышно доносилось пение. Я стоял и смотрел на толпу. Может быть, вот эта бледная красивая девушка, так благоговейно-гордо держащая образ тихвинской божьей матери, этот маленький человечек с курчавою головою и в пиджаке, этот нищий — всех их через неделю свалит холера.

Кругом говорили о недавней смерти местного архиерея, о том, по каким улицам пойдет ход; о самом предмете молебна — ни слова; разве только какой-нибудь веселый мастеровой подмигнет соседу на проходящую дряхлую старушонку с трясущеюся головою и сострит:

— Собрались холеру отмаливать, а холера вон она идет!

Слоняясь в толпе, я столкнулся с Виктором Сергеевичем Гастевым. Он служит акцизным в Слесарске и приехал в Пожарск на какой-то акцизный съезд. Разговорились. Я ему сообщил, что послал заявление к ним в Слесарск

Он вытаращил на меня глаза.

— В Слесарск? Ну, батенька, посылайте телеграмму, что отказываетесь.

— С какой стати?

— Да не слыхали вы, что ли, что такое мастеровщина наша зареченская? Укокошат вас там через три дня, и оглядеться не дадут.

— Разве так народ возбужден?

Виктор Сергеевич вскинул плечами и молча стал закуривать сигару. Потом, таинственно подняв брови, наклонился ко мне и зашептал:

— Туда бы, батенька, теперь полк солдат впору поставить, да на руки им боевые патроны раздать, чтоб каждую минуту были готовы к делу. А у нас ведь знаете, как делается: пока гром не грянет, никто не перекрестится; а там и пойдут телеграммами губернатора бомбардировать: «Войска давайте!» И холеры-то пока, слава богу, у нас нет никакой, а посмотрите, какие уже слухи ходят: пьяных, говорят, таскают в больницы и там заливают известкой, колодцы в городе все отравлены, и доктора только один чистый оставили — для себя; многие уже своими глазами видели, как здоровых людей среди бела дня захватывали крючьями и увозили в больницу... Они и не скрывают ничего, прямо говорят: если у нас холера объявится, мы всех докторов перебьем. Шутки, батюшка мой, плохие!

Да чего ж вам лучше? Из местных врачей в Чемеровку никто не хочет идти.

На паперти показались священники в золотых ризах; пение вдруг стало громче. Народ заволновался и закрестился, над головами заколыхались хоругви. Облезлая собачонка, отчаянно визжа, промчалась на трех ногах среди толпы; всякий, мимо которого она бежала, считал долгом пихнуть ее сапогом; собачонка катилась в сторону, поднималась и с визгом мчалась дальше. Ход потянулся к кремлевским воротам.

— Ну, пойдем и мы следом! — сказал Виктор Сергеевич.— А как у вас там все в деревне поживают? Через недельку поеду в отпуск в Смоленск, заеду к вам крестницу свою проведать. (Он крестный отец Сони.)

Прощаясь, Виктор Сергеевич еще раз настоятельно посоветовал мне заблаговременно взять свое заявление назад.

6 июля

Я воротился в Касаткино, так как, может быть, придется ждать больше недели.

Вчера вечером перед отъездом из Пожарска мы пили у Николая Ивановича чай. Наташа разливала. Николай Иванович рассказывал мне о своих исследованиях над вопросом об обмене веществ у подагриков. Вошла горничная и доложила ему, что его хочет видеть «один человек».

— Чего ему? Скажи, чтоб сюда вошел! — сказал Николай Иванович.

В дверях залы показался высокий человек в мещанском пиджачке и стоптанных сапогах. Он поклонился и смиренно остановился у порога.

— Чего тебе, братец? — спросил Николай Иванович.

— Вот карточка вам от Владимира Владимировича.

Николай Иванович пробежал несколько строк, написанных на оборотной стороне визитной карточки, слегка покраснел и нахмурился.

— Ах, виноват! Очень приятно познакомиться! — и он протянул вошедшему руку.— Пожалуйста, садитесь! Не хотите ли чаю? Господин Гаврилов! — отрекомендовал он его нам.

На тонких губах вошедшего мелькнула чуть заметная усмешка. Он поклонился и также смиренно сел к столу на кончик стула. Это был худощавый человек лет три-

дцати пяти, с жиденькой бородкой и остриженный в скобку; выглядел он мелким торгашом-краснорядцем или прасолом, но лоб у него был интеллигентный.

Николай Иванович еще раз прочел карточку и спросил:

— Вы чего же, собственно, хотите?

— В этом году, как вы изволите знать,— начал Гаврилов с тою же чуть заметною усмешкою,— Россию посетил голод, какого давно уже не бывало. Народ питается глиной и соломою, сотнями мрет от цинги и голодного тифа. Общество, живущее трудом этого народа, показало, как вам известно, свою полную нравственную несостоятельность. Даже при этом всенародном бедствии оно не сумело возвыситься до идеи, не сумело слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату. Оно отделывалось пустяками, чтоб только усыпить свою совесть: танцевало в пользу умирающих, объедалось в пользу голодных, жертвовало каких-нибудь полпроцента с жалованья. Да и эти крохи оно давало народу, как подачку, и только развращало его, потому что всякая милостыня есть разврат. В настоящее время народ еще не оправился от беды, во многих губерниях вторичный неурожай, а идет новая, еще худшая беда — холера...

Николай Иванович слушал, забрав в горсть свою длинную седую бороду, и смотрел в окно.

— Общество, разумеется, по-прежнему остается достойным себя,— продолжал Гаврилов.— В этой новой беде, которая грозит уж и ему самому, оно забыло обо всем и бежит спасаться, куда попало. В народе остались только медики, а этого слишком мало. Народ нуждается в материальной помощи, а еще больше в духовной. Ни того, ни другого нет.

Николай Иванович положил голову на руку и стал смотреть на кончик своего сапога.

— Общество должно наконец прийти в себя. Оно всем обязано народу и ничего не отдает ему. «Другие трудились, а вы вошли в труд их»,— говорит Иисус...

— Извините, пожалуйста,— прервал его Николай Иванович.— Я вот все слушаю вас... и мне все-таки неясно, чего вы, собственно, от меня желаете?

— Я обратился к вам потому, что мне Владимир Владимирович сказал, что вы хороший человек. В настоящее время на таких только людей и надежда.

— Вы хотите, чтоб я... пожертвовал в пользу голодающих? — медленно спросил Николай Иванович, подняв брови.

— Нам нужны ваше сердце, ваш ум,— сказал Гаврилов, чуть улыбнувшись на небрежный вопрос Николая Ивановича.— Деньги — это последнее; *только* деньги нам не нужны. И во всяком случае я пришел просить у вас не денег.

— А чего же-с?

— Вашего нравственного содействия, активной работы в пользу несчастных.

— Вот как!.. Однако работа-то работой, а ведь, согласитесь,— прежде всего для этого все-таки нужны деньги.

— Миром управляют идеи, а не деньги. *Прежде всего* нужна любовь.

— Ну, а после нее — деньги? Ведь за хлеб купцу нужно заплатить деньгами, а не любовью.

— За деньгами дело не станет, их всегда легко собрать. То и горе у нас, что от всякого дела люди откупаются деньгами.

— Вы думаете? Ну, так я вам вот что скажу: у меня тут три четверти города знакомых, а я много собрать не возьмусь.

Гаврилов пожал плечами.

— Странно! Я здесь никого не знаю, всего только три дня назад приехал, а берусь вам собрать в месяц пятьсот рублей.

— Ну, исполать вам!..— засмеялся Николай Иванович.— Я расскажу вам один случай. Был у нас тут в городе студент-юрист; кончает курс, а средств никаких; выгоняют за невзнос платы. Ну, вот я и вздумал устроить сбор. Заезжаю, между прочим, в одну богатую купеческую семью, в которой состою врачом около пятнадцати лет. Барышни сидят — в брильянтах, в кружевах. Говорю им. Они поморщились. «Посмотрим,— говорят,— может быть, что-нибудь найдем». Я к брату их: «Там с ними не сговоришься; вы, Платон Степаныч, энергичный человек — возьмитесь за дело как следует, ведь сами понимаете, нужно помочь!» И знаете, какой из этого вышел результат?

— Какой же вышел результат?

— Ну, как вы думаете?

— Ну-с?

— С тех пор меня перестали приглашать в этот дом! — отрезал Николай Иванович и стал закуривать папиросу.

Гаврилов внимательно посмотрел на него.

— Зачем вы лечите таких? — спросил он, чуть дрогнув бровью.

Николай Иванович запнулся от неожиданности вопроса и пожал плечами.

— Странное дело! Врач обязан лечить всякого.

Гаврилов продолжал лукаво смотреть на него и беззвучно смеялся.

— Какого же рода «активной работы» желаете вы от меня? — спросил Николай Иванович, нахмурившись.— Прикажете идти в деревню, в народ?

— Народ не только в деревне, а и в городе, везде,— и везде он нуждается в помощи. Нужно только одно: чтоб не господа благодетельствовали мужичью, а братья помогали братьям. Когда погорелец приходит к мужику, мужик сажает его за стол, кормит обедом и дает копейку,— погорелец знает, что он — товарищ, потерпевший несчастие. Когда погорелец приходит к барину, барин высылает ему через горничную пятачок,— погорелец — нищий и получает милостыню. А милостыня есть худший из всех развратов, потому что она одинаково деморализует и дающего и берущего. Господа съезжаются с разных концов города и с увлечением спорят о шансах Гладстона на избирательную победу или об исполнимости проектов Генри Джорджа; а тут же в подвале идет не менее ожесточенный спор о том, какая божья матерь добрее — ахтырская или казанская, и на скольких китах стоит земля. Это — два различных мира, не имеющих между собою ничего общего...

Николай Иванович нетерпеливо закачал ногою. Гаврилов со смиренною улыбкою спросил:

— Извините, может быть, я вам наскучил?

— Нет, что же-с? Сделайте одолжение. Но только... Я вот все время очень внимательно слушаю вас и все-таки никак не могу понять, что же я... обязан делать.

— Ближе стать к братьям, больше ничего; помогать им, а не благодетельствовать, не беречь для себя знаний, которые должны быть достоянием всех...

— Да-с? — выжидательно сказал Николай Иванович.

— Приближается холера. Народ голодает,— это лучшая почва для нее; народ невежествен — и это отнимает у него последние средства защиты. Пора. Пора же со-

знать, что, когда люди кругом умирают, стыдно роскошествовать. (Гаврилов беглым взглядом оглядел стол с стоявшими на нем закусками.) Я всего три дня здесь, но уж видел прямо ужасающие картины нищеты,— нищеты стыдливой и робкой, боящейся просить. Люди десятками ютятся в зловонных конурах, а мы занимаем по пяти-шести комнат; люди рады, если раздобудутся к обеду парою картофелин, а мы наедаемся так, что не можем шевельнуться. И если такие люди приходят к нам, мы смотрим на них не со стыдом, а с пренебрежением и не пускаем их дальше передней. Выход только один: сознать, что *нечестный человек* тот, кто не хочет понять этого, братски разделить с обиженными свой дом, стол, все; доказать, что мы действительно хотим помочь, а не убаюкивать только свою совесть.

— Если я вас понял,— проговорил Николай Иванович, сдерживая под усами улыбку,— вы мне предлагаете пригласить к себе в дом три-четыре нищих семьи, поселить их здесь, кормить, поить и обучать... Так?

— Да-с! — ответил Гаврилов, и по губам его снова пробежала чуть заметная усмешка.

Николай Иванович с любопытством смотрел на своего гостя. Наташа, подперев рукою подбородок и нахмурившись, также не спускала глаз с Гаврилова.

— Ну, скажите, господин Гаврилов,— увещевающим тоном заговорил Николай Иванович,— неужели же вам не стыдно говорить такой вздор?

— Почему вы полагаете, что это вздор? — спросил Гаврилов с своею быстрою усмешкою, нисколько не обидевшись.

— Мне бы еще было понятно ваше предложение, если бы дело шло просто о какой-нибудь определенной семье, которой нужна помощь. Но вы, насколько я вас понимаю, видите во всем этом прямо какое-то универсальное средство.

— Если вы один так поступите, то этого, разумеется, будет мало. Но важна идея, пример. Вы — один из наиболее уважаемых людей в городе; ваш почин сначала, может быть, вызовет недоумение, но затем найдет подражателей. Потому и не удается у нас ничего, что все руководствуются лживою, но очень удобною пословицею: «Один в поле не воин».

— Д-да, картина, во всяком случае, довольно умилительная: мы работаем, выбиваясь из сил, втрое больше прежнего, а «братья»-постояльцы бьют себе баклуши

на готовых хлебах... Воображаю, какую массу «братьев» мы расплодим по городу!

— Они вовсе не должны бить баклуши, они должны работать. Дайте им работу.

— Где мне ее прикажете взять?

— Работа всегда найдется. Пусть они чистят у вас сад, подметают двор, колют дрова. Они сами будут рады.

Николай Иванович с усмешкою махнул рукою.

— Ну хорошо! Допустим, что все это легко исполнимо, что им найдется работа, что они сами будут рады; допустим, что этим путем мы в состоянии обновить мир. Но что прикажете в таком случае делать всем с собственными семьями? — И он в комическом недоумении развел руками.

— Семьи можно бы в настоящее время и не иметь,— сказал Гаврилов, понизив голос.

Николай Иванович быстро поднял голову и пристально посмотрел на Гаврилова.

— А-а! — расхохотался он, вставая.— Теперь, батенька, я вас узнал.— Это — известная Zweikindersystem [1], или еще лучше, «Крейцерова соната»! Только, батюшка, вы немножко опоздали: уже и в Западной Европе давно доказана вздорность всего этого. Вы — толстовец!

Гаврилов чуть заметно улыбнулся.

— Я не слыхал, чтоб «все это» давно было опровергнуто в Западной Европе, а Zweikindersystem тут ни при чем. Это — старая истина, которая *не может быть* опровергнутой. «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. *И враги человеку — домашние его*»,— сказал Иисус...

Николай Иванович резко прервал его:

— Извините, пожалуйста! Я не знаю, что это за Иисус, я знаю только Иисуса Христа.

— Виноват! — почтительно ответил Гаврилов.— Я хочу сказать, что в настоящее время, когда все общество построено на крайне ненормальных отношениях, явления, сами по себе нормальные, становятся противоестественными и греховными. На человеке лежит слишком много обязанностей, чтоб он мог позволить себе иметь семью.

Гаврилов стал говорить о ненормальности строя теперешнего общества, о разделении труда и проистекающих отсюда бедствиях, об аристократизме науки и искусства,

[1] Теория, по которой в семье должно быть не более двух детей (*нем.*).

о церкви, о государстве. Говорил он, подняв голову и блестя глазами, голосом проповедника-фанатика. Николай Иванович слабо зевнул и вынул часы.

— Господа, однако. уж восьмой час! — обратился он к нам.— Нужно велеть подавать лошадей, а то вам придется ехать совсем в темноте.

Гаврилов поднялся с места.

— Я, кажется, слишком долго засиделся,— сказал он со смущенной улыбкой.— Извините меня. Честь имею кланяться. Так на вас, значит, мы рассчитывать не можем?

— Мы? — переспросил Николай Иванович и поднял брови.— У вас что же партия целая есть?

— Да, «партия» людей, которые думают, что общее благо должно ставить выше личного.

Когда Гаврилов ушел, Николай Иванович облегченно вздохнул.

— Господи боже ты мой! — воскликнул он, оглядывая нас.— Сколько чуши можно наговорить в какие-нибудь короткие полчаса!

Наташа сумрачно взглянула на него и молча наклонилась над чашкой. Мне было неловко: правда, нелепостей было сказано достаточно, но... мне вдруг глубоко антипатичен стал Николай Иванович, и я не думал раньше, чтоб он был таким мещанином.

Подали лошадей. Мы простились и уехали. Город остался назади. Мы долго молчали.

— Да, этот человек по крайней мере знает, чего хочет, и верит в это,— сказал я наконец.

Наташа быстро подняла голову, взглянула на меня и снова начала смотреть на тянувшиеся по сторонам поля.

— И все-таки он лучше всех, которые там были,— процедила она сквозь зубы, с злым, угрюмым выражением на лице.

Всю остальную дорогу мы лишь изредка перекидывались незначащими замечаниями. Наташа упорно смотрела в сторону, и с ее нахмуренного лица не сходило это злое, жесткое выражение. Мне тоже не хотелось говорить. Солнце село, теплый вечер спускался на поля; на горизонте вспыхивали зарницы. Тоскливо было на сердце.

7 июля

Довольно было этой случайной встречи, чтобы все так долго созидаемое душевное спокойствие разлетелось пра-

хом,— и вот я опять не знаю, куда деваться от тоски. Мне вспоминается страстная речь этого человека, вспоминается жадное внимание, с каким его слушала Наташа; я вижу, как карикатурно-убога, убога его программа, и все-таки чувствую себя перед ним таким маленьким и жалким. И передо мною опять встает вопрос: ну, а *я-то, чем же я живу?*

Время идет,— день за днем, год за годом... Что же, так всегда и жить,— жить, боясь заглянуть в себя, боясь, прямого ответа на вопрос? Ведь у меня *ничего* нет. К чему мне мое честное и гордое миросозерцание, что оно мне дает? Оно уже давно мертво; это не любимая женщина, с которою я живу одной жизнью, это лишь ее труп; и я страстно обнимаю этот прекрасный труп и не могу, не хочу верить, что он нем и безжизненно-холоден; однако обмануть себя я не в состоянии. Но почему же, почему нет в нем жизни?

Не потому ли, что все мое внутреннее содержание — лишь красивые слова, в которые я сам не верю? Но разве же можно бояться слов больше, чем я боюсь, разве можно больше верить, чем я верю? И я не «лишний человек». Я ненависть чувствую ко всем этим тунеядцам, начиная с темного Чулкатурина [1] и кончая блестящим Плошовским [2], я не могу простить нашей чуткой славянской литературе, что она благоуханными цветами поэзии увенчала людей, заслуживающих лишь сатирического бича. Меня не пугает нужда, не пугает труд; я с радостью пойду на жертву; я работаю упорно, не глядя по сторонам и живя душою только в этом труде. И все-таки... все-таки мне постоянно приходится повторять себе это, и я ношусь со своею чахоткою, как молодой чиновник с первым орденом. Пусто и мертво в сердце; кругом посмотришь,— жизнь молчит, как могила.

8 июля

Сегодня после ужина Вера с Лидой играли в четыре руки Пятую симфонию Бетховена. Страшная эта музыка: глубоко-тоскующие звуки растут, перебивают друг друга и обрываются, рыдая; столько тяжелого отчаяния в них. Я слушал и думал о себе.

---

[1] «Дневник лишнего человека», Тургенева. (*Прим. В. Вересаева.*)
[2] «Без догмата», Сенкевича. (*Прим. В. Вересаева.*)

Наташа стояла на балконе, облокотясь о решетку, и неподвижно смотрела в темный сад. Да, и ей нелегко... В речах этого Гаврилова на нее пахнуло из другого мира, далекого и светлого,— мира, в котором нет сомнений, в котором все живо и сильно. Но где путь туда? Я смотрел на Наташу, и у меня сжималось сердце: как грустно опущена ее голова, сколько затаенного страдания во всей ее фигуре... Почему так дорога стала мне эта девушка? Мне хотелось подойти к ней и крепко пожать ей руку. Но что я скажу ей, и на что ей мое сожаление? Она его отвергнет.

А звуки по-прежнему горько плакали. Чище и глубже становилось от них горе. И мне казалось: я найду, что сказать...

Я вышел на балкон. Недавно был дождь, во влажном саду стояла тишина, и крепко пахло душистым тополем; меж вершин елей светился заходящий месяц, над ним тянулись темные тучи с серебристыми краями; наверху сквозь белесоватые облака мигали редкие звезды.

— Хочешь, Наташа, на лодке ехать? — спросил я, помолчав.

Наташа очнулась и оглядела меня недоумевающим, отчужденным взглядом.

— Пойдем,— сказала она.

Мы спустились по влажной тропинке к реке.

— Как река прибыла! — тихо сказала Наташа, видимо, чтоб только сказать что-нибудь.

— Да. И посмотри, какая тишина кругом: голосов ночи совсем нет. Это так всегда после дождя.

— А ну! — Наташа остановилась и стала слушать. Потом пошла дальше.

Теперь я видел, что обманулся в себе: я не знал, как начать и о чем говорить.

Мы сели в лодку и отплыли. Месяц скрылся за тучами, стало темней; в лощинке за дубками болезненно и прерывисто закричала цапля, словно ее душили. Мы долго плыли молча. Наташа сидела, по-прежнему опустив голову. Из-за темных деревьев показался фасад дома; окна были ярко освещены, и торжествующая музыка разливалась над молчаливым садом; это была последняя, заключительная часть симфонии,— победа верящей в себя жизни над смертью, торжество правды и красоты и счастья бесконечного.

Наташа вдруг подняла голову.

— Митя! Помнишь, мы раз с тобою шли по саду, я тебя спрашивала, что мне делать? Ты говорил тогда про сельскую учительницу. Скажи мне правду: ты верил в то, что говорил?

Я несколько времени молчал; я не ожидал, что она так прямо, ребром, поставит вопрос.

— Что тебе сказать на это? — ответил я наконец.— Верил ли я? Да, Наташа, я верил. Но... Ты хочешь правды. Я видел, как ты смотрела на меня, когда я сюда приехал, видел, что ты чего-то ждала от меня. Меня это очень мучило, но что я мог сделать? Ты от *меня* ожидала разрешения своих вопросов! Голубушка, ты ошиблась. Рассказывать ли тебе, как я прожил эти три года? Я только обманывал себя «делом»; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое; но где оно? Я потерял надежду найти. Боже мой, как это тяжело! Жить — и ничего не видеть впереди; блуждать в темноте, горько упрекать себя за то, что нет у тебя сильного ума, который бы вывел на дорогу,— как будто ты в этом виноват. А между тем идет время...

Есть силы,— боже, гибнут силы!
Есть пламень честный,— гаснет он!

Ты подозреваешь, что я сам не верю... Не верю? Наташа, голубушка, я верю, всею силою души верю,— это ты ошибаешься. Люби ближнего твоего, как самого себя,— нет больше этой заповеди. Если бы ее не было, мне страшно, что бы было со мною. И ты поверишь, что я не фразы говорю. Но тебе нужно другое. Жить для других, работать для других... Все это слишком общо. Ты хочешь идеи, которая бы наполнила всю жизнь, которая бы захватила целиком и упорно вела к определенной цели; ты хочешь, чтоб я вручил тебе знамя и сказал: «Вот тебе знамя,— борись и умирай за него»... Я больше тебя читал, больше видел жизнь, но со мною то же, что с тобой: я *не знаю!*— в этом вся мука.

Наташа сидела, подперев подбородок рукою, и сумрачно слушала. Как не похожа была она теперь на ту Наташу, которая две недели назад, в этой же лодке с жадным вниманием слушала мои рассказы о службе в земстве! И чего бы я ни дал, чтобы эти глаза взглянули на меня с прежнею лаской. Но тогда она ждала от меня того, что

дает жизнь, а теперь я говорил о смерти, о смерти самой страшной,— смерти духа. И позор мне, что я не остановился, что я продолжал говорить...

Я говорил ей, что я не один такой: что все теперешнее поколение переживает то же, что я; у него *ничего* нет,— в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды, оно гибнет невидно и бесповоротно... Пусть она посмотрит на теперешнюю литературу,— разве это не литература мертвецов, от которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти.

Наташа все время не выронила ни слова. Она взялась за руль и повернула лодку. Назад мы плыли молча. Месяц закатился, черные тучи ползли по небу; было темно и сыро; деревья сада глухо шумели. Мы подплыли к купальне. Я вышел на мостки и стал привязывать цепь лодки к столбу. Наташа неподвижно остановилась на носу.

— Я все-таки думаю, что ты ошибаешься,— тихо сказала она, глядя вдоль реки, тускло сверкавшей в темноте.— Неужели правда, необходимо быть таким рабом времени? Мне кажется, что ты перенес на всех то, что сам переживаешь.

Я с усмешкой пожал плечом.

— Дай бог!

Я вышел на берег. Наташа по-прежнему неподвижно стояла в лодке.

— Ты еще не пойдешь домой?

— Нет,— коротко ответила она.

Я стал подниматься по крутой, скользкой тропинке. Когда я был уже в саду, я услышал внизу, по реке, ровный стук весел: Наташа снова поехала на лодке.

И вот уже час прошел, а я все сижу у стола,— без мысли, без движения, в голове пустота. На дворе идет дождь, черный сад шумит от ветра, тоскливо и однообразно журчит вода в дождевом желобе... Наташа еще не возвращалась.

10 июля

Наташа все эти дни избегает меня. Мы сходимся только за обедом и ужином. Когда наши взгляды встречаются, в ее глазах мелькает жесткое презрение... Бог с нею! Она шла ко мне, страстно прося хлеба, а я — я положил в

ее руку камень; что другое могла она ко мне почувствовать, видя, что сам я еще более нищий, чем она?.. И кругом все так тоскливо! Холодный ветер дует не переставая, небо хмуро и своими слезами орошает бессчастных людей.

9 час. вечера

Сейчас нарочный привез мне со станции телеграмму из Слесарска: городская управа уведомляет, что я принят на службу, и просит приехать немедленно. Слава богу! Еду завтра вечером.

11 июля. 12 час. ночи

Я в Слесарске: приехал я всего полчаса назад. Ну и городишко! Гостиниц нет, пришлось остановиться на постоялом дворе. Мне отвели узенькую комнату с одним окном. Синие потрескавшиеся обои; под тусклым зеркальцем — стол, покрытый грязной скатертью с розовыми разводами; щели деревянной кровати усеяны очень подозрительными пятнышками. Кругом все глубоко спит, пальмовая свеча слабо освещает стены; потухающий самовар тянет тонкую-тонкую нотку; замолкнет на минутку, словно прислушиваясь, поворчит — и опять принимается тянуть свою нотку. Спать еще не хочется; буду вспоминать сегодняшний день.

К обеду приехал в Касаткино Виктор Сергеевич Гастев. Я укладывался у себя наверху и сошел вниз, когда все уже сидели за столом.

— А-а, доктор! Здравствуйте! — встретил меня Виктор Сергеевич, высоко поднял руку и мягко опустил ее мне в ладонь.— Все ли в добром здоровье?

— Вот, Виктор Сергеевич,— сказал дядя с тем юмористическим выражением на лице, которое у него всегда является при гостях,— сей молодой человек, не желая спасать от холеры нас, уезжает на войну с холерными запятыми в ваш Слесарск.

Виктор Сергеевич поднял брови.

— Вы таки едете в Слесарск?! — недоверчиво спросил он.

— Разумеется,— ответил я, невольно улыбнувшись.

Он взял стоявшую перед ним рюмку с водкой и взглянул в нее на свет.

— А вы что же, Виктор Сергеевич, разве не сочувствуете сему геройскому подвигу? — спросил дядя тем же тоном.

Виктор Сергеевич опрокинул рюмку в рот и закусил селедкой.

— Отчего не сочувствовать? — равнодушно произнес он, вытирая салфеткой усы.— Убьют его там через неделю,— ну, так ведь это пустяки: он человек одинокий.

Тетя замахала руками.

— Да ну, Виктор Сергеевич! Типун вам на язык! Что это такое — «убьют»!

— Да очень просто! Вы не знаете, что такое наша слесарская мастеровщина, а я знаю хорошо. Вы вот раньше спросите-ка, что это за народ.

Он заткнул себе салфетку за жилет и принялся за борщ.

— Что же это за народ, Виктор Сергеевич? — спросила Соня.

Наташа, подняв голову, с ожиданием смотрела на него.

— Да вот, душенька, какой народ. Недели две назад позвали за реку доктора Чубарова к старухе одной; оказалась дизентерия. Он прописал ей лекарство, а кроме того — карболки, чтоб вылить в отхожее место. Старушка-то святая и рассуди: зачем «лекарствие» в такое место выливать? Да стаканчик раствору и хватила. Ну, к вечеру, разумеется, и лежала под образами. Назавтра приезжает доктор, собрался народ, окружил его и начал расправу; били его, били,— насилу полиция отняла. И теперь еще больной лежит. Розыски пошли, расследования... Четверых арестовали.

— О боже ты мой! — в ужасе воскликнула тетя.— Ну, слава богу еще, что этого так не оставили: все-таки на них теперь страх будет.

— Страх? — расхохотался Виктор Сергеевич.— Да, да-а... Через два дня после этого вдруг в чистом поле загорелся барак; весь сгорел, до последней щепочки. Теперь уже новый строят, кончают. Опять полиция нагрянула, опять аресты, розыски... Народ возбужден и озлоблен до крайности. И не скрывает никто, прямо говорят: пусть к нам доктора пришлют, мы с ним разделаемся. А слухи, слухи идут,— один другого нелепее. Недавно рассказывает мне горничная: доктора с полицией вломились к одному сапожнику, у которого болела голова; самого его уволокли в больницу, а инструменты его, товар — все пожгли; теперь сапожника выпустили, но он совершенно разорен и стал нищим... Торговки на базаре громко рассказывают: дескать,

выписывают к нам трех докторов, чтоб народ травить. Вчера еще приходит ко мне моя прачка, плачет. «Горе, говорит, мне, барин, с сыновьями моими! Пришли они намедни с фабрики, рассказывают, ребята сговорились,— если докторов в Заречье пришлют, всех их разнести. Мы, говорят, тоже пойдем. Никаких моих уговоров не слушают, погубят свои головы...» Ведь это уж сознательный заговор! — закончил Виктор Сергеевич, значительно мигнув бровями, и снова принялся за борщ.— И ведь говорил я все это Дмитрию Васильевичу, предупреждал его в Пожарске,— нет! Пришла охота на нож лезть!

Наташа быстро и пристально взглянула на меня; встретившись с моим взглядом, она отвела глаза в сторону, но я успел в них прочесть что-то странное: Наташа словно была удивлена тем, что я, посылая заявление из Пожарска, уже знал обо всем этом.

— Не так это, Виктор Сергеевич, страшно, как издали кажется,— неохотно заметил я.

— Да? — рассмеялся он.— А читали вы, что в Астрахани и Саратове делается?

— Нет. А что такое? (Последние газеты были только что привезены со станции, и я их еще не просматривал.)

Виктор Сергеевич стал рассказывать о разразившихся на Поволжье беспорядках, где толпа, обезумев от горя и ужаса, разбивала больницы и в клочки терзала людей, шедших к ней на помощь.

— Ну вот видите! — закончил он.— Если там такие вещи происходят, то у нас и подавно произойдут, за это я вам ручаюсь. Помочь вы все равно ничего не поможете,— никто к вам и не обратится,— а погибнете совершенно напрасно. Пользы от этого никому ведь не будет, не так ли?.. Ну во-от.— И он добродушно захохотал.

— Да нет, Митечка, это ты, правда, в таком случае лучше не поезжай! — взволнованно сказала тетя.

Наташа встрепенулась.

— Ну, мама!..

— Да как же, душечка! Ведь они и в самом деле убьют его там: он даже и пользы никакой не принесет... А ну их совсем, не нужно и жалованья их в полтораста рублей!

— Да уж поздно теперь, тетя! — засмеялся я.— Не отказываться же, раз поступил!

Разговор перешел на другое.

После обеда подали кофе. На дворе уж запрягали тарантас. Мне было как-то особенно весело, и я с любовью приглядывался к окружавшим лицам. Завязался общий разговор; шутили, смеялись. Я вступил с Верою в яростный спор о Шопене, в котором, как и вообще в музыке, ничего не понимаю, но который действительно возбуждает во мне безотчетную антипатию. Я любовался Верою, как она волновалась и в ужасе всплескивала руками, когда я называл классика Шопена «салонным композитором».

Наташа все время молчала; мы с нею не перемолвились ни словом. Но иногда, случайно обернувшись, я ловил на себе ее взгляд, быстрый и пристальный,— и у меня в душе все начинало смеяться.

Лошадей подали. Все вышли провожать меня на крыльцо. Пошло прощание. Тетя три раза перекрестила меня и, обнимая, тихо всхлипнула.

После всех я подошел к Наташе. Она растерялась и робко подняла на меня глаза,— детски-восторженные, любящие... Я обнял ее. Наташа вдруг охватила мою шею руками и крепко, горячо поцеловала меня. А всегда она целует неохотно и отрывисто, словно кусает.

Я ехал в вагоне, высунувшись из окна, смотрел, как по ночному небу тянулись тучи, как на горизонте вспыхивали зарницы, и улыбался в темноту.

3 часа ночи

Лег было спать, но заснуть не удалось. Тысячи голодных клопов так и облепили тело. Проворочался два часа. Все равно не заснешь. Светает, в окно видна широкая пустынная улица; маленькие домики спят беспробудно...

Я хочу искренно ответить себе на вопрос: боюсь ли я? Нет, и мне это очень странно. Раньше я не представлял себе, как можно жить окруженным всеобщею ненавистью; когда я видел раненых и изувеченных, мне порою приходила в голову мысль: неужели и со *мною* может когда-нибудь случиться подобное? Теперь же я представляю себе все это очень ясно — и только улыбаюсь. Как будто я теперь совсем другим стал. На душе светло и бодро, кругом все так необычно хорошо, хочется борьбы и дела.

Вот оно, — в холодном утреннем тумане тянется Заречье... Покорю ли я его, или оно меня раздавит?

15 июля

Я уже три дня в Чемеровке. Вот оно, это грозное Заречье!.. Через горки и овраги бегут улицы, заросшие веселой муравкой. Сады без конца. В тени кленов и лозин ютятся вросшие в землю трехоконные домики, крытые почернелым тесом. Днем на улицах тишина мертвая, солнце жжет; из раскрытых окон доносится стук токарных станков и лязг стали; под заборами босые ребята играют в лодыжки. Изредка пробредет к реке, с простынею на плече, отставной чиновник или семинарист.

К вечеру улицы оживляются. Кустари заканчивают работы, с фабрик возвращается народ. Поужинав, все высыпают за ворота. Вдали, окутанный синим туманом, глухо шумит город; под лучами заходящего солнца белеют колокольни, блестят кресты церквей. Сумерки сгущаются. Я люблю в это время бродить по Чемеровке. У покосившихся ворот, под нависшею ивою, стоит девушка и, кутаясь в платок, слушает говорящего ей что-то мастерового; мне нравится ее открытая русая головка, нравится счастливый, смеющийся взгляд исподлобья, который она порою бросает на собеседника. Где-то мычит корова, из чащи сада несется заунывная песня... Гаснет заря, яркие звезды зажигаются в небе; темно на улицах, но в темноте чувствуется жизнь, слышен говор, сдержанный женский смех... К одиннадцати часам все смолкает; ни огонька во всем Заречье, везде спят, и только собаки бесшумно снуют по пустынным улицам.

Я нанял квартиру на конце Заречья у мещанина, содержащего фруктовый сад; весь домик в три комнаты я занимаю один. Крыльцо и окна приемной выходят на улицу, из спальни виден сад с яблонями и длинными рядами кустов черной смородины, крыжовника, барбариса.

Барак стоит за городом, на лугу, рядом с обугленными развалинами прежнего барака. В нем уютно и весело, пахнет свежим деревом. При бараке — фельдшер хохол Харлампий Алексеевич Прищепенко. Говорит он медленно и почтительно, высоко поднимая брови и припечатывая каждую фразу словом «Да!». Расспрашивал я фельдшера о настроении зареченцев, о пожаре барака; он рассказывал обо всем обстоятельно и спокойно, как о чем-то вполне обычном; потом перешел к тому, что нужно бы сделать кое-какие закупки для барака... Признаться, совестно мне стало за мое повышенное настроение духа.

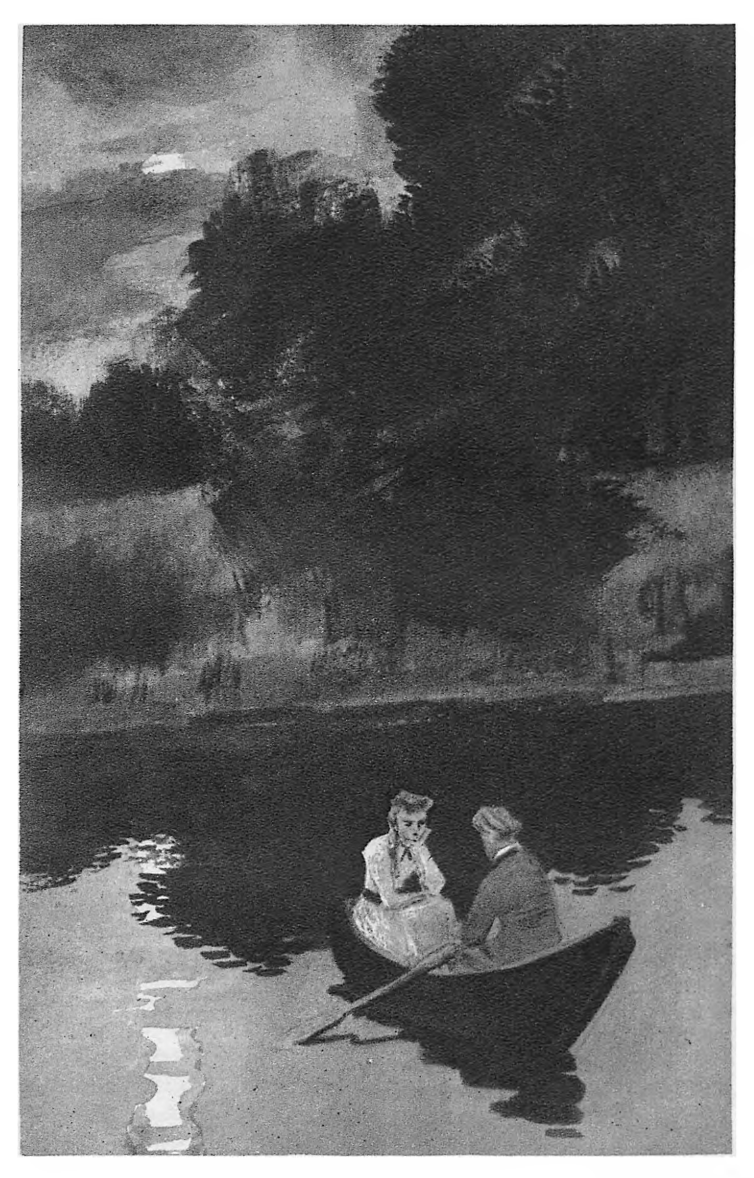
Все бы хорошо в бараке, но низший персонал!.. Интересно, откуда к нам набрали таких. Один служитель, Павел,— маленький человек с мутными, блудливыми глазами, которыми никогда не смотрит в лицо; одет он в пиджак и штаны навыпуск; по всему видно,— прощелыга, прельстившийся высокой платой. Сегодня под моим руководством он приготовлял сернокарболовый раствор. Когда я сказал ему, чтоб он поосторожнее обращался с серной кислотой,— на руку попадет, так всю руку разъест,— в глазах Павла мелькнуло что-то, что трудно описать; но я голову даю на отсечение, что поступил он к нам в барак, как поступил бы... в шайку разбойников. Другой служитель, Федор,— неповоротливый деревенский парень с сонным и глуповатым лицом. И вот весь наш, с позволения сказать, «санитарный отряд».

17 июля

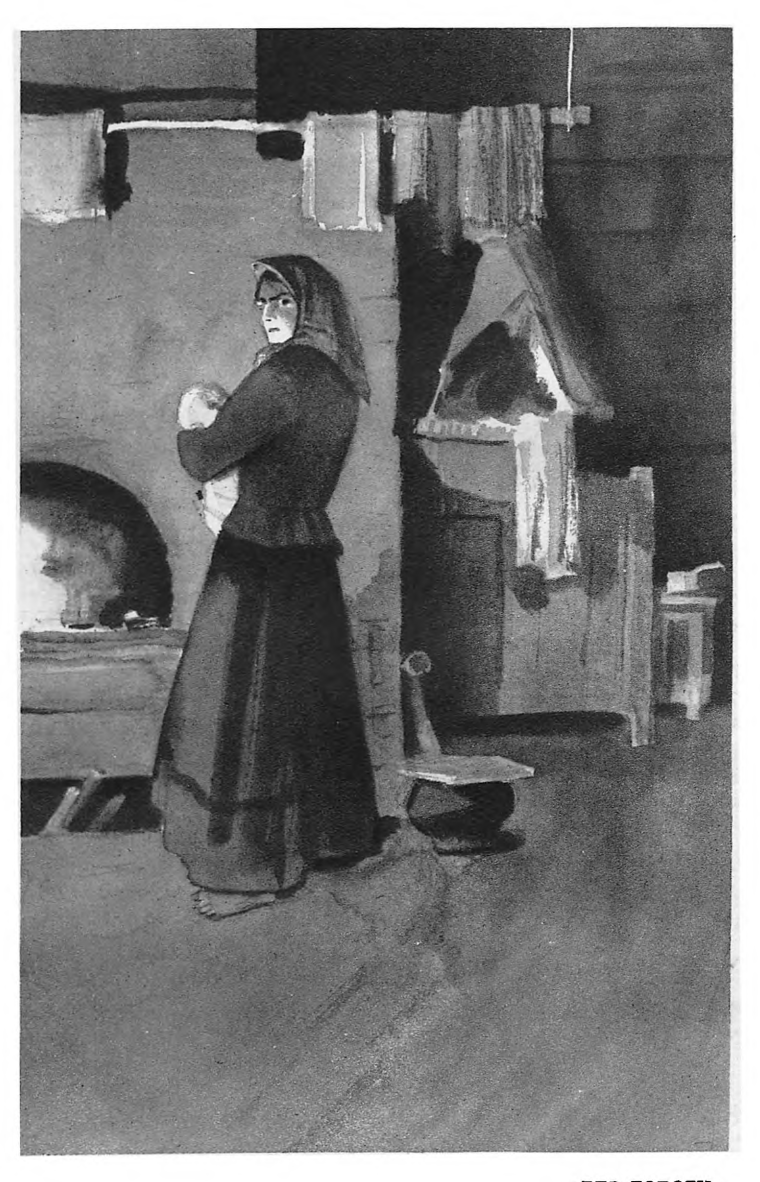
Я уже несколько дней назад вывесил на дверях объявление о бесплатном приеме больных; до сих пор, однако, у меня был только один старик эмфизематик да две женщины приносили своих грудных детей с летним поносом. Но все в Чемеровке уже знают меня в лицо и знают, что я доктор. Когда я иду по улице, зареченцы провожают меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мне теперь каждый раз стоит борьбы выйти из дому; как сквозь строй, идешь под этими взглядами, не поднимая глаз.

18 июля

Все вокруг как будто спокойно, но что-то зловещее носится в воздухе, нервы напряжены. Через фельдшера, через кухарку, отовсюду до меня доходят странные слухи: меня будто видели ночью у молчановского колодца, видели, что я сыпал в него какой-то порошок; молотобойцы из кузницы погнались за мною, но я перепрыгнул через забор в баташовский сад и скрылся. Другие видели, как ночью провезли в барак целый обоз гробов и крючьев. Собираются будто вторично поджечь барак, перебить полицию и медицинский персонал. Я стараюсь уверить себя, что не боюсь, но при каждой пьяной песне на улице, при каждом стуке сердце неприятно вздрагивает.



«БЕЗ ДОРОГИ».



«БЕЗ ДОРОГИ».

19 июля. Воскресенье

Сегодня вечером я получил по почте безграмотное письмо. Анонимный доброжелатель предварял меня, что этою ночью «ребята» собираются разгромить мою квартиру. Когда я читал письмо, за мною прислали от покровского священника, с дочерью которого случился припадок. Возвращался я домой по Ключарной улице. Было темно; тучи низко нависли над городом: накрапывал дождь. Дверь кабака раскрылась, тусклая полоса света легла на дорогу и отразилась в луже. Две тени неслышно перешли улицу и скрылись около пустыря. Мне приходилось идти мимо. Оборванный, босой мужчина в широких штанах прятался в углублении калитки, молча и внимательно следя за мною взглядом; я невольно выпрямился и, проходя, сжал в руке палку. Сзади опять появились две тени; до меня донеслось слово «доктор». Я свернул на Мотякинскую улицу, потом на Серебрянку. Тени следовали за мною по ту сторону улицы, прячась у заборов.

Воротился я домой. Перепуганная кухарка сообщила, что сейчас приходила кучка пьяных чемеровцев и спрашивали меня. Ее уверениям, что меня нет дома, они не поверили и начали ломиться в дверь. Прохожий сказал им, что только что видел меня у церкви Николы-на-Ржавцах. Они все двинулись туда по Ямской улице.

— Вы бы, барин, до завтраго уехали бы в город,— посоветовала кухарка.— Долго ли до греха? Народ пьяный, в голове бог знает что...

— Эх, Авдотьюшка, не так все это страшно! — засмеялся я, потрепав ее по плечу.— Что они мне сделают? И здесь переночуем, не велика беда.

Уехать в город... Не захватить ли мне с собою кстати и фельдшера с служителями, чтобы в случае заболевания никого из нас не могли найти?

Авдотья улеглась спать. Мне не спится, и я сижу за письменным столом.

Что скрываться перед собою? Мне тяжело и страшно. Страшно этой темноты, страшно того, что нельзя защищаться. Когда я подумаю: вот сейчас ворвутся сюда эти люди,— безумный ужас овладевает мною, и я не могу примириться с мыслью: да как это возможно?! За что?

Дождь тихо капает по листьям, в темном саду слышатся смутные шорохи. И я тут один...

21 июля

Я лег вчера спать в первом часу ночи. Только что задремал, как в комнату раздался стук. Авдотья просунула голову в дверь и доложила, что пришел фельдшер. У меня в предчувствии екнуло сердце; я велел позвать его и зажег свечу.

В комнату медленно и неслышно вошел Харлампий Алексеевич, бледный, с широко раскрытыми глазами. Гробовым голосом он объявил:

— Дмитрий Васильевич, у нас в Заречье холера!

— Да ну?

— Настоящая: с рвотой, с судорогами... На Ключарной улице. Слесарь Черкасов.

— Что, вы сами видели? Были вы уж там?

— Был-с. За мною в барак присылали. Я велел воду греть и вот к вам пришел.

Я стал торопливо одеваться. По груди и спине бегала мелкая, частая дрожь, во рту было сухо; я выпил воды. «Нужно бы поесть чего-нибудь,—мелькнула у меня мысль.— На тощий желудок нельзя выходить... Впрочем, нет: я всего полтора часа назад ужинал». Я оделся и суетливо стал пристегивать к жилетке цепочку часов. Харлампий Алексеевич стоял, подняв брови и неподвижно уставясь глазами в одну точку. Взглянул я на его растерянное лицо,— мне стало смешно, и я сразу овладел собою.

— Ну, вот и практика у нас с вами появилась! — сказал я с улыбкой.— Вы все захватили, что нужно?

Мы вышли на улицу. Передо мною, отлого спускаясь к реке, широко раскинулось Заречье; в двух-трех местах мерцали огоньки, вдали лаяли собаки. Все спало тихо и безмятежно, а в темноте вставал над городом призрак грозной гостьи...

На Ключарной улице мы вошли в убогий, покосившийся домик. В комнате тускло горела керосинка. Молодая женщина с красивым, испуганным лицом, держа на руках ребенка, подкладывала у печки щепки под таганок, на котором кипел большой жестяной чайник. В углу, за печкой, лежал на дощатой кровати крепкий мужчина лет тридцати,— бледный, с полузакрытыми глазами; закинув руки под голову, он слабо стонал.

— Добрый вечер! — сказал я, снимая пальто.

— Здравствуйте! — ответила молодая женщина, взглянув на меня, и сейчас же снова повернулась к печке.

Я подошел к больному и пощупал пульс. Рука была холодная, но пульс прекрасный и полный.

— Давно его схватило? — спросил я молодую женщину.

— После обеда сегодня,— ответила она, не глядя на меня.— Пришел с работы, пообедал, через час и схватило.

Говорила она неохотно, словно старалась отвязаться от тех пустяков, с которыми я к ней приставал. И вообще держалась она со мною так, как будто я был случайно зашедший с улицы человек, только мешавший ей в ее важном деле.

— Ну что, Черкасов, как себя чувствуете? — спросил я больного.

— Нутро жжет, ваше благородие, мочи нет; тошно на сердце.

— Хотите воды со льдом?

Фельдшер подал ему ковш. Он припал губами к краю, жадно глотая воду.

— С чего это случилось с вами? — спросил я.— Не поели ли вы сегодня тяжелого?

Черкасов снова лег на спину.

— С молока это, ваше благородие: пришел я с работы уставши, поел щей, а потом сейчас две чашки молока выпил.

Он замолчал и закрыл глаза. Фельдшер готовил горчичник. Я вынул из кармана порошок каломеля.

— Ну, Черкасов, примите порошок! — сказал я.

Его жена быстро подошла ко мне и остановилась, следя за каждым моим движением. Черкасов решительно ответил:

— Нет, ваше благородие, это вы оставьте: не стану я порошков принимать!

Я сдерживал улыбку.

— Вы думаете, я вас отравить хочу? Ну, вот вам два порошка, выбирайте один; другой я сам приму.

Черкасов поколебался, однако взял порошок; другой я высыпал себе в рот. Жена Черкасова, нахмурив брови, продолжала пристально следить за мною. Вдруг Черкасов дернулся, быстро поднялся на постели, и рвота широкою струею хлынула на земляной пол. Я еле успел отскочить. Черкасов, свесив голову с кровати, тяжело стонал в рвотных потугах. Я подал ему воды. Он выпил и снова лег.

— Ну, Черкасов, примите же порошок!

— А ну, выпейте-ка допрежь того воды вашей,— проговорила жена Черкасова, враждебно глядя на меня.

— Ты, матушка, слишком-то не дури! — строго прикрикнул фельдшер.— С чего это доктор вашу воду пить станет?

— Вода наша, я знаю, а лед-то ваш!

Я улыбнулся и взглянул на фельдшера.

— Ну, что ты с нею станешь делать? Давайте вашу воду.

У меня смутно шевелилась надежда, что воду она мне даст в чистой посуде. Жена Черкасова взяла ковш, стоявший у постели мужа, и протянула его мне. У меня упало сердце.

«Да ведь отсюда только сейчас холерный пил!» — со страхом подумал я, поднося ковш к губам. Мне ясно помнится этот железный, погнутый край ковша и слабый металлический запах от него. Я сделал несколько глотков и поставил ковш на стол.

Черкасов принял порошок. Фельдшер положил ему на живот горчичник. Стало тихо. Больной лежал, неподвижно вытянувшись. Керосинка, коптя и мигая, слабо освещала комнату. Молодая женщина укачивала плакавшего ребенка.

— Вы скажите, Черкасов, когда горчичник станет жечь,— сказал я.

— Ничего, ваше благородие, оно жжет, только приятно,— тихо ответил он.

Я сидел на табуретке, свесив голову. Теперь у меня в желудке тысячи холерных бацилл; есть там еще соляная кислота или нет? В животе слабо бурчало и переливалось.

— Опять ревматизм появился в ногах! — быстро проговорил Черкасов, начиная ежиться и двигаться на постели.— Аксинья! Три, ради бога!.. Три скорей!

Я пощупал под одеялом его ноги: мускулы икр судорожно сокращались и были тверды, как камень.

— О-ооо!.. О-ооо!..— протяжно стонал больной, дрожа и вытягиваясь во весь рост. Мы стали оттирать его горячими бутылками и камфарным спиртом.

Судороги постепенно слабели. Черкасов закинул за голову мускулистые руки и лежал с полуоткрытыми глазами, изредка тяжело вздыхая. Павел подавал ему воду, и он жадно пил ее целыми ковшами.

В комнату вошла толстая, немолодая женщина с бойким лицом и черными бровями.

— Здравствуйте, господин доктор!.. Ну что, соседушка, как муженек?

— Да лежит вот!

— Говорите-ка вот с ними, господин доктор!.. Ни за что за вами не хотели посылать: пройдет, говорят, и так. А я смотрю, уж кончается человек, на ладан дышит. Что ты, я говорю, Аксиньюшка, али ты своему мужу не жена? Тут только один доктор и может понимать.

— Чем раньше будете за мною посылать, тем лучше,— сказал я.— Ведь это такая болезнь: захватишь в начале,— пустяками отделаешься. А у вас как? «Пройдет» да «пройдет», а как уж плохо дело, так за доктором. После обеда схватило, сейчас бы и послали. Давно бы здоров был.

— Да ведь... миленький! Ну, как же иначе? Вон, говорят, кругом болезнь ходит. Доктора учатся, они понимают. А что пустяки-то разные болтают в народе, так нешто все переслушаешь?

Больной пошевелился на постели.

— Уж больно жжет горчичник, прикажите снять, ваше благородие!

Вскоре опять началась рвота. Больной слабел, глаза его тускнели, судороги чаще сводили ноги и руки, но пульс все время был прекрасный. Мы втроем растирали Черкасова. Соседка ушла. Аксинья сидела в углу и с тупым вниманием глядела на нас.

Светало. Я сполоснул руки сулемою и вышел наружу покурить. На улице было безлюдно; в березах соседнего сада чирикали воробьи. Аксинья тоже вышла.

— Вот что, голубушка,— сказал я,— вы всю эту посуду, из которой пил больной, отставьте в сторонку и не пейте из нее сами, а то заразитесь. И одеяло, и пальто, которым он покрыт, отложите. Нужно будет все это в горячей воде прокипятить.

— Нам что ж? Кипятите.

Аксинья помолчала.

— Ему весть была дана,— проговорила она, глядя вдаль.

— Какая весть?

— Утром вчера шел через мост, его ласточка крылом задела. Пришел к обеду, сказывал.

— Ну, пустяки! Какая там весть! Бог даст, выздоровеет.

Я воротился в комнату. Больной затих и лежал спокой-

но, закрыв глаза и держа в руках горячую бутылку; иногда только судороги схватывали его ноги, и лицо болезненно перекашивалось.

Бледное утро смотрело в окна. Фельдшер, понурив голову, дремал на табуретке; больной, укутанный тремя одеялами, также задремал. Стало тихо. В низкой комнате было темно и душно, несмотря на открытые окна; керосинка тускло освещала грязную, промасленную поверхность стола и выступ печи; пахло тараканами и керосином. Я сидел на постели Черкасова и под одеялом водил горячею бутылкою по его ногам. В люльке лежал под кучею красных тряпок грязный, бледный ребенок с огромными ушами. Он не спал; подняв безволосые брови, он молча и пристально смотрел на меня, изредка двигая по одеялу худыми, как спички, ручонками. Я тоже смотрел на него... Для чего любовь этих двух сильных, красивых людей, дающая в результате таких жалких, рахитических уродцев? И для чего вообще они трудятся, что поддерживает их в их тяжелой работе? Неужели забота об этом смрадном угле?

Черкасов начал тихонько всхрапывать. Я велел фельдшеру полить сулемою пол, а сам с Аксиньей и Павлом вышел из комнаты, чтобы дезинфицировать отхожее место. Увы! Его не оказалось, и пришлось полить чуть не весь дворик.

Когда мы воротились, больной по-прежнему тихо спал. Фельдшер, сидя на табуретке, в сонливой задумчивости смотрел в одну точку и клевал носом. Я отпустил его с Павлом домой и остался один. Аксинья прикорнула на сундуке и тоже задремала. Я еще с час просидел на завалинке, куря и любуясь восходом солнца. Черкасов крепко спал. Он был вне опасности. Дезинфекцию приходилось отложить, чтобы дать больному выспаться. Я разбудил Аксинью, еще раз повторил ей, чтоб посуду, белье, одежду она не трогала до нашего прихода, и отправился домой.

В десять часов утра мы явились произвести дезинфекцию. Черкасов, в чистой топорщившейся ситцевой рубахе и блестящих сапогах, стоял у ворот, держа на руках ребенка.

— Вот уж как! — с радостным удивлением воскликнул я.— Вы ли это, Черкасов? Ну, молодец!.. Здравствуйте.

— Здравствуйте, ваше благородие!

— Как вы себя чувствуете?

— Да как есть здоров. Спасибо, ваше благородие, что

отходили. А намедни так уж и думал, что помирать пора пришла.

— Ну, так вот же что, Черкасов, вы теперь будьте поосторожнее с едою, не ешьте зелени и ничего тяжелого. Лучше всего съешьте сегодня яичко всмятку да чаю выпейте с коньяком, я вам дам.

— Слушаю-с! Да вы пожалуйте в горницу.

Я вошел в комнату — и остановился. Боже мой, что я увидел! Земляной пол был подтерт чисто-начисто, посуда, вся перемытая, стояла на полке, а Аксинья, засучив рукава, месила тесто на скамейке, стоявшей вчера у изголовья больного. У меня опустились руки.

— Ну, скажите, пожалуйста, Аксинья, что вы такое сделали? — спросил я, через силу сдерживаясь.

— Что я такое сделала?

— Ведь я же вам сегодня утром несколько раз говорил: не подтирайте пола, отставьте всю посуду в сторону...

— Да что же ей грязной стоять?

— А то вот, что вы теперь по всему дому заразу разнесли! Понимаете вы это?.. Эх!..

Я махнул рукою и обратился к Черкасову:

— Ну, вот что, Черкасов: все-таки нужно будет комнату от заразы очистить. Все подушки, одеяло, которым вы вчера покрывались, дайте нам; мы их вам завтра отдадим. И комнату нужно будет хорошенько полить и обрызгать.

Фельдшер взял в руки бутыль с сулемой. Глаза Черкасова враждебно засветились, и он быстро сказал:

— Ну, нет, ваше благородие, это вы велите оставить!

— Вот те раз!.. Да вы знаете ли, Черкасов, что у вас было? Ведь у вас *холера* была, заразительная болезнь; если не полить комнату, так зараза во все стороны поползет, по всему Заречью пойдет.

— Да окончательно сказать, у меня одни пустяки были: поел вчера щей с молоком, только и всего. Нешто это холера?

— Скажите, Черкасов, а вы видали когда-нибудь холеру?

— Н-нет, не видал.

— А я видал, и говорю вам, что это холера. Ведь нельзя же так об одном себе думать! Не убьешь заразы, она пойдет дальше; и соседей всех заразите и жену. Подумайте сами,— ну разве же можно так?

В комнату вошла приходившая ночью соседка Черкасовых и остановилась у дверей.

— Да ни за что не дам поливать! — сказала Аксинья.— Польете карбовкой, вонь пойдет....

— Какая карболка? Сулема это, а не карболка! Понюхайте,— разве есть вонь?

Я протянул ей бутыль. Аксинья понюхала.

— Конечно, есть!

— Ну, да понюхайте же хорошенько! Ведь ничем не пахнет, как вода. Мы же ночью этим самым поливали.

— У меня вон дети и так еле дышат,— сказал Черкасов.— Польете карболкой, все перемрут.

— Да, Иван Андреич, от корбовки вреда нету,— вмешалась соседка.— Вот у меня на всех святых дите умерло от горла; все карбовкой полили,— отлично! Это заразу убивает.

— Э, все это от бога!—сказала Аксинья.— Бог не захочет, ничего не будет.

— От бога?.. Скажите, Аксинья, зачем же вы меня ночью позвали? — спросил я.— Бог-то богом, а я вам говорю: если бы не позвали меня, ваш муж теперь в гробу лежал бы, знаете вы это? Ведь он уж кончался, когда я пришел.

— Кончался, как есть кончался! — подтвердила соседка.— Прихожу я,— уж холодать начал, и глаза закатил...

— За это я вам по гроб своей жизни благодарен,— сказал Черкасов и поклонился.

— Да что мне от вашей благодарности! Как самому плохо, так доктора поскорее звать, а как дело до других, так сейчас: «Все от бога»... И вам не стыдно, Черкасов? Ведь вы же не в поле живете, кругом люди! Если теперь кто поблизости заболеет, вы знаете, кто будет виноват? Вы один, и больше никто!.. О себе позаботился, а соседи пускай заражаются?

— Да ведь я все только насчет детей,— сказал Черкасов, понизив голос.

— Ну послушайте, Черкасов,— подумайте немножко, хоть что-нибудь-то можете вы сообразить? Я над вами всю ночь сидел, отходил вас,— хочу я вам зла или нет? Что мне за прибыль ваших детей морить? А заразу нужно же убить, ведь вы больны были заразительною болезнью. Я не гово-

рю уж о соседях,— и жена ваша и дети могут заразиться. Сами тогда ко мне прибежите.

— Ну, ну, Иван, чего ты, в самом деле? — сказал фельдшер.— Словно баба какая, ничего не понимаешь!

Он взял бутылку и стал поливать пол.

— Да не дам я поливать! — крикнула Аксинья и бросилась к нему.

Черкасов стоял, угрюмо и злобно закусив губу.

— Ну, матушка, ты здесь не слишком-то бунтуй! — сказал фельдшер.— А то мы полицию позовем.

— Дело не в полиции,— прервал я его, нахмурившись.— Полиции я звать не стану. Но скажите же, Черкасов, объясните мне, отчего вы не хотите дать полить?

— Так, ваше благородие, нет моего согласу на это.

— Да отчего же?

— Да окончательно сказать, не нужно это. Бог даст, и так все живы будем.

— Вот на пасху у машиниста то же самое было,— сказала Аксинья.— Никакой карбовкой не поливали, все живы остались. А то карбовкой все обрызгаете... Ведь мы как живем? И сами у соседей то-другое занимаем, и им даем. А тогда нешто кто нам даст?

— Эк вам эта карболка далась! Да понюхайте же, господа, разве это пахнет карболкой?

Черкасов махнул рукою.

— Нет, ваше благородие, что разговаривать? не дам я поливать!

— Ну, как хотите. Заставлять я вас не стану. Но помните, Черкасов: если теперь кто поблизости заболеет, *вы* будете виноваты! Прощайте!

Фельдшер удивленно вскинул на меня глазами и покорно последовал за мною.

И вот мой первый дебют. Скверно и тяжело на душе, мучит совесть: произвести дезинфекцию было необходимо, но что же я мог сделать? Оставалось только прибегнуть к полиции; дезинфекцию мы бы произвели, а дальше? Если из *ничего* создалась легенда о сапожнике, разоренном врачами и полицией, то какие слухи пошли бы теперь? Холерные скрывались бы до последней возможности, зараженные ими вещи прятались бы подальше и разносили заразу все шире... И все-таки я знаю, что на Ключарной улице, в том маленьком домике, гнездится очаг заразы, она, может быть,

расползется по всему городу; я, врач, знаю это и ничего не предпринимаю... Боже мой, как все скверно!

23 июля

Амбулатория у меня полна больными. Выздоровление Черкасова, по-видимому, произвело эффект. Зареченцы, как передавала нам кухарка, довольны, что им прислали «настоящего» доктора. С каждым больным я завожу длинный разговор и свожу его к холере, настоятельно советую быть поосторожнее с едою и при малейшем расстройстве желудка обращаться ко мне за помощью.

Холера, по-видимому, водворилась в Заречье: было еще три случая заболевания (подтверждено бактериоскопически). Но начинается она мягко и слабо, не справляясь с книжками, по которым именно вначале она должна быть наиболее жестокой, все трое заболевших уже поправляются. Один из них, сторож грызловского огорода, когда мы явились к нему, сам попросился в барак; это — деревенский парень лет двадцати пяти, звать его Степан Бондарев. Мы ухаживали за ним всю ночь, и теперь он поправляется, хотя еще очень слаб. Разумеется, всем, желавшим проведать его, я давал свободный доступ в барак, что опять-таки сильно смутило фельдшера. Но благодаря этому зареченцы увидели, что барак ничуть не страшнее обыкновенной больницы. Когда на следующий день «схватило» жестянщика Андрея Снеткова, то мне не стоило большого труда уговорить его лечь в барак. Острый приступ у него прошел, но поносы продолжаются, он сильно исхудал и глядит апатично и вяло.

Оба они лежат рядом. Степан, стройный парень с низким лбом и светлыми усиками, старается разговорами расшевелить неподвижно-задумчивого Андрея. Когда им приносят обедать, Степан, уплетая сам свой бульон или яйцо всмятку, увещевает соседа:

— Чего не ешь? И так вон как отощал,— гляди, помрешь! Не хочется есть,— ешь поверх своей силы-мочи... Чудак человек!

Каждый день к Андрею приходит его брат, низенький человек с редкою бороденкою, с огромным багрово-синим рубцом на щеке. Всхлипывая и утирая рукавом глаза, он сует в руку Андрея гривенник.

— Небось, кисленького хочется тебе; купи огурчиков или чего такого... Эх, Андрюша, Андрюша!

— Чего же ты плачешь? — спрашивает Степан Бондарев, с любопытством и как-то недоверчиво глядя на него.

— Да ведь один у меня брат-то, как же не плакать? Кабы много было... Уж вылечите его, господин доктор! Вы люди ученые! — обращается он ко мне и низко кланяется.

Андрей лежит, подперев голову рукою, и с безучастною улыбкою следит за братом....

Вчера я получил письмо от Наташи. Вот оно:

«Митя! Ты знал, какие ужасы происходят в Заречье, и все-таки отправился туда. Как хорошо, что ты так поступил! Я этому очень рада. Я знаю, что ты поехал туда не шутки шутить, я очень хорошо знаю, чему ты себя подвергаешь, и все-таки я рада. Какая это жизнь, если постоянно заботиться только о своей безопасности! Пусть будет что будет, но там ты делаешь дело, настоящее дело. В каком настроении ты поехал туда? Что тебя там встретило? Какие твои первые сношения с зареченцами? Как ты себя чувствуешь между ними? Пиши мне, пожалуйста, Митя! Зареченцы эти грубы и дики, как звери, но разве они в этом виноваты? Пиши, пожалуйста; пожалуйста, пиши мне! Ведь нетрудно же тебе написать несколько строк. Буду ждать».

27 июля

Вчера после обеда в барак привезли нового больного. Фельдшер отправился произвести дезинфекцию в его квартире и взял с собой Федора. Я остался при больном. Это был старик громадного роста и плотный, медник-литух Иван Рыков. Его неудержимо рвало и слабило, судороги то и дело схватывали его ноги. Он стонал и метался по постели. Я послал Павла готовить ванну.

— Дайте мне походить! — слабым голосом сказал больной.— Сводит ноги, мочи нет.

Я хотел помочь ему встать. Рыков своим тяжелым телом оперся на меня и, не устояв, снова сел на постель. Он вздохнул и покачал головою.

— Нет, барин, не сдержишь меня один!

Я это и сам видел... Уж и теперь, когда больных было мало, то и дело приходилось ощущать недостаток в людях; а прибудь сейчас в барак хоть двое новых больных,— и мы остались бы совершенно без рук. Я отправился в отделение для выздоравливающих и предложил Степану Бондареву

поступить к нам в служители,— он уже поправился и собирался выписываться из больницы. Степан согласился.

Ванна была готова. Я велел посадить в нее стонавшего Рыкова. Судороги прекратились, больной замолк и опустил голову на грудь. Через четверть часа он попросился в постель; его уложили и окутали одеялами.

— О-о, господи батюшка! — тяжело вздохнул Рыков и прижался головою к краю подушки.

— Ай томно тебе? — с любопытством спросил Степан, словно поверяя на нем пережитые им самим ощущения.

— То-омно!..

— Под сердцем горит?

— Горит, парень, сил нету... Смерть пришла.

Степан уверенно сказал:

— С чего помереть? Не помрешь!

Рыков закрыл глаза и вытянулся. Вскоре его опять стало рвать, потом начались судороги... Степан пощупал под одеялом сведенные икры Рыкова.

— Ишь, словно яблоки! — сказал он про себя.

— Ох, и где же это ветерок?! Душно мне! — с тоскою проговорил Рыков.— Дайте мне походить. Помоги, Степа!

Степан и Павел взяли его под руки и стали водить по комнате. Походив, он снова сел в ванну.

— Воды погорячей! — отрывисто сказал он.

Я велел подлить кипятку.

— Хорошо так?

— Лейте, ради бога! — нетерпеливо произнес Рыков. Сначала покорный и за все благодарный, он становился все капризнее и требовательнее.

— Нельзя ли ванну подлиннее? — сердито ворчал он, ворочаясь и поджимая ноги.

Вечерело. Рыкову становилось хуже. Приехал священник и исповедал его. Рвота и понос не прекращались; больной на глазах спадался и худел; из-под полузакрытых век тускло светились зрачки, лоб был клейкий и холодный; пульс трудно было нащупать. Меня удивило, как часто Рыков просился в ванну: сидит в ней с полчаса, затем походит по комнате, полежит — и опять в ванну; и все просит воды погорячей. Степан не отходил от него; он изредка переговаривался с Рыковым сиплым, грубоватым голосом, и что-то такое братски-заботливое сквозило в его коротких замечаниях, во всем его обращении.

В час ночи меня сменил выспавшийся тем временем

фельдшер. Я сделал нужные распоряжения, сказал, чтоб ванн больному давали, сколько бы он их ни просил, а сам отправился домой.

В пятом часу утра я проснулся, словно меня что толкнуло. Шел мелкий дождь; сквозь окладные тучи слабо брезжил утренний свет. Я оделся и пошел к бараку. Он глянул на меня из сырой дали — намокший, молчаливый. В окнах еще горел свет; у лозинки под большим котлом мигал и дымился потухавший огонь. Я вошел в барак; в нем было тихо и сумрачно; Рыков неподвижно сидел в ванне, низко и бессильно свесив голову; Степан, согнувшись, поддерживал его сзади под мышки.

— Ну как больной? — спросил я.

Степан поднял на меня бледное, усталое лицо, медленно выпрямился и повел плечами.

— Ничего,— коротко ответил он.— Блюет все да воды погорячей просит.

За эти несколько часов Рыков изменился неузнаваемо: лицо осунулось и стало синеватым, глаза глубоко ввалились; орбиты зияли в полумраке большими, черными ямами, как в пустом черепе.

— Ну, что, Иван, как? — спросил я.

Рыков чуть повел головою, не поднимая век.

— Говори дюжей, не слышу! — сказал он сиплым, еле слышным голосом.

— Как дела? — громче повторил я.

Больной помолчал.

— Воды погорячей! — пробормотал он и тяжело переворотился в ванне на другой бок. Пульса у него не было. Я спросил Степана:

— Где же фельдшер?

— Он ушел: его к больному позвали.

— Давно?

— Часа три будет.

— Отчего же он за мною не послал?

— Пожалел: говорит, вы и так мало спали.

Оказывается, вскоре после моего ухода фельдшера позвали к холерному больному; он взял с собою Федора, а при Рыкове оставил Степана и только что было улегшегося спать Павла. Как я мог догадаться из неохотных ответов Степана, Павел сейчас же по уходе фельдшера снова лег спать, а с больным остался один Степан. Сам еле оправившийся, он *три часа* на весу продержал в ванне обессилев-

шего Рыкова! Уложит больного в постель, подольет в ванну горячей воды, поправит огонь под котлом и опять сажает Рыкова в ванну.

Я пошел и разбудил Павла. Он вскочил, поспешно оправляясь и откашливаясь.

— Кто это вас, Павел, отпустил спать?

— Я сейчас только... гм... гм... на минуту прилег.— Он продолжал откашливаться и избегал моего взгляда.

— Послушайте, не врите вы! — повысил я голос.

— Не сутки же целые мне не спать! — проворчал он, скользнув взглядом в угол.

— Человек умирает, а вы его без помощи бросаете! Вы и двое суток должны не спать, если понадобится.

— Это я не согласен.

— Ну, так вы сегодня же получите расчет.

Лицо Павла сразу приняло независимое и холодное выражение. Он поднял голову и, прищурившись, взглянул мне в глаза.

Я прикусил губу.

— А если вы сейчас не пойдете в барак, вы ни копейки не получите из жалованья.

Павел закашлял и снова забегал взглядом по сторонам.

— С чего же не идти-то? — пробормотал он, обдергивая рукава на пиджаке.— Сейчас иду.

Я воротился в барак. Рыков по-прежнему сидел в ванне. Степан пошел подлить воды в котел и передал больного Павлу. Павел, виновато улыбаясь, почтительно взял громадного Рыкова под мышки и стал его поддерживать.

Тяжело и неприятно было на душе: как все неустроенно, неорганизованно! Нужно еще отыскать надежных людей, воспитать их, внушить им правильное понимание своих обязанностей; а дело тем временем идет через пень колоду, положиться не на кого...

Часы шли. Рыков почти не выходил из ванны. Я опасался, чтобы такое продолжительное пребывание в горячей воде не отозвалось на больном неблагоприятно, и несколько раз укладывал его в постель. Но Рыков тотчас же начинал беспокойно метаться и требовал, чтобы его посадили обратно в ванну. Пульс снова появился и постепенно становился все лучше. В одиннадцатом часу больной попросился в постель и заснул; пульс был полный и твердый...

Около четырнадцати часов Рыков, почти не выходя, про-

сидел в ванне,— и я вынес впечатление, что спасла его именно ванна.

29 июля

Не знаю, испытывают ли это другие: все, что мы делаем, все это бесполезно и не нужно, всем этим мы лишь обманываем себя. Какая, например, польза от нашей дезинфекции? Разве не ясно, что она лишь тогда имеет смысл, когда само население глубоко верит в ее пользу? Если же этого нет, то единственный выход — введение какого-то прямо осадного положения: пусть всюду рыскают всевидящие сыщики, пусть царствует донос, пусть дезинфекция вламывается в подозрительные жилища и ставит все вверх дном, пусть грозный ропот недовольства смолкает при виде штыков и казацких нагаек... Да и таким-то путем много ли достигнешь?

И вот приходится играть комедию, в которую сам не веришь. Обрызгивать сулемою место, где лежал больной, отбирать пару кафтанов и одеял, которыми он покрывался. Я знаю, нужно бы всех выселить из зараженного дома, забрать все вещи, основательно продезинфицировать отхожее место и все жилище... Да, но куда выселить, во что одеть выселенных? Главное, как заставить их убедиться в пользе того, что для них делаешь? Как дезинфицировать отхожее место, если его нет и зараза беспрепятственно сеялась по всему двору и под всеми заборами улицы? А между тем видишь, что будь только со стороны жителей желание,— и дело бы шло на лад, и можно бы принести существенную пользу... Тонешь и задыхаешься в массе мелочей, с которыми ты не в состоянии ничего поделать; жаль, что не чувствуешь себя способным сказать: «Э, моя ли в том вина? Я сделал, что мог!» — и спокойно делать «что можешь». Медленно, медленно подвигается вперед все — сознание собственной пользы, доверие ко мне; медленно составляется надежный санитарный отряд, на который можно бы положиться.

1 августа

Эпидемия разгорается. Уж не один заболевший умер. Вчера после обеда меня позвали на дом к слесарю-замочнику Жигалеву. За ним ухаживала вместе с нами его сестра — молодая девушка с большими, прекрасными глазами. К ночи заболела и она сама, а утром оба они уже лежали в гробу. Передо мною, как живое, стоит убитое лицо их ста-

рухи матери. Я сказал ей, что нужно произвести дезинфекцию. Она махнула рукою.

— Да что? Вы вот известку льете, льете, а мы все мрем... Лейте, что ж!

3 августа

Весело жить! Работа кипит, все идет гладко, нигде ни зацепки. Мне удалось наконец подобрать отряд желаемого состава, и на этот десяток полуграмотных мастеров и мужиков я могу положиться, как на самого себя; лучших помощников трудно и желать.

Не говорю уже о Степане Бондареве: глядя на него, я часто дивлюсь, откуда в этом ординарнейшем на вид парне столько мягкой, чисто женской заботливости и нежности к больным. Но вот, например, Василий Горлов; это мускулистый молодец с светло-голубыми, разбойничьими глазами: говорят, он бьет свою мать, побоями вогнал в гроб жену. И этот самый Горлов держится со мною, как кроткая овечка, и работает как вол. Он дезинфектор. С каким апломбом является он в жилище холерного, с каким авторитетным и снисходительным видом объясняет родственникам заболевшего суть заразы и дезинфекции! И его презрение к их невежеству действует на них сильнее, чем все мои убеждения.

Андрей Снетков выздоровел и также служит у нас в санитарах. Для женского отделения у меня есть две служительницы; одна из них — соседка Черкасовых, которая в ту ночь заходила к ним проведать больного.

Всем своим санитарам я говорю «вы» и держусь с ними совершенно как с равными. Мы нередко сидим вместе на пороге барака, курим и разговариваем; входя в комнату, я здороваюсь с ними первый. И дисциплина от этого нисколько не колеблется, а нравственная связь становится крепче.

Однажды, в минуту откровенности, Василий Горлов заявил мне:

— Ей-богу, Дмитрий Васильевич, я вас так полюбил! Для вас все равно, что благородный, что простой,— вы со всеми равны. С вами говорить неопасно, не то, что другие,— серьезные такие... Конечно, по учению вы... и опять же таки, например, по дворянству... А все-таки я к вам, как к брату родному... Имейте в виду.

Я чувствую, что с каждым днем становлюсь в их глазах все выше. Работать я заставляю всех много и в требова-

ниях своих беспощаден. И все-таки я убежден, что никто из них не откажется из-за этого от службы, как Павел; чем я горжусь всего более, это тем, что их дело стало для них высоким и благородным, им стыдно было бы взглянуть на него с коммерческой точки зрения.

— Дмитрий Васильевич! — говорит мне Горлов.— А позвольте вас спросить: ведь вот начальство за вами не смотрит,— зачем вы так уж себя утомляете?

— Голубчик мой, да разве это для начальства делается? Ну, судите по самому себе: вы вот пришли к заболевшему, все обрызгали, дезинфицировали; без этого, может быть, и другие бы заболели, а теперь благодаря вам останутся живы. Разве вам это не приятно?

И Горлову начинает казаться, что ему это действительно чрезвычайно приятно.

В Заречье обо мне говорят с любовью и благодарностью. Когда я вспоминаю чувство, с каким в первое по приезде утро смотрел на расстилавшееся передо мною Заречье, мне смешно становится: я скорее двадцать раз умру от холеры, чем хоть волос на моей голове тронет кто-нибудь из чемеровцев.

Да, весело жить! Весело видеть, как вокруг тебя кипит живое дело, как самого тебя это дело захватывает целиком, весело видеть, что недаром тратятся силы, и сознавать,— я не хочу стесняться,— сознавать, что ты не лишний человек и умеешь работать.

4 августа

Все это так: обо мне говорят в Заречье с любовью и благодарностью, меня слушаются... Но могу ли я сказать, что мне доверяют? Если мои советы и исполняются, то все-таки исполняющий глубоко убежден в их полной бесполезности. Он делает одолжение мне лично, потому что я «хороший человек», мои же советы и всю мою «господскую» науку он не ставит ни в грош. Я указываю ему на факты, значения которых он не может не понимать,— факты, ясные десятилетнему ребенку; он принужден согласиться со мною; но согласие остается внешним, оно не в силах ни на волос пошатнуть того глубокого слепого недоверия к нам, которое насквозь проникает душу зареченца.

А скажи ему то же самое прохожая богомолка или отставной солдат,— и он с полною верою станет исполнять все ими сказанное, он не станет притворяться фаталистом и го-

ворить: «Бог не захочет, ничего не будет». Вот про бараки ему давно уже наговорили всевозможных ужасов идущие с Волги рабочие,— и он старательно обходит наш барак за сотню сажен.

6 августа

Вчера вечером я воротился домой очень усталый. Предыдущую ночь всю напролет пришлось провести в бараке, днем тоже не удалось отдохнуть: после приема больных нужно было посетить кое-кого на дому, затем наведаться в барак. После обеда позвали на роды. Освободился я только к девяти часам вечера. Поужинал и напился чаю, раздеваюсь, с наслаждением поглядывая на постланную постель,— вдруг звонок: в барак привезли нового, очень трудного больного. Нечего делать, пошел...

Фельдшер с санитарами суетился вокруг койки; на койке лежал плотный мужик лет сорока, с русой бородой и наивным детским лицом. Это был ломовой извозчик, по имени Игнат Ракитский. «Схватило» его на базаре всего три часа назад, но производил он очень плохое впечатление, и пульс уже трудно было нащупать. Работы предстояло много. Не менее меня утомленного фельдшера я послал спать и сказал, что разбужу его на смену в два часа ночи, а сам остался при больном.

Покорный и робкий, Игнат беспрекословно подчинялся всему. Он принял лекарство, дал поставить высокую клизму; не пошевельнулся, когда я впрыскивал ему под кожу камфару; впрочем, он все время был в полубессознательном состоянии.

Я сел на табуретку. В ушах звенело, голова была словно налита свинцом. Игнат лежал на спине, полузакрыв глаза, и быстро, тяжело дышал. Вдруг он вздрогнул и поспешно приподнял голову с подушки. Степан, сидевший у его изголовья, подставил ему горшок для рвоты. Но голова Игната снова бессильно упала на подушку.

— Что же не блюешь? Аль не хочешь блевать? Гм...— Степан вздохнул и опустил горшок.

Игнат зашевелился на постели, стал подниматься на карачки.

— Что же это живот не унимается? Дюже болит живот! — выкрикнул он и снова свалился на бок.

Я подошел к нему.

— Дайте помочи!.. Печет под сердцем...— пробормотал

он в промежутке между вздохами, вдруг задрожал, стиснув зубы, и стал подтягивать сводимые судорогами ноги. Степан и Андрей схватились за горячие бутылки. Игнат смотрел в потолок мутящимися от боли глазами. Его посадили в ванну.

Степан шепнул мне:

— Сегодня утром шесть арбузов съел натощак, товарищи его сказывали; к обеду еще совсем здоров был, над докторами смеялся.

— Напиться!..— с трудом выкрикнул больной, не поднимая понуренной головы.

Степан осторожно приподнял его голову и стал подносить кружку с ледяной водой. Игнат дернулся всем телом, и рвота широкою струею хлынула в ванну. Его снова перенесли на постель и окутали несколькими одеялами.

Час шел за часом,— медленно, медленно... У меня слипались глаза. Стоило страшного напряжения воли, чтоб держать голову прямо и идти, не волоча ног. Начинало тошнить... Минутами сознание как будто совсем исчезало, все в глазах заволакивалось туманом; только тускло светился огонь лампы, и слышались тяжелые отхаркивания Игната. Я поднимался и начинал ходить по комнате.

Игнат выкрикивал хриплым, неестественным голосом:

— Пузо болит!

«Пузо»... так только в псевдонародных рассказах мужики говорят,— подумал я с накипавшим враждебным чувством к Игнату.— Половина второго... Скоро можно будет разбудить фельдшера».

Я снова поставил больному клизму и вышел наружу. В темной дали спало Заречье, нигде не видно было огонька. Тишина была полная, только собаки лаяли, да где-то стучала трещотка ночного сторожа. А над головою бесчисленными звездами сияло чистое, синее небо; Большая Медведица ярко выделялась на западе... В темноте показалась черная фигура.

— Эй, почтенный, где тут доктора найтить? Нельзя ли помочи поскорей? Девку схватило, помирает.

«Господи, еще!» — с отчаянием подумал я.

Разбудили фельдшера. Он вышел бледный, широко пяля заспанные глаза.

— Пойдите, пожалуйста, посмотрите, что там такое,— сказал я ему.— Если что серьезное, пришлите за мною...

Фельдшер почтительно возразил:

— Дмитрий Васильевич, да вы идите спать. Я один управлюсь; ведь вы и всю прошлую ночь не спали...

— Э, да идите уж! — нетерпеливо оборвал я его и пошел в барак.

Игнат сидел в ванне. Степан поддерживал его под мышки и грубовато-нежно переговаривался с ним, прикладывал ему лед к голове, давал пить. Игнат беспокойно ворочался в ванне и принимал самые неудобные позы, то и дело грозя захлебнуться.

Через минуту он снова попросился в постель. Степан и Андрей взяли его под мышки и приподняли. Он хотел перешагнуть через край ванны, занес было ногу,— она упала назад, и Игнат, с вывернувшимися плечами, мешком повис на руках санитаров. Я взял его за ноги, мы понесли больного на постель. Все время его продолжало непроизвольно слабить; теперь это была какая-то красноватая каша с отвратительным кислым запахом.

— Ишь арбузы пошли! — кивнул Степан.

Это действительно были арбузы; Игнат ел их с зернышками, с зеленью... И сколько он их съел! Лилось, лилось без конца, почти ведрами. Мы уложили его в постель.

Я ходил по комнате и давил в себе неистовую ненависть к Игнату: ведь он знал, что не должно есть арбузов, а все-таки ел, смеясь над докторами... Сам теперь виноват! И как все кругом отвратительно и мерзко, и как тяжело в голове...

Игнату становилось хуже. С серо-синим лицом, с тусклыми, как у мертвеца, глазами, он лежал, ежеминутно делая короткие рвотные движения. Степан подставлял ему горшок, больной отворачивал голову и выплевывал красную рвоту на одеяло. Время от времени Игнат приподнимался, с силою опирался о постель и, шатаясь, становился на карачки.

Степан осторожно поддерживал его

— Дядя Игнат! Ляжь, как следовает!

— Пузо дюже болит! — быстрым, шелестящим шепотом произносил больной, и следовал глубокий вздох, подводивший живот далеко под ребра.

Ведь вот на постели может же он подниматься, как хочет; а из ванны вынимать,— висит мешком, ноги поднять не хочет. И зачем он плюет на одеяло, когда ему подставляют горшок?

Светало. В бараке было тихо, и только слышно было, как порывисто дышал Игнат. Лицо его стало серо-свинцо-

вого цвета, сухие губы чернели под редкими усами. Иногда он быстро приподнимал голову с подушки и вдруг устремлял на меня блеснувшие глаза,— большие, грозные и испуганные... Пульса у него давно уже не было.

Мне вдруг показалось, что кровать с Игнатом взвилась под потолок, окна комнаты завертелись. Я схватился за стол, чтоб не упасть. Еще раз сделав над собою усилие, я впрыснул больному камфару и вышел наружу.

Туман клубами поднимался с соседнего болота, было сыро и холодно. Я присел на лавку и закурил папиросу. На сердце было одно чувство,— тупое, бесконечное отвращение и к этому больному, и ко всей окружающей мерзости, рвоте, грязи. Все вздор,— вся эта деятельность для других, все... Одно хорошо: прийти домой, выпить стакан горячего чаю с коньяком, лечь в чистую, уютную постель и сладко заснуть... «И почему я не делаю этого? — со злостью подумал я.— Ведь я врач, а исполняю роль сестры милосердия. Моя ли вина, что я не могу добиться от управы помощника врача или студента, что я все один и один? Буду утром и вечером посещать барак,— чего еще можно от меня требовать? Так все и делают. У врача голова должна быть свежа, а у меня...» Я стал высчитывать, сколько времени я не спал: сорок четыре часа, почти двое суток .

У околицы залаяли собаки. Я с надеждою стал вглядываться в туман: может быть, фельдшер идет. Нет, прошла баба какая-то... Вдали поют петухи, из барака доносятся глухие отхаркивания Игната. Я заметил, что сижу как-то особенно грузно и что голова совсем уже лежит на плече. Я встал и снова вошел в барак.

Игнат неподвижно лежал на спине, закинув голову. Между черными, запекшимися губами белели зубы. Тусклые глаза, не моргая, смотрели из глубоких впадин. Иногда рвотные движения дергали его грудь, но Игнат уже не выплевывал... Он начинал дышать все слабее и короче. Вдруг зашевелил ногами, горло несколько раз поднялось под самый подбородок, Игнат вытянулся и замер; по его лицу быстро пробежала неуловимая тень... Он умер.

Я стоял, прикусив губу, и неподвижно смотрел на Игната. Лицо его с светло-русою бородою стало еще наивнее. Как будто маленький ребенок увидал неслыханное диво, ахнул, да так и застыл с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами. Я велел дезинфицировать труп и перенести в мертвецкую, а сам побрел домой.

И вот прошло всего каких-нибудь полсуток. Я выспался и встал бодрый, свежий. Меня позвали на дом к новому больному. Какую я чувствовал любовь к нему, как мне хотелось его отстоять! Ничего не было противно. Я ухаживал за ним, и мягкое, любовное чувство овладевало мною. И я думал об этой возмутительной и смешной зависимости «нетленного духа» от тела: тело бодро,— и дух твой совсем изменился; ты любишь, готов всего себя отдать...

14 августа

Я уже давно не писал здесь ничего. Не до того теперь. Чуть свободная минута, думаешь об одном: лечь спать, чтоб хоть немного отдохнуть. Холера гуляет по Чемеровке и валит по десяти человек в день. Боже мой, как я устал! Голова болит, желудок расстроен, все члены словно деревянные. Ходишь и работаешь, как машина. Спать приходится часа по три в сутки, и сон какой-то беспокойный, болезненный; встаешь таким же разбитым, как лег.

Кругом десятками умирают люди, смерть самому тебе заглядывает в лицо,— и ко всему этому относишься совершенно равнодушно: чего они боятся умирать? Ведь это такие пустяки и вовсе не страшно.

18 августа

Буду рассказывать по порядку.

Это произошло на успение. Пообедав, я отпустил Авдотью со двора, а сам лег спать. Спал я крепко и долго. В передней вдруг раздался сильный звонок; я слышал его, но мне не хотелось просыпаться: в постели было тепло и уютно, мне вспоминалось далекое детство, когда мы с братом спали рядом в маленьких кроватках... Сердце сладко сжималось, к глазам подступали слезы. И вот нужно просыпаться, нужно опять идти туда, где кругом тебя только муки и стоны...

Колокольчик зазвенел сильнее и окончательно разбудил меня. Я встал и пошел отпереть. В окно прихожей видно было, что звонится Степан Бондарев. Он был без шапки, и лицо его глядело странно.

Я отпер дверь. Степан медленно шагнул в прихожую, слабо пошатнувшись на пороге.

— Дмитрий Васильевич, к вам!

Он коротко и глухо всхлипнул. Лицо его было в кровоподтеках, глаза красны, рубаха разодрана и залита кровью.

— Степан, что с вами?!

— К вам вот пришел. Ребята убить грозятся; ты, говорят, холерный... Мол, товарищей своих продал... с докторами связался...

Он опять глухо всхлипнул и отер рукавом кровь с губы.

— Да в чем дело? Какие ребята? Войдите, Степан, успокойтесь!

Я ввел его в комнату, усадил, дал напиться. Степан машинально сел, машинально выпил воду. Он ничего не замечал вокруг, весь замерши в горьком, недоумевающем испуге.

— Ну, рассказывайте, что такое случилось с вами.

Неподвижно глядя, Степан медленно заговорил:

— Говорят: холерный, мол, ты!.. Это зашел я сейчас в харчевню к Расторгуеву, спросил стаканчик. Народу много, пьяные все... «А, говорят, вон он, холерный, пришел!» Я молчу, выпил стаканчик свой, закусываю... Подходит Ванька Ермолаев, токарь по металлу: «А что, почтенный, нельзя ли, говорит, ваших докторей-фершалов пообеспокоить?» — «На что они, говорю, тебе?» «А на то, чтоб их не было. Нельзя ли?» «Что ж, говорю, пускай доктор рассудит, это не мое дело».— «Мы, говорит, твоего доктора сейчас бить идем, вот для куражу выпиваем». «За что?» «А такая уж теперь мода вышла,— докторей-фершалов бить». «Что ж, говорю, в чем сила? Сила большая ваша... Как знаете...»

Я дрожал крупною, частою дрожью. Мне досадно было на эту дрожь, но подавить ее я не мог. И сам не знал, от волнения ли она, или от холода: я был в одной рубашке, без пиджака и жилета.

— Как холодно!— сказал я и накинул пальто.

Степан, не понимая, взглянул на меня.

— «Ишь, говорят, тоже фершал выискался! — продолжал он.— Иди, иди, говорят, а то мы тебя замуздаем по рылу!» «Что ж, говорю, я пойду!» — Повернулся,— вдруг меня кто-то сзади по шее. Бросились на меня, начали бить... Я вырвался, ударился бежать. Добежал до Серебрянки; остановился: куда идти? Никого у меня нету... Я пошел и заплакал. Думаю: пойду к доктору. Скучно мне стало, скучно: за что?..

Он замолчал, глухо и прерывисто всхлипывая. У меня самого рыдания подступили к горлу. Да, *за что?*

Ясный августовский вечер смотрел в окно, солнце крас-

ными лучами скользило по обоим. Степан сидел, понурив голову, с вздрагивавшею от рыданий грудью. Узор его закапанной кровью рубашки был мне так знаком! Серая истасканная штанина поднялась, из-под нее выглядывала голая нога в стоптанном штиблете... Я вспомнил, как две недели назад этот самый Степан, весь забрызганный холерною рвотою, три часа подряд на весу продержал в ванне умиравшего больного. А *те* боялись даже пройти мимо барака...

И вот теперь, отвергнутый, избитый ими, он шел за защитою ко мне: я сделал его нашим «сообщником», из-за меня он стал чужд своим.

Степан заговорил снова:

— «Завелись, говорят, доктора у нас, так и холера пошла». Я говорю: «Вы подумайте в своей башке, дайте развитие,— за что? Ведь у нас вон сколько народу выздоравливает; иной уж в гроб глядит, и то мы его отходим. Разве мы что делали, разве с нами какой вышел конфуз?..»

В комнату неслышно вошел высокий парень в пиджаке и красной рубашке, в новых, блестящих сапогах. Он остановился у порога и медленно оглядел Степана. Я побледнел.

— Что вам нужно?

Он еще раз окинул взглядом Степана, не отвечая, повернулся и вышел. Я тогда забыл запереть дверь, и он вошел незамеченным.

Я закинул крючок на наружную дверь и воротился в комнату. Сердце билось медленно и так сильно, что я слышал его стук в груди. Задыхаясь, я спросил:

— Что это, из *тех* кто-нибудь?

— Ванька Ермолаев и есть. Сейчас все здесь будут.

Что было делать? Бежать? Но одна мысль о таком унижении бросала меня в краску: выскочить в окно, подобно вору, пробираться задами... Да и куда было бежать?

Я молча ходил по комнате. Ноги ступали нетвердо, по спине непрерывно бегала мелкая, быстрая дрожь. Мне вдруг во всех подробностях вспомнилась смерть доктора Молчанова, недавно убитого толпою в Хвалынске... Беспричинность и неожиданность случившегося не удивляли меня теперь: мне казалось, в глубине души я давно уже ждал чего-то подобного... На сердце было страшно тоскливо. Но рядом с этим гордо-уверенное, радостное чувство поднималось во мне: я не знал еще, что буду делать, но я знал, что заслоню и защищу Степана.

Случайно я увидел в зеркале свое отражение: бледное,

искаженное страхом лицо глянуло на меня холодно и странно, как чужое. Мне стало стыдно Степана и досадно, что он видит меня в таком состоянии... Ну, да теперь уж все равно...

Я остановился у окна. Над садом в дымчато-голубой дали блестели кресты городских церквей; солнце садилось, небо было синее, глубокое... Как там спокойно и тихо!.. И опять эта неприятная дрожь побежала по спине. Я повел плечами, засунул руки в карманы и снова начал ходить.

В наружную дверь раздался сильный удар, в то же время оглушительно зазвенел звонок — раз, другой,— и звонок оборвался.

— Они! — апатично сказал Степан.

В дверь посыпались удары.

Со мною произошло то, что всегда бывало, когда я шел на что-нибудь страшное: во мне вдруг все словно замерло, и я сделался спокоен. Но что-то странное в этом спокойствии: как будто другой кто уверенно и находчиво действует во мне, а сам я со страхом слежу со стороны за этим другим.

— Оставайтесь здесь,— сказал я Степану, вышел в прихожую и запер комнату на ключ. Ключ я положил себе в карман.

Наружная дверь трещала от ударов, за нею слышен был гул большой толпы. Я скинул крючок и вышел на крыльцо.

Как взрыв, раздался злобно-радостный рев. Я быстро спустился с крыльца и вошел в середину толпы.

— Что это, господа, чего вы?

— Фершала давай своего!

Серьезно и озабоченно я спросил:

— Фельдшера? Зачем он вам?

Маленький худощавый старик с красными глазами, торопливо засучивая рукава, протискивался ко мне сквозь толпу.

— Зачем?.. Зачем?..— бессмысленно повторял он и рвался ко мне, наталкиваясь на плечи и спины.

Я шагнул навстречу.

— Ну, вот он мне объяснит, погодите кричать... Пропустите же его, дайте дорогу!.. Вот... Ну, в чем дело? — коротко и решительно обратился я к старику.

Мы очутились друг против друга. Старик опешил и неподвижно смотрел на меня.

— Что такое случилось?

Он быстро и оторопело пробормотал:

— Вы чего народ морите?

Я удивленно поднял голову.

— Что такое? Мы — народ морим?! Откуда это ты, старик, выдумал? Народу у меня в больнице лежало много,— что же, из них кто-нибудь это сказал тебе?.. Не может быть! Спросить многих можно,— мало ли у нас выздоровело! Рыков Иван, Артюшин, Кепанов, Филиппов... Все у меня в больнице лежали. Ты от них это слышал, это они говорили тебе? — настойчиво спросил я.

Старик странно морщился и дергал головою.

— Мы, господин, знаем... Мы все-е знаем!..

— Ну, нет, брат, погоди! Дело тут серьезное. Если знаешь, то толком и говори. Где мы народ морили, когда?.. Господа, может быть, из вас кто-нибудь это скажет? — обратился я к окружающим.

Никто не ответил. Отовсюду смотрели чуждые, враждебно выжидающие глаза. Сзади вытягивались головы с нетерпеливо хмурившимися лицами. Ванька Ермолаев, закусив губу, с насмешливым любопытством следил за мною.

— Ну, хорошо, вот что! — решительно произнес я.— Пойдемте сейчас все вместе в барак, спросим тех, кто там лежит, что они скажут: делаем мы им какое худо или нет. Если что скажут против меня,— я в ответе.

— Да, пойдем, чего там! Думаешь, боимся байрака твоего? — быстро сказал Ванька Ермолаев и двинулся с места.

— Пойдемте!

Толпа колыхнулась, и мы направились к бараку.

Я закурил папиросу и заговорил:

— Ведь вот, господа, пришли вы сюда, шумите... А из-за чего? Вы говорите, народ помирает. Ну, а рассудите сами, кто в этом виноват. Говорил я вам сколько раз: поосторожнее будьте с зеленью, не пейте сырой воды. Ведь кругом ходит зараза. Разорение вам какое, что ли, воду прокипятить? А поди ты вот, не хотите. А как схватит человека,— доктора виноваты. Вот у меня недавно один умер: шесть арбузов натощак съел! Ну скажите, кто тут виноват? Или вот с водкой: говорил я вам, не пейте водки, от нее слабеет желудок...

— Нет, господин, вино не вредит! — вмешался шедший рядом мастеровой.— Она эту самую заразу убивает, она в пользу.

— В пользу? А вот приходите-ка в больницу после праздника: как настанет праздник, выпьет народ, так на другой день сразу вдвое больше больных; и эти всего легче помирают: вечером принесут его, а утром он уж богу душу отдает.

— И похмелиться не поспевши, го-го! — засмеялись в толпе.

— Чего смеетесь? Дурье! — строго остановил Ванька Ермолаев.

Вдали виднелся барак. Чтоб не беспокоить больных, я решил взять с собою только двух-трех человек, а остальных оставить ждать у барака.

Вдруг из-за угла мелочной лавки показался приземистый фабричный в длинной синей чуйке. Он, видимо, искал нас и, завидев толпу, побежал навстречу. Я живо помню его бледное лицо с низким лбом и огромною нижнею челюстью... Все произошло так быстро, как будто сверкнула молния. Толпа раздалась. Человек в чуйке молча скользнул по мне взглядом и вдруг, коротко и страшно сильно размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. У меня замутилось в глазах, я отшатнулся и схватился за голову. В ту же минуту второй удар обрушился мне на шею.

— Го-о... Бе-ей!! — неистово завопил говоривший со мною старик и ринулся на меня, и все кругом всколыхнулось.

От толчка в спину я пробежал несколько шагов; падая, ударился лицом о чье-то колено; это колено с силою отшвырнуло меня в сторону. Помню, как, вскочив на ноги и в безумном ужасе цепляясь за чей-то рвавшийся от меня рукав, я кричал: «Братцы!.. голубчики!..» Помню пьяный рев толпы, помню мелькавшие передо мною красные, потные лица, сжатые кулаки... Вдруг тупой, тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшею из груди кровью, я без сознания упал на землю.

19 августа

Я уж третий день лежу в больнице. У меня открылось сильное кровохарканье, которое еле остановили; дело плохо. Меня два раза навестил губернатор, навестили еще какие-то важные лица. Все они говорят мне что-то очень любезное, крепко жмут руку. Я смотрю на них, но мало понимаю из того, что они говорят. Гвоздем сидит у меня в голове воспоминание о случившемся, и сердце ноет нестерпимо. И я все

спрашиваю себя: да неужели же вправду это было?.. И, однако, это так: я лежу в больнице, изувеченный и умирающий; передо мною как живые стоят перекошенные злобой лица, мне слышится крик: «Бей его!..» И они меня *били, били.* Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я нес им свои силы, свои знания,— все... Господи, господи! Что же это,— сон ли тяжелый, невероятный, или голая правда?.. Не стыдно признаваться,— я и в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как любил я народ и как мучительно горька обида от него.

Нужно умирать. Не смерть страшна мне: жизнь холодная и тусклая, полная бесплодных угрызений,— бог с нею! Я об ней не жалею. Но *так* умирать!.. За что ты боролся, во имя чего умер? Чего ты достиг своею смертью? Ты только *жертва,* жертва бессмысленная, никому не нужная... И напрасно все твое существо протестует против обидной ненужности этой жертвы: так и должно было быть...

20 августа

Мне не спится по ночам. Вытягивающая повязка на ноге мешает шевельнуться, воспоминание опять и опять рисует недавнюю картину. За стеною, в общей палате, слышен чей-то глухой кашель, из рукомойника звонко и мерно капает вода в таз. Я лежу на спине, смотрю, как по потолку ходят тени от мерцающего ночника,— и хочется горько плакать. Были силы, была любовь. А жизнь прошла даром, и смерть приближается,— такая же бессмысленная и бесплодная... Да, но какое я *право* имел ждать лучшей и более славной смерти?

Они били меня, как забежавшую бешеную собаку,— меня, против которого ничего не могли иметь. Пять недель работая среди них, каждым шагом доказывая свою готовность помогать и служить им, я не смог добиться с их стороны простого доверия; я *принуждал* их верить себе, но довольно было рюмки водки, чтоб все исчезло и проснулось обычное стихийное чувство. Пять недель! Я в пять недель думал уничтожить то, что создавалось долгими годами. С каких это пор привыкли они встречать в нас друзей, когда видели они себе пользу от наших знаний, от всего, что ставило нас выше их? Мы всегда были им чужды и далеки, их *ничто* не связывало с нами. Для них мы были людьми другого мира, брезгливо сторонящимися от них и не хотящими их знать. И разве это неправда? Разве иначе была бы воз-

можна та до ужаса глубокая пропасть, которая отделяет нас от них?

Я знаю: то, что я здесь пишу, избито и старо; мне бы самому в другое время показалось это фальшивым и фразистым. Но почему теперь в этих избитых фразах чувствуется мне столько тяжелой правды, почему так жалко-ничтожною кажется мне моя прошлая жизнь, моя деятельность и любовь? Я перечитывал дневник: жалобы на себя, на время, на все... этим жалобам не было бы места, если бы я тогда видел и чувствовал то, что так ярко и так больно бьет мне теперь в глаза.

23 августа

Трудно писать, рука плохо слушается. Процесс в легких идет быстро, и жить остается немного. Я не знаю, почему теперь, когда все кончено, у меня так светло и радостно на душе. Часто слезы безграничного счастья подступают к горлу, и мне хочется сладко, вольно плакать.

Я часто впадаю в забытье. И когда я открываю глаза, я вижу сидящую у моих ног молчаливую, понурую фигуру Степана. Как он сюда попал? Я вскоре узнал: он пришел к главному врачу больницы, поклонился ему в ноги и не вставал с колен, пока тот не позволил ему оставаться при мне безотлучно. Я не знаю, когда он спит: днем ли проснешься, ночью,— Степан все сидит на своей табуретке — молчаливый, неподвижный... Я смотрю на этого дважды спасенного мною человека, и мне хочется крепко пожать его руку. Я пошевельнусь,— он встает и поправляет сбившуюся подо мною подушку, дает мне пить. И я опять забываюсь...

Передо мною стоит Наташа. Она горько плачет, закрыв глаза рукою. Мне странно,— неужели Наташа тоже умеет плакать? Я тихо глажу ее трепещущую от рыданий руку и не могу оторвать от нее глаз. И я говорю ей, чтоб она любила людей, любила народ; что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много... И теперь мне не стыдно говорить эти «высокие» слова. Она жадно слушает и не замечает, как слезы льются по ее лицу. А я смотрю на нее, и тихая радость овладевает мною; и я думаю о том, какая она славная девушка, и как много в жизни хорошего, и... и как хорошо умирать...

1894

ПОВЕТРИЕ

ЭПИЛОГ[1]

I

Богучаровский земский врач Сергей Андреевич Троицкий только что произвел горлосечение задыхавшейся от крупа девочке. Он накладывал швы на разрез раны, фельдшерица Ольга Петровна, с сухим, желтоватым лицом, в белом фартуке, придерживала вставленную в трахею трубочку.

Больная еще не проснулась от хлороформа; она лежала неподвижно, изредка делая глубокие, свободные вдыхания; только когда Ольга Петровна шевелила трубочку, ребенок начинал кашлять, и тогда из отверстия трубочки с дующим шумом вылетали брызги кровавой слизи, а Сергей Андреевич и Ольга Петровна отшатывались в стороны.

Ольга Петровна зажмурила левый глаз, ощупала мизинцем щеку, на которой повисли две алых капельки, и сказала:

— Чуть-чуть мне сейчас в глаз не попало!

— Эка штука! — с шутливым пренебрежением ответил Сергей Андреевич.

Ольга Петровна обиженно протянула:

— Да-а! Я вовсе не хочу ослепнуть.

— С чего вам, Ольга Петровна, слепнуть? Мы с вами люди привычные: нас никакая зараза не смеет тронуть.

---

[1] Рассказ этот в свое время вызвал со стороны критики немало нареканий за то, что лишен действия и состоит из одних разговоров. Нарекания были вполне законны. Но показать представителей молодого поколения в *действии* было по тогдашним цензурным условиям совершенно немыслимо. Даже в предлагаемом виде рассказ мог появиться в свет только после долгих мытарств. Время действия относится к лету 1896 года, когда в Петербурге вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, отметившая собою нарождение у нас организованного рабочего движения. *(Прим. В. Вересаева.)*

Ольга Петровна, скрывая улыбку, отвернулась, чтоб достать баночку с йодоформом; она дивилась, что такое сталось с Сергеем Андреевичем: всегда сумрачный и молчаливый, он сегодня все время шутил и болтал без умолку.

Больная медленно раскрыла большие, отуманенные глаза.

— Ну, Дунька, как дела? — спросил Сергей Андреевич, наклонился и ласково потрепал ее по пухлой загорелой щеке.

Девочка вздохнула и, отвернув голову, молча закрыла глаза. Сиделка взяла ее на руки и понесла из операционной. Сергей Андреевич тщательно вымыл сулемою лицо и руки, простился с Ольгой Петровной и пошел из больницы домой.

Через дорогу, за канавою, засаженною лозинами, желтела зреющая рожь. Горизонт над рожью был свинцового цвета, серые тучи сплошь покрывали небо. Но тучи эти не грозили дождем, и от них только чувствовалось уютнее и ближе к земле. С востока слабо дул прохладный, бодрящий ветер.

Сергей Андреевич шел по дороге вдоль заросшей канавы, растирал ладонями цветки полыни и с счастливым, жизнерадостным чувством дышал навстречу ветру.

Сегодня у Сергея Андреевича был большой праздник: ему предстояло провести вечер с двумя гостями, каких он редко видел в своей глуши. Мысль об этих гостях рассеяла в Сергее Андреевиче обычные его заботы и горести, он чувствовал себя бодро, молодо и радостно.

Один из гостей уже со вчерашнего вечера находился у Сергея Андреевича и теперь ожидал его дома. Гость этот был его старый университетский товарищ Киселев, знаменитый организатор артелей. О нем в последнее время много писали в газетах. С нижегородской выставки, где он экспонировал изделия своих кустарей, Киселев по дороге заехал на сутки к Сергею Андреевичу и сегодня вечером уезжал. Сергей Андреевич проговорил с ним до поздней ночи и все утро после амбулаторного приема; он не мог наслушаться Киселева, не мог наговориться с ним; глядя на этого человека, всю свою жизнь положившего на общее дело, Сергей Андреевич преисполнялся горделивою радостью за свое поколение, которое дало жизни таких деятелей.

Другой гость, которого сегодня ждал Сергей Андреевич, была дочь соседнего помещика, Наталья Александров-

на Чеканова. Сергей Андреевич не видел ее четыре года. В то время Наташа только что кончила в гимназии и готовилась к аттестату зрелости для поступления на медицинские курсы; это была девушка сорви-голова, с бродившими в душе смутными, широкими запросами, вся — порыв, вся — беспокойное искание. Осенью, против воли отца, она неожиданно уехала в Швейцарию и с тех пор как в воду канула; дошли слухи, что через два года она переехала в Петербург. Отец надеялся, что без денег Наташа долго не выдержит и сама воротится домой, но наконец потерял надежду; этою весною он написал ей в Петербург и приглашал приехать на лето в деревню. Наташа ответила, что очень занята и что навряд ли ей удастся скоро приехать. Тем не менее в начале июля она совершенно неожиданно явилась домой, не успев даже предупредить о приезде. По пути со станции она заехала к Сергею Андреевичу. Когда он увидел Наташу, у него сжалось сердце от жалости; видимо, за эти четыре года ей пришлось пережить немало: она сильно похудела и побледнела, выглядела нервной; но зато от нее так и повеяло на Сергея Андреевича бодростью, энергией и счастьем. Он с горячим интересом слушал торопливые, оживленные рассказы Наташи, наблюдал ее и думал: «Она нашла дорогу и верит в жизнь». Наташа пробыла у него не долее получаса, и Сергей Андреевич не успел поговорить с нею как следует. Вчера он известил ее о пребывании у него Киселева, и Наташа обещала приехать.

«Что-то стало из нее?» — с любопытством думал Сергей Андреевич, потирая руки.

И он улыбался при мысли о сегодняшнем вечере и радовался случаю освежиться и встряхнуться, вздохнуть чистым воздухом того мира, где не личные заботы и печали томят людей.

Сергей Андреевич подошел к стоявшему против церкви ветхому домику. Из-под обросшей мохом тесовой крыши словно исподлобья смотрели на церковь пять маленьких окон. Вокруг дома теснились старые березы. У церковной ограды сын Сергея Андреевича гимназист Володя играл в городки с деревенскими ребятами.

Вдоль боковой стены тянулась широкая, потемневшая от дождей терраса с покосившимися столбиками и подгнившими перилами. На террасе блестел самовар. Дочь Сергея Андреевича Люба разливала чай. За столом сидели Киселев и сын богучаровского дьячка студент-технолог Даев.

II

Когда Сергей Андреевич взошел на террасу, между Киселевым и Даевым кипел ярый спор, и на него почти не обратили внимания.

— Ну-ка, Любушка, плесни-ка и мне чайку! — обратился Сергей Андреевич к дочери.

Он взял налитый стакан чаю, положил в него лимон и со стаканом в руках подсел к спорившим.

Киселев был плотный и приземистый человек лет за сорок, с широким лицом и окладистою русою бородой; из-под высокого и очень крутого лба внимательно смотрели маленькие глазки, в которых была странная смесь наивности и хитрой практической сметки. Всем своим видом Киселев сильно напоминал ярославца-целовальника, но только практическую сметку свою он употреблял не на «объегоривание» и спаиванье мужиков, а на дело широкой помощи им.

Взволнованно барабаня толстыми пальцами по скатерти, Киселев внимательно слушал студента.

— Что спорить? Сама по себе артель, разумеется, дело хорошее,— говорил Даев, стройный парень с черною бородкою и презрительно-надменною складкою меж тонких бровей.— Я не сомневаюсь, что этим путем вам удастся поднять на некоторое время благосостояние нескольких десятков кустарей. Но все силы, всю свою душу положить на такое безнадежное дело, как поддержка кустарной промышленности,— по-моему, пустая трата сил и времени.

— Почему же это кустарная промышленность — такое безнадежное дело? — спросил Киселев.

— Потому что существует более совершенная форма производства, с которою не нашему кустарю бороться. Вы посмотрите: он уже по всей линии отступает перед фабрикою, и вовсе не по каким-нибудь случайным причинам; машина с неотвратимою последовательностью вырывает из его рук один инструмент за другим, и если кустарь покамест хоть кое-как еще конкурирует с нею, то только благодаря своей пресловутой «связи с землей», которая позволяет ему ценить свой труд в грош.

— Так что, значит, и пускай себе «машина вырывает у него один инструмент за другим», пускай себе развивается фабрика? Так с этим и нужно примириться? — спросил Киселев, юмористически подняв брови.

— Миритесь не миритесь, а фабрика все равно задавит кустаря.

— Возмутительно! — Киселев ударил кулаком по столу.— Для вас это — теория, а для меня это трупом пахнет!

— Полноте, какая тут теория! Нужно быть слепым, чтоб не видеть умирания кустарничества, и — вы меня извините — нужно не знать азбуки политической экономии, чтоб думать, что артель способна его оживить.

Сергей Андреевич, наклонившись над стаканом и помешивая ложечкой чай, угрюмо и недоброжелательно слушал Даева. То, что он говорил, не было для Сергея Андреевича новостью: и раньше он уже не раз слышал от Даева подобные взгляды, и по журнальной полемике был знаком с этим недавно народившимся у нас доктринерским учением, приветствующим развитие в России капитализма и на место живой, деятельной личности кладущим в основу истории слепую экономическую необходимость.

Слушая теперь Даева, Сергей Андреевич начинал раздражаться все сильнее. Но ему хотелось удержать свое тихое и радостное настроение, и он постарался прекратить спор.

— Эх, Иван Иванович, ну что ты с ним связываешься? — обратился он к Киселеву, обняв его за плечи, и шутливо махнул рукою в сторону Даева.— Эти новые люди — народ отпетый, с ними, брат, не столкуешься. Нам их с тобою и не понять,— всех этих декадентов, символистов, марксистов, велосипедистов... Ну, а вот она наконец, и Наталья Александровна.

Сергей Андреевич встал и шумно отодвинул стул.

III

К калитке, верхом на буланой лошади, подъехала девушка в соломенной шляпке и розовой кофточке, перехваченной на талии широким кожаным поясом. Она соскочила на землю и стала привязывать лошадь к плетню.

Сергей Андреевич радостно пошел навстречу.

— Наталья Александровна!.. Наконец-то!.. Здравствуйте!

Наташа с быстрою, немного сконфуженною усмешкою ответила на его пожатие и взошла на террасу. От кофточки падал розовый отблеск на бледное лицо, и от этого Наташа казалась свежее и здоровее, чем тогда, когда Сергей Андре-

евич видел ее в первый раз. Она поцеловалась с Любой, Сергей Андреевич представил ей Киселева и Даева.

— Какая вы уж большая стали! — сказала Наташа, с улыбкою оглядывая Любу.— Вы в каком теперь классе?

— Перешла в восьмой,— краснея, ответила Люба и стала наливать ей чай.

На минуту все замолчали.

— Ну вот, Наталья Александровна, опять вы в наших краях,— заговорил Сергей Андреевич, с отеческою любовью глядя на нее.— А нам тут Иван Иванович рассказывал об организованных им артелях. Я вам вчера писал о нем.

— Вы давно уже ведете это дело? — спросила Наташа, украдкою приглядываясь к Киселеву.

— Четыре года веду,— неохотно ответил Киселев, еще полный впечатлений от разговора с Даевым.

Наташа нерешительно сказала:

— Вам, вероятно, уж надоело рассказывать?

— Да рассказывать-то нечего... Вот, если хотите, посмотрите наш артельный устав, там все сказано.

Он достал из бумажника сложенный вчетверо лист бумаги и передал Наташе. Наташа быстро развернула лист и с любопытством стала читать.

— Здесь сказано, что члены артели должны жить между собою «по божьей правде». А как поступает артель с членом, если он перестанет жить по правде? — спросила она.

— Разно бывает. Чаще всего урезонишь его,— мужик и одумается, сам поймет, что не дело затеял. Ну, случается, конечно, что иного ничем не проймешь,— такого приходится исключить: шелудивая овца все стадо портит.

Наташа стала расспрашивать, как часты у них вообще случаи исключения участников, на каких условиях принимаются новые члены, насколько сильна в артелях самодеятельность. Киселев мало-помалу оживился и начал рассказывать. Он рассказывал долго и подробно.

Сергей Андреевич слушал с наслаждением. Ему уж было известно все, что рассказывал Киселев, но он был готов слушать еще и еще, без конца. На душе у него опять стало тихо, хорошо и радостно. Вечерело, небо по-прежнему было покрыто тучами; на западе, над прудом, тянулись золотистые облака фантастических очертаний. Теплый ветер слабо шумел в березах.

— Да, господа, это дело — живое и плодотворное дело,— закончил Киселев.— Оно доставляет столько нравст-

венного удовлетворения, дает такие осязательные результаты, так много обещает в будущем, что я всякому скажу: если хотите хорошего счастья, если хотите с пользою употребить свои силы, то идите к нам, и вы не раскаетесь... хотя вот господин Даев и не согласен с этим.

Наташа быстро и внимательно взглянула на Даева.

— Я с этим также не согласна,— сказала она, опустив глаза.

Сергей Андреевич насторожился.

— Почему?

— Это дело хорошее, но мне не верится, чтоб оно много обещало в будущем. Из рассказов самого же Ивана Ивановича видно, что все держится только его личным влиянием: устранись Иван Иванович,— и его артели немедленно распадутся, как было уже столько раз.

— Почему же бы это им непременно распасться? — спросил Киселев.

— Потому что вы слишком много требуете от человека. Ваши артельщики должны жить «по божьей правде»; конечно, на почве мелкого производства единение только при таком условии и возможно; но ведь это значит совершенно не считаться с природою человека: «по божьей правде» способны жить подвижники, а не обыкновенные люди.

— Вот как! — протянул Сергей Андреевич и широко раскрыл глаза.— «При мелком производстве единение невозможно». Наталья Александровна, да уж не собираетесь ли и вы по этому случаю выварить нашего кустаря в фабричном котле?

— Ни у меня, ни у кого нет столько сил, чтобы сделать это,— с усмешкой ответила Наташа.— А что исторический ход вещей его выварит,— в этом, разумеется, не может быть сомнения.

— Опять этот «исторический ход вещей»!— воскликнул Киселев.— Господа, да постыдитесь же хоть немного! Вы почтительно преклоняетесь перед всем, что готов сделать ваш «исторический ход вещей». Если он обещает расплодить у нас фабрики, задавить кустаря, то и пускай будет так, пускай кустарь погибает?

Вмешался Даев.

— Сейчас, Иван Иванович, вопрос не о мерзостях, которые проделывает исторический ход вещей. Вопрос о том,— что можете вы дать вашим кустарям? В лучшем случае вам удастся поставить на ноги два-три десятка бедняков, и ни-

чего больше. Это будет очень хорошим, добрым делом. Но какое же это может иметь серьезное общественное значение?

Сергей Андреевич почти с ненавистью слушал Даева. Даев говорил пренебрежительно-учительским тоном, словно и не надеясь на понятливость Киселева, и Сергею Андреевичу было досадно, что тот совершенно не замечает ни тона Даева, ни его резкостей.

Киселев глубоко вздохнул и поднялся с места.

— Я вижу только одно, господа,— сказал он: — вы не любите человека и не верите в него. Ну, скажите, неужели же вправду так-таки невозможно понять, что дружная работа выгоднее работы врозь, что лучше быть братьями, чем врагами? Вы злорадно указываете на неудачи... Что ж? Да, они есть! Но знаете ли вы, в каких условиях приходится жить мужику? Могут ли широко развиться при них те задатки любви и отзывчивости, которые заложены в его душе? А задатки в нем заложены богатые, смею вас уверить! Вы смеетесь над этим. Но меня вот что удивляет: вы молоды, жизни не знаете, знакомы с нею только из книг,— и в рабочих людях видите зверей. Я знаю их, живу среди них вот уже пятнадцать лет,— и говорю вам, что это — *люди*, хорошие, честные люди! — горячо воскликнул он.

— И я могу подтвердить это! — торжественно произнес Сергей Андреевич.

— Люба! Не знаешь ты, который теперь час? — вдруг громко спросил Володя.

Он уже с десять минут стоял на террасе, нетерпеливо и выразительно поглядывал на отца, но тот, занятый спором, не замечал его.

Киселев поспешно вынул часы.

— Ого, уж восьмой час! Пора, Сергей Андреевич, лошадь запрягать, а то я к поезду не поспею.

— Папа, Нежданчика запрячь? — быстро спросил просиявший Володя.

Все засмеялись.

— Э, брат, у тебя тут, я вижу, тонкая политика была! — протянул Даев, схватив Володю сзади под мышки.— То-то его вдруг заинтересовало, который теперь час!

— Папа, Степану нужно в ночное ехать! — крикнул Володя.

— Да уж придется тебе отвезти Ивана Ивановича,— ответил Сергей Андреевич.— Пускай только Степан лошадь запряжет.

— Ни одного ведь словца, разбойник, без политики не скажет! — проговорил Даев, щекоча Володю.— Бить, брат, тебя некому, вот что.

— А вам? — возразил Володя, ежась и стараясь поймать пальцы Даева.

— Да ведь ты не даешься, злодей!

— Ну, например, за что вы меня щекочете?

— Скажи ты мне, к какой, собственно, мысли этот твой «пример» служит иллюстрацией?

Володя вывернулся из рук Даева и взобрался на перила.

— Никакой я вашей балюстрации не понимаю!

Он спустился на землю и через куртины помчался в конюшню.

Даев взял свой пустой стакан и подошел к Любе.

IV

Сергей Андреевич ревниво поглядывал на Даева. Он видел, как радостно вспыхнула Люба, когда Даев заговорил с нею; неужели он и его взгляды не возмущают ее?.. Даев сел на конце стола возле Любы и вступил с нею в разговор.

— Как для вас, господа, все эти вопросы с высоты теории легко решаются! — говорил между тем Киселев.— Для вас кустарь, мужик, фабричный — все это отвлеченные понятия, а между тем они — люди, живые люди, с кровью, нервами и мозгом. Они тоже страдают, радуются, им тоже хочется есть, не глядя на то, разрешает ли им это «исторический ход вещей»... Вот я в Нижнем получил от моих палашковских артельщиков письмо...

Киселев достал из бумажника грязную, исписанную каракулями бумагу, медленно надел на нос пенсне и, откинув голову, стал читать:

— «Дражайшему благодателю нашему Ивану Ивановичу Киселеву от Ерофея Тукалина, Ивана Егорова и т. д. письмо». Письмо! — с улыбкою повторил он, мигнув бровями.— «Писали мы вам, что Косяков Пётра продал кузницу ценою за 81 р. сер. и хотит, чтоб взять деньги в свою пользу. То поэтому, Иван Иванович, как хотите, так и делайте с ним. Но мы же оным не нуждаемся, потому что в той кузне еще не работали и не нуждаемся оной, а вы, как знаете, так делайте распоряжение»... Ну и так дальше... «И еще кланяемся вам с благодарностью и просим не остав-

лять нас, за это будем об вас бога молить за ваши благодетельства нас, бедных людей»... Подписано: «братья артели» такие-то... Да, господа, и что вы там ни говорите, а я их не оставлю! — произнес он прерывающимся голосом, снимая пенсне.

— Какое письмо славное! — сказала Наташа с заблестевшими глазами.

— Ну, во-от! Не правда ли? — спросил Киселев.— Ведь невозможно, господа, так относиться! Книжки вам говорят, что по политической экономии артелями революции вашей нельзя достигнуть,— вам и довольно. А ведь это все живые люди; можно ли так рассуждать?.. Мне и не то еще приходилось слышать: переселения, например, тоже вещь нежелательная, их незачем поощрять, потому что, видите ли, в таком случае у нас останется мало безземельных работников.

— Ну, это вы слышали от какого-нибудь молодца с Страстного бульвара! [1] — с улыбкою сказала Наташа.

В глазах Киселева мелькнул лукавый огонек.

— Нет, я это полчаса назад за этим столом слышал,— медленно произнес он, вежливо улыбаясь.

Наташа вспыхнула и в замешательстве наклонилась над чашкою.

— На очную ставку готов стать с господином Даевым,— прибавил Киселев.

— Я в этом отношении не согласна с Даевым.— Наташа выпрямилась и глядела в глаза Киселеву с неуспевшею еще сойти с лица краскою.— По-моему, переселения прямо *желательны*, потому что они повысят благосостояние и переселенцев и остающихся, а это поведет к расширению внутреннего рынка.

Киселев слушал с чуть заметной усмешкою. «Не хочет раскрыть карт!» — думал он. Сергей Андреевич откинулся на спинку стула и с беспощадным, вызывающим ожиданием глядел на Наташу.

— Ну-с, и что же дальше? Для вас это — только маленькое «разногласие» с господином Даевым?.. Странно! — Он усмехнулся и пожал плечами.— Сейчас только сами же вы признали его взгляды достойными Страстного бульвара, а теперь вдруг выходит, что это для вас — так себе,

---

[1] На Страстном бульваре находилась редакция реакционной газеты «Московские ведомости». *(Прим. В. Вересаева.)*

лишь незначительное разногласие!.. Гм! Ну, теперь мне совершенно ясно, почему именно на этом-то бульваре вы и встретили самое горячее сочувствие!

Даев, со стаканом в руках, подошел и остановился, помешивая ложечкою в стакане.

— Скажите, пожалуйста, Василий Семенович, как вы относитесь к переселенческому вопросу? — обратился к нему Сергей Андреевич. Спросил он самым невинным голосом, но глаза его смотрели мрачно и враждебно.

— Слава богу, у нас, оказывается, и переселяться-то некуда,— ответил Даев, видимо забавляясь негодованием Сергея Андреевича.— Можно ли серьезно говорить у нас о переселении? Культура земли самая первобытная, три четверти населения околачивается вокруг земли; этак нам скоро и всего земного шара не хватит. Выход отсюда для нас тот же, что был и для Западной Европы,— развитие промышленности, а вовсе не бегство в Сибирь.

Наташа стала возражать.

Сергей Андреевич слушал, горя негодованием. По такому существенному вопросу они спорили неохотно, с готовностью делали друг другу уступки,— видимо, чтоб только поскорее столковаться и прийти к концу.

— К чему вы, Наталья Александровна, упоминаете о «живых людях», что они для вас? — воскликнул Сергей Андреевич.— Будьте же откровенны до конца: говорите о вашей промышленности и оставьте живых людей в покое. Если бы они грозили остановить развитие вашего капитализма, то разве вы стали бы с ними считаться? Что значит для вас эта сотня тысяч каких-то «живых людей», умирающих с голоду!

И сейчас же оба они соединились против него, доказывая, что если бы кто-нибудь мог остановить развитие капитализма, то и разговор был бы другой, при данных же условиях ничто остановить его не в силах.

Сергей Андреевич стал яро возражать, но положение его в споре было довольно неблагоприятное: в экономических вопросах он был очень не силен и только помнил что-то о рынках, отсутствие которых делает развитие русского капитализма невозможным. Противники же его, видимо, именно экономическими-то вопросами преимущественно и интересовались и засыпали его доказательствами. Сергей Андреевич чувствовал, что они видят слабость его позиции, и его одинаково раздражал и снисходительный

тон возражений Даева, и сожаление к нему, светившееся в глазах Наташи.

К спорящим присоединился и Киселев. Спор тянулся долго,— горячий, но утомительно-бесплодный, потому что спорящие стояли на слишком различных точках зрения. Для Сергея Андреевича и Киселева взгляды их противников были полны непримиримых противоречий, и они были убеждены, что те не хотят видеть этих противоречий только из упрямства: Даев и Наташа объявляли себя врагами капитализма — и в то же время радовались его процветанию и усилению; говорили, что для широкого развития капитализма необходимы известные общественно-политические формы,— и в то же время утверждали, что сам же капитализм эти формы и создаст; историческая жизнь, по их мнению, направлялась не подчиняющимися человеческой воле экономическими законами, идти против которых было нелепо,— но отсюда для них не вытекал вывод, что при таком взгляде человек должен сидеть сложа руки.

— Разве все это не ясные до очевидности противоречия? — спрашивали Сергей Андреевич и Киселев.

Даев и Наташа в ответ пожимали плечами, удивляясь, как можно так плоско понимать вещи.

Впрочем, серьезно спорить и доказывать продолжала только Наташа; Даев больше забавлялся, наблюдая, какую нелепо уродливую форму принимали их взгляды в понимании Сергея Андреевича и Киселева.

Сергей Андреевич молча прошелся по террасе.

— Нет, господа, чтоб до такой можно было дойти узости, до такой чудовищной черствости и бессердечия,— этого я не ожидал! Ну, и времечко же теперь, нечего сказать,— довелось мне дожить!

— На время грех жаловаться,— серьезно возразил Даев,— время хорошее и чрезвычайно интересное. Великолепное время. А что касается ваших упреков в бессердечии, то, уверяю вас, Сергей Андреевич, убедить ими кого-нибудь очень трудно. Мы утверждаем, что Россия вступила на известный путь развития и что заставить ее свернуть с этого пути ничто не в состоянии; *докажите*, что мы ошибаемся; но вы вместо этого на все лады стараетесь нам втолковать, что наш взгляд «возмутителен». Странное отношение к действительности! Пора бы уже перестать судить о ее явлениях с точки зрения наших идеалов.

Сергей Андреевич с любопытством спросил:

— Вы полагаете, что пора?

— Да, я думаю, давно уже пора. Жизнь развивается по своим законам, не справляясь с вашими идеалами; нечего и приставать к ней с этими идеалами; нужно принять те, которые диктует сама действительность.

— Боже мой, боже мой! И это — молодежь, надежда страны!..— воскликнул Сергей Андреевич.

Он схватился за голову и взволнованно зашагал по террасе.

Наташа с неопределенною улыбкою смотрела на скатерть. Даев следил за Сергеем Андреевичем с нескрываемою иронией.

— Если об этом говорить, то... Не завидую я стране, которой приходится довольствоваться надеждою на молодежь,— сказал он.— Слава богу, наша страна в этой надежде уж не нуждается. Вырос и выступил на сцену новый глубоко революционный класс...

— Да не на вас же, конечно, рассчитывать...

Голос Сергея Андреевича сорвался. Он махнул рукою и отошел к концу террасы.

Облака на западе сияли ослепительным золотым светом, весь запад горел золотом. Казалось, будто там раскинулись какие-то широкие, необъятные равнины; длинные золотые лучи пронизали их, расходясь до половины неба, на севере кучились и громоздились тяжелые облака с бронзовым оттенком. Зелень орешников и кленов стала странно яркого цвета, золотой отблеск лег на далекие нивы и деревни.

Сергей Андреевич, угрюмо прикусив губу, смотрел на торжествующе горевшее небо. Слезы душили его: так вот что стало из Наташи, вот в чем нашла она выход и успокоение!.. На Даева Сергей Андреевич давно уже махнул рукою. Прежде он недоумевал, как могла боевая натура Даева примириться с таким апофеозом квиетизма, потом, однако, решил, что жестокость нового учения вполне соответствовала черствому и недоброму характеру Даева. Но Наташа!..

Сергей Андреевич вспомнил, как однажды, четыре года назад, она заехала к нему с прогулки верхом, вместе с своим двоюродным братом, доктором Чекановым. Столько в ее глазах было тогда жизни и счастья, столько молодости, радостно рвущейся на простор, отзывчивой и любящей!

Сергей Андреевич сам весь тот день чувствовал себя как бы помолодевшим. Потом он увидел Наташу два месяца спустя. Она только что воротилась из Слесарска, где на ее руках умер доктор Чеканов, насмерть избитый толпою во время холерных беспорядков. Изменилась она страшно: глаза ее горели глубоким, сосредоточенным огнем, всеми помыслами, всем своим существом она как бы ушла в одно желание,— желание страдания и жертвы. В то время Наташа часто бывала у Сергея Андреевича и настойчиво расспрашивала его, что теперь всего нужнее делать, на что отдать свои силы. Он полюбил ее, как дочь, и жизнь для него стала светлее; никогда он не работал столько, как в то время, и работал радостно, без обычного раздражения и ворчаний. Вскоре Наташа уехала на юг сестрою милосердия, затем, по окончании холеры, за границу... И вот что теперь стало из нее!

А между тем по-прежнему она была симпатична Сергею Андреевичу... Что же это за проклятая зараза, откуда забрала она столько всепокоряющей силы?!

Из-за сарая выехал на шарабане Володя. Он нахлестывал кнутом Нежданчика, поглядывая на балкон, не следит ли за ним отец, и лихо подкатил к калитке. У стола раздался шум отодвигаемых стульев. Сергей Андреевич воротился к гостям.

Киселев застегивал пальто и надевал дорожную сумку.

— Ну, прощайте, господа! — сказал он, протягивая свою широкую руку Наташе и Даеву.— Желаю вам всего хорошего. Делайте ваше «историческое» дело,— открывайте фабрики, старайтесь обезземелить крестьян, разрушить артель и кустарные промыслы,— может быть, вам когда-нибудь и станет стыдно за это. А мы,— мы с нашими «братьями-артельщиками» не боимся вас... Вы не обижайтесь на меня!..— быстро прибавил он, добродушно улыбаясь и крепко пожимая обеими руками руку Даева.— Сердца у вас хорошие, только теория вас душит, вот в чем горе!

Даев рассмеялся и горячо пожал в ответ руку Киселева.

— А мне позвольте *совершенно искренно* пожелать вам возможно большего успеха.

Киселев спустился с террасы. Сергей Андреевич после всего происшедшего чувствовал к нему прилив особенной любви и нежности; он не спускал с Киселева мягкого, любовного взгляда.

Киселев, ощупывая наполненные карманы пальто, остановился перед шарабаном.

— Доедет молодой человек? — спросил он, оглядывая маленькую фигурку Володи.

Володя покраснел и с обиженною улыбкою быстро взглянул на отца.

— Ничего, доедет... Только, брат, вот что,— сурово обратился Сергей Андреевич к Володе,— кнут пускай в дело пореже и назад возвращайся через Басово, а не через Игнашкин Яр.

Лицо Киселева внезапно стало серьезным.

— Ну, Сергей Андреевич,—оставайся здоровым! — вздохнул он и раскрыл объятия.— Бог весть когда теперь свидимся.

Они крепко поцеловались три раза накрест. Потом Сергей Андреевич еще раз прижал к себе Киселева и долго, горячо поцеловал его, как бы желая этим поцелуем выразить всю силу своего уважения и любви к нему.

Киселев ступил на подножку шарабана, тяжело накренившегося под ним, уселся и еще раз ощупал карманы. Володя тронул Нежданчика.

V

Сергей Андреевич воротился на террасу. В душе у него кипело. Его мучило, что на все его упреки Наташа и Даев отвечали только пожиманием плеч и сдержанной улыбкой; и ему хотелось хоть в чем-нибудь пристыдить их.

Наташа, Люба и Даев сидели у самовара и разговаривали. Сергей Андреевич, насупившись, несколько раз прошелся по террасе.

— Извините, господа,— сказал он.— Ну, можно ли было завязывать с Иваном Ивановичем такой спор? Неужели вы не чувствовали, до чего это было грубо и бестактно?

Даев удивленно поднял брови.

— Почему?

— Какая была у вас цель? Неужели — убедить Ивана Ивановича, что дело всей его жизни — пустяки, что от него надо отказаться?

— Я решительно не могу понять такого страха перед свободным обсуждением. Тогда и я вас упрекну: зачем вы с нами спорите? Может быть, и вы нас убедите отказаться от нашей деятельности? А относительно Киселева вы на-

прасно беспокоитесь: он настолько верит в свое дело и настолько туп, что его никто не переубедит. И вы меня извините, Сергей Андреевич,— я думаю, что возражения наши больше огорчили не его, а вас, потому что вы в душе и сами не слишком-то верите в чудеса артели.

— Никто о чудесах и не говорит,— устало произнес Сергей Андреевич.— Но дело это, во всяком случае, хорошее, и к нему непозволительно относиться так свысока, как вы делаете.

— Позвольте, Сергей Андреевич, Иван Иванович говорил именно о чудесах,— возразила Наташа.— Но мне хотелось бы знать вот что: вы все время возражали нам, защищали Киселева; как же, однако, сами вы смотрите хоть бы на ту же общину или артель? Мне это осталось неясным.

— Не знаю, Наталья Александровна! Это только для вас будущее ясно, как на ладони; по-моему, жизнь сложнее всяких схем, и никто, относящийся к ней сколько-нибудь добросовестно, не возьмется вам отвечать.

— Но ведь выдвигает же эта жизнь какие-нибудь исторические задачи? Во что же верить, каким путем идти? Чтó нужно делать?

Это были те же вопросы, которые Сергей Андреевич слышал от Наташи и четыре года назад. Тогда она с тоскою ждала от него, чтоб он дал ей веру в жизнь и указал дорогу,— и ему было тяжело, что он не может дать ей этой веры и что для него самого дорога неясна. Теперь, когда Наташа верила и стояла на дороге, Сергея Андреевича приводила в негодование самая возможность тех вопросов, которые она ему задавала.

Волнуясь и раздражаясь, он стал доказывать, что жизнь предъявляет много разнообразных запросов, и удовлетворение всех их одинаково необходимо, а будущее само уж должно решить, «историческою» ли была данная задача, или нет; что нельзя гоняться за какими-то отвлеченными историческим задачами, когда кругом так много насущного дела и так мало работников.

— Ну да, то же самое я слышала от вас и четыре года назад,— сказала Наташа,— «не знаю — и поэтому всякое дело одинаково хорошо и важно»; только тогда вы не думали, что иначе и не может быть...

Наташа быстро прошлась по террасе.

— Как вы можете с этим жить! — произнесла она и с дрожью повела плечами.— Киселев наивен и живет вне вре-

мени, но он по крайней мере верит в свое дело; а во что верите вы? В окружающей жизни идет коренная, давно не виданная ломка, в этой ломке падает и гибнет одно, незаметно нарождается другое, жизнь перестраивается на совершенно новый лад, выдвигаются совершенно новые задачи. И вы стоите перед этим хаосом, потеряв под ногами всякую почву; старое вы бы рады удержать, но понимаете, что оно гибнет бесповоротно; к нарождающемуся новому не испытываете ничего, кроме недоверия и ненависти. Где же для вас выход? На все вы можете дать только один ответ: «Не знаю!» Ведь перед вами такая пустота, такой кромешный мрак, что подумать жутко!.. И во имя этой-то пустоты вы вооружаетесь против нас и готовы обвинить чуть не в ренегатстве всех, кто покидает ваш лагерь! Да оставаться в вашем лагере невозможно уж по одному тому, что это значит прямо обречь себя на духовную смерть.

— И не оставайтесь, Наталья Александровна, ищите дорогу! Когда вы ее найдете, мы первые же с радостью пойдем за вами. Но вместо того, чтоб искать, вы зажмуриваете глаза, самоуверенно объявляете: «Мы знаем!» — там, где знать ничего не можете, и с легким сердцем готовы губить все, что не подходит под вашу схему. Разве это значит найти дорогу?.. Нет, Наталья Александровна, колоссальный успех вашей, с позволения сказать, «программы» я могу лишь объяснить совсем другим,— тем всеобщим одичанием, которое вызвано теперешним безвременьем.

— Я думаю, успех ее объясняется тем, что сама жизнь слишком неопровержимо доказала ее правильность. Если бы вы видели, какие радостные, кипучие родники борьбы и жизни бьют там, куда пошли мы!.. А за все то, что мы будто бы собираемся губить, вы можете быть совершенно спокойны: как можем мы что-нибудь губить? Мы никакой силы собою не представляем!

Сергей Андреевич молча оглядел Наташу и едко усмехнулся.

— Да, резюме, во всяком случае, получается весьма поучительное,— и уж конечно, где ж тут может быть речь о «духовной смерти»! *Мы силы никакой не представляем. Идеалы наши подчиняем действительности. Нигде никому помочь не можем...*

Наташа хотела возразить, нервно пожала плечами и замолчала. Даев, посмеиваясь, следил за нею.

— Я думаю, спор давно уж пора кончить,— сказал он.— Ясно, что мы говорим на разных языках и никогда не столкуемся.

— Действительно, пора кончить: мне уже давно время ехать.— Наташа быстро встала.

— Вот те раз! Наталья Александровна, полноте, куда это вам? — всполошился Сергей Андреевич.— Сейчас ужин готов. Много ли вам ехать-то, всего пять верст!..

Наташа улыбнулась.

— Нет, не пять, а тридцать пять. Я в город еду, к вам по дороге заехала.

— В таком случае, ехать уж слишком поздно. Когда вы теперь в город приедете,— завтра на заре! Ведь вы не мужчина, Наталья Александровна: мало ли что может случиться по дороге! Ночи теперь темные. Оставайтесь-ка лучше у нас ночевать. Переночуете с Любой, а завтра утром напьетесь себе чаю и поедете.

— Вот еще! — рассмеялась Наташа.— Какая, подумаешь, опасная дорога! У меня в городе дело есть, завтра утром непременно нужно быть; да и жарко ехать днем.

Сергей Андреевич помолчал.

— Ну, господь с вами!

Наташа спустилась с лесенки и стала отвязывать от загородки лошадь. Сергей Андреевич, задумчиво теребя бороду, молча смотрел, как Наташа взнуздывала лошадь, как Даев подтягивал на седле подпруги. Наташа перекинула поводья на луку.

— Спасибо вам, Наталья Александровна, что заехали,— медленно произнес Сергей Андреевич.— Но должен сознаться,— с горечью прибавил он,— не *такою* думал я вас увидеть.

— Какая есть! — ответила Наташа с своею быстрою усмешкою.

Сергей Андреевич нахмурился и молча пожал ее протянутую руку.

VI

Наташа уехала. Сергей Андреевич постоял, засунув руки в карманы, надел фуражку и медленно пошел по деревенской улице.

Запад уже не горел золотом. Он был покрыт ярко-розовыми, клочковатыми облаками, выглядевшими, как вспа-

ханное поле. По дороге гнали стадо; среди сплошного блеянья овец слышалось протяжное мычанье коров и хлопанье кнута. Мужики, верхом на устало шагавших лошадях, с запрокинутыми сохами возвращались с пахоты. Сергей Андреевич свернул в переулок и через обсаженные ивами конопляники вышел в поле. Он долго шел по дороге, понурившись и хмуро глядя в землю. На душе у него было тяжело и смутно.

Дорога мимо полос крестьянской ржи сворачивала к Тормину. Сергей Андреевич присел на высокую межу, заросшую икотником и полевою рябинкою. Заря гасла, розовый цвет держался только на краях облаков и наконец исчез. Облака стали скучного свинцово-серого цвета. По широкой равнине, среди хлебов, мягко темнели деревни, в дубовых кустах Игнашкина Яра замигал костер. Мужик, с полным мешком за плечами, шел по тропинке через рожь. По-прежнему было тепло и чувствовалась близость к земле, и по-прежнему медленно двигались в небе серые тучи, не угрожавшие дождем.

Мужик с мешком вышел на дорогу и повернул по направлению к Тормину.

— Прогуляться вышел по холодочку? — ласково обратился он к Сергею Андреевичу, поравнявшись с ним.

— Это ты, Капитон! Добрый вечер! Откуда бог несет?

Капитон спустил мешок на землю и достал из кармана кисет.

— Ходил к мельничихе, вот мучицы забрал до новины..

Он набил табаком трубку и спрятал кисет.

— Ну, дай посижу с тобою, передохну маленько,— сказал он, сел на межу рядом с Сергеем Андреевичем и стал закуривать.

— Как старуха твоя поживает? — спросил Сергей Андреевич.

— Опух в ногах уничтожился, слава богу. Под сердце нет-нет да подкатит, а только работает нынче хорошо, дай бог тебе здоровья.

Они помолчали.

— Вот рожь-то какая уродилась! И косить нечего будет,— сказал Сергей Андреевич и кивнул на тянувшуюся перед ним полосу; редкие, чахлые колосья ржи совершенно тонули в море густых васильков и полыни.

Капитон поглядел на полосу и неохотно ответил:

— Скосишь, брат, и такую. Моя вот полоска такая же точно.

— Посеялся поздно, что ли?

— А то с чего же?.. Приели к Филиппову дню хлебушко, ну и набрал по четверти,— у мельничихи, у Кузьмича, у санинского барина. Отдать-то отдай четверть, а отработать за нее надо, ай нет? Там скоси десятину, там скоси,— ан свой сев-то и ушел. Вот и коси теперь васильки... А тут еще конь пал у меня на Аграфенин день,— прибавил он, помолчав.

— Ну, брат, плохо твое дело! Как же ты теперь жить будешь?

— Да уж... как хошь, так и живи,— медленно ответил Капитон и развел руками.

Сергей Андреевич угрюмо возразил:

— «Как хошь»... Ведь как-нибудь надо же прожить!

— Как же не надо? Знамо дело,— надо.

— Так как же ты проживешь?

— Как! Н-ну...— Капитон подумал.— Кабы сын был у меня, в люди бы отдал: все кой-что домой бы принес.

— Так ведь нет же сына у тебя!

— То-то, что нет! Вот я же тебе и объясняю: как хошь, мол, так и живи.

Сергей Андреевич замолчал. Капитон тоже молчал и задумчиво попыхивал трубкою.

— Жизнь томная, это что говорить. То-омная жизнь! — произнес он словно про себя.

Сергей Андреевич, угрюмо сдвинув брови, смотрел вдаль. Он припоминал сегодняшний спор и думал о том, что бы испытывали Наташа и Даев, слушая Капитона. Сергей Андреевич был убежден, что они ликовали бы в душе, глядя на этого горького пролетария, которого даже по недоразумению никто не назвал бы самостоятельным хозяином.

Капитон докурил трубку, простился с Сергеем Андреевичем и пошел своею дорогою.

Равнина темнела, в деревнях засветились огоньки. По дороге между овсами проскакал на ночное запоздавший парень в рваном зипуне. Последний отблеск зари гас на тучах. Трудовой день кончился, надвигалась теплая и темная, облачная ночь.

Сергей Андреевич стоял, оглядывая даль; он чувствовал, как дорога и близка ему эта окружающая его бедная,

тихая жизнь, сколько удовлетворения испытывал он, отдавая на служение ей свои силы. И он думал о Киселеве, думал о сотнях рассеянных по широкой русской земле безвестных работников, делающих в глуши свое трудное, полезное и невидное дело... Да, ими всеми уже сделано кое-что, они с гордостью могут указать на плоды своего дела. Те, узкие и черствые, относятся к этому делу свысока... Что-то сами они сделают? И тяжелая злоба к ним шевельнулась в Сергее Андреевиче, и он почувствовал, что никогда не примирится с ними, никогда не протянет им руки...

Через всю свою жизнь, полную ударов и разочарований, он пронес нетронутым одно — горячую любовь к народу и его душе, облагороженной и просветленной великою властью земли. И эта любовь, и его тоска перед тем, что так чужда ему народная душа,— все это для *них* смешно и непонятно. Им смешны сомнения и раздумье над путями, какими пойдет выбивающаяся из колеи народная жизнь. К чему раздумывать и искать, к чему бороться? Слепая историческая необходимость — для них высший суд, и они с трезвенною покорностью склоняют перед нею головы...

— Да, что-то они сделают? — повторял Сергей Андреевич, мрачно глядя в темноту.

1897

НА МЕРТВОЙ ДОРОГЕ

Изморенный ходьбою и зноем, я сидел с Михайлой на пороге его убогой, крытой соломою сторожки.

Вдали, где степь сливалась с сверкавшим небом, дымились трубы шахт, громыхали товарные поезда. Кругом же все дышало покоем и запустением. За лощинкою, под соломенным навесом, молчаливо ютилась крестьянская шахта, а мимо нас бежала вдаль узкая, пыльная полоса травы, в ней рыжели растрескавшиеся рельсы. Эта заброшенная железная дорога принадлежит крупному углепромышленнику Сохатову и ведет на давно уже выработанный Солодиловский рудник; но Сохатов не снимает рельсов; он рассчитывает заарендовать у крестьян богатый углем участок рядом с Солодиловкой; если же снять рельсы, то придется опять хлопотать об отчуждении земли под подъездной путь. И вот тянется по степи мертвая дорога. Шпалы погнили, рельсы заржавели и заросли бурьяном; у переезда нет заставы, нет даже столбика. И Михайло одиноко бродит по протоптанной в бурьяне тропинке, оберегая рельсы и шпалы от расхищения.

Был шестой час вечера. Зной стоял жестокий, солнечный свет резал глаза; ветерок дул со степи, как из жерла раскаленной печи, и вместе с ним от шахт доносился острый, противный запах каменноугольного дыма... Мухи назойливо липли к потному лицу; в голове мутилось от жары; на душе накипало глухое, беспричинное раздражение.

Михайло, с трубкою в зубах, сидел рядом и рассказывал мне о своей далекой орловской деревне, о кулаке-старшине, забравшем в руки всю волость.

— Кабак открыл, лавку открыл!.. В волостные старшины попал!..— говорил он, мрачно и негодующе глядя вдаль.— Ребятенками вместе в рюхи играли, а теперь по-

смотри: пару гнедых завел,— лихие кони, так и ерзàют,— ахнешь!.. Заговорят на сходе: «учесть бы его!» — «Ишь, скажет, податей не платят, а тоже — *учесть!..* Разговаривают, сукины дети, заковыривают!..»

Уж больше часу рассказывал мне Михайло о всевозможных бедах и притеснениях, которые ему пришлось претерпеть в жизни. Я слушал и, угрюмо глядя на изнемогавшую от зноя степь, думал о том, что мне не скоро еще можно идти дальше, что еще не один час придется мне провести здесь, пережидая жару. Стыдно признаться, но мало сочувствия вызывали во мне рассказы Михайлы. И степь, бессильно выгоравшая под солнцем, и ленивый, душный воздух, и негодующие сетования Михайлы — все дышало чем-то таким тоскливым, расслабляющим и безнадежным... Странно было подумать, что где-нибудь теперь свежо и прохладно, что есть на свете бодрые, деятельные и неунывающие люди.

На далеких Афанасьевских копях раздался гудок, на него откликнулась одна шахта, потом другая,— и вскоре вся их дымящаяся цепь загудела на разные тоны деловито-угрюмыми гудками. Откуда-то из-за горизонта чуть слышно донесся звон церковного колокола.

— Ко всенощной звонят,— сказал Михайло, снял шапку и стал креститься.

Колокол продолжал мерно звенеть, и его звон с трудом пробивался сквозь ноющее гудение шахт.

— Нынче ночью отец-покойник приходил ко мне,— помолчав, заговорил Михайло,— в тулупе новом, в новых валенках, другую пару в руках держит. «Все, говорит, Миша, ноги зябнут, никак не могу согреться»... Панихидку бы надо отслужить...

Михайло задумчиво поглядел вдаль, где медленно струился и переливался горячий воздух.

— Всё пóмину желают родители, барин, и мы отощали!.. Э-эх!..— тяжело вздохнул он и стал раскуривать погасшую трубку.

Гудки смолкли один за другим. Затих благовест. Только бесчисленные жаворонки звенели и заливались в ярком небе, и казалось, что это звенит само небо,— звенит однообразно, назойливо... Да и в небе ли это звенит? Не звенит ли кровь в разгоряченной голове?.. Ковыль волновался и сверкал под солнцем, как маленькие клубы белоснежного пара. По степи шныряли юркие рыжие овражки.

Из рудничных труб лениво валил дым и длинными, мутными полосами тянулся по горизонту.

Мимо сторожки прошел худощавый бородатый шахтер в синей блузе, с кожаною сумкою за плечами. Заметив нас, он в нерешительности остановился и вдруг круто повернул к сторожке.

— Дозвольте, господа, немножко посидеть с вами!— произнес он с быстрой улыбкой.— Жарко, нет никакой возможности идти.

— Просим милости! — ответил Михайло.

Я где-то уж видел это нервное лицо с впалыми щеками и странно блестящими глазами, с быстрой, нескладной улыбкой, видимо, очень редко появлявшеюся на губах. Шахтер спустил с плеч сумку, прислонил ее к облупившейся стене сторожки и утер платком потный лоб.

— Никитин, да это вы! — вдруг сказал я.

— Как же! Я самый.

Встречался я с Никитиным, и не один раз, на Миримановском руднике, в одном из «балаганов», как здесь называют рабочие казармы. Зайдешь в праздник в балаган,— все пьяно, на нарах кипит игра в карты и орлянку, в воздухе одни только скверные слова и слышны; а Никитин молчаливо сидит за столом, склонясь худым лицом над какими-то чертежами; вокруг разложены краски, готовальня, линейки. Заговоришь с ним — он отвечает очень вежливо, но односложно и сдержанно. Первое время я принимал его за механика, но потом узнал, что он простой шахтер.

Никитин присел на свою сумку и закурил папиросу.

— Вы куда же это направляетесь? — спросил я.

— На Карачевские рудники иду. Взял расчет у Мириманова.

— Что так? Порядки тамошние не нравятся?

— Нет, что же? Где ни работай, все одно... Дело у меня есть в Карачевских рудниках.

— Дело?

— Да... Кое-что надобно там поразведать, посмотреть...

— То есть что же именно?

Никитин уклончиво ответил:

— Так... Свои различные дела.

Уж и раньше несколько раз наши разговоры с ним кончались таким образом. При прежних встречах мне иногда казалось, что Никитину хочется поговорить со мною, а заговоришь — он вспыхнет и отвечает односложно и уклончи-

во. Но теперь, по-видимому, Никитин решился побороть свою застенчивость. Он покраснел, поправил под собою сумку и оглядел меня быстрым, испытующим взглядом.

— Позвольте вас спросить, я уже давно все собираюсь, хорошо вот, что встретился,— заговорил он, улыбнувшись своею нескладною улыбкою, причем лицо его покрылось странными морщинками.— Что это, дорого стоит какие-нибудь изображения отпечатать, вот как иконы для продажи печатают, азбуки, царские портреты.

— То есть картины, значит?

— То есть, значит... Планты! — запнувшись, ответил Никитин.

— Планы!.. Видите ли, хорошо я с этим делом не знаком, но, кажется, это будет стоить не одну сотню рублей.

Никитин молчал, видимо, пораженный.

— Почему же царский портрет за двугривенный можно купить? — спросил он.

Я стал объяснять. Никитин слушал, задумчиво теребя редкую бороду.

— Почему это вас так интересует? — спросил я.

Никитин встрепенулся, еще раз быстро оглядел меня, откашлялся и начал поспешно развязывать сумку.

— А вот позвольте вас спросить, может, вы мне объясните,— сказал он и вытащил из сумки небольшую иллюстрированную азбучку.— Извольте смотреть! Все у нас в России пропечатано: гуси... девочки вот... коровы... солдаты... хомуты... Почему нету плантов?

— Каких плантов?

— А рудников!

— Для чего же их печатать?

Никитин удивился.

— Для чего? Для нравоучения!

Мы молча уставились друг на друга.

— Я вас не понимаю. Какое же в планах нравоучение?

— В них большое нравоучение состоит!.. Вы вот в рудник спускались, видали все; есть там вентиляция, позвольте вас спросить?

— Есть.

— Есть?.. Там вентиляция такая, что есть ли она, нет ли,— все одно. Только для виду печи стоят. Почему это, позвольте спросить, если на поверхности работать, то работай сколько хочешь, и ничего тебе не будет, а в шахте час посидишь — и начнешь черной харковиной плевать? Тут

причина вот какая: току воздуха дается неправильное направление, поэтому газам некуда уходить, они идут в середину к человеку. Я вам сейчас все это объясню.

Никитин достал из сумки толстый сверток и развязал его. В нем оказалось около десятка больших, довольно неумело начерченных и раскрашенных планов. Развертывая передо мною один план за другим, Никитин стал объяснять мне, в чем заключаются недостатки вентиляции в шахтах. Я незнаком с вопросом о рудничной вентиляции, но чувствовалось мне, что критика Никитина представляет собою что-то крайне нелепое. Впоследствии я рассказывал о своем разговоре с ним нескольким инженерам, и все они нашли, что указания Никитина в корне игнорировали самые элементарные правила горного искусства.

— Вот в чем все дело! — закончил Никитин свои объяснения.— Это все на плантах видно, всякий сразу бы понял, кабы пропечатать... Азбуки вот у нас печатают, ситцы печатают,— отчего же не печатают плантов?.. Двенадцать часов народ в шахте сидит, а дышать ему нечем. Воротится шахтер домой и помрет. Вы взрежьте его, посмотрите,— у него все кишки пропитались газом... Вот отчего нашего народу российского так много помирает!

— До-овольно его, хватит! — с усмешкою произнес Михайло.— Хлеба нет, есть нечего... Погляди, наделы-то какие стали: курице ступить некуда.

— «Хватит»!.. А вот помрешь,— дети останутся,— сдержанно возразил Никитин.

— Э, живы будут — и сыты будут,— сказал Михайло, махнув рукою.— Вырастут, сами работа́ть станут.

— Вы и в Карачевские рудники для того поступаете, чтоб план снять? — спросил я Никитина.

— Для этого самого. Я уже расспрашивал ребят: много непорядков там! Дождутся взрыва, как Иловайские! Слыхали, в Иловайском руднике зимою взрыв был? Двенадцать человек побило газом! Это что же такое? Должны бы они смотреть или нет? Навесть хотели,— и навели, и сделали дело... *Двенадцать человек* погубили!.. А все оттого, что вентиляции нет.

— Разве от этого? А я слышал,— оттого, что работы производились без предохранительных ламп.

— Нет, тут дело не в лампах! Лампы что́!.. Тут штука вот какая: вентиляции настоящей не было. Я вам сейчас все это правильно докажу.

Никитин порылся в свертке, достал план рудника Иловайских.

— Извольте смотреть: вот она нижняя продольная идет, вот она — верхняя. По *мбштабу* в каждой пятьдесят сажен длины. По ним какой ветер должен бы ходить? Чтоб шапки срывал! А у них народ задыхается. Почему тут просека нет, позвольте спросить? От бремсберга должен во всю длину просек идти к вентиляционной печи,— где он? — Никитин спрашивал отрывисто и строго, словно обращался к невидимому подсудимому.— Почему воздушная шахта в стороне поставлена? Я им все это в подробности объяснил, письмо послал. Неделю жду, другую,— не шлют ответа. Пошел сам... «Получили письмо?» —При этом Никитин грозно нахмурил брови; затем откинул голову и, прищурив левый глаз, протянул медленно и высокомерно:— «По-лу-чи-ли, но нам нет надобности давать вам ответ». «Поч-чему нет надобности?!» «Потому что это дело до вас не касается».

Никитин замолчал и выжидательно взглянул на меня своими странно блестевшими глазами.

— Позвольте спросить: как это, принадлежно к их званию?

Я с сожалением пожал плечами.

— Разумеется, этого и следовало ожидать. С какой стати они вам будут давать ответ?

— Небось, как планты пропечатают, так придется ответ дать.

— Да и тогда вряд ли придется.

Я стал доказывать Никитину совершенную бесцельность и ненужность его предприятия; планов его никто и покупать-то не станет, если же купит, то все равно ничего не поймет; о тяжелом положении шахтеров уже много писалось в газетах, а дело все идет по-прежнему: изданием планов тут мало поможешь... Михайло сочувственно поддакивал. Никитин оживился; на самолюбивом лице выступили красные пятна, глаза враждебно заблестели.

— Как это вы можете говорить, что ничего понять нельзя? — возражал он.— Тут всякий может понимать! Извольте смотреть.

И он разворачивал передо мною один план за другим и взволнованно водил пальцем по желтым, красным и серым квадратикам, по непонятным для меня надписям: «квершлаг», «бремсберг», «капитальный просек» и т. п.

Для Никитина эти планы, в которые он вложил столько любви и труда, видимо, дышали жизнью; ему казалось, достаточно любому взглянуть на них, чтоб сразу получить яркое представление о тяжелой судьбе шахтера. Я видел, разубеждать Никитина было бесполезно: слишком уж он сжился с своим делом, чтоб так легко отказаться от него.

— Ну, во всяком случае, дай вам бог удачи! — сказал я.— Если обратят внимание на ваши планы, то вы сделаете хорошее дело... Вы что же, сами собираетесь издать их?

— Обязательно! — неумолимо ответил Никитин, словно я просил его пощадить тех, для кого он готовил удар изданием своих планов.— Разве все эти безобразия возможно дозволять? Не-ет!..

Он быстро свернул планы и молча, не глядя на меня, стал укладывать их в сумку; увязал сумку, надел на плечи.

Я спросил:

— Что это, вы уж идти собираетесь? Ведь жарко еще. Посидели бы, переждали, пока жар спадет.

— Время идти: и так дай бог к ночи поспеть... Просим прощения.

Никитин угрюмо приподнял фуражку, поправил ремни на плечах и пошел к рудникам.

— Тоже — планты печатать собрался!.. Землемер!..— Михайло иронически глядел ему вслед.— Вот как наладит его хозяин по шеям, чтоб не в свое дело не совался, так забудет о плантах думать!

Он выбил о порог выгоревшую трубку, стал набивать ее табаком. Никитин, миновав соломенный навес крестьянской шахты, быстро и нервно шагал по пыльной дороге.

— Прошибешь их плантами! Вон у нашего хозяина,— поди-ка погляди, в каких конурах народ живет! Собаку в такую землянку загнать совестно, а у него в каждой по два семейства да по два нахлебника живет. Зайдешь в землянку осенью,— грязь, слякоть, хлев настоящий, народу — что снопов в скирде... А на Солодиловке вон огромадные здания пустые стоят, ч-черт их душит!..

И опять полился поток суровых обличений. И вдруг я опять почувствовал, как кругом жарко, душно и тоскливо... Солнце жгло без пощады и отдыха; нечем было дышать, воздух был горячий и влажный, как в бане; ласточки низко носились над степью, задевая крыльями желтую траву. Никитин уж исчез из виду. Вдали, на дороге, длинною полосою золотилась пыль, в пыли двигался обоз с углем. Во-

лы ступали, усгало помахивая светло-серыми головами, хохлы-погонщики, понурившись, шли рядом. Все изнемогало от жары...

А Михайло, попыхивая трубкою, неутомимо рассказывал о бесчисленных злоупотреблениях здешних углепромышленников,— и роптал, роптал без конца...

Кругом стало темней. По степи пошла тень. Воцарилась странная тишина.

Михайло прислушался и сказал:

— Никак, гроза идет.

Я вышел в степь. С запада медленно, словно подкрадываясь, ползли по небу тяжелые грязно-желтые и лиловые тучи; чуть слышно погромыхивал гром. Все вокруг примолкло, ветер упал. А далеко на западе, по дороге, вился и клубился огромный столб золотистой пыли; на глаз этот столб двигался медленно, но чувствовалось, что он мчится с страшною быстротою. Вот он захватил и окутал могилу у перекрестка... Вдруг кругом все завыло и засвистело. От крестьянской шахты взвилась туча черной пыли и смешалась с набежавшим золотистым вихрем. Трудно было стоять на ногах, пыль залепляла глаза, набивалась в рот. Громадные клубы ее, словно спеша куда-то, неслись между шахтой и сторожкой, перебегая наискось рельсы, и исчезали за балкой. Сквозь пыль едва видны были на дороге тени обоза; хохлы стояли на фурах и, согнувшись, поспешно надевали развевавшиеся по ветру свиты; волы склонили свои красивые рогатые головы навстречу вихрю. Вдруг резко блеснула молния, по небу, с запада на восток, с оглушительным, прерывистым треском пронесся гром, повернул обратно и с глухим грохотом скатился за шахту. Хлынул дождь...

Дождь хлынул крупный, частый; он с силою забил по земле, заволакивая ее мелкою водяною пылью. Даль замутилась, все небо стало ровного серого цвета, и только на юге шевелились и быстро таяли мутные клочья туч. Свежий ветер мчался по степи, в брызги разбивал сплошные струи дождя, и казалось, какие-то туманные тени несутся под дождем в сырую даль. Молнии то и дело сверкали малиновым светом, гром весело катался по небу из конца в конец. Перед сторожкою образовалась большая лужа; она росла, вздувалась и, обогнув полынные кусты,

медленно поползла по дороге, оставляя за собою грязный, пенистый след.

Мы с Михайлой сидели в сенцах сторожки,— он на бочонке из-под кваса, я на скамейке. В дверь тянуло бодрящею, влажною прохладою; грудь жадно дышала. Михайло оживился: его суровое, всегда нахмуренное лицо смотрело теперь мягко и радостно.

— Вот так дождичка бог послал! Гляди-ка, как теперь яровые подымутся!.. Гляди-ка, как пшеница зацветет!..

Я слушал с невольною улыбкою, и в то же время сжималось сердце от жалости к Михайле; он сиял таким довольством, таким торжеством, как будто и ему самому дождь сулил невесть какие выгоды; но я прекрасно знал, что ничего здесь у Михайлы нет, кроме тянущейся перед нами ржавой, гнилой дороги, заросшей негодным бурьяном.

На тропинке показалась женщина в выцветшем голубом платочке, с котомкою за плечами. Она бежала, согнувшись и опустив голову, обливаемая дождем; ветер трепал мокрую юбку, липнувшую к ногам. Путница через лужи добежала до нашей сторожки и, охая, вошла в сенцы

— О господи-батюшка!.. Вот дождик-то полил! — проговорила она, тяжело дыша.— Уж и не чаяла добежать... Здравствуйте, господа честные!

— Эк тебя промочило! — соболезнующе воскликнул Михайло.

— Да уж бежала, бежала... Вижу, тучки идут, а укрыться некуда. Спасибо, хатка ваша по дороге встрелась.

Она спустила с плеч котомку, поставила в угол и положила на нее свою белую камышовую трость с жестяным набалдашником; потом подошла к двери и стала выжимать мокрый, отрепанный подол юбки. Лицо у путницы было худое, почти черное от загара, и на нем странно белели белки глаз.

— Льет, льет дождик — не судом божиим!..— усталым голосом произнесла она и села на опрокинутый дощатый ящик.— Дорога-то эта на Таганрог идет ай нет?

— На какой Таганрог! На Солодиловку дорога идет.

Путница огорченно покачала головою.

— То-то я все смотрю: что это, словно... А мне в Ясиноватой сказали,— на Таганрог.

— Тут дальше Солодиловки-то и дороги нету... Как же это ты так? Спросила бы толком, поразведала.

— Так видишь ты, спрашивала я; сказали,— сюда идти.

— На Костантиновку надобно было тебе идти, вот куда.

— То-то на Костентиновку, значит! А мне говорят,— сюда.

— Зачем сюда? Нет... На Таганрог здесь не пройти. Надобно было тебе толком спросить,— всякий бы показал. Тут и малый ребенок не скажет плохо. Придется назад ворочаться тебе.

Путница вздохнула.

— Задаром сколько верст прошла! И так уж идешь-идешь, не знаешь, когда конец будет. Ноги опухли, язвы по ним пошли...

— А издалека идешь?

— Из Иерусалима.

— На богомолье ходила?

— На богомолье.

— В пути-то вам долгонько пришлось побыть! — сказал я.

— Да вот от Одессы никак седьмые сутки иду. Еще спасибо кондуктору, подвез на машине,— рубль и два двугривенных взял... Тяжело теперь идти. Вышли мы осенью, тогда хорошо было, дожди шли. А теперь земля твердая,— сил нет, жарко... А все-таки лучше, чем по морю,— прибавила она, помолчав.— Вот где мук-то натерпелись! Качает пароход, народу много, скот тут же; все на одну сторону сбиваются. Рвет всех, духота... Вспомнишь— тяжко становится!

— А в Иерусалиме жарко было?

— Жарко... Мы там больше от воды пропадали. Воды мало там; и холодную и горячую турки продают за деньги. Вода тяжелая, вредная. Много там с нее нашего народу померло.

— Там что же, турки всё? — с любопытством спросил Михайло.

— Больше турки. Сурьезный народ, всё знай молчат. Ходят они бо́сые; какие ни будь острые камни, никогда не обуются. Скажи им: «хорошо — нет!» — это им приятно.

— Ишь! Любят! — засмеялся Михайло.

— Да...— улыбнулась богомолка. — Греки тоже есть... Они нашей веры, а только ничего не поймешь, что́ они,

прости господи, лопочут: «ерасиха! ерасиха! ерасиха! Ерань! ерань!» А то еще: «берша! берша!» И патриарх-батюшка то же самое, по-грецки. Погодите, вот я вам его сейчас в панораме покажу.

Она развязала котомку, достала плохонький стереоскоп и пачку фотографий. Мы перешли к порогу, ближе к свету. Теперь дождь моросил лениво и скупо, тучи уходили на восток, и перекаты грома доносились издалека.

Богомолка вынула из пачки двойную стереоскопическую фотографию иерусалимского патриарха.

— Вот он патриарх-батюшка... В панораме они двое в одно пойдут. Дай-ка, я его вставлю. Шибко хорошо в панораме выходит! К свету только ладьте.

Стекла в стереоскопе были пузырчатые и мутные, видно в них было плохо. Богомолка стала нам показывать другие фотографии с видами святых мест. Мы смотрели в стереоскоп, а богомолка давала объяснения:

— Дуб мамврийский — он в панораме большой оказывается... А это будет град Вифлеем, где Христос родился... Гроб господень изнутри... В этом самом гробе в Христову пятницу благодатный огонь с неба сходит.

— Мне приходилось об этом слышать, что огонь сходит. Скажите, вы сами не видели этого? — спросил я.

— Как же не видела?.. Вот придет Христова пятница, народу сойдется видимо-невидимо. Приедет патриарх,— видали его в панораме?.. Турки его сейчас разденут до рубашки, осмотрят всего, обыщут, нет ли где спичек, и запирают в гроб господень. Он стоит там, молится, а мы ждем, не шелохнемся. Вдруг в дырочку ударяет с неба молонья. Турки отпирают гроб,— патриарх выходит, а в руке у него свеча горит. Тут у всех такой восторг подымается! Ревут, ревут, как ребятишки малые... Особенно арапы, нашей веры,— таких много; так те смотрят, друг дружке на плечи позабираются... Колоколов там мало, и они в церкви самой висят; тоже в доски такие бьют. Так вот, как выйдет патриарх со свечой, сейчас — в палки, в доски, в музыки эти!.. Арапы пляшут, в ладоши щелкают... Все зажигают себе свечи,— по тридцать три свечки у каждого вокруг руки навязаны,— и начинается служение... И ведь какой, парни, огонь-то! Вот так водишь свечой (рассказчица быстро развязала узел головного платка и подняла загорелый подбородок, резко отделявшийся от белой шеи), водишь, водишь, кажись, все спалило бы; а ничего не жжет!

— Не жжет?! — с одушевлением спросил Михайло.

— Ни капельки!.. Другой арап в безумие придет,— огнем этим в живот себя тыкает, в лицо,— и ничего... От всяких болезней этот огонь помогает.

На дворе начинало темнеть. Дождь прекратился, но небо было покрыто окладными тучами; с крыши капало. Кругом трещали сверчки, в соседней балке слабо и неуверенно щелкала камышовка, неумело подражая соловью.

— Однажды не захотели, чтоб православным огонь достался,— продолжала богомолка, помолчав.— Сговорились все: не пускать! Вот стали они в церкви, заперлись все: турки, католики, армяне и четвертые... То ли скопцы, то ли я уж не знаю кто. Кажется, словно... Кооп... Нет, уж не знаю, не могу назвать.

— Копты?

— Да, да, копты! Стоят... А русские возле церкви. Вдруг с неба молонья, все свечи у русских зажгла. А те стояли-стояли, не дождались ничего. Выходят, а у русских свечи горят. С той поры стали пускать.

— Пустишь, брат, как без русских ничего не сможешь сделать! — негодующе сказал Михайло.— Они тоже рады православного человека обидеть! Вон земляк у нас с войны воротился, сказывал; что́ они там делали, турки эти,— не накажи, господи! Православных христиан, что баранов, свежевали; кишки им выпускали, на огне жарили!

Богомолка задумчиво выслушала Михайлу, видимо, носясь мыслью далеко.

— Уж чего-чего там не насмотришься! — снова заговорила она.— Ей-богу, смотришь — и сама не знаешь, что это с тобою: и у́жасно как-то и весело... Золотые ворота там есть, теперь их турки камнями заклали; в эти ворота Христос въезжал на осле. Евреи ему стлали по дороге бархаты-шелки, а он говорит: «Не поеду по бархатам-шелкам, поеду по вербам, что́ мне дети настлали». Евреи смотрят,— «зачем, говорят, он по вербам едет,— царь, что ли?..» Хотели детей поразгонять... Только Христос им этого не дозволил, говорит: «Не препятствуйте им! Если, говорит, воспрепятствуете, то *аще камни возопие!..*» И что же, миленькие вы мои? Так до сего времени все те камушки, разинувши рты, и лежат!..

Богомолка долго еще рассказывала. Много было странного и наивного, но она относилась ко всему с таким глубоким благоговением, что улыбка не шла на ум. Лицо ее

смотрело серьезно и успокоенно, как бывает у очень верующих людей после причастия. Видимо, из своего долгого путешествия, полного тяжелых лишений, собеседница наша несла с собою в душе нечто новое, бесконечно для нее дорогое, что всю ее остальную жизнь заполнит теплом, счастьем и миром.

Я спросил ее:

— А довольны вы, что удалось вам побывать в святой земле?

— Как же нет? Ведь все там... всюду все осмотрела. На Страшный-то суд, небось, туда же потребуют, в те местности.

— Разве туда? — удивился Михайло.

— А как же?.. Из пропасти под Давидовым домом серный пламень забьет, по Асафатовой долине огненные реки потекут, трубы вострубят, мертвые воскреснут. Христос в Золотые ворота въедет и начнет судить.

Богомолка помолчала.

— Нам там говорил отец Парфентий один, святой жизни,— сказала она, понизив голос.— Богом взысканный... Мы у него на исповеди были. Строго исповедует! «Все, говорит, говори, не утаи чего перед господом богом...» Ну, все ему и рассказываешь. Выслушает, вздохнет. «Велики, говорит, грехи твои, поклонница божия!..» Ничего больше не скажет, уйдет в алтарь — и плачет, плачет, навзрыд рыдает; в грудь себя бье-ет!.. Так вот он нам говорил: «Рабы божие, поклонники и поклонницы! Жизнь наша недолга, концы к концам приходят!..»

— Видишь ты! — воскликнул Михайло и широко раскрыл глаза.

— Да-а... Недолго, значит, ждать будем. А там уж каждый давай ответ, как следует: как жил? благочестиво ли? Там уж все раскроется.

Все замолчали.

— Теперь говорим: «Трудно жить»... Трудно? А то ли еще тогда будет! — проговорила богомолка.

Михайло сокрушенно вздохнул.

Из-за туч выглянул месяц. Степь тонула в сумраке, только ковыль за дорогою белел одинокими махрами и тихо, как живой, шевелился. На горизонте дрожало зарево от доменных печей завода, с рудника доносился мерный стук подъемной машины.

1896

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА

Воронецкий сидел на скамейке в боковой аллее Александровского сада и читал «Новое время». Солнце сильно клонилось к западу, но в воздухе было знойно и душно; пыльные садовые деревья не шевелились ни листиком; от Невского тянуло противным запахом извести и масляной краски. Воронецкий опустил прочитанную газету на колени, взглянул на часы: было начало восьмого. К одиннадцати часам ему нужно было быть в Лесном; чем наполнить эти остающиеся три часа?

Из знакомых в Петербурге нет ни души,— все разъехались по дачам; к себе же домой Воронецкого не тянуло. Он хотя и любил свою изящно убранную, уютную холостую квартиру на Пушкинской, но просидеть в ней одному целых три часа, да еще вечером, было слишком скучно: что там делать? Правда, Воронецкий давно уже собирался познакомиться с философией и купил себе для этой цели «Историю новой философии» Фалькенберга, но дальше четвертой страницы введения никак не мог пойти; там была одна фраза, на которой его раза два отвлекли от чтения и с которой он каждый раз начинал читать снова; фраза эта очень надоела Воронецкому; прочтет ее,— и у него пропадает охота читать дальше. И он отложит Фалькенберга в сторону и возьмется за Мопассана или Армана Сильвестра... Скучны эти летние вечера в Петербурге!

Воронецкий лениво поднялся, вышел из сада. На углу Гороховой, в витрине, пестрели за проволочной сеткой разноцветные афиши летних садов и театров. Он подошел и стал читать. Ярко-зеленая афиша сообщала, что в саду «Амуровы стрелы» идет сегодня на открытой летней сцене

«Прекрасная Елена» («Большой успех! Популярная оперетта!»). В дивертисменте обещалось участие «знаменитой куплетистки г-жи Лины Гиммельблау — звезды Вены и Берлина» (неделю назад, как помнил Воронецкий, она титуловалась звездою одной лишь Вены). В конце стояло:

Ново!!! Оригинально!!!
В первый раз в мире!
Дебют каскадной певицы
г-жи Чернооковой.

Воронецкий усмехнулся, сел на извозчика и поехал в «Амуровы стрелы».

В Лесном, куда сегодня вечером собирался Воронецкий, жил на даче его университетский товарищ Можжелов, учитель математики, недавно переведенный из провинции в Петербург. Воронецкий искренне любил его, но не мог без иронической улыбки представить себе его фигуру с добродушною, обросшею волосами физиономией, конфузливым смехом и быстрою, запинающеюся речью. Можжелов остался совсем таким, каким был студентом: по-прежнему в каждом извозчике и дворнике видел «брата», по-прежнему горячо рассуждал о Спенсере и Марксе, Михайловском и Николае-оне. Как ему все это не надоело, и к чему они, эти рассуждения? Что для него, кроме чисто теоретического, совершенно бесплодного интереса, представляет вопрос о том, как развивается личность и в какой закоулок грозит завести нас нарождающийся капитализм? Жена Можжелова, Анна Сергеевна,— молоденькая провинциалка с прекрасными, задумчивыми глазами и немножко застенчивая — по-видимому, порядком таки скучала, слушая бесконечные речи мужа; и когда Воронецкий, остроумный и бывалый, начинал что-нибудь рассказывать или шутливо поддразнивать Анну Сергеевну, она, видимо, оживлялась.

Однажды Воронецкий, разговаривая с нею, поймал на себе ее долгий и пристальный, какой-то особенный взгляд, давно уже знакомый ему в женщинах; и у него вдруг явилось желание обладать Анной Сергеевной и в то же время пропало уважение к ней. Все дальнейшее было давно и хорошо известно Воронецкому: она будет бороться с собой, будет мучиться, придется понемногу брать с бою все, начиная с поцелуя. Два раза ему уже удалось поцеловать ее. Вчера Анна Сергеевна нечаянно проговорилась, что ходит по вечерам в парк, к пруду, слушать соловьев. Воронец-

кий объявил, что он тоже очень любит соловьев и завтра в одиннадцать часов вечера приедет в парк. Услышав это, Анна Сергеевна побледнела и опустила глаза.

— Ну, смотрите же, приходите и вы!— властно шепнул Воронецкий, прощаясь с нею. И он знал, что Анна Сергеевна придет.

Воронецкий подъехал к «Амуровым стрелам».

Когда он вошел в сад, первый акт уже начался. Калхас, плешивый и краснорожий, осматривал подношения богам и, разочарованно качая головою, говорил: «Слишком много цветов!..» Воронецкий пробрался к своему месту, отвечая высокомерным взглядом на недовольные ворчания потревоженных зрителей.

Действие тянулось вяло. Елена, хорошенькая, полная блондинка с подрисованными глазами, величественно закидывала голову и говорила неестественным театральным голосом; Парис, с неприятными, чувственными губами под светлыми усиками, то и дело растерянно поглядывал на публику. Остальные исполнители были не лучше. Сносен был только Менелай, полный, дряхлый старик, с чрезвычайно доброю улыбкою, шамкающим голосом и землистым лицом, в короне и зеленоватой тунике. Зрителей на сидячих местах было немного. К барьеру теснились безбилетные гуляющие. Воронецкому бросились в глаза два молодых парня в пиджаках и новых картузиках; они жадными и удивленными глазами следили за Еленой, машинально вытягивая головы каждый раз, когда при повороте сквозь боковой разрез туники мелькало ее розовое бедро.

Калхас объявил, что боги повелевают Менелаю ехать в Крит; на Менелая надели смешной капюшон, дали ему в руки разноцветный зонтик, чемодан, и Менелай стал прощаться. Первое действие кончилось.

Воронецкий, недовольно кусая усы, вышел в сад; он любил оперетку, потому что она приятно щекочет нервы, потому что она создает вокруг атмосферу чего-то остроумного и изящно-чувственного; здесь же актрисы были глупы, статистки, с унылыми и некрасивыми лицами, не пикантны.

Воронецкий сел к столику и спросил глинтвейну. Военный оркестр играл «Тореадора и андалузку», кастаньеты щелкали. Немногочисленные посетители вяло бродили по дорожкам. Прошел высокий, изящно одетый молодой человек, ведя под руку стройную даму с напудренным лицом;

важно прошли два парня, которых Воронецкий видел у барьера,— прошли, ступая носками внутрь и чинно опираясь на зонтики; у парней были здоровые и наивные деревенские лица; в Воронецком шевельнулось глухое раздражение, когда он вспомнил тот животный, плотоядный взгляд, каким они смотрели на сцену. Он нахмурился и, прихлебывая горячий глинтвейн, стал просматривать программу.

Раздался звонок, призывавший к сцене. Воронецкий занял свое место. Занавес поднялся, по сцене снова заходили актеры и актрисы, жестикулируя и неестественно разговаривая. Елена, в светло-голубой шелковой тунике, вышла на авансцену и запела:

Все говорят...

Пела она значительно лучше, чем играла. Глаза ее вызывающе блестели, вся она вдруг задышала чем-то порочным и увлекательным; изогнувшись красивым, полунагим телом, щурясь и лукаво улыбаясь, она пела:

Вот, например, с моей мамашей:
Когда к ней лебедь подплывал,
Который был моим папашей,—
Кто б устоял?
Кто б устоял?

И, невинно подняв брови, Елена беспомощно разводила руками...

Воронецким стало овладевать настроение, которое он так любил: голова слегка кружилась от выпитого глинтвейна, женщины облеклись ореолом изящной и поэтической, зовущей к себе красоты... И перед ним встал темный парк в Лесном, с соловьями, заливающимися над прудом, и замирающей от волнения Анной Сергеевной, ждущей его у мостика. Теперь плохая игра перестала раздражать Воронецкого: он улыбался, глядя, как Парис в дуэте с Еленой, страстно обнимая ее, сам косил глаза, внимательно и робко следя за дирижерскою палочкой, как он начал понемногу увлекать Елену к кушетке, причем оба они то и дело осторожно оглядывались, чтобы не споткнуться. Наконец Елена благополучно упала на кушетку, и Парис, став на колено, припал к Елене долгим поцелуем.

Дверь открылась — и вошел Менелай, с зонтиком и чемоданом, улыбаясь своею доброю старческою улыбкою. Воронецкого странно поразила эта улыбка, вовсе не шедшая к оперетке. Менелай увидел жену в объятиях Париса.

Он отступил, с ужасом вытаращил глаза, весь дрожа, и вдруг глухим, дряхлым голосом, широко открывая беззубый рот, закричал:

— Кар-раул!!.

Два парня, стоявшие у барьера недалеко от Воронецкого, засмеялись. Парис и Елена вскочили на ноги. Парис бросился к Менелаю и стал убеждать его не кричать. А Менелай, задыхаясь, метался по сцене, бессмысленными, страдающими глазами глядел на уговаривавшего его Париса и продолжал кричать «караул!..» Такой игры Воронецкий никогда не видел в «Елене», и Менелай не был смешон...

Толпою вошли греческие цари.

— Где моя честь? — проговорил Менелай, растерянно оглядываясь.

— Где твоя честь? — хором запели цари, театрально подняв вверх правые руки.

— Где моя... ч-честь? — повторил Менелай, губы его запрыгали, и он заплакал, жалко скосив лицо,— заплакал дряхлым, бессильным плачем.

Это было удивительно. В убогом садике, на убогой сцене, никому не ведомый актер вдруг перевернул все, и там, где по ходу действия и по замыслу композитора нужно было смеяться над рогоносцем, хотелось плакать над несчастным старым человеком с разбитой верой в женщину и в правду...

Занавес опустился, толпа сквозь узкие проходы повалила в сад. Воронецкий медленно прошел аллею. Сел на чугунную скамейку, закурил папиросу. На душе было тяжело и неприятно; он курил и наблюдал гуляющих, стараясь не замечать овладевшего им неприятного чувства. В будке военный оркестр играл попурри из «Фауста». Корнет-а-пистон вел арию Валентина, и в вечернем воздухе мелодия звучала грустно и задушевно:

Бог всесильный, бог любви,
О, услышь мою мольбу:
Я за сестру тебя молю,
Сжалься, сжалься ты над ней!..

Над головою тихо шумели деревья, заря гасла, небо было чистое, нежное. В густой зелени серебристых тополей заблестели электрические фонари. Воронецкий посмотрел на часы: половина одиннадцатого; пора было ехать в Лесной.

Он вышел из сада и взял извозчика на Выборгскую, к Лесной «конке».

Была белая ночь. Дворники, кутаясь в сермяжные халаты, дремали у ворот; улицы пустели; изредка проезжал извозчик, или, как тень, проносился велосипедист, давая на поворотах резкие, короткие звонки.

Воронецкий проехал узкую Казанскую, бессонный Невский, повернул на Литейный; под догоравшей зарей блеснула далекая гладь Невы. Буксирный пароход, мерцая зеленым фонарем, бесшумно поворачивал к берегу, оставляя за собою тускло сверкавшую струю. Воронецкий следил за ним угрюмым взглядом; приятное настроение его исчезло и не возвращалось; прелесть предстоящего свидания потускнела.

Извозчик выехал на Сампсониевский проспект. Паровая «конка» только что отошла; гремя и плавно колыхаясь, поезд быстро исчезал в сумраке белой ночи. Следующий поезд должен был идти через полчаса.

— Прибавили бы, барин, полтинничек,— свез бы вас в Лесной,— сказал извозчик.

Воронецкий некоторое время в колебании смотрел в даль Сампсониевского проспекта.

— Пошел на Пушкинскую! — вдруг отрывисто сказал он.

Извозчик повернул обратно.

Воронецкий ехал, прикусив губу и сдерживая презрительную усмешку; он сам себе был невыразимо смешон, что не поехал в Лесной.

1896

ЛИЗАР

Солнце садилось за бор. Тележка, звякая бубенчиками, медленно двигалась по глинистому гребню. Я сидел и сомнительно поглядывал на моего возницу. Направо, прямо из-под колес тележки, бежал вниз обрыв, а под ним весело струилась темноводая Шелонь; налево, также от самых колес, шел овраг, на дне его тянулась размытая весенними дождями глинистая дорога. Тележка переваливалась с боку на бок, наклонялась то над рекою, то над оврагом. В какую сторону предстояло нам свалиться?..

Мой возница Лизар — молчаливый, низенький старик — втягивал голову в плечи, дергал локтями и осторожно повторял: «Тпру!.. тпру!..»

— Как ты, дедка, не боишься? Ведь мы свалимся! — не выдержал я.

Я готовился услышать в ответ классическое «небось!». Но Лизар неожиданно ответил:

— Свалимся, барин,— Христос-правда, свалимся!.. Как же не бояться? Уж то-то боюсь!

— Так ты бы на дорогу съехал.

— На дорогу! Увязнешь на дороге, гораздо топко. Дожди-то какие лили! Погляди на Шелонь,— видишь, вздулась. Вода в ней свежая, чистая, что серебрина, а нынче вон как потемнела,— всю воду с болот взяла... «Не боюсь!» — повторил он, помолчав.— Уж так-то боюсь, ажно вспотел!

Он снял облезлую шапку и утер рукою лоб.

— А ты вот что, барин любимый! Слезай с тележки да вон до того яру через кустики и дойди. А я на дорогу спущусь, кругом объеду.

Я сошел с тележки. Лизар оживился, задергал вожжа-

ми и покатил по откосу в овраг. Бубенчики закатились испуганным прерывистым звоном; тележка прыгала по промоинам, Лизар прыгал на облучке и натягивал вожжи.

— Н-но, гамыры! — донеслось со дна оврага, словно из преисподней. Тележка, увязая в глине, потащилась в гору.

Я перебрался через овраг и пошел перелеском. По ту сторону Шелони, над бором, тянулись ярко-золотые тучки, и сам бор под ними казался мрачным и молчаливым. А кругом стоял тот смутный, непрерывный и веселый шум, которым днем и ночью полон воздух в начале лета.

Среди ореховых и ольховых кустов все пело, стрекотало, жужжало. В теплом воздухе стояли веселые рои комаров-толкачиков, майские жуки с серьезным видом кружились вокруг берез, птички проносились через поляны волнистым, порывистым летом. Вдали повсюду звучали девические песни,— была троица, по деревням водили хороводы.

Я остановился на опушке, около межи. Когда стоишь так один, не шевелясь, лицом к лицу с природой, то овладевает странное чувство: кажется, что она не замечает тебя, и ты, пользуясь этим, вот-вот сейчас увидишь и узнаешь какую-то самую ее сокровенную тайну. И тогда все окружающее кажется необычным и полным этой тайны. Под зеленевшими дубами земля была усыпана темно-бурыми прошлогодними листьями; каждый лист шуршал и шевелился, какая-то скрытая жизнь таилась под ними; что это там — лесные муравьи, прорастающая трава?.. И все кругом слабо шумело и шуршало, словно живое,— трава, цветы, кусты. Не замечая человека, все как будто ожило и зажило свободно, не скрываясь... Ветер мягко пронесся по матово-зеленой ржи и перебежал в осины. Осины зашептались, заволновались, с коротким шумом вздрагивая листьями; облако белых пушинок сорвалось с их сережек и, словно сговорившись с ветром, весело понеслось в темнеющую чащу.

Мне показалось, что справа кто-то смотрит. Я оглянулся. В десяти шагах сидели в траве два выскочившие из ржи зайца. Они сидели спокойно и с юмористическим любопытством глядели на меня. Как будто им было смешно, что и я надеюсь проникнуть в ту тайну, которую сами они и все кругом прекрасно знают. При моем движении зайцы переглянулись и не спеша, несколькими большими, мягкими прыжками, бесшумно отбежали к кустам ракитника; там они снова сели и, шевеля ушами, продолжали поглядывать на меня.

— О-го-го-го-го-ооо! — глухо донесся из-за ржи крик Лизара.

Я откликнулся. Зайцы снялись и стали удаляться неуклюже-легкими прыжками. Меж кустов долго еще мелькали их рыжие горбатые спины и длинные уши. Я вышел на дорогу.

Мы поехали дальше. Солнце село, из лощин потянуло влажным холодком.

— Хорошо бы теперь чайку попить,— сказал я.

— Ну что ж! Вот приедем в Якоревку, и попьешь чайку,— ответил Лизар.— Ты, значит, чайку попьешь, отдохнешь, я походом коней покормлю, а там с холодочком и поедем дальше.

— А далёко до Якоревки?

Лизар удивился.

— До Якоревки-то? Да вон она!

Над рожью серели соломенные крыши деревни. Лизар встрепенулся и сильнее задергал вожжами. Мы въехали в узкую, уже потемневшую улицу, заросшую ветлами. Избы, как вообще в этих краях, были очень высокие, с окнами венцов на пятнадцать — двадцать от земли.

Лизар подъехал к избе. Около нее на суке ивы висели веревочные качели. На высоком крылечке никого не было, в окнах было темно. Лизар остановил лошадей, задумчиво поглядел на качели и крикнул:

— Эй, кума Агафья! Нельзя ли на качелях позыбаться у тебя? Горазд качели хороши!

На крыльцо вышла баба, прямая и худая, с сухим, строгим лицом.

— Кого говоришь? — спросила она.

— Самоварчик барину надобен, проезжающему... Будь здорова!

Баба внимательно оглядела меня с ног до головы.

— Здравствуйте... Сейчас сами отпили, можно наставить,— медленно ответила она.— Дунька! — позвала она так, как будто Дунька стояла рядом с нею.— Подложи шишек в самовар!.. Сейчас готов будет тебе.

Из сеней выглянула девушка с широким лицом и бойкими глазами под черными бровями. Она с любопытством оглядела меня и исчезла.

Через десять минут на высоком крылечке кипел самовар. Я заварил чай.

Заря догорала. Легкие тучки освещались сверху стран-

ным полусветом надвигавшейся белой ночи. На улице, окутанной бледным сумраком, были жизнь и движение, с конца ее лилась хороводная песня. Громкие голоса, скрашенные расстоянием, звучали задумчиво и нежно:

Не на много времени жизнь давалася,
За единый час миновалася..

В барском саду заливался соловей, оттуда тянуло запахом сирени и росистой свежестью сада. Ночь томила, в душе поднимались смутные желания. Становилось хорошо и грустно.

Под крыльцом послышался шепот. Мужской голос спрашивал:

— Ты что ж гулять не приходишь?

— А тебе что? — лукаво ответил голос Дуньки, тоже вполголоса.

— Что, что! Все девки в хороводе, а тебя нету. На кой они мне?.. Кто это у вас?

— Барин проезжающий чай пьет. Самовар ему наставляла я.

— Самовар? — Мужской голос вдруг перервался.— Само...вар?

— Пошел ты, дьявол!

— Нишкни! Идут!

Голоса смолкли. Лизар, засыпавший лошадям овес, поднялся на крылечко. Я достал бутылку, налил водкою рюмку и чашку. Предложил чашку Лизару. Лизар задвигал плечами, маленькие глаза под нависшими бровями блеснули.

— Ну, почеремонимся! — стыдливо усмехнулся он, быстро стащил с головы шапку и принял чашку.— Здравствуй!

Мы выпили, закусили. Стали пить чай. Лизар держал в корявых руках блюдечко и, хмурясь, дул в него. Хозяйка снова появилась на пороге, прямая и неподвижная. За ее юбку держались два мальчугана. Засунув пальцы в рот, они исподлобья внимательно смотрели на нас. Из оконца подызбицы тянуло запахом прелого картофеля.

Хозяйка тихо спросила:

— Разродилась сноха твоя?

— Разродилась, матушка, разродилась,— поспешно ответил Лизар.

— Мертвого выкинула?

— Зачем мертвого? Живого.

— Живого?.. А у нас тут баяли, мертвого выбросит.

Старуха Пафнутова гомонила,— горазд тяжко рожает, не разродится.

— С чего не разродиться? За дохтуром спосылали!— Лизар улыбнулся длинной, насмешливой улыбкой.— Приехал, клещами ребеночка вытащил,— живого, вот и гляди.

Хозяйка покачала головой.

— Клещами!

— Делают не знамо что! — вздохнул Лизар.

— Как не знамо что? — возразил я.— Живого ведь вытащили, чего же тебе? А не помог бы доктор, ребенок бы умер.

— «Живого», «живого»,— повторил Лизар и замолчал.— Так они нам ни к чему, ребята-то, ни к чему!.. Довольно, значит! Будет! И так полна изба. Чего ж балуются, дохтура беспокоят? Сами хлеб жевали-жевали, а дохтор приезжай к ним — глота-ать!.. Избаловался ныне народ, вот что! С негой стали жить, с заботой, о боге не мыслят. Вон бобушки[1] по деревням ходят, ребят клюют; сейчас приедет фершалиха, начнет ребят колоть; всех переколет, ни одного не оставит. Заболел кто,— сейчас к дохтору едет... Прежде не так было...

Лизар вздохнул.

— Прежде, барин мой жадобный, лучше было. Жили смирно, бога помнили, а господь-батюшка заботился о людях, назначал всему меру. Мера была, порядок! Война объявится, а либо голод,— и почистит народ, глядишь — жить слободнее стало; бобушки придут,— что народу поклюют! Знай домовины готовь! Сокращал господь человека, жалел народ. А таперичка нету этого. Ни войны не слыхать, везде тихо, фершалих наставили. Вот и тужит народ землею. Что сталось-то, и не гляди! Выедешь с сохою на нивку, а что орать, не знаешь! Сосед кричит: «Эй, дядя Лизар, мою полоску зацепил!» Повернулся — с другого боку: «Мою-то зачем трогаешь?» Во-от какое стеснение!.. Скажем, куму взять.— Лизар кивнул на хозяйку.— Пять сынов у них, видишь! Ребята всё малые, что паучки, а вырастут,—всех нужно произвести к делу... К делу нужно произвести! А земли на одну душу. Вот и считай тым разом,— много ли на каждого придется?

— Да так сказать, ничего и не придется,— поучающе сказала хозяйка.

[1] Бобушками в Псковской губернии называют оспу. *(Прим. В. Вересаева.)*

Лизар развел руками.

— Ничего! На кой же они нужны! На сторону нам ходить некуда, заработки плохие!.. Ложись да помирай... По нашему делу, барин мой любимый, столько ребят не надобно. Если чей бог хороший, то прибирает к себе,— значит, сокращает семейство. Слыхал, как говорится? Дай, господи, скотинку с приплодцем, а деток с приморцем. Вот как говорится у нас!

Хозяйка сочувственно слушала Лизара и ласково гладила по волосам жавшихся к ней ребят.

— Губят нас, можно сказать, пустячные дела,—продолжал захмелевший Лизар.— Бессмертная сила народу набилась, а сунуться некуда, концов-выходов нету. А каждый на то не смотрит, старается со своей бабой... Э-эх! Не глядели бы мои глаза, что делается!.. Уж наказываешь сынам своим: быдьте, ребятушки, посмирнее,— сами видите, дело наше маленькое, пустячное. И понимают, а глядишь,— то одна сноха неладивши породит, то другая...

— И то сказать: не из соломы сплетены,— вздохнула хозяйка.

— Тяжкое дело, тяжкое дело! — в раздумье произнес Лизар.— А только я так домекаюсь, что бабам бы тут порадеть нужно, вот кому. Сходи к дохтору, поклонись в ножки,— они учены, знают дело. Поклонишься — дадут тебе капель. Ведь за это не то что яичек,— гуся не пожалеешь. Как скажешь, есть такие капли? —спросил Лизар, значительно и испытующе поглядев на меня.

Он говорил долго. А вдали звучали песни, и природа изнывала от избытка жизни. И казалось,— вот стоят два разлагающихся трупа и говорят холодные, дышащие могильной плесенью речи. Я встал.

— Пора ехать!

— И то пора!

Лизар суетливо поднялся и пошел к лошадям.

Заря совсем погасла, когда мы двинулись. Была белая ночь, облачная и тихая. У околицы еще шел хоровод, но он уж сильно поредел и с каждой минутой таял все больше. А в бледном полумраке,— на гумнах, за плетнями, под ракитами,— везде слышался мужской шепот, сдержанный девичий смех.

Из проулка навстречу нам вышла парочка. Молодцеватый парень с русой бородкой и девушка в красном платочке медленно переходили дорогу, тесно прижавшись друг к

другу. С широкого, миловидного лица девушки без испуга глянули на меня глаза из-под черных бровей. Кажется, это была Дунька.

За околицей нас снова охватил стоявший повсюду смутный, непрерывный шум весенней жизни. Была уж поздняя ночь, а все кругом жило, пело и любило. Пахло зацветающей рожью. В прозрачно-сумрачном воздухе, колыхаясь и обгоняя друг друга, неслись вдали белые пушинки ив и осин,— неслись, неслись без конца, словно желая заполнить своими семенами весь мир.

Отдохнувшие лошади бойко бежали по дороге. Светло-желтый песок весело шуршал под колесами. Водка испарилась из головы Лизара, он снова примолк. Я со странным чувством, как на что-то чужое тут и непонятное, смотрел на него... Мы спустились в лощину.

— Тпру!.. Тпру!..— вдруг испуганно произнес Лизар. Он остановил у мостика лошадей, соскочил и стал торопливо привязывать сорвавшуюся постромку. Шум тележки смолк.

Тогда меня еще сильнее охватила эта через край бившая кругом жизнь. Отовсюду плыла такая масса звуков, что, казалось, им было тесно в воздухе. В лесу гулко, перебивая друг друга, заливались соловьи, вверху лощины задумчиво трещал коростель; кругом во влажной осоке обрывисто и загадочно стонали жабы, квакали лягушки, из-под земли бойко неслось слабое и мелодическое «турррррр»... Все жило вольно и без удержу, с непоколебимым сознанием законности и правоты своего существования. Хороша жизнь! Жить, жить,— жить широкой, полной жизнью, не бояться ее, не ломать и не отрицать себя,— в этом была та великая тайна, которую так радостно и властно раскрывала природа.

И среди этого таинства неудержимо рвущейся вширь жизни — он, сжавшийся в себе, с упорными думами о собственном сокращении!.. Царь жизни!

1899

В СУХОМ ТУМАНЕ

Товаро-пассажирский поезд медленно полз по направлению к Москве. Вечерело, было очень жарко и душно. В вагоне нашем царствовала сонная скука и молчаливость; пассажиры — все больше из «серой» публики — спали на скамейках и на пыльном, заплеванном полу, либо вяло разговаривали, куря махорку. Сидевший против меня меднолитейщик из Москвы молча крутил черную бородку и сумрачно смотрел в окно. Он ездил на побывку к себе в деревню и теперь возвращался в Москву; в деревне ли у него было что-нибудь неладно, по характеру ли он был такой, или действовала на него погода,— но все время он смотрел сурово и обиженно, как будто все мы очень досадили ему чем-то.

Погода была странная. Сероватая муть покрывала небо, солнце светилось сквозь нее бледным пятном; неясный горизонт терялся в густой серо-лиловой мгле, и трудно было понять, что это там — тучи, дым или что другое. Проносившиеся мимо поля, рощи, деревни — все было окутано синеватою дымкой, словно туманом; но какой туман мог держаться в этом сухом, раскаленном воздухе, в котором почти мгновенно таял валивший из трубы пар? Ни одна травинка не шевелилась. над полями стояла странная тишина.

Что-то непонятное, загадочное было во всей природе, это томило и раздражало.

— Вот погода удивительная! — сказал я.— Должно быть, где-нибудь леса горят.

— Это не леса горят,— возразил плотный, приземистый плотник-рязанец.— Это сухой туман.

— Какой сухой туман?

— К жаре. Жара, значит, туманною мглою идет по земле; где пройдет, все посушит на отделку.

— У нас под Чернью три года назад такой туман на поля пал,— заговорил бледный старик с болезненным лицом, в рваном, заплатанном зипуне.— В один день весь хлеб посох. Сыпется зерно, вязать начнет баба,— свясла в труху рассыпаются; такая спешка пошла,— косцу по три с полтиной в день платили, только коси поскорей!

— Что же такое туман этот? Пыль, что ли?

— Зачем пыль? Нет. Просто сказать — сухой туман! — объяснил плотник.

— Значит, жара самая и есть, сушь! — прибавил старик.

Конечно, пылью это быть не могло. Но что же это?.. И начинало казаться, что это действительно зной принял доступный глазу вид и зловещим синим туманом стоит над сохнущими полями, высасывая из них последние остатки влаги.

Старик вздохнул.

— Подержится так еще денек-другой — посохнет колос! Думали, передохнем годок этот: больно по весне корешок хорош был; ан господь-батюшка опять прогневался, немилость свою посылает... А уж то-то народ отощал! — сказал он, помолчав.

— Отощал,— подтвердил плотник.

— И-и-и! Не роди мать на свет! Живут неведомо как! Как только зиму продержались! А про скотину и не говори. Солома у нас по весне *тридцать копеек пуд была!* Я уж сколько живу, а таких цен не видывал...

Он еще раз вздохнул, почесал себе под зипуном плечо и неподвижно стал смотреть в окно — на это странное, мутное и в то же время безоблачное небо. Поезд пошел тише. Мимо промелькнули три расцепленных товарных вагона, стрелочник, водокачка. Поезд подошел к станции, дрогнув, остановился и замер, словно мгновенно погрузился в сон.

И все кругом словно спало. Теперь, когда поезд не шумел, была еще поразительнее мертвая тишина, царившая над землею. По лугам и пашням, задернутым синеватою дымкою, молча бродили грачи, разинув клювы. Березы и липы станционного садика не шевелились ни листиком. Изредка налетит ветерок, вяло закачает их пыльные ветви — и сейчас же упадет, словно изнемогши от жары. Помощник начальника станции, зевая, расхаживал по платформе. У ограды, как изваяние, стояли два мужика-извозчика, поджи-

давшие седоков; они смотрели на поезд, щурясь от солнца, и казалось, будто их загорелые лица застыли в неподвижной улыбке.

В вагон вошел стройный парень с картузом на затылке, в желто-коричневой бумазейной блузе, испачканной красками,— видимо, маляр. Он с быстрою улыбкою огляделся и громко спросил:

— Местечко найдется, земляки?.. Ну, вот и ладно! — продолжал он, увидев у окна пустую одиночную скамейку.— Как раз для нас приготовлена! Доедем как-нибудь! Недалеко ехать-то — до Серпухова всего! — объяснил он неизвестно кому.— В три часа, чай, доедем.

Маляр сунул под скамейку свой узел, сел, поправил на голове картуз и сейчас же опять встал.

— А то нешто водочки пойти выпить? — быстро спросил он не то себя, не то окружающих.

— Давно уж буфетчик дожидается,— отозвался кто-то из пассажиров.— Куда это, говорит, запропал малый?

— То же и я говорю!.. Значит, работу кончил, расчет получил,— можно и выпить, как вы скажете?

— А ты где работал-то?

— А вон, за перелеском, графский дом красили. Ворошилов граф — известнейший. Сыну к свадьбе дом готовит... Наших там артель целая и сейчас работает... Эй, эй, земляк! — Маляр тряхнул за плечо дремавшего мужика, у которого свалился с головы картуз.— Чего шапку на пол кидаешь? Уговору не было! — Он поднял картуз и бросил его на колени протиравшему глаза мужику.— Ну, что ж? Нужно пойти, царапнуть!

Он вышел, и сразу в вагоне опять стало тихо. Я сходил за кипятком, заварил чай и пригласил к нему своих соседей— старика, плотника и угрюмого литейщика из Москвы. Раздался третий звонок и вслед за ним кондукторский свисток. Паровоз молчал. Маляр воротился и снова заполнил вагон своим громким, веселым говором, обращенным неизвестно к кому.

Кондуктор свистнул второй, третий раз. Паровоз помолчал еще некоторое время и потом вдруг хрипло и свирепо откликнулся. Маляр засмеялся.

— Чего ругаешься? Разоспалась машина-то наша! «Отстань ты, говорит, от меня, постылый черт! Не тревожь!..»

Поезд все не двигался. Маляр с любопытством высунул-

ся из окошка. Кондуктор свистнул еще раз. Молчание. Где-то далеко раздался сердитый крик: «Наддай!»

— Вот так так! Не может машина с места сдвинуться, кондуктора наддают... Пойдем, ребята, подсоблять! — стремительно обратился маляр к окружающим.

Пассажиры повысунулись из окон. Паровоз еще раз свистнул дико и хрипло, словно с перепою, заворчал и вдруг сильно дернул вагоны. Поезд тронулся.

Мы пили чай и вяло разговаривали, в тон вяло ползшему поезду и вяло дремавшей природе. Маляр был уж на другом конце вагона и громко спорил о чем-то с сельским священником с седенькой бородкой и в пыльной рясе. Странно было слышать среди царившей в вагоне скуки этот веселый голос неугомонного и, должно быть, очень счастливого маляра.

Я стал расспрашивать литейщика о его поездке в деревню. Он сначала отвечал неохотно, потом постепенно разговорился. Оказалось, у него, правда, были неприятности: год назад в деревне расхворалась старуха мать литейщика, и на помощь отцу пришлось отправить из Москвы свою жену. Прошел год, мать все не поправлялась. Литейщик съездил в деревню на побывку и убедился, что мать его вообще уж больше не работница.

— Вот так, значит, и пойдет дело,— раздраженно говорил литейщик.— Жил себе в Москве — благородно, чисто,— все как следует быть. А теперь — я в Москве живи, семейство в деревне... Разве это порядок?

Старик в зипуне спросил:

— Сын-то ты один у отца?

— Один.

— Ну, невозможно!— подтвердил старик.— Где ж без бабы с хозяйством управиться!

— О том я и говорю. Старуха на печи лежит, не сходит; до лавки дойдет — дыхание запирает. С нее не спросишь.

Он помолчал.

— А только я на то ругаюсь, что привык я,— на прежнее положение переходить неохота. Какое я могу иметь удовольствие без жены? Ей о том и забота, чтоб мужу прохладно было,— насчет ли харчей, насчет ли чего другого. Слава богу, пять лет прожил человеком, на бога не жалился. А теперь живи неведомо как. Веселое это дело — с квартирными хозяйками канителиться! Грязь, бестолочь, порядксв никаких нет... Наша работа грязная, а хозяйки квартирные раз

в месяц стирают. Что ж мне, три дюжины рубашек держать? А жена на то не смотрит, время ли стирать, нет ли; видит, неаккуратно муж ходит, и выстирает. Опять с едою: обедаешь в трактирах, в закусочных,— какая же приятность, скажите, пожалуйста?

— Вам, значит, теперь так всегда и придется жить? — спросил я.

— Так и живи.

— Да, тяжело.

— То-то вот я и говорю... А потом и то сказать: раз в год приедешь домой на недельку, а ведь тоже, извините... Знаете, живой человек! Тяжело без этого самого... Для чего же я в закон вступал?.. А как вы скажете,— могу я знать, что там без меня жена делает, как обходится? Баба она молодая, горячая.

— И ничего ей не скажешь! — вздохнул старик.— Бабе тоже без этого нужда. Горла не перервешь за такое дело. Она скажет: а ты зачем со мною не живешь?

— И верно.

— То ли уж не верно! — Старик снова вздохнул.— Бабы у нас в деревнях живут все равно что сироты! Год за годом хитрее идет, жить становится труднее; земли мало, а народу размножилось, всякий хочет жить, как пригородный, хочет жить легко. Нынче машина увозит его на четыре года, и не увидишь сколько времени. Сам-то он там нешто тихо живет? Эх, бра-ат!

— И многие у вас в Москве так живут? — спросил я литейщика.—В Петербурге заводские больше живут с семьями.

— Нет, у нас, в Москве, этого мало. Все больше артелями живут, а семейство в деревне...— Он помолчал.— У меня товарищ был, мы с ним в паре вместе крупную работу работали. Горяч был на работу,— не угоняешься! Все в деревню посылал, дай, говорит, оправлю хозяйство, сяду на землю, своим домом заживу. Приезжает земляк из деревни. «Дядя Федор, а ведь баба-то твоя гуляет!..» Не поверил: сплетки, говорит,— мало ли что наплетут! Другие приехали — все то же рассказывают: связалась с писарем... Ну, поехал, посмотрел — верно! Махнул рукою, воротился, опять у нас работает. О доме думать перестал, стал водочкой займаться: пропадай все пропадом... Вот-те и оправляй хозяйство! — с усмешкой прибавил он.

Вошедший на последней станции маляр уже с десять минут стоял около нас, облокотившись о спинку скамейки, и

внимательно слушал. Вдруг с своею быстрою усмешкою он громко сказал:

— Я так рассуждаю, что вы неправильно об этом говорите!

— Это насчет чего? — спросил литейщик.

— Вообще насчет ваших разговоров. Кто ж виноват в том деле, позвольте спросить? Говорите: в хозяйстве жена нужна. В хозяйстве? А мне не нужна?

Близкие пассажиры, привлеченные громким голосом маляра, один за другим стали подходить к нашей скамейке. Он продолжал:

— Значит, поженился, а там — «прощай, Саша, прощай, милая?» Ну нет, извините, пожалуйста!.. Я и сам женатый, а только поженился — и обязательно взял жену с собой в Серпухов. Позвольте вам сказать: она мне самому надобна!

— Неспособно мне так-то поступать,— неохотно ответил литейщик.

Маляр удивился.

— Как так неспособно? Почему такое? «Неспособно!» Почему неспособно? — Он с вопросительно-недоумевающею усмешкою оглядел слушателей.— Не-ет! Поженили меня этак в деревне,— весело продолжал он,— отец мне и говорит: «Ну, Вася, ты, говорит, поезжай теперь к своему делу, а жена пущай у нас останется».— «Ну, нет-с, извините, папаша!» — «Как?! Что?! Ах ты такой-сякой! Я тебя для чего женил? Чтоб бабу в хозяйстве иметь!»—«Бабу в хозяйстве? Эко дело какое! Как же это мы раньше не столковались? Ну, а я для того женился, чтоб жену иметь!»

Кругом засмеялись. Какой-то длинный парень в серой поддевке быстро поправил себе на голове картуз и стал энергично чесать в затылке.

— Если здраво рассуждать, в здравом рассудке...— начал он, широко раскрыв глаза, и замолчал, справляясь с поразившими его словами маляра.

Маляр быстро обратился к нему:

— Вы думаете, я неправильно говорю?

— Нет, я говорю... Если здраво рассуждать...

И парень снова замолчал, раскрывая рот, чтоб что-то сказать, и ничего не говоря.

Мой сосед-плотник, все время молча слушавший наши разговоры, теперь вдруг заволновался, для чего-то поднялся, опять сел...

— Погоди, я знаю, что тебе на это сказать! — обратился

он к маляру, возбужденно водя руками в воздухе.— Вот что. Поженили тебя. Почему? Баба нужна, бабы нет в доме... Хорошо,— погоди!.. Бабы нет. Что ж ты без бабы делать будешь в хозяйстве? Как управишься? Как без бабы управишься? Голубчик, голу-убчик!.. Без бабы хозяйству зарез!.. Вот что я тебе сказал против этого! — удовлетворенно произнес он, перестав махать руками.

— В хозя-айстве? — иронически передразнил маляр, но его прервали, и все сразу заговорили.

— В город жену свез! — резко сказал широкоплечий извозчик.— Так ты, может, граф, получаешь тыщи? Сказал слово! Как жить-то будешь в городе с семейством, подумай ты в своей башке!

— Понятное дело, где ж прожить,— отозвался из толпы ламповщик с пригородного завода.— Восемь рублей мне жалованья идет,— обратился он ко мне,— где ж тут с семейством проживешь, рассудите сами. Дай бог на подать скопить, и то слава те господи! Вот на мне кафтан, а под кафтаном, может, нет ничего!

Маляр решительно отрезал:

— Не можешь в городе жить? Не лезь не в свое место! В деревню ступай, хозяйствуй!

— А с чего хозяйствовать будешь, дурья ты голова, козырь! — воскликнул извозчик.— Нас вот пять братов, а надел на полторы души. По избе построит каждый,— и пахать нечего. Полоска,— сюда отвалил, туда отвалил, и нет ничего... «Хозяйствуй»!.. И рад бы хозяйствовать!.. Велика сладость век в чужих людях жить!

— Не проживешь нынче с хозяйства, нет! — сказал мой сосед-старик.— Есть податели со стороны,— ну, обернешься как-никак; а без подателей не управишься, где там!

— «Хозя-айствуй»! — еще раз сердито повторил извозчик.— Тьфу! Глупые твои слова!..

Он махнул рукою и отошел. Возражения продолжали сыпаться одно за другим. Маляр был разбит по всем пунктам; он не сдавался, но для всех уже было ясно, что перед ними просто чрезвычайно легкомысленный человек, который говорит сам не знает что.

Разговор разбился на отдельные группы, постепенно захватывая все больше пассажиров. По всем концам вагона оживленно и взволнованно обсуждалась и опровергалась еретическая мысль, высказанная забубенным маляром.

Поезд, гремя и колыхаясь, мчался вперед. Тусклое, кро-

вово-красное солнце медленно опускалось в грязно-желтую мглу запада. Все та же туманная дымка теперь еще гуще окутывала поля, и все так же странно и непонятно глядела природа. На душе было смутно.

Да, маляр судил легкомысленно,— это было ему доказано самыми неопровержимыми доводами, на которые возражать было нечего. Хозяйствовать в деревне! Но уж один грозный сухой туман, стлавшийся по полям, давал на это такой выразительный ответ, что становилось жутко. А предложение все порвать и жить в городе звучало прямо насмешкою над многими из тех, к кому было обращено. И тем не менее... тем не менее еретическая мысль маляра заключалась ведь не в чем другом, как в том,— что *человек женится для того, чтоб иметь жену!* И сумел же он так искусно поставить вопрос! Недаром все возражавшие, предъявляя свои неопровержимые доводы, в то же время так сердились и раздражались: маляр был легкомыслен, рубил сплеча,— но как хотите, а человеку полагается жениться именно для того, чтоб иметь жену...

В Серпухове с поезда сошел маляр, сошли плотники и мой сосед-старик. Мы остались с литейщиком. В вагон набились новые пассажиры. Поезд пошел дальше. Я спросил литейщика:

— Ну, а отдохнули вы по крайней мере в деревне?

— В деревне-то?.. Как сказать? Для нашего брата в деревне отдых плохой. Скука! Прожил две недели и не чаял, когда уеду. Ведь тоже, знаете, привычка требуется. Еду, скажем, взять; деревенская еда известная — тюря да лук; народ не балованный. А с отвычки этак поживешь,— живот подводит. Мне что из того, что говядина у меня по двору гуляет, мне ее в чашке надо; а тут — нет! Говядину холь, а ешь редьку.

— Вы-то, я вижу, навряд ли когда захотите перебраться в деревню!

— Где уж там! — Он махнул рукою.— Я и от работы деревенской отвык. Недавно вот покосил день на барском лугу,— мы его помещику миром убираем за выгон,— так все руки отмахал, посегодня болят. Да и то сказать,— чем жить будешь в деревне? Ведь в нынешнее время, знаете, не кормит она, деревня. Наделы у нас малые; летом отработался, а зимою заколачивай избу да иди куда хочешь работы ис-

кать; на месте вот как платят: в лесу колоть-пилить — двадцать пять копеек, с лошадью — шестьдесят. А одного оброку, если на правленские считать, на старосту, на училище,— двадцать пять рублей заплати за две души. Откуда возьмешь?

— Так ведь живут же у вас все-таки землею!

— Где же живут? Без подателей не проживут: сыновья подают со стороны. А если один мужик в доме, то на зиму уходит на место, только баба остается. Вы извольте сами рассудить: с чего жить? Сена — дай бог чтоб на свою скотину хватило, овес — две четверти с двумя мерками отдай в общественную магазею, остальное своей же лошади скормишь; хлеба — хорошо, как до Филиппова дня самим хватит... А подати, а одеться? Керосин, спички, чай, сахар, мелочь всякая? Как крепко ни живи, а без них не обойдешься... Вот и рассудите, как же тут прожить?

— Что же вы будете делать, когда ваши старики умрут?

— Тогда без работника не обойдешься; придется работника брать на лето.

Начиналось что-то непонятное, раздражающее и давящее своею несообразностью.

— Да какая же вам выгода нанимать работника? Что вы имеете от земли? Что она пять месяцев в году дает хлеб вашей семье?.. Вы вот в месяц зарабатываете за пятьдесят рублей,— сколько одних этих денег вы в землю всадите! Сами же вы жалуетесь, что вам без семейства скучно жить. Отчего вам его не взять к себе? Слава богу, на пятьдесят-то рублей можно прожить в городе и с семейством.

— А за землей кто будет ходить?

— Кто! Ну, в аренду можно ее сдать.

— Как же это сдать в аренду? В аренду сдать — все хозяйство порешишь.

— Да на что оно вам, хозяйство?

Литейщик с недоумением посмотрел на меня.

— Вы этого, господин, не понимаете,— медленно и поучающе произнес он, словно говоря с малым ребенком.— Как на что? Чуть что коснись,— скажем, работы нет, скажем, заболел, стар стал,— куда денешься? На улице помирать? А тут все-таки свой угол; сыт не будешь, так хоть с голоду не помрешь.

Я замолчал. Литейщик тоже молчал. Потом заговорил опять:

— Наша работа вредная. Медь на грудь садится, все в

чахотке помирает народ; до сорока лет мало кто доживет здоровым. Куда тогда пойдешь? В деревню, больше некуда.

— Невеселая ваша жизнь будет в деревне.

— С одной тоски помрешь.

Он задумчиво поглядел в окно.

На мглистом горизонте, над лесом, алели мутно-пурпуровые пятна. По-прежнему было душно и тихо. По склонам лощин лепились убогие деревеньки, в избах кое-где засветились огни; окутанные загадочною сухою мглою, проносились мимо нас эти деревеньки, такие тихие, смиренные и жалкие...

Ответ моего собеседника не был для меня новостью: уж много-много раз приходилось мне слышать тот же до стереотипности тожественный ответ: «Как порвешь? Чуть что коснись,— заболел, стар стал или что,— куда денешься?»

Что и говорить, это ли не основательная причина! Когда человек вконец измотается на работе, когда, бессильный и больной, с изъеденными чахоткою легкими, он будет выброшен на мостовую, как негодная ветошка, что тогда?

Тогда себя, мой гордый брат,
Голодной смертью умори ты!

Лучше уж медленная агония в деревне. Но ведь все-таки же это не больше как агония! А право на эту агонию приходится покупать ценою ломки и калечения всей жизни...

1899

К СПЕХУ

Однажды вечером я сидел на крылечке избы моего приятеля Гаврилы и беседовал с его старухой матерью Дарьей. Шел покос, народ был на лугах. Из соседнего проулка выехал на деревенскую улицу незнакомый лохматый мужик. Он огляделся, завидев нас, повернул лошадь к крылечку и торопливо спрыгнул с телеги.

Мужик был бос, порты болтались на его ногах; из расстегнутого ворота грязной холщовой рубахи глядела коричневая грудь, густые волосы на голове были спутаны и пересыпаны сенной трухой.

— Эй, тетка! Где тут у вас самая рябая девка живет? — с тою же торопливостью обратился он к Дарье. Вообще во всех его движениях было что-то торопливое и как будто очумелое.

— Чтой-то, господи помилуй! — медленно произнесла Дарья и широко раскрыла глаза...— На что тебе?

— Самая что ни на есть рябая! Сказывали, есть у вас такие...

В смеющихся глазах Дарьи промелькнуло что-то: она поняла. Но я не понимал и удивленно смотрел на мужика, припоминая в то же время, что я где-то видел его раньше.

Дарья протяжно ответила:

— Есть, милый, есть рябенькие!.. А ты сам откудова?

— Из Малахова сам я... Сорок ден, как жена померла, дома трое ребят, а пора, сама знаешь, горячая. Никак не управиться одному!

— Ты вот что: иди ты к Мотьке десятсковой. Вот она, десятская изба, рядом.

— А как, скажешь, пойдет она за меня?

— Ты сам ее и спроси... Да вон она от колодца с ведрами идет. Как подойдет, ты и спроси.

— Илья! Или не признал? — обратился я к мужику.

Он быстро уставился на меня своими бегающими глазами.

— А-а, Викентьич! — радостно проговорил он, и в углах его глаз запрыгали морщинки.— Будь здоров, с приездом!

Он протянул мне корявую руку.

— Татьяна твоя померла? — спросил я, пораженный.

— Померла, померла! — пробормотал он.— Вчера сороковины справил. Заложило бок,— в неделю свернулась, царствие ей небесное!.. Померла, померла Татьяна!

В прошлом году, позднею осенью, я ночевал в Малахове у Ильи, и мне хорошо помнилась его жена Татьяна. Рядом с очумело-суетливым Ильею странно было видеть ее неторопливую и спокойную, с ясными, ласковыми глазами; видно было по всему, что она стояла поверх мужа и что он признавал ее опеку, уверенную и любовную... И вот она умерла. То-то он теперь такой грязный и лохматый!

К соседнему двору подошла коренастая, приземистая Мотька с двумя ведрами на коромысле. Илья поспешно бросил вожжи в кузов телеги и рысцою, в болтающихся портах, подбежал к Мотьке

— Девочка, а девочка! Ты самая рябая на деревне?

Мотька поставила ведра на землю, удивленно оглядела Илью, вдруг густо покраснела и потупилась.

Илья деловито заговорил:

— Слушай, девочка! Холостой тебя не возьмет,— на что ты ему такая? А я вдовый, трое ребят у меня, хозяйство, как следует быть,— лошадь, корова, ну и все такое... Пойдешь замуж за меня?

Мотька стояла, потупившись, и молчала.

— Что ж ты, девонька, молчишь? Ай, обиделась? — недоумевающе спросил Илья.

Дарья слушала и покатывалась со смеху.

— Ступай к бате! — тихо ответила Мотька.

— Ну его, батю! Ты-то пойдешь ли?

— А вот батя тебе и скажет.

Илья ударил себя по бедрам.

— Заладила одно: батя да батя... Я тебя спрашиваю.

— А ну те к черту, паралик лохматый! — вдруг сердито крикнула Мотька, схватила ведра и стремительно ушла в ворота.

Илья поднял брови, поглядел ей вслед и, почесывая в спутанных волосах, побрел к нам.

— «Батя» да «батя», больше ничего! — разочарованно произнес он.— Сама ряба так, что лучше и не надо, а тоже— «батя»! А того не понимает, что бате ее бутылку водки поставь, да еще приезжай, да еще... а времени где же возьмешь! Пора горячая мне бы поскорее!

Он высморкался пальцами, задумчиво отер руку о подол и вдруг встрепенулся.

— Нет ли у вас здесь еще кого? Нету?.. Ну, коли нету, то, значит, до Тайдакова надо доехать; там тоже, сказывают, рябенькие есть... Оставайтесь здоровы!

Илья взвалился на телегу, захватил в руки вожжи и повернул на дорогу в Тайдаково. Я с недобрым чувством смотрел ему вслед, и мне вспоминались ласковые, ясные глаза Татьяны, умершей всего шесть недель назад.

Мотька появилась в воротах. С злым, нахмуренным лицом она стояла и глядела на золотистое облако пыли, в котором дребезжала телега удалявшегося Ильи.

— Ты что же это, девка, жениху-то отказала? — невинно спросила Дарья.

— «Отказала»! Сам страшный какой, а меня с первого же слова срамить зачал: ты, говорит... самая рябая на всей деревне!..

Голос Мотьки задрожал,— от обиды или от сожаления?.. Она повернулась и снова ушла во двор.

В середине июля я возвращался домой на беговых дрожках из Тулы. Был самый разгар страды. Солнце садилось, вся даль к западу была затянута нежно-золотистою пылью, как туманом; пахло спелою рожью. По безбрежной шири полей всюду виднелись рассеянные в одиночку рубахи косцов и согнутые спины жниц; пыльные, облитые потом, все работали молча и сосредоточенно. Что-то тягучее и тупо-властное стояло в знойном воздухе, и копошившиеся среди ржи молчаливые люди казались пригнетенными рабами какой-то огромной, беспощадной силы.

Солнце село, на востоке появилась серо-лиловая полоса с слабо-пурпуровым краем — первая тень надвигавшейся ночи. Золотистый запад бледнел, полоса на востоке темнела и росла; а вместе с этим вокруг становилось все тише и людей на полях попадалось все меньше. Дойдя до четвер-

ти неба, надвигавшаяся с востока тень слилась с вдруг потемневшим небом, и на нем замигали звезды.

Дрожки быстро катились по накатанной дороге в серой мгле вечера. С низин потянуло влажной прохладою. Во встречных деревнях гасли огни. Истомленное зноем и трудом, все вокруг сладко засыпало.

Была поздняя ночь, когда я проезжал через Малахово. Деревня спала мертвым сном. Вдруг у крайней избы, около плетня, я заметил черную фигуру. Она медленно ходила под лозинами взад и вперед, медленно и однообразно раскачивалась... Неужели это Илья? Изба была его, а неделю назад поздно вечером проезжая через Малахово, я видел Илью, сидевшего на завалинке и баюкавшего ребенка. Я остановил лошадь.

— Илья, это ты? — окликнул я человека.

— Я,— коротко ответил он из темноты.

Я слез с дрожек и подошел к Илье. На руках, под накинутым на плечи зипуном, он держал закутанного в свивальник ребенка. Я спросил:

— Что, или и до сих пор не нашел ты себе невесты?

— Невесты-то?.. Нет, слава богу, тогда же дело сладил в Тайдакове. Есть теперь баба; хорошая баба, лихая на работу,— дай бог всякому.

— Что же это ты сам с ребенком носишься?

— Не привык он к ней,— неохотно ответил Илья.

Я вгляделся в ребенка.

— Да он же спит!— воскликнул я.

— Пущай спит! — пробормотал Илья.

— Вот чудак! Пошел бы и сам спать,— устал ведь с работы! Да и для ребенка лучше, если положишь его.

Илья помолчал.

— А может, я это не для него делаю, а для себя?

Я удивленно оглядел его. Лицо Ильи было грустно и необычно сосредоточенно. И вдруг я понял...

Страдные дни властно отбирали себе у Ильи все его помыслы и всю душу. И вот короткие ночи он вместо отдыха одиноко ходил с ребенком под лозинами, отдаваясь на свободе воспоминаниям и тоске.

1899

РЕБЯТА

У крыльца дома, под липами, Татьяна Сергеевна варила варенье из зеленого крыжовника. Бабушка в синей блузе и очках чистила малину, а тетя Соня ничего не делала, держала в руке заложенную зеленой веточкой книжку «Русской мысли» и ела с блюда чищеные ягоды.

Белыми, красивыми своими руками Татьяна Сергеевна встряхивала над жаровнею таз с закипавшим вареньем — вдруг опустила таз и испуганно сказала:

— Господи, одну выпустили! Ах, эта нянька!.. Галечка, подожди, милая!

На крыльце стояла дочка Татьяны Сергеевны — Галя. Ее темные, мягкие волосы были подрезаны на лбу, щеки раскраснелись от сна. Серьезными глазами она глядела себе под ноги и собиралась спускаться по каменным ступенькам.

Тетя Соня бросилась ей навстречу, взяла на руки и принесла к столу.

— Галя спала сейчас?

— Да.

— А яичко ела Галя? Ко́кочку? Кушала ко́кочку?

Галя пристально глядела на блюдо с малиной. Бабушка сказала:

— Галя, что ж ты с бабушкой не здороваешься? Иди к бабушке, бабушка ягодку даст.

Галя встрепенулась.

— Ягодку!

Тетя Соня крепко поцеловала Галю и воскликнула:

— Ох ты моя красавица!.. Ну, иди к бабушке через стол.

И поставила Галю на край стола. Бабушка протянула к ней руки:

— Ню, Галенок! Ню, ню!.. Иди!

Галя, с серьезными глазами, с улыбкою в углах губ, пошла, осторожно ступая по столу ножками в желтых туфельках. Дошла до края, рассмеялась и бросилась на руки к бабушке.

— Ах ты галчонок мой! Молодец! Ну, здравствуй!

Бабушка поцеловала Галю в щечку, дала ей с блюда две спелых, сочных малины и спросила:

— Ты любишь бабушку?

Галя рассеянно протянула:

— Любу.— И опять внимательно уставилась на блюдо с малиной.— Дай ягодку!

— Галя кушала, больше нельзя. Тут все ягодки бяки. Фу. фу! Их нельзя кушать!

Галя сказала:

— Хо́чу бегить.

Изогнулась туловищем и сползла с колен бабушки наземь.

За крыльцом, около выступа низкого фундамента, возились в песке трехлетний брат Гали Митя и сынишка управляющего Вова. Митя был худенький и тоненький, на тонких ножках в черных чулках, с бледным городским лицом; Вова — пухлый и неуклюжий, с большим мягким ртом; на голове его была мягкая шапка с кисточкой на макушке, одна штанина опустилась на башмак. Оба были серьезны и озабочены. На выступе фундамента они построили из кирпичей загородку и засыпа̀ли песком промежутки между кирпичами. Вова радостно улыбался мягким ртом и говорил:

— Тут катаны сюда не пройдут.

Митя пренебрежительно возразил:

— Игде? Тут пройдут, тут пройдут... Везде пройдут.

В городе для ребят «катанами» были просто тараканы. Но здесь, в деревне, катанами стали все бесчисленные козявки и особенно красные древесные клопы, которыми кишел двор и сад. Нужно было построить такой дом, чтобы катаны не могли в него вползти.

Митя сказал:

— Нужно еще песочку!

И стал загребать лопаточкой песок. Галя повторила про себя:

— Еще песочку!

И тоже взялась за лопаточку. Но нашла в песке старый, стоптанный лапоть и, сопя, стала его откапывать.

Из сада выбежал на двор Котя, другой сын управляющего. Он был немножко старше Мити, загорелый, с черными, быстрыми глазами. Поднял сжатый кулак и крикнул:

— Белая бабочка с ногами!

Галя повторила:

— С ногами!

Широко открыла глаза и подошла к Коте. Котя осторожно положил на фундамент серую ночную бабочку с мохнатыми ногами. Галя удивилась: она ждала, что у бабочки будут ноги вроде Митиных — тоненькие, в черных чулках. Вова тоже подошел посмотреть и изумленно разинул мягкий рот.

Бабочка, расправляя помятые крылья, быстро поползла по направлению к Гале. Галя испуганно засмеялась.

— Белая...бабиська!..

И попятилась назад. Подошел Митя.

— Что тут? — Вдруг лицо его стало серьезным.— Катан!

Он взял бабочку и понес к стене. Все пошли за ним. Митя тщательно запихал бабочку в щелку между двумя досками обшивки. Вова засмеялся и удовлетворенно сказал:

— Нету катана! Лег домой спать!

Стали смотреть в темную щелку. Галя тоже засмеялась.

— Катана... нету!

Бабушка крикнула из-за стола:

— Ты чего, Котя, один в сад бегаешь? Хочешь, чтоб старики тебя взяли?

— Там нету стариков.

— Как нету? Они под кусточками спрятались. Увидят, мальчик один бежит по саду, и поймают.

Котя утер ладонью нос и взял лопатку

Митя стоял на коленях и придерживал руками подол своей рубашки, а Котя, с угрюмым лицом, как у дворника Ермолая во время работы, накладывал в подол песок и при этом считал:

— Раз, два, три, семь, одиннадцать, двенадцать, десять, восемь... Будет!

Митя шел и вываливал песок на фундамент около кирпичной загородки.

На крыльцо флигеля вышла жена управляющего, худая, с подвязанной щекой. Она крикнула:

— Котя, Вова! Чай пить!

Котя и Вова пошли к флигелю. Митя и Галя внимательно глядели им вслед. Двор был общим владением, во флигель им доступа не было. И флигель представлялся им очень привлекательным, и казалось, что там едят особенно вкусно. Коте и Вове таким же привлекательным казался барский дом.

Галя постояла и нерешительно пошла к флигелю. Няня ее остановила.

— Куда ты, Галечка? Нельзя туда ходить.

Гале бросилось в глаза блюдо с малиною на столе, она подошла и важно сказала:

— Я писóль (пришел)!

Тетя Соня привлекла ее к себе и крепко стала целовать.

— Ах ты моя красавица!

— Дай ягодку!

Митя услышал, подошел к столу и тоже сказал:

— Ягодку!

Бабушка ответила:

— Нельзя ягодку, ягодки бебеки, в них червячки!

Митя с любопытством поглядел на ягоды.

— Где червячки?

— Они спать легли в ягодки. А если ягодку положить в рот, они проснутся и укусят, больно будет.

Татьяна Сергеевна говорила:

— Ужасно я боюсь этого времени. Ягоды, ягоды везде — того и гляди, кровавый понос получат дети.

Бабушка прибавила:

— Смотреть нужно, чтоб бузины они не наелись. Там на куртине около дорожки куст,— совсем над землею ягоды. Нужно Ермолаю сказать, чтоб подрезал ветки.

Она положила в рот ягоду. Митя все время внимательно следил за нею. Глаза его лукаво блеснули.

— Дай ягодку!

Бабушка поскорее выплюнула ягоду.

— Фу! Бебеки ягодки! Тьфу! Червячок укусил!

Митя схватил горсть ягод и запихал их в рот. Все рассмеялись. Тетя Соня сказала:

— Ну, Татьянка, шельмец он будет у тебя. Знает, разбойник, где раки зимуют... Митя, ты знаешь, где раки зимуют?

— Знаю.

— Где?

— Далёко...— Вдруг Митя заволновался.— Няня, Галя грязная!

Татьяна Сергеевна всплеснула руками: у Гали все губы были в саже.

— Что ты ела?

— Бяки!

— Ах ты негодница!

Галя самодовольно повторила:

— Бяки!

И засмеялась. Воспользовавшись суматохой, она лизнула край таза с остывающим вареньем. Татьяна Сергеевна засмеялась.

— Господи! Прямо как тараканы, так везде и ползут... Няня, пойди умой Галю.

Митя продолжал вертеться около больших и высматривал, чем бы еще можно поживиться. Тетя Соня лениво играла железным безменом, на котором вешали ягоды. Она зевнула и спросила Митю:

— Хочешь, Митя, я тебя ударю этой палкой по голове?

— Не хочу.

Тетя Соня удивилась.

— Почему ты не хочешь?

Митя отвернулся и пошел к песку. Тетя Соня схватила его и стала целовать. Митя сначала засмеялся, потом вдруг заплакал и стал вырываться. Тетя Соня рассердилась и спустила его на землю.

— Фу! Скверный мальчик, бяка! Плакса эдакий! А еще мальчик! Ступай прочь!

Няня с Галей подошла к столу. Тетя Соня спросила:

— Галечка, ты умылась? Пойдем-ка кушать конфетку.

Галя, розовая от умывания, поспешила к тете Соне, бросилась в ее объятия и сказала:

— Конфетку!

— Ах ты моя ненаглядная! — Она впилась губами в щеку Гали.— Ну, пойдем кушать конфетку! — Взяла Галю на руки и пошла к крыльцу, не глядя на Митю.

Митя жалко улыбнулся.

— И мне конфетку!

Тетя Соня строго ответила:

— Ты скверный мальчик, тебе нельзя конфетки.

Она пошла с Галей в свою комнату. Митя шел следом. Тетя Соня достала из комода мешочек с карамельками и вос-

хищенно проговорила, как будто и сама замирала от предвкушения ждущей их радости:

— Ну, Галечка, давай конфетки кушать!

Митя стоял, подняв брови. Галя стала разворачивать леденец, поглядела на Митю и сказала:

— И Мите конфетку.

— Митя скверный мальчик, ему нельзя конфетки.

Митя предупредительно улыбнулся.

— Дай конфетку!

— А не будешь вперед плакать?

— Нет.

— Никогда не будешь? Срам какой! Чуть тронут, сейчас: эээ!.. Хорош мужчина! Так никогда больше не будешь плакать!

— Никогда.

— Ну, поцелуй меня.

Митя поцеловал тетю Соню и получил конфетку. Галя развернула свой леденец и стала есть. Тетя Соня жалобно сказала:

— Галечка, а что ж ты тете не дала? У тети нет конфетки!

Галя подумала, поглядела на тетю Соню, откусила кусочек и дала ей.

— Смотри, Митя, как у меня мало. Дай и ты мне кусочек.

Митя насмешливо взглянул и спрятал конфетку за спину.

— Не дашь? — Тетя Соня потемнела.

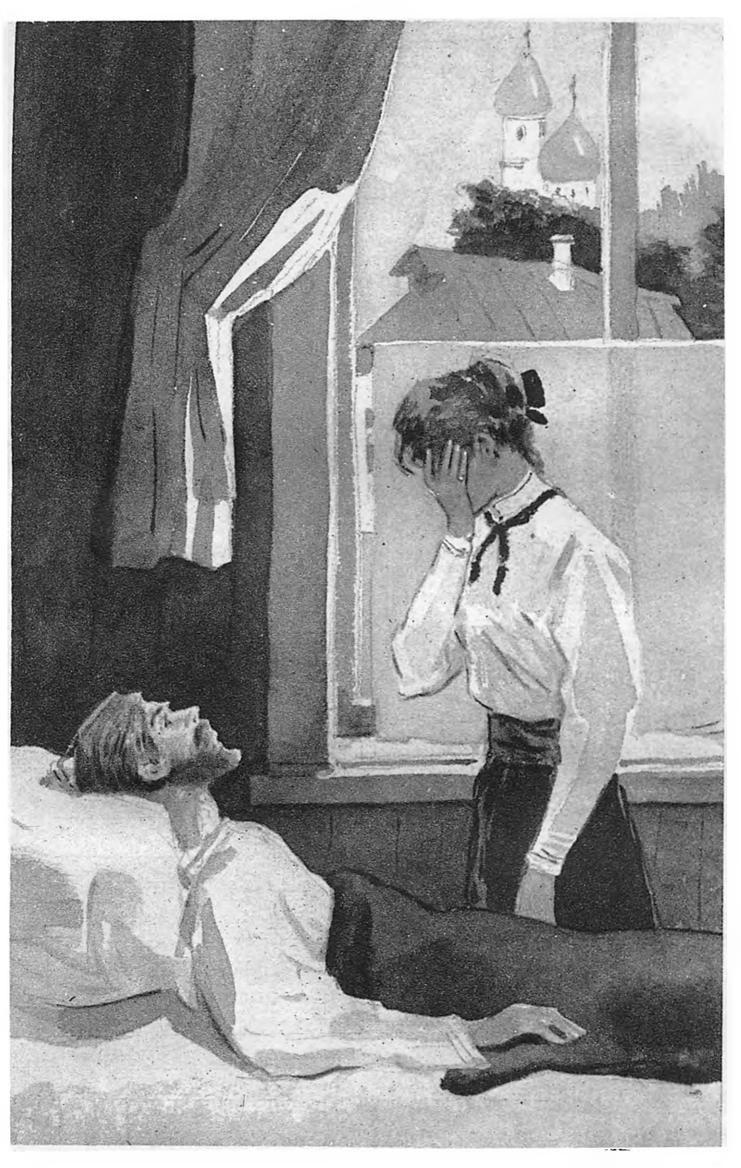
Митя смотрел и держал конфетку за спиною.

— Ну, пошел вон отсюда! Жадный мальчишка! Никогда больше не дам конфетки! Скверный мальчик! Уходи!

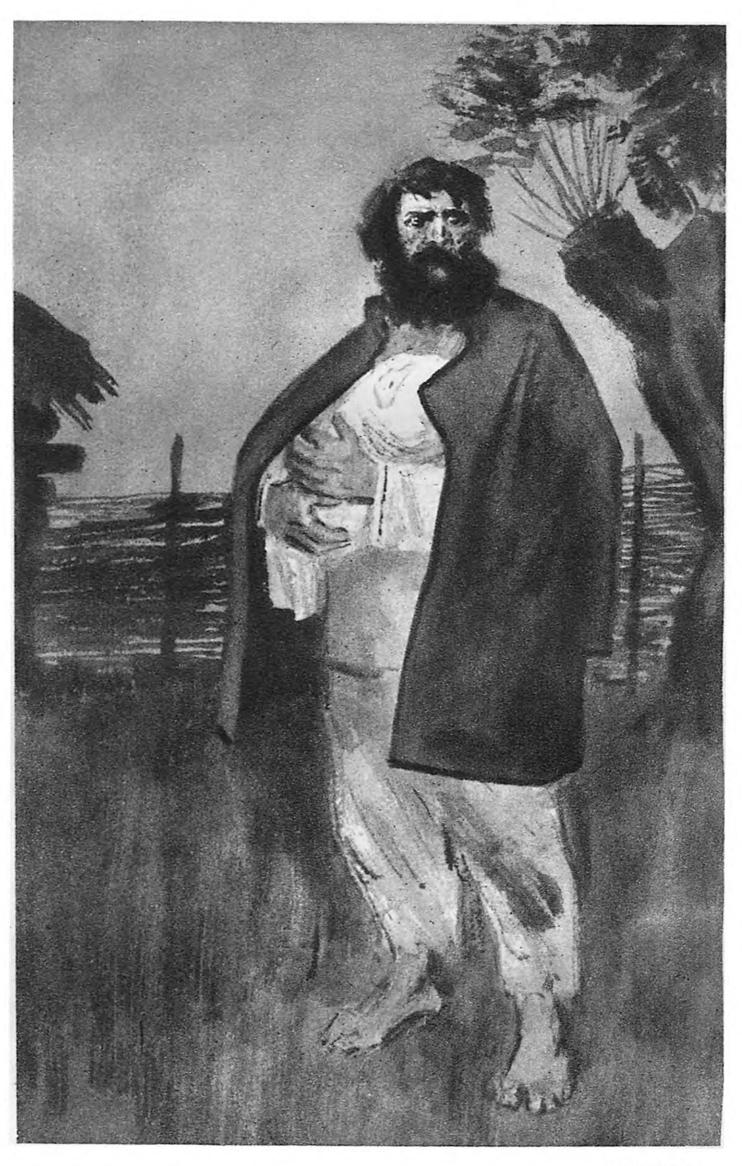
Она вытолкала его за дверь.

Котя и Вова напились чаю и были уже на дворе. Митя присоединился к ним. С визгом и криком они поскакали на палках по двору. Галя услышала крики и поспешила отделаться от тети Сони. В простоте души она еще верила в правдивость больших, но и она уже чувствовала, как они скучны и глупы. Им можно было отдавать свои ласки только до тех пор, пока это было выгодно.

Ребята мчались на палках по двору, подгоняя своих коней короткими палочками. Котя, с нахмуренным лицом, закусив губы, скакал молча. Митя мчался, в упоении закинув голову, и издавал отчаянные визги. Вова, поглядывая на него, прыгал и тоже визжал.



«БЕЗ ДОРОГИ».



«К СПЕХУ».

Галя поскакала следом за Вовой. Она скакала сосредоточенно и серьезно, падала, поднималась и мчалась дальше.

Вова заехал в густую полынь за водовозною бочкою и прыгал, высоко загребая ногами. Галя запуталась в полынных кустах, бросила палку и равнодушно сказала:

— Не хóцет!

Вова перестал прыгать, в раздумье оглянулся и подтянул штаны; потом полез за пазуху и достал четыре стручка гороху. Галя потянулась к нему и озабоченно спросила:

— Что?

Вова поджал губы, показал стручки и снова зажал их в кулак. Галя просияла и умильно уставилась на Вовин кулак.

— Гауошек!

Вова раскусил стручок и, глядя вдаль мимо Гали, стал выбирать зубами горошины. Галя серьезно и вразумительно сказала:

— Дай!

Вова мигнул и продолжал есть, глядя на бочку. Галя внимательно смотрела ему в рот.

— Дай...анну (одну)!

Вова вздохнул. Галя настойчиво и вразумительно повторяла, как будто гипнотизируя Вову:

—Да-ай!

Вова помолчал, поднял брови и протянул Гале стручок. Галя стала его грызть, а Вова поскакал через полынь к ограде.

Няня позвала Митю и Галю есть котлетку. Они пошли к крыльцу, и теперь Котя с Вовой внимательно смотрели им вслед. Митя и Галя с важными лицами прошли мимо.

Когда дети поели, няня вышла с ними в сад. На ковре, под липами, сидела нянька управляющего, Гашка, босая девка в красном платочке; на руках она держала Шуру, двухмесячную дочь управляющего. Шура агукала, разинув рот, пускала слюни и таращила на кусты удивительно жизнерадостные и глупые глаза. В руках она держала «тим-там»,— бронзовую веточку, увешанную звоночками. Няня сказала:

— Гаша, пригляди за ребятами, я пойду чайку попью.

И ушла. Шура изумленно испустила: «Ааа!» — уронила звонки на ковер и стала запихивать в рот кулак.

Митя поднял звонки и помчался на палочке в глубину сада, звеня над головой звонками. Другие за ним следом. Гашка крикнула вслед:

— Куда бежите?! Погодите, вот вам там старики зададут!

Галя споткнулась о выступ корня на дорожке и упала вместе с палкою. Не поднимаясь, она искоса взглянула на Гашку и сказала:

— Я апа̀ль!

Гашка насмешливо передразнила:

— «Апаль»!.. Упала, так подымись!

Галя помолчала, продолжая лежать животом на дорожке, и настойчиво повторила:

— Я апаль!

Гашка засмеялась.

— «Апа-а-аль!»

Галя скосила лицо и собралась плакать, но спереди донесся веселый визг Мити. Галя поднялась и поскакала.

Добрались до самого конца сада. Было тихо, солнце садилось за далекие березы. В вишнях звенела мошкара, стручки акации с легким треском лопались, и зерна сыпались на землю. Вдруг в зеленой чаще вишенника глухо зашумело и затрещало. Вова робко сказал:

— Старики!

Ребята насторожились. Галя тихо повторила:

— Талики!

В кустах что-то продолжало ворочаться, все ближе, верхи смородины закачались. Ребята стояли неподвижно. На минуту шум смолк, стало тихо, только в смородине трещали кузнечики. Потом опять зашумело в кустах.

Вдруг Котя громко крикнул:

— Эй, какой там? Выходи!

Крикнул — и вдруг стал храбрым. Решительно сделал шаг вперед, размахнул кнутиком и повторил:

— Какой там, эй?

Тогда и все другие почувствовали смелость. Стало весело и жутко. Митя взмахнул звоночками и тоже крикнул:

— Какой там, эй?

А Котя пригрозил грубым, страшным голосом, как у дворника Ермолая:

— Вот я тебе кнутовищем по́ лобу закачу!

В зеленой чаще зашуршало ближе. Ребята попятились и замолчали. Вдруг Галя подалась вперед, топнула ногой и крикнула:

— Какой там, эй?

Ветки смородины закачались, и из кустов, равнодушно помахивая хвостом, вышел Цыган.

— Цыганка!

Ребята радостно засмеялись. Цыган живее помахал хвостом и лениво подошел. Ребята поскакали на палочках к дому.

Солнце село. На заросший муравкою двор въезжали из ворот работники с сохами. Из темневшей чащи сада потянуло росой, в фундаменте дома задумчиво трещал сверчок; на деревне блеяли овцы.

На крылечко флигеля вышла жена управляющего.

— Котька! Вовка! Где вы пропадаете? Домой скорей, ужинать!

Котя и Вова пошли к флигелю. Митя и Галя гарцевали вокруг них на палках и подвигались вместе с ними. Чем ближе к флигелю, тем холоднее и враждебнее становились лица Коти и Вовы. На дворе Котя дружил с Митей, а Вова с Галей, но тут, около их флигеля, Котя с Вовой чувствовали себя в одном лагере против Мити и Гали.

Котя и Вова стояли на верху деревянного крылечка, негодующие и оскорбленные присутствием Мити и Гали в их владениях. Митя с Галей стояли внизу и вызывающе поглядывали на оскорбленных владельцев.

Котя сказал:

— Тут наш дом!

Митя возразил:

— А у нашей мамы есть много шоколаду!

На это Котя ему ответил:

— И нам завтра мама купит шоколаду!

И Вова гордо подтвердил:

— Нам мама завтра купит много хакаладу!

Коте хотелось перейти в наступление. Он поглядел на ограду, на бочку, подумал и крикнул:

— Не смей брать Шурины звоночки!

Митя ответил торжествующе:

— Буду брать! Буду брать звоночки!

Галя сказала:

— Я буду бать хваночки!

Вова топнул ногой и крикнул, закрыв глаза:

— Не смей брать!

Митя хладнокровно ответил:

— Буду брать!

— Не смей ходить в наш дом! — крикнул Котя.

Митя, глядя ему в глаза, поднялся на первую ступеньку. Котя угрожающе спустился ступенькою ниже. Митя ступил на вторую ступеньку. Котя бросился навстречу. Митя кубарем покатился наземь.

Отчаянный крик пронесся по двору. Из дому выбежали Татьяна Сергеевна и няня. Котя стрелою помчался во флигель, лег на кровать и закрыл глаза.

Плачущая Татьяна Сергеевна сидела в зале за столом и прикладывала компрессы со свинцовой примочкой к громадной шишке на Митиной голове. Митя упоенно плакал и закатывался.

Татьяна Сергеевна рыдала, целовала Митю и повторяла:

— Эта противная, подлая нянька! Всегда, всегда так... Завтра же ступай вон! На что ты мне нужна? Никогда тебя нет при детях, все только чай пьешь в кухне! Сколько раз тебе говорила,— подальше держи детей от этих сорванцов!..

Виноватая няня старательно поила с блюдечка Галю кипяченым молоком. Галя пила молоко и внимательно глядела исподлобья на плачущего Митю. Расстроенный управляющий пришел извиняться. В раскрытые окна доносились из темноты вопли Коти, которого пороли.

1900

ВАНЬКА

Рассказ приятеля

Года три назад я работал монтером на одном большом петербургском железоделательном заводе. Как-то вечером, в воскресенье, я возвращался домой с Васильевского острова. Дело было в июне. Поезд пригородной дороги, пыхтя, мчался по тракту вдоль Невы; империал был густо засажен народом; шел громкий, пьяный говор.

— А что, дяденька, в Александровское село доеду я на этой машине? — обратился ко мне мой сосед, толстогубый парень с крепким, загорелым лицом. Он был в пеньковых лаптях и светло-сером зипуне, на голове сидела громадная облезлая меховая шапка. Серою деревнею так от него и несло. Несло, впрочем, и водочкою.

— Доедешь,— ответил я.

— А тебе на которо место? — спросил его сосед по другую сторону, старик сапожник.

— Значит... в Александровское село!

— Я понимаю, что в Александровское... Место-то которое? Какая улица?

— Не знаю я...

— Эх ты тетка Матрена!.. Давно ли в Питере?

— В Питере-то?

— Да, в Питере-то!

— Нонче утром приехал... Значит, в селе Александровском земляк у меня, у него я пристал. А сейчас к дяде ездил на шашнадцатую линию,— у господ кучеряет... Винца, значит, выпили с ним...

— Как же ты теперь домой попадешь, дурья ты голова?

Нужно знать, какая улица — раз, как номер дому — два!— поучающе произнес старик.

— Он думал, тут деревня ему,— отозвался из-за спины скамейки фабричный парень. Спросил: «Где тут, братцы, Иван Потапыч живет?» — а ему всякий: «Вон-он!..» Нет, подожди,— эка ты, брат, какой!

— Должен был адрес спросить! — поучал старик.

— Вер-рно! — с удовольствием согласился парень в шапке и тряхнул головой.

— Вот теперь и ищи земляка своего!

— Ты какой губернии-то? «Скопской»? — быстро спросил фабричный.

— Скопской.

— Ну, во-от!.. Скопской,— сразу видно!

Кругом засмеялись. На парня сыпались насмешки. Он потряхивал головой, затягивался цигаркою, самостоятельно сплевывал и с большим удовольствием повторял: «Вер-рно!.. Правильно!..»

— Вот тебе село Александровское, приехали. Слезай, ищи земляка!

Парень торопливо встал и спустился вниз. Слегка пошатываясь, он быстро пошел посреди улицы, потряхивая головою и мягко ступая по мостовой пеньковыми лаптями. На перекрестке неподвижно стоял городовой. Парень снял перед ним шапку, с достоинством тряхнул волосами, надел шапку и гордо зашагал дальше. Вскоре он исчез в сумраке белой ночи...

Дня через два мне дали на заводе нового подручного. Я тогда работал на линии. Передо мною предстал мешковатый парень, в огромных сапожищах и меховой шапке. Это был мой сосед по конке.

Он проработал у меня с неделю. Смех было иметь с ним дело, а иногда прямо невмоготу.

— Иван, подай лестницу!

Иван, глазеющий на мою работу, начинает медленно шевелиться.

— Лестницу?.. Ка-акую?

— Да давай скорей лестницу, че-ерт!! «Какую»!..

Иван не торопясь берет лестницу и, ворча, начинает ее прилаживать к стене.

— Сам черт! На-ка!.. Чего орешь?

В нем совсем не было заметно той предупредительной готовности принимать насмешки и ругательства, какую он

проявил тогда на конке. Напротив, весь он был пропитан каким-то милым, непоколебимым чувством собственного достоинства, которое совершенно обезоруживало меня.

Пошлешь его на станцию:

— Сбегай, принеси дюжину патронов, да поскорей, пожалуйста!

Иван тяжело пробежит десяток шагов и идет дальше, солидно и убийственно медленно шагая своими сапожищами. Ждешь, ждешь его. Через полчаса является, словно с прогулки.

— Где ты пропадал?

— Где? А ты куда посылал?

— Чертова ты перечница! Пять минут сбегать, а ты полчаса ползешь!.. Квашня!

— Чего орешь-то? — хладнокровно возражает он.

Присели мы с ним как-то покурить.

— Ты бы, Иван, должен бы меня побольше уважать,— сказал я.— Ведь я над тобою выше стою.

— Черта ли мне тебя уважать!.. На-ка! — изумился Иван. И он с любопытством оглядел меня своими круглыми глазами, словно выискивал,— за что же это, собственно, я претендую на его «уважение»?

Необычно было с ним беседовать,—совсем с другой планеты спустился человек. «Жена моя из Подгорья к нам приведёна...» Словно о корове рассказывает. Или сообщает, что отец письмо прислал, велит к Ильину дню выслать пять рублей, а то отдерет розгами. Это двадцатилетнего-то мужика... И обо всем рассказывает так, как будто иначе и не может быть.

Через неделю его взяли на станцию. Однажды мой всегдашний подручный загулял, и мне снова дали на день Ивана. Опять явился он в своих сапожищах, медленный и солидный, при взгляде на которого сердце начинает нетерпеливо кипеть.

— Ну ты, дубовая голова, подбери губы! Давай тали заправлять! Живо!

Иван молча нагнулся, взял веревку и стал поспешно продевать ее в блоки. Продевает и все молчит. Я покосился на него: что это с ним?

— Ты что же не ругаешься? — сконфуженно спросил я.— Обругали тебя, ты должен ответить.

Иван молчал.

— Что же ты молчишь?

Он исподлобья взглянул на меня и вдруг самодовольно ухмыльнулся.

— Нешто я не понимаю? Небось ты мне старшой! Я против тебя не могу слов говорить!

И весь день был со мною смирен и испуганно почтителен.

Как-то поздно вечером я зашел на нашу электрическую станцию. Помощник машиниста возился около паровой машины; дежурный у доски, повернувшись к доске спиною, читал «Петербургский листок». Иван неподвижно стоял у стены и пялил сонные глаза на ярко освещенные циферблаты вольтметров и амперметров.

Следом за мною вошел наш мастер. Засунув руки в карманы кожаной куртки, с папироской в зубах, он остановился, посвистывая, в дверях. На лицах присутствующих мелькнула мимолетная улыбка, все насторожились.

Вдруг лицо мастера налилось кровью, глаза свирепо выкатились.

— Ванька, где мятла?! — гаркнул он.

Иван вздрогнул и быстро отделился от стены.

— Мятла... Мятла...— растерянно повторил он своим псковским говором. Он схватил стоявшую в углу метлу и стал быстро мести дощатый пол.

— Я на тебя, негодяй, десять рублей штрафу запишу! — орал мастер, топая ногами как сумасшедший.— Ты для чего тут приставлен, дубина, стоеросовая?.. Это что? Это что?

И он указывал рукою на окурок, валявшийся около решетки динамо-машины.

— Поднять!.. Что за беспорядок?!

Я в изумлении смотрел. Что это тут за салонный паркет, на котором и окурку нельзя валяться? Кругом посмеивались.

Оказалось, дело было просто. Иван и на станции держался тем же деревенским обломом, совершенно не понимавшим всех тонкостей почтительности и подчинения; он и шапку снимал перед мастером, и не садился при нем, а все-таки во всей его манере держаться сквозило глубокое и несокрушимое чувство своего достоинства; смешно станет — захохочет и скажет, отчего ему смешно; обругают — огрызнется. Мастер взялся за его муштровку. Иван обратился для него в предмет забавы. Как только он замечал, что Иван стоит без дела, так сейчас же делал свирепое лицо и орал громовым голосом:

— Ванька, где мятла?!

Запуганный, сбитый с толку, Иван беспомощно и очумело метался теперь под тучею непрерывных начальственных окриков мастера. Пол электрической станции действительно превратился по своей чистоте чуть не в салонный паркет, но все-таки на нем всегда можно было найти соломинку, спичку или обрывок проволоки, из-за которых снова поднималась история.

Однажды, когда мастер в моем присутствии заорал на Ивана, я не выдержал.

— Простите, господин мастер, вы просто издеваетесь над человеком! — резко сказал я.— Если вы взыскиваете с метельщика за каждый окурок, так потрудились бы запретить тут курить...

— Что такое? В чем дело?—невинно и озабоченно спросил мастер, близко подходя ко мне.

— В том дело, что этот парень сюда не в шуты нанят, а вы из него потеху делаете для себя. Что ему, все время без перерыву пол мести, что ли?

— А это до вас касается?—с ядовитою почтительностью ответил мастер.— Ты что ж стоишь, негодяй?! — злобно крикнул он на остановившегося Ивана.—Это что?! Видишь, сор! Чтоб сейчас же чисто было!

Иван испуганно бросился мести. Своим вмешательством я только повредил ему. Мастер, недолюбливавший меня, еще свирепее набросился на Ивана, и что против него можно было сделать? Мастер следит за чистотою станции,— это его право и обязанность.

Иван весь был теперь олицетворением какого-то очумелого испуга и обратился во всеобщее посмешище даже для своих же товарищей чернорабочих. Ночью, когда он спал (спал он всегда как мертвец), какой-нибудь шутник подкрадывался к нему и во все горло гаркал в ухо:

— Ванька, где мятла?!

Иван вскакивал, как от пружинки.

— Мятла... мятла...— испуганно повторял он сквозь сон и начинал метаться по комнате, отыскивая метлу.

Дружный хохот приводил его в себя.

Вскоре я уехал из Петербурга в Луганск. Года два я работал на южных заводах, потом воротился в Питер. Опять тот же завод на тракте, мастерские, разбросанные по широкому двору, приглядевшаяся электрическая станция.

Однажды вечером, сдав дежурство, я вышел из стан-

ции. Пошабашившие рабочие, с черными, маслянистыми лицами, в ожидании гудка толпились у выходных ворот. Сторожа в кожаных картузах неподвижно стояли у барьеров. Я присоединился к толпе.

Была метель; широкий заводской двор белел ярко-голубым светом электрических фонарей; от станции неслось равномерное пыхтение, клубы пара, словно громадные, растрепанные белые птицы, метались под ветром по двору и проносились влево, за ярко освещенную механическую мастерскую.

Толпа прибывала. Старики стояли, устало сгорбившись, молодые нетерпеливо переминались и стучали ногою об ногу.

— Что ж гудка нету? Охрип, что ли? — сердито сказал стоявший передо мною слесарь, ежась и пряча руки в рукава.

— Чего прешь вперед? — ворчали сзади.— Видишь, люди стоят.

— Э, дура, боишься, каша дома перепреет?

— Нет, ребята, у него Манька нынче заждалась!

— Народу-то сколько, ба-атюшки! И кто их столько нарожал, чертей? — изумлялся кто-то.

В порывах метели носились и обрывались сальные шутки, ругательства. Нетерпение росло, увеличивавшаяся толпа напирала сзади, и свободный круг перед воротами суживался. Отметчики ругались и осаживали народ назад.

К калитке прошел мастер литейной мастерской, толстый, с поднятым меховым воротником.

— Сторонись, ребята, начальство идет! — с ироническою почтительностью скомандовал кто-то.

— Брюхатое! — прибавил голос из толпы.

— Как бы, ребята, в калитке не застрял... Сторож, раскрой ворота!

Мастер не оборачивался и прятал голову в воротник, чувствуя на себе враждебное внимание принужденной ждать толпы.

Рядом со мною стоял токарь, лет сорока пяти, с черно-седою бородкою. Он сонно моргал глазами, и его худощавое лицо казалось при электрическом свете мертвенным; лицо было умное и хорошее, но глаза смотрели вяло, с глухим, глубоким равнодушием ко всему.

— Больно уж ты что-то уморился! — сказал я.

— С полночи работаю,— коротко ответил он.

— Что так?

— Прогулял два дня. Четыре рубля штрафу да четы-

ре заработку — восемь целковых... Нужно наверстывать.. До полночи посплю, а там опять пойду ось точить.

— Все работать... Когда же жить?

Он устало махнул рукою.

— Наша жизнь уж пропита!

— Три дня этак проработаешь — опять запьешь.

— Понятное дело...

За станцией, дрожа и покрывая свист метели, оглушительно загудел гудок. Толпа колыхнулась и устремилась к барьерам. Ворота распахнулись.

Теснясь и спеша, рабочие пятью узкими потоками двигались между барьерами к воротам. У конца барьеров сторожа обыскивали выходящих, быстро проводя у каждого рукою спереди и сзади. Мы с соседом втиснулись в барьер и продвинулись к выходу. Перед нами плотный и неуклюжий сторож тщательно и не торопясь ощупывал высокого рабочего.

— Да ты скоро? — сердито крикнул токарь.— Полчаса ждать тебя тут! Вшей, что ли, ты ищешь у него?

— Поговори у меня! — хладнокровно произнес сторож.

Он пропустил обысканного рабочего.

— Что стали? — крикнули сзади, напирая.

— Ну, дедо, держись!.. Дави, ребята!

— Черти! Кишки выдавили!..

Толпа стремительно наперла сзади и вытолкнула стоявшего впереди токаря, так что он проскочил мимо сторожа

Сторож повернулся быстро и неуклюже, как медведь, поймал токаря за рукав, а другою рукою сорвал с него шапку и отбросил ее далеко в снег.

У токаря блеснули глаза.

— Ах ты негодяй! — крикнул он.— А если я с тебя шапку сорву?!

— Знай порядок! Куда прешь? — грубо ответил сторож.

— Ступай подыми шапку! — яростно крикнул токарь. наступая на него.

Толпа грозно зароптала.

— А в контору хочешь? — выразительно спросил сторож.

— Вот тебе контора!

Токарь сорвал со сторожа картуз с бляхою и швырнул его навстречу метели.

Сторожа схватили токаря.

— Веди его в контору!

— Погодите, любезные, мы все в контору пойдем! — сказал я.— Мы там справимся, смеете ли вы с нас шапки срывать.

Старшего отметчика в проходной конторе не было: он как раз ушел за чем-то. Мы остановились в ожидании его у входа. Сторож стоял и крепко держал токаря за рукав.

— Не держи меня, я сам не уйду! — бешено крикнул токарь, вырывая руку.

— Ты у меня поговори! — пригрозил сторож и схватил его снова.

Сторож был теперь без шапки. Я вгляделся в него: крупные губы, странно знакомое лицо под волосами в скобку...

— Ванька, да это ты?! — с удивлением воскликнул я.

— Вот те и Ванька! — грубо ответил сторож.

Наши показания не повели ни к чему. Токаря уволили с завода, а сторож остался. Массивный и неуклюжий, он стоит у ворот, застыв в тупом величии. Этакого грубого скота я еще не встречал. Думаю, недолго до того, что как-нибудь в укромном месте его изобьют до полусмерти.

— Да, вот те и Ванька!..

1900

НА ЭСТРАДЕ

Большая зала была ярко освещена. На широкой эстраде за столиком с двумя свечами сидел писатель Осокин и, напрягая слабый голос, читал по книге отрывок из своего рассказа. Зала была переполнена публикою, но в ней было тихо, как в безветренную сентябрьскую ночь в поле. Когда Осокин отводил взгляд от книги, он видел внизу смутное море голов и сотни внимательных глаз, устремленных на него...

Осокин был бледен. Читал он неразборчиво и плохо, и на душе у него было странно: он читал самое задушевное и дорогое для него из всего им написанного; перед ним живьем находился тот невидимый, далекий читатель, которого ему так всегда хотелось увидеть; а между тем то, что читал Осокин, в его собственных ушах звучало чуждо и фальшиво, а слушатели казались совсем не теми читателями, для которых он писал.

Ему все больше хотелось поскорее кончить. Он стал пропускать одни фразы, комкать другие. Вот наконец абзац, отчеркнутый синим карандашом... Конец!

Осокин закрыл книгу и встал. Море голов сразу всколыхнулось, со стен и с потолка с оглушительным треском как будто посыпалась штукатурка: это загремели рукоплескания. Осокин неуклюже поклонился и, кусая губы, с бледным злым лицом вышел через маленькую дверцу в «артистическую».

Из залы неслись рукоплескания. Перед зеркалом молодая декольтированная дама, которой предстояло петь после Осокина, дрожащими от волнения руками оправляла прическу. Отыгравшая уже толстая дама-пианистка внимательно смотрела на Осокина. За столом с закусками распорядители угощали и занимали артистов и артисток.

Господин средних лет, с черною бородкою и в золотом пенсне, подхватил Осокина под руку и, оживленно говоря

что-то, сел с ним на диван. Осокин не знал, где и когда познакомился с господином, но тот держался с ним как хороший знакомый.

— С успехом!.. Вот это так успех! — говорил господин.— Слышите, как беснуются? Никому так не хлопали!.. Нужно выйти, раскланяться.

— Ну их к черту! — сердито ответил Осокин.

— Нельзя, Сергей Васильевич, нельзя! — произнес господин с улыбкою, с какою обращаются к милым, но ничего не понимающим детям.— Как-никак, а нужно уважать публику.

В артистическую вбежал распорядитель с розеткою в петлице.

— Всё вас зовут, кричат! — с почтительною улыбкою обратился он к Осокину.

— Пускай! Я не пойду! — упрашивающе сказал Осокин.

— Нет, нет, нет! Нельзя, никак нельзя! — неумолимо воскликнул господин в пенсне, шутливо взял Осокина под руку и заставил его встать.

Распорядитель приятно и почтительно улыбался.

— Барышни всю воду распили по глоткам из стакана, из которого вы отхлебнули во время чтения,— сказал он.

— Вот бабье! — презрительно усмехнулся Осокин, и углы его губ самодовольно задрожали.

Он вздохнул и пошел на эстраду. Зала загремела и заревела. Публика покинула места, теснилась вокруг эстрады и на самой эстраде. При входе Осокина толпа раздалась. Он видел вокруг свежие девические лица с устремленными на него блестящими, восторженными глазами.

— Осо-о-окин! Bis!! — зычным басом кричал высокий студент, старательно и оглушительно громко хлопая в ладоши.

— Bis! Bis! Осокин! — звенели женские голоса, и девушки хлопали, стараясь хлопать громче.

Осокин с сдержанною улыбкою неуклюже кланялся. Когда он повернулся, чтобы уйти, девушки загородили ему дорогу и, смеясь, продолжали хлопать и кричать «bis». Распорядитель высунулся и протянул Осокину книгу.

— Браво! Браво! Bi-i-i-is!! — радостно и еще сильнее закричали кругом.

Осокин, улыбаясь, развел руками и покорно раскрыл книгу.

— Шш-шш-шш!..— понеслось по зале.

Он помолчал, сделал серьезное лицо и стал читать из книги другой отрывок. Теперь то дорогое ему и задушевное, что было им написано, казалось Осокину красивым и эффектным, и он гордился, что мог так написать; публика стала близкою и милою, и в то же время он испытывал к ней снисходительно-презрительное чувство.

Овации и вызовы тянулись долго. Осокин читал еще три раза и наконец объявил, что у него нет больше голоса. Только тогда публика стала понемногу утихать.

На эстраду вышла декольтированная певица, с трубочкою нот в руках, в сопровождении аккомпаниатора во фраке.

Dans le printemps de mes années
Je meure, victime de l'amour...[1] —

запела она. Осокин вместе с господином в золотом пенсне прошел через значительно обезлюдевшую залу в буфет. Здесь было людно и шумно.

— Что ж, чайку, что ли, выпьем? — сказал Осокин.— Займите местечко, а я пойду чай добывать. Тут лакеев не полагается.

Вокруг длинного стола теснилась толпа; стол был заставлен стаканами и тарелками с бутербродами; за самоваром две распорядительницы разливали чай. Осокин вмешался в толпу и стал осторожно протискиваться к столу. Окружающие почтительно косились на него и давали дорогу; Осокин делал вид, что не замечает обращенных на него взглядов, и старался держаться так, как будто и не подозревал, что кто-нибудь из окружающих знает его.

— Виноват! — с особенно предупредительною и извиняющеюся улыбкою говорил он, если задевал кого локтем или загораживал дорогу выбирающемуся из толпы.

Наконец Осокин добрался до стола и попросил два стакана чаю. Стоявшая рядом девушка в голубой кофточке, перетянутой широким кожаным поясом, обернулась на звук его голоса, узнала Осокина и, сделав безразличное лицо, быстро отвернулась. Распорядительница налила два стакана; Осокин потянулся к ним мимо своей соседки. С тем же неестественно безразличным лицом девушка взяла стаканы и передала их Осокину, своими озабоченно нахмуренными

[1] На заре своей жизни умираю от любви... *(франц.)*

бровями показывая, что ей до него нет решительно никакого дела. И вдруг, в последний момент, когда Осокин брал из ее рук стаканы, девушка вспыхнула, в ее детски ясных глазах мелькнуло радостное смущение, и она быстро опустила глаза.

Осокин, скрывая улыбку, сел со стаканами к столику, где уже занял два места господин в пенсне. Подошли знакомые. Осокин разговаривал, чувствуя устремленные на себя со всех сторон внимательные взгляды. Эти взгляды совершенно парализовали все его обычные, естественные движения; тело стало пружинным, как у автомата. Осокин наблюдал за собою и с отвращением прислушивался к счастливому, довольному смеху, дрожавшему в глубине его груди

Напившись чаю, они пошли в залу послушать балалаечников. Осокин переходил из рук в руки, с ним знакомились наперерыв. Господин в пенсне сообщил ему, что с ним желает познакомиться графиня Энтведер-Одер. Он подвел к ней Осокина. Графиня усадила его рядом с собою и, играя лорнетом, заявила, что она «большая поклонница его прелестных произведений» и что давно искала случая познакомиться с ним.

Часы шли. Осокин ходил по залам с скромно-приветливым видом принца, соблюдающего всем известное инкогнито. Он чувствовал этот свой скромно-гордый вид, и отвращение все больше охватывало его. Но овладеть собою он не мог, и ноги против воли ступали по паркету с какою-то нелепою торжественностью. А кругом все по-прежнему — эти сотни устремленных на него почтительно-внимательных, любопытствующих взглядов.

На Осокина вдруг нашло странное настроение, которое иногда в людных местах неожиданно находило на него. Как будто что-то спало с его глаз, и все люди, даже близко знакомые, вдруг стали новыми, с какими-то странно-чуждыми и все выдающими лицами. И он с удивлением приглядывался к этим лицам и видел ярко отпечатанный на них душевный холод и беспросветное довольство собою. Что тянет этих людей к нему, и кто это сам он — этот мелкий, тщеславный человечек, гордящийся красотою и увлекательностью своего припечатанного к бумаге чувства?.. Осокин все сильнее чувствовал, что между ним и окружающими есть какая-то крепкая, тайная связь, есть безмолвное соглашение, которое каждый держал про себя и ни за что не высказал бы другому.

Вечер кончился. Толпа густым потоком повалила к выходу.

Осокин спускался в толпе по лестнице. Вдруг наверху, около перил, какой-то молодой сильный мужской голос крикнул на всю лестницу:

— Осо-окин!.. Ура!

Словно искра пробежала по всей веренице; раздался взрыв оглушительных рукоплесканий.

— Осо-окин!.. Осокин!..

Осокин, бледный и растерянный, остановился на площадке лестницы. Со всех сторон кричали:

— Спасибо!.. Спасибо вам!

Закусив губу и тяжело дыша, он молча смотрел на рукоплескавших и слушал обращенные к нему крики.

Рукоплескания становились гуще, сильнее и настойчивее. Толпа, спускавшаяся с площадки дальше по лестнице, остановилась и оборотилась к Осокину, загораживая ему дорогу. Все как будто ждали, чтоб Осокин сказал что-нибудь.

Осокин все больше бледнел и молча, не кланяясь, смотрел на кричавших. Что ему было сказать? Он знал, что̀ в таких случаях следовало говорить; дрожащим от волнения голосом он должен был объявить, что эта минута — лучшая в его жизни, что она составляет самую высшую награду за его труд. Но Осокин чувствовал, напротив, что эта минута — нечто ужасное, что она болезненно-ярко осветила перед ним все те сомнения и колебания, которые давно уже нарастали в душе.

Глаза его блеснули. Он вскочил на подоконник и стал говорить.

— Шш-шш-шш!..— нетерпеливо понеслось по лестнице. Вокруг стихло.

— Господа!..— начал Осокин, задыхаясь.— Я вижу, я всем вам очень чем-то угодил. Мне хотелось бы выяснить, чем именно заслужил я те восторги и овации, которыми вы сегодня так щедро осыпали меня... Идет великая рать бойцов на великое освободительное дело. Я — рядовой этой рати, ну, может быть, один из ее... барабанщиков, что ли? Но разве такие почести, какие вы сегодня воздали мне, выпадают на долю простым барабанщикам? Нет, дело тут в чем-то другом... За что же вы благодарите меня? За «чудные звуки», за наслаждение, которое я даю вам своими... «прелестными произведениями»? В таком случае, господа, вы ошиблись адресом. Идите к тем, для кого эти «чуд-

ные звуки» составляют цель и высшую правду; для меня же они — высшая ложь, самое ужасное *проклятие* искусства, и благодарить меня за доставляемое наслаждение — это злая насмешка или обидное признание моего бессилия. Я вовсе не хотел доставлять вам наслаждение,— я хотел вас мучить, терзать... Но нет, вы и не скажете, что благодарите меня за доставляемое наслаждение,—по крайней мере большинство из вас. Вы благодарите меня, конечно, за те «чувства добрые», которые я пробудил в вас великою силою искусства.

Да, сила искусства велика, но сила его—вовсе не в способности пробуждать «добрые чувства». Проклятая и развращающая сила искусства заключается в том, что оно самым невероятным образом перерождает и уродует всякое чувство, всякое душевное движение, вызываемое действительностью. Художник замахивается на жизнь бичом, но в момент удара бич его превращается в мягкую гирлянду душистых ландышей. Он подносит к людским сердцам огонь, способный зажечь и двинуть камень, а людские сердца в ответ начинают тлеть чуть теплым огоньком мягкой и бездеятельной душевной потрясенности. Подобно буферу вагона, искусство дает человеку возможность легко и приятно переживать все самые тяжелые душевные толчки. И вот за это-то буферное действие искусства вы в действительности так горячо и благодарите нас... Господа, будем говорить начистоту! Конечно, вас привлекает и захватывает в нас не красота. Что̀ красота! Мы вам даем возможность переживать чувства посильнее и поприятнее чисто эстетических. Вы переживаете с нами два самых высших счастья, какие только знает жизнь,— счастье борьбы и счастье всезахватывающей любви к человеку. И как дешево можно от нас получить это счастье — для этого не нужно ни бороться, ни любить! Притом счастье это, обработанное нашими руками, так гладко, тепло и комфортабельно! В жизни оно гораздо более шероховато и более жгуче. Раненый боец, уверяю вас, совершенно не замечает своей красивой позы, а только ощущает ужасно неприятную боль в ране; когда человек гибнет в правой борьбе, он вовсе не окружен тем всеобщим сочувствием, которое возбуждается к нему в читателях нашим изображением этой борьбы.

О, счастье их велико — счастье побежденных и измученных, но горячо верящих в грядущую победу... Но это счастье отличается от вашего счастья больше, чем лесной

пожар от потрескивающего в камине мирного огонька. Есть они, есть эти люди, суровые и бодрые, но — неужели это случайность? — как раз для них-то мы совершенно не нужны и в лучшем случае представляем лишь приятный десерт. А за десерт кто же станет так восторженно благодарить! Так благодарят лишь за хлеб, дающий жизнь... И вы благодарите нас именно за даваемую вам жизнь, которой нет в ваших собственных душах, за ту сытость, которую вы испытываете благодаря нам. Но ведь эта сытость — язва, насмерть убивающая душу, и получать за нее благодарности — самое тяжкое оскорбление!.. Что́ можете вы еще пережить в жизни? Художники — начиная с Толстого, Гюго, Достоевского и кончая нами, малыми,— дали вам легко и приятно пережить все самые тяжелые душевные катастрофы. И вы ими пресытились. Вы устали бороться, не боровшись, вы устали любить, не любивши. Вы все пережили бездеятельным чувством — и что же дивиться, что в суровой жизни вы скисаетесь быстрее, чем молоко во время грозы?

«Все это жестоко и несправедливо,— скажете вы.— Мы чувствуем светлые искры, зароненные в наши сердца, и за эти-то искры и благодарим...» Но в таком случае позвольте, господа! В чем же проявились эти возжженные искры? Чем заслужили вы право благодарить за них и... и чем заслужил я право принимать ваши благодарности? Это-то последнее, может быть, самое важное из всего; самое важное то, что здесь мы с вами тесные союзники. Жизнь вызывает в нас порыв броситься в битву, а мы этот порыв претворяем в красивый крик и несем его к вам... Давно сказано: «Слово писателя есть его дело». Может быть! Но суть-то в том, что дело это все-таки остается лишь словом, и в душе мы с вами прекрасно понимаем всю чудовищную неестественность этого дела-слова. Понимаем и молчим, потому что так выгоднее и приятнее. Там внизу дико бурлит и грохочет громадная жизнь. Наши арфы отзываются на этот грохот слабым, меланхолическим стоном и будят гармонический отклик в струнах ваших душ. Получается нежная, прекрасная музыка, и на душе становится тепло и уютно. Но неужели же вы не чувствуете, сколько душевного разврата в этой музыке, неужели вы не чувствуете, что принимать за нее благодарности стыдно? Нет, господа, простите, я не совсем еще потерял стыд, и вашей благодарности я не принимаю!..

1900

ЗАПИСКИ ВРАЧА

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

> Пастор. Неужели в вашем материнском сердце нет голоса, который бы запрещал вам разрушать идеалы вашего сына?
> Г-жа Альвинг. Что же тогда будет с правдой?
> Пастор. Что же тогда будет с идеалами?
> Г-жа Альвинг. Ах, идеалы, идеалы!
>
> *Г. Ибсен «Привидения»*

Предлагаемые «Записки» вызвали против меня среди некоторой части читателей бурю негодования: как мог я решиться в общей печати, перед профанами, с полною откровенностью рассказывать все, что переживает врач,— какую цель я при этом преследовал? Я должен был знать, что в публике и без того распространено сильное недоверие к медицине и врачам, разоблачения же, подобные моим «Запискам», могут только усилить это недоверие: уличные газеты, постоянно травящие врачей, с радостью ухватятся за сообщаемый мною материал, чтобы использовать его для своих темных целей; слухи могут дойти до низших слоев общества, до невежественного народа, и оттолкнуть его от медицины, в помощи которой он так нуждается. Автор, будучи сам врачом, должен бы понимать, что̀ он делает, подрывая в публике доверие к врачам и медицине.

К «Запискам врача» и к статье «По поводу «Записок врача» подстрочные примечания, за исключением особо оговоренных, принадлежат В. Вересаеву.— *Ред.*

Негодование это представляется мне очень знаменательным. Мы так боимся во всем правды, так мало сознаем ее необходимость, что стоит открыть хоть маленький ее уголок,— и люди начинают чувствовать себя неловко: для чего? какая от этого польза? что скажут люди непосвященные, как поймут они преподносимую правду?

С самого поступления моего на медицинский факультет, и еще больше — после выступления в практику, передо мною шаг за шагом стали подниматься вопросы, один другого сложнее и тяжелее. Я искал их разрешения во врачебных журналах, в книгах — и нигде не находил. Врачебная этика тщательно и педантически разрабатывала крохотный круг вопросцев, касающихся непосредственно отношений врача к пациенту и врачей между собою; все те вопросы, которые стояли передо мною, для нее почти совсем не существовали. Почему?.. Смешно сказать,— неужели, действительно, нужна была какая-то особенная проницательность или чуткость, чтобы заметить и поднять те вопросы, которых я касаюсь в «Записках»? Ведь эти вопросы бьют в глаза каждому врачу, ими мучится каждый врач, не совсем еще застывший в карьерном благополучии. Но почему же тем не менее о них не говорят, почему разрешения их каждый принужден искать в одиночку?

Мне кажется, тут возможно лишь одно объяснение: все боятся, что если поднимать и обсуждать подобные вопросы, то это может «подорвать доверие к врачам». И вот на самые серьезные и жгучие вопросы врачебного дела набрасывается непроницаемое покрывало, и о них молчат, как будто их совсем не существует. А между тем это систематическое замалчивание сделало и продолжает делать очень недоброе дело; из-за него нет самого главного,— нет той общей атмосферы, которая была бы полна сознанием неразрешенности этих вопросов и сознанием насущной, неотложной надобности их разрешения. Вопросы решаются в одиночку и втихомолку, вкривь и вкось, а чаще всего заглушаются без всякого разрешения. По поводу моих «Записок» мне приходилось слышать от врачей возражения, которые я положительно не решаюсь привести,— до того они дики и профессионально-эгоистичны; а слышать их мне приходилось от многих. Я думаю, подобные возражения могут выплывать лишь из того непроглядного, безгласного мрака, в котором мысль начинает шевелиться, лишь вплотную натолкнувшись на во-

прос; и трудно ждать, чтобы при таких условиях вопрос был охвачен сколько-нибудь широко.

Мне говорят: если вы считали необходимым поднять ваши вопросы, то почему вы не прибегли к специальной врачебной печати, зачем вы обратились с этими вопросами к профанам? Разрешить их профаны все равно не в состоянии, и им совсем даже не следует знать о существовании этих вопросов.

В средние века один вормсский врач, Ресслин, издал свой медицинский труд не на латинском языке, как тогда было в обычае, а на немецком; вполне сознавая всю возмутительность такой «профанации» своей науки, он в предисловии извинялся в этом перед читателями и убедительно просил их получше прятать его книгу, «чтоб она не попала в руки непосвященным, и чтоб таким образом бисер не метался перед свиньями».

Времена эти давно миновали; специальная печать пользуется теперь исключительно родным языком, доступным и понятным всякому «непосвященному». Напиши я свои «Записки», хотя бы и менее популярно, опубликуй я их в специальном издании,—все равно, общая пресса извлекла бы из них на вольный свет все «интересное»; разница была бы только та, что она придала бы фактам свое собственное освещение,— может быть, неверное и невежественное.

Впрочем, суть дела не в этом, суть вот в чем: почему профанам не следует знать о существовании указываемых вопросов? Кто дал кому право опекать профанов? Пускай публикуют свои «записки» судья, учитель, литератор, адвокат, путеец, полицейский пристав. Если мне скажут, что мне, как профану, вредно знать изнанку всех этих профессий, то я отвечу, что я не ребенок и что я сам вправе судить, что для меня вредно.

Узнав правду, профаны могут потерять доверие к врачам и медицине... Какой это старый-старый, негодный и все-таки всеми признаваемый способ — предписывать молчание из боязни, чтоб правда не поколебала авторитета! Как будто есть такой крепкий ящик, в котором можно наглухо запереть правду! Какими обручами ни оковывай ящик, он неудержимо разъедется по всем скрепам, и правда поползет из щелей — обезображенная, отрывочная, раздражающая своею неполнотою и заставляющая предполагать все самое худшее. Врачи тщательно оберегают публику от все-

го, что могло бы поколебать в ней веру в медицину. Ну и что же? Сильна в публике вера в медицину? Не подхватывает она всякую самую чудовищную сплетню о врачах, не предъявляет она к врачам самых нелепых обвинений и требований?

Для пользы *данного момента* иногда по необходимости приходится обманывать тяжелого больного; но общество в целом — не тяжелый больной, и минутную ложь нельзя возводить в постоянное правило. Одно из двух: либо правда может уменьшить веру в медицину и врачей потому, что медицина по самой своей сути не заслуживает подобной веры,— в таком случае правда полезна: ничего нет вреднее и ничто не несет с собою столько разочарований, как преувеличенная вера во что-нибудь; либо, во-вторых, правда может колебать веру во врачей потому, что указывает на устранимые, но не устраняемые темные стороны врачебного дела,— в таком случае правда *необходима:* если темные стороны будут устранены, то вера опять появится; пока же они не устранены, то полной веры и не должно быть. Повторяю здесь то, что я говорю в «Записках»: я лично не обращусь за помощью к только что кончившему врачу, не лягу под нож хирурга, делающего свою первую операцию, не позволю дать своему ребенку нового, мало испытанного средства, не позволю привить ему сифилис. Думаю, ни на что это не согласится и ни один из врачей. Раз же это так, то как можно скрывать все это от «непосвященных», как можно предоставлять им идти на то, от чего всякий «посвященный» благоразумно уклонится?

Что профаны не в состоянии разрешить поднимаемых вопросов,— это совершенно верно. Но профаны вправе требовать разрешения этих вопросов и интересоваться их разрешением: дело слишком близко касается их. Даже больше,— гласное обсуждение всех этих вопросов, по-моему, представляет единственную гарантию удовлетворительности их решения: если решать будут одни врачи, то они легко могут впасть в бо̀льшую или меньшую односторонность.

Мне предъявляют еще другое обвинение. Одна распространенная врачебная газета утверждает, что я «непозволительно обобщаю единичные факты из врачебной практики», что я, «неизвестно для чего», позволяю себе «несомненные преувеличения и чрезмерное сгущение красок». С таким обвинением приходится, разумеется, считаться самым серьез-

ным образом; к сожалению, оно высказано совершенно голословно, так что возражать на него довольно трудно. Возможность подобных обвинений я предвидел с самого начала и, в прямой ущерб изложению, обильно уснастил свои «Записки» цитатами, как мне кажется, достаточно характерными и убедительными. В общей печати мне даже пришлось встретить упрек, что я «вдаюсь в чересчур большие подробности» и что «Записки» мои «смахивают временами на специальную статью в медицинском журнале». Если я не привожу еще больше подтверждений правильности моих «обобщений», то во всяком случае никак уже не за недостатком таких подтверждений.

Петербург,
Апрель 1901 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВЕНАДЦАТОМУ ИЗДАНИЮ

Двадцать семь лет прошло со времени выхода в свет этой книги; в промежуток этих лет легли события, глубокою пропастью отделившие вопросы и интересы прежние от нынешних. А книга продолжает требовать все новых изданий; диспуты, посвященные ее обсуждению, проходят при переполненных аудиториях. Очевидно, вопросы, задеваемые книгою, не отжили своего срока, продолжают интересовать и волновать читателей, требовать своего разрешения,— хотя, быть может, и в несколько иных плоскостях, чем прежде.

На некоторых из этих вопросов я считал бы нужным тут остановиться.

И на диспутах и в частных разговорах мне нередко приходится в последние годы слышать такого рода возражения:

— Вы выказываете слишком много заботы об отдельной личности. Это — индивидуализм. Надо стоять на точке зрения коллектива. Всякое серьезное, важное для жизни дело требует жертв. Возможна ли, напр., революция без жертв? Нам нет дела до блага отдельных лиц. Важно благо коллектива.

Так сейчас говорят очень многие.

Есть два рода коллективизма: коллективизм пчел, муравьев, стадных животных, первобытных людей — и тот коллективизм, к которому стремимся мы. При первом коллективизме личность, особь — полнейшее ничто, она никого не интересует. Трутней в ульях кормят до тех пор, пока они нужны для оплодотворения матки; после этого их беспощадно убивают или выгоняют из улья, осуждая на голодную

смерть. Стадные животные равнодушно бросают больных членов стада и уходят дальше. Так же поступали дикие кочевые племена с заболевшими или одряхлевшими сородичами. Можем ли мы принять такой коллективизм? Конечно, нет. Мы прекрасно понимаем, что коллектив сам по себе есть не иное что, как отвлечение. У него нет собственного сознания, собственного чувствилища. Радоваться, наслаждаться, страдать он способен только в сознании членов коллектива. Главный смысл и главная цель нашего коллективизма заключается как раз в гарантировании для личности возможностей широчайшего ее развития. В первобытнолюдском и животном коллективе попрание интересов особи есть не только *право* коллектива, но даже его обязанность. Для нас это — только *печальная необходимость*, и чем будет ее меньше, тем лучше. Нам покажется диким отвернуться от старика, всю свою жизнь проработавшего для коллектива и теперь ставшего ему ненужным. Он для нас — не отработавшая в машине гайка, которую за ненадобностью можно выбросить в канаву, он для нас — брат, товарищ, и мы должны для него сделать все, что можем.

Прямо поражает легкомыслие, с каким сейчас относятся к этому вопросу многие. «Никакое серьезное дело не обходится без жертв. Какая бы без жертв возможна была революция?» Верно. Но ведь в революции мы боремся против *врага*. Не мы его, так он нас. А попробуйте, соберите самых закаленных революционеров, твердо убежденных в необходимости жертв во всяком серьезном деле,— соберите их и скажите:

— Если вы придете в больницу, то, может быть, мы будем вас лечить, а может быть, отдадим в руки молодому, неопытному врачу, который на вас произведет первую свою операцию. Вашей жене или дочери мы, может быть, привьем в экспериментальных целях сифилис. Над вашим ребенком испробуем новое, мало исследованное средство. Ничего не поделаешь. Медицина без этого не может развиваться. Всякое серьезное дело требует жертв.

Попробуйте, скажите так,— и вы увидите, что̀ вам ответят закаленные революционеры, вполне убежденные в необходимости жертв во всяком серьезном деле.

Случайно в книге моей оказался незатронутым очень острый в нашем деле вопрос о врачебной тайне. Следует о нем высказаться хоть бы здесь.

Раньше в вопросе о врачебной тайне у нас царила точка зрения, которую энергично отстаивал профессор В. А. Манасеин в редактировавшейся им газете «Врач». Газета эта сыграла огромную положительную роль в общественном и моральном воспитании русских врачей, заслуги Манасеина в этом отношении неоценимы. Однако в вопросе о врачебной тайне он занимал позицию совершенно антиобщественную. Манасеин стоял за абсолютное сохранение врачебной тайны при всех обстоятельствах. Он мотивировал это тем соображением, что только при полнейшей уверенности в сохранении его тайны больной будет говорить врачу всю о себе правду.

Манасеин в этой области не останавливался перед самыми крайними выводами. Помню два таких примера.

К частному глазному врачу обратился за помощью железнодорожный машинист. Исследуя его, врач попутно открыл, что больной страдает дальтонизмом. Это — недостаток зрения, при котором человек не может различать некоторых цветов, чаще всего не может отличать зеленого цвета от красного. Но, как известно, вся железнодорожная сигнализация основана как раз на различении зеленого цвета от красного; зеленый флаг или фонарь знаменует свободный путь, красный — дает сигнал, что грозит опасность. Врач сообщил машинисту о его болезни и сказал, что ему нужно отказаться от работы машиниста. Больной ответил, что он никакой другой работы не знает и от службы отказаться не может. Что должен был сделать врач? Манасеин отвечал: «Молчать. Виновато железнодорожное управление, что оно не устраивает периодических врачебных осмотров своих служащих. А врач не имеет права выдавать тайн, которые узнал благодаря своей профессии, это — предательство по отношению к больному».

Другой случай — такой. К одному парижскому врачу-профессору обратился за советом жених его дочери. У молодого человека оказался сифилис. Профессор заявил ему, что теперь о браке с его дочерью ему нечего и думать. Молодой человек ответил: «Нет, я все-таки хочу жениться на вашей дочери. А от вас требую сохранения врачебной тайны, которую вы, как врач, не имеете права нарушить». Профессор ответил: «Вы правы, нарушить врачебной тайны я не могу. Но знайте,— при первой же встрече я публично дам вам пощечину. Таким образом свадьба ваша все равно расстроится». Манасеин с большим удовлетворением при-

водил в своей газете этот ответ профессора, как остроумный способ разрешения конфликта, казалось бы, неразрешимого. Но ведь тайну нарушает врач не только тогда, когда непосредственно разглашает ее словами, а вообще, когда действует, зная ее, не так, как бы действовал, если бы тайны не знал. Своею угрозою профессор все равно нарушал доверенную ему врачебную тайну.

Для нас точка зрения Манасеина на врачебную тайну представляется совершенно неприемлемою. Где сохранение врачебной тайны грозит вредом обществу или окружающим больного лицам, там не может быть никакой речи о сохранении врачебной тайны. Вопрос о врачебной тайне безусловно должен регулироваться соображениями общественной целесообразности.

В настоящее время по вопросу о врачебной тайне у нас царит точка зрения, диаметрально противоположная точке зрения Манасеина. Эту новую точку зрения энергично отстаивает в своих выступлениях наркомздрав Н. А. Семашко. На одном диспуте, состоявшемся в Москве в январе 1928 г., Н. А. Семашко, как сообщают газетные отчеты, говорил, напр., так:

«— *Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны. Врачебной тайны не должно быть.* Это вытекает из нашего основного лозунга, что «болезнь — не позор, а несчастие». Но, как и везде, в наш переходный период мы и в эту область вносим поправки, обусловленные бытовыми пережитками. Каждый врач должен сам решать вопрос о пределах этой «тайны».

«Проф. А. И. Абрикосов,— продолжает газетный отчет,— от имени московской профессуры полностью солидаризировался со словами наркома и этим как бы признал вопрос исчерпанным».

Я лично никак не могу признать этим вопрос исчерпанным. Сам вопрос ставится в корне неправильно. Если сохранение врачебной тайны является общественно вредным, то сохранять ее не следует. И в таком случае совершенно безразлично, как смотрит на свою болезнь больной,— как на «позор», или как на «несчастие». Если же сохранение тайны никаким общественным вредом не грозит, то врач *обязан* сохранять вверенную ему больным тайну, как бы он сам ни смотрел на данную болезнь,— как на «позор», или как на «несчастие».

Точка зрения, энергично выдвигаемая Н. А. Семашко,

на практике, в рядовой массе врачей, ведет к ужасающему легкомыслию и к возмутительнейшему пренебрежению к самым законным правам больного. После диспута в одном большом провинциальном городе, где один из моих оппонентов энергично выдвигал нынешнюю точку зрения на врачебную тайну, ко мне подошла девушка и, сильно волнуясь, сказала:

— Вы меня сегодня видите в первый и последний раз. Я вам скажу все.

И рассказала, что она страдает известным тайным пороком, это ее очень мучило, она обратилась за помощью к врачу. Через несколько времени она узнает от подруги, что врач этот свободнейшим образом рассказывает направо и налево об ее болезни. Она возмутилась и пошла к врачу за объяснениями. Он чуть-чуть смутился, но сейчас же оправился и ответил ей: «Наша советская медицина врачебной тайны не признает. Ваша болезнь не позор, а несчастие, и стыдиться ее совершенно нечего». Как, правильно поступил этот врач? Я ответил:

— Негодяй,— никакого об этом не может быть и спора!

Повторяю: если нет в соблюдении тайны никакого вреда для общества или для окружающих больного, то совершенно не дело врача решать, «позор» ли, или «несчастие» болезнь его пациента. Это имеет полное право решать сам пациент, не справляясь со взглядами врача. Жизнь бесконечно сложна, невозможно даже себе представить всего многообразия случаев, когда нарушение тайны больного может иметь для него очень тяжелые последствия, никакой не принося пользы обществу. Беременность, аборт, излеченный сифилис,— в конце концов почти всякая болезнь, всякая рана. Мало ли как могут сложиться обстоятельства. Помню, однажды поздно вечером ко мне явился приятель и просил немедленно поехать с ним на его квартиру. Там я застал одну общую нашу знакомую. У нее была прострелена револьверною пулею левая грудь. Вправе ли были оба рассчитывать, что я буду молчать о том, что увидел? Конечно. Преступления не могло тут быть,— обе стороны хотели скрыть происшедшее. А до остального — какое мне дело? Какое я имею право мешаться в чужие дела? Я тут обязан был молчать и никому не рассказывать о виденном.

Положение: «Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны» — никоим образом не может быть принято. Напротив, основным положением в данном вопросе

должно быть: «Врач обязан хранить вверенную ему больным тайну». Но к этому одно существенное ограничение: «Если сохранение тайны грозит вредом обществу или окружающим больного, то врач не только может, но и должен нарушить тайну». Однако в каждом таком случае врач должен суметь дать и перед больным и перед собственною своею совестью точный и исчерпывающий ответ, на каком основании он нарушил вверенную ему больным тайну.

9 марта 1928 г.
Москва.

Я кончил курс на медицинском факультете семь лет назад. Из этого читатель может видеть, чего он вправе ждать от моих записок. Записки мои — это не записки старого, опытного врача, подводящего итоги своим долгим наблюдениям и размышлениям, выработавшего определенные ответы на все сложные вопросы врачебной науки, этики и профессии; это также не записки врача-философа, глубоко проникшего в суть науки и вполне овладевшего ею. Я — обыкновеннейший средний врач, со средним умом и средними знаниями; я сам путаюсь в противоречиях, я решительно не в силах разрешить многие из тех тяжелых, настоятельно требующих решения вопросов, которые возникают предо мною на каждом шагу. Единственное мое преимущество,— что я еще не успел стать человеком профессии и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь. Я буду писать о том, что испытывал, знакомясь с медициной, чего я ждал от нее и что она мне дала, буду писать о своих первых самостоятельных шагах на врачебном поприще и о впечатлениях, вынесенных мною из моей практики. Постараюсь писать *все*, ничего не утаивая, и постараюсь писать искренне.

I

Я учился в гимназии хорошо, но, как и большинство моих товарищей, науку гимназическую презирал до глубины души. Наука эта была для меня тяжелою и неприятною повинностью, которую для чего-то необходимо было отбыть, но которая сама по себе не представляла для меня решительно никакого интереса; что мне было до того, в каком веке написано «Слово Даниила Заточника», чей сын был

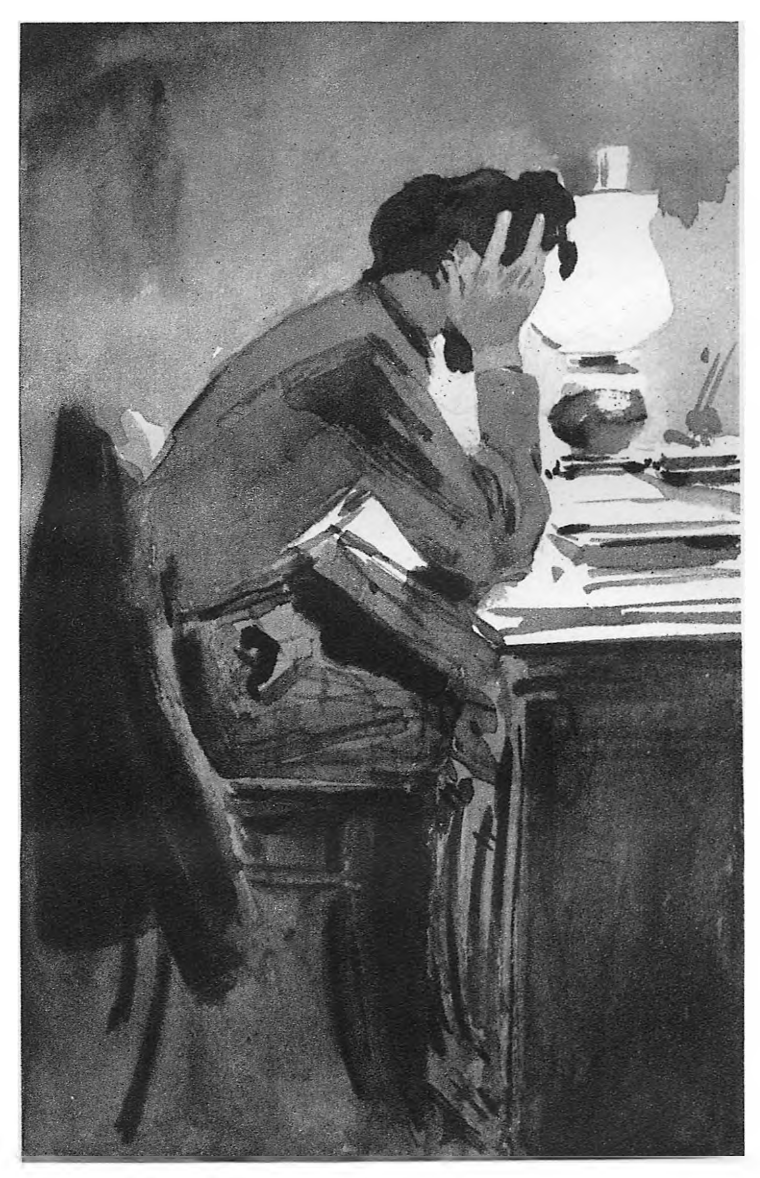
Оттон Великий и как будет страдательный залог от «persuadeo tibi» *? Развитие мое шло помимо школы, помимо школы приобретались и интересовавшие меня знания.

Все это резко изменилось, когда я поступил в университет. На первых двух курсах медицинского факультета читаются теоретические естественнонаучные предметы — химия, физика, ботаника, зоология, анатомия, физиология. Эти науки давали знание настолько для меня новое и настолько важное, что совершенно завладели мною: все вокруг меня и во мне самом, на что я раньше смотрел глазами дикаря, теперь становилось ясным и понятным: и меня удивляло, как я мог дожить до двадцати лет, ничем этим не интересуясь и ничего не зная. Каждый день, каждая лекция несли с собою новые для меня «открытия»: я был поражен, узнав, что мясо, то самое мясо, которое я ем в виде бифштекса и котлет, и есть те таинственные «мускулы», которые мне представлялись в виде каких-то клубков сероватых нитей; я раньше думал, что из желудка твердая пища идет в кишки, а жидкая — в почки; мне казалось, что грудь при дыхании расширяется оттого, что в нее какою-то непонятною силою вводится воздух; я знал о законах сохранения материи и энергии, но в душе совершенно не верил в них. Впоследствии мне пришлось убедиться, что и большинство людей имеет не менее младенческое представление обо всем, что находится перед их глазами, и это их не тяготит. Они покраснеют от стыда, если не сумеют ответить, в каком веке жил Людовик XIV, но легко сознаются в незнании того, что такое угар и отчего светится в темноте фосфор.

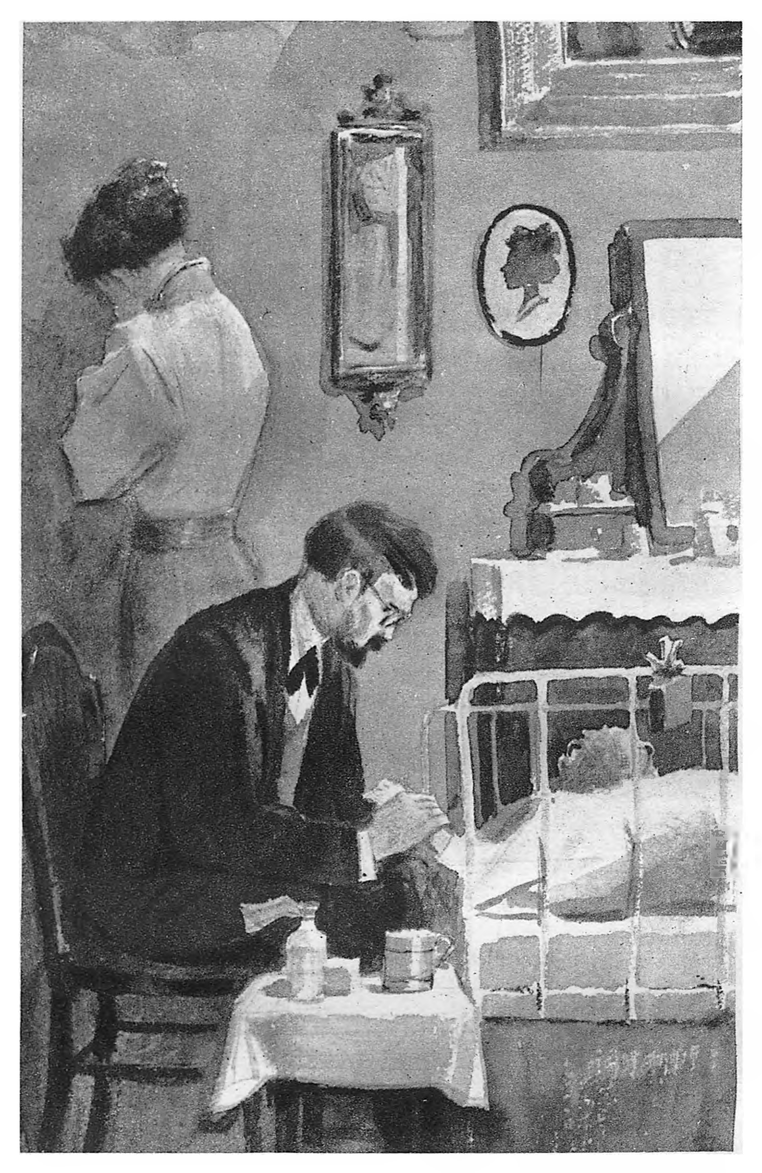
Что касается анатомии, то часто приходится слышать, какою тяжелою и неприятною стороною ее изучения является необходимость препарировать трупы. Действительно, некоторые из товарищей довольно долго не могли привыкнуть к виду анатомического театра, наполненного ободранными трупами с мутными глазами, оскаленными зубами и скрюченными пальцами; одному товарищу пришлось даже перейти из-за этого на другой факультет: он стал страдать галлюцинациями, и ему казалось по ночам, что из всех углов комнаты к нему ползут окровавленные руки, ноги и головы. Но лично я привык к трупам довольно скоро и с увлечением просиживал целые часы за препаровкою, раскрывавшею передо мною все тайны человеческого тела; в тече-

---

* Уверяю тебя *(лат.)*.— *Ред.*



«ЗАПИСКИ ВРАЧА».



«ЗАПИСКИ ВРАЧА».

ние семи-восьми месяцев я ревностно занимался анатомией, целиком отдавшись ей,— и на это время взгляд мой на человека как-то удивительно упростился. Я шел по улице, следя за идущим передо мною прохожим, и он был для меня не более, как живым трупом: вот теперь у него сократился glutaeus maximus, теперь — quadriceps femoris; эта выпуклость на шее обусловлена мускулом sternocleidomastoideus; он наклонился, чтобы поднять упавшую тросточку,— это сократились musculi recti abdominis и потянули к тазу грудную клетку. Близкие, дорогие мне люди стали в моих глазах как-то двоиться; эта девушка,— в ней столько оригинального и славного, от ее присутствия на душе становится хорошо и светло, а между тем все, составляющее ее, мне хорошо известно, и ничего в ней нет особенного: на ее мозге те же извилины, что и на сотнях виденных мною мозгов, мускулы ее так же насквозь пропитаны жиром, который делает столь неприятным препарирование женских трупов, и вообще в ней нет решительно ничего привлекательного и поэтического.

Еще более сильное впечатление, чем предлагаемые знания, произвел на меня метод, царивший в этих знаниях. Он вел вперед осторожно и неуклонно, не оставляя без тщательной проверки самой ничтожной мелочи, строго контролируя каждый шаг опытом и наблюдением: и то, что в этом пути было пройдено, было пройдено окончательно, возможности не было, что придется воротиться назад. Метод этот так обаятельно действовал на ум потому, что являлся не в виде школьных правил отвлеченной логики, а с необходимостью вытекал из самой сути дела: каждый факт, каждое объяснение факта как будто сами собою твердили золотые слова Бэкона: «non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, quid natura faciat aut ferat,— не выдумывать, не измышлять, а искать, что делает и несет с собою природа». Можно было не знать даже о существовании логики,— сама наука заставила бы усвоить свой метод успешнее, чем самый обстоятельный трактат о методах; она настолько воспитывала ум, что всякое уклонение от прямого пути в ней же самой,— вроде «непрерывной зародышевой плазмы» Вейсмана или теорий зрения,— прямо резало глаза своею ненаучностью.

На втором курсе подготовительные, теоретические предметы закончились. Я сдал полулекарский экзамен. Начались занятия в клиниках.

Здесь характер получаемых знаний резко изменился. Вместо отвлеченной науки на первый план выдвинулся живой человек; теории воспаления, микроскопические препараты опухолей и бактерий сменились подлинными язвами и ранами. Больные, искалеченные, страдающие люди бесконечною вереницею потянулись перед глазами; легких больных в клиники не принимают,— все это были страдания тяжелые, серьезные. Их обилие и разнообразие произвели на меня ошеломляющее действие; меня поразило, какая существует масса страданий, какое разнообразие самых утонченных, невероятных мук заготовила нам природа,— мук, при одном взгляде на которые на душе становилось жутко

Вскоре после начала клинических занятий в клинику старших курсов был положен огородник, заболевший столбняком. Мы ходили смотреть его. В палате стояла тишина. Больной был мужик громадного роста, плотный и мускулистый, с загорелым лицом; весь облитый потом, с губами, перекошенными от безумной боли, он лежал на спине, ворочая глазами; при малейшем шуме, при звонке конки на улице или стуке двери внизу больной начинал медленно выгибаться: затылок его сводило назад, челюсти судорожно впивались одна в другую, так что зубы трещали, и страшная, длительная судорога спинных мышц приподнимала его тело с постели; от головы во все стороны расходилось по подушке мокрое пятно от пота. Две недели назад больной работал босиком на огороде и занозил себе большой палец ноги; эта пустячная заноза вызвала то, что я теперь видел.

Ужасно было не только то, что существуют подобные муки; еще ужаснее было то, как *легко* они приобретаются, как мало гарантирован от них самый здоровый человек. Две недели назад всякий бы позавидовал богатырскому здоровью этого самого огородника... Шел по двору крепкий парень-конюх, поскользнулся и ударился спиною о корыто,— и вот он уже шестой год лежит у нас в клинике: ноги его висят, как плети, больной ими не может двинуть, он мочится и ходит под себя; беспомощный, как грудной ребенок, он лежит так дни, месяцы, годы, лежит до пролежней, и нет надежды, что когда-нибудь воротится прежнее... Вот акцизный чиновник с воспалением седалищного нерва, доведенный страданиями до бешенства, кричит профессору:

— Подлецы вы все, шарлатаны! Да убейте же вы меня, ради создателя,— одного только я у вас прошу!

В хороший летний вечер он посидел на росистой траве. .

Каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности: защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше — это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды; незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку.

Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно «случайностью»; при настоящих же условиях болеют все: бедные болеют от нужды, богатые — от довольства; работающие — от напряжения, бездельники — от праздности; неосторожные — от неосторожности, осторожные — от осторожности. Во всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. В Бостоне были исследованы зубы у четырех тысяч школьников, и оказалось, что здоровые зубы, особенно у детей старше десяти лет, *составляют исключение;* в Баварии среди пятисот учеников народных школ было найдено лишь *трое* с совершенно здоровыми зубами. Д-р Бабес вскрыл в будапештской больнице сто детских трупов, и у семидесяти четырех из них он нашел в бронхиальных железах туберкулезные палочки; а все эти сто детей умерли от различных не туберкулезных болезней... Уж дети встают после сна с «заспанными», гноящимися глазами; уже ребенком каждый страдает хроническим насморком и не может обойтись без носового платка,— всех прямо удивила бы мысль, что здоровому человеку носовой платок совершенно не нужен. Что же касается достигших зрелости женщин, то они уже нормально, физиологически осуждены каждый месяц болеть в течение нескольких дней.

С новым и странным чувством я приглядывался к окружавшим меня людям, и меня все больше поражало, как ма-

ло среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомненнее: нормальный человек — это человек больной; здоровый представляет собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы.

Когда я в первый раз приступил к изучению теоретического акушерства, я, раскрыв книгу, просидел за нею всю ночь напролет; я не мог от нее оторваться; подобный тяжелому, горячечному кошмару, развертывался передо мною «нормальный», «физиологический» процесс родов. Брюшные органы, скомканные и придавленные беременною маткою, типически-болезненные родовые потуги, весь этот ужасный, кровавый путь, который ребенок проходит при родах, это невероятное несоответствие размеров — все здесь было чудовищно ненормально, вплоть до тех рубцов на животе, по которым узнается хоть раз рожавшая женщина... Помню хорошо, как сегодня, и первые роды, на которых я присутствовал. Роженица была молодая женщина, жена мелкого почтового чиновника, второродящая... Она лежала на спине, с обнаженным громадным животом, беспомощно уронив руки, с выступившими на лбу капельками пота; когда ее схватывали потуги, она сгибала колени и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала.

— Ну, ну, сударыня, потерпите немножко! — невозмутимо-спокойным голосом уговаривал ее ассистент.

Ночь была бесконечно длинна. Роженица уж перестала сдерживаться; она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая пальцы; стоны отдавались в коридоре и замирали где-то далеко под сводами. После одного особенно сильного приступа потуг больная схватила ассистента за руку; бледная, с измученным лицом, она смотрела на него жалким, умоляющим взглядом.

— Доктор, скажите, я не умру? — спрашивала она с тоскою.

Утром в клинику пришел наведаться о состоянии роженицы ее муж, взволнованный и растерянный. Я присматривался к нему с тяжелым, неприязненным чувством; это был у них второй ребенок,— значит, он *знал*, что жене его предстоят все эти муки, и все-таки пошел на это... Только поздно вечером роды стали приходить к концу. Показалась головка, все тело роженицы стало судорожно сводиться в отчаянных усилиях вытолкнуть из себя ребенка; ребенок, наконец,

вышел; он вышел с громадною кровяною опухолью на левой стороне затылка, с изуродованным, длинным черепом. Роженица лежала в забытьи, с надорванною промежностью, плавая в крови.

— Роды были легкие и малоинтересные,— сказал ассистент.

Это все тоже было «нормально»!.. И дело тут не в том, что «цивилизация» сделала роды труднее: в тяжелых муках женщины рожали всегда, и уж древний человек был поражен этой странностью и не мог объяснить ее иначе, как проклятьем бога.

Описанные впечатления ложились на душу одно за другим, без перерыва, все усиливая густоту красок.

Однажды ночью я проснулся. Мне снилось, что я шел по какому-то узкому, темному переулку: на меня наехала карета, ударила дышлом в бок, и у меня образовался pneumothorax. Я сел на постели. Бледная ночь смотрела в окно; вентилятор, перетерший смазку, наполнял тишину яростным, прерывистым хрипом; в кухне плакал больной ребенок квартирной хозяйки. Все виденное и передуманное в последнее время вдруг встало предо мною, и я ужаснулся, до чего человек не защищен от случайностей, на каком тонком волоске висит всегда его здоровье. Только бы его, здоровья,— с ним ничего не страшно, никакие испытания; его потерять — значит потерять все; без него нет свободы, нет независимости, человек становится рабом окружающих людей и обстановки; оно — высшее и необходимейшее благо, а между тем удержать его так трудно! Пришлось бы *всю жизнь*, все силы положить на это; но ведь обидно и смешно ставить себе это целью жизни. Притом, все равно ничего не достигнешь даже в том случае, если только для этого и жить. Беречься? Но этим теряешь приспособляемость; птица безнаказанно спит под дождем, мокрая до последнего перышка, мы бы при таких условиях получили смертельную простуду. Да и как беречься? Мы *ничего* не знаем, отчего происходят рак, саркома, масса нервных страданий, сахарная болезнь, большинство мучительных кожных болезней. Как ни берегись, а может быть, через год в это время я уже буду лежать, пораженный pemphigo foliaceo; вся кожа при этой болезни покрывается вялыми пузырями; пузыри лопаются и обнажают подкожный слой, который больше не зарастает; и человек, лишенный кожи, не знает, как сесть, как лечь, потому что самое легкое прикосновение к телу вызывает

жгучие боли. Об этом смешно думать? Но ведь и тот больной с pemphigus'ом, которого я на днях видел в клинике, полгода назад тоже был совершенно здоров и не ждал беды. Ни один час здоровья нам не гарантирован. Между тем хочется жить, жить и быть счастливым, а это невозможно... И для чего любовь со всей поэзией и счастьем? Для чего любовь, если от нее столько мук? Да неужели же «любовь» является не насмешкою над любовью, если человек решается причинять любимой женщине те муки, которые я видел в акушерской клинике? Страданье, страданье без конца, страданье во всевозможных видах и формах — вот в чем вся суть и вся жизнь человеческого организма.

Вскоре это страданье встало передо мною в реальной форме. У меня на левой руке под мышкою находилась небольшая родинка; ни с того, ни с сего она вдруг начала расти, стала болезненной; я боялся верить глазам, но она с каждым днем увеличивалась и становилась все болезненнее; опухоль достигла величины лесного ореха. Сомнения быть не могло: из родинки у меня развивалась саркома,— та страшная меланосаркома, которая обыкновенно и развивается из невинных родинок. Как на эшафот, пошел я на прием к нашему профессору-хирургу.

— Профессор, у меня, кажется... саркома на руке,— сказал я обрывающимся голосом.

Профессор внимательно посмотрел на меня.

— Вы медик третьего курса? — спросил он.

— Да.

— Покажите вашу саркому.

Я разделся. Профессор срезал ножницами тонкую ножку, на которой держалась опухоль.

— Вы себе натерли родинку рукавом,— больше ничего. Возьмите себе на память вашу саркому,— добродушно улыбнулся он, подавая мне маленький мясистый комочек.

Я ушел сконфуженный и радостный, и стыдно мне было за мою ребяческую мнительность. Но спустя некоторое время я стал замечать, что со мною творится что-то неладное: появилась общая вялость и отвращение к труду, аппетит был плох, меня мучила постоянная жажда; я начал худеть; по телу то там, то здесь стали образовываться нарывы; мочеотделение было очень обильное; я исследовал мочу на сахар,— сахара не оказалось. Все симптомы весьма подходили к несахарному мочеизнурению (diabetes insipidus). С тяжелым чувством перечитывал я главу об этой болезни

в учебнике Штрюмпеля: «Причины несахарного мочеизнурения еще совершенно темны... Большинство больных принадлежит к юношескому и среднему возрасту; мужчины подвержены этой болезни несколько чаще женщин... Родство этой болезни с сахарною болезнью очевидно; иногда одна из них переходит в другую... Болезнь может тянуться годы и даже десятки лет; исцеления крайне редки»...

Я пошел к профессору-терапевту. Не высказывая своих подозрений, я просто рассказал ему все, что со мною делается. По мере того как я говорил, профессор все больше хмурился.

— Вы полагаете, что у вас diabetes insipidus,— резко сказал он.— Это очень хорошо, что вы так прилежно изучаете Штрюмпеля: вы не забыли решительно ни одного симптома. Желаю вам так же хорошо ответить о диабете на экзамене. Поменьше курите, больше ешьте и двигайтесь и бросьте думать о диабете.

II

Предметом нашего изучения стал живой, страдающий человек. На эти страдания было тяжело смотреть; но вначале еще тяжелее было то, что именно эти-то страдания и нужно было изучать. У больного с вывихом плеча — порок сердца; хлороформировать нельзя, и вывих вправляют без наркоза; фельдшера крепко вцепились в больного, он бьется и вопит от боли, а нужно внимательно следить за приемами профессора, вправляющего вывих; нужно быть глухим к воплям оперируемого, не видеть корчащегося от боли тела, душить в себе жалость и волнение. С непривычки это было очень трудно, и внимание постоянно двоилось; приходилось убеждать себя, что ведь это *не мне* больно, что ведь я совершенно здоров, а больно *другому*. Потоки крови при хирургических операциях, стоны рожениц, судороги столбнячного больного — все это вначале сильно действовало на нервы и мешало изучению; ко всему этому нужно было привыкнуть.

Впрочем, привычка эта вырабатывается скорее, чем можно бы думать, и я не знаю случая, чтобы медик, одолевший препаровку трупов, отказался от врачебной дороги вследствие неспособности привыкнуть к стонам и крови. И слава богу, разумеется, потому что такое относительное «очерствение» не только необходимо, но прямо желательно;

об этом не может быть и спора. Но в изучении медицины на больных есть другая сторона, несравненно более тяжелая и сложная, в которой далеко не все столь же бесспорно.

Мы учимся на больных; с этой целью больные и принимаются в клиники; если кто из них не захочет показываться и давать себя исследовать студентам, то его немедленно, без всяких разговоров, удаляют из клиники. Между тем так ли для больного безразличны все эти исследования и демонстрации?

Разумеется, больного при этом стараются по возможности щадить. Но дело тут не в одном только непосредственном вреде. Передо мною встает полутемная палата во время вечернего обхода; мы стоим с стетоскопами в руках вокруг ассистента, который демонстрирует нам на больном амфорическое дыхание. Больной — рабочий бумагопрядильной фабрики — в последней стадии чахотки; его молодое, страшно исхудалое лицо слегка синюшно; он дышит быстро и поверхностно; в глазах, устремленных в потолок, сосредоточенное, ушедшее в себя страдание.

— Если вы приставите стетоскоп к груди больного,— объясняет ассистент,— и в то же время будете постукивать рядом ручкою молоточка по плессиметру, то услышите ясный, металлический, так называемый «амфорический» звук... Пожалуйста, коллега! — обращается он к студенту, указывая на больного.— Ну-ка, голубчик, повернись на бок!.. Поднимись, сядь!..

И режущим глаза контрастом представляется это одинокое страдание, служащее предметом равнодушных объяснений и упражнений; кто другой, а сам больной чувствует этот контраст очень сильно.

Но вот больной умирает. Те же правила, которые требуют от больных, чтобы они беспрекословно давали себя исследовать учащимся, предписывают также обязательное вскрытие всякого, умершего в университетской больнице.

Каждый день по утрам в прихожей и у подъезда клиники можно видеть просительниц, целыми часами поджидающих ассистента. Когда ассистент проходит, они останавливают его и упрашивают отдать им без вскрытия умершего ребенка, мужа, мать. Здесь иногда приходится видеть очень тяжелые сцены... Разумеется, на все просьбы следует категорический отказ. Не добившись ничего от ассистента, просительница идет дальше, мечется по всем начальствам, до-

бирается до самого профессора и падает ему в ноги, умоляя не вскрывать умершего:

— Ведь болезнь у него известная,— что ж его еще после смерти терзать?

И здесь, конечно, она встречает тот же отказ: вскрыть умершего необходимо,— без этого клиническое преподавание теряет всякий смысл. Но для матери вскрытие ее ребенка часто составляет не меньшее горе, чем сама его смерть; даже интеллигентные лица большею частью крайне неохотно соглашаются на вскрытие близкого человека, для невежественного же бедняка оно кажется чем-то прямо ужасным; я не раз видел, как фабричная, зарабатывающая по сорок копеек в день, совала ассистенту трехрублевку, пытаясь взяткою спасти своего умершего ребенка от «поругания». Конечно, такой взгляд на вскрытие — предрассудок, но горе матери от этого не легче. Вспомните вопль некрасовской Тимофеевны над умершим Демушкой:

Я не ропщу,
Что бог прибрал младенчика,
А больно то, зачем они
Ругалися над ним?
Зачем, как черны вороны,
На части тело белое
Терзали?.. Неужли
Ни бог, ни царь не вступятся?

Однажды летом я был на вскрытии девочки, умершей от крупозного воспаления легких. Большинство товарищей разъехалось на каникулы, присутствовали только ординатор и я. Служитель огромного роста, с черной бородой, вскрыл труп и вынул органы. Умершая лежала с запрокинутою назад головою, широко зияя окровавленною грудобрюшною полостью; на белом мраморе стола, в лужах алой крови, темнели внутренности. Прозектор разрезывал на деревянной дощечке правое легкое.

— Вы что тут делаете, а? — вдруг раздался в дверях задыхающийся голос.

На пороге стоял человек в пиджаке, с рыжею бородкою; лицо его было смертельно бледно и искажено ужасом. Это был мещанин-сапожник, отец умершей девочки; он шел в покойницкую узнать, когда можно одевать умершую, ошибся дверью и попал в секционную.

— Что вы тут делаете, разбойники?! — завопил он, трясясь и уставясь на нас широко раскрытыми глазами.

У прозектора замер нож в руке.

— Ну, ну, чего тебе тут? Ступай! — сказал побледневший служитель, идя навстречу мещанину.

— Ребят здесь свежуете, а?! — кричал тот с каким-то плачущим воем, судорожно топаясь на месте и тряся сжатыми кулаками.— Вы что с моей девочкой исделали?

Он рванулся вперед. Служитель схватил его сзади под мышки и потащил вон; мещанин уцепился руками за косяк двери и закричал: «Караул!..»

Служителю удалось, наконец, вытолкать его в коридор и запереть дверь на ключ. Мещанин долго еще ломился в дверь и кричал «караул», пока прозектор не кликнул в окно сторожей, которые увели его.

Если у этого человека заболеет другой ребенок, то он разорится на лечение, предоставит ребенку умереть без помощи, но в клинику его не повезет: для отца это поругание дорогого ему трупа — слишком высокая плата за лечение.

Сказать кстати, право вскрывать умерших больных присвоили себе, помимо клиник, и вообще все больницы,— присвоили совершенно самовольно, потому что закон им такого права не дает; обязательные вскрытия производятся по закону только в судебно-медицинских целях. Но я не знаю ни одной больницы, где бы, по желанию родственников, умерший выдавался им без вскрытия; сами же родственники и не подозревают, что они имеют право *требовать* этого. Вскрытие каждого больного, хотя бы умершего от самой «обыкновенной» болезни, чрезвычайно важно для врача; оно указывает ему его ошибки и способы избежать их, приучает к более внимательному и всестороннему исследованию больного, дает ему возможность уяснить себе во всех деталях анатомическую картину каждой болезни; без вскрытий не может выработаться хороший врач, без вскрытий не может развиваться и совершенствоваться врачебная наука. Необходимо, чтобы все это понимали как можно яснее и добровольно соглашались на вскрытие близких. Но покамест этого нет; и вот больницы достигают своего тем, что вскрывают умерших помимо согласия родственников; последние унижаются, становятся перед врачами на колени, суют им взятки,— все напрасно; из боязни вскрытия близкие нередко всеми мерами противятся помещению больного в больницу, и он гибнет дома вследствие плохой обстановки и неразумного ухода...

В больнице, где я впоследствии работал, произошел однажды такой случай: лежал у нас мальчик лет пяти с брюшным тифом; у него появились признаки прободения кишечника; в таких случаях прежде всего необходим абсолютный покой больного. Вдруг мать потребовала у дежурного врача немедленной выписки ребенка; никаких уговоров она не хотела слушать: «все равно ему помирать, а дома помрет, так хоть не будут анатомировать». Дежурный врач был принужден выписать мальчика; по дороге домой он умер... Это происшествие вызвало среди врачей нашей больницы много толков; говорили, разумеется, о дикости и жестокости русского народа, обсуждали вопрос, имел ли право дежурный врач выписать больного, виноват ли он в смерти ребенка нравственно или юридически и т. п. Но ведь тут интересен и другой вопрос: насколько должен был быть силен страх матери перед вскрытием, если для избежания его она решилась поставить на карту даже жизнь своего ребенка! Дежурный врач, конечно, был человек не «дикий» и не «жестокий»; но характерно, что ему и в голову не пришел самый, казалось бы, естественный выход: обязаться перед матерью, в случае смерти ребенка, не вскрывать его.

Но кому особенно приходится терпеть из-за того, что мы принуждены изучать медицину на людях,— это лечащимся в клинике женщинам. Тяжело вспоминать, потому что приходится краснеть за себя; но я сказал, что буду писать *все*.

Пропедевтическая клиника. На эстраду к профессору, в сопровождении двух студентов-кураторов, взошла молодая женщина, больная плевритом. Прочитав анамнез, студент подошел к больной и дотронулся до закутывавшего ее плечи платка, показывая жестом, что нужно раздеться. Мне кровь бросилась в лицо: это был первый случай, когда перед нами вывели молодую пациентку. Больная сняла платок, кофточку и опустила до пояса рубашку; лицо ее было спокойно и гордо. Ее начали выстукивать, выслушивать. Я сидел весь красный, стараясь не смотреть на больную; мне казалось, что взгляды всех товарищей устремлены на меня; когда я поднимал глаза, передо мною было все то же гордое, холодное, прекрасное лицо, склоненное над бледною грудью: как будто совсем не ее тело ощупывали эти чужие мужские руки. Наконец лекция кончилась. Вставая, я встретился взглядом с соседом-студентом, мне почти незнакомым; както вдруг мы прочли друг у друга в глазах одно и то же,

враждебно переглянулись и быстро отвели взгляды в стороны

Было ли во мне какое-нибудь сладострастное чувство в то время, когда больная обнажалась на наших глазах? Было, но очень мало: главное, что было,— это *страх* его. Но потом, дома, воспоминание о происшедшем приняло тонко-сладострастный оттенок, и я с тайным удовольствием думал о том, что впереди предстоит еще много подобных случаев.

И случаев, разумеется, было очень много. Особенно помнится мне одна больная, Анна Грачева, поразительно хорошенькая девушка лет восемнадцати. У нее был порок сердца с очень характерным предсистолическим шумом; профессор рекомендовал нам почаще выслушивать ее. Подойдешь к ней,— она послушно и спокойно скидывает рубашку и сидит на постели, обнаженная до пояса, пока мы один за другим выслушиваем ее. Я старался смотреть на нее глазами врача, но я не мог не видеть, что у нее красивые плечи и грудь, я не мог не видеть, что и товарищи мои что-то уж слишком интересуются предсистолическим шумом,— и мне было стыдно этого. И именно потому, что я чувствовал нечистоту наших взглядов, мне особенно больно становилось за эту девушку: какая сила заставляет ее обнажаться перед нами? Пройдет ли для нее все это даром? И я старался прочесть на ее красивом, почти еще детском лице всю историю ее пребывания в нашей клинике,— как возмутилась она, когда впервые была принуждена предстать перед всеми нагою, и как ей пришлось примириться с этим, потому что дома нет средств лечиться, и как постепенно она привыкла.

На амбулаторный прием нашего профессора-сифилидолога пришла молодая женщина с запискою от врача, который просил профессора определить, не сифилитического ли происхождения сыпь у больной.

— Где у вас сыпь? — спросил профессор больную.

— На руке.

— Ну, это пустяки. Бывшие фурункулы. Еще где?

— На груди,— запнувшись, ответила больная.— Но там совсем то же самое.

— Покажите!

— Да там то же самое, нечего показывать,— возразила больная, краснея.

— Ну, а вы нам все-таки покажите; мы о-чень любопытны! — с юмористическою улыбкою произнес профессор.

После долгого сопротивления больная наконец сняла кофточку.

— Ну, это тоже пустяки,— сказал профессор.— Больше нигде нет? Скажите вашему доктору, что у вас нет ничего серьезного.

Тем временем ассистент, оттянув у больной сзади рубашку, осмотрел ее спину.

— Сергей Иванович, вот еще! — вполголоса произнес он.

Профессор заглянул больной за рубашку.

— А-а, это дело другое! — сказал он.— Разденьтесь совсем,— пойдите за ширмочку... Следующая!

Больная медленно ушла за ширму. Профессор осмотрел несколько других больных.

— Ну, а что та наша больная? Разделась она? — спросил он.

Ассистент побежал за ширму. Больная стояла одетая и плакала. Он заставил ее раздеться до рубашки. Больную положили на кушетку и, раздвинув ноги, стали осматривать: ее осматривали долго,— осматривали мерзко, гнусно.

— Одевайтесь,— сказал, наконец, профессор.— Трудно еще, господа, сказать что-нибудь определенное,— обратился он к нам, вымыв руки и вытирая их полотенцем.— Вот что, голубушка,— приходите-ка к нам еще раз через неделю.

Больная уже оделась. Она стояла, тяжело дыша и неподвижно глядя в пол широко открытыми глазами.

— Нет, я больше не приду! — ответила она дрожащим голосом и, быстро повернувшись, ушла.

— Чего это она? — с недоумением спросил профессор, оглядывая нас.

В тот же день, вечером, ко мне зашла одна знакомая курсистка. Я рассказал ей описанный случай.

— Да, тяжело! — сказала она.— Но в конце концов что же делать? Иначе учиться нельзя,— приходится мириться с этим.

— Совершенно верно. Но ответьте мне вот на что: если бы *вам* предстояло нечто подобное,— только представьте себе это ясно,— пошли ли бы вы к нам?

Она помолчала.

— Не пошла бы... Ни за что! — виновато улыбнулась она, с дрожью поведя плечами.— Лучше бы умерла.

А ведь она глубоко уважала науку и понимала, что «иначе учиться нельзя». Та же ничего этого не понимала, она только знала, что ей нечем заплатить частному доктору и что у нее трое детей.

Эта-то нужда и гонит бедняков в клиники на пользу науки и школы. Они не могут заплатить за лечение деньгами, и им приходится платить за него своим телом. Но такая плата для многих слишком тяжела, и они предпочитают умирать без помощи. Вот что, например, говорит известный немецкий гинеколог, профессор Гофмейер: «Преподавание в женских клиниках более, чем где-либо, затруднено естественною стыдливостью женщин и вполне понятным отвращением их к демонстрациям перед студентами. На основании своего опыта я думаю, что в маленьких городках вообще едва ли было бы возможно вести гинекологическую клинику, если бы все без исключения пациентки не хлороформировались для целей исследования. Притом исследование, особенно производимое неопытною рукою, часто крайне чувствительно, а исследование большим количеством студентов в высшей степени неприятно. На этом основании в большинстве женских клиник пациентки демонстрируются и исследуются под хлороформом... Менее всего непосредственно применима для преподавания гинекологическая амбулатория, по крайней мере, в маленьких городах. Кто хочет получить от нее действительную пользу, должен сам исследовать больных. *Страх перед подобными исследованиями в присутствии студентов или даже самими студентами,*— у нас, по крайней мере,— *часто превозмогает у пациенток потребность в помощи*».

Если рассуждать отвлеченно, то такая щепетильность должна казаться бессмысленною: ведь студенты — те же врачи, а врачей стесняться нечего. Но дело сразу меняется, когда ставишь самого себя в положение этих больных. Мы, мужчины, менее стыдливы, чем женщины, тем не менее, по крайней мере, я лично ни за что не согласился бы, чтобы меня, совершенно обнаженного, вывели на глаза сотни женщин, чтобы меня женщины ощупывали, исследовали, расспрашивали *обо всем*, ни перед чем не останавливаясь. Тут мне ясно, что если щепетильность эта и бессмысленна, то считаться с нею все-таки очень следует.

И тем не менее —«иначе учиться нельзя», это несомненно. В средние века медицинское преподавание ограничивалось одними теоретическими лекциями, на которых коммен-

тировались сочинения арабских и древних врачей; практическая подготовка учащихся не входила в задачи университета. Еще в сороковых годах нашего столетия в некоторых захолустных университетах, по свидетельству Пирогова, «учили делать кровопускание на кусках мыла и ампутации на брюкве». К счастью медицины и больных, времена эти миновали безвозвратно, и жалеть об этом преступно; нигде отсутствие практической подготовки не может принести столько вреда, как во врачебном деле. А практическая подготовка невозможна без всего описанного.

Здесь мы наталкиваемся на одно из тех противоречий, которые еще так часто будут встречаться нам впоследствии: существование медицинской школы — школы гуманнейшей из всех наук — немыслимо без попрания самой элементарной гуманности. Пользуясь невозможностью бедняков лечиться на собственные средства, наша школа обращает больных в манекены для упражнений, топчет без пощады стыдливость женщины, увеличивает и без того немалое горе матери, подвергая жестокому «поруганию» ее умершего ребенка, но не делать этого школа не может; по доброй воле мало кто из больных согласился бы служить науке.

Какой из этого возможен выход, я решительно не знаю; я знаю только, что медицина необходима, и иначе учиться нельзя, но я знаю также, что если бы нужда заставила *мою* жену или сестру очутиться в положении той больной у сифилидолога, то я сказал бы, что мне нет дела до медицинской школы и что нельзя так топтать личность человека только потому, что он беден.

III

На третьем курсе, недели через две после начала занятий, я в первый раз был на вскрытии. На мраморном столе лежал худой, как скелет, труп женщины лет за сорок. Профессор патологической анатомии, в кожаном фартуке, надевал, балагуря, гуттаперчевые перчатки, рядом с ним в белом халате стоял профессор-хирург, в клинике которого умерла женщина. На скамьях, окружавших амфитеатром секционный стол, теснились студенты.

Хирург заметно волновался: он нервно крутил усы и притворно скучающим взглядом блуждал по рядам студентов; когда профессор-патолог отпускал какую-нибудь шуточку, он спешил предупредительно улыбнуться; вообще в

его отношении к патологу было что-то заискивающее, как у школьника перед экзаменатором. Я смотрел на него, и мне странно было подумать,— неужели это тот самый грозный NN., который таким величественным олимпийцем глядит в своей клинике?

— От перитонита умерла? — коротко спросил патолог.

— Да.

— Оперирована?

— Оперирована.

— Угу! — промычал патолог, чуть дрогнув бровью, и приступил к вскрытию.

Ассистент-прозектор сделал на трупе длинный кожный разрез от подбородка до лонного сращения. Патолог осторожно вскрыл брюшную полость и стал осматривать воспаленную брюшину и склеившиеся кишечные петли... Хирург уж накануне высказал нам в клинике предполагаемую им причину смерти больной: опухоль, которую он хотел вырезать, оказалась сильно сращенною с внутренностями; вероятно, при удалении этих сращений был незаметно поранен кишечник, и это повело к гнилостному воспалению брюшины. Вскрытие подтвердило его предположение. Патолог отыскал пораненное место и, вырезав кусок кишки с ранкою, послал его на тарелке студентам. Студенты с любопытством рассматривали маленькую зловещую ранку, окруженную гнойным налетом; хирург хмурился и крутил усы. Я с пристальным, злорадным вниманием следил за ним: вот он суд, где беспощадно раскрываются и казнятся все их грехи и ошибки! Эта женщина пришла к нему за помощью и именно благодаря его помощи лежала теперь перед нами; интересно, знают ли это близкие умершей, объяснил ли им оператор причину ее смерти?

Вскрытие кончилось. В своем эпикризе патолог заявил, что перитонит был несомненно вызван поранением кишечника, но что при той массе сращений и перемычек, которыми изобиловала опухоль, заметить такое поранение было очень нелегко, и в столь тяжелых операциях ни один самый лучший хирург не может быть гарантирован от несчастных случайностей.

Профессора любезно пожали друг другу руки и ушли. Студенты повалили к выходу.

Странное и тяжелое впечатление произвело на меня это первое виденное мною вскрытие. «Перитонит был вызван поранением кишечника; такое поранение трудно заметить;

несчастные случайности бывают у лучших хирургов...» Как все это просто! Как будто речь идет о неудавшемся химическом опыте, где вся суть только в самой неудаче! Причины этой неудачи констатируются вполне спокойно; виновник ее, если и волнуется, то волнуется лишь вследствие самолюбия... А между тем дело идет ни больше, ни меньше, как о погубленной человеческой жизни, о чем-то безмерно страшном, где неизбежно должен стать вопрос: смеет ли подобный оператор продолжать заниматься медициной? Врач-целитель, убивающий больного! Ведь это такое вопиющее противоречие, которое допустить прямо немыслимо. А между тем никто этого противоречия как будто и не замечал.

Я испытывал такое ощущение, как будто попал в школу к авгурам. Мы — те же будущие авгуры, нас стесняться нечего, и вот нас посвящали в изнанку дела; профаны могут возмущаться существованием этой изнанки и ее резким отличием от лицевой стороны, мы же должны приучаться смотреть на дело «шире»...

Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем все больше усиливалось у меня то впечатление, которое я вынес из первого вскрытия. В клиниках, на теоретических лекциях, на вскрытиях, в учебниках — везде было то же самое. Рядом с тою парадною медициною, которая лечит и воскрешает и для которой я сюда поступил, передо мною все шире развертывалась другая медицина — немощная, бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болезни, которых не может определить, старательно определяющая болезни, которых заведомо не может вылечить. В руководствах я встречал описание болезней, которые оканчивались замечанием: «диагноз этой болезни возможен лишь на секционном столе», как будто такой своевременный диагноз кому-нибудь нужен! Перед нами выводили ребенка с туберкулезным pyo-pneumothorax'ом; худой и иссохший, с торчащими костями и синюшным лицом, он сидел, быстро и часто дыша; когда его клали на спину, он начинал кашлять так, что, казалось, сейчас вывернутся все его внутренности. Профессор с серьезным видом, как будто совершал что-то очень важное, определял у него границы тупости, степень смещения средостения и т. п. Я следил за профессором, затаивая усмешку: сколько трудов кладет он на исследование, и все это лишь для того, чтобы в конце концов сказать нам, что больной безнадежен и что вылечить его мы не в состоянии! Какой в таком случае смысл в самом диагнозе? Как

этот диагноз ни будь тонок, все-таки по существу дела он сводится лишь к мольеровскому: «Они вам скажут по-латыни, что ваша дочь больна». Все это было жалко и смешно. Мне вспоминалось определение сути медицины, данное Мефистофелем:

Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen:
Ihr durchstudirt die gross und kleine Welt,
Um es am Ende gehn zu lassen,
Wie's Gott geffällt [1].

В лечении болезней меня поражала чрезвычайная шаткость и неопределенность показаний, обилие предлагаемых против каждой болезни средств — и рядом с этим крайняя неуверенность в действительности этих средств. «Лечение аневризмы аорты,— говорится, например, в руководстве Штрюмпеля,— до сих пор дает еще очень сомнительные результаты; тем не менее, в каждом данном случае мы вправе испробовать тот или другой из рекомендованных способов». «Чтобы предотвратить повторение припадков грудной жабы,— говорится там же,— рекомендовано очень много средств: мышьяк, сернокислый цинк, азотнокислое серебро, бромистый калий, хинин и другие. Попробовать какое-либо из этих средств не мешает, но верного успеха обещать себе не следует»; и так без конца. «Можно попробовать то-то», «некоторые очень довольны тем-то», «не мешает испытать то-то». Я пришел сюда, чтоб меня научили, как вылечить больного, а мне предлагают «пробовать», да еще без всякого ручательства за успех!

То и дело мне теперь приходилось узнавать вещи, которые все больше колебали во мне уважение и доверие к медицине. Фармакология знакомила нас с целым рядом средств, *заведомо* совершенно недействительных, и тем не менее рекомендовала нам употреблять их. Положим, нам неясна болезнь пациента, и нужно выждать ее выяснения, или болезнь неизлечима, а симптоматических показаний нет; «но ведь вы не можете оставить больного без лекарства»,— и вот в этих случаях и следовало назначать «безразличные» средства, для подобных назначений в медицине существует даже специальный термин—«прописать лекарство, *ut aliquid fiat*» (сокращенное вместо «ut aliquid fieri videatur,— чтобы больному казалось, будто для него что-то делают»).

[1] «Дух медицины понять нетрудно: вы тщательно изучаете и большой и малый мир, чтобы в конце концов предоставить всему идти, как угодно богу».

И опять-таки профессор сообщал нам все это с самым серьезным и невозмутимым видом; я смотрел ему в глаза, смеясь в душе, и думал: «Ну, разве же ты не авгур? И разве мы с тобой не рассмеялись бы, подобно авгурам, если бы увидели, как наш больной поглядывает на часы, чтоб не опоздать на десять минут с приемом назначенной ему жиденькой кислоты с сиропом?» Вообще, как я видел, в медицине существует немало довольно-таки поучительных «специальных терминов»; есть, например, термин: «ставить диагноз ex juvantibus,— на основании того, что̀ помогает»: больному назначается известное лечение, и, если данное средство помогает, значит, больной болен такою-то болезнью; второй шаг делается раньше первого, и вся медицина ставится вверх ногами: не зная болезни, больного лечат, чтобы на основании результатов лечения определить, от этой ли болезни следовало его лечить!

Я начинал все больше проникаться полнейшим медицинским нигилизмом,— тем нигилизмом, который так характерен для всех полузнаек. Мне казалось, что я теперь понял всю суть медицины, понял, что в ее владении находятся два-три действительных средства, а все остальное — лишь «латинская кухня», «ut aliquid fiat»; что со своими жалкими и несовершенными средствами диагностики она блуждает в темноте и только притворяется, будто что-нибудь знает. Разговаривая о медицине с немедиками, я многозначительно улыбался и говорил, что, сознаваясь откровенно, «вся наша медицина» — одно лишь шарлатанство.

Каким образом из всего только что описанного мог я сделать такое резкое и решительное заключение? Мне кажется, основанием этому мне послужило то очень распространенное мнение, которое бессознательно разделял и я: «Ты — врач, значит, ты должен уметь узнать и вылечить всякую болезнь; если же ты этого не умеешь, то ты — шарлатан». Я закрывал глаза на средства и пределы науки, на то, что она делает, и смеялся над нею за то, что она не делает *всего*. Так именно и относится к медицине большинство недумающих людей... В 1893 году на петербургской гигиенической выставке, в числе других патолого-анатомических препаратов, был выставлен «сердечный полип, случайно найденный при вскрытии». Полип этот чрезвычайно рассмешил фельетониста одной большой петербургской газеты: вот, дескать, так эскулапы наши: хорошие у них бывают «случайные» находки!.. Та же гигиеническая выставка, так много

показавшая, что́ дает медицина, для г. фельетониста не существует: из всей выставки он видит только этот «случайно найденный полип» и обливает за него презрением врачей и медицину, даже не интересуясь узнать, *возможно* ли при жизни открыть такой полип. Для врачей не должно быть ничего невозможного — вот точка зрения, с которой судит большинство; с этой же точки зрения судил и я.

Один случай произвел во мне полный переворот. В нашу хирургическую клинику поступила женщина лет под пятьдесят с большою опухолью в левой стороне живота. Куратором к этой больной был назначен я. На обязанности студента-куратора лежит исследовать данного ему больного, определить его болезнь и следить за ее течением; когда больного демонстрируют студентам, куратор излагает перед аудиторией историю его болезни, сообщает, что́ он нашел у него при исследовании, и высказывает свой диагноз; после этого профессор указывает куратору на его промахи и недосмотры, подробно исследует больного и ставит свое распознавание. Опухоль у моей больной занимала всю левую половину живота, от подреберья до подвздошной кости. Что́ это была за опухоль, из какого органа она исходила? Ни расспрос больной, ни исследование ее не давали на это никаких хоть сколько-нибудь ясных указаний; с совершенно одинаковою вероятностью можно было предположить кистому яичника, саркому забрюшинных желез, эхинококк селезенки, гидронефроз, рак поджелудочной железы. Я рылся во всевозможных руководствах, и вот что находил в них:

С гидронефрозом очень легко смешать эхинококк почки: мы много раз видели также мягкие саркоматозные опухоли почек, относительно которых мы были уверены, что имели дело с гидронефрозом («Частная хирургия» Тильманса).

Рак почки нередко принимался за брюшинные опухоли желез, опухоли яичника, селезенки, большие подпоясничные нарывы и т. п. (Штрюмпель).

При кистах яичника встречаются очень неприятные диагностические ошибки... Дифференциальное распознавание кисты яичника от гидронефроза оказывается наиболее опасным подводным камнем, так как гидронефроз, если он велик, представляет при наружном исследовании совершенно такую же картину; поэтому подобного рода диагностические ошибки очень не редки («Гинекология» Шредера).

Клинические симптомы рака поджелудочной железы почти никогда не бывают настолько ясны, чтоб можно было поставить диагноз (Штрюмпель).

Скептически и враждебно настроенный к медицине, я с презрительной улыбкой перечитывал эти признания в ее бессилии и неумелости. Я как будто даже был доволен тем, что не могу ориентироваться в моем случае: моя ли вина, что наша, с позволения сказать, «наука не дает мне для этого никакой надежной руководящей нити? У моей больной опухоль живота — вот все, что я могу сказать, если хочу отнестись к делу сколько-нибудь добросовестно; вырабатывать же из себя шарлатана я не имею никакого желания и не стану «уверенно» объявлять, что имею дело с гидронефрозом, зная, что это легко может оказаться и саркомой, и эхинококком, и чем угодно.

Пришло время демонстрировать мою больную. Ее внесли на носилках в аудиторию. Меня вызвали к ней. Я прочел анамнез больной и изложил, что́ нашел у ней при исследовании.

— Какой же ваш диагноз? — спросил профессор.

— Не знаю,— ответил я, насупившись.

— Ну, приблизительно?

Я молча пожал плечами.

— Случай, положим действительно, не из легких,— сказал профессор и приступил сам к расспросу больной.

Сначала он предоставил самой больной рассказать об ее болезни. Для меня ее рассказ послужил основою всему моему исследованию; профессор же придал этому рассказу очень мало значения. Выслушав больную, он стал тщательно и подробно расспрашивать ее о состоянии ее здоровья до настоящей болезни, о начале заболевания, о всех отправлениях больной в течение болезни; и уж от одного этого умелого расспроса картина получилась совершенно другая, чем у меня: перед нами развернулся не ряд бессвязных симптомов, а совокупная жизнь больного организма во всех его отличиях от здорового. После этого профессор перешел к исследованию больной: он обратил наше внимание на консистенцию опухоли, на то, смещается ли она при дыхании больной, находится ли в связи с маткою, какое положение она занимает относительно нисходящей толстой кишки и т. д., и т. д. Наконец профессор приступил к выводам. Он шел к ним медленно и осторожно, как слепой, идущий по обрывистой горной тропинке, ни одного самого мелкого признака он не оставил без строгого и внимательного обсуждения; чтоб объяснить какой-нибудь ничтожный симптом, на который я и внимания-то не обратил, он ставил вверх дном весь огром-

ный арсенал анатомии, физиологии и патологии; он сам шел навстречу всем противоречиям и неясностям и отходил от них, лишь добившись полного их объяснения... И в конце концов, когда, сопоставив добытые данные, профессор пришел к диагнозу: «рак-мозговик левой почки»,— то это само собою вытекло из всего предыдущего.

Я слушал, пораженный и восхищенный; такими жалкими и ребяческими казались мне теперь и мое исследование и весь мой скептицизм!.. Спутанная и неясная картина, в которой, по-моему, было *невозможно* разобраться, стала совершенно ясной и понятной. И это было достигнуто на основании таких ничтожных данных, что смешно было подумать...

Через неделю больная умерла. Опять, как тогда, на секционном столе лежал труп, опять вокруг двух профессоров теснились студенты, с напряженным вниманием следя за вскрытием. Профессор-патолог извлек из живота умершей опухоль величиною с человеческую голову, тщательно исследовал ее и объявил, что перед нами — *рак-мозговик левой почки*... Мне трудно передать то чувство восторженной гордости за науку, которое овладело мною, когда я услышал это. Я рассматривал лежащую на деревянном блюде мягкую, окровавленную опухоль, и вдруг мне припомнился наш деревенский староста Влас, ярый ненавистник медицины и врачей. «Как доктора могут знать, что у меня в нутре делается? Нешто они могут видеть насквозь?»— спрашивал он с презрительной усмешкой. Да, тут видели именно насквозь.

Отношение мое к медицине резко изменилось. Приступая к ее изучению, я ждал от нее *всего;* увидев, что всего медицина делать не может, я заключил, что она не может делать *ничего;* теперь я видел, как *много* все-таки может она, и это «многое» преисполняло меня доверием и уважением к науке, которую я так еще недавно презирал до глубины души.

Вот передо мною больной; он лихорадит и жалуется на боли в боку; я выстукиваю бок: притупление звука показывает, что в этом месте грудной клетки легочный воздух заменен болезненным выделением; но где именно находится это выделение,— в легком или в полости плевры? Я прикладываю руку к боку больного и заставляю его громко произнести: «раз, два, три!» Голосовая вибрация грудной клетки на больной стороне оказывается ослабленною; это обстоятельство с такою же верностью, как если бы я видел все собственными глазами, говорит мне, что выпот находится не в легких, а в полости плевры.— У больного парализована

левая нога; я ударяю ему молоточком по коленному сухожилию,— нога высоко вскидывается; это указывает на то, что поражение лежит не в периферических нервах, а где-нибудь выше их выхода из спинного мозга, но где именно? Я тщательно исследую, сохранила ли кожа свою чувствительность, поражены ли другие конечности, правильно ли функционируют головные нервы и пр.,— и могу, наконец, с полной уверенностью сказать: поражение, вызвавшее в данном случае паралич левой ноги, находится в коре центральной извилины правого мозгового полушария, недалеко от темени... Какая громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приемы исследования, сколько для этого требовалось наблюдательности, гения, труда и знания! И какие большие области уже завоеваны наукою! Выслушивая сердце, можно с точностью определить, какой именно из его четырех клапанов действует неправильно и в чем заключается причина этой неправильности,— в сращении клапана или его недостаточности; соответственными зеркалами мы в состоянии осмотреть внутренность глаза, носо-глоточное пространство, гортань, влагалище, даже мочевой пузырь и желудок; невидимая, загадочная и непонятная «зараза» разгадана; мы можем теперь приготовлять ее в чистом виде в пробирке и рассматривать под микроскопом. При акушерстве с почти математической точностью изучен весь сложный механизм родов, определены все факторы, обусловливающие тот или иной поворот младенца, и искусственные приемы помощи строго согласуются с этим сложным естественным движением... Ребенку выжигают раскаленным железом носовые раковины, предварительно смазав их кокаином: живое тело шипит, кругом пахнет горелым мясом, а ребенок сидит, улыбаясь и спокойно выдыхая из ноздрей дым...

Но всего не перечислить. Конечно, многое, еще очень многое не достигнуто, но все это лишь вопрос времени, и нам трудно себе даже представить, как далеко пойдет наука. Ведь еще несколько лет назад показалась бы нелепостью самая мысль о том, что человеческое тело возможно в буквальном смысле видеть насквозь; теперь же, благодаря Рентгену, эта нелепость стала действительностью. Сорок лет назад у хирургов *три четверти* оперированных умирало от гнойного заражения; гнойное заражение было проклятием хирургии, о которое разбивалось все искусство оператора.

«Я ничего положительно не знаю сказать об этой страшной казни хирургической практики,— с отчаянием писал Пирогов в 1854 году.— В ней все загадочно: и происхождение, и образ развития. До сих пор она в такой же степени неизлечима, как рак».— «Если я оглянусь на кладбища,— пишет он в другом месте,— где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю, чему более удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у общества»... Явился Листер, ввел антисептику, она сменилась еще более совершенной асептикой, и хирурги из бессильных рабов гнойного заражения стали его господами; в настоящее время, если оперированный умирает от гнойного заражения, то в большинстве случаев виновата в этом уж не наука, а оператор.

Если уж в настоящее время сделано так много, то что же даст наука в будущем! Передо мною раскрывались такие светлые перспективы, что становилось весело за жизнь и за человека. Истинная дорога найдена, и свернуть с нее уж невозможно. Natura parendo vincitur,— природу побеждает тот, кто ей повинуется; будут поняты все ее законы, и человек станет над ней неограниченным властелином. Тогда исчезнет и теперешнее одностороннее лечение и искусственное предупреждение болезней: человек научится развивать и делать непобедимыми целебные силы своего собственного организма, ему не будут страшны ни зараза, ни простуда, не будут нужны ни очки, ни пломбировка зубов, не будут известны ни мигрени, ни неврастении. Будут сильные, счастливые и здоровые люди, и они будут рождаться от сильных и здоровых женщин, которые не будут знать ни акушерских щипцов, ни хлороформа, ни спорыньи.

Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем больше она привлекала меня к себе. Но вместе с тем меня все больше поражало, какой колоссальный круг наук включает в себя ее изучение; это обстоятельство сильно смущало меня. Каждый день приносил с собой такую массу новых, совершенно разнородных, но одинаково необходимых знаний, что голова шла кругом; заняты мы были с утра до вечера, не было времени читать не только что-либо постороннее, но даже по той же медицине. Это была какая-то горячка, какое-то лихорадочное метание из клиники в клинику, с лекции на лекцию, с курса на курс; как в быстро поворачиваемом калейдоскопе, перед нами сменялись самые разнооб-

разные вещи: резекция колена, лекция о свойствах наперстянки, безумные речи паралитика, наложение акушерских щипцов, значение Сиденгама в медицине, зондирование слезных каналов, способы окрашивания леффлеровых бацилл, местонахождение подключичной артерии, массаж, признаки смерти от задушения, стригущий лишай, системы вентиляции, теории бледной немочи, законы о домах терпимости и т. д., и т. д. Все это приходилось воспринимать совершенно механически: желание продумать воспринятое, остановиться на том или другом падало под напором сыпавшихся все новых и новых знаний; и эти новые знания приходилось складывать в себе так же механически и утешаться мыслью: «потом, когда у меня будет больше времени, я все это обдумаю и приведу в порядок». А между тем полученные впечатления постепенно бледнели, поднявшиеся вопросы забывались и утрачивали интерес, усвоение становилось поверхностным и ученическим.

Думать и действовать самостоятельно нам в течение всего нашего курса почти не приходилось. Профессора на наших глазах искусно справлялись с самыми трудными операциями, систематически решали сложные загадки, именуемые больными людьми, а мы... мы слушали и смотрели; все казалось простым, стройным и очевидным. Но если мне случайно попадался больной на стороне, то каждый раз оказывалось что-нибудь, что ставило меня в совершенный тупик. Вначале меня это не огорчало: ведь я еще студент, многого еще не знаю,— узнаю я это впереди. Но время шло, знания мои приумножались; был окончен пятый курс, уж начались выпускные экзамены, а я чувствовал себя по-прежнему беспомощным и неумелым, неспособным ни на какой сколько-нибудь самостоятельный шаг. Между тем я видел, что стою ничуть не ниже моих товарищей; напротив я стоял выше большинства... Что же выйдет из нас?

IV

Выпускные экзамены кончились. Нас пригласили в актовую залу, мы подписали врачебную клятву и получили дипломы. В дипломах этих, украшенных государственным гербом и большой университетской печатью, удостоверялось, что мы с успехом сдали все испытания как теоретические, так и практические и что медицинский факультет признал нас достойными степени лекаря «со всеми правами и преимуществами, сопряженными по закону с этим званием».

С тяжелым и нерадостным чувством покидал я нашу alma mater *. То, что в течение последнего курса я начинал сознавать все яснее, теперь встало предо мною во всей своей наготе: я, обладающий какими-то отрывочными, совершенно неусвоенными и непереваренными знаниями, привыкший только смотреть и слушать, а отнюдь не действовать, не знающий, как подступиться к больному, я — врач, к которому больные станут обращаться за помощью! Да что буду я в состоянии дать им?.. Все мои товарищи испытывали то же самое, что я. Мы с горькою завистью смотрели на тех счастливцев, которые были оставлены ординаторами при клиниках: они могли продолжать учиться, им предстояло работать не на свой страх, а под руководством опытных и умелых профессоров. Мы же, все остальные,— мы должны были идти в жизнь самостоятельными врачами не только с «правами и преимуществами», но и с *обязанностями*, «сопряженными по закону с этим званием»...

Некоторым из моих товарищей посчастливилось попасть в больницы; другие поступили в земство; третьим, в том числе и мне, пристроиться никуда не удалось, и нам осталось одно — попытаться жить частной практикой.

Я поселился в небольшом губернском городе средней России. Приехал я туда в исключительно благоприятный момент: незадолго перед тем умер живший на окраине города врач, имевший довольно большую практику. Я нанял квартиру в той же местности, вывесил на дверях дощечку: «доктор такой-то», и стал ждать больных.

Я ждал их — и в то же время больше всего боялся именно того, чтобы они не явились. Каждый звонок заставлял испуганно биться мое сердце, и я с облегчением вздыхал, узнав, что звонился не больной. Сумею ли я поставить диагноз, сумею ли назначить лечение? Знания мои были далеко не настолько прочны, чтобы я чувствовал себя способным пользоваться ими экспромтом. Хорошо, если у больного окажется такая болезнь, при которой можно будет ждать: тогда я пропишу что-нибудь безразличное и потом справлюсь дома, что в данном случае следует делать. Но если меня позовут к больному, которому нужна немедленная помощь? Ведь к таким-то именно больным начинающих врачей обыкновенно и зовут... Что я тогда стану делать?

Есть книга д-ра Луи Блау: «Диагностика и терапия при

* *Дословно:* «мать-кормилица» *(лат.)*; так называют высшее учебное заведение лица, его окончившие.— *Ред.*

угрожающих опасностью болезненных симптомах». Я купил эту книгу и всю ее проконспектировал в свою записную книжку, дополнив конспект кое-чем из учебников. Всякая болезнь была по симптомам подведена мною под рубрики в таком, например, роде: *Сильная одышка* — 1) круп, 2) ложный круп, 3) отек гортани, 4) спазм гортани, 5) бронхиальная астма, 6) отек легких, 7) крупозная пнеймония, 8) уремическая астма, 9) плеврит, 10) пнеймоторакс. При каждой из болезней были перечислены ее симптомы и указано соответственное лечение. Этот конспект сослужил мне большую службу, и я долго еще, года два, не мог обходиться без его помощи. Когда меня звали к больному с сильною одышкою, я, под предлогом записи больного, раскрывал записную книжку, смотрел, под какую из перечисленных болезней подходит его болезнь, и назначал соответственное лечение.

В той местности, где я поселился, поблизости врачей не было; понемногу больные стали обращаться ко мне; вскоре среди местных обывателей у меня образовалась практика, для начинающего врача сравнительно недурная.

Между прочим, я лечил жену одного сапожника, женщину лет тридцати; у нее была дизентерия. Дело шло хорошо, и больная уже поправлялась, как вдруг однажды утром у нее появились сильнейшие боли в правой стороне живота. Муж немедленно побежал за мною. Я исследовал больную: весь живот был при давлении болезнен, область же печени была болезненна до того, что до нее нельзя было дотронуться; желудок, легкие и сердце находились в порядке, температура была нормальна. Что это могло быть? Я перебирал в памяти всевозможные заболевания печени и не мог остановиться ни на одном; всего естественнее было поставить новое заболевание в связи с существовавшею уже болезнью; при дизентерии иногда встречаются нарывы печени, но против нарыва говорила нормальная температура. Впрыснув больной морфий, я ушел в полном недоумении. К вечеру температура с потрясающим ознобом поднялась до 40°, у больной появилась легкая одышка, а боли в печени стали еще сильнее. Теперь для меня не было сомнения: как следствие дизентерии, у больной образуется нарыв печени, опухшая печень давит на легкое, и этим объясняется одышка. Я был очень доволен тонкостью своего диагноза.

Но раз у больной нарыв печени, то необходима операция (в клинике это так легко сказать!). Я стал уговаривать

мужа поместить жену в больницу, я говорил ему, что положение крайне серьезно, что у больной — нарыв во внутренностях, и что если он вскроется в брюшную полость, то смерть неминуема. Муж долго колебался, но, наконец, внял моим убеждениям и свез жену в больницу.

Через два дня я пошел справиться о состоянии больной. Прихожу в больницу, вызываю палатного ординатора. Оказывается, у моей больной... *крупозное воспаление легких*! Я не верил ушам. Ординатор провел меня в палату и показал больную... Я вспомнил, что даже не догадался спросить ее о кашле, даже не исследовал вторично ее легких, так я обрадовался ознобу, и так ясно показался он мне говорящим за мой диагноз; правда, мне приходила в голову мысль, что легкие не мешало бы исследовать еще раз, но больная так кричала при каждом движении, что я прямо не решался поднять ее, чтобы как следует выслушать.

— Но ведь у нее сильно болезненны печень и весь живот,— в смущении сказал я.

— Да, печень немного болезненна,— ответил врач,— хотя более болезненна правая плевра.

— Да и весь живот болезнен.

Я чуть дотронулся до ее живота,— больная вскрикнула. Ординатор вступил с нею в разговор, стал расспрашивать, как она провела ночь, и постепенно всю руку погрузил в ее живот, так что больная даже не заметила.

— Ну-ка, матушка, сядь,— сказал он.

— Ох, не могу!

— Ну-ну, пустяки! Садись!

И она села. И ее можно было выстукать, выслушать, и я увидел типическую крупозную пнеймонию, типичнее которой ничего не могло быть...

Как мог я так поверхностно и небрежно произвести исследование? Ведь необходимо каждого больного, на что бы он ни жаловался, исследовать с головы до ног — это нам не уставали твердить все наши профессора. Да, они нам твердили это достаточно, и на экзамене я сумел бы привести массу примеров, самым неопровержимым образом доказывающих необходимость следовать этому правилу. Но теория — одно, а практика — другое; на деле мне было прямо смешно начать исследовать нос, глаза или пятки у больного, который жаловался на расстройство желудка. Правила, подобные указанному, усваиваются лишь одним путем,— когда не теория, а собственный опыт заставит почувствовать и

сознать всю их практическую важность. Собственный же опыт был нам в клиниках совершенно недоступен.

Характерно также то, что в своем распознавании я остановился на самой редкой из всех болезней, которые можно было предположить. И в моей практике это было не единичным случаем: кишечные колики я принимал за начинающийся перитонит; где был геморрой, я открывал рак прямой кишки, и т. п. Я был очень мало знаком с обыкновенными болезнями,— мне прежде всего приходила в голову мысль о виденных мною в клиниках самых тяжелых, редких и «интересных» случаях.

Тем не менее при распознавании болезней я все-таки еще хоть сколько-нибудь мог чувствовать под ногами почву: диагнозы ставились в клиниках на наших глазах, и если сами мы принимали в их постановке очень незначительное участие, то по крайней мере *видели* достаточно. Но что было для меня уж совершенно неведомою областью — это течение болезней и действие на них различных лечебных средств; с тем и другим я был знаком исключительно из книг; если одного и того же больного за время его болезни нам демонстрировали четыре-пять раз, то это было уж хорошо. В течение всего моего студенчества систематически следить за ходом болезни я имел возможность только у тех десяти — пятнадцати больных, при которых состоял куратором, а это все равно, что ничего.

Однажды, месяца через два после начала моей практики, я получил приглашение приехать к жене одного суконного фабриканта; это был первый случай, когда меня позвали в богатый дом: до того времени практика моя ограничивалась ремесленниками, мелкими торговцами, офицерскими вдовами и т. п.

— Вы, доктор, давно кончили курс? — был первый вопрос, с которым ко мне обратилась больная — молодая интеллигентная дама лет под тридцать.

Мне очень хотелось сказать: «два года», но было неловко, и я сказал правду.

— Ну, вот, я очень рада! — удовлетворенно произнесла больная.— Вы, значит, стоите на высоте науки; откровенно говоря, я гораздо больше верю молодым врачам, чем всем этим «известностям»: те все перезабыли и только стараются гипнотизировать нас своей известностью.

У больной оказался острый сочленовный ревматизм, как раз такая болезнь, против которой медицина имеет верное,

специфическое средство в виде салициловой кислоты. Для начала практики нельзя было желать случая, более благоприятного.

— Долго, доктор, протянется ее болезнь? — спросил меня в передней муж больной.

— Не-ет,— ответил я.— Теперь с каждым днем боли будут меньше, состояние будет улучшаться. Только следите за тем, чтоб лекарство принималось аккуратно.

Через два дня я получил от него записку: «Милостивый государь! Жене моей не только не стало лучше, но ей совсем плохо. Будьте добры приехать».

Я приехал. У больной раньше были поражены правое колено и левая ступня; теперь к этому присоединились боли в левом плечевом суставе и левом колене. Больная встретила меня холодным и враждебным взглядом.

— Вот, доктор, вы говорили, что скоро все пройдет,— сказала она.— У меня все не проходит, а, напротив, становится все хуже. Такие страшные боли,— господи! Я и не думала, что возможны такие страдания!

Вот тебе и салициловый натр,— специфическое средство... Я молча стал снимать вату с пораженных суставов, смазанных мазью из хлороформа и вазелина.

— Что это, мазь ли пахнет мертвечиной, или уж я начинаю заживо разлагаться? — ворчала больная.— Умирать, так умирать, мне все равно, но только почему это так мучительно?

— Полноте, сударыня, ну можно ли так падать духом! — сказал я.— Тут никакой и речи не может быть о смерти,— скоро вы будете совершенно здоровы.

— Ну да, вы мне это говорите для того, чтобы меня утешить... А долго я, в таком случае, буду еще мучиться?

Я дал неопределенный ответ и обещался прийти завтра.

Назавтра боли значительно уменьшились, температура опустилась, больная смотрела бодро и весело. Она горячо пожала мне руку.

— Ну, кажется, наконец, начинаю поправляться! — сказала она.— Уж надоела же я вам, доктор,— признайтесь! Такая нетерпеливая, просто срам! Уж меня муж и то стыдит... Скажите, теперь можно надеяться, что пойдет на выздоровление?

— Безусловно!.. Вы хотели, чтобы салициловый натр подействовал моментально,— это невозможно. Так быстро, как вы желали, он не действует, но зато действует вер-

но. Только пока, во всяком случае, продолжайте принимать его.

— Я очень потею от него,— ночью пришлось сменить три рубашки.

— А звону в ушах нет?

— Нет.

— В таком случае продолжайте, если не хотите, чтоб процесс снова обострился.

— Ой, нет, нет, не хочу! — засмеялась она.— Лучше готова сменить хоть десять рубашек.

Приезжаю на следующий день, вхожу к больной. Она даже не пошевельнулась при моем приходе; наконец неохотно повернула ко мне голову; лицо ее спалось, под глазами были синие круги.

— А у меня, доктор, боли появились в правом плече! — медленно произнесла она, с ненавистью глядя на меня.— Всю ночь не могла заснуть от боли, хотя очень аккуратно принимала вашу салицилку. Для вас это, не правда ли, очень неожиданно?

Увы, совершенно верно! Для меня это было очень неожиданно... Я, может быть, поступил легкомысленно, обещав с самого начала быстрое излечение; учебники мои оговаривались, что иногда салициловый натр остается при ревматизме недействительным, но чтоб, раз начавшись, действие его ни с того, ни с сего способно было прекратиться,— этого я совершенно не предполагал. Книги не могли излагать дела иначе, как схематически, но мог ли и я, руководствовавшийся исключительно книгами, быть несхематичным?

При прощании меня больше не просили приходить. Как это ни было для меня оскорбительно, но в душе я был рад, что отделался от своей пациентки; измучила она меня чрезвычайно.

Впрочем, мало радостей давала мне и вообще моя практика. Я теперь постоянно находился в страшном нервном состоянии. Как ни низко ценил я свои врачебные знания, но когда дошло до дела, мне пришлось убедиться, что я оценивал их все-таки слишком высоко. Почти каждый случай с такою наглядностью раскрывал передо мною все с новых и новых сторон всю глубину моего невежества и неподготовленности, что у меня опускались руки. Полученные мною в университете знания представляли собою хаотическую груду, в которой я не мог ориентироваться и перед которою

стоял в полнейшей беспомощности. Моя книжная, отвлеченная наука, не проверенная мною в жизни, постоянно обманывала меня; в ее твердые и неподвижные формы никак не могла уложиться живая жизнь, а сделать эти формы эластичными и подвижными я не умел. В своих диагнозах и предсказаниях насчет дальнейшего течения болезни я то и дело ошибался так, что боялся показаться пациентам на глаза. Когда меня спрашивали, какого вкуса будет прописываемое мною лекарство, я не знал, что ответить, потому что сам не только никогда не пробовал его, но даже не видал. Я приходил в ужас при одной мысли,— что, если меня позовут на роды? За время моего пребывания в университете я видел всего лишь пятеро родов, и единственное, что я в акушерстве знал твердо,— это то, с какими опасностями сопряжено ведение родов неопытною рукою... Жизнь больного человека, его душа были мне совершенно неизвестны; мы баричами посещали клиники, проводя у постели больного по десяти — пятнадцати минут; мы с грехом пополам изучали *болезни*, но о больном *человеке* не имели даже самого отдаленного представления.

Но что уж говорить о таких тонкостях, как психология больного человека. Мне то и дело приходилось становиться в тупик перед самыми простыми вещами, я не знал и не умел делать того, что знает любая больничная сиделка. Я говорил окружавшим: «Поставьте больному клизму, положите припарку» и боялся, чтоб меня не вздумали спросить: «А как это нужно сделать?» Таких «мелочей» нам не показывали: ведь это — дело фельдшеров, сиделок, а врач должен только отдать соответственное приказание. Но в моем распоряжении не было ни фельдшеров, ни сиделок, а окружавшие обращались за указаниями ко мне... Пришлось отложить в сторону большие, «серьезные» руководства и взяться за книги вроде «Ухода за больными» Бильрота — учебника, предназначенного для сестер милосердия. И я, на выпускном экзамене артистически сделавший на трупе ампутацию колена по Сабанееву,— я теперь старательно изучал, как нужно поднять слабого больного и как поставить мушку.

Недалеко от меня жил на покое отказавшийся от практики старик-доктор, Иван Семенович N. Если до него случайно дойдут эти строки, то пусть он лишний раз примет от меня горячую благодарность за участие, которое он проявлял ко мне в то тяжелое для меня время. Я откровенно

рассказывал ему о своих недоумениях и ошибках, советовался обо всем, чего не понимал, даже таскал его к своим пациентам; с чисто отеческою отзывчивостью Иван Семенович всегда был готов прийти ко мне на помощь и своими знаниями, и опытностью, и всем, чем мог. И каждый раз, когда мы с ним стояли у постели больного, он — спокойный, находчивый и уверенный в себе, и я — беспомощный и робкий, мне казалось вопиющей бессмыслицей, что оба мы с ним — равноправные товарищи, имеющие одинаковые дипломы.

Я лечил одного мелочного лавочника. У него был очень тяжелый сыпной тиф, осложнившийся правосторонним паротитом (воспалением околоушной железы). Однажды, рано утром, жена лавочника прислала ко мне мальчика с просьбой прийти немедленно; мужу ее за ночь стало очень худо, и он задыхается. Я пришел. Больной был в полубессознательном состоянии, он дышал тяжело и хрипло, как будто ему что-то сдавило горло; при каждом вдохе подреберья втягивались глубоко внутрь, засохшая слизь коричневою пленкою покрывала его зубы и края губ; пульс был очень слаб. Опухоль железы мешала больному раскрыть как следует рот, и мне не удалось осмотреть полости рта и зева. Я поспешил домой якобы за шприцем, чтобы впрыснуть больному камфару, и стал просматривать в учебнике главу о тифе. Что может при тифе вызвать затрудненное дыхание? Единственно, на что указывал учебник, был отек гортани вследствие воспаления черпаловидных хрящей. В этом случае моя записная книжка указывала следующее лечение: «энергические слабительные, глотать кусочки льда; если ничего не помогает, немедленно трахеотомия». Я воротился к больному, впрыснул ему под кожу камфору, назначил лед и одно из самых энергических слабительных — колоквинту.

Через несколько часов я пришел снова. Колоквинта подействовала, но дыхание больного стало еще более затрудненным. Оставался один исход — трахеотомия. Я отправился к Ивану Семеновичу. Он внимательно выслушал меня, покачал головою и поехал со мною.

Осмотрев больного, Иван Семенович заставил его сесть, набрал в гуттаперчевый баллон теплой воды и, введя наконечник между зубами больного, поспринцевал ему рот: вышла масса вязкой, тягучей слизи. Больной сидел, кашляя и перхая, а Иван Семенович продолжал энергично спринце-

вать: как он не боялся, что больной захлебнется?.. С каждым новым спринцеванием слизь выделялась снова и снова; я был поражен, что такое невероятное количество слизи могло уместиться во рту человека.

— Ну-ну, откашляйтесь, плюньте! — громко и властно повторял Иван Семенович. И больной пришел в себя и плевал...

Дыхание его стало совершенно свободным.

— А я ему колоквинту назначил,— сконфуженно произнес я, когда мы вышли от больного.

— Ай-ай-ай! — сказал Иван Семенович, покачав головою.— Такому слабому! Этак недолго и убить человека!.. Да и какое могло быть к ней показание? Просто человек без сознания глотает плохо,— понятно, во рту разная дрянь и накопилась.

В книгах не было указания на возможность подобного «осложнения» при тифе; но разве книги могут предвидеть все мелочи? Я был в отчаянии: я так глуп и несообразителен, что не гожусь во врачи; я только способен действовать по-фельдшерски, по готовому шаблону. Теперь мне смешно вспомнить об этом отчаянии: студентам очень много твердят о необходимости индивидуализировать каждый случай, но *умение* индивидуализировать достигается только опытом.

С каждым днем моей практики передо мною все настойчивее вставал вопрос: по какому-то невероятному недоразумению я стал обладателем врачебного диплома,— имею ли я на этом основании право считать себя врачом? И жизнь с каждым разом все убедительнее отвечала мне: нет, не имею!

Наконец произошел один случай. И теперь еще, когда я вспоминаю о нем, мною овладевают тоска и ужас. Но рассказывать, так уже все рассказывать.

На самом краю города, в убогой лачуге, жила вдова-прачка с тремя детьми. Двое из них умерли от скарлатины в больнице; вскоре после их смерти заболел и последний — худой, некрасивый мальчик лет восьми. Мать ни за что не хотела отвезти его также в больницу и решила лечить дома. Она обратилась ко мне. У мальчика была скарлатина в очень тяжелой форме; он бредил и метался, температура была 41°, пульс почти не прощупывался. Осмотрев больного, я сказал матери, что навряд ли и он выживет. Прачка упала передо мною на колени.

— Батюшка, спасите его!.. Последний он у меня остался! Растила его, кормильца на старость... Сколько могу, заплачу вам, век на вас даром стирать буду!

Жизнь мальчика около недели висела на волоске. Наконец температура понемногу опустилась, сыпь побледнела; больной начал приходить в себя. Явилась надежда на благоприятный исход. Мне дорог стал этот чахлый, некрасивый мальчик с лупившейся на лице кожей и апатичным взглядом. Счастливая мать восторженно благодарила меня.

Спустя несколько дней у больного снова появилась лихорадка, а правые подчелюстные железы опухли и стали болезненны. Опухоль с каждым днем увеличивалась. Само по себе это не представляло большой опасности: в худшем случае железы нагноились бы и образовался бы нарыв. Но для меня такое осложнение было крайне неприятно. Если образуется нарыв, то его нужно будет прорезать; разрез придется делать на шее, в которой находится такая масса артерий и вен. Что, если я порежу какой-нибудь крупный сосуд,— сумею ли я справиться с кровотечением? Я до сих пор еще *ни разу* не касался ножом живого тела; видеть — я видел все самые сложные и трудные операции, но теперь, предоставленный самому себе, боялся прорезать простой нарыв.

В начальной стадии воспаления желез очень хорошо действуют втирания серой ртутной мази; примененные вовремя, эти втирания нередко обрывают воспаление, не доводя его до нагноения. Я решил втереть моему больному серую мазь. Опухоль была очень болезненна, и поэтому на первый раз я втер мазь не сильно. На следующий день мальчик глядел бодрее, перестал ныть, температура понизилась; он улыбался и просил есть. Железы были значительно менее болезненны. Я вторично втер в опухоль мазь, на этот раз сильнее. Мать почти молилась на меня и горько жалела, что не позвала меня к двум умершим детям: тогда бы и те остались живы.

Когда я назавтра пришел к больному, я нашел в его состоянии резкую перемену. Мальчик лежал на спине, поворотив голову набок, и непрерывно стонал: в правой надключичной ямке, ниже первоначальной опухоли, краснела большая новая опухоль. Я побледнел и с бьющимся сердцем стал исследовать больного. Температура была 39,5; правый локтевой сустав распух и был так болезнен, что до

руки нельзя было дотронуться. Мать, хотя сильно обеспокоенная, с доверием и надеждою следила за мною... Я вышел, как убитый; дело было ясно: своими втираниями я разогнал из железы гной по всему телу, и у мальчика начиналось общее гноекровие, от которого спасения нет.

Весь день я в тупом оцепенении пробродил по улицам; я ни о чем не думал и только весь был охвачен ужасом и отчаянием. Иногда в сознании вдруг ярко вставала мысль: «*да ведь я убил человека!*» И тут нельзя было ничем обмануть себя; дело не было бы яснее, если бы я прямо перерезал мальчику горло.

Больной прожил еще полторы недели; каждый день у него появлялись все новые и новые нарывы — в суставах, в печени, в почках... Мучился он безмерно, и единственное, что оставалось делать, это впрыскивать ему морфий. Я посещал больного по нескольку раз в день. При входе меня встречали страдальческие глаза ребенка на его осунувшемся, потемневшем лице; стиснув зубы, он все время слабо и протяжно стонал. Мать уже знала, что надежды нет.

Наконец однажды,— это было под вечер,— войдя в лачугу прачки, я увидел своего пациента на столе. Все кончилось... С острым и мучительным любопытством я подошел к трупу. Заходящее солнце освещало восковое исхудалое лицо мальчика; он лежал, наморщив брови, как будто скорбно думая о чем-то,— а я, его убийца, смотрел на него... Осиротевшая мать рыдала в углу. По голым стенам лачуги висела пыльная паутина, от грязного земляного пола несло сыростью, было холодно-холодно и пусто. Рыдания сдавили мне горло. Я подошел к матери и стал ее утешать.

Через полчаса я собрался уходить. Прачка вдруг засуетилась, торопливо полезла в сундук и протянула мне засаленную трехрублевку.

— Примите, батюшка... за труды...— сказала она.— Уж как вы старались, спаси вас царица небесная!

Я отказался. Мы стояли с нею в полутемных сенцах.

— Не судил, видно, бог! — проговорил я, стараясь не смотреть в глаза прачки.

— Его святая воля... Он лучше знает,— ответила прачка, и губы ее снова запрыгали от рыданий.— Батюшка мой, спасибо тебе, что жалел мальчика!..

И она, плача, упала передо мною на колени и старалась поцеловать мне руку, благодаря меня за мою ласковость и доброту...

Нет! Все бросить, от всего отказаться и ехать в Петербург учиться, хотя бы там пришлось умереть с голоду.

V

Приехав в Петербург, я записался на курсы в Еленинском клиническом институте: этот институт основан специально для желающих усовершенствоваться врачей. Но, походив туда некоторое время, я убедился, что курсы эти немного дадут мне; дело велось там совсем так же, как в университете: мы опять смотрели, смотрели — и только; а смотрел я уж и без того достаточно. Эти курсы очень полезны для врачей, уже практиковавших, у которых в их практике назрело много вопросов, требующих разрешения; для нас же начинающих, они имеют мало значения; главное, что нам нужно,— это больницы, в которых бы мы могли работать под контролем опытных руководителей.

Я стал искать себе места хотя бы за самое ничтожное вознаграждение, чтоб только можно было быть сытым и не ночевать на улице; средств у меня не было никаких. Я исходил все больницы, был у всех главных врачей; они выслушивали меня с холодно-любезным, скучающим видом и отвечали, что мест нет и что вообще я напрасно думаю, будто можно где-нибудь попасть в больницу сразу на платное место. Вскоре я и сам убедился, как наивны были такие мечты. В каждой больнице работают даром десятки врачей; те из них, которые хотят получать нищенское содержание штатного ординатора, должны дожидаться этого по пяти, по десяти лет; большинство же на это вовсе и не рассчитывает, а работает только для приобретения того, что им должна была дать, но не дала школа.

Я махнул рукою на надежду пристроиться и определился в больницу «сверхштатным». Нуждаться приходилось сильно; по вечерам я подстригал «бахромки» на своих брюках и зашивал черными нитками расползавшиеся штиблеты; прописывая больным порции, я с завистью перечитывал их, потому что сам питался чайною колбасою. В это крутое для меня время я испытал и понял явление, казавшееся мне прежде совершенно непонятным,— как можно пьянствовать

с голоду. Теперь, когда я проходил мимо трактира, меня так и тянуло в него: мне казалось высшим блаженством подойти к ярко освещенной стойке, уставленной вкусными закусками, и выпить рюмку-другую водки; странно, что меня, полуголодного и вовсе не алкоголика, главным образом привлекала именно водка, а не закуски. Когда у меня заводился в кармане рубль, я не мог побороть искушения и напивался пьяным. Ни до этого времени, ни после, когда я питался как следует, водка совершенно не тянула меня к себе.

Работать в больнице приходилось много. При этом я видел, что труд мой прямо *нужен* больнице и что любезность, с которою мне «позволяли» в ней работать, была любезностью предпринимателя, «дающего хлеб» своим рабочим; разница была только та, что за мою работу мне платили не хлебом, а одним лишь позволением работать. Когда, усталый и разбитый, я возвращался домой после бессонного дежурства и ломал себе голову, чего бы попитательнее купить себе на восемь копеек для обеда, меня охватывали злоба и отчаяние: неужели за весь свой труд я не имею права быть хоть сытым?

И я начинал жалеть, что бросил свою практику и приехал в Петербург. Бильрот говорит: «Только врач, не имеющий ни капли совести, может позволить себе самостоятельно пользоваться теми правами, которые ему дает его диплом». А кто в этом виноват? Не мы! Сами устраивают так, что нам нет другого выхода,— пускай сами же и платятся!..

Кроме своей больницы, я продолжал посещать некоторые курсы в Клиническом институте, а также работал и в других больницах. И везде я воочию убеждался, как мало значения придают в медицинском мире нашему врачебному диплому «со всеми правами и преимуществами, сопряженными по закону с этим званием». У нас в больнице долгое время каждое мое назначение, каждый диагноз строго контролировались старшим ординатором; где я ни работал, меня допускали к лечению больных, а тем более к операциям, лишь убедившись на деле, а не на основании моего диплома, что я способен действовать самостоятельно. В Надеждинском родовспомогательном заведении врач, желающий научиться акушерству, в течение первых трех месяцев имеет право только исследовать рожениц и смотреть на операции: по истечении трех месяцев он сдает colloquium *, и

* Собеседование *(лат.)*.— *Ред.*

лишь после этого его допускают к операциям под руководством старшего дежурного ассистента... Может ли пренебрежение к нашим «правам» идти дальше? Диплом признает меня полноправным врачом, закон, под угрозою сурового наказания, *обязывает* меня являться по вызову акушерки на трудные роды, а здесь мне не позволяют провести самостоятельно даже самых легких родов, и поступают, разумеется, вполне основательно.

«Я требую,— писал в 1874 году известный немецкий хирург Лангенбек,— чтобы всякий врач, призванный на поле сражения, обладал оперативною техникою настолько же в совершенстве, насколько боевые солдаты владеют военным оружием»... Кому, действительно, может прийти в голову послать в битву солдат, которые никогда не держали в руках ружья, а только видели, как стреляют другие? А между тем врачи повсюду идут не только на поле сражения, а и вообще в жизнь неловкими рекрутами, не знающими, как взяться за оружие.

Медицинская печать всех стран истощается в усилиях добиться устранения этой вопиющей несообразности, но все ее усилия остаются тщетными. Почему? Я решительно не в состоянии объяснить этого... Кому невыгодно понять необходимость практической подготовленности врача? Не обществу, конечно,— но ведь и не самим же врачам, которые все время не устают твердить этому обществу: «ведь мы учимся на *вас*, мы приобретаем опытность ценою *вашей* жизни и здоровья!..»

VI

Я усердно работал в нашей больнице и, руководимый старшими товарищами-врачами, понемногу приобретал опытность.

Поскольку в этом отношении дело касалось разного рода назначений, то все шло легко и просто: я делал назначения, и, если они оказывались неразумными, старший товарищ указывал мне на это, и я исправлял свои ошибки. Совсем иначе обстояло дело там, где приходилось усваивать известные технические, оперативные приемы. Одних указаний здесь мало; как бы мой руководитель ни был опытен, но главное все-таки я должен приобрести сам; оперировать твердо и уверенно может только тот, кто имеет навык, а как

получить этот навык, если предварительно не оперировать,— хотя бы рукою нетвердою и неуверенною?

В середине восьмидесятых годов американец О'Двайер изобрел новый способ лечения угрожающих сужений гортани у детей, преимущественно при крупе. Раньше при таких сужениях прибегали к трахеотомии: больному вскрывали спереди дыхательное горло и в разрез вставляли трубку. Вместо этой кровавой операции, страшной для близких больного, требующей хлороформа и ассистирования нескольких врачей, О'Двайер предложил свой способ, который заключается в следующем: оператор вводит в рот ребенка левый указательный палец и захватывает им надгортанный хрящ, а правою рукою посредством особого инструмента вводит по этому пальцу в гортань ребенка металлическую трубочку с утолщенной головкой. Трубка оставляется в гортани; утолщенная головка ее, лежащая на гортанных связках, мешает трубке проскользнуть в дыхательное горло; когда надобность минует, трубка извлекается из гортани. Операция эта, которая называется *интубацией*, часто достигает удивительных результатов и моментально устраняет удушье. В настоящее время она все больше вытесняет при дифтерите трахеотомию, которая остается только для тех, сравнительно редких случаев, где интубация не помогает.

Операция эта достигает удивительных результатов, проста и безболезненна, но... но лишь в том случае, если производится опытной рукой. Нужен большой навык, чтоб легко и без зацепки ввести трубочку в больную гортань кричащего и испуганного ребенка.

В дифтеритном отделении я работал под руководством товарища по фамилии Стратонов. Я не один десяток раз присутствовал при том, как он делал интубацию, не один десяток раз сам проделывал ее на фантоме и на трупе. Наконец Стратонов предоставил мне сделать операцию на живом ребенке. Это был мальчуган лет трех, с пухлыми щеками и славными синими глазенками. Он дышал тяжело и хрипло, порывисто метаясь по постели, с бледно-синеватым лицом, с вытягивающимися межреберьями. Его перенесли в операционную, положили на кушетку и забинтовали руки. Стратонов вставил ему в рот расширитель; сестра милосердия держала мальчику голову. Я стал вводить инструмент. Маленькая, мягкая гортань ребенка билась и прыгала под моим пальцем, и я никак не мог в ней ориентироваться. На-

конец мне показалось, что я нащупал вход в гортань; я начал вводить трубку, но она уперлась концом во что-то и не шла дальше. Я надавил сильнее, но трубка не шла.

— Да не нажимайте, силою вы тут ничего не сделаете,— заметил Стратонов.— Поднимайте рукоятку кверху и вводите совершенно без всякого насилия.

Я вытащил интубатор и стал вводить его снова; долго тыкал я концом трубки в гортань; наконец трубка вошла, и я извлек проводник. Ребенок, задыхающийся, измученный, тотчас же выплюнул трубку вместе с кровавою слюною.

— Вы в пищевод трубку ввели, а не в гортань,— сказал Стратонов.— Нащупайте предварительно надгортанник и сильно отдавите его вперед, фиксируйте его таким образом и вводите трубку во время вдоха. Главное же — никакого насилия!

Красный и потный, я передохнул и снова приступил к операции, стараясь не смотреть на выпученные, страдающие глаза ребенка. Гортань его опухла, и теперь было еще труднее ориентироваться. Конец трубки все упирался во что-то, и я никак не мог побороть себя, чтоб не попытаться преодолеть препятствия силою.

— Нет, не могу! — наконец объявил я, нахмурившись, и вынул проводник.

Стратонов взял интубатор и быстро ввел его в рот ребенка; мальчик забился, вытаращил глаза, дыхание его на секунду остановилось; Стратонов нажал винтик и ловко вытащил проводник. Послышался характерный дующий шум дыхания через трубку: ребенок закашлял, стараясь выхаркнуть трубку.

— Нет, разбойник, не выкашляешь! — усмехнулся Стратонов, трепля его по щеке.

Через пять минут мальчик спокойно спал, дыша ровно и свободно.

Началось тяжелое время. Научиться интубировать было необходимо; между тем все указания и объяснения нисколько мне не помогали, а мои предшествовавшие упражнения на фантоме и трупе оказывались очень мало приложимыми. Только недели через полторы мне в первый раз удалось, наконец, ввести трубку в гортань. Но еще долго и после этого, приступая к интубации, я далеко не был уверен, удастся ли она мне. Иногда случалось, что, истерзав ребенка и истерзавшись сам, я должен был посылать за ассистентом, который и вставлял трубку.

Все это страшно тяжело, но как же иначе быть? Операция так полезна, так наглядно спасает жизнь... Это особенно ясно я чувствую теперь, когда все тяжелое осталось назади и когда я возьмусь интубировать при каких угодно условиях. Недавно ночью, на дежурстве, мне пришлось делать интубацию пятилетней девочке; накануне ей уже была вставлена трубочка, но через сутки она выкашляла ее. Больную внесли в операционную; я стал приготовлять инструменты. Девочка сидела на коленях у сиделки — бледная, с капельками пота на лбу, с выражением той страшной тоски, какая бывает только у задыхающихся людей. При виде инструментов ее помутневшие глаза слабо блеснули; она сама раскрыла рот и сидела так, с робкой, ожидающей надеждой следя за мною. У меня сладко сжалось сердце. Быстро и легко, сам наслаждаясь своею ловкостью, я ввел ей в гортань трубку.

Девочка поднялась на кушетке и села, жадно, всею грудью вдыхая воздух; щеки ее порозовели, глазенки счастливо блестели.

— Что, легко дышать теперь? — спросил я.

Она молча кивнула головою.

— Ну, благодари доктора, скажи: «спасибо!» — улыбнулась сестра милосердия, наклоняя ее голову.

— Спа-си-бо! — прошептала девочка, с тихой лаской глядя на меня из-под поднятых бровей.

Я воротился в дежурную, лег спать, но заснуть долго не мог: я, улыбаясь, смотрел в темноту, и передо мною вставало счастливое детское личико, и слышался слабый шепот: «спа-си-бо!..»

Да, такие минуты смягчают воспоминание о пройденном пути и до некоторой степени примиряют с ним; иначе нельзя, а не было бы первого, не было бы и второго. Но все-таки *те-то*, первые,— что им до чужого благополучия, купленного ценою их собственных мук? А сколько таких мук, сколько загубленных жизней лежит на пути каждого врача! «Наши успехи идут через горы трупов»,— с грустью сознается Бильрот в одном частном письме.

Мне особенно ярко вспоминается моя первая трахеотомия; это воспоминание кошмаром будет стоять передо мною всю жизнь... Я много раз ассистировал при трахеотомиях товарищам, много раз сам проделал операцию на трупе. Наконец однажды мне предоставили сделать ее на живой девочке, которой интубация перестала помогать. Один

врач хлороформировал больную, другой — Стратонов, ассистировал мне, каждую минуту готовый прийти на помощь.

С первым же разрезом, который я провел по белому, пухлому горлу девочки, я почувствовал, что не в силах подавить охватившего меня волнения; руки мои слегка дрожали.

— Не волнуйтесь, все идет хорошо,— спокойно говорил Стратонов, осторожно захватывая окровавленную фасцию своим пинцетом рядом с моим.— Крючки!.. Вот она, щитовидная железа, отделите фасцию!.. Тупым путем идите!.. Так, хорошо!..

Я наконец добрался зондом до трахеи, торопливо разрывая им рыхлую клетчатку и отстраняя черные, набухшие вены.

— Осторожнее, не нажимайте так,— сказал Стратонов.— Ведь этак вы все кольца трахеи поломаете! Не спешите!

Гладкие, хрящеватые кольца трахеи ровно двигались под моим пальцем вместе с дыханием девочки; я фиксировал трахею крючком и сделал в ней разрез; из разреза слабо засвистел воздух.

— Расширитель!

Я ввел в разрез расширитель. Слава богу, сейчас конец! Но из-под расширителя не было слышно того характерного шипящего шума, который говорит о свободном выходе воздуха из трахеи.

— Вы мимо ввели расширитель, в средостение! — вдруг нервно крикнул Стратонов.

Я вытащил расширитель и дрожащими от волнения руками ввел его вторично, но опять не туда. Я все больше терялся. Глубокая воронка раны то и дело заливалась кровью, которую сестра милосердия быстро вытирала ватным шариком; на дне воронки кровь пенилась от воздуха, выходившего из разрезанной трахеи; сама рана была безобразная и неровная, внизу ее зиял ход, проложенный моим расширителем. Сестра милосердия стояла с страдающим лицом, прикусив губу; сиделка, державшая ноги девочки, низко опустила голову, чтоб не видеть...

Стратонов взял у меня расширитель и стал вводить его сам. Но он долго не мог найти разреза. С большим трудом ему, наконец, удалось ввести расширитель; раздался шипящий шум, из трахеи с кашлем полетели брызги кровавой

слизи. Стратонов ввел канюлю, наклонился и стал трубочкой высасывать из трахеи кровь.

— Коллега, ведь это нечего же объяснять, это само собою понятно,— сказал он по окончании операции,— разрез нужно делать в самой середине трахеи, а вы каким-то образом ухитрились сделать его сбоку; и зачем вы сделали такой большой разрез?

«Зачем»! На трупе у меня и разрезы были нужной длины, и лежали они точно в середине трахеи...

У оперированной образовался дифтерит раны. Повязку приходилось менять два раза в день, температура все время была около сорока. В громадной гноящейся воронке раны трубка не могла держаться плотно; приходилось туго тампонировать вокруг нее марлею, и тем не менее трубка держалась плохо. Перевязки делал Стратонов.

Однажды, раскрыв рану, мы увидели, что часть трахеи омертвела. Это еще больше осложнило дело. Лишенная опоры трубочка теперь, при введении в разрез, упиралась просветом в переднюю стенку трахеи, и девочка начинала задыхаться. Стратонов установил трубочку как следует и стал тщательно обкладывать ее ватой и марлей. Девочка лежала, выкатив страдающие глаза, отчаянно топоча ножками и стараясь вырваться из рук державшей ее сиделки; лицо ее косилось от плача, но плача не было слышно: у трахеотомированных воздух идет из легких в трубку, минуя голосовую щель, и они не могут издать ни звука. Перевязка была очень болезненна, но сердце у девочки работало слишком плохо, чтобы ее можно было хлороформировать.

Наконец Стратонов наложил повязку; девочка села; Стратонов испытующе взглянул на нее.

— Дышит все-таки скверно! — сказал он, нахмурившись, и снова стал поправлять трубочку.

Лицо девочки перестало морщиться; она сидела спокойно и, словно задумавшись, неподвижно смотрела вдаль поверх наших голов. Вдруг послышался какой-то странный, слабый, прерывистый треск... Крепко стиснув челюсти, девочка скрипела зубами.

— Ну, Нюша, потерпи немножко,— сейчас не будет больно! — страдающим голосом произнес Стратонов, нежно гладя ее по щеке.

Девочка широко открытыми, неподвижными глазами смотрела в дверь и продолжала быстро скрипеть зубами; у нее все во рту трещало, как будто она торопливо разгрыза-

ла карамель; это был ужасный звук; мне казалось, что она в крошки разгрызла свои собственные зубы и рот ее полон кашицы из раздробленных зубов...

Через три дня больная умерла. Я дал себе слово никогда больше не делать трахеотомий.

Но чего же я этим достиг? Товарищи, начавшие работать одновременно со мною, но менее мягкосердечные, могут теперь спасти человеку жизнь там, где я стою, беспомощно опустив руки. Года через полтора после моей первой и последней трахеотомии в нашу больницу во время моего дежурства привезли рабочего из Колпина с сифилитическим сужением гортани; сужение развивалось постепенно в течение месяца, и уж двое суток больной почти совсем не мог дышать. Исхудалый, с торчащими вихрами редких волос, с синевато-землистым лицом, он сидел, схватившись руками за грудь, дыша с тяжелым хрипящим шумом. Я послал за товарищем, ассистентом-хирургом, и велел отвести больного в операционную.

Ассистент осмотрел его.

— Придется операцию сделать тебе, горло разрезать,— сказал он.

— Да, да, хорошо! Поскорее, ради бога! — в смертной тоске произнес больной, закивав головою.

Пока приготовляли инструменты, больному дали вдыхать кислород.

— Ну, ложись,— сказал товарищ.

Больной положил на себя широкий крест и, поддерживаемый служителями, полез на операционный стол. Пока мы мыли ему шею, он все время продолжал дышать кислородом. Я хотел взять у него трубку,— он умоляюще ухватился за нее руками.

— Еще немножко, еще воздухом дайте подышать! — сипло прошептал он.

— Довольно, довольно! Сейчас тебе легко будет! — сказал товарищ.— Закрой глаза.

Больной еще раз широко перекрестился и зажмурился.

Операция производилась под кокаином. Один-другой разрез, я развел крючками края раны, товарищ вскрыл перстневидный хрящ,— и брызги кровавой слизи с кашлем полетели из разреза. Товарищ ввел трубку и наложил повязку.

— Готово! — сказал он.

Больной поднялся, жадно и глубоко вбирая в грудь воз-

дух; он улыбался бесконечно радостною недоумевающею улыбкою и в удивлении крутил головою.

— Что, брат, ловко распатронили? — засмеялся товарищ.

И все кругом смеялись; смеялись сестры, сиделки, служители... А больной по-прежнему радостно-изумленно улыбался и, беззвучно шепча что-то, крутил головою, пораженный чудесным могуществом нашей науки.

Назавтра я зашел в палату взглянуть на него. Больной встретил меня тою же радостно-недоумевающею улыбкою.

— Как дела? — спросил я.

Он закивал головою и развел руками, показывая, как ему хорошо... Я вышел с тяжелым чувством: я не мог бы спасти его, если бы не было под рукою товарища, больной бы погиб.

И я думал: нет, вздор все мои клятвы! Что же делать? Прав Бильрот,— «наши успехи идут через горы трупов». Другого пути нет. Нужно учиться, нечего смущаться неудачами... Но в моих ушах раздавался скрежет погубленной мною девочки,— и я с отчаянием чувствовал, что я не могу, не могу, что у меня не поднимется рука на новую операцию.

Как же в данном случае следует поступать? Ведь я не решил вопроса,— я просто убежал от него. Лично я мог это сделать, но что было бы, если бы так поступали все? Один старый врач, заведующий хирургическим отделением N-ской больницы, рассказывал мне о тех терзаниях, которые ему приходится переживать, когда он дает оперировать молодому врачу: «Нельзя не дать,— нужно же и им учиться, но как могу я смотреть спокойно, когда он, того и гляди, заедет ножом черт знает куда?!»

И он отбирает нож у оператора и оканчивает операцию сам. Это очень добросовестно, но... но со стороны, от работавших у него врачей, я слышал, что поступать в его отделение не стоит: хирург он хороший, но у него ничему не научишься. И это понятно. Хирург, который так щепетильно относится к своим пациентам, не может быть хорошим учителем. Вот что, например, рассказывает один русский врач-путешественник о знаменитом Листере, творце антисептики: «Листер слишком близко принимает к сердцу интересы своего больного и слишком высоко ставит свою нравственную ответственность перед каждым оперируемым. Вот по-

чему Листер редко доверяет своим ассистентам перевязку артерий, и вообще все манипуляции, касающиеся непосредственно оперируемого, он выполняет собственноручно. Поэтому его молодые ассистенты не обладают достаточною оперативною ловкостью».

Если думать только о каждом данном больном, то иное отношение к делу и невозможно. Тот же путешественник — проф. А. С. Таубер,— рассказывая о немецких клиниках, замечает: «Громадная разница в течении ран наблюдается в клиниках между ампутациями, произведенными молодыми ассистентами, и таковыми, сделанными ловкой и опытной рукой профессора; первые нередко ушибают ткани, разминают нервы, слишком коротко урезывают мышцы или высоко обнажают артериальные сосуды от их влагалищ,— все это моменты, неблагоприятные для скорого заживления ампутационной раны».

Но нужно ли приводить еще ссылки в доказательство истины, что, не имея опыта, нельзя стать опытным оператором? Где же тут выход? С точки зрения врача можно еще примириться с этим: «все равно, ничего не поделаешь». Но когда я воображаю себя пациентом, ложащимся под нож хирурга, делающего свою первую операцию,— я не могу удовлетвориться таким решением, я сознаю, что *должен* быть другой выход во что бы то ни стало.

На один из таких выходов указал еще в тридцатых годах известный французский физиолог Мажанди. «Хороший хирург анатомического театра,— говорит он,— не всегда будет хорошим госпитальным хирургом. Он каждую минуту должен ждать тяжелых ошибок, прежде чем приобретет способность оперировать с уверенностью. Способность эту будет в состоянии дать ему только долгая практика, тогда как он должен был бы приобрести ее с самого начала, если бы его образование было лучше направлено. Больше всего в этом виноват способ обучения, который и до настоящего времени практикуется в наших школах. Учащиеся переходят непосредственно от мертвой природы к живой, они принуждены приобретать опытность на счет гуманности, на счет жизни себе подобных. Господа! Прежде чем обращаться к человеку,— разве у нас нет существ, которые должны иметь в наших глазах меньше цены и на которых позволительно применять свои первые попытки? Я бы хотел, чтобы в дополнение к медицинскому образованию у нас требовалось уменье оперировать на живых животных. Кто при-

вык к такого рода операциям, тот смеется над трудностями, перед которыми беспомощно останавливается столько хирургов».

Этот совет Мажанди очень легко исполним; тем не менее и до настоящего времени он нигде не применяется. Изобретая какую-либо *новую* операцию, хирург большею частью проделывает ее предварительно над животными. Но, сколько я знаю, нигде в мире нет обычая, чтобы молодой хирург допускался к операции на живом человеке лишь после того, как приобретет достаточно опытности в упражнениях над живыми животными. Да и где уж требовать этого, когда далеко не всегда операциям на живом человеке предшествует достаточная подготовка даже в операциях на трупе. В тридцатых годах хирург, занимавшийся анатомией, вызывал пренебрежительный смех. Вот как, напр., отзывался профессор хирургии Диффенбах о молодом французском хирурге Вельпо: «это какой-то анатомический хирург». «По мнению Диффенбаха,— говорит Пирогов,— это была самая плохая рекомендация для хирурга».

Так было в тридцатых годах, а вот что сообщает о современных хирургах уже упомянутый выше профессор А. С. Таубер: «В Германии обыкновенно молодые ассистенты хирургических клиник учатся оперировать не на мертвом теле, а на живом. Никто не станет отрицать того, что живая кровь, струящаяся под ударом ножа, или содрогание живых мышц во время оперирования развивают в молодом операторе смелость, находчивость и уверенность в своих действиях; но, с другой стороны, я думаю, не подлежит никакому сомнению, что такое упражнение неопытной руки в операциях на живом — негуманно и несогласно с задачами врача вообще».

Мне думается, что только самое строгое и систематическое проведение в жизнь правила, рекомендованного Мажанди, могло бы хоть до известной степени спасти больных от необходимости платить своей кровью и жизнью за образование искусных хирургов. Но все-таки это лишь до известной степени. Когда можно признать хирурга «достаточно» опытным? Где для этого граница?

В 1873 году, на вершине своей славы и опытности, Бильрот писал одной своей старой знакомой: «У меня много оперированных и еще больше таких, которых предстоит оперировать; они занимают все мои мысли; из года в год увеличивается их число, бремя становится все тяжелее и

тяжелее. Час назад я ушел от одной славной женщины, которую я вчера оперировал,— страшная операция... Каким взглядом смотрела она на меня сегодня вечером! «Останусь я жива?» Я надеюсь, она останется жива, но наше искусство так несовершенно! Столетие все увеличивающегося знания и опытности хотел бы я иметь за собою,— тогда, может быть, я мог бы кое-что сделать. Но так, как теперь,— успехи наши подвигаются довольно медленно, и то немногое, чего достигает один, так трудно передать другим! Получающий должен самое важное сделать сам».

Хирургия есть искусство, и, как таковое, она более всего требует творчества и менее всего мирится с шаблоном. Где шаблон,— там ошибок нет, где творчество,— там каждую минуту возможна ошибка. Долгим путем таких ошибок и промахов и вырабатывается мастер, а путь этот лежит опять-таки через «горы трупов»... Тот же Бильрот, молодым доцентом хирургии, писал своему учителю Бауму об одном больном, которому Бильрот произвел три раза в течение одной недели насильственное вытяжение ноги, не подозревая, что головка бедра переломлена. «Действие вытяжения на воспаленные части оказалось, понятно, чрезвычайно гибельным; наступила гангрена и смерть... Случай был для меня очень поучителен, потому что он, как и многие другие, научил меня, *чего не должно делать*. Но это, разумеется, entre nous» *

Яркую картину процесса выработки опытности дал Пирогов в своих нашумевших «Анналах Дерптской хирургической клиники», изданных на немецком языке в конце тридцатых годов. С откровенностью гения он рассказал в этой «исповеди практического врача» о всех своих ошибках и промахах, которые он совершил во время заведования клиникою. То, о чем другие решались сообщать лишь в частных письмах, «entre nous»,— Пирогов, ко всеобщему смущению и соблазну, оповестил на весь мир. Картина, нарисованная им, получилась потрясающая.

Да, это все уж совершенно неизбежно, и никакого выхода отсюда нет. Так оно и останется: перед неизбежностью этого должны замолкнуть даже терзания совести. И все-таки сам я ни за что не согласился бы быть жертвой

---

* Между нами (*франц.*).— *Ред.*

этой неизбежности, и никто из жертв не хочет быть жертвами... И сколько таких проклятых вопросов в этой страшной науке, где шагу нельзя ступить, не натолкнувшись на живого человека!

VII

В 1886 году бухарестский профессор Петреску предложил лечить крупозное воспаление легких большими (раз в десять больше принятых) дозами наперстянки. По его многолетним наблюдениям, смертность при таком лечении с 20—30% понижалась до 3%, болезнь обрывалась и исчезала, «как по мановению волшебного жезла». Доклад Петреску о его способе, сделанный им в Парижской медицинской академии, обратил на себя общее внимание,— сообщенные им результаты действительно были поразительны. Способ стали применять другие врачи — и в большинстве случаев остались им очень довольны.

Я заведовал в то время палатою, где лежали больные крупозною пнеймонией. Прельщенный упомянутыми сообщениями, я, с согласия старшего ординатора, решил испробовать способ Петреску. Только что перед этим я прочел в «Больничной газете Боткина» статью д-ра Рехтзамера об этом способе. Хотя он и находил надежды Петреску несколько преувеличенными, но не отрицал, что некоторые из его больных выздоровели именно только благодаря примененному им способу Петреску; по мнению автора, способ этот можно бы рекомендовать как последнее средство в тяжелых случаях у алкоголиков и стариков. «Ни в одном из моих случаев,— прибавлял д-р Рехтзамер,— я не мог констатировать смерти больного в зависимости от отравления наперстянкой».

В мою палату был положен на второй день болезни старик-штукатур; все его правое легкое было поражено сплошь; он дышал очень часто, стонал и метался; жена его сообщила, что он с детства сильно пьет. Случай был подходящий, и я назначил больному наперстянку по Петреску.

Подписывая свой рецепт, я невольно остановился,— так поразил он меня своей необычностью. На нем стояло:

Rp. Inf. fol. Digitalisex 8,0 (!) : 200,0
DS. Через час (!) по столовой ложке.

Это значит: настой двухсот граммов воды на восьми граммах наперстянки, а восклицательные знаки, по требованию закона, предназначены для аптекаря: высшее количество листьев наперстянки, которое можно в течение суток без вреда дать человеку, определяется в 0,6 грамма; так вот, восклицательные знаки и уведомляют аптекаря, что, прописав мою чудовищную дозу, я не описался, а действовал вполне сознательно... Я перечитывал свой рецепт,— и эти восклицательные знаки смотрели на меня задорно и вызывающе, словно говорили: «Да, давать человеку больше шести десятых грамма наперстянки нельзя, если не хочешь отравить его,— а ты назначаешь количество в тринадцать раз более дозволенного!»

Я вышел из больницы, а восклицательные знаки моего рецепта неотступно стояли перед моими глазами. Мне вспоминались слова д-ра Рехтзамера: «Ни в одном из моих случаев я не мог констатировать смерти больного в зависимости от отравления наперстянкой».— Ну, а если на мою долю выпадет печальная необходимость «констатировать смерть от отравления наперстянкой», — наперстянкой, выписывая которую, я сам ставил такие красноречивые восклицательные знаки?

На следующий день больному стало хуже; он тупо смотрел на меня потускневшими глазами, кончик его носа посинел, пульс был по-прежнему частый, и появились перебои. Отчего это все,— от наперстянки или несмотря на нее? У больного сердце было слабое, и явления могли обусловливаться естественным процессом, с которым наперстянка еще не успела справиться.

«А если это от наперстянки?» — мелькнула у меня мысль.

Я подавил в себе эту мысль: ведь уж многие испытывали способ и нашли, что он действует хорошо. Я снова выписал больному наперстянку.

Через два дня старик умер при все усиливающейся сердечной слабости и оглушении. У ворот больницы я встретил его жену; она шла из покойницкой, низко надвинув платок на опухшие глаза, и что-то глухо говорила себе под нос. Со смутным чувством стыда и страха перечитывал я скорбный лист умершего: подробное изо дня в день описание течения все ухудшающейся болезни, рецепты, усеянные восклицательными знаками, и в конце—лаконическая приписка дежурного врача: «В два часа ночи больной

скончался»... Мне было странно,— в каком бреду действовал я, назначая свое лечение, непроверенное, дерзкое? Может быть, старик все равно бы умер, но могу ли я поручиться, что смерть вызвана не тем чудовищным количеством сильно действующей наперстянки, которое я ввел в его кровь? И это в то время, когда для борьбы с болезнью и без того требовались все силы организма... Вскоре я прочел во «Враче» статью д-ра Рубеля, который, тщательно разобрав свои собственные опыты, опыты Петреску, его учеников и сторонников, неопровержимо доказал, что «способ Петреску причиняет во многих случаях явный, иногда даже угрожающий жизни вред, и можно только посоветовать возможно скорее предать его полному забвению».

Я решил применять впредь на своих больных только средства, уже достаточно проверенные и несомненные. Чем больше я теперь знакомился с текущей медицинской литературою, тем все больше утверждался в своем решении. Передо мною раскрылось нечто ужасающее. Каждый номер врачебной газеты содержал в себе сообщение о десятках новых средств, и так из недели в неделю, из месяца в месяц; это был какой-то громадный, бешеный, бесконечный поток, при взгляде на который разбегались глаза: новые лекарства, новые дозы, новые способы введения их, новые операции, и тут же — десятки и сотни... загубленных человеческих здоровий и жизней.

Одни из нововведений, как пузыри пены на потоке, вскакивали и тотчас же лопались, оставляя за собой один-другой труп. Проф. Меринг, заставляя животных вдыхать пентал, нашел, что вещество это представляет собою очень хорошее усыпляющее средство. После этого д-р Голлендер испытал пентал на своих больных и получил блестящие результаты. На съезде естествоиспытателей и врачей в Галле, в сентябре 1891 года, он дал о пентале самый восторженный отзыв. «В настоящее время,— заявил Голлендер,— пентал по верности действия и по поразительно хорошему самочувствию после наркоза представляет наилучшее обезболивающее для кратковременных операций: он не производит дурных последствий, и применение его не представляет никакой опасности; он не оказывает никакого вредного действия ни на сердце, ни на дыхание»... Широкою рукою стали испытывать пентал. Через полгода д-р Геглер сообщил, что у одного креп-

кого мужчины пентал вызвал одышку с синюхою и в заключение остановку дыхания; его удалось спасти только благодаря принятым энергичным мерам оживления. Через два месяца после этого в Ольмюце умерла от вдыхания пентала дама, у которой собирались выдернуть зуб. Около этого же времени «Английский зубоврачебный журнал» сообщил, что после вдыхания десяти капель пентала умерла 33-летняя женщина, страдавшая зубной болью. У д-ра Зика умерли от пентала двое — здоровый, крепкий мужчина и молодая девушка с поражением тазо-бедренного сустава, но в остальном крепкая и здоровая... Прошло всего полтора года после сообщения Голлендера. На съезде немецких хирургов профессор Гурльт выступил с докладом о сравнительной смертности при различных обезболивающих средствах. Опираясь на громадный статистический материал, он показал, что в то время, как эфир, закись азота, бромистый этил и хлороформ дают одну смерть на тысячи и десятки тысяч случаев, пентал дает одну смертность на *199 случаев*. «От наркоза пенталом,— вполне основательно заключил профессор Гурльт,— по имеющимся до сих пор данным, следует *прямо предостеречь*». И пентал бесследно исчез из практики...

А кто не помнит победного шествия и позорного крушения коховского туберкулина? Тысячам туберкулезных широкою рукою впрыскивался этот прославленный туберкулин, и через два года выяснилось с несомненностью, что он ничего не приносит, кроме вреда.

Такова была история тех из предлагавшихся новых средств, которые по испытании оказывались негодными. Судьба других новых средств была иная; они выходили из испытания окрепшими и признанными, с точно установленными показаниями и противопоказаниями; и все-таки путь их шел через те же загубленные здоровья и жизни людей.

Среди жителей многих гористых местностей распространена своеобразная болезнь — зоб, заключающаяся в опухании лежащей над нижнею частью горла щитовидной железы. В числе различных способов лечения зоба было, между прочим, предложено полное удаление всей щитовидной железы. Результаты этой операции оказались очень хорошими: больные выписывались здоровыми, лишение щитовидной железы (назначение которой в то время было совершенно неизвестно), по-видимому, не вызывало никаких вредных последствий. Но вот в 1883 году

бернский профессор Кохер опубликовал статью, где сообщил следующее. Он произвел тридцать четыре полных иссечения зоба и был очень доволен результатами; но однажды один его знакомый врач рассказал ему, что он пользует девушку, которой девять лет назад Кохер вырезал зоб; врач этот рекомендовал Кохеру посмотреть больную теперь. И вот что увидел Кохер. У больной была младшая сестра; девять лет назад обе они были так похожи друг на друга, что их часто принимали одну за другую. «За эти девять лет,— рассказывает Кохер,— младшая сестра превратилась в цветущую, хорошенькую девушку, оперированная же осталась маленькою и являет отвратительный вид полуидиотки». Тогда Кохер решил навести справки о судьбе всех оперированных им зобатых. Все 28 человек, у которых было сделано лишь частичное вырезывание щитовидной железы, были найдены совершенно здоровыми; из восемнадцати же человек, у которых была вырезана вся железа, здоровыми оказались только двое; остальные представляли своеобразный комплекс симптомов, который Кохер характеризует следующим образом: «задержание роста, большая голова, шишковатый нос, толстые губы, неуклюжее тело, неповоротливость мысли и языка при сильной мускулатуре,— все это с несомненностью указывает на близкое родство описываемого страдания с идиотизмом и кретинизмом». Между тем некоторым из оперированных зоб доставлял очень незначительные неудобства, и операция была предпринята почти лишь с косметическою целью; а результат — идиотизм... Впоследствии мнение Кохера о связи указанных симптомов с удалением щитовидной железы вызвало возражения, но тем не менее в настоящее время ни один хирург уж не решится произвести полного вылущения щитовидной железы, если ее заболевание непосредственно не грозит больному неминуемою смертью.

В 1884 году Коллер ввел во всеобщее употребление одно из самых драгоценных врачебных средств — кокаин, который вызывает прямо идеальное местное обезболивание. Через два года петербургский профессор Коломнин, собираясь сделать одной женщине операцию, ввел ей в прямую кишку раствор кокаина. Вдруг больная посинела, у нее появились судороги, и через полчаса она умерла при явлениях отравления кокаином. Профессор Коломнин приехал домой, заперся у себя в кабинете и застрелился... В настоящее время, перечитывая сообщения о кокаине за

первые годы после его введения, поражаешься, в каких больших дозах его назначали: проф. Коломнин, напр., ввел своей больной около полутора граммов кокаина; и такие дозы в то время были не в редкость; Гуземан полагал, что смертельная доза кокаина для взрослого человека должна быть «очень велика». Горький опыт Коломнина и других научил нас, что доза эта, напротив, очень невелика, что нельзя вводить в организм человека больше шести сотых грамма кокаина; эта доза *в двадцать пять раз* меньше той, которую назначил своей больной несчастный Коломнин.

Вывод из всего этого был для меня ясен: я буду впредь употреблять только те средства, которые безусловно испытаны и не грозят моим больным никаким вредом.

Года три тому назад я лечил одну учительницу, больную чахоткою. В то время появились известия, что Роберт Кох, продолжавший работать над своим опозорившимся туберкулином, усовершенствовал его и применяет снова. Больная обратилась ко мне за советом, не подвергнуться ли ей впрыскиваниям этого «очищенного» туберкулина.

— Подождите лучше,— ответил я.— Пускай раньше выяснится, действительно ли он много лучше старого.

Я поступил вполне добросовестно. Но у меня возник вопрос: на ком же это должно выясниться? Где-то *там*, за моими глазами, дело выяснится на тех же больных, и, если средство окажется хорошим... я благополучно стану применять его к своим больным, как применяют теперь такое ценное, незаменимое средство, как кокаин. Но что было бы, если бы все врачи смотрели на дело так же, как я?

Мы еще очень мало знаем человеческий организм и управляющие им законы. Применяя новое средство, врач может заранее лишь с большею или меньшею вероятностью предвидеть, как это средство будет действовать; может быть, оно окажется полезным; но если оно и ничего не принесет, кроме вреда, то все же дивиться будет нечему: игра идет в темную, и нужно быть готовым на все неожиданности. До известной степени возможность таких неожиданностей уменьшается тем, что средства предварительно испытываются на животных; это громадная поддержка; но организмы животных и человека все-таки слишком различны, и безошибочно заключать от первых ко вторым нельзя. И вот к человеку подходят только с известною *воз-*

можностью, что применяемое средство поможет ему или не повредит; тут всегда больший или меньший риск, расчеты могут не оправдаться, и притом это не всегда сразу делается очевидным: клиническое наблюдение трудно и сложно; часто бывает, что средство долго производит благоприятное впечатление, а затем оказывается, что это было лишь результатом самовнушения.

Путем этого постоянного и непрерывного риска, блуждая в темноте, ошибаясь и отрекаясь от своих заблуждений, медицина и добыла большинство из того, чем она теперь по праву гордится. Не было бы риска — не было бы и прогресса; это свидетельствует вся история врачебной науки.

В первой половине девятнадцатого века опухоли яичников у женщин лечились внутренними средствами; попытки удалять опухоли оперативным путем посредством вскрытия живота (овариотомия) кончались так печально, что, пиши я свои записки полвека назад, я привел бы эти попытки в виде примера непростительного врачебного экспериментирования на людях. В то время в Англии жил молодой хирург Спенсер Уэльс. Ему случалось ассистировать при овариотомиях, и он вынес впечатление, что операция эта прямо непозволительна. Вскоре затем ему пришлось в качестве хирурга участвовать в Крымской кампании; там он видел много ран живота, много наблюдал их течение. Воротившись в 1856 году в Лондон, Спенсер Уэльс чувствовал уже значительно меньший страх к таким ранам. Теперь ему казалось, что при умелом оперировании овариотомия может давать хорошие результаты. Между тем она внушала всем такое недоверие, что врачи называли ее «убийственною» операцией, а судебные прокуроры прямо заявляли о необходимости привлекать подобных операторов к суду. Несмотря на это, Спенсер Уэльс решил при первом удобном случае рискнуть на операцию. Случай вскоре представился. Уэльс произвел овариотомию... Оперированная умерла.

«Я думаю,— рассказывает Спенсер Уэльс,— трудно представить себе положение более обескураживающее, чем то, в каком я находился. Первая моя попытка потерпела полную неудачу; не только у других, но и во мне самом она усиливала опасение, что я иду по дороге к довольно-таки незавидной известности. Решительно все было против меня. Врачебная пресса громила операцию самым энергичным образом, в медицинских обществах ее решительно порицали люди самого высокого авторитета». Тем не менее Спенсер

Уэльс продолжал оперировать, и все более удачно. Отношение к операции мало-помалу стало изменяться. «Уже в 1864 году овариотомия была повсюду признана вполне законной операцией, а еще немного спустя она была уже объявлена триумфом современной хирургии»...

Так рассказывал в восьмидесятых годах покрытый всемирною славою Спенсер Уэльс, один из благодетелей человечества, благодаря операции которого была спасена жизнь десяткам тысяч женщин. Кто упрекнет его за его смелость? Победителя не судят.

Когда у Пирогова под старость образовался рак верхней челюсти, лечивший его д-р Выводцев обратился к Бильроту с предложением сделать Пирогову операцию. Бильрот, ознакомившись с положением дела, не решился на операцию. «Я теперь уж не тот бесстрашный и смелый оператор, каким вы меня знали в Цюрихе,— писал он Выводцеву.— Теперь при показании к операции я всегда ставлю себе вопрос: *допущу ли я на себе сделать операцию, которую хочу сделать на больном?*» Значит, раньше Бильрот делал на больных операции, которых на себе не позволил бы сделать? Конечно. Иначе мы не имели бы ряда тех новых блестящих операций, которыми мы обязаны Бильроту.

Выход оказывается вовсе не таким простым и ясным, как мне казалось. «Употреблять только испытанное»... Пока я ставлю это правилом лишь для самого себя, я нахожу его хорошим и единственно возможным; но когда я представляю себе, что правилу этому станут следовать все, я вижу, что такой образ действий ведет не только к гибели медицины, но и к полнейшей бессмыслице. «Вы говорите,— писал недавно умерший знаменитый французский хирург Пэан,— вы говорите, что к людям можно применять только те средства, которые были предварительно испытаны на людях; но ведь это — положение, опровергающее само себя; если бы, к своему несчастию, медицина вздумала следовать ему, то она осудила бы себя на самый прямолинейный эмпиризм, на самую догматическую традицию. Опыты на животных служили бы только для спекулятивных разысканий; ветеринарная медицина, конечно, извлекала бы из этих опытов много пользы, но медицине человеческой с ними нечего было бы делать».

И действительно, во что бы тогда превратилась медицина? Новых, еще не испытанных средств применять нельзя; отказываться от средств, уже признанных, тоже нельзя: тот

врач, который не стал бы лечить сифилиса ртутью, оказался бы, с этой точки зрения, не менее виноватым, чем тот, который стал бы лечить упомянутую болезнь каким-либо неизведанным средством; чтобы отказаться от старого, нужна не меньшая дерзость, чем для того, чтобы ввести новое; между тем история медицины показывает, что теперешняя наука наша, несмотря на все ее блестящие положительные приобретения, все-таки больше всего, пользуясь выражением Мажанди, обогатилась именно своими потерями. И в результате получилось бы вот что: практическая медицина впала бы в полное окоченение вплоть до того далекого времени, когда человеческий организм будет совершенно познан наукою и когда действие применяемого нового средства будет заранее предвидеться во всех его подробностях. А между тем со всех сторон люди взывают к медицине: «Помоги же! Отчего ты так мало помогаешь?»

Мое положение оказывается в высшей степени странным. Я все время хочу лишь одного: не вредить больному, который обращается ко мне за помощью; правило это, казалось бы, настолько элементарно и обязательно, что против него нельзя и спорить; между тем соблюдение его систематически обрекает меня во всем на полную неумелость и полный застой. Каждую дорогу мне загораживает живой человек; я вижу его — и поворачиваю назад. Душевное спокойствие свое я этим, разумеется, спасаю, но вопрос остается по-прежнему нерешенным.

Так и с разбираемым вопросом. Где выход? Где граница допустимого? Я не знаю. А между тем именно настоящее время делает эти вопросы особенно настоятельными. Созданием бактериологии закончилась великая эпоха капитальных открытий в области медицины, и наступило временное затишье. И, как всегда в такие времена, голову поднимает эмпирия, и практика наводняется целым морем всевозможных новых средств; без конца и без перерыва предлагаются все новые и новые химические вещества — анезин, косаприн, голокаин, криофин, мидрол, фезин и тысячи других. Больным впрыскивают самые разнообразные бактерийные токсины и антитоксины, вытяжки из всех мыслимых животных органов; изобретаются различнейшие операции, кровавые и некровавые. Может быть, от всего этого урагана для нас останется много ценных средств, но ужас берет, когда подумаешь, какою ценою это будет куплено, и жутко становится за больных, которые, как бабочки на огонь, неудержи-

мо, часто вопреки убеждению врачей, стремятся навстречу этому урагану.

Однажды, вскоре по приезде в Петербург, мне пришлось быть у одной моей старушки-тетушки, генеральши. Она стала мне рассказывать о своих многочисленных болезнях — сердцебиениях, болях под ложечкой, нервных тиках и мучительных бессонницах.

— Мне мой доктор прописал от бессонницы новое средство... *Самое новое!* Ты его, должно быть, и не знаешь еще... Как его? Хло-ра-лоз... Не хлорал-гидрат,— он действует на сердце,— а этот совершенно безвредный: усовершенствованный хлорал-гидрат.

И она принесла изящную коробочку с облатками, прописанными ей модным доктором, и с торжеством показала мне рецепт...

«Бедная ты, бедная!» — подумал я.

VIII

От вопросов, спутанных и тяжелых, на которые не знаешь, как ответить, перед которыми останавливаешься в полной беспомощности, мне приходится теперь перейти к вопросу, на который возможен только один, совершенно определенный, ответ. Здесь грубо и сознательно не хотят ведаться с человеком, приносимым в жертву науке,—

Во имя грядущего льется здесь кровь,
Здесь нет настоящего,— к черту любовь!

С тяжелым чувством приступаю я к этой главе, но что делать? Из песни слова не выкинешь.

Я имею в виду врачебные опыты на живых людях.

В последующем изложении я по возможности буду точно указывать на первоисточники, чтобы читатель сам мог проверить сообщаемые мною данные. Я ограничусь при этом одною лишь областью венерических болезней; несмотря на щекотливость предмета, мне приходится остановиться именно на этой области, потому что она особенно богата такого рода фактами: дело в том, что венерические болезни составляют специальный удел людей и ни одна из них не прививается животным; поэтому многие вопросы, которые в других отраслях медицины решаются животными прививками, в венерологии могут быть решены только прививкою людям. И венерологи не остановились перед этим: буквально каждый шаг вперед в их науке запятнан преступлением.

Существует, как известно, три венерических болезни: гонорреяя, мягкая язва и сифилис. Начну с первой.

Специфический микроорганизм, обусловливающий гонорею, был открыт Нейсером в 1879 году. Его образцово поставленные опыты доказывали с большою вероятностью, что открытый им «гонококк» и есть специфический возбудитель гонорреи. Но с полною убедительностью доказать специфичность какого-нибудь микроорганизма возможно в бактериологии только путем прививки: если, прививая животному чистую разводку микроорганизма, мы получаем известную болезнь, то этот микроорганизм и есть возбудитель данной болезни. К сожалению, ни одно из животных, как мы знаем, не восприимчиво к гонорроее. Приходилось либо оставить открытие под сомнением, либо прибегнуть к прививкам людям. Сам Нейсер предпочел первое.

Последователи его оказались не так щепетильны. Первым, привившим гонококка человеку, был д-р *Макс Бокгарт*, ассистент профессора Ринекера. «Господин тайный советник фон-Ринекер,— пишет Бокгарт,— всегда держался того взгляда, что раскрытие причин венерических болезней может быть достигнуто лишь путем прививок людям»[1]. По предложению своего патрона Бокгарт привил чистую культуру гонококка одному больному, страдавшему прогрессивным параличом и находившемуся в последней стадии болезни; у него уже несколько месяцев назад исчезла чувствительность, пролежни увеличивались с каждым днем, и в скором времени можно было ждать смертельного исхода. Прививка удалась, но отделение гноя было очень незначительно. Чтобы усилить отделение, больному было дано пол-литра пива. «Успех получился блестящий,— пишет Бокгарт.— Гноеотделение стало очень обильным... Через десять дней после прививки больной умер в паралитическом припадке. Вскрытие показало, между прочим, острое гоноррейное воспаление мочевого канала и пузыря с начинающимся омертвением последнего и большое количество нарывов в правой почке; в гное этих нарывов найдены многочисленные гонококки»[2].

Способ чистой разводки, употребленный Бокгартом, был очень несовершенный, и его опыт большого научного значения не имел. Первая, несомненно чистая, культура го-

---

[1] Beitrag zur Aetiologie des Harnröhrentrippers. *Virteljahrschr. 1 für Dermatol. und Syphilis*, 1883, p. 7.

[2] Ibid., pp. 7—10.

нококка была получена д-ром *Эрнстом Буммом*[1]. Чтобы доказать ее специфичность, Бумм ушком платиновой проволоки привил культуру на мочевой канал женщины, мочеполовые пути которой при повторном исследовании были найдены нормальными. Развился типический уретрит, потребовавший для своего лечения шесть недель (о. с., р. 147). Исследуя различные особенности своих разводок, Бумм таким же образом привил гонококка еще другой женщине. Результат получился тот же, что и в первом случае (р. 150).

Заметим, что уже более двадцати пяти лет назад Неггерат доказал, к каким тяжелым и серьезным последствиям, особенно у женщин, ведет та «невинная» гоноррея, о которой невежды и до сих пор еще говорят с улыбкой; в науке на этот счет разногласий давно уже нет. Вот что, напр., говорит такой авторитетный специалист по данному предмету, как уже упомянутый нами Нейсер: «*Я, не колеблясь, заявляю, что по своим последствиям гонорреяесть болезнь несравненно более опасная (ungleich schlimmere), чем сифилис*, и думаю, что в этом со мною согласятся особенно все гинекологи»[2]. Впрочем, и сам Бумм в предисловии к своей работе заявляет, что «гонорройное заражение составляет одну из самых важных причин тяжелых заболеваний половых органов»[3],— что не помешало ему, однако, подвергнуть опасности такого заболевания двух своих пациенток. Правда, по словам Бумма, в его опытах «были приняты все (?) меры предосторожности против заражения половых органов», но дело в том, что эти «все» меры крайне ненадежны. Притом к очень тяжелым последствиям может повести гонорройное заболевание и одних мочевых путей.

Дальнейший шаг вперед в культивировке гонококка был сделан д-ром *Эрнстом Вертгеймом*[4], которому удалось получить чистую культуру на пластинках. «Для верности доказательства того,— пишет Вертгейм,— что растущие на пластинках колонии действительно представляют собою ко-

---

[1] *E. Bumm*, Der Mikroorganismus der gonorrhoischen Schimhauterkrankungen, 2 Ausg. Wiesbaden, 1887.

[2] *Prof. Al. Neisser*. Ueber die Nothwendigkeit von Spezialkliniken für Haut-und venerische Kranke. *Klinisches Jahrbuch*. Bd. II, p. 199.

[3] Ibid., p. 4.

[4] Предварительное сообщение *Deutsche med. Wochenschrift*, 1891, № 50 («Reinzüchtung des Gonococcus Neisser mittels des Plattenverfahrens»). Подробная статья в *Archiv für Gynäkologie*, Bd, 42, 1892 («Die ascendirende Gonorrhoe beim Weibe»).

лонии нейсерова гонококка, естественно, должно было сделать прививку на мочевой канал человека [1]. Вертгейм привил свои культуры четырем больным-паралитикам и одному идиоту, тридцатидвухлетнему Ш. У идиота Ш. «довольно сильное гноетечение» замечалось еще по прошествии двух месяцев со времени прививки [2]. Дальнейших опытов Вертгейм не делал «за недостатком в соответственном материале» [3].

Такова *далеко еще не полная* история гонорреи с интересующей нас точки зрения. Теперь мне следовало бы перейти к прививкам мягкой язвы, но на них я останавливаться не буду; во-первых, прививки эти по своим последствиям сравнительно невинны; исследователь привьет больному язву на плечо, бедро или живот и через неделю залечит; во-вторых, прививки мягкой язвы так многочисленны, что описанию их пришлось бы посвятить несколько печатных листов; такие прививки делали Гунтер, Рикор, Ролле, Бюзене, Надо, Кюллерье, Линдвурм, де-Лука, Маннино, В. Бек, Штраус, Гюббенет, Бэреншпрунг, Дюкре, Крефтинг, Спичка и многие, многие другие.

Перейдем к сифилису. Не заходя далеко в старину, я изложу его историю лишь со времени знаменитого французского сифилидолога Филиппа Рикора. Рикор разрешил многие темные вопросы своей науки и совершенно перестроил все здание венерологии. Но и у него, конечно, не обошлось без ошибок. Одной из таких весьма прискорбных ошибок было утверждение Рикора, что сифилис в своей вторичной стадии незаразителен. Причиной этой ошибки было то, что Рикор, совершивший бесчисленное количество прививок *венерическим больным*, не решался экспериментировать над здоровыми [4]. Историей опровержения этой ошибки Рикора мы теперь и займемся.

Одним из первых высказался за заразительность вторичных явлений сифилиса дублинский врач *Вильям Уоллес* в

---

[1] *D. med. Woch.*

[2] *Archiv*, pp. 17, 28, 33—34, 37, 39.

[3] Замечу, что этот же Вертгейм два раза впрыснул *себе* под кожу чистые разводки гонококков,— оба раза с положительным результатом.

[4] По этому поводу совершенно справедливо замечает Ринекер: «Непонятно, почему Рикор с таким безусловным порицанием относится к прививкам здоровым людям; при массе его опытов не могло же ему остаться неизвестным, что и прививки больным не особенно редко опасны для них». В общей сложности Рикор совершил до *семисот* прививок гонорреи, мягкой язвы и сифилиса.

своих замечательных «Клинических лекциях о венерических болезнях». Лекции эти замечательны по тому классическому бесстыдству, с каким Уоллес рассказывает о своих разбойничьих опытах прививки сифилиса здоровым людям. «Операцию прививки,— говорит он,— я совершаю одним из трех способов: либо я делаю укол ланцетом и наношу на ранку отделение язвы или кондиломы; либо поднимаю кожицу нарывным пластырем и покрываю обнаженную поверхность корпией, смоченной гноем; либо, наконец, удаляю кожицу трением пальца, обернутого в полотенце, и на обнаженную поверхность наношу гной. Результаты при всех трех способах были одинаковые» [1].

В дальнейших лекциях Уоллес подробно рассказывает о прививках, сделанных им пяти здоровым людям в возрасте от 19 до 35 лет. У всех развился характерный сифилис [2]. «Приводимые факты,— говорит Уоллес в двадцать второй лекции,— составляют только часть, и притом чрезвычайно незначительную часть фактов, которые я был бы в состоянии вам привести» [3]. В двадцать третьей лекции он еще раз повторяет, что изложенные им опыты составляют лишь очень небольшую часть произведенных им [4].

«Позволительно ли еще,— писал по поводу этих опытов Шнепф [5],— ждать более убедительных доказательств заразительности вторичных явлений сифилиса? Не нужно новых опытов на здоровых людях: опыты Уоллеса делают их совершенно бесполезными. Дело решено, наука не хочет новых жертв; тем хуже для тех, кто закрывает глаза перед светом».

Но оргия только еще начиналась...

В 1851 году были опубликованы «замечательные», «делающие эпоху» опыты *Валлера*. Вот как описывает он свои опыты:

«Первый опыт. Дурст, мальчик 12-ти лет, № скорбного листа 1396, в течение многих лет страдает паршами головы. В остальном он совершенно здоров, никогда не страдал ни

---

[1] *W. Wallace*, Lectures on cutaneous and venereal diseases. *The Lancet* for 1835—1836. Vol. II, p. 132.

[2] Clinical lectures on venereal diseases. *The Lancet* for 1836—37. Vol. II, pp. 535, 536, 538, 620, 621.

[3] *Ibid*., p. 539.

[4] *Ibid*., p. 615.

[5] De la contagion des accidents consecutifs de la syphilis. *Annales des maladies de la peau et de la syphilis*, publ. par. *A. Cazenave*. Vol. IV. 1851—52, p. 44.

сыпью ни золотухой. Так как по роду болезни ему предстояло пробыть в больнице несколько месяцев и так как он раньше не страдал сифилисом, то я признал его весьма годным для прививки, которая была совершена 6 августа. На коже правого бедра были сделаны насечки, и в свежие, слегка кровоточащие ранки введен гной, взятый с сифилитика. Этот гной я втер шпателем в ранки, затем корпией, пропитанной тем же гноем, растер скарифицированное место и, покрыв последнее этой же корпией, наложил повязку»... В начале октября у ребенка появилась характерная сифилитическая сыпь [1].

«Второй опыт. Фридрих, 15 лет, № скорбного листа 5676, в течение семи лет страдает волчанкою правой щеки и подбородка. Больной до сих пор не страдал сифилисом и, таким образом, годился для прививки. Она была совершена 27 июля. В свежие надрезы на левом бедре я ввел кровь женщины, страдавшей сифилисом, и затем перевязал ранки корпией, пропитанной той же кровью». В начале октября успех прививки был вне всякого сомнения [2].

«Обоих больных,— прибавляет Валлер,— я нарочно показал г. директору больницы Ридлю, всем гг. старшим врачам больницы (Бему и др.), многим врачам города, нескольким профессорам (Якшу, Кубику, Оппольцеру, Дитриху и др.), почти всем госпитальным врачам и многим иностранным. Единогласно подтвердили все правильность диагноза сифилитической сыпи и выразили готовность, в случае нужды, выступить свидетелями истинности результатов моих прививок».

Не правда ли, какой полный и точный... судебный протокол? Сообщены все подробности «деяния», точно указаны пострадавшие, поименно перечислены все свидетели... Если бы прокуроры заглядывали в эту область, то работы им было бы здесь немного.

Опыты Валлера послужили сигналом для повсеместной проверки вопроса о заразительности вторичного сифилиса.

В 1855 году, в одном из заседаний Общества пфальцских врачей, во время прений о заразительности вторичного сифилиса (по поводу опытов Валлера), секретарь Общества познакомил собрание с содержанием сообщения, присланного ему одним отсутствующим товарищем. «Особое сте-

[1] *Waller*, Die Contagiosität der secundären Syphilis. *Vierteljahrschr für d. prakt. Heilkunde*, Prag 1851. Bd. I (XXIX), pp. 124—126.

[2] *Ibid.*, pp. 126—128.

чение обстоятельств доставило упомянутому товарищу возможность, без нарушения законов гуманности, произвести опыты по вопросу о заразительности вторичного сифилиса». Опыты эти заключались в следующем: 1) Гной плоских мокнущих кондилом и отделение трещин одной сифилитички были привиты одиннадцати человекам — трем женщинам 17, 20 и 25-ти лет и восьми мужчинам в возрасте от 18 до 28-ми лет. У всех развился сифилис. 2) Гной сифилитических язв был привит трем женщинам 24, 26 и 35-ти лет. Все три получили сифилис. 3) Кровью сифилитика были смазаны ножные язвы шестерых больных; у троих развился сифилис. 4) Кровь сифилитика была введена в ранки от кровавых банок трем лицам. Без результата [1].

Итак, прививка была произведена *двадцати трем* лицам, *семнадцать* из них получили сифилис,— и все это оказалось возможным совершить «без нарушения законов гуманности»! Вот поистине удивительное «стечение обстоятельств»! Ниже мы увидим, что подобные «стечения обстоятельств» нередки в сифилидологии. Кто был автор приведенных опытов, так и осталось неизвестным; он счел за лучшее навсегда скрыть от света свое позорное имя, и в науке он до сих пор известен под названием «Пфальцского Анонима».

Все тот же вопрос о заразительности вторичного сифилиса был предметом исследования киевского профессора *X. фон-Гюббенета*. Им были произведены, между прочим, следующие опыты:

1) «И. Сузиков, фельдшер, 20 лет от роду, подвергся в феврале 1852 года прививке слизистого прыща сифилитика, находясь в цветущем здоровье... Я поставил мушку на левом бедре и, удалив таким образом кожицу, шпателем перенес на обнаженное место материи слизистых прыщей и потом наложил корпию, пропитанную тем же самым отделением... На пятой неделе обнаружилась roseola на груди и животе. С этих пор сифилитическое страдание стало быстро возрастать. Я продержал больного в этом положении еще целую неделю для того, чтобы показать его по возможности большему числу врачей и дать им возможность удостовериться в действительности факта. Наконец я обратился к ртутному лечению, и больной выздоровел через три месяца».

---

[1] Auszüge aus den Protocollen des Vereines pfälzische Aerzte vom Jahre 1855. *Aerzteliches Intelligenz-Blatt.* 1856, № 35, pp. 425—426.

2) «Солдат Тимофей Максимов, от роду 33 лет, 13 января 1858 года поступил в хирургическую клинику с застарелой фистулой мочевого канала. Так как больной по всем соображениям должен был пробыть в госпитале довольно долго и времени, следовательно, имелось в виду достаточно для того, чтобы выждать результат, то мне этот случай показался удобным для опыта. Марта 14 привита материя, взятая с покрытых слизистыми прыщами и изъязвленных миндалей солдата Нестерова... К 22 мая характерная roseola... 2 июня начато ртутное лечение, и через шесть недель больной выздоровел» [1].

«Читая эти два описания,— говорит профессор В. А. Манассеин,—не знаешь, чему более дивиться: тому ли хладнокровию, с которым экспериментатор дает сифилису развиться порезче для большей ясности картины и «чтобы показать больного большему числу врачей», или же той начальнической логике, в силу которой подчиненного можно подвергнуть тяжкой, иногда смертельной болезни, даже не спросив его согласия. Желал бы я знать, привил ли бы проф. Гюббенет сифилис своему сыну, даже если бы тот и согласился» [2].

Свою статью проф. Гюббенет заканчивает следующими словами: «Считаю нужным заметить, что, произведя множество неудачных опытов над больными, я был вполне убежден, что встречу ту же самую неудачу в отношении здоровых; только на основании этого убеждения я и мог себе позволить произвести описанные опыты». (Не будем уж говорить о том, что профессор-специалист не мог не знать об удачных прививках хотя бы Валлера; но и самим проф. Гюббенетом первая удачная прививка была произведена в 1852 году, последняя же в 1858. Неужели и в 1858 году профессор приступил к прививке, тоже «вполне убежденный»?) «Обнародование этих наблюдений,— продолжает Гюббенет,— может быть, удержит людей даже с такой скептической натурой, как и моя, от производства дальнейших опытов, могущих повести к совершенному расстройству здоровья лиц, им подвергающихся. Я бы еще несколько успокоился относительно судьбы жертв, если бы опыты эти распространили в публике убеждение в заразительности вторичных припадков... Если опыты эти помогут раскрыть

[1] *Проф. Х. фон-Гюббенет*, Наблюдение и опыт в сифилисе. *Военно-медиц. журнал*, ч. 77, 1860, стр. 423—427.

[2] Лекции общей терапии, ч. I, Спб., 1879, стр. 66.

истину в столь важном деле, то страданием нескольких лиц человечество еще не очень дорого заплатит за истинно полезный и практический результат».

Непонятно, почему в таком случае проф. Гюббенет не привил сифилиса *себе*? Или, может быть, это было бы слишком «дорого» даже и для человечества?

В 1858 году французское правительство обратилось к Парижской медицинской академии за разрешением все еще остававшегося спорным вопроса, заразителен ли вторичный сифилис. Была назначена комиссия, и докладчиком этой комиссии выступил в академии д-р *Жибер*. Между прочим, он сообщил, что с целью выяснения предложенного вопроса д-р *Озиас-Тюренн* привил отделение сифилитика двум взрослым больным, страдавшим волчанкою, и у обоих развился сифилис. Сам докладчик сделал прививки двум другим больным, также страдавшим волчанкою, и также в обоих случаях получил сифилис [1].

Доклад Жибера вызвал в академии бурные и продолжительные прения, в них горячее участие принял Рикор, который упрямо, несмотря на всю очевидность, отрицал до тех пор заразительность вторичного сифилиса; в конце концов Рикор был принужден сознаться, что ошибался, и присоединился к мнению о заразительности вторичного сифилиса.

Самый сильный и авторитетный противник новых взглядов был побежден. Но, несмотря на это, опыты, теперь уже даже бесцельные, все продолжались и продолжались... В 1859 году *Гюено* привил отделение сифилитических слизистых бляшек 10-летнему мальчику I. Б.-Б., страдавшему паршами головы, и получился у него сифилис [2]. В том же 1859 году проф. *Беренипрунг* с успехом привил сифилитический гной восемнадцатилетней девушке Берте Б. Он же отделением твердого шанкра привил сифилис двадцатитрехлетней проститутке Марии Г [3].

Целый ряд опытов был произведен различными иссле-

---

[1] *Bulletin de l'Academie imperiale de médicine*. Tome XXI, Paris, 1858—1859, pp. 888—890.

[2] Nouveau fait d'inoculation d'accidents syphil. secondaires. *Gaz. hebdomad, de méd. et de chirurgie*, 1859, № 15. Гюено за свой опыт понес страшное наказание: лионский исправительный трибунал приговорил его... к *ста* франкам штрафа!

[3] Mittheilungen aus der Klinik für syphil. Kranke. *Annalen des Charité-Krankenhauses*. Bd. IX, Heft I, 1860, pp. 167—168.

дователями по вопросу о том, заразительны ли во вторичной стадии сифилиса всевозможные нормальные и патологические, но *не* специфические отделения больного. Так, *Бассэ* прививал гонорройный гной, взятый с сифилитика, на кожу здорового человека и получил отрицательный результат [1]. Проф. *В. М. Тарновский* был счастливее. «Зимою 1863 года, в Калинкинской больнице,— рассказывает он,— после восемнадцати (!) попыток, мне удалось привить женщине, имевшей бородавчатые наросты и никогда не страдавшей сифилисом, слизисто-гнойное отделение другой больной» (сифилитички). Развился характерный сифилис [2]. В той же Калинкинской больнице проф. Тарновский сделал ряд опытов для проверки утверждения Кюллерье, что на цельную оболочку мягкая язва не прививается. «Мало того,— пишет профессор,— в течение прошлого 1868/1869 учебного года я решился сделать тот же опыт с отделяемым твердого шанкра и последовательных явлений сифилиса. Двум больным, никогда не имевшим сифилиса и не представлявшим во влагалище и наружных частях ни малейших ссадин, было введено в рукав одной — отделяемое твердого шанкра, другой — слизистых папул». Сифилиса не последовало [3]. Тот же проф. Тарновский, испытывая предохранительную жидкость Ланглебера, произвел, между прочим, следующие два опыта: «Отделяемое твердого шанкра в одном случае и мокнущих слизистых папул в другом было положено мною на внутреннюю поверхность плеча здорового субъекта, где с помощью ланцета предварительно была соскоблена кожица. Заразительная материя оставлена в соприкосновении с обнаженным местом от пяти до десяти минут, затем последнее натерто предохранительною жидкостью. В обоих случаях развития сифилитических явлений не последовало» [4].

Весною 1897 года проф. Тарновский покинул, за выслугою лет, кафедру Военно-медицинской академии. Его прощальная лекция была посвящена... врачебной этике. По-видимому, в этой лекции г-ном профессором были высказаны

---

[1] Речь *Ролле* на Лионском конгрессе 1864 г. *Gaz. hebdomad*, 1864, p. 706.

[2] *В. М. Тарновский,* Курс венерических болезней. Спб., 1870, стр. 67.

[3] *Ibid.*, стр. 64.

[4] *Э. Лансеро,* Учение о сифилисе, пер. под ред. проф. В. М. Тарновского. Спб., 1876, стр. 669. *(Прим. редактора.)*

очень возвышенные и благородные мысли: молодежь устроила ему шумную овацию.

Можно ли передать сифилис отделяемым мягкой язвы сифилитика? Этот вопрос пытался решить экспериментальным путем доцент (ныне проф. Казанского университета) *А. Г. Ге*. «Опыт был произведен над женщиною, страдающей норвежской проказою, никогда не имевшей сифилиса и *давшей на опыт свое согласие* (*sic!* *)». Результат получился отрицательный [1]. Отрицательный результат дали также четыре прививки *Ригера*, произведенные им в клинике Ринекера [2]. Более успешными оказались опыты *Биденкапа*... Впрочем, виноват: опытов Биденкап не производил, к нему на помощь пришло одно из тех волшебных «стечений обстоятельств», которые в обыденной жизни совершенно невероятны, но которые в сифилидологии, как мы уже знаем, иногда случаются.

«Первый случай. Девушка, принятая 9-го октября 1862 года с бленорреей влагалища и мочевого канала, *из баловства* привила себе иглой шанкерный яд из искусственных язв одной больной, которая была пользуема сифилизацией... Образовались две язвы, которые не сопровождались конституциональным сифилисом».

«Второй случай. Девушка с экземой предплечий, но никогда не страдавшая венерическими поражениями, привила себе *из шалости, подобно предыдущей больной*, 18 (восемнадцать!) шанкров; к ним прибавилось 12 других от пробных прививаний гноем первоначально образовавшихся пустул, так как способ их происхождения вначале не был известен». Больная получила сифилис [3].

С целью решения вопроса, заразительно ли молоко женщин, больных сифилисом, *Падова* привил четырем здоровым кормилицам молоко, взятое от сифилитички; результат во всех случаях получился отрицательный [4]. Этим же вопросом занимался д-р *Р. Фосс;* он привил в Калинкинской больнице молоко сифилитической женщины трем проституткам, «*давшим на опыт свое согласие*».

Опыт первый. Пелагея А-ва, *тринадцати* лет, крестьян-

---

[1] *Дневник Казанского общества врачей.* 1881, стр. 12.

[2] См. *Bäumler*, Сифилис в *Руков. к част. патол. и терапии Цимсена*, т. III, ч. 1, Харьков, 1886, стр. 84.

[3] *Bäumler*.

[4] *Лансеро*, стр. 614.

* Так! (*лат.*); употребляется в значении: обратить внимание!..— *Ред.*

ка Новгородской губернии; имела сифилис, вылечилась. 25-го сентября 1875 года ей впрыснуто в спину молоко сифилитички. Получился только нарыв величиною «с небольшой кулак».

Опыт второй. Наталья К-ва, 15 лет, проституцией стала заниматься недавно. Поступила с уретритом и вагинитом. Впрыснуто молоко сифилитички. Без результата.

Опыт третий. Любовь Ю-н, 16 лет, проститутка; поступила в больницу с уретритом; сифилиса никогда не имела. 27-го сентября ей впрыснут под левую лопатку полный правацовский шприц молока сифилитички. *Девушка получила сифилис*[1].

Доктор Фосс, как и проф. Ге, уверяет, что его жертвы дали на опыт свое согласие. Что это, насмешка? Самой старшей из девушек было *шестнадцать* лет! Если согласие даже действительно было дано, то знали ли эти дети, *на что* они соглашались, можно ли было придавать какое-нибудь значение их согласию?

Довольно. Я привел далеко не все имеющиеся в моем распоряжении факты прививки сифилиса людям. Но уже и приведенные, мне кажется, с достаточною убедительностью говорят за то, что опыты эти не представляют собою чего-то исключительного и случайного; они производятся систематически, о них сообщают спокойно, не боясь суда ни общественной совести, ни своей,— сообщают так, как будто речь идет о кроликах или собаках. Я только приведу еще несколько подобных же опытов из других областей медицины; хотя там они сравнительно и реже (благодаря возможности производить опыты над животными), но безотносительно встречаются все-таки в слишком достаточном количестве.

Желая ознакомиться с изменениями, происходящими в печени при сахарной болезни, проф. *Фрерикс* и *Эрлих* вкладывали в печень больным сахарною болезнью троакар. «По удалении стилета в трубке троакара оказывалось несколько капель крови, обыкновенно с печеночными клетками, иногда же и более значительный колбасообразный кусок печени»[2].

Д-р Фелейзен, открывший микроорганизм рожи, привил

---

[1] Ist die Syphilis durch Milch übertragbar? *St.-Petersburger Med. Wochenschrift*, 1876, № 23. В оригинале все три девушки названы полными фамилиями.

[2] *Fr. Th. v. Frerichs*, Ueber den Diabetes. Berlin, 1884, p. 272.

разводку своих рожистых стрептококков 58-летней старухе с множественною фибросаркомою кожи. Рожа привилась. «На шестой день после прививки у больной появился угрожающий упадок сил, который потребовал применения возбуждающих средств»[1]. После этого Фелейзен привил рожу еще шести больным, страдавшим волчанкою и разного рода опухолями[2].

В марте 1887 года к берлинскому хирургу *Евг. Гану* обратилась за помощью женщина с раком грудной железы. Произвести операцию было уже невозможно. «Чтобы отказом от операции не открыть больной безнадежность ее состояния и чтобы доставить ей облегчение и успокоение психическим впечатлением произведенной операции», д-р Ган вырезал из пораженной груди кусочек опухоли и — привил его на другую, здоровую грудь своей пациентки; прививка удалась[3]. Таким образом был установлен очень важный факт прививаемости рака. Опыт Гана был впоследствии с успехом повторен проф. *Бергманом* и неизвестным хирургом, анонимно приславшим свое сообщение парижскому профессору Корнилю.

Д-р Н. А. Финн исследовал в одном из кавказских военных госпиталей вопрос о заразительности пятнистого тифа. По его предложению ординатор *Артемович* впрыснул под кожу семнадцати здоровым солдатам кровь больных пятнистым тифом. Ни один из привитых не заболел, «только у двух сделались простые нарывы на месте уколов». Кроме того, двадцать восемь здоровых молодых солдат было положено д-ром Финном в одну палату с пятнисто-тифозными больными. Они пролежали с больными «в течение

---

[1] *Dr. Fehleisen,* Die Aethiologie des Erysipels. Berlin, 1893, pp. 21—23.

[2] *О. с.,* p. 29. В оправдание своих опытов д-р Фелейзен ссылается на отмеченное некоторыми наблюдателями целебное действие рожи на злокачественные опухоли и волчанку. Но вот история одного из больных, которым Фелейзен привил рожу: «Двадцатилетний мужчина последние двенадцать лет страдает волчанкою и *много раз перенес рожу*». Какое основание имел Фелейзен ждать, что привитая им рожа исцелит больного, который уж много раз без всякой пользы для себя перенес рожу? Восьмилетней девочке с саркомою глаза, после удавшейся прививки, Фелейзен вторично привил рожу «с целью узнать, остается ли соответственный индивидуум после перенесенной рожи на некоторое время невосприимчивым к роже».

[3] *E. Hahn,* Ueber Transplantation der carcin, Haut. *Berl. Klin. Woch.* 1888, № 21.

4—5 дней при плотно сдвинутых кроватях, а иногда покрывались одеялами тифозных больных»[1].

«Вот как относятся врачи к больным, вверяющим в их руки свое здоровье!» — скажет иной читатель, прочитав эту главу. Такое заключение будет совершенно неверно. Сотня-другая врачей, видящих в больных людях лишь объекты для своих опытов, не дает еще права клеймить целое сословие, к которому принадлежат эти врачи. Параллельно можно привести ничуть не меньшее количество фактов, где врачи производили самые опасные опыты *над самими собою*. Так, у всех еще в памяти опыты Петтенкофера и Эммериха, принявших внутрь чистые разводки холерных бацилл, причем соляная кислота желудка была предварительно нейтрализована содою. То же самое проделали над собою проф. И. И. Мечников, д-ра Гастерлик и Латапи. Сифилис привили себе д-ра Борджиони[2], Варнери[3], Линдеман[4] и многие, многие другие; молодые и здоровые, они

---

[1] *Протоколы засед. Имп. Кавк. Мед. О-ва* за 1878—1879 г., № 8, стр. 167. Д-ра Финн и Артемович впрыснули кровь пятнистотифозных больных также и *себе*.

[2] 6 февраля 1862 г. проф Пеллицари привил кровь сифилитической больной д-рам Борджиони, Рози и Пассильи, «которые мужественно обрекли себя на опыты, несмотря на отговаривания профессора». У д-ра Борджиони прививка удалась: через два месяца после прививки появились ночные головные боли, общая сыпь, опухание желез; десять дней спустя первичная язва на руке стала заживать; лишь тогда д-р Борджиони приступил к ртутному лечению. (*Gaz hebdom*, 1862, № 22, pp. 349—350).

[3] Verhandlungen der phys. med. Gesellschaft in Würzburg. Bd. III, 1852, p. 391. Ст. проф. Ринекера.

[4] Интересуясь различными вопросами сифилидологии, д-р Линдеман произвел над собою следующие опыты. В течение двух месяцев через каждые пять дней он прививал себе на руки мягкие язвы, через три месяца после этого он привил себе отделение сифилитика и получил сифилис. Через семнадцать дней после появления общей высыпи папул Линдеман снова стал прививать себе мягкие шанкры различной вредоносности. Комиссия, назначенная Парижской медицинской академией, исследовала д-ра Линдемана, и вот как описывает она его состояние устами своего докладчика Бэгена: «Обе руки (от плеч до ладоней) покрыты язвами; многие язвы слились: вокруг них острое и болезненное воспаление; нагноение очень обильно; дно большинства язв сероватого цвета; в общности все эти повреждения, говоря языком хирургии, имеют очень дурной вид. По всему телу — обильная высыпь сифилитических папул.— Д-р Л. исполнен мужества и доверия и выразил намерение прибегнуть, наконец, к правильному лечению своей болезни, ставшей уже застарелою и серьезною» (*Bülletin de l'Academie Nation de médecine.* Tome XVII, Paris, 1851—1852, pp. 879—885).

для науки пошли на опыты, которые искалечили всю их жизнь. От сотни-другой этих героев заключать о геройстве врачебного сословия *вообще* столь же несправедливо, как из вышеприведенных опытов над больными делать заключение, что так относятся к своим больным врачи вообще.

Но что безусловно вытекает из приведенных опытов и чему не может быть оправдания,— это то позорное равнодушие, какое встречают описанные зверства во врачебной среде. Ведь приведенный мною мартиролог больных, принесенных в жертву науке, добыт мною не путем каких-нибудь тайных розысков,— сами виновники этих опытов печатно, во всеуслышание, сообщают о них! Казалось бы, опубликование первого же такого опыта должно бы сделать совершенно невозможным их повторение; первый же такой экспериментатор должен бы быть с позором выброшен навсегда из врачебной среды. Но этого нет. Гордо подняв головы, шествуют эти своеобразные служители науки, не встречая сколько-нибудь деятельного отпора ни со стороны товарищей-врачей, ни со стороны врачебной печати. Из всех органов последней мне известен только один, упорно и энергично протестовавший против каждой попытки экспериментировать над живыми людьми,— это русская газета «Врач», выходившая под редакцией недавно умершего проф. В. А. Манассеина. Страницы этой газеты так и пестрят заметками редакции в таком роде: «Опять непозволительные опыты!», «Мы решительно не понимаем, как врачи могут позволять себе подобные опыты!», «Не ждать же, в самом деле, чтобы прокуроры взяли на себя труд разъяснить, где кончаются опыты позволительные и начинаются уже преступные!», «Не пора ли врачам сообща восстать против подобных опытов, как бы поучительны сами по себе они ни были?».

О, да, пора, пора! Но пора уже и обществу перестать ждать, когда врачи, наконец, выйдут из своего бездействия, и принять собственные меры к ограждению своих членов от ревнителей науки, забывших о различии между людьми и морскими свинками.

IX

Кончая университет, я восхищался медициною и горячо верил в нее. Научные приобретения ее громадны, очень многое в человеческом организме нам доступно и понятно; со временем же для нас не будет в нем никаких тайн, и путь

к этому верен. С таким, совершенно определенным отношением к медицине я приступил к практике. Но тут я опять натолкнулся на живого человека, и все мои установившиеся взгляды зашатались и заколебались. «Значения этого органа мы еще не знаем», «действие такого-то средства нам пока совершенно непонятно», «причины происхождения такой-то болезни неизвестны»... Пускай наукой завоевана громадная область, но что до этого, если кругом раскидываются такие необъятные горизонты, где все еще темно и непонятно? Что, в сущности, понимаю я в больном человеке, если не понимаю *всего*, как могу я к нему подступиться? Часовой механизм неизмеримо проще человеческого организма; а между тем могу ли я взяться за починку часов, если не знаю назначения хотя бы одного, самого ничтожного, колесика в часах?

Так же, как при первом моем знакомстве с медициной, меня теперь опять поразило бесконечное несовершенство ее диагностики, чрезвычайная шаткость и неуверенность всех ее показаний. Только раньше я преисполнялся глубоким презрением к кому-то «им», которые создали такую плохую науку; теперь же ее несовершенство встало передо мною естественным и неизбежным фактом, но еще более тяжелым, чем прежде, потому что он наталкивался на жизнь.

Вот передо мною этот загадочный, недоступный мне живой организм, в котором я так мало понимаю. Какие силы управляют им, каковы те тончайшие процессы, которые непрерывно совершаются в нем? В чем суть действия вводимых в него лекарств, в чем тайна зарождения и развития болезни? Коховская палочка вызывает в организме чахотку, леффлерова, которая на вид так мало разнится от коховской, вызывает дифтерит — почему? Я впрыскиваю больному под кожу раствор апоморфина,— он циркулирует по всему телу индифферентно, а соприкасаясь с рвотным центром, возбуждает его; у меня даже намека нет на понимание того, какие химические особенности определенных нервных клеток и апоморфина обусловливают это взаимоотношение.

Ко мне обращается за помощью девушка, страдающая мигренями. В чем суть этой мигрени? Во время припадка лоб у больной становится холодным, а зрачок расширяется; девушка малокровна; все это указывает на то, что причиною мигрени в данном случае является раздражение симпатического нерва, вызванное общим малокровием. Хорошее

объяснение! Но каким образом и почему малокровие вызвало в этом случае раздражение симпатического нерва? Где и каковы те целительные силы организма, которые борются с происшедшим расстройством и которые я должен поддержать? Как действуют на спазм симпатического нерва тот фенацетит с кофеином, на малокровие — то железо, которые я прописываю? И вот больная стоит передо мною, и я берусь ей помочь, и, может быть, даже помогу,— и в то же время *ничего* не понимаю, что с нею, почему и как поможет ей то, что я назначаю.

Я не имею даже отдаленного представления о типических процессах, общих всем человеческим организмам; а между тем каждый больной предстает передо мною во всем богатстве и разнообразии своих индивидуальных особенностей и отклонений от средней нормы. Что могу я знать об них? Двое на вид совершенно одинаково здоровых людей промочили себе ноги; один получил насморк, другой— острый суставной ревматизм. Почему?.. Высшая доза морфия — три сантиграмма; взрослой, совсем не слабой больной впрыснули под кожу пять *милли*граммов морфия,— и она умерла; для объяснения таких фактов в медицине существует специальное слово «идиосинкразия», но это слово не дает мне никаких указаний на то, когда я должен ждать чего-либо подобного...

И какие средства дает мне наука проникнуть в живой организм, узнать его болезнь? Кое-что она мне, конечно, дает. Передо мною, напр., больной: он лихорадит, жалуется на ломоту в суставах, селезенка и печень увеличены. Я беру у него каплю крови и смотрю под микроскопом: среди кровяных телец быстро извиваются тонкие спиральные существа; это спириллы возвратного тифа, и я с полною уверенностью говорю: у больного — возвратный тиф. Если бы наука давала мне столь же верные средства для познания всех болезней и всех особенностей каждого организма, то я мог бы чувствовать под ногами почву. Но в подавляющем большинстве случаев этого нет. На основании совершенно ничтожных данных я должен строить выводы, такие важные для жизни и здоровья моего больного...

Я был однажды приглашен к одной старой девушке лет под пятьдесят, владетельнице небольшого дома на Петербургской стороне; она жила в трех маленьких, низких комнатах, уставленных киотами с лампадками, вместе со своей подругой детства, такою же желтою и худою, как она. Боль-

ная, на вид очень нервная и истеричная, жаловалась на сердцебиение и боли в груди; днем, часов около пяти, у нее являлось сильное стеснение дыхания и как будто затрудненное глотание.

— Нет у вас такого ощущения, как будто при глотании в горле у вас появляется шар? — спросил я, имея в виду известный признак истерии — globus hystericus.

— Да, да, именно! — обрадовалась больная.

Сердце и легкие ее при самом тщательном исследовании оказались здоровыми; ясное дело, у больной была истерия. Я назначил соответственное лечение.

— А что, доктор, не могу я вдруг сразу помереть? — спросила больная.

Она сообщила мне, что хотела бы завещать свой дом подруге, без завещания же все перейдет к ее единственному законному наследнику — брату, выжиге и плуту, который взял у нее по-родственному, без расписки, все ее деньги, около шести тысяч, и потом отказался возвратить.

— Странное дело, что же вам мешает составить завещание? — сказал я.— Непосредственной опасности нет но мало ли что может случиться! Пойдете по улице,— вас конка задавит. Всегда лучше сделать завещание заблаговременно.

— Верно, верно! — в раздумье произнесла больная.— Вот только поправлюсь, сейчас же схожу к нотариусу.

Это было в три часа. А в пять, через два часа, ко мне прибежала подруга больной и, рыдая, объявила, что больная умерла: встала от обеда, вдруг пошатнулась, побледнела, изо рта ее хлынула кровь, и она упала мертвая.

— Зачем, зачем, вы, доктор, не сказали!? — твердила женщина, плача и захлебываясь, безумно стуча себе кулаком по бедру.— Ведь мне теперь по миру идти, злодей меня на улицу выгонит!

И теперь я понял: очевидно, у больной была аневризма; затрудненное глотание под вечер (после обеда!), которое я объяснил себе, как globus hystericus, вызывалось набуханием аневризмы под влиянием увеличенного кровяного давления после еды... Но что кому пользы от этого позднего диагноза?

В таких случаях меня охватывали ярость и отчаяние: да что же это за наука моя, которая оставляет меня таким слепым и беспомощным?! Ведь я, как преступник, не могу

взглянуть теперь в глаза этой пущенной мною по миру женщине, а чем же я виноват?

И чем дальше, тем чаще приходилось мне испытывать такое чувство. Даже там, где, как в описанном случае, диагноз казался мне ясным, действительность то и дело опровергала меня; часто же я стоял перед больным в полном недоумении: какие-то жалкие, ничего не говорящие данные,— строй из них что-нибудь! И я ночи напролет расхаживал по комнате, обдумывая и сопоставляя эти данные, и ни к чему определенному не мог прийти; если же я, наконец, и ставил диагноз, то меня все-таки все время грызла неотгонимая мысль: «А если моя догадка не верна? Какая у меня возможность проверить ее правильность?» И всю жизнь жить и действовать под непрерывным гнетом такой неуверенности!..

Но, скажем, диагноз болезни я поставил правильно. Мне нужно ее лечить. Какие гарантии дает мне наука в целесообразности и действительности рекомендуемых ею средств? Суть действия большинства из этих средств для нас еще крайне неясна, и показания к их употреблению наука устанавливает эмпирически, путем клинического наблюдения. Но мы уже знаем, как непрочно и обманчиво клиническое наблюдение. Данное средство, по единогласным свидетельствам всех наблюдателей, действует превосходно, а через год-другой оно уже выбрасывается за борт, как бесполезное или даже вредное. Два года царил туберкулин Коха,— и ведь видели, видели собственными глазами, какое «блестящее» действие он оказывал на туберкулез! В том бесконечно сложном и непонятном процессе, который представляет собою жизнь больного организма, переплетаются тысячи влияний,— бесчисленные способы вредоносного действия данной болезни и окружающей среды, бесчисленные способы целебного противодействия сил организма и той же окружающей среды,— и вот тысяча первым влиянием является наше средство. Как определить, что именно в этом сложном деле вызвано им? Древнегреческий врач Хризипп запрещал лихорадящим больным есть, Диоксипп — пить. Сильвий заставлял их потеть, Бруссэ пускал им кровь до обморока, Керри сажал их в холодные ванны,— и каждый видел пользу именно от своего способа. Средневековые врачи с большим, по их мнению, успехом применяли против рака... мазь из человеческих испражнений. В прошлом веке, чтобы «помочь» прорезыванию зубов,

детям делали по десяти и двадцати раз разрезы десен, делали это даже десятидневным детям; еще в 1842 году Ундервуд советовал при этом разрезать десны на протяжении целых челюстей, и притом резать поглубже, до самых зубов, «повреждения которых нечего опасаться». И все это, по мнению наблюдателей, помогало!..

Я вступил в практику с определенным запасом терапевтических знаний, данных мне школою. Как было относиться к этим знаниям? Естественное дело — спокойно и уверенно применять их к жизни. Но только я попробовал так действовать, как тотчас же натолкнулся на разочарование. Отвар сенеги рекомендуют назначать для возбуждения кашля в тех случаях, когда легкие наполнены жидкою, легко отделяющеюся мокротою. Я назначал сенегу и приглядывался,— и ни в одном случае не мог с уверенностью сказать, что моя сенега действительно удалила из легких больного хоть одну лишнюю каплю мокроты... Я назначал железо при малокровии и даже в тех случаях, когда больной поправлялся, ни разу не мог поручиться за то, что это произошло хоть сколько-нибудь благодаря железу.

Выходило так, что я должен верить на слово в то, что эти и многие другие средства действуют именно указываемым образом. Но такая вера была прямо невозможна,— сама же наука непрерывно подрывала и колебала эту веру. Одним из наичаще рекомендуемых средств против чахотки является креозот и его производные; а между тем все громче раздаются голоса, заявляющие, что креозот нисколько не помогает против чахотки и что он — только, так сказать, лекарственный ярлык, наклеиваемый на чахоточного. Основное правило диететики брюшного тифа требует кормить больного только жидкою пищею, и опять против этого идет все усиливающееся течение, утверждающее, что таким образом мы только замариваем больного голодом. Мышьяк признается незаменимым средством при многих кожных болезнях, малокровии, малярии,—и вдруг распространенная, солидная медицинская газета приводит о нем такой отзыв: «Самое замечательное в истории мышьяка — это то, что он неизменно пользовался любовью врачей, убийц и барышников... Врачам следовало бы понять, что мышьяк дает слишком мало, чтобы пользоваться вечным почтением. Предание о мышьяке — позор нашей терапии».

Первое время такие неожиданные отзывы прямо ошеломляли меня: да чему же, наконец, верить! И я все боль-

ше убеждался, что верить я не должен ничему, и ничего не должен принимать, как ученик; все заподозрить, все отвергнуть,— и затем принять обратно лишь то, в действительности чего убедился собственным опытом. Но в таком случае, для чего же весь многовековой опыт врачебной науки, какая ему цена?

Один молодой врач спросил знаменитого Сиденгама, «английского Гиппократа», какие книги нужно прочесть, чтобы стать хорошим врачом.

— Читайте, мой друг, «Дон-Кихота»,— ответил Сиденгам.— Это очень хорошая книга, я и теперь часто перечитываю ее.

Но ведь это же ужасно! Это значит — никакой традиции, никакой преемственности наблюдения: учись без предвзятости наблюдать живую жизнь, и каждый начинай все с начала.

С тех пор прошло более двух веков; медицина сделала вперед гигантский шаг, во многом она стала наукой; и все-таки какая еще громадная область остается в ней, где и в настоящее время самыми лучшими учителями являются Сервантес, Шекспир и Толстой, никакого отношения к медицине не имеющие!

Но раз я поставлен в необходимость не верить чужому опыту, то как могу я верить и своему собственному? Скажем, я личным опытом убедился в целебности известного средства; но *как* же, *как* оно действует, *почему?* Пока мне неясен способ его действия, я ничем не гарантирован от того, что и мое личное впечатление — лишь оптический обман. Вся моя предыдущая естественнонаучная подготовка протестует против такого грубо-эмпирического образа действий, против такого блуждания ощупью, с закрытыми глазами. И я особенно сильно чувствую всю тяжесть этого состояния, когда с зыбкой и в то же время вязкой почвы эмпирии перехожу на твердый путь науки; я вскрываю полость живота, где очень легко может произойти гнилостное заражение брюшины; но я знаю, что делать для избежания этого: если я приступлю к операции с прокипяченными инструментами, с тщательно дезинфицированными руками, то заражения *не должно быть*. Если больной страдает близорукостью, то соответственное вогнутое стекло *должно* помочь ему. Вывих локтя, если нет осложнений, при соответственных манипуляциях *должен* вправиться. Во всех подобных случаях необходима преемственность, здесь, кро-

ме «Дон-Кихота», нужно знать и читать еще кое-что. Конечно, и ошибки и прогресс возможны и в этой области; но ошибки будут обусловливаться моею неподготовленностью и неопытностью, прогресс будет совершаться путем улучшения прежнего, а не путем отрицания.

Будущее нашей науки блестяще и несомненно. То, что уже добыто ею, ясно рисует, чем станет она в будущем: полное понимание здорового и больного организма, всех индивидуальных особенностей каждого из них, полное понимание действия всех применяемых средств,— вот что ляжет в ее основу. «Когда физиология,— говорит Клод Бернар,— даст все, чего мы вправе от нее ждать, то она превратится в медицину, ставшую теоретическою наукою; и из этой теории будут выводиться, как и в других науках, необходимые применения, т. е. прикладная, практическая медицина».

Но как еще неизмеримо далеко до этого!.. И мне все чаще стала приходить в голову мысль: пока этого нет, какой смысл может иметь врачебная деятельность? Для чего эта игра в жмурки, для чего обман общества, думающего, что у нас есть какая-то «медицинская наука»? Пусть этим занимаются гомеопаты и подобные им мудрецы, которые с легким сердцем все бесконечное разнообразие жизненных процессов втискивают в пару догматических формул. Для нас же задача может быть только одна — работать для будущего, стремиться познать и покорить себе жизнь во всей ее широте и сложности. А относительно настоящего можно лишь повторить то, что сказал когда-то средневековый арабский писатель Аерроес: «Честному человеку может доставлять наслаждение теория врачебного искусства, но его совесть никогда не позволит ему переходить к врачебной практике, как бы обширны ни были его познания».

За эту мысль я хватался каждый раз, когда уж слишком жутко становилось от той непроглядной тьмы, действовать в которой я был обречен несовершенством своей науки. Я сам понимал, что мысль эта нелепа: теперешняя бессистемная, сомневающаяся научная медицина, конечно, несовершенна, но она все-таки неизмеримо полезнее всех выдуманных из головы систем и грубых эмпирических обобщений; именно совесть врача и не позволила бы ему гнать больных в руки гомеопатов, пасторов Кнейппов и Кузьмичей. Но этою мыслью о жизненной непригодности

теперешней науки я старался скрыть и затемнить от себя другую, слишком страшную для меня мысль: я начинал все больше убеждаться, что сам я лично совершенно негоден к выбранному мною делу и что, решая отдаться медицине, я не имел самого отдаленного представления о тех требованиях, которым должен удовлетворять врач.

При теперешнем несовершенстве теоретической медицины медицина практическая может быть только искусством, а не наукой. Нужно на себе почувствовать всю тяжесть вытекающих отсюда последствий, чтобы ясно понять, что это значит. Ту больную с аневризмой, о которой я рассказывал, я исследовал вполне добросовестно, применил к этому исследованию все, что требуется наукой, и тем не менее грубо ошибся. Будь на моем месте *настоящий* врач, он мог бы поставить правильный диагноз: его совершенно особенная творческая наблюдательность уцепилась бы за массу неуловимых признаков, которые ускользнули от меня, бессознательным вдохновением он возместил бы отсутствие ясных симптомов и почуял бы то, чего не в силах познать. Но таким настоящим врачом может быть только талант, как только талант может быть настоящим поэтом, художником или музыкантом. А я, поступая на медицинский факультет, думал, что медицине можно научиться... Я думал, что для этого нужен только известный уровень знаний и известная степень умственного развития; с этим я научусь медицине так же, как всякой другой прикладной науке, напр., химическому анализу. Когда медицина станет наукой,— единой, всеобщей и безгрешной, то оно так и будет; тогда обыкновенный средний человек сможет быть врачом. В настоящее же время «научиться медицине», т. е. врачебному искусству, так же невозможно, как научиться поэзии или искусству сценическому. И есть много превосходных теоретиков, истинно «научных» медиков, которые в практическом отношении не стоят ни гроша.

Но почему я ничего этого не знал, поступая на медицинский факультет? Почему вообще я имел такое смутное и превратное представление о том, что ждет меня в будущем?.. Как все это просто произошло! Мы представили свои аттестаты зрелости, были приняты на медицинский факультет, и профессора начали читать лекции. И никто из них не раскрыл нам глаз на будущее, никто не объяс-

нил, что ждет нас в нашей деятельности. А нам самим эта деятельность казалась такой несложной и ясной! Исследовал больного — и говоришь: больной болен тем-то, он должен делать то-то и принимать то-то. Теперь я видел, что это не так, но на то, чтобы убедиться в этом, я должен был убить семь лучших лет молодости.

Я совершенно упал духом. Кое-как я нес свои обязанности, горько смеясь в душе над больными, которые имели наивность обращаться ко мне за помощью:, они, как и я раньше, думают, что тот, кто прошел медицинский факультет, есть уже врач, они не знают, что врачей на свете так же мало, как и поэтов, что врач — ординарный человек при теперешнем состоянии науки — бессмыслица. И для чего мне продолжать служить этой бессмыслице? Уйти, взяться за какое ни на есть другое дело, но только не оставаться в этом ложном и преступном положении самозванца!

Так тянулось около двух лет. Потом постепенно пришло смирение.

Да, наука дает мне не так много, как я ждал, и я не талант. Но прав ли я, отказываясь от своего диплома? Если в искусстве в данный момент нет Толстого или Бетховена, то можно обойтись и без них; но больные люди не могут ждать, и для того, чтобы всех их удовлетворить, нужны десятки тысяч медицинских Толстых и Бетховенов. Это невозможно. А в таком случае так ли уж бесполезны мы, ординарные врачи? Все-таки, беря безотносительно, наукою отвоевана от искусства уж очень большая область, которая с каждым годом все увеличивается. Эта область в наших руках. Но и в остальной медицине мы можем быть полезны и делать очень много. Нужно только строго и неуклонно следовать старому правилу: «primum non nocere, — прежде всего не вредить». Это должно главенствовать над всем. Нужно, далее, раз навсегда отказаться от представления, что деятельность наша состоит в спокойном и беззаботном исполнении указаний науки. Понять всю тяжесть и сложность дела, к каждому новому больному относиться с неослабевающим сознанием новизны и непознанности его болезни, непрерывно и напряженно искать и работать над собою, ничему не доверять, никогда не успокаиваться. Все это страшно тяжело, и под бременем этим можно изнемочь; но, пока я буду честно нести его, я имею право не уходить.

X

В эту пору сомнений и разочарований я с особенною охотою стал уходить в научные занятия. Здесь, в чистой науке, можно было работать не ощупью, можно было точно контролировать и проверять каждый свой шаг; здесь полновластно царили те строгие естественнонаучные методы, над которыми так зло насмехалась врачебная практика. И мне казалось,— лучше положить хоть один самый маленький кирпич в здание великой медицинской науки будущего, чем толочь воду в ступе, делая то, чего не понимаешь.

Между прочим, я работал над вопросом о роли селезенки в борьбе организма с различными инфекционными заболеваниями. Для прививок возвратного тифа в нашу лабораторию были приобретены две обезьянки макаки. За три недели, которые они пробыли у нас до начала опытов, я успел сильно привязаться к ним. Это были удивительно милые зверьки, особенно один из них, самец, которого звали Степкой. Войдешь в лабораторию,— они бросаются к передней стенке своей большой клетки, ожидая сахару. Оделишь их сахаром и выпускаешь на волю. Самка, Джильда, более робка; она бежит по полу, неуклюже поджимая зад и трусливо поглядывая на меня; я чуть пошевельнусь,— она поворачивается и сломя голову мчится обратно в клетку. Степка же держится со мною совершенно по-приятельски. Я сяду на стул,— он немедленно взбирается ко мне на колени и начинает шарить по карманам, брови его подняты, близко поставленные большие глаза смотрят с комичною серьезностью. Он вытаскивает из моего бокового кармана перкуссионный молоточек.

— У-у!! — изумленно произносит он, широко раскрыв глаза, и начинает с любопытством рассматривать блестящий молоточек.

Насмотревшись, Степка бросает молоточек на пол, и с тою же меланхолическою серьезностью, словно исполняя нужное, но очень надоевшее дело, продолжает меня обыскивать; он осторожно берет меня своими коричневыми пальчиками за бороду, снимает пенсне... Но вскоре ему это надоедает. Степка взбирается мне на плечо, вздохнув, оглядывается — и вдруг стрелою перескакивает на стол: он приметил на нем закупоренную пробкою склянку, а его любимое дело — раскупоривать склянки. Степка

быстро и ловко вытаскивает пробку, запихивает ее за щеку и спешит удрать по шнурку шторы под потолок; он знает, что я стану отнимать пробку. Я хватаю его на полпути.

— Цци-ци-ци-ци! — недовольно визжит он, втягивая голову в плечи, жмуря глаза и стараясь вырваться от меня.

Я отнимаю пробку. Степка огорченно оглядывается. Но вот глаза его оживились, он вскакивает на подоконник и издает свое изумленное «у-у!». На улице стоит извозчик; Степка, вытянув голову, с жадным любопытством таращит глаза на лошадь. Я поглажу его,— он нетерпеливо отведет ручонкой мою руку, поправится на подоконнике и продолжает глазеть на лошадь. Пробежит по улице собака. Степка весь встрепенется, волосы на шее и спине взъерошатся, глаза беспокойно забегают.

— У-у! у-у!..— повторяет он, страшно волнуясь и суетливо засматривая то в одно, то в другое стекло окна.

Собака бежит дальше. Степка, с серьезными, испуганными глазами, мчится по столу, опрокидывая склянки, к другому окну и, вытянув голову, следит за убегающею собакою.

С этим веселым шельмецом можно было проводить, не скучая, целые часы. Сидя с ним, я чувствовал, что между нами установилась какая-то связь и что мы уже многое понимаем друг в друге.

Мне было неприятно самому вырезать у него селезенку, и за меня сделал это товарищ. По заживлении раны я привил Степке возвратный тиф. Теперь, когда я входил в лабораторию, Степка уж не бросался к решетке; слабый и взъерошенный, он сидел в клетке, глядя на меня потемневшими, чужими глазами; с каждым днем ему становилось хуже; когда он пытался вскарабкаться на перекладину, руки его не выдерживали, Степка срывался и падал на дно клетки. Наконец он уж совсем не мог подниматься; исхудалый, неподвижно лежал, оскалив зубы, и хрипло стонал. На моих глазах Степка и околел.

Безвестный мученик науки, он лежал передо мною трупом. Я смотрел на этот жалкий трупик, на эту милую, наивную рожицу, с которой даже смертная агония не смогла стереть обычного комично-серьезного выражения... На душе у меня было неприятно и немножко стыдно. Мне вспоминалось изумленное «у-у!», с каким Степка рассматри-

вал мой молоточек, вспоминались его оживленные глаза, которые он таращил на лошадь, совсем, как ребенок,— и у меня шевелилась мысль: настолько ли уже неизмеримо меньше совершенное мною преступление, чем если бы я все это проделал над ребенком?.. Такая сентиментальность по отношению к низшим животным смешна? Но так ли уж прочны и неизменны критерии сентиментальности? Две тысячи лет назад как рассмеялся бы римский патриций над сентиментальным человеком, который бы возмутился его приказанием бросить на съедение муренам раба, разбившего вазу! Для него раб был тоже «низшим животным».

Декарт смотрел на животных, как на простые автоматы,— оживленные, но не одушевленные тела; по его мнению, у них существует исключительно телесное, совершенно бессознательное проявление того, что мы называем душевными движениями. Такого же мнения был и Мальбранш. «Животные,— говорит он,— едят без удовольствия, кричат, не испытывая страдания, они ничего не желают, ничего не знают».

Можно ли в настоящее время согласиться с этим? Не говоря уж о простом ежедневном наблюдении, которое вопиет против такой безглазой теоретичности,— как можем согласиться с этим мы, естественники-трансформисты? Тут возможно только одно решение вопроса,— то, которое дает, напр., Гексли. «Великое учение о непрерывности,— говорит он,— не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного перехода; неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, тою частью мозга, которую мы имеем все основания считать у себя самих органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные обладают сознанием в мере, пропорциональной степени развития органа этого сознания, и что они переживают, в более или менее определенной форме, те же чувства, которые переживаем и мы».

Раз же это так, раз верно то, что между нами и ними нет такой резкой границы, как когда-то воображали, то так ли уж смешна эта сентиментальность, так ли ложны те покалывания совести, которые испытываешь, нанося им мучения? А испытываемое при этом чувство есть нечто, очень похожее именно на покалывание совести. Один мой товарищ-хирург работает над вопросом об огнестрельных

ранах живота,— полезнее ли держаться при них выжидательного образа действий или немедленно приступать к операции. Он привязывает собак к доске и на расстоянии нескольких шагов стреляет им в живот из револьвера; затем одним собакам он немедленно производит чревосечение, других оставляет без операции. Войдешь к нему в лабораторию,— в комнате стоят стоны, вой, визг, одни собаки мечутся, околевая, другие лежат неподвижно и только слабо визжат. При взгляде на них мне не просто тяжело, как было тяжело, например, смотреть первое время на страдания оперируемого человека; мне именно *стыдно, неловко* смотреть в эти, облагороженные страданием, почти человеческие глаза умирающих собак. И в такие минуты мне становится понятным настроение старика Пирогова.

«В молодости,— рассказывает он в своих посмертных записках,— я был безжалостен к страданиям. Однажды, я помню, это равнодушие мое к мукам животных при вивисекциях поразило меня самого так, что я, с ножом в руках, обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно воскликнул:

— Ведь так, пожалуй, можно зарезать и человека!

Да, о вивисекциях можно многое сказать и за и против. Несомненно, они — важное подспорье в науке... Но наука не восполняет всецело жизни человека: проходит юношеский пыл и мужская зрелость, наступает другая пора жизни и с нею потребность углубляться в самого себя; тогда воспоминание о причиненном насилии, муках, страданиях другому существу начинает щемить невольно сердце. Так было, кажется, и с великим Галлером; так, признаюсь, случилось и со мною, и в последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые я некогда производил так усердно и равнодушно».

Все это так. Но как быть иначе, где выход? Отказаться от живосечения — это значит поставить на карту все будущее медицины, навеки обречь ее на неверный и бесплодный путь клинического наблюдения. Нужно ясно сознать все громадное значение вивисекций для науки, чтобы понять, что выход тут все-таки один — задушить в себе укоры совести, подавить жалость и гнать от себя мысль о том, что за страдающими глазами пытаемых животных таится живое страдание.

В Западной Европе уже несколько десятилетий ведется усиленная агитация против живосечений; в последние

годы эта агитация появилась и у нас в России. В основу своей проповеди противники живосечений кладут положение, как раз противоположное тому, которое было мною сейчас указано,— именно, они утверждают, что *живосечения совершенно не нужны науке.*

Но кто же сами эти люди, берущиеся доказывать такое положение? Священники, светские дамы, чиновники,— лица, совершенно непричастные к науке; и возражают они Вирхову, Клоду Бернару, Пастеру, Роберту Коху и прочим гигантам, на своих плечах несущим науку вперед. Но ведь это же невозможная бессмыслица! Методы и пути науки составляют в каждой науке самую ее трудную часть; как могут браться судить о них профаны? Они и сами не могут не сознавать этого, и понятно, с какой радостью должны они приветствовать тех из людей науки, которые высказываются в их духе. В настоящее время противники живосечений носятся с Лаусон-Тэтом, очень известным *практическим* хирургом, и с совершенно уж ни в каком отношении неизвестным «медиком-хирургом» Белль-Тайлором. Несколько лет назад речь этого Белль-Тайлора против живосечений (в весьма безграмотном переводе) была разослана нашими антививисекционистами в виде приложения к «Новому времени». Когда читаешь эту речь, оторопь берет от той груды лжи и подтасовок, которыми она полна, и невольно задаешь себе вопрос: может ли быть жизненным учение, которому приходится прибегать к такому беззастенчивому обману публики? Опираясь на свой авторитет специалиста, в расчете на круглое невежество слушателей, Белль-Тайлор не останавливается решительно ни перед чем.

«Ложно то,— объявляет он, напр.,— будто бы Гарвей дознал закон кровообращения посредством вивисекции. Совсем нет! Единственно посредством наблюдения над мертвым человеческим телом Гарвей открыл тот факт, что клапаны жил дозволяют крови течь только в известном направлении...» (Нужно заметить, что знаменитый трактат Гарвея о кровообращении *почти сплошь состоит из описаний опытов, произведенных Гарвеем над живыми животными;* вот заглавия нескольких глав трактата: Cap. II.— «Ex vivorum dissectione qualis sit cordis motus» (Движение сердца по данным, добытым путем живосечений). Cap. III.— «Arteriarum motus qualis ex vivorum dissectione» *. Cap. IV.—

* Движение артерий по данным, добытым путем живосечений (*лат.*).— *Ред.*

«Motus cordis et auriculorum qualis ex vivorum dissectione» * и т. д.[1].

«Неправда и то,— продолжает Белль-Тайлор,— что будто бы через вивисекцию Кох нашел средство от чахотки; напротив, его прививания причиняли сперва лихорадку, а потом смерть». (Речь свою оратор произнес в конце 1893 года, когда почти никто уж и не защищал коховского туберкулина; но о том, что путем живосечений тот же Кох открыл туберкулезную палочку, что путем живосечений создалась вся бактериология,— Белль-Тайлор благоразумно умалчивает.)

И так дальше без конца; что ни утверждение, то — либо прямая ложь, либо извращение действительности. В подстрочном примечании читатель найдет еще несколько образчиков антививисекционистской литературы; образчики эти взяты мною из новейших английских летучих листков, тысячами распространяемых в народе антививисекционистами [2].

Живосечения для медицинской науки *необходимы* —

---

[1] См. Exercitatio anatomica de motus cordis et sanguinis in animalibus. Auctore Gulielmo Harweo. Lugduni Batavorum. 1737.

[2] «Каковы практические результаты вивисекции? — спрашивает, напр., д-р Стефанс Смис.— Они очень велики! Так, один американский врач сбрил у нескольких животных шерсть и выставил их на мороз. Животные простудились. Из этого мы заключаем, что зимою следует носить теплую одежду. Лягушки были посажены в кипящую воду; они старались выпрыгнуть, ясно выказывая боль. Отсюда следует, что нужно избегать купаний в кипящей воде. Но этим, сколько я мог узнать, и исчерпываются практические результаты вивисекции» (Vivisection, An independent medical view. 1899, p. 9). Агитаторы-не врачи доказывают ненужность вивисекций другим путем. «Вивисекция,— заявляет мистрисс Мона Кэрд,— есть главный враг науки, которая всегда учила, что законы природы гармоничны и не терпят противоречий; но если эти законы не терпят противоречий, то как возможно, чтоб то, что в нравственном отношении несправедливо, было в научном отношении справедливо, чтоб то, что жестоко и неправедно, могло вести к миру и здоровью?» (The sanctuary of mercy. 1899, p. 6). И это говорится в стране Дарвина!.. Иногда на место природы подставляется бог. «Я думаю,— говорит мисс Кобб,— что великий устроитель всего сущего есть справедливый, святой, милосердный бог; и совершенно немыслимо, чтоб такой бог мог создать свой мир таким образом, чтоб человек был принужден искать средств против своих болезней путем причинения мук низшим животным. Мысль, что таково божие определение, по-моему, богохульство» (Vivisection explained. 1898, p. 6).

* Движение сердца и клапанов по данным, добытым путем живосечений *(лат.)*.— *Ред.*

против этого могут спорить только очень невежественные или очень недобросовестные люди. Из предыдущих глав этих записок уж можно было видеть, как многообразна в нашей науке необходимость живосечений. Предварительные опыты на животных представляют хоть некоторую гарантию в том, что новое средство не будет дано человеку в убийственной дозе и что хирург не приступит к операции совершенно неопытным. Не простой случайностью является далее то обстоятельство, что преступные опыты над людьми особенно многочисленны именно в области венерических болезней, к которым животные совершенно невосприимчивы. Но самое важное — это то, что без живосечений мы решительно не в состоянии познать и понять живой организм. Какую область физиологии или патологии ни взять, мы везде увидим, что почти все существенное было открыто путем опытов над животными. В 1883 году прусское правительство, под влиянием агитации антививисекционистов, обратилось к медицинским факультетам с запросом о степени необходимости живосечений; один выдающийся немецкий физиолог вместо ответа прислал в министерство «Руководство к физиологии» Германа, причем в руководстве этом он вычеркнул все те факты, которых без живосечений было бы невозможно установить; по сообщению немецких газет, «книга Германа вследствие таких отметок походила на русскую газету, прошедшую сквозь цензуру: зачеркнутых мест было больше, чем незачеркнутых».

Без живосечений познать и понять живой организм невозможно; а без полного и всестороннего понимания его и высшая цель медицины, лечение,— неверно и ненадежно. В 1895 году известный физиолог, проф. И. П. Павлов, демонстрировал в одном из петербургских медицинских обществ собаку с перерезанными блуждающими нервами; опытами над этой собакой ему удалось разрешить некоторые очень важные вопросы в области физиологии пищеварения. Фельетонист «Нового времени» Житель резко обрушился за эти опыты на проф. Павлова.

Кому и зачем это нужно — перерезать блуждающие нервы? — спрашивала газета.— Бывали ли в жизни такие случаи, которые наводили людей науки на эту мысль? Это один из печальнейших результатов вивисекторского виртуозничества, самого плохого и ненаучного свойства... Это, так сказать, наука для науки... Когда видишь эти утонченные ухищрения напряженной, неестественной выдумки гг. вивисекторов и сопоставишь их с тем простым, общим фактом, что большинство людей умирает от простой простуды и гг. врачи

не умеют ее вылечить, то торжества ученых собраний по поводу опыта с блуждающими нервами принимают значение сарказма... Самых верных болезней не умеют лечить и понимать, и в то же время увлечение вивисекторов принимает угрожающие размеры и не может не возмущать печальным скудоумием и бессердечием ученых живорезов.

Вот типическое рассуждение улицы. Для чего изучать организм во всех его отправлениях, если не можешь вылечить «простой простуды»? Да именно для того, чтоб быть в состоянии вылечить хотя бы ту же самую «простую простуду» (которая, говоря мимоходом, очень не проста). «Это — наука для науки»... Наука тогда только и наука, когда она не регулирует и не связывает себя вопросом о непосредственной пользе. Электричество долгое время было только «курьезным» явлением природы, не имеющим никакого практического значения; если бы Грэй, Гальвани, Фарадей и прочие его исследователи не руководствовались правилом: «наука для науки», то мы не имели бы теперь ни телеграфа, ни телефона, ни рентгеновских лучей, ни электромоторов. Химик Шеврель из чисто научной любознательности открыл состав жиров, а следствием этого явилась фабрикация стеариновых свечей.

Нужно, впрочем, заметить, что далеко не все вивисекционисты исходят при решении вопроса из таких грубых и невежественных предпосылок, как мы сейчас видели. Некоторые из них пытаются поставить вопрос на принципиальную почву; таков, например, английский вивисекционист Генри Солт, автор сочинения «Права животных в их отношении к социальному прогрессу». «Допустим,— говорит он,— что прогресс врачебной науки невозможен без живосечений. Что же из того? Заключать отсюда о законности живосечений — слишком поспешно: мудрый человек должен принять в расчет и другую, моральную сторону дела — гнусную несправедливость причинения мук невинным животным». Вот единственно правильная постановка вопроса для антививисекциониста: может ли наука обойтись без живосечений или нет,— но животные мучаются, и этим все решается. Вопрос поставлен ясно и недвусмысленно. Повторяю, смеяться над противниками живосечения нельзя, мучения животных при вивисекциях, действительно ужасны, и сочувствие этим мукам.— не сентиментальность, но нужно помнить, что мимо живосечения нет пути к созданию научной медицины, которая будет излечивать людей.

На Западе противники живосечений уже добились неко-

торых довольно существенных ограничений свободы вивисекции. Самым крупным из таких ограничений является английский парламентский акт 1876 года «о жестокости к животным». По этому акту производить опыты над живыми животными имеют право лишь лица, получившие на то специальное разрешение (которое к тому же во всякое время может быть взято обратно). В Австрии министр народного просвещения издал в 1885 году предписание, по которому «опыты на живых животных могут быть производимы только ради серьезных исследований и лишь в виде исключения, в случаях необходимости». В Дании для производства живосечений требуется разрешение министра юстиции(!). Все подобные распоряжения производят очень странное впечатление. Кому, напр., будут выдаваться разрешения? Очевидно, известным ученым. Но вот в семидесятых годах в глухом немецком городке Вольштейне никому не ведомый молодой врач Роберт Кох путем опытов над животными подробнейшим образом изучает биологию сибиреязвенной палочки и этим своим исследованием прокладывает широкие пути к только что народившейся чрезвычайно важной науке — бактериологии. Навряд бы дано было разрешение на опыты этому неизвестному провинциальному врачу... Кто, далее, будет решать, какие опыты «необходимы» для науки? В самом деле, министры юстиции? Но ведь это смешно. Ученые факультеты? Но кто же не знает, что академическая ученость почти всегда является носительницею рутины? Когда Гельмгольц открыл свой закон сохранения энергии, то академия наук, как сам он рассказывает, признала его работу «бессмысленными и пустыми умствованиями». Его исследования о скорости проведения нервного тока также встретили лишь улыбку со стороны лиц, стоявших тогда во главе физиологии.

Имеет ли антививисекционистская агитация и в будущем шансы на успех? Я думаю, что успехи ее всецело основаны на невежестве публики и что, по мере уменьшения невежества, ее успехи будут все больше падать.

Билль «о жестокости к животным» был принят английским парламентом в августе 1876 года. Дата знаменательная: как раз в это время в Болгарии свирепствовали турки, поощряемые дружественным невмешательством Англии. Неужели пытаемые в лабораториях лягушки были английским депутатам ближе и дороже, чем болгарские девушки и дети, насилуемые и избиваемые башибузуками?

Конечно, нет. Дело гораздо проще: парламент понимал, что вмешательство в болгарские дела *невыгодно* для Англии, невыгоды же ограничения живосечений он не понимал. А там, где человек не видит угрозы своей выгоде, он легко способен быть и честным и гуманным. В сентябре 1899 года англичане тысячами подписывались под адресом осужденному в Ренне Дрейфусу; в то же время те же англичане шиканием и криками зажимали на митинге рот Джону Морлею, протестовавшему против разбойничьего отношения Англии к Трансваалю. Русская жизнь представляет еще более яркие примеры такой кажущейся непоследовательности.

Когда люди поймут, чем они жертвуют, отнимая у науки право живосечений, агитация антививисекционистов будет обречена на полное бесплодие. На одном собрании противников живосечений манчестерский епископ Мургаус заявил, что он предпочитает сто раз умереть, чем спасти свою жизнь ценою тех адских мук, которые причиняются животным при живосечениях. Сознательно идти на такое самопожертвование способно лишь очень ничтожное меньшинство.

XI

Наша врачебная наука в теперешнем ее состоянии очень совершенна; мы многого не знаем и не понимаем, во многом принуждены блуждать ощупью. А дело приходится иметь со здоровьем и жизнью человека... Уж на последних курсах университета мне понемногу стало выясняться, на какой тяжелый, скользкий и опасный путь обрекает нас несовершенство нашей науки. Однажды наш профессор-гинеколог пришел в аудиторию хмурый и расстроенный.

— Милостивые государи! — объявил он.— Вы помните женщину с эндометритом, которую я вам демонстрировал полторы недели назад и которой я тогда же сделал при вас выскабливание матки? Вчера она умерла от заражения брюшины...

Профессор подробно изложил нам ход болезни и результаты вскрытия умершей. Кроме разращений слизистой оболочки, ради которых было произведено выскабливание, у больной оказалась в толще матки мускульная опухоль — миома. Выскабливание матки при миомах сопряжено с большою опасностью, потому что миомы легко могут омертветь и подвергнуться гнилостному разложению. В дан-

ном случае самое тщательное исследование матки не дало никаких указаний на присутствие миомы; выскабливание было произведено, а следствием этого явилось разложение миомы и смерть больной.

— Таким образом, милостивые государи,— продолжал профессор,— смерть больной, несомненно, была вызвана нашею операциею; не будь операции, больная, хотя и не без страданий, могла бы прожить еще десятки лет... К сожалению, наша наука не всесильна. Такие несчастные случайности предвидеть очень трудно, и к ним всегда нужно быть готовым. Для избежания подобной ошибки Шультце предлагает...

Профессор говорил еще долго, но я его уже не слушал. Сообщение его как бы столкнуло меня с неба, на которое меня вознесли мои тогдашние восторги перед успехами медицины. Я думал: «Наш профессор — европейски известный специалист, всеми признанный талант, тем не менее даже и он не гарантирован от таких страшных ошибок. Что же ждет в будущем меня, ординарнейшего, ничем не выдающегося человека?»

И в первый раз это будущее глянуло на меня зловеще и мрачно. Некоторое время я ходил совершенно растерянный, подавленный громадностью той ответственности, которая ждала меня в будущем. И везде я теперь находил свидетельства того, как во всех отношениях велика эта ответственность. Случайно мне попался номер «Новостей терапии», и в нем я прочел следующее:

Бинц сообщает случай выкидыша после приемов салицилового натра по одному грамму. Врач, назначивший это средство, был привлечен к судебной ответственности, но был оправдан, *ввиду того, что подобные случаи до сих пор еще не опубликованы*, несмотря на то, что применение салицилового натра, как известно, практикуется в весьма широких размерах.

Заметка эта случайно попалась мне на глаза; я легко мог ее и не прочесть, а между тем, если бы в будущем нечто подобное произошло со мною, то мне уже не было бы оправдания: теперь такой случай опубликован... Я должен все знать, все помнить, все уметь,— но разве же это по силам человеку?!

Вскоре мое мрачное настроение понемногу рассеялось: пока я был в университете, мне самому ни в чем не приходилось нести ответственности. Но когда я врачом приступил к практике, когда я на деле увидел все несовершен-

ство нашей науки, я почувствовал себя в положении проводника, которому нужно ночью вести людей по скользкому и обрывистому краю пропасти: они верят мне и даже не подозревают, что идут над пропастью, а я каждую минуту жду, что вот-вот кто-нибудь из них рухнет вниз.

Часто, определив болезнь, я положительно не решался взяться за ее лечение и уклонялся под первым предлогом. В начале моей практики ко мне обратилась за помощью женщина, страдавшая солитером. Самое лучшее и верное средство против солитера — вытяжка мужского папоротника. Справляюсь в книгах, как его назначить, и читаю: «Средство много потеряло из своей славы, потому что его давали в слишком малых дозах... Но с назначением его нужно быть осторожным: в больших дозах оно производит отравление...» В единственно действительных не «слишком малых» дозах я должен быть «очень осторожен». Как возможно при таком условии соблюсти осторожность?.. Я заявил больной, что не могу ее лечить и чтоб она обратилась к другому доктору.

Больная широко раскрыла глаза.

— Я вам заплачу,— сказала она.

— Да нет, дело не в том... Видите ли... За это нужно взяться как следует, а у меня теперь нет времени...

Женщина пожала плечами и ушла.

Первое время я испытывал такой страх чуть не перед половиною всех моих больных; и страх этот еще усиливался от сознания моей действительной неопытности; чего стоил один тот случай с сыном прачки, о котором я уже рассказывал. Потом мало-помалу явилась привычка; я перестал всего бояться, больше стал верить в себя; каждое действие над больным уже не сопровождалось бесплодными терзаниями и мыслями о всех возможных осложнениях. Но все-таки висящий над головою дамоклов меч «несчастного случая» и до сих пор держит меня в состоянии непрерывной нервной приподнятости.

Никогда наперед не знаешь, когда и откуда он придет, этот грозный «несчастный случай». Раз, я помню, у нас в больнице делали шестнадцатилетней девушке резекцию локтя. Мне поручили хлороформировать больную. И только я поднес к ее лицу маску с хлороформом, только она вдохнула его — один-единственный раз,— и лицо ее посинело, глаза остановились, пульс исчез; самые энергичные меры оживления не повели ни к чему; минуту назад она

говорила, волновалась, глаза блестели страхом и жизнью,— и уже труп!.. По требованию родителей было произведено судебно-медицинское вскрытие умершей; все ее внутренние органы оказались совершенно нормальными, как я и нашел их при исследовании больной перед хлороформированием; и тем не менее — смерть от этой ужасной идиосинкразии, которую невозможно предвидеть. И родители увезли труп, осыпав нас проклятиями.

Английский хирург Джемс Педжет говорит в своей лекции «о несчастиях в хирургии»: «Нет хирурга, которому не пришлось бы в течение своей жизни один или несколько раз сократить жизнь больным, в то время как он стремился продолжить ее. И такие приключения бывают не при одних только важных операциях. Если бы вы могли пробежать полный список операций, считаемых «малыми», вы нашли бы, что каждый опытный хирург или имел в своей собственной практике, или видел у других один или несколько смертельных исходов при всякой из этих операций. Если хирург удалит ножом сто атером на волосистой части головы, то — я осмеливаюсь утверждать — один или двое из его оперируемых умрут. Всякий, кто подряд наложит такое же число раз лигатуру на геморроидальные шишки, получит один или два смертельных исхода».

И от этого нет спасения. Каждую минуту может разразиться несчастье и смять тебя навсегда. В 1884 году венский врач Шпитцер пользовал четырнадцатилетнюю девочку, страдавшую озноблением пальцев; он прописал ей иодистого коллодия и велел мазать им отмороженные места: у девочки образовалось омертвение мизинца, и палец пришлось ампутировать. Мать больной подала на д-ра Шпитцера в суд. Суд приговорил его к уплате истице 650 гульденов, к штрафу в 200 гульденов и к лишению права практики. Газеты яростно напали на Шпитцера, осыпая его насмешками и издевательствами. Во врачебном мире случай этот вызвал большое волнение: Шпитцер не мог иметь никаких оснований ждать, чтобы смазывания пальца невинным иодистым коллодием способны были произвести такое разрушительное действие. Осужденный апеллировал в сенат. Было затребовано мнение медицинского факультета. По докладу известного хирурга проф. Альберта факультет единогласно дал следующее заключение: «Примененные доктором Шпитцером смазывания иодистым коллодием не повели к гангрене в ряде опытов, специально

произведенных факультетом с этою целью. В литературе и науке не имеется указаний на опасность применения упомянутого средства вообще и в случаях, подобных происшедшему, в частности. Поэтому нет основания обвинять д-ра Шпитцера в невежестве». Но Шпитцер уже не нуждался в оправдании. В тот день, когда было опубликовано факультетское заключение, труп Шпитцера был вытащен из Дуная: он не вынес тяжести всеобщих осуждений и утопился.

Да, уж пощады в подобных случаях не жди ни от кого! Врач должен быть богом, не ошибающимся, не ведающим сомнений, для которого все ясно и все возможно. И горе ему, если это не так, если он ошибся, хотя бы не ошибиться было невозможно... Лет пятнадцать назад фельетонист «Петербургской газеты» г. Амикус огласил один «возмутительный» случай, происшедший в хирургической клинике проф. Коломнина. Мальчик Харитонов, «с болью в тазо-бедренном суставе», был привезен родителями в клинику; при исследовании мальчика ассистентом клиники, д-ром Траяновым, произошло вот что:

> «Траянов просит, чтоб Харитонов прыгнул на больную ногу; тот, конечно, отказывается, заверяя почтенного эскулапа, что он не может стоять на больной ноге. Но эскулап не слушает заверений несчастного юноши и с помощью присутствующих заставляет прыгнуть. Тот прыгнул. Раздался страшный крик, и несчастный упал на руки своих палачей: от прыжка нога сломилась у самого бедра». У больного «с ужасающей быстротою» развилась саркома, и он умер «по вине своих мучителей».

Д-р Траянов в письме в редакцию газеты объяснил, как было дело. Мальчик жаловался на боли в суставе, но никаких наружных признаков поражения в суставе не замечалось; были основания подозревать туберкулез тазо-бедренного сустава (коксит). Стоять на больной ноге Харитонов мог. «Я предложил больному стать на больную ногу и слегка подпрыгнуть. При такой пробе у кокситиков при самом начале болезни, когда все другие признаки отсутствуют, болезнь выдает себя легкою болью в суставе. Последовал перелом. Такие переломы относятся к числу так называемых *самородных переломов:* у мальчика, как впоследствии оказалось, была центральная костномозговая саркома; она разъела изнутри кость и уничтожила ее обычную твердость; достаточно было первого сильного движения, чтобы случился перелом; тот же самый перелом сам собою сде-

лался бы у больного или в клинике, или на возвратном пути домой. Узнать наверное такую болезнь, когда еще нельзя найти самой опухоли, в высокой степени трудно, иногда положительно *невозможно*». К этому нужно еще прибавить, что упомянутая болезнь вообще принадлежит к числу очень редких в противоположность кокситу, болезни очень распространенной.

Объяснение д-ра Траянова вызвало новые глумления фельетониста.

Не правда ли, поразительно! — писал г. Амикус. — Самодействующий перелом!.. Это ли еще не есть верх несчастной случайности, в особенности для нас, профанов, впервые слышащих о самородных, самодействующих, автоматических переломах рук и ног. Только в таких необычайных случаях можно вполне оценить, что значит наука, и горько всплакнуть над своим невежеством... Что же остается делать профану? Не спорить же с наукой! Остается только пристыженно понурить голову перед сиянием ослепляющей науки и немедленно испробовать с тревожным чувством (посредством ударов о твердые предметы), не подкрался ли к нему самому этот предательский самородный перелом.

После этого еще целую неделю по газетам трепали и высмеивали д-ра Траянова.

Со стороны возмущаться подобными ошибками врачей легко. Но в том-то и трагизм нашего положения, что представься назавтра врачу другой такой же случай — и врач *обязан* был бы поступить совершенно так же, как поступил в первом случае. Конечно, для него было бы гораздо спокойнее поступить иначе: наружных признаков поражения сустава не замечается; есть способ узнать, не туберкулез ли это; но вдруг болезнь окажется костной саркомой, и тоже последует перелом! Правда, костные саркомы так редки, что за всю свою практику врач встретит их всего два-три раза; правда, если теперь же взяться за лечение туберкулезного сустава, то можно надеяться на полное и прочное излечение его, а все-таки... лучше подальше от греха; лучше пусть больной отправляется домой и представится снова тогда, когда уже появятся несомненные наружные признаки... Тот трус, который поступил бы так, был бы недостоин имени врача.

Общество живет слишком неверными представлениями о медицине, и это главная причина его несправедливого отношения к врачам; оно должно узнать силы и средства врачебной науки и не винить врачей в том, в чем виновато

несовершенство науки. Тогда и требовательность к врачам понизилась бы до разумного уровня.

А впрочем,— понизилась ли бы она и тогда?.. Чувство не знает и не хочет знать логики. Недавно я испытал это на самом себе. У моей жены роды были очень трудные, потребовалась операция. И передо мною зловеще-ярко встали все возможные при этом несчастия.

— Нужно сделать операцию,— спокойно и хладнокровно сказал мне врач-акушер.

Как мог он говорить об этом так спокойно?! Ведь он знает, какие многочисленные случайности грозят роженице при подобной операции; пусть случайности эти редки, но все-таки же они существуют и возможны. А он должен ясно понять, что значит для меня потерять Наташу, он *наверное* должен сделать операцию удачно, в противном случае это будет ужасно, и ему не может быть извинения,— ни ему, ни науке: не *смеет* он ни в чем погрешить!.. И перед этим охватившим меня чувством стали бледны и бессильны все доводы моего разума и знания.

XII

В обществе к медицине и врачам распространено сильное недоверие. Врачи издавна служат излюбленным предметом карикатур, эпиграмм и анекдотов. Здоровые люди говорят о медицине и врачах с усмешкою, больные, которым медицина не помогла, говорят о ней с ярою ненавистью.

Эти насмешки и это недоверие вначале сильно конфузили меня. Я чувствовал, что в основе своей они справедливы, что в науке нашей, действительно, есть многое, чего мы должны конфузиться. Чувствуя это, я иногда не прочь был и сам в откровенную минуту высказать свое пренебрежительное и насмешливое отношение к медицине. Однажды, в деревне, мы возвращались вечером с прогулки. Ко мне подошла баба с просьбою осмотреть и полечить ее. Я зашел к ней в избу вместе со своей двоюродной сестрой. Баба жаловалась, что ей «подпирает корешки» и схватывает под ложечкой, что, когда она наклоняется, у нее сильно кружится голова. Я исследовал ее и сказал, чтоб она зашла ко мне за каплями.

— Что у нее? — спросила сестра, когда мы вышли.

— А я почем знаю! — с усмешкою ответил я.— Подпирает корешки какие-то.

Сестра удивленно подняла брови.

— Вот странно! Ты так уверенно держался,— я думала, для тебя все совершенно ясно.

— Дня через два исследую ее еще раз — может быть, выяснится.

— Ну и наука же ваша!

— Наука — что говорить! Наука, можно сказать,— точная!

И я стал рассказывать ей случаи, показывавшие, как «точна» наша наука и как наивно смотрят на врачей больные.

Мне не раз случалось таким тоном говорить о медицине; все, что я рассказывал, была правда, но всегда после подобных разговоров мне становилось совестно; эту правду я оценивал, становясь на точку зрения своих слушателей, в душе же у меня, несмотря на все, отношение к медицине было серьезное и полное уважения.

Очевидно, во всем этом крылось какое-то глубокое недоразумение. Медицина не оправдывает ожиданий, которые на нее возлагаются,— над нею смеются, и в нее не верят. Но правильны ли и законны ли самые эти ожидания? Есть наука об излечении болезней, которая называется медициной; человек, обучившийся этой науке, должен безошибочно узнавать и вылечивать болезни; если он этого не умеет, то либо сам он плох, либо его наука никуда не годится.

Такой взгляд был совершенно естествен; но в то же время совершенно неправилен. Не существует хоть сколько-нибудь законченной науки об излечении болезней; перед медициною стоит живой человеческий организм с бесконечно сложною и запутанною жизнью; многое в этой жизни уже понято, но каждое новое открытие в то же время раскрывает все большую чудесную ее сложность; темным и малопонятным путем развиваются в организме многие болезни, неясны и неуловимы борющиеся с ними силы организма, нет средств поддержать эти силы; есть другие болезни, сами по себе более или менее понятные; но сплошь да рядом они протекают так скрыто, что все средства науки бессильны для их определения.

Это значит, что врачи не нужны, а их наука никуда не годится? Но ведь есть многое другое, что науке уже понятно и доступно, во многом врач может оказать существенную помощь. Во многом он и бессилен, но в чем именно он бес-

силен, может определить только сам врач, а не больной; даже и в этих случаях врач незаменим, хотя бы по одному тому, что он понимает всю сложность происходящего перед ним болезненного процесса, а больной и его окружающие не понимают.

Люди не имеют даже самого отдаленного представления ни о жизни своего тела, ни о силах и средствах врачебной науки. В этом — источник большинства недоразумений, в этом — причина как слепой веры во всемогущество медицины, так и слепого неверия в нее. А то и другое одинаково дает знать о себе очень тяжелыми последствиями.

В публике сильно распространены всевозможные «общедоступные лечебники» и популярные брошюры о лечении; в мало-мальски интеллигентной семье всегда есть домашняя аптечка, и раньше чем позвать врача, на больном испробуют и касторку, и хинин, и салициловый натр, и валерьянку; недавно в Петербурге даже основалось целое общество «самопомощи в болезнях». Ничего подобного не было бы возможно, если бы у людей, вместо слепой веры в простую и нехитрую медицинскую науку, было разумное понимание этой науки. Люди знали бы, что каждый новый больной представляет собою новую, неповторяющуюся болезнь, чрезвычайно сложную и запутанную, разобраться в которой далеко не всегда может и врач со всеми его знаниями. У больного запор,— нужно ему дать касторки; решился ли бы кто-нибудь приступить к такому лечению, если бы хоть подозревал о том, что иногда этим можно убить человека, что иногда, как, напр., при свинцовой колике, запор можно устранить не касторкой, а только... опием?

На невежественной вере во всесилие медицины основываются те преувеличенные требования к ней, которые являются для врача проклятием и связывают его по рукам и ногам. Больного с брюшным тифом сильно лихорадит, у него болит голова, он потеет по ночам, его мучит тяжелый бред; бороться с этим нужно очень осторожно, и преимущественно физическими средствами; но попробуй скажи пациенту: «Страдай, обливайся потом, изнывай от кошмаров!» Он отвернется от тебя и обратится к врачу, который не будет жалеть хинина, фенацетина и хлорал-гидрата; что это за врач, который не дает облегчения! Пусть это облегчение идет за счет сил больного, пусть оно навсегда рас-

шатает его организм, пусть совершенно отучит от способности самостоятельно бороться с болезнью,— облегчение получено, и довольно. Самыми несчастными пациентами в этом отношении являются разного сорта «высокие особы»,— нетерпеливые, избалованные, которые самую наличность неустраненного хотя бы легкого страдания ставят в вину лечащему их врачу. Вот почему, между прочим, в публике громким успехом пользуются врачи, о которых понимающие дело товарищи отзываются с презрением и к помощи которых ни один из врачей не станет обращаться.

Врач на то и врач, чтобы легко и уверенно устранять страдания и излечивать болезни. Действительность на каждом шагу опровергает такое представление о врачах, и люди от слепой веры в медицину переходят к ее полному отрицанию. У больного болезнь излечимая, но требующая лечения долгого и систематического; неделя-другая лечения не дала помощи, и больной машет рукою на врача и обращается к знахарю. Есть болезни затяжные, против которых мы не имеем действительных средств,— напр., коклюш; врач, которого в первый раз пригласят в семью для лечения коклюша, может быть уверен, что в эту семью его никогда уж больше не позовут: нужно громадное, испытанное доверие к врачу или полное понимание дела, чтобы примириться с ролью врача в этом случае — следить за гигиеничностью обстановки и принимать меры против появляющихся осложнений.

Особенно богатый материал для отрицания медицины дают ошибки врачей. Врач определил у больного брюшной тиф, а на вскрытии оказалось, что у него была общая бугорчатка,— позор врачам, хотя клинические картины той и другой болезни часто совершенно тожественны. У меня есть один знакомый, три года у него сильно болит правое колено; один врач определил туберкулез, другой — сифилис, третий — подагру; и облегчения ни от кого нет. Отсюда вывод может быть только один: иногда болезни проявляются в таких темных и неясных формах, что правильный диагноз возможно поставить только случайно. Но каждый человек судит по тому, что испытывает на себе; и знакомый мой говорит: «Ваше занятие для общества то же, что для человека галстук: галстук совершенно бесполезен, но ходить без него цивилизованному человеку неприлично; и он покорно платит за галстук деньги, и люди, приготовляющие галстуки, думают, что делают что-то нужное...»

— Должна вам, доктор, сознаться,— я совершенно не верю в вашу медицину,— сказала мне недавно одна дама.

Она не верит... Но ведь она ее совершенно не знает! Как же можно верить или не верить в значение того, чего не знаешь?

Многое из того, что мною рассказано в предыдущих главах, может у людей, слепо верующих в медицину, вызвать недоверие к ней. Я и сам пережил это недоверие. Но вот теперь, зная все, я все-таки с искренним чувством говорю: *я верю в медицину,*— верю, хотя она во многом бессильна, во многом опасна, многого не знает. И могу ли я не верить, когда то и дело вижу, как она дает мне возможность спасать людей, как губят сами себя те, кто отрицает ее?

«Я не верю в вашу медицину»,— говорит дама. Во что же, собственно, она не верит? В то, что возможно в два дня «перервать» коклюш, или в то, что при некоторых глазных болезнях своевременным применением атропина можно спасти человека от слепоты? Ни в два дня, ни в три недели невозможно перервать коклюш, но несколькими каплями атропина можно сохранить человеку зрение, и тот, кто не «верит» в это, подобен скептику, не верящему, чтоб где-нибудь на свете мужики говорили по-французски.

Человек долгие годы страдает удушьем; я прижигаю ему носовые раковины,— и он становится здоровым и счастливым от своего здоровья; мальчик туп, невнимателен и беспамятен: я вырезаю ему гипертрофированные миндалины,— и он умственно совершенно перерождается; ребенок истощен поносами: я без всяких лекарств, одним регулированием диеты и времени приема пищи достигаю того, что он становится полным и веселым. Мое знание часто дает мне возможность самым незначительным приемом или назначением предотвратить тяжелую болезнь, и чем невежественнее люди, тем ярче бросается в глаза все значение моего знания. В трудных, запутанных случаях, потребовавших много умственных и нервных затрат, особенно сильно и победно чувствуешь свое торжество, и смешно подумать, что можно было бы сделать здесь без знания... Нет, я — я верю в медицину, и мне глубоко жаль тех, кто в нее не верит.

Я верю в медицину. Насмешки над нею истекают из незнания смеющихся. Тем не менее во многом мы ведь, действительно, бессильны, невежественны и опасны; вина в этом не наша, но это именно и дает пищу неверию в нашу науку и насмешкам над нами. И передо мною все настойчивее на-

чал вставать вопрос: это недоверие и эти насмешки я признаю неосновательными, им не должно быть места по отношению ко мне и к моей науке,— как же мне для этого держаться с пациентом?

Прежде всего нужно быть с ним честным. Именно потому, что сами мы скрываем от людей истинные размеры доступного нам знания, к нам и возможно то враждебно-ироническое чувство, которое мы повсюду возбуждаем к себе. Одно из главных достоинств Льва Толстого, как художника, заключается в поразительно человечном и серьезном отношении к каждому из рисуемых им лиц; *единственное* исключение он делает для врачей: их Толстой не может выводить без раздражения и почти тургеневского подмигивания читателю. Есть же, значит, что-то, что так восстановляет всех против нас. И мне казалось, что это «что-то» есть именно окутывание себя туманом и возбуждение к себе преувеличенного доверия и ожиданий. Этого не должно быть.

Но практика немедленно опровергла меня; напротив, иначе, чем есть, и не может быть. Я лечил одного чиновника, больного брюшным тифом; его крепило, живот был сильно вздут; я назначил ему каломель в обычной слабительной дозе, со всеми обычными предосторожностями.

— У мужа, доктор, явилось во рту какое-то осложнение,— сообщила мне жена больного при следующем моем визите.

Больной жаловался на сильное слюнотечение, десны покраснели и распухли, изо рта несло отвратительным запахом; это была типическая картина легкого отравления ртутью, вызванного назначенным мною каломелем: обвинить себя я ни в чем не мог,— я принял решительно все предупредительные меры.

Что мне было сказать? Что это — следствие назначенного мною лечения? Глупее поступить было бы невозможно. Я совершенно бесцельно подорвал бы доверие ко мне больного и заставил бы его ждать всяких бед от каждого моего назначения. И я молча, стараясь не встретиться со взглядом жены больного, выслушал ее речи об удивительном разнообразии осложнений при тифе.

Меня пригласили к больному ребенку; он лихорадил, никаких определенных жалоб и симптомов не было, приходилось подождать выяснения болезни. Я не хотел прописать «ut aliquid fiat», я сказал матери, что следует принять такие-то гигиенические меры, а лекарств пока не нужно. У ре-

бенка развилось воспаление мозговых оболочек, он умер. И мать стала горько клясть меня в его смерти, потому что я не поспешил вовремя «перервать» его болезнь.

А как я могу держаться «честно» с неизлечимыми больными? С ними все время приходится лицемерить и лгать, приходится пускаться на самые разнообразные выдумки, чтобы вновь и вновь поддержать падающую надежду. Больной, по крайней мере до известной степени, всегда сознает эту ложь, негодует на врача и готов проклинать медицину. Как же держаться? Древнеиндийская медицина была в этом отношении пряма и жестоко искренна: она имела дело только с излечимыми больными, неизлечимый не имел права лечиться; родственники отводили его на берег Ганга, забивали ему нос и рот священным илом и бросали в реку... Больной сердится, когда врач не говорит ему правды; о, он хочет одной только правды! Вначале я был настолько наивен и молодо-прямолинеен, что, при настойчивом требовании, говорил больному правду; только постепенно я понял, что в действительности значит, когда больной хочет правды, уверяя, что не боится смерти; это значит: «если надежды нет, то лги мне так, чтоб я ни на секунду не усомнился, что ты говоришь правду».

Везде, на каждом шагу, приходится быть актером; особенно это необходимо потому, что болезнь излечивается не только лекарствами и назначениями, но и душою самого больного; его бодрая и верящая душа — громадная сила в борьбе с болезнью, и нельзя достаточно высоко оценить эту силу; меня первое время удивляло, насколько успешнее оказывается мое лечение по отношению к постоянным моим пациентам, горячо верящим в меня и посылающим за мною с другого конца города, чем по отношению к пациентам, обращающимся ко мне в первый раз; я видел в этом довольно комичную игру случая; постепенно только я убедился, что это вовсе не случайность, что мне, действительно, могучую поддержку оказывает завоеванная мною вера, удивительно поднимающая энергию больного и его окружающих. Больной страшно нуждается в этой вере и чутко ловит в голосе врача всякую ноту колебания и сомнения... И я стал привыкать держаться при больном самоуверенно, делать назначения самым докторальным и безапелляционным тоном, хотя бы в душе в это время поднимались тысячи сомнений.

— Не лучше ли, доктор, сделать то-то? — спрашивает скептический больной.

— Я вас попрошу беспрекословно исполнять, что я назначаю,— категорически заявляю я.— Только в таком случае я и могу вести лечение.

И весь мой тон говорит, что я обладаю полною истиною, сомнение в которой может быть только оскорбительным.

И веру в себя недостаточно завоевать раз; приходится все время завоевывать ее непрерывно. У больного болезнь затягивается; необходимо зорко следить за душевным состоянием его и его окружающих; как только они начинают падать духом, следует, хотя бы наружно, переменить лечение, назначить другое средство, другой прием; нужно цепляться за тысячи мелочей, напрягая всю силу фантазии, тонко считаясь с характером и степенью развития больного и его близких.

Все это так далеко от того простого исполнения предписаний медицины, в котором, как я раньше думал, и заключается все наше дело! Турецкий знахарь, ходжа, назначает больному лечение, обвешивает его амулетами и под конец дует на него; в последнем вся суть: хорошо излечивать людей способен только ходжа «с хорошим дыханием». Такое же «хорошее дыхание» требуется и от настоящего врача. Он может обладать громадным распознавательным талантом, уметь улавливать самые тонкие детали действия своих назначений,— и все это останется бесплодным, если у него нет способности покорять и подчинять себе душу больного. Есть, правда, истинно интеллигентные больные, которым не нужно полушарлатанское «хорошее дыхание», которым более дороги талант и знание, не желающие скрывать голой правды. Но такие больные так же редки среди людей, как редки среди них сами талант и знание.

XIII

Прошло много времени, прежде чем я свыкся с силами медицины и смирился перед их ограниченностью. Мне было стыдно и тоскливо смотреть в глаза больному, которому я был не в силах помочь; он, угрюмый и отчаявшийся, стоял передо мною тяжким укором той науке, которой представителем я являлся, и в душе опять и опять шевелилось проклятье этой немощной науке.

Was hab'ich,
Wenn ich nicht alles habe?
Что есть у меня,
Если у меня нет всего?

Этому я могу помочь, этому нет; а все они идут ко мне, все одинаково хотят быть здоровыми, и все одинаково вправе ждать от меня спасения. И так становятся понятными те вопли отчаянной тоски и падения веры в свое дело, которыми полны интимные письма сильнейших представителей науки. И чем кто из них сильнее, тем ярче осужден чувствовать свое бессилие.

«Из всей моей деятельности лекции — это единственное, что меня занимает и живит,— писал Боткин своему другу, д-ру Белоголовому,— остальное тянешь, как лямку, прописывая массу ни к чему не ведущих лекарств. Это не фраза и дает тебе понять, почему практическая деятельность в моей поликлинике так тяготит меня. Имея громадный материал хроников, я начинаю вырабатывать грустное убеждение о бессилии наших терапевтических средств. Редкая поликлиника пройдет мимо без горькой мысли: за что я взял с большей половины народа деньги, да заставил ее потратиться на одно из наших аптечных средств, которое, давши облегчение на 24 часа, ничего существенного не изменит? Прости меня за хандру, но нынче у меня был домашний прием, и я еще под свежим впечатлением этого бесплодного труда».

У Бильрота есть одно стихотворение; оно было послано им его другу, известному композитору Брамсу, и не предназначалось для печати. В переводе трудно передать всю силу и поэзию этого стихотворения. Вот оно:

...Ich kann's nicht mehr ertragen,
Wie mich die Menschen täglich, stündlich gualen,
Wie sie unmögliches von mir begehren!
Weil ich einwenig tiefer wohl als Andere
In der Natur geheimstes Wesen drang,
So meinen sie, ich könnte gleich den Göttern
Durch Wunder Leiden nehmen, Glück erzaubern,
Und bin doch nur ein Mensch wie Andere mehr.
Ach, wüsstet ihr, wie's in mir wallet, siedet,
Und wie mein Herz den Schlag zurücke hält,
Wenn ich statt Heilung mit unischeren Worten
Kaum Trost kann spenden den Verlorenen...
...Was soll denn aus mir werden?
Aus mir, dem viel bewunderten, hilflosen Mann? [1]

---

[1] ...Я не в силах больше выносить, как люди ежедневно, ежечасно мучают меня, как они требуют от меня невозможного! Из того, что я немного глубже других проник в сокровеннейшую суть природы, они заключают, что я, подобно богам, способен чудом избавлять от страданий, давать счастье, а я — я такой же человек.

Но перед таким своим бессилием постепенно пришлось смириться: полная неизбежность всегда несет в себе нечто примиряющее с собою. Все-таки наука дает нам много силы, и с этой силою можно сделать многое. Но с чем невозможно было примириться, что все больше подтачивало во мне удовлетворение своею деятельностью,— это то, что имеющаяся в нашем распоряжении сила на деле оказывалась совершенно призрачною.

Медицина есть наука о лечении людей. Так оно выходило по книгам, так выходило и по тому, что мы видели в университетских клиниках. Но в жизни оказывалось, что медицина есть наука о лечении одних лишь богатых и свободных людей. По отношению ко всем остальным она являлась лишь теоретическою наукою о том, как *можно было бы* вылечить их, если бы они были богаты и свободны; а то, что за отсутствием последнего приходилось им предлагать на деле, было не чем иным, как самым бесстыдным поруганием медицины.

Изредка по праздникам ко мне приходит на прием мальчишка-сапожник из соседней сапожной мастерской. Лицо его зеленовато-бледно, как заплесневелая штукатурка; он страдает головокружениями и обмороками. Мне часто случается проходить мимо мастерской, где он работает,— окна ее выходят на улицу. И в шесть часов утра и в одиннадцать часов ночи я вижу в окошко склоненную над сапогом стриженую голову Васьки, а кругом него — таких же зеленых и худых мальчиков и подмастерьев; маленькая керосиновая лампа тускло горит над их головами, из окна тянет на улицу густою, прелою вонью, от которой мутит в груди. И вот мне нужно лечить Ваську. Как его лечить? Нужно прийти, вырвать его из этого темного, вонючего угла, пустить бегать в поле, под горячее солнце, на вольный ветер, и легкие его развернутся, сердце окрепнет, кровь станет алою и горячею. Между тем даже пыльную петербургскую улицу он видит лишь тогда, когда хозяин посылает его с товаром к заказчику; даже по праздникам он не может размяться, потому что хозяин, чтобы мальчики не баловались, запирает их на весь день в мастерской... И единственное, что мне остается,—

как и другие. Ах, если бы вы знали, как все волнуется и кипит во мне, и как сердце замедляет свои удары, когда я вместо спасения едва могу в неуверенных словах предложить погибшим утешение... Что же будет со мною? Со мною, окруженным всеобщим удивлением, беспомощным человеком?

это прописывать Ваське железо и мышьяк и утешаться мыслью, что все-таки я «хоть что-нибудь» делаю для него.

Ко мне приходит прачка с экземою рук, ломовой извозчик с грыжею, прядильщик с чахоткою; я назначаю им мази, пелоты и порошки — и неверным голосом, сам стыдясь комедии, которую разыгрываю, говорю им, что главное условие для выздоровления — это то, чтобы прачка не мочила себе рук, ломовой извозчик не поднимал тяжестей, а прядильщик избегал пыльных помещений. Они в ответ вздыхают, благодарят за мази и порошки и объясняют, что дела своего бросить не могут, потому что им нужно есть.

В такие минуты меня охватывает стыд за себя и за ту науку, которой я служу, за ту мелкость и убогость, с какою она осуждена проявлять себя в жизни. В деревне ко мне однажды обратился за помощью мужик с одышкою. Все левое легкое у него оказалось сплошь пораженным крупозным воспалением. Я изумился, как мог он добрести до меня, и сказал ему, чтобы он немедленно по приходе домой лег и не вставал.

— Что ты, барин, как можно? — в свою очередь, изумился он.— Нешто не знаешь, время какое? Время страдное, горячее. Господь батюшка погодку посылает, а я — лежать! Что ты, господи помилуй! Нет, ты уж будь милостив, дай каких капелек, ослобони грудь.

— Да никакие капли не помогут, если пойдешь работать! Тут дело не шуточное,— помереть можешь!

— Ну, господь милостив, зачем помирать? Перемогусь как-нибудь. А лежать нам никак нельзя: мы от этих трех недель весь год бываем сыты.

С моею микстурою в кармане и с косою на плече он пошел на свою полосу и косил рожь до вечера, а вечером лег на межу и умер от отека легких.

Грубая, громадная и могучая жизнь непрерывно делает свою слепую, жестокую работу, а где-то далеко внизу, в ее ногах, копошится бессильная медицина, устанавливая свои гигиенические и терапевтические «нормы».

Вот — человеческий организм со всем богатством и разнообразием его органов, требующих широких и полных отправлений. И как будто жизнь задалась специальною целью посмотреть, что выйдет из этого организма, если ставить его в самые немыслимые положения и условия. Одни люди пускай все время стоят и ходят, не присаживаясь; и вот стопа их становится плоскою, ноги опухают, вены на голенях

растягиваются и обращаются в незаживающие язвы. Другие все время пускай сидят, не вставая; и спина их искривляется, печень и легкие сдавливаются, прямая кишка усеивается кровоточащими шишками. Саночники в шахтах весь день непрерывно бегают с санками по просекам на четвереньках; выдувальщики на стеклянных заводах все время работают одними легкими, обращая их в меха... Нет таких самых неестественных движений и положений, в которых бы жизнь не заставляла людей проводить все их время; нет таких ядов, которыми бы она не заставляла их дышать; нет таких жизненных условий, в которых бы она не заставляла их жить.

Сейчас только я воротился от одной больной папиросницы; она живет в углу с двумя ребятами. Низкая комната имеет семь шагов в длину и шесть в ширину. В этой комнате живет шестнадцать человек. Для меня составляет муку пробыть в ней десять — пятнадцать минут: в комнате нет воздуха, нет в буквальном смысле — лампа, как следует заправленная и пущенная, чадит и коптит, не находя кислорода; иначе, как слабо, ее пускать нельзя; тяжелый и влажный, как будто липкий воздух полон кислым запахом детских испражнений, махорки и керосина. Из всех углов на меня смотрят восковые, странно неподвижные лица ребят с кривыми зубами, куриною грудью и искривленными конечностями; в их больших глазах нет и следа той живости и веселости, которая «свойственна» детям.

Вообще, став врачом, я совершенно потерял представление о том, что, собственно, свойственно человеку. Свойственно ли уставшему человеку хотеть спать? — Нет, не свойственно! Сестра милосердия, учительница, журнальный работник, утомленные и разбитые, не могут заснуть без бромистого натра. Свойственно ли долго не евшему человеку хотеть есть?—Нет, не свойственно! Ему приходится прибегать, словно пресыщенному обжоре, к искусственному возбуждению аппетита. Меня это поразило у большинства фабричных работников и ремесленников.

— Работаешь весь день,— машина стучит, пол под тобою трясется, ходишь, как маятник. Устанешь с работы хуже собаки, а об еде и не думаешь. Все только квас бы пил, а от квасу какая сила? Живот наливаешь себе, больше ничего. Одна водочка только и спасает: выпьешь рюмочку,— ну, и есть запросишь.

Я в течение нескольких лет веду прием в одной типо-

графии, и за все это время я ни разу не видел наборщика-старика! Нет старости, нет седых волос,— съеденные свинцовою пылью, люди все сваливаются в могилу раньше.

Жизнь проделывает над человеком свои опыты и, глумясь, предъявляет на наше изучение получающиеся результаты. Мы изучаем и приобретаем очень ясное представление о том, как действует на человека хроническое отравление свинцом, ртутью, фосфором, как влияет на рост детей отсутствие света, воздуха и движения; мы узнаем, что из ста прядильщиков сорокалетний возраст у нас переходит только девять человек, что из женщин, занятых при обработке волокнистых веществ, дольше сорока лет живет только шесть процентов... Узнаем мы также, что, вследствие непомерного труда, у крестьянок на все летние месяцы совершенно прекращается свойственная женщинам физиологическая жизнь, что швеи и учащиеся девушки в несколько лет вырождаются в бескровных, больных уродов. И многое еще мы узнаем.

Но что же, чем во всем этом может помочь наша медицина? Какая цена ее жалким средствам, которыми она пытается чинить то, что так глубоко уродуется жизнью?.. Великий человек висит на кресте, его руки и ноги пробиты гвоздями, а медицина обмывает кровавые язвы арникой и кладет на них ароматные припарки.

Но ничего больше она и не в состоянии делать. Не может существовать такой науки, которая бы научила залечивать язвы с торчащими в них гвоздями; наука может только указывать на то, что человечество так не может жить, что необходимо прежде всего вырвать из язв гвозди. В двадцатых годах, по исследованиям Виллерме, у мюльгаузенских ткачих половина детей умирала, не дожив до пятнадцати месяцев. Виллерме уговорил фабриканта Дольфуса разрешить своим работницам оставаться после родов дома в течение шести недель с сохранением их содержания; и этого одного оказалось достаточным, чтобы смертность грудных детей, без всякой помощи медицины, сразу уменьшилась вдвое.

Все яснее и неопровержимее для меня становилось одно: медицина не может делать ничего иного, как только указывать на те условия, при которых единственно возможно здоровье и излечение людей; но врач,— если он врач, а не чиновник врачебного дела,— должен прежде всего бороться за устранение тех условий, которые делают его деятельность бессмысленною и бесплодною; он должен быть общественным деятелем в самом широком смысле слова, он

должен не только указывать, он должен бороться и искать путей, как провести свои указания в жизнь.

И это тем более необходимо, что время не ждет, и жизнь быстро влечет человечество в какую-то зловещую бездну. Все больше увеличивается число «неуравновешенных», «отягченных» и алкоголиков, увеличивается число слепых, глухих, заик. Лучший показатель физического состояния населения — процент годных к военной службе,— падает всюду с быстротою барометра перед грозою; в Австрии, напр., процент годных к военной службе составлял в 1870 году— 26%, в 1875 — 18%, в 1880 — 14%. Ведь это — вырождение, течение которого можно почти осязать руками! И не фантазией, а голой правдой дышит следующее грозное предсказание одного из антропологов: «Идеал гармонического и солидарного общественного строя может не осуществиться вследствие человеческого вырождения. Тогда появится централизованный феодально-промышленный строй, в котором народным массам будет отведена в несколько измененном виде роль спартанских илотов, органически приспособленных, вследствие своего вырождения, к такому положению вещей».

XIV

Но вот я представляю себе, что общественные условия в корне изменились. Каждый человек имеет возможность исполнять все предписания гигиены, каждому заболевшему мы в состоянии предоставить все, что только может потребовать врачебная наука. Будет ли, по крайней мере, тогда наша работа несомненно плодотворна и свободна от противоречий?

Уже и теперь среди антропологов и врачей все чаще раздаются голоса, указывающие на страшную однобокость медицины и на весьма сомнительную пользу ее для человечества. «Медицина, конечно, помогает неделимому, но она помогает ему лишь насчет вида...» Природа расточительна и неаккуратна; она выбрасывает на свет много существ и не слишком заботится о совершенстве каждого из них; отбирать и уничтожать все неудавшееся она предоставляет беспощадной жизни. И вот является медицина и все силы кладет на то, чтобы помешать этому делу жизни.

У роженицы узкий таз, она не может разродиться; и она сама и ребенок должны погибнуть; медицина спасает мать и ребенка, и таким образом дает возможность размножаться

людям с узким, негодным для деторождения тазом. Чем сильнее детская смертность, с которою так энергично борется медицина, тем вернее очищается поколение от всех слабых и болезненных организмов. Сифилитики, туберкулезные, психические и нервные больные, излеченные стараниями медицины, размножаются и дают хилое и нервное, вырождающееся потомство. Все эти спасенные, но слабые до самых своих недр, мешаются и скрещиваются со здоровыми и таким образом вызывают быстрое общее ухудшение расы. И чем больше будет преуспевать медицина, тем дальше будет идти это ухудшение. Дарвин перед смертью не без основания высказывал Уоллесу весьма безнадежный взгляд на будущее человечества, ввиду того что в современной цивилизации нет места естественному отбору и переживанию наиболее способных.

Этот призрак всеобщего вырождения слишком резко бросается всем в глаза, чтобы не заставлять глубоко задумываться над ним. И над ним задумываются, и для его предотвращения измышляются очень широкие реформаторские проекты: предлагают искоренить в человеческом обществе всякую «филантропию» и превратить человечество в заводскую конюшню под верховым управлением врачей-антропотехников. В кабинетах измышлять такие проекты очень нетрудно: «счастье человечества» здесь так величественно и реально, а живые неделимые, запрятанные в немые цифры, так легко поддаются сложению и вычитанию! Но ведь в жизни-то, пожалуй, ничего в конце концов и не существует, кроме сознающего себя существа, и каждое из этих существ есть центр всего и все. К чести человечества, оно все сильнее проявляет стремление ломать стены у существующих уже конюшен, а не влезать еще в новые... И тем не менее факт все-таки остается фактом: естественный отбор все больше прекращает свое действие, медицина все больше способствует этому, а взамен не дает ничего, хоть сколько-нибудь заменяющего его.

А между тем исчезновение отбора сказывается вовсе не в одних только указанных грубых результатах. Последствия этого исчезновения идут гораздо дальше и глубже.

Долгим и трудным путем выработался тип нынешнего человека, более или менее приспособленного к окружающей среде. Сама среда не остается неподвижною, с течением времени она все сильнее и быстрее изменяется в самых своих основах; но организм человека уже перестает за нею сле-

довать, и перестает как раз в смысле приобретения новых положительных качеств. В прежнее время зубы были нужны человеку для разгрызания, разрывания и пережевывания твердой, жесткой пищи, имевшей умеренную температуру. Теперь человек ест пищу мягкую, очень горячую и очень холодную; для такой пищи нужны какие-то совершенно другие зубы, прежние для нее не годятся. За это говорит то ужасающее количество гнилых зубов, которые мы находим у культурных народов. Дикие племена, стоящие вне всякой культуры, имеют сильно развитые челюсти и крепкие, здоровые зубы; у народов полуцивилизованных число людей с гнилыми зубами колеблется между 5—25%, тогда как у народов высшей культуры костоедою зубов поражено более 80%. Что это такое? Живой орган, гниющий и распадающийся у живого человека! И это не как исключение, а как правило с очень незначительными исключениями. Одно из двух: либо человек должен воротиться к прежней пище, либо выработать себе новые зубы. Но что делает медицина? Она чистит, пломбирует и всячески поддерживает наличные зубы, портящиеся потому, что они *не могут* не портиться.

Глаз раньше был нужен человеку преимущественно для смотрения вдаль и совершенно удовлетворял своему назначению. Условия изменились, к глазу предъявляется требование большей работы вблизи. Должен выработаться новый глаз, одинаково годный и для смотрения вдаль и для длительной аккомодации вблизи. Но медицина услужливо подставляет близорукому глазу очки, и, таким образом, негодный для новых условий глаз чисто внешними средствами делает годным, число близоруких увеличивается с каждым десятилетием, и остается лишь утешаться мыслью, что стекла, слава богу, хватит на очки для всех.

Положительных свойств, нужных для изменившихся условий среды, человеческий организм не приобретает; зато он обнаруживает большую склонность терять уже имеющиеся у него положительные свойства. Медицина, стремясь к своим целям, и в этом отношении грозит оказать человечеству очень плохую услугу.

В чем ставит себе медицина идеал? В том, чтобы каждую болезнь убить в организме при самом ее зарождении или, еще лучше, совсем не допустить ее до человека. Хирургия, например, настойчиво требует, чтобы каждая рана, каждый даже самый ничтожный порез немедленно подвергались

тщательному обеззараживанию. Для каждого отдельного случая это очень целесообразно, но ведь таким образом организм совершенно отучится самостоятельно бороться с заражением! Уж и для настоящего времени бесчисленными наблюдателями установлен факт, что дикари без всякого лечения легко оправляются от таких ран, от которых европейцы погибают при самом тщательном уходе.

Взять, далее, вообще заразные болезни. По отношению к тем из них, которые обычны в данной местности и данном народе, человеческий организм оказывается несравненно более стойким, чем по отношению к болезням, дотоле неведомым. Скарлатина среди дикарей сразу уносит в могилу половину населения. В Полинезии много туземцев истреблено оружием, но еще более — «белой болезнью» (чахоткою).

— Кто убил твоего отца? Кто убил твою мать?

— Белая болезнь!

Полинезийская женщина, вступающая в связь с белым, всегда падает жертвою чахотки; мало того, она заражает своих любовников из туземцев. Если австралиец проведет несколько дней в европейском городке Новой Голландии, то заражается чахоткой (Крживицкий). На европейцев, в свою очередь, так же губительно действуют малярия, желтая лихорадка, тропическая дизентерия. Что же выйдет, если каждая заразная болезнь будет медициною уничтожаться в самом зародыше? Каждая из них станет для человека совершенно чуждою и без охраны медицины будет убивать его почти наверняка.

И вот, как результат такого положения дел,— полная зависимость людей от медицины, без которой они не будут в состоянии сделать ни шагу. Недавно в одной статье о задачах медицины в будущем я встретил следующие рассуждения: «Оградить организм от той разнообразной массы ядов, которые беспрерывно в него вносятся микробами, можно бы лишь тогда, когда бы был открыт один общий антитоксин для ядов, выделяемых всеми видами микробов. При таких условиях мы могли бы ежедневно вводить в организм определенное количество противоядного начала и тем предупреждать вредное влияние ядов, ежедневно вносимых микробами. Но в настоящее время нет, к сожалению, ни малейших оснований к такого рода *розовым надеждам...*»

Но ведь это же ужасно! Каждый день, вставая, впрыскивай себе под кожу порцию универсального антитоксина; а забыл сделать это — погибай, потому что с отвыкшим от

самодеятельности организмом легко справится первая шальная бактерия.

Гигиена рекомендует не ставить в спальне кровати между окном и печкою: спящий человек будет в таком случае находиться в токе воздуха, идущем от холодных стекол окна к нагретой печке, а это может повести к простуде. Та же гигиена советует не производить зимою усиленной работы на холодном воздухе, так как при глубоких вдыханиях сильно охлаждаются легкие, что также может вызвать простуду. Но почему же не простуживается галка, спящая под холодным осенним ветром, почему не простуживается олень, бешено мчащийся по тундре при тридцати градусах мороза? Простуживавшиеся олени и галки погибали и таким образом очистили свои виды от неприспособленных особей, а мы не имеем права обрекать слабых людей в жертву отбору. Совершенно верно. Но в том-то и задача медицины, чтобы сделать этих слабых людей сильными; она же вместо того и сильных делает слабыми и стремится всех людей превратить в жалкие, беспомощные существа, ходящие у медицины на помочах.

К великому счастью, в науке начинают за последнее время намечаться новые пути, которые обещают в будущем очень много отрадного. В этом отношении особенного интереса заслуживают опыты искусственной иммунизации человека. Еще не вполне доказано, но очень вероятно, что суть ее действия заключается в упражнении и приучении сил организма к самостоятельной борьбе с врывающимися в него микробами и ядами. Если это действительно так, то мы имеем здесь дело с громадным переворотом в самых основах медицины: вместо того чтобы спешить выгнать из него уже внедрившуюся болезнь, медицина будет делать из человека борца, который сам сумеет справляться с грозящими ему опасностями. Вот, между прочим, пример, каким образом медицина без всяких жертв может вести культурного человека к тому, к чему естественный отбор приводит дикарей с громадными жертвами.

Чего нет сегодня, будет завтра; наука хранит в себе много непроявленной и ею же самою еще непознанной силы; и мы вправе ждать, что наука будущего найдет еще не один способ, которым она сумеет достигать того же, что в природе достигается естественным отбором,— но достигать путем полного согласования интересов неделимого и вида.

Насколько ей это удастся и до каких пределов,— мы не

можем предугадывать. Но задач перед этою истинною антропотехникою стоит очень много,— задач широких и трудных, может быть, неразрешимых, но тем не менее настоятельно требующих разрешения.

«Все совершенно, выходя из рук природы». Это утверждение Руссо уже давно и бесповоротно опровергнуто, между прочим, и относительно человека. Человек застигнут настоящим временем в определенной стадии своей эволюции, с массою всевозможных недостатков, недоразвитий и пережитков; он как бы выхвачен из лаборатории природы в самый разгар процесса своей формировки недоделанным и незавершенным. Так, напр., толстая кишка начинается у нас короткою «слепою кишкою»; когда-то, у наших зоологических предков, она представляла собою большой и необходимый для жизни орган, как у теперешних травоядных животных. В настоящее время этот орган нам совершенно не нужен; но он не исчез, а переродился в длинный, узкий червевидный отросток, висящий в виде придатка на слепой кишке. Он не только не нужен,— он для нас вреден: идущие в пищевой кашице семечки и косточки легко застревают в нем и вызывают тяжелое, часто смертельное для человека воспаление червевидного отростка.

Далее, органы человека и их размещение до сих пор еще не приспособились к вертикальному положению человека. Нужно себе ясно представить, как резко при таком положении должны были измениться направление и сила давления на различные органы, и тогда легко будет понять, что приспособиться к своему новому положению органам вовсе не так легко. Не перечисляя всех обусловленных этим несовершенств, укажу на одно из самых существенных: без малого половину всех женских болезней составляют различного рода смещения матки; между тем многие из этих смещений совсем не имели бы места, а происшедшие — излечивались бы значительно легче, если бы женщины ходили на четвереньках; даже в качестве временной меры предложенное Марион-Симсом «коленно-локтевое» положение женщины играет в гинекологии и акушерстве незаменимую роль; некоторые гинекологи признают открытие Марион-Симса даже «поворотным пунктом в истории гинекологии».

Переходя специально к женщине, мы видим в ее организме массу таких тяжелых физиологических противоречий и несовершенств, что ум положительно отказывается признать их за «нормальные» и законные. Ужасно и в то же

время совершенно справедливо, когда женщину определяют как «животное, по самой своей природе слабое и больное, пользующееся только светлыми промежутками здоровья на фоне непрерывной болезни». Самая здоровая женщина,— это доказано очень точными наблюдениями,— периодически несомненно больна. И невозможно на такую ненормальность смотреть иначе, как на переходную стадию к другому, более совершенному состоянию. То же самое и с материнством: женщина все больше перестает быть самкою, и в этом нет ничего «противоестественного», потому что у нее есть мозг с его могучими и широкими запросами. Между тем, не ломая всей своей природы, она не может отказываться от любви и непрерывного материнства, всасывающих в себя все силы женщины за все время их расцвета. Два требования, одинаково сильных и законных, сталкиваются, и выхода при теперешней организации нет.

Мечников указал еще на одно кричащее противоречие в человеческом организме,— именно, в области полового чувства. Ребенок еще совершенно неприспособлен для размножения, а между тем половое чувство у него настолько обособлено, что он получает возможность злоупотреблять им. У девушки рост тазовых костей, по окончании которого она становится способною к материнству, заканчивается лишь к двадцати годам, тогда как половая зрелость наступает у нее в шестнадцать лет. Что получается? Три момента, которые по самой сути своей необходимо должны совпадать,— половое стремление, половое удовлетворение и размножение,— отделяются друг от друга промежутками в несколько лет. Девочка способна десяти лет стремиться стать женою, стать женою она способна только в шестнадцать лет, а стать матерью — не раньше двадцати!

«Замечательно также,— говорит Мечников,— что такие извращения природных инстинктов, как самоубийство, детоубийство и т. п.,— т. е. именно так называемые «неестественные» действия,— составляют одну из самых характерных особенностей человека. Не указывает ли это на то, что эти действия сами входят в состав нашей природы и потому заслуживают очень серьезного внимания? Можно утверждать, что вид Homo sapiens * принадлежит к числу видов, еще не вполне установившихся и неполно приспособленных к условиям существования».

---

* Человек как разумное существо *(лат.)*.— *Ред.*

Особенно ярко эта неприспособленность человека к условиям существования сказывается в несоразмерной слабости его нервной системы. Человек в этом отношении страшно отстал от жизни. Жизнь требует от него все большей нервной энергии, все больше умственных затрат; нервы его неспособны на такую интенсивную работу, и вот человек прибегает к возбудителям, чтоб искусственно поднять свою нервную энергию. Моралисты могут за это стыдить человечество, медицина может указывать на «противоестественность» введения в организм таких ядов, как никотин, теин, алкоголь и т. п. Но противоестественность — понятие растяжимое. Сами по себе многие из возбудителей,— как табак, водка, пиво,— на вкус отвратительны, действие их на непривычного человека ужасно; почему же каждый из этих возбудителей так быстро и победно распространяется из своей родины по всему миру и так легко побеждает «естественную» природу человека? Противоестественна организация человека, отставшая от изменившихся жизненных условий, противоестественно то, что человек принужден на стороне черпать силу, источник которой он должен бы носить в самом себе.

Так или иначе, раньше или позже, но человеческому организму необходимо установиться и выработать нормальное соотношение между своими стремлениями и отправлениями. Это не может не стать высшею и насущнейшею задачею науки, потому что в этом — коренное условие человеческого счастья. Должен же когда-нибудь кончиться этот вечный надсад, эта вечная ломка себя во всех направлениях; должно же человечество зажить наконец вольно, всею широтою своих потребностей, потеряв самое представление о возможности такой нелепости, как «противоестественная потребность».

XV

Человеческий организм должен, наконец, установиться и вполне приспособиться к условиям существования. Но в каком направлении пойдет само это приспособление? Ястреб, с головокружительной высоты различающий глазом приникшего к земле жаворонка, приспособлен к условиям существования; но приспособлен к ним и роющийся в земле слепой крот. К чему же предстоит приспособляться человеку,— к свободе ястреба или к рабству крота? Предстоит ли ему

улучшать и совершенствовать имеющиеся у него свойства или терять их?

Силою своего разума человек все больше сбрасывает с себя иго внешней природы, становится все более независимым от нее и все более сильным в борьбе с нею. Он спасается от холода посредством одежды и жилища, тяжелую пищу, доставляемую природою, превращает в легко усвояемую, свои собственные мышцы заменяет крепкими мышцами животных, могучими силами пара и электричества. Культура быстро улучшает и совершенствует нашу жизнь и дает нам такие условия существования, о которых под властью природы нельзя было и мечтать. Та же культура в самом своем развитии несет залог того, что ее удобства, доступные теперь лишь счастливцам, в недалеком будущем станут достоянием всех.

Господству внешней природы над человеком приходит конец... Но так ли уж беззаветно можно этому радоваться? Культура подхватила нас на свои мягкие волны и несет вперед, не давая оглядываться по сторонам; мы отдаемся этим волнам и не замечаем, как теряем в них одно за другим все имеющиеся у нас богатства; мы не только не замечаем,— мы не хотим этого замечать: все наше внимание устремлено исключительно на наше самое ценное богатство,— разум, влекущий нас вперед, в светлое царство культуры. Но, когда подведешь итог тому, что нами уже потеряно и что мы с таким легким сердцем собираемся утерять, становится жутко, и в далеком светлом царстве начинает мерещиться темный призрак нового рабства человека.

Измерения проф. Грубера показали, что длина кишечного канала у европейцев значительно увеличивается по направлению с юго-запада на северо-восток. Наибольшая длина кишечника встречается в Северной Германии и особенно в России. Это объясняется тем, что северо-восточные европейцы питаются менее удобоваримою пищею, чем юго-западные. Такого рода наблюдения дают физиологам повод «к розовым надеждам» о постепенном телесном перерождении и «совершенствовании» человека под влиянием рационального питания. Питаясь в течение многих поколений такими концентрированными химическими составами, которые бы переходили в кровь полностью и без предварительной обработки пищеварительными жидкостями, человеческий организм мог бы освободиться в значительной степени от излишней ноши пищеварительных органов, причем сбе-

режения в строительном материале и в материале на поддержание их жизнедеятельности могли бы идти на усиление более благородных высших органов (Сеченов).

Ради этих же «благородных высших органов» ставится идеалом человеческой организации вообще сведение до нуля всего растительного аппарата человеческого тела. Спенсер идет еще дальше и приветствует исчезновение у культурных людей таких присущих дикарям свойств, как тонкость внешних чувств, живость наблюдения, искусное употребление оружия и т. п. «В силу общего антагонизма между деятельностями более простых и более сложных способностей следует,— уверяет он,— что это преобладание низшей умственной жизни мешает высшей умственной жизни. Чем более душевной энергии тратится на беспокойное и многочисленное восприятие, тем менее остается на спокойную и рассудительную мысль».

Культурная жизнь успешно и энергично идет навстречу подобным идеалам. Орган обоняния принял у нас уж совершенно зачаточный вид; сильно ослабела способность кожных нервов реагировать на температурные колебания и регулировать теплообразование организма. Атрофируется железистая ткань женской груди; замечается значительное падение половой силы; кости становятся более тонкими, первое и два последних ребра выказывают наклонность к исчезновению; зуб мудрости превратился в зачаточный орган и у 42% европейцев совсем отсутствует; предсказывают, что после исчезновения зубов мудрости за ними последуют смежные с ними четвертые коренные зубы; кишечник укорачивается, число плешивых увеличивается...

Когда я читаю о дикарях, об их выносливости, о тонкости их внешних чувств, меня охватывает тяжелая зависть, и я не могу примириться с мыслью,— неужели, действительно, необходимо и неизбежно было потерять нам все это? Гвианец скажет, сколько мужчин, женщин и детей прошло там, где европеец может видеть только слабые и перепутанные следы на тропинке. Когда к таитянам приехал натуралист Коммерсон со своим слугою, таитяне повели носами, обнюхали слугу и объявили, что он — не мужчина, а женщина; это, действительно, была возлюбленная Коммерсона, Жанна Барэ, сопровождавшая его в кругосветном плавании в костюме слуги-мужчины. Бушмен в течение нескольких дней способен ничего не есть; он способен, с другой стороны, находить себе пищу там, где европеец умер бы с голоду. Бе-

дуин в пустыне подкрепляет свои силы в течение дня двумя глотками воды и двумя горстями жареной муки с молоком. В то время когда другие дрожат от холода, араб спит босой в открытой палатке, а в полуденный зной он спокойно дремлет на раскаленном песке под лучами солнца. На Огненной Земле Дарвин видел с корабля женщину, кормившую грудью ребенка; она подошла к судну и оставалась на месте единственно из любопытства, а между тем мокрый снег, падая, таял на ее голой груди и на теле ее голого малютки. На той же Огненной Земле Дарвин и его спутники, хорошо укутанные, жались к пылавшему костру и все-таки зябли, а голые дикари, сидя поодаль от костра, обливались потом. Якуты за свою выносливость к холоду прозваны «железными людьми»; дети эскимосов и чукчей выходят нагие из теплой избы на 30-градусный мороз...

Ведь для нас все эти люди — существа совершенно другой планеты, с которыми у нас нет ничего общего, даже в самом понятии о здоровье. Наш культурный человек пройдет босиком по росистой траве — и простудится, проспит ночь на голой земле — и калека на всю жизнь, пройдет пешком пятнадцать верст — и получит синовит. И при всем этом мы считаем себя здоровыми! Под перчатками скоро и руки станут у нас столь же чувствительными к холоду, как ноги, и «промочить руки» будет значить то же, что теперь — «промочить ноги».

И бог весть, что еще ждет нас в будущем, какие дары и удобства готовит нам растущая культура! Как «нерациональною» будет для нас обыкновенная пища, так «нерациональным» станет обыкновенный воздух: он будет слишком редок и грязен для наших маленьких, нежных легких; и человек будет носить при себе аппарат с сгущенным чистым кислородом и дышать им через трубочку; а испортился вдруг аппарат, и человек на вольном воздухе будет, как рыба, погибать от задушения. Глаз человека благодаря усовершенствованным стеклам будет различать комара за десять верст, будет видеть сквозь стены и землю, а сам превратится, подобно обонятельной части теперешнего носа, в зачаточный, воспаленный орган, который ежедневно нужно будет спринцевать, чистить и промывать. Мы и в настоящее время живем в непрерывном опьянении; со временем вино, табак, чай окажутся слишком слабыми возбудителями, и человечество перейдет к новым, более сильным ядам. Оплодотворение будет производиться искусственным путем, оно

будет слишком тяжело для человека, а любовное чувство будет удовлетворяться сладострастными объятиями и раздражениями без всякой «грязи», как это рисует Гюисманс в «Là-bas» *. А может быть, дело пойдет и еще дальше. Проф. Эйленбург цитирует одного из новейших немецких писателей, Германа Бара, мечтающего о «внеполовом сладострастии» и о «замене низких эротических органов более утонченными нервами». По мнению Бара, двадцатому веку предстоит сделать «великое открытие третьего пола между мужчиной и женщиной, не нуждающегося более в мужских и женских инструментах, так как этот пол соединяет в своем мозгу (!) все способности разрозненных полов и после долгого искуса *научился замещать действительное кажущимся».*

Вот он, этот идеальный мозг, освободившийся от всех растительных и животных функций организма! Уэльс в своем знаменитом романе «Борьба миров» слишком бледными красками нарисовал образ марсианина. В действительности он гораздо могучее, беспомощнее и отвратительнее, чем в изображении Уэльса.

Наука не может не видеть, как регрессирует с культурою великолепный образ человека, создавшийся путем такого долгого и трудного развития. Но она утешается мыслью, что иначе человек не мог бы развить до надлежащей высоты своего разума. Спенсер, как мы видели, даже доволен тем, что этот разум становится полуслепым, полуглухим и лишается возможности развлекаться «беспокойными восприятиями». А вот что говорит известный сравнительно-анатом Видерсгейм: «Развив свой мозг, человек совершенно возместил потерю большого и длинного ряда выгодных приспособлений своего организма. Они должны были быть принесены в жертву, чтоб мозг мог успешно развиться и превратить человека в то, что он есть теперь,— в Homo sapiens».

Но ведь это еще нужно доказать! Нужно доказать, что указанные жертвы мозгу действительно должны были приноситься и, главное, должны приноситься и впредь. Если до сих пор мозг развивался, поедая тело, то это еще не значит, что иначе он и не может развиваться.

К тем потерям, с которыми мы уже свыклись, мы относимся с большим равнодушием: что же из того, что мы в

---

* «Там внизу» *(франц.).— Ред.*

состоянии есть лишь удобоваримую, мягкую пищу, что мы кутаем свои нежные и зябкие тела в одежды, боимся простуды, носим очки, чистим зубы и полощем рот от дурного запаха? Кишечный канал человека длиннее его тела в шесть раз; что же было бы хорошего, если бы он, как у овцы был длиннее тела в двадцать восемь раз, чтоб у человека, как у жвачных, вместо одного желудка, было четыре? В конце концов, «der Mensch ist, was er isst,— человек есть то, что он ест». И нет для человека ничего радостного превратиться в вялое жвачное животное, вся энергия которого уходит на переваривание пищи. Если человек скинет с себя одежды, организму также придется тратить громадные запасы своей энергии на усиленное теплообразование, и совсем нет оснований завидовать какой-нибудь ледниковой блохе, живущей и размножающейся на льду.

Против этого возражать нечего. Конечно, вовсе не желательно, чтоб человек превратился в жвачное животное или ледниковую блоху. Но неужели отсюда следует, что он должен превратиться в живой препарат мозга, способный существовать только в герметически закупоренной склянке? Культурный человек равнодушно нацепляет себе на нос очки, теряет мускулы и отказывается от всякой «тяжелой» пищи; но не ужасает ли и его перспектива ходить всюду с флаконом сгущенного кислорода, кутать в комнатах руки и лицо, вставлять в нос обонятельные пластинки и в уши — слуховые трубки?

Все дело лишь в одном: принимая выгоды культуры: нельзя разрывать самой тесной связи с природой; развивая в своем организме новые положительные свойства, даваемые нам условиями культурного существования, необходимо в то же время сохранить наши старые положительные свойства; они добыты слишком тяжелою ценою, а утерять их слишком легко. Пусть все больше развивается мозг, но пусть же при этом у нас будут крепкие мышцы, изощренные органы чувств, ловкое и закаленное тело, дающее возможность действительно жить с природою одною жизнью, а не только отдыхать на ее лоне в качестве изнеженного дачника. Лишь широкая и разносторонняя жизнь тела во всем разнообразии его отправлений, во всем разнообразии восприятий, доставляемых им мозгу, сможет дать широкую и энергичную жизнь и самому мозгу.

«Тело есть *великий разум, это* — множественность, объединенная одним сознанием. Лишь орудием твоего тела яв-

ляется и *малый твой разум, твой «ум»*, как ты его называешь, о, брат мой,— он лишь простое орудие, лишь игрушка твоего великого разума».

Так говорил Заратустра, обращаясь к «презирающим тело...». Чем больше знакомишься с душою человека, именуемого «интеллигентом», тем менее привлекательным и удовлетворяющим является этот малый разум, отрекшийся от своего великого разума.

А между тем несомненно, что ходом общественного развития этот последний все больше обрекается на уничтожение, и, по крайней мере в близком будущем, не предвидится условий для его процветания. Носителем и залогом общественного освобождения человека является крупный город; реальные основания имеют за собою единственно лишь мечтания о будущем в духе Беллами. Будущее же это, такое радостное в общественном отношении, в отношении жизни самого организма безнадежно-мрачно и скудно: ненужность физического труда, телесное рабство, жир вместо мускулов, жизнь ненаблюдательная и близорукая — без природы, без широкого горизонта...

Медицина может самым настойчивым образом указывать человеку на необходимость всестороннего физического развития,— все ее требования будут по отношению к взрослым людям разбиваться об условия жизни, как они разбиваются и теперь по отношению к интеллигенции. Чтоб развиваться физически, взрослый человек должен физически *работать*, а не «упражняться». С целью поддержки здоровья можно три минуты в день убить на чистку зубов, но неодолимо-скучно и противно несколько часов употреблять на бессмысленные и бесплодные физические упражнения. В их бессмысленности лежит главная причина телесной дряблости интеллигента, а вовсе не в том, что он не понимает пользы физического развития; в этом я убеждаюсь на самом себе.

В отношении физического развития я рос в исключительно благоприятных условиях. До самого окончания университета я каждое лето жил в деревне жизнью простого работника,— пахал, косил, возил снопы, рубил лес с утра до вечера. И мне хорошо знакомо счастье бодрой, крепкой усталости во всех мускулах, презрение ко всяким простудам, волчий аппетит и крепкий сон. Когда мне теперь удается вырваться в деревню, я снова берусь за косу и топор и возвращаюсь в Петербург с мозолистыми руками и обновленным телом, с жадною, радостною любовью к жизни. Не тео-

ретически, а всем существом своим я сознаю необходимость для духа энергичной жизни тела, и отсутствие последней действует на меня с мучительностью, почти смешною.

И все-таки в городе я живу жизнью чистого интеллигента, работая только мозгом. Первое время я пытаюсь против этого бороться,— упражняюсь гирями, делаю гимнастику, совершаю пешие прогулки; но терпения хватает очень ненадолго, до того все это бессмысленно и скучно... И если в будущем физический труд будет находить себе применение только в спорте, лаун-теннисе, гимнастике и т. п., то перед скукою такого «труда» окажутся бессильными все увещания медицины и все понимание самих людей.

И вот жизнь говорит: «ты, крепкий человек с сильными мышцами, зорким глазом и чутким ухом, выносливый, сам от себя во всем зависящий,— ты мне не нужен и обречен на уничтожение...»

Но что радостного несет с собою идущий ему на смену человек?

XVI

Однажды в деревне ко мне пришла крестьянская баба с просьбой навестить ее больную дочь. При входе в избу меня поразил стоявший в ней кислый, невыразимо противный запах, какой бывает в оврагах, куда забрасывают дохлых собак. На низких «хорах» лежала под полушубком больная,— семнадцатилетняя девушка с изнуренным, бледным лицом.

— Что болит у вас? — спросил я.

Она молча и испуганно взглянула на меня и покраснела.

— Батюшка доктор, болезнь-то у нее такая,— совестно девке показать,— жалостливо произнесла старуха.

— Ну, пустяки какие! Что вы, чего же доктора стыдиться? Покажите.

Я подошел к девушке. Лицо ее вдруг стало деревянно-покорным, и с этого лица на меня неподвижно смотрели тусклые, растерянные глаза.

— Повернись, Танюша, покажи! — увещевающе говорила старуха, снимая с больной полушубок.— Посмотрит доктор,— бог даст, поможет тебе, здорова будешь...

С теми же тупыми глазами, с сосредоточенною, испуганною покорностью девушка повернулась на бок и подняла грубую холщовую рубашку, не сгибавшуюся, как лубок, от засохшего гноя. У меня замутилось в глазах от нестерпимой

вони и от того, что я увидел. Все левое бедро, от пояса до колена, представляло одну громадную, сине-багровую опухоль, изъеденную язвами и нарывами величиною с кулак, покрытую разлагающимся, вонючим гноем.

— Отчего вы раньше ко мне не обратились? Ведь я здесь уже полтора месяца! — воскликнул я.

— Батюшка-доктор, все соромилась девка,— вздохнула старуха.— Месяц целый хворает,— думала, бог даст, пройдет: сначала вот какой всего желвачок был... Говорила я ей: «Танюша, вон у нас доктор теперь живет, все за него бога молят, за помощь его,— сходи к нему». «Мне,— говорит,— мама, стыдно...» Известно, девичье дело, глупое... Вот и долежалась!

Я пошел домой за инструментами и перевязочным материалом... Боже мой, какая нелепость! Целый месяц в двух шагах от нее была помощь,— и какое-то дикое, уродливое чувство загородило ей эту помощь, и только теперь она решилась перешагнуть через преграду,— теперь, когда, может быть, уж слишком поздно...

И таких случаев приходится встречать очень много. Сколько болезней из-за этого стыда запускают женщины, сколько препятствий он ставит врачу при постановке диагноза и при лечении!.. Но сколько и душевных страданий переносит женщина, когда ей приходится переступать через этот стыд! Передо мною и теперь, как живое, стоит растерянное, вдруг отупевшее лицо этой девушки с напряженно-покорными глазами; много ей пришлось выстрадать, чтоб, наконец, решиться переломить себя и обратиться ко мне.

К часто повторяющимся впечатлениям привыкаешь. Тем не менее, когда, с легкой краской на лице и неуловимым трепетом всего тела, передо мною раздевается больная, у меня иногда мелькает мысль: имею ли я представление о том, что теперь творится у нее в душе?

В «Анне Карениной» есть одна тяжелая сцена. «Знаменитый доктор,— рассказывает Толстой,— не старый, еще весьма красивый мужчина, потребовал осмотра больной Кити. Он с особенным удовольствием, казалось, настаивал на том, что девичья стыдливость есть только остаток варварства и что нет ничего естественнее, как то, чтоб еще не старый мужчина ощупывал молодую обнаженную девушку. Надо было покориться... После внимательного осмотра и постукивания растерянной и ошеломленной от стыда боль-

ной, знаменитый доктор старательно вымыв свои руки, стоял в гостиной и говорил с князем... Мать вошла в гостиную к Кити. Исхудавшая и румяная, с особым блеском в глазах, вследствие перенесенного стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вошел, она вспыхнула, и глаза ее наполнились слезами».

Постепенно у больных вырабатывается к таким исследованиям привычка; но она вырабатывается лишь путем тяжелой ломки с детства создавшегося душевного строя. Не для всех эта ломка проходит безнаказанно. Однажды, я помню, мне стало прямо жутко от той страшной опустошенности, какую подобная ломка может вызвать в женской душе. Я тогда был еще студентом и ехал на холеру в Екатеринославскую губернию. В Харькове в десять часов вечера в наш вагон села молодая дама; у нее было милое и хорошее лицо с ясными, немножко наивными глазами. Мы разговорились. Узнав, что я — студент-медик, она сообщила мне, что ездила в Харьков лечиться, и стала рассказывать о своей болезни; она уже четыре года страдает дисменорреей и лечится у разных профессоров; один из них определил у нее искривление матки, другой — сужение шейки; месяц назад ей делали разрез шейки. Глядя на меня в полумраке вагона своими ясными, спокойными глазами, она рассказывала мне о симптомах своей болезни, об ее начале; она посвятила меня во все самые сокровенные стороны своей половой и брачной жизни, не было *ничего*, перед чем бы она остановилась; и все это без всякой нужды, без всякой цели, даже без моих расспросов! Я слушал, пораженный: сколько ей пришлось перенести отвратительных манипуляций и расспросов, как долго и систематически она должна была выставлять на растоптание свою стыдливость, чтобы стать способною к такому бесцельному обнажению себя перед первым встречным!

А между тем, носи у женщины сама стыдливость другой характер,— и не было бы этой дикой ломки и вызванной ею опустошенности. В Петербурге я был однажды приглашен к заболевшей курсистке. Все симптомы говорили за брюшной тиф; селезенку еще можно было прощупать сквозь рубашку, но, чтоб увидеть розеолы, необходимо было обнажить живот. Я на мгновение замялся,— мне до сих пор тяжело и неловко предъявлять такие требования.

— Нужно поднять рубашку? — просто спросила девушка, догадавшись, чего мне нужно.

Она подняла. И все это мучительное стыдное, тяжелое вышло так просто и легко! И так мне стала симпатична эта девушка с серьезным лицом и умными, спокойными глазами. Я видел, что для нее в происшедшем не было обиды и муки, потому что тут была настоящая культурность. Да, она так просто и легко обнажилась передо мною,— но, встретившись случайно в вагоне, наверное, ничего не стала бы рассказывать, подобно *той*...

Что для человека стыдно, что не стыдно?

Существуют племена, которые стыдятся *одеваться*. Когда миссионеры раздавали платки индейцам Ориноко, предлагая им покрывать тело, женщины бросали или прятали платок, говоря: «Мы не покрываемся, потому что нам стыдно». В Бразилии Уоллес нашел в одной избушке совершенно обнаженных женщин, ни мало не смущавшихся этим обстоятельством; а между тем у одной из них была «сая», т. е. род юбки, которую она иногда надевала; и тогда, по словам Уоллеса, она смущалась почти так же, как цивилизованная женщина, которую мы застали бы без юбки.

Что стыдно? Мы судим с своей точки зрения, на которую поставлены сложным действием самых разнообразных, совершенно случайных причин. Те люди, которые стыдливее нас, и те, которые менее стыдливы, одинаково возбуждают в нас снисходительную улыбку сожаления к их «некультурности». Восточная женщина стыдится открыть перед мужчиною лицо; русская баба считает позорным явиться на людях простоволосою; гоголевские дамы находили неприличным говорить: «я высморкалась», а говорили: «я облегчила себе нос, я обошлась посредством носового платка». Нам все это смешно, и мы искренне недоумеваем, что же стыдного в обнаженных волосах и лице, что неприличного сказать: «я высморкалась». Но почему же нам не смешна женщина, стыдящаяся обнажить перед мужчиною колено или живот, почему на балу самая скромная девушка не считает стыдным явиться с обнаженною верхнею половиною груди, а та, которая обнажит всю грудь до пояса,— цинична? Почему нас не коробит мужчина, не прикрывающий перед женщиной бороды и усов,— несомненно вторично-полового признака мужчины. Сказать: «я высморкалась» — не стыдно, а упоминать о других физиологических отправлениях, столь же, правда, неэстетичных, но и не менее естественных,— невозможно. И вот люди в обществе лиц другого пола подвергают себя мукам, нередко даже опасности серьезного забо-

левания, но не решаются показать и вида, что им нужно сделать то, без чего, как всякий знает, человеку обойтись невозможно.

Все наше воспитание направлено к тому, чтоб сделать для нас наше тело позорным и постыдным; на целый ряд самых законных отправлений организма, предуказанных природою, мы приучены смотреть не иначе, как со стыдом; obscoenum est dicere, facere non obscoenum (говорить позорно, делать не позорно),— характеризует эти отправления Цицерон. Почти с первых проблесков сознания ребенок уже начинает получать настойчивые указания на то, что он должен стыдиться таких-то отправлений и таких-то частей своего тела; чистая натура ребенка долго не может взять в толк этих указаний; но усилия воспитателей не ослабевают, и ребенок, наконец, начинает проникаться сознанием постыдности жизни своего тела. Дальше — больше. Приходит время, и подрастающий человек узнает о тайне своего происхождения; для него эта тайна, благодаря предшествовавшему воспитанию, является сплошной грязью, ужасной по своей неожиданности и мерзости. В одних мысль о законности такого невероятного бесстыдства вызывает сладострастие, какое при иных условиях было бы совершенно невозможно; в других мысль эта вызывает отчаяние. Рыдания девушки, в ужасе останавливающейся перед грязью жизни и дающей клятвы никогда не выходить замуж, ее опошленная, и опозоренная любовь,— это драма тяжелая и серьезная, но в то же время поражающая своей противоестественностью. А между тем как не быть этой драме? Руссо требовал, чтобы родители и воспитатели сами объясняли детям все, а не предоставляли делать это грязным языкам прислуги и товарищей. Разницы тут нет никакой: воспитание ребенка ведется так, что не может он, как «чисто» ни излагай ему дела. не увидеть в нем ужасной и бесстыдной грязи.

Вот это вовсе еще не значит, что и сама стыдливость есть, действительно. лишь остаток варварства, как утверждает толстовский «знаменитый доктор». Стыдливость, как оберегание своей интимной жизни от посторонних глаз, как чувство, делающее для человека невозможным, подобно животному, отдаваться первому встречному самцу или самке, есть не остаток варварства, а ценное приобретение культуры. Но такая стыдливость ни в коем случае не исключает серьезного и нестыдящегося отношения к человеческому

телу и его жизни. У Бурже в его «Profils perdus» * есть один замечательный очерк, в котором он выводит интеллигентную русскую девушку; пошловатый любитель «науки страсти нежной» стоит перед этой девушкой в полном недоумении: она свободно и не стесняясь говорит с ним «в терминах научного материализма» о зачатии, о материнстве,— «и в то же время ни одни мужские губы не касались даже ее руки!..»

Стыдливость, строгая и целомудренная, не исключает даже наготы. Бюффон говорит: «Мы не настолько развращены и не настолько невинны, чтобы ходить нагими». Так ли это? Дикари развращены не более нас, сказки об их невинности давно уже опровергнуты, между тем многие из них ходят нагими, и эта нагота их не развращает, они просто *привыкли* к ней. Мало того, есть, как мы видели, племена, которые стыдятся одеваться. Как обычай прикрывать свое тело одеждою может идти рядом с самой глубокою развращенностью, так и привычная нагота соединима с самым строгим целомудрием. Обитательницы Огненной Земли ходят нагими и нисколько не стесняются этого; между тем, замечая на себе страстные взгляды приезжих европейских матросов, они краснели и спешили спрятаться; может быть, совсем так же покраснела бы одетая европейская женщина, поймав на себе взгляд бразилианца или индейца Ориноко.

Все дело в привычке. Если бы считалось стыдным обнажать исключительно лишь мизинец руки, то обнажение именно этого мизинца и действовало бы сильнее всего на лиц другого пола. У нас тщательно скрывается под одеждой почти все тело. И вот благородное, чистое и прекрасное человеческое тело обращено в приманку для совершенно определенных целей; запретное, недоступное глазу человека другого пола, оно открывается перед ним только в специальные моменты, усиливая сладострастие этих моментов и придавая ему остроту, и именно для сладострастников-то привычная нагота и была бы большим ударом [1]. Мы можем без всякого специального чувства любоваться одетою кра-

---

[1] На «классической вальпургиевой ночи» Мефистофель чувствует себя совершенно чужим. «Почти все годы,— недовольно ворчит он,— только кое-где видны одежды... В душе, конечно, и мы не прочь от бесстыдства, но античное я нахожу чересчур живым...» В паралипоменах к «Фаусту» Мефистофель выражается еще откровеннее:

* «Неясные силуэты» *(франц.)*.— Ред.

савицею; но к живому нагому женскому телу, не уступай оно в красоте самой Венеры Милосской, мы нашим воспитанием лишены способности относиться чисто.

Мы стыдимся и не уважаем своего тела, поэтому мы и не заботимся о нем; вся забота обращена на его украшение, хотя бы ценою полного его изуродования.

Бесполезно гадать, где и на чем установятся в будущем пределы стыдливости; но в одном нельзя сомневаться,— что люди все с большей серьезностью и уважением станут относиться к природе и ее законам, а вместе с этим перестанут краснеть за то, что у них есть тело и что это тело живет по законам, указанным природою.

Но это когда-то еще будет. В настоящее время медицина, имея дело с женщиною, должна чутко ведаться с ее душою. Врачебное образование до последнего времени составляло монополию мужчин, и женщине с самою интимною болезнью приходилось обращаться за помощью к ним. Кто учтет, сколько при этом было пережито тяжелой душевной ломки, сколько женщин погибло, не решаясь раскрыть перед мужчиною своих болезней? Нам, мужчинам, ничего подобного не приходится переносить, да мы в этом отношении и менее щепетильны. Но вот, например, в 1883 году в опочецкое земское собрание двое гласных внесли предложение, чтобы должности земских врачей не замещались врачами-женщинами: «больные мужчины,—заявили они,— стыдятся лечиться от сифилиса у женщин-врачей». Это нам вполне понятно: никто из нас не захочет обратиться к женщине-врачу со сколько-нибудь щекотливою болезнью. Ну, а женщины,— решились ли бы утверждать опочецкие гласные, что они не стыдятся лечиться от сифилиса у врачей-мужчин? Это было бы грубой неправдой. Отчеты земских врачей полны указаниями на то, как неохотно, по этой причине, прибегают к врачебной помощи крестьянские женщины и особенно девушки.

В настоящее время врачебное образование, к счастью, стало доступно и женщине: это — громадное благо для всех

Was hat man an den nackten Heiden?
Ich liebe mir was auszukleiden,
Wenn man doch einmal lieben soll *.

Тонкий сладострастник Мопассан с особенною любовью останавливается обыкновенно именно на процессах раздевания.

* Что проку в голом дикаре? Когда мне приходится любить, я предпочитаю лишь кое-что снимать с себя (*нем.*).— *Ред.*

женщин,— для всех равно, а не только для мусульманских, на что любят указывать защитники женского врачебного образования. Это громадное благо и для самой науки: только женщине удастся понять и познать темную, страшно сложную жизнь женского организма во всей ее физической и психической целости; для мужчины это познание всегда будет отрывочным и неполным.

XVII

Года через полтора после моего приезда в Петербург меня позвал к себе на дом к больному ребенку один железнодорожный машинист. Он занимал комнату в пятом этаже, по грязной и вонючей лестнице. У его трехлетнего мальчика оказался нарыв миндалины; ребенок был рахитический, худенький и бледный; он бился и зажимал зубами ручку ложки, так что мне с трудом удалось осмотреть его зев. Я назначил лечение. Отец,— высокий, с косматой рыжей бородою,— протянул мне при уходе деньги; комната была жалкая и бедная, ребят куча; я отказался. Он почтительно и с благодарностью проводил меня.

Следующие два дня ребенок продолжал лихорадить, опухоль зева увеличилась, дыхание стало затрудненным. Я сообщил родителям, в чем дело, и предложил прорезать нарыв.

— Это как же, во рту, внутри резать? — спросила мать, высоко подняв брови.

Я объяснил, что операция эта совершенно безопасна.

— Ну, нет! У меня на это согласия нету! — быстро и решительно ответила мать.

Все мои убеждения и разъяснения остались тщетными.

— Я так думаю, что божья на это воля,— сказал отец.— Не захочет господь, так и прорезать не стоит,— все равно помрет. Где ж ему такому слабому перенесть операцию?

Я стал спринцевать ребенку горло.

— Сам уж теперь рот раскрывает,— грустно произнес отец.

— Нарыв, вероятно, сегодня прорвется,— сказал я.— Следите, чтобы ребенок во сне не захлебнулся гноем. Если плохо будет, пошлите за мною.

Я вышел в кухню. Отец стремительно бросился подать мне пальто.

— Уж не знаю, господин доктор, как вас и благодарить,— проговорил он.— Прямо, можно сказать, навеки нас обязываете.

Назавтра прихожу, звонюсь. Мне отворила мать,— заплаканная, бледная; она злыми глазами оглядела меня и молча отошла к плите.

— Ну, что ваш сынок? — спросил я.

Она не ответила, даже не обернулась.

— Помирает,— сдержанно произнесла из угла какая-то старуха.

Я разделся и вошел в комнату. Отец сидел на кровати; на коленях его лежал бледный мальчик.

— Что больной? — спросил я.

Отец окинул меня холодным, безучастным взглядом.

— Уж не знаю, как и до утра дожил,— неохотно ответил он.— К обеду помрет.

Я взял ребенка за руку и пощупал пульс.

— Всю ночь материя шла через нос и рот,— продолжал отец.— Иной раз совсем захлебнется,— посинеет и закатит глаза: жена заплачет, начнет его трясти,— он на время и отойдет.

— Поднесите его к окну, посмотреть горло,— сказал я.

— Что его еще мучить! — сердито проговорила вошедшая мать.— Уж оставьте его в покое!

— Как вам не стыдно! — прикрикнул я на нее.— Чуть немножко хуже стало,— и руки уж опустили: помирай, дескать! Да ему вовсе и не так уж плохо.

Опухоль зева значительно опала, но мальчик был сильно истощен и слаб. Я сказал родителям, что все идет очень хорошо, и мальчик теперь быстро оправится.

— Дай бог! — скептически улыбнулся отец.— А я так думаю, что вы его завтра и в живых уж не увидите.

Я прописал рецепт, объяснил, как давать лекарство, и встал.

— До свидания!

Отец еле удостоил меня ответом. Никто не поднялся меня проводить.

Я вышел возмущенный. Горе их было, разумеется, вполне законно и понятно: но чем заслужил я такое отношение к себе? Они видели, как я был к ним внимателен,— и хоть бы искра благодарности! Когда-то в мечтах я наивно представлял себе подобные случаи в таком виде: больной умирает, но близкие видят, как горячо и бескорыстно относил-

ся я к нему, и провожают меня с любовью и признательностью.

— Не хотят, и не нужно! Больше не пойду к ним! — решил я.

Назавтра мне пришлось употребить все усилия воли, чтобы заставить себя пойти. Звонясь, я дрожал от негодования, готовясь встретить эту бессмысленную, незаслуженную мною ненависть со стороны людей, для которых я делал все, что мог.

Мне открыла мать, розовая, счастливая; мгновение поколебавшись, она вдруг схватила мою руку и крепко пожала ее. И меня удивило, какое у нее было хорошенькое, милое лицо, раньше я этого совсем не заметил. Ребенок чувствовал себя прекрасно, был весел и просил есть... Я ушел, сопровождаемый горячими благодарностями отца и матери.

Этот случай в первый раз дал мне понять, что если от тебя ждут спасения близкого человека и ты этого не сделал, то не будет тебе прощения, как бы ты ни хотел и как бы ни старался спасти его.

Я лечил от дифтерита одну молодую купчиху, по фамилии Старикову. Муж ее, полный и румяный купчик, с добродушным лицом и рыжеватыми усиками, сам приезжал за мною на рысаке; он стеснял и смешил своею суетливою, приказчичьею предупредительностью: когда я садился в сани, он поддерживал меня за локоть, оправлял полы моей шубы, а усадив, сам садился рядом на самом краешке сиденья. Дифтерит у больной был очень тяжелый, флегмонозной формы, и несколько дней она была на краю смерти; потом начала поправляться. Но в будущем еще была опасность от последифтеритных параличей.

Однажды, в четыре часа утра, ко мне позвонился муж больной. Он сообщил, что у больной неожиданно появились сильные боли в животе и рвота. Мы сейчас же поехали. Была метель; санки быстро мчались по пустынным улицам.

— Сколько мы вам, доктор, беспокойства доставляем! — извиняющимся голосом заговорил мой спутник. — Этакую рань вам ехать, в такую непогоду!.. Спать вам помешал...

Больной было очень плохо; она жаловалась на тянущие боли в груди и животе, лицо ее было бело, того трудно описуемого вида, который мало-мальски привычному глазу с несомненностью говорит о быстро и неотвратимо приближающемся параличе сердца. Я предупредил мужа, что опасность очень велика. Пробыв у больной три часа, я уехал, так

как у меня был другой трудный больной, которого было необходимо посетить. При Стариковой я оставил опытную фельдшерицу.

Через полтора часа я приехал снова. Навстречу мне вышел муж, с странным лицом и воспаленными, красными глазами. Он остановился в дверях залы, заложив руки сзади под пиджаком.

— Что скажете хорошенького? — развязно и презрительно спросил он меня.

— Что Марья Ивановна?

— Марья Ивановна-с? — повторил он, растягивая слова.

— Ну, да!

Он помолчал.

— Полчаса назад благополучно скончалась! — усмехнулся Стариков, с ненавистью оглядев меня.— Честь имею кланяться — до свидания!

И, круто повернувшись, он ушел в залу, наполненную собравшимися родственниками.

В моем воспоминании никак теперь не могут соединиться в одно два образа этого Старикова: один — суетливо-предупредительный, заглядывающий в глаза, стремящийся к тебе; другой — чуждый, с вызывающе-оскорбительной развязностью, с красными, горящими ненавистью глазами.

О, какова ненависть таких людей! Нет ей пределов. В прежние времена расправа с врачами в подобных случаях была короткая. «Врач некий, немчин Антон,— рассказывают русские летописи,— врачева князя Каракуча, да умори его смертным зелием за посмех. Князь же великий Іоанн III выдал его сыну Каракучеву, он же мучив его, хоте на окуп дати. Князь же великий не повеле, но повеле его убити; они сведше его на Москву-реку под мост зимою, и зарезали ножом, яко овцу».

По законам вестготов, врач, у которого умер больной, немедленно выдавался родственникам умершего, «чтоб они имели возможность сделать с ним, что хотят». И в настоящее время многие и многие вздохнули бы по этому благодетельному закону: тогда прямо и верно можно было бы достигать того, к чему теперь приходится стремиться не всегда надежными путями.

В конце 1883 года в одесской газете «Новороссийский телеграф» появилось письмо некоего г. Белякова под бросающимся в глаза заглавием:

СЫНА МОЕГО ЗАРЕЗАЛИ

(Необычайный некролог отца о сыне).

Да, г. редактор! — пишет г. Беляков.— Единственный сын мой Сократ зарезан в Херсоне, в силу науки, ровно в 10 часов вечера 28 ноября, услугами вашего местного оператора Петровского...

Далее, на пространстве целого фельетона, г. Беляков подробно рассказывает, «как его ребенок заболел дифтеритом, как плохо лечили его врачи, как, благодаря этому плохому лечению, процесс распространился на гортань. С тщательностью судебного следователя он приводит в качестве обвинительных документов все назначения и рецепты врачей и тем самым, помимо своей воли, наглядно удостоверяет для всякого, понимающего дело, совершенную правильность всех назначений. Ребенку было очень худо. Один из врачей признал случай безнадежным и уехал. Отец молил спасти ребенка. Тогда оставшийся при больном д-р Гершельман предложил последнее средство — операцию. Во время операции, произведенной доктором Петровским, ребенок умер. Как видно из самого же описания г-на Белякова, случай был очень тяжелый, и такого конца можно было ждать каждую минуту; но г. Беляков, ничего не понимая в деле, утверждает, что оператор просто-напросто «зарезал» его сына [1].

Следовало ли делать эту операцию,— спрашивает г. Беляков,— если болезнь длилась уже шестой день? Компетентные лица (?) говорят, что когда дифтерит длился столько времени, не осложняясь, и когда больной еще дышал,— не представлялось никакой надобности в операции. *(Это совершенный вздор).* Наконец правильно ли было пользование доктора Гершельмана? Все ли возможные средства он употребил для спасения больного? По моему мнению, г. Гершельман слишком поверхностно отнесся к своему делу... Подыщите после этого подходящую статью в Уложении о наказаниях, которая своею страшною карою виновного в смерти Сократа могла бы искупить наше горе!

Конечно, ни одна статья Уложения не удовлетворила бы г. Белякова. Вот действуй у нас вестготские законы,—о, тогда г. Беляков сумел бы изобрести кару, которая бы искупила его горе!.. Сильна в человеке кровавая жажда найти во что бы то ни стало искупительную жертву, чтобы принести ее тени погибшего близкого человека.

Вначале такая обращенная на меня ненависть страшно мучила меня. Я краснел и страдал, когда, случайно встретив

---

[1] По жалобе отца тело ребенка было вырыто из могилы и вскрыто в присутствии следователя и четырех экспертов; оказалось, что ребенок умер от задушения дифтеритными пленками, а операция была произведена безукоризненно.

на улице кого-либо из близких моего умершего пациента, замечал, как он поспешно отворачивается, чтоб не видеть меня. Потом постепенно я привык. А следствием этой привычки явилось еще нечто совершенно неожиданное и для меня самого.

Неподалеку от меня у одной дамы-корректорши заболел ее сын-гимназист.

Она обратилась ко мне. Жила она в небольшой квартирке с двумя детьми,— заболевшим гимназистом и дочерью Екатериной Александровной, девушкой с славным, интеллигентным лицом, слушательницею Рождественских курсов лекарских помощниц. И мать и дочь, видимо, души не чаяли в мальчике. У него оказалось крупозное воспаление легких. Мать, сухая и нервная, с бегающими, психопатическими глазами, так и замерла.

— Доктор, скажите, это очень опасно? Он умрет?

Я ответил, что покамест наверное ничего еще нельзя сказать, что кризис будет дней через пять-шесть. Для меня началось ужасное время. Мать и дочь не могли допустить и мысли, чтоб их мальчик умер; для его спасения они были готовы на все. Мне приходилось посещать больного раза по три в день; это было совершенно бесполезно, но они своею настойчивостью умели заставить меня.

— Доктор, он не умирает? — сдавленным от ужаса голосом спрашивает мать.— Доктор, голубчик! Я сумасшедшая, простите меня... Что я хотела сказать?.. Правда, ведь вы все сделаете? Вы мне спасете Володю?

На четвертый день Екатерина Александровна, волнуясь и кусая губы, сказала мне:

— Вы не обижайтесь на меня, позвольте мне сказать вам, как частному лицу... Мне ваше лечение кажется чрезвычайно шаблонным: ванны, кодеин, банки, лед на голову... Теперь назначили digitalis.

— В таком случае распоряжайтесь, пожалуйства, вы,— я буду исполнять ваши назначения,— холодно ответил я.

— Да, нет, я ничего не знаю,— поспешно проговорила она.— Но мне хотелось бы, чтоб делалось что-нибудь особенное, чтобы уже наверное спасти Володю. Мама с ума сойдет, если он умрет.

— Обратитесь тогда к другому врачу; я делаю все, что нахожу нужным.

— Нет, я не то... Ну, простите, я сама не знаю, что говорю! — нервно оборвала себя Екатерина Александровна.

Для ухода за больным они пригласили опытную сестру милосердия. Тем не менее почти не проходило ночи, чтоб Екатерина Александровна не разбудила меня. Позвонится, вызовет через горничную.

— Володе хуже стало, он бредит и стонет,— сообщает она.— Пожалуйста, пойдемте.

Я безропотно иду. Но иногда у меня не хватает терпения.

— Вас сестра милосердия прислала, или это вы находите нужным мое присутствие? — спрашиваю я недобрым голосом.

Ее темные глаза загораются негодованием; Екатерина Александровна еле сдерживается, видя, как я ценю свой сон.

— Я думаю, что сестра милосердия — не врач, и она не может об этом судить,— резко отвечает она.

Иду с нею. Мальчик бредит, мечется, дышит часто, но пульс хороший, и никакого вмешательства не требуется. Раздраженная сестра милосердия сидит на стуле у окна. Я молча выхожу в прихожую.

— Что теперь делать? — спрашивает Екатерина Александровна.— У него слабеет пульс.

— Продолжать прежнее. Пульс прекрасный,— угрюмо отвечаю я и ухожу. И по дороге я думаю: если в течение года непрерывно иметь хоть по одному такому пациенту, то самого крепкого человека хватит не больше, как на год.

Назавтра мальчик чувствует себя лучше,— и глаза Екатерины Александровны смотрят на меня с лаской и любовью. Вообще, еще не видя больного, я уж при входе безошибочно заключал об его состоянии по глазам открывавшей мне дверь Екатерины Александровны: хуже больному — и лицо ее горит через силу сдерживаемою враждою ко мне; лучше,— и глаза смотрят с такою ласкою!

Кризис был очень тяжелый. Мальчик два дня находился между жизнью и смертью. Все это время я почти не уходил от Декановых. Два раза был консилиум. Мать выглядела совсем, как помешанная.

— Доктор, спасите его!.. Доктор...

И, крепко сжимая своими сухими пальцами мой локоть, она пристально смотрит мне в глаза жалкими, молящими и в то же время грозными, ненавидящими глазами, как будто хочет перелить в меня сознание всего ужаса того, что будет, если мальчик умрет.

Мальчик, с синим, неподвижным лицом, дышит часто и хрипло, пульс почти не прощупывается. Я кончаю исследование, поднимаю голову,— и из полумрака комнаты на меня жадно смотрят те же безумные, грозные глаза матери.

Больной вынес кризис. Через два дня он был вне опасности. Мать и дочь приехали ко мне на дом благодарить меня. Господи, что это были за благодарности!

— Доктор, голубчик! Дорогой! — в экстазе твердила мать.— Вы понимаете ли, что вы для меня сделали?.. Нет, вы не поймете!.. Господи, как мне вам сказать?.. Когда я буду умирать, у меня в голове один вы будете! Вы не знаете, я дала обет скорбящей божьей матери... Как мне вас отблагодарить, я навеки ваша должница неоплатная!.. Доктор!.. Простите...

И она хватала мои руки, чтобы целовать их. Екатерина Александровна, улыбаясь своими славными сумрачными глазами, горячо пожимала мне руку обеими руками. А я — я смотрел в глаза обеих женщин, сиявшие такою восторженною признательностью, и мне казалось, что я еще вижу в них исчезающий отблеск той ненависти, с которою глаза эти смотрели на меня три дня назад.

Они ушли. Я взялся за прерванное их приходом чтение. И вдруг меня поразило, как равнодушен я остался ко всем их благодарностям; как будто над душою пронесся докучный вихрь слов, пустых, как шелуха, и ни одного из них не осталось в душе. А я-то раньше воображал, что подобные минуты — «награда», что это — «светлые лучи» в темной и тяжелой жизни врача!.. Какие же это светлые лучи? За тот же самый труд, за то же горячее желание спасти мальчика я получил бы одну ненависть, если бы он умер.

К этой ненависти я постепенно привык и стал равнодушен. А неожиданным следствием этого само собою явилось и полнейшее равнодушие к благодарности.

Все больше я стал убеждаться, что и вообще нужно прежде всего выработать в себе глубокое, полнейшее безразличие к чувству пациента. Иначе двадцать раз сойдешь с ума от отчаяния и тоски.

XVIII

Да, не нужно ничего принимать к сердцу, нужно стоять выше страданий, отчаяния, ненависти, смотреть на каждого больного, как на невменяемого, от которого ничего не ос-

корбительно. Выработается такое отношение,— и я хладнокровно пойду к тому машинисту, о котором я рассказывал в прошлой главе, и меня не остановит у порога мысль о незаслуженной ненависти, которая меня там ждет. И часто-часто приходится повторять себе: «Нужно выработать безразличие!» Но это так трудно...

Недавно лечил я одну молодую женщину, жену чиновника. Муж ее, с нервным, интеллигентным лицом, с странно-тонким голосом, перепуганный, приехал за мною и сообщил, что у жены его, кажется, дифтерит. Я осмотрел больную. У нее оказалась фолликулярная жаба.

— Это не опасно? — спросил муж.

— Нет. Вероятнее всего, через день-другой пройдет, хотя, впрочем, может образоваться и нарыв.

Через два дня, действительно, левая миндалина стала нарывать.

— Отчего это? Отчего вдруг нарыв стал образовываться? — любопытствовал муж.

— Отчего!.. Как будто на такой вопрос кто-нибудь может ответить!..

И муж, и жена относились ко мне с тем милым доверием, которое так дорого врачу и так поднимает его дух; каждое мое назначение они исполняли с серьезною, почти благоговейною аккуратностью и тщательностью. Больная пять дней сильно страдала, с трудом могла раскрывать рот и глотать. После сделанных мною насечек опухоль опала, больная стала быстро поправляться, но остались мускульные боли в обеих сторонах шеи. Я приступил к легкому массажу шеи.

— Как все у вас нежно и мягко выходит! — сказала больная, краснея и улыбаясь.— Право, я рада бы все время болеть, только чтобы вы меня лечили.

Каждый раз, по их настойчивым приглашениям, я оставался у них пить кофе и просиживал час-другой; мне это самому было приятно,— с таким дружественным, любовным расположением оба они относились ко мне

Дня через два у больной появились боли в правой стороне зева, и температура снова поднялась.

— Ну, что? — спросил меня обеспокоенный муж.

— Вероятно, и в другой миндалине образуется нарыв.

— Господи, еще! — проговорила больная, уронив руки на колени.

Муж широко раскрыл глаза.

— Но отчего же это? — с изумлением спросил он.— Кажется, все делалось, что нужно!

Я объяснил ему, что предупредить это было невозможно.

— Ах ты, моя бедная Шурочка! — нервно воскликнул он.— Опять, значит, все это сначала проделывать!

И в голосе его ясно прозвучала враждебная нотка ко мне.

Нарыв созревал медленно-медленно, несмотря на дважды произведенные мною насечки. Опять больной раздуло шею, опять она ничего не могла глотать. Я видел, как с каждым днем все холоднее встречают меня и муж, и жена, как все больше сгущается атмосфера какого-то прямо отвращения ко мне. Теперь мне тяжело было идти к ним, тяжело было осматривать сосредоточенно молчащую больную и делать распоряжения мужу, который выслушивал меня, стараясь не смотреть в глаза. Вместе с этим у них явилась по отношению ко мне какая-то преувеличенная, изысканная вежливость; ясно чувствовалось недоверие и отвращение ко мне, но и то, и другое тщательно прикрывалось этой вежливостью, которая лишала меня возможности поставить вопрос прямо и отказаться от дальнейшего лечения. Да это, в сущности, и не было недоверием: я просто являлся символом и спутником всем надоевшего, всех истомившего страдания, и, как олицетворение этого страдания, я стал ненавистен и противен.

Больная, наконец, выздоровела. Мы простились наружно очень хорошо; но, когда, неделю спустя, я встретился с мужем в фойе театра, он вдруг сделал озабоченное лицо и, отвернувшись, быстро прошел мимо, как будто не заметив меня.

Нужно ко всему этому привыкнуть, не нужно тяготиться таким отношением, потому что это лежит в самой сути дела. Но часто, особенно с неизлечимыми, хроническими больными, вся сила привычки и все усилия воли не могут устоять перед взрывами ярой ненависти отчаявшегося больного к врачу. Высшую радость для врача составляет возможность отказаться от такого больного, но при всей своей ненависти, больной часто цепко держится за врача и ни за что не хочет его переменить. Несколько лет назад в Италии, около Милана, произошел такой случай. Д-р Франческо Бертола лечил одного сапожника, находившегося в последней стадии легочной чахотки. Состояние больного все ухудшалось. По-

теряв терпение, он стал осыпать врача ругательствами, называя его при каждом посещении шарлатаном, невеждою и т. п. Убедившись, что больной окончательно его возненавидел, д-р Бертола заявил ему, что от дальнейшего лечения он вынужден отказаться. Это решение привело больного в исступление. На следующий день он подкараулил врача на улице.

— Возьметесь вы снова за лечение или нет? — спросил сапожник.

Получив отрицательный ответ, он всадил доктору в живот большой кухонный нож. Врач упал с распоротым животом; одновременно упал и убийца-больной, у которого хлынула кровь горлом. Оба были тотчас подняты и свезены в одну и ту же больницу, там оба они и умерли.

Вся деятельность врача сплошь заполнена моментами страшно нервными, которые почти без перерыва бьют по сердцу. Неожиданное ухудшение в состоянии поправляющегося больного, неизлечимый больной, требующий от тебя помощи, грозящая смерть больного, всегдашняя возможность несчастного случая или ошибки, наконец, сама атмосфера страдания и горя, окружающая тебя,— все это непрерывно держит душу в состоянии какой-то смутной, не успокаивающейся тревоги. Состояние это не всегда сознается. Но вот выдается редкий день, когда у тебя все благополучно: умерших нет, больные все поправляются, отношение к тебе хорошее,— и тогда, по неожиданно охватившему тебя чувству глубокого облегчения и спокойствия, вдруг поймешь, в каком нервно-приподнятом состоянии живешь все время. Бывает, что совершенно падают силы нести такую жизнь; охватит такая тоска, что хочется бежать, бежать подальше, всех сбыть с рук, хотя на время почувствовать себя свободным и спокойным.

Так жить всегда — невозможно. И вот кое к чему у меня уж начинает вырабатываться спасительная привычка. Я уж не так, как прежде, страдаю от ненависти и несправедливости больных; меня не так уж режут по сердцу их страдания и беспомощность. Тяжелые больные особенно поучительны для врача; раньше я не понимал, как могут товарищи мои по больнице всего охотнее брать себе палаты с «интересными» труднобольными, я, напротив, всячески старался отделываться от таких больных; мне было тяжело смотреть на эти иссохшие тела с отслаивающимся мясом и загнивающею кровью, тяжело было встречаться с обращен-

ными на тебя надеющимися взглядами, когда так ничтожно мало можешь помочь. Постепенно я с этим свыкся.

Стал я свыкаться и вообще с той атмосферой постоянных страданий, в которой приходится жить и действовать. Я чувствую, что во мне постепенно начинает вырабатываться совершенно особенное отношение к больным; я держусь с ними мягко и внимательно, добросовестно, стараюсь сделать все, что могу, но — с глаз долой, и с сердца долой. Я сижу дома в кружке добрых знакомых, болтаю, смеюсь; нужно съездить к больному; я еду, делаю, что нужно, утешаю мать, плачущую над умирающим сыном; но, воротившись, я сейчас же вхожу в прежнее настроение, и на душе не остается мрачного следа. «Больной», с которым я имею дело как врач,— это нечто совершенно другое, чем просто больной человек,— даже не близкий, а хоть сколько-нибудь знакомый; за этих я способен болеть душою, чувствовать вместе с ними их страдания; по отношению же к первым способность эта все больше исчезает; и я могу понять одного моего приятеля-хирурга, гуманнейшего человека, который, когда больной вопит под его ножом, с совершенно искренним изумлением спрашивает его:

— Чудак, чего ж ты кричишь?

Мне понятно, как Пирогов, с его чутким, отзывчивым сердцем, мог позволить себе ту возмутительную выходку, о которой он рассказывает в своих воспоминаниях. «Только однажды в моей практике,— пишет он,— я так грубо ошибся при исследовании больного, что, сделав камнесечение, не нашел в мочевом пузыре камня. Это случилось именно у робкого, богоязненного старика; раздосадованный на свою оплошность, я был так неделикатен, что измученного больного несколько раз послал к черту.

«Как это вы бога не боитесь,— произнес он томным, умоляющим голосом,— и призываете нечистого злого духа, когда только имя господне могло бы облегчить мои страдания!»

Это — странное свойство души притупляться под влиянием привычки в совершенно определенном, часто очень узком отношении, оставаясь во всех остальных отношениях неизменною. Раньше я не мог себе представить, а теперь убежден, что даже тюремщик и палач способны искренне и горячо откликаться на все доброе, если только это доброе лежит вне сферы их специальности.

Я замечаю, как все больше начинаю привыкать к страданиям больных, как в отношениях с ними руководствуюсь

не непосредственным чувством, а головным сознанием, что держаться следует так-то. Это привыкание дает мне возможность жить и дышать, не быть постоянно под впечатлением мрачного и тяжелого; но такое привыкание врача в то же время возмущает и пугает меня,— особенно тогда, когда я вижу его обращенным на самого себя.

Ко мне приехала из провинции сестра; она была учительницей в городской школе, но два года назад должна была уйти вследствие болезни; от переутомления у нее развилось полное нервное истощение; слабость была такая, что дни и ночи она лежала в постели, звонок вызывал у нее припадки судорог, спать она совсем не могла, стала злобною, мелочною и раздражительною. Двухгодичное лечение не повело ни к чему. И вот она приехала к столичным врачам. Я не узнал ее, так она похудела и побледнела; глаза стали большие, окруженные синевою, с странным нервным блеском; прежде энергичная, полная жажды дела, она была теперь вяла и равнодушна ко всему. Я поехал с ней к знаменитому невропатологу.

Нам долго пришлось дожидаться; прием был громадный. Наконец, мы вошли в кабинет. Профессор, с веселым, равнодушным лицом стал расспрашивать сестру; на каждый ее ответ он кивал головой и говорил: «прекрасно!». Потом сел писать рецепт.

— Могу я надеяться на выздоровление? — спросила сестра дрогнувшим голосом.

— Конечно, конечно! — благодушно ответил профессор.— Тысячи тем же больны, чем вы — поправитесь! Вот мы вам назначим ванны, два раза в неделю, потом...

Мне становилось все противнее смотреть на это веселое, равнодушное лицо, слушать этот тон, каким говорят только с маленькими детьми. Ведь тут целая трагедия: полгода назад мать, случайно вошедши к сестре, вырвала из ее рук морфий, которым она хотела отравиться, чтоб не жить недужным паразитом... И вот этот противный тон, эта развязность, показывающая, как мало дела всем посторонним до этой трагедии.

Сестра стояла молча, и из ее глаз непроизвольно текли крупные слезы; гордая, она досадовала, что не может их удержать, и они капали еще чаще. Ее большое горе было опошлено и измельчено, таких, как она,— тысячи, и ничего в ее горе нет ни для кого ужасного... А она так ждала его совета, так надеялась!

— Ну, во-от!.. Ну, это, барышня, уж совсем нехорошо! — воскликнул профессор, увидев ее слезы.— Ай-ай-ай, какой срам! Плакать, а!.. Полноте, полноте!..

И опять все в его тоне говорило, что профессор каждый день видит десятки таких плачущих, и что для него эти слезы — просто капли соленой воды, выделяемые из слезных железок расшатанными нервами.

Мы молча вышли, молча сели на извозчика. Сестра наклонилась, прижала к губам муфту — и вдруг разрыдалась, злобно давя рыдания и все-таки не в силах их сдержать.

— Не стану я принимать его глупых лекарств! — воскликнула она и, выхватив рецепт, разорвала его в клочки. Я не протестовал; у меня в душе было то же чувство, и всякая вера пропала в лечение, назначенное этим равнодушным, самодовольным человеком, которому так мало дела до чужого горя.

А вечером в тот же день я думал: где же найти границу, при которой могли бы жить и врач, и больной, и сумею ли я сам всегда удержаться на этой границе?..

XIX

Как-то ночью ко мне в квартиру раздался сильный звонок. Горничная сообщила мне, что зовут к больному. В передней стоял высокий угреватый молодой человек в фуражке почтового чиновника.

— Пожалуйста, доктор, нельзя ли поскорее посетить больную! — взволнованно заговорил он.— Дама одна умирает... Тут недалеко, сейчас за углом...

Я оделся, и мы пошли с ним.

— Что случилось с вашею больною? Давно она больна? — спросил я своего спутника.

Он с недоумением пожал плечами.

— Прямо не понимаю!.. Что такое, господи!.. Она — жена моего товарища; я у них живу в нахлебниках... Вечером приехала с мужем из гостей, шутила, смеялась. А сейчас муж будит меня, говорит: помирает; послал за вами... Отчего это случилось, положительно не могу определить!

Мы поднялись на четвертый этаж по темной и крутой лестнице, освещая дорогу спичками. Спутник мой быстро позвонил. Нам открыл дверь молодой смуглый мужчина с черною бородкою, в одной жилетке.

— Доктор... Ради бога!..— прорыдал он.— Поскорее!..

Он ввел меня в спальню. На широкой двуспальной кровати, согнувшись, головою к стене, неподвижно лежала молодая женщина. Я взялся за пульс,— рука была холодна и тяжела, пульса не было; я положил молодую женщину на спину, посмотрел глаз, выслушал сердце... Она была мертва. Я медленно выпрямился.

— Ну, что? — спросил муж.

Я с сожалением пожал плечами.

— Умерла?! — захлебнулся он, и вдруг, глядя на меня остановившимися, выпученными глазами, быстро, коротко зарыдал, словно залаял; он как будто не мог оторвать взгляда от моих глаз, трясясь и рыдая этим странным, отрывистым, похожим на быстрый лай рыданием.

— Успокойтесь... Ну, что же делать! — сказал я, кладя ему руку на рукав.

Он тяжело опустился на стул и, раскачиваясь всем телом, схватился за голову. Стоявшая у комода девушка в ночной кофте и вязаной юбке громко заплакала.

Умершая холодела. Молодая и прекрасная, в обшитой кружевами рубашке она лежала средь смятых простынь, еще, казалось, полных теплом постели.

— Как все это произошло? — спросил я.

— Совсем была здорова! — выкрикнул муж.— Вечером из гостей приехали... Ночью просыпаюсь, вижу — лежит как-то боком. Тронул ее за плечо—не шевелится, холодная... Господи, господи, господи,— повторил он, крутя на себе волосы.— Оо-оо-оо!.. Ваня, да что же это такое?!

Мой спутник жалко заморгал глазами.

— Ну, голубчик! Сережа! Ну, что же делать! — печально и упрашивающе произнес он.— Божья воля! Вон у Чепракова, сам знаешь, тоже было,— что же поделаешь против бога?

— Да ведь... сейчас только!.. На-астенька! Настя!..

Девушка оделась и пошла послать дворника за матерью умершей. Товарищ продолжал утешать мужа. Мне было нечего делать,— я встал уходить.

— Сейчас, доктор! Одну минутку... Будьте добры! — быстро проговорил муж.

Продолжая рыдать, он поспешно выдвинул ящик комода, порылся в нем и протянул мне три рубля.

— Не надо!—сказал я, нахмурившись и отводя его руку.

— Нет, доктор, как же так? — встрепенулся он.— С какой стати? Нет уж, пожалуйста!..

Пришлось взять. Я воротился домой. Мне было тяжело и обидно, полученные три рубля жгли мне карман: каким грубым и резким диссонансом они ворвались в их горе!

Мне представлялось, что так у меня на глазах умерла моя жена,— и в это время искать какие-то три рубля, чтоб заплатить врачу! Да будь все врачи ангелами, одно это оплачивание их помощи в то время, когда кажется, что весь мир должен замереть от горя,— одно это способно внушить к ним брезгливое и враждебное чувство. Такое именно чувство, глядя на себя со стороны, я и испытывал к себе.

О, эта плата! Как много времени должно было пройти, чтоб хоть сколько-нибудь свыкнуться с нею! Каждый твой шаг отмечается рублем, звон этого рубля непрерывно стоит между тобой и страдающим человеком. Сколько осложнений он вызывает в отношениях, как часто мешает делу и связывает руки!

Особенно тяготил меня первое время самый способ оценки врачебного труда—плата врачу не за *излечение*, а просто за *лечение*. При теперешнем состоянии науки иначе и быть не может; но все-таки казалось диким и бессмысленным получать деньги за труд, не принесший никому пользы. Года три назад один лионский врач лечил больную внутриматочными впрыскиваниями йода; больная не поправлялась. Муж больной, состоятельный человек, вместо уплаты гонорара, предъявил иск к врачу в 10 000 франков за причиненный якобы вред здоровью его жены. Суд отказал истцу в иске и приговорил его уплатить врачу шестьсот франков за лечение, *так как врач при лечении употреблял способ, выработанный наукою, и поэтому не может быть ответствен за неудачу лечения.*

Ну, а чем же виноват больной, который обращается к врачу за помощью, а должен ему платить за удовольствие безрезультатно лечиться по «способу, выработанному наукой»? Сганарель в мольеровском «Le médecin malgré lui» * говорит: «Я нахожу, что ремесло врача — самое выгодное из всех: делаешь ли ты свое дело хорошо или худо, тебе всегда одинаково платят. Неудача никогда не обрушивается на наши спины, и мы кроим, как нам угодно, материю, над которою работаем. Если башмачник, делая башмаки, испортит кусочек кожи, он должен будет заплатить убытки; но

* «Лекарь поневоле» (*франц.*).— *Ред.*

здесь можно испортить человека, ничем не платясь за это». В этих словах Сганареля, как и вообще в отзывах Мольера о врачах, много убийственно верного. Дело только в том, что для насмешки тут совершенно нет места: перед нами опять одна из тех сложных, тяжелых несообразностей, которыми так томительно-обильно врачебное дело. Лионский суд нашел, что обвиняемый врач «употреблял способ, выработанный наукою, и поэтому не может быть ответствен за неудачу лечения». Мольер устами субретки Туанетты (в «Le malade imaginaire» *) насмешливо заметит: «Ну, конечно! Вы, врачи, находитесь при больных только для того, чтоб получать ваши гонорары и делать назначения; а остальное уж дело самих больных: пусть поправляются, если могут». И на это приходится совершенно серьезно ответить словами, которыми у Мольера карикатурный доктор Диафойрус отвечает Туанетте: «Celà est vrai! On n'est obligé qu'a traiter les gens dans les formes». Да, именно,— мы только обязаны лечить людей по всем правилам науки. И не наша вина, что эта наука так несовершенна. Если бы врач получал вознаграждение только за успешное лечение, то, щадя свой труд, он не стал бы браться за лечение сколько-нибудь серьезной болезни, так как поручиться за ее излечение он никогда не может.

Вначале вообще всякая плата, которую мне приходилось получать за мой врачебный совет, страшно тяготила меня, она принижала меня в моих собственных глазах и грязным пятном ложилась на мое дело. Я не понимал, как могли западноевропейские врачи дойти до такого цинизма, чтоб ввести в обычай посылку пациентам счетов за лечение. Счет за лечение! Как будто врач — торговец, и его отношение к пациенту можно усчитывать, словно какую-нибудь бакалею, франками и марками! Как вольтеровский идеальный врач, я принимал плату «не иначе, как с сожалением», и пользовался всяким предлогом, чтобы отказаться от нее. Первые два года я нанимал в Петербурге комнату от хозяйки. Хозяйка часто обращалась к моей врачебной помощи и первое время при прощании вручала мне деньги.

— Полноте! Что вы! — оскорбленным голосом говорил я и втискивал деньги обратно в ее ладонь.

Хозяйка, скрывая улыбку, прятала деньги в карман; а я из ее просторной спальни шел в свою узкую и темную

---

* «Мнимый больной» *(франц.)*.— *Ред.*

комнату возле кухни и садился за переписку, по пятнадцати копеек с листа, какого-то доклада об элеваторах, чтоб заработать денег на плату той же хозяйке за свою комнату.

Древнерусские иноки-целители не знали платы за лечение; они были «врачами безмездными». На мой взгляд, эта «безмездность» необходимо должна была лежать в основе высокой деятельности каждого врача. Плата — это лишь печальная необходимость, и чем меньше она будет замешиваться в отношения между врачом и больным, тем лучше; она делает эти отношения неестественными и напряженными и часто положительно связывает руки. Больной поправляется, но он еще слаб, за ним необходимо внимательно следить; а близкие вежливо говорят мне: «Теперь ему, слава богу, лучше; если станет хуже, вы, уж будьте добры, не откажитесь снова навестить нас». На это возможен только один ответ: «Я должен продолжать навещать его и теперь,— сами вы не в состоянии определить, когда ему понадобится моя помощь». Но это значило бы в то же время: «Продолжай платить мне за визиты». И единственного нужного ответа не даешь, и оставляешь больного на произвол судьбы.

Когда я читал в газетах, что какой-нибудь врач взыскивает с пациента гонорар судом, мне становилось стыдно за свою профессию, в которой возможны такие люди; мне ясно рисовался образ этого врача, черствого и алчного, видящего в страданиях больного лишь возможность получить с него столько-то рублей. Зачем он пошел во врачи? Шел бы в торговцы или подрядчики, или открыл бы кассу ссуд.

Я вступил в жизнь. Я ближе увидел отношение больных к врачам, ближе узнал своих товарищей-врачей. И постепенно прежние мои взгляды стали значительно меняться. У меня был товарищ-врач, специалист по массажу. Он в течение двух лет лечил семью одного богатого коммерсанта. Коммерсант, очень интеллигентный господин и вполне «джентльмен», задолжал товарищу около двухсот рублей. Прошло полгода. Товарищу были очень нужны деньги. Он написал коммерсанту вежливое письмо, где просил его прислать деньги. Коммерсант в тот же день сам приехал к нему, привез деньги и рассыпался в извинениях.

— Ради бога, доктор, простите!.. Мне так неловко, что я заставил вас ждать! Совсем из головы вон. Знаете, такая масса дел,— то, другое,— поневоле иной раз забудешь! Пожалуйста, простите,— виноват!

Но все время он называл товарища не по имени, а «док-

тор», все время держался с тою изысканною вежливостью, которою люди прикрывают свое брезгливое отношение к человеку.

С этих пор коммерсант перестал обращаться за помощью к товарищу. В своих делах он, конечно, не считал предосудительным предъявлять клиентам векселя и счета; но врач, который в свое дело замешивает деньги... Такой врач, в его глазах, не стоял на высоте своей профессии.

Поведение коммерсанта поразило меня и заставило сильно задуматься; оно было безобразно и бессмысленно, а между тем в основе его лежал именно тот возвышенный взгляд на врача, который целиком разделял и я. По мнению коммерсанта, врач должен стыдиться — чего? Что ему нужно есть и одеваться, и что он требует вознаграждения за свой труд! Врач может весь свой труд отдавать обществу даром, но кто же сами-то эти бескорыстные и самоотверженные люди, которые считают себя вправе требовать этого от врача?

Да, за свой труд, как всякий работник, врач имеет право получать вознаграждение, и ему нечего стыдиться этого; ему нечего принимать плату тайно и конфузливо, как какую-то позорную, незаконную взятку. Обществу известны светлые образы самоотверженных врачей-бессребреников, и такими оно хочет видеть всех врачей. Желание, конечно, вполне понятное; но ведь было бы еще лучше, если бы и само общество состояло сплошь из идеальных людей. Средний врач есть обыкновенный средний человек, и от него можно требовать лишь того, чего можно требовать от среднего человека. И если он не желает трудиться даром, то какое право имеют клеймить его за корыстолюбие люди, которые свой собственный труд умеют оценивать весьма зорко и старательно?

Не так давно г. Эм-Ге рассказывал в газете «Сын отечества», как один его знакомый обратился к нему с просьбою «пропечатать» в газете врача, подавшего на этого знакомого в суд за неуплату гонорара.

— Да отчего вы не заплатили ему? — спросил сотрудник газеты.

— Да так, знаете,— праздники подходят, дачу нанимать, детям летние костюмчики, ну, все такое прочее...

Вот она, обратная сторона возвышенного взгляда на врачей. Врач должен быть бескорыстным подвижником — ну, а мы, простые смертные, будем на его счет нанимать себе

дачи и веселиться на праздниках. Один врач рассказал мне такой случай из своей практики.

«Приезжает ко мне дама, просит навестить ее больного сына. Еду. Небольшая, но очень уютная и милая квартирка; сын-гимназист лежит в тифе. Я спрашиваю, лечил ли его кто-нибудь раньше. Мать брезгливо поморщилась.

— Да, говорит, его д-р N. лечил... Скажите, пожалуйста, доктор, отчего среди врачей так много бессердечных, корыстолюбивых людей? Этот д-р N. приехал раз, осмотрел Васю; приглашаю его во второй раз,— я, говорит, уж знаю его болезнь, могу и так, не видя, прописать вам рецепт...

Я согласился, что это очень нехорошо. Осмотрел мальчика, назначил лечение, ухожу. Мать провожает меня, благодарит и... ничего! Пожала руку, «очень вам благодарна»,— только и всего. Дня через три является снова звать меня.

— Я,— говорю,— уж знаю болезнь вашего мальчика, могу и так, не видя, прописать вам рецепт...

Барыня взяла рецепт, в негодовании встала и, не прощаясь, ушла».

Барыня эта, конечно, много и горячо будет всем рассказывать о корыстолюбии наших врачей. И удивительно, с какою уверенностью в своей правоте распространяют свои рассказы подобные люди, и с каким сочувствием встречает общество эти рассказы. В № 248 «Рижского вестника» за 1894 год было помещено письмо в редакцию следующего содержания:

21-го сентября сего года, по случаю болезни моей дочери, был приглашен ко мне в дом доктор Гордон. Пробыв минут десять у больной, г. Гордон уехал с обещанием приехать на другой день опять. За визит ему было заплачено один рубль. Через полчаса после его ухода моя дочь получает от него визитную карточку, на которой написано следующее: «Милостивая государыня! Ввиду неопасности вашего положения советую вам впредь обращаться к врачу поближе. Я же меньше, чем за три рубля, не еду на дом и меньше, чем за два, не принимаю у себя. Пребываю с почтением Л. Гордон». Не мешало бы г. Гордону, печатая о себе объявления в газетах, прибавлять к ним также свою таксу визитов. Тогда, по крайней мере, он не будет ошибаться в своих расчетах.— *А. Иванов.*

Труд врача,— писал в своем возражении д-р Гордон,— не может правильно оцениваться определенным, раз навсегда положенным гонораром. Бессонная ночь, проведенная у постели бедняка-больного, вполне оплачивается сознанием исполненного долга; пользуя же больного состоятельного, врач вправе претендовать и на соответствующую труду его материальную оценку. У врача, без сомнения, много святых обязанностей в отношении ближнего; но должны же быть кое-какие обя-

ванности и по отношению к врачу со стороны больного или окружающих его... Перехожу к случаю, бывшему в моей практике. 21 сентября сего года меня просили «немедленно поехать» к больной на Курмановскую улицу, на Московский форштадт, что я исполнил по возможности скоро. У постели больной я, ничуть не спеша, остался ровно столько, сколько требовал, на мой взгляд, данный случай. По приезде домой я расплатился с извозчиком, которому пришлось отдать большую половину гонорара. Остатком от рублевого гонорара я, действительно, остался недоволен. Ввиду кропотливости дальнейшего лечения хронического страдания больной, я решился предложить свои условия, на которые ей вольно было согласиться или нет.

Этот случай очень характерен. Господин Иванов,— заметьте, человек состоятельный,— заставляет врача «немедленно» приехать к себе с другого конца такого большого города, как Рига, потраченное врачом время оплачивает тридцатью-сорока копейками,— и не себя, а врача же пригвождает к позорному столбу за корыстолюбие! И газета печатает его письмо, и читатели возмущаются врачом...

Будучи даже обыкновенным средним человеком, врач все-таки, в силу самой своей профессии, делает больше добра и проявляет больше бескорыстия, чем другие люди. Единственный кормилец семьи тяжело болен, семья голодает,— врач не берет платы за лечение. Несомненно, что и всякий другой сколько-нибудь порядочный человек при таких обстоятельствах не взял бы денег. Разница только та, что другой *не взял бы*, а врач *не берет*,— это очень немалая разница. Для обыкновенного среднего человека доброе дело есть нечто экстраординарное и очень редкое, для среднего врача оно совершенно обычно. У большинства врачей есть приемные часы для бесплатных больных, в большинстве городов существуют бесплатные амбулатории, и никогда нет недостатка во врачах, соглашающихся работать в них даром. По подсчету проф. Сикорского, в главнейших амбулаторных пунктах г. Киева (Красный Крест, Покровская община и друг.) было подано в 1895 году свыше 138 000 бесплатных врачебных советов. Если оценить каждый совет только в 25 коп., если допустить, что у себя на дому и при посещениях врачи со всех берут плату, то все-таки выйдет, что двести киевских врачей ежегодно жертвуют на бедных около тридцати пяти тысяч рублей... Читатель, сколько в год жертвуете на бедных вы?

Если бы люди всех профессий — адвокаты, чиновники, фабриканты, помещики, торговцы — делали для несостоятельных людей столько же, сколько в пределах своей профессии делают врачи, то самый вопрос о бедных до неко-

торой степени потерял бы свою остроту. Но суть в том, что врачи должны быть бескорыстными, а остальные... остальные могут довольствоваться тем, чтоб требовать этого бескорыстия от врачей.

Лет двадцать назад в Киеве произошел такой случай. Д-р Проценко был приглашен на дом к одному больному; он осмотрел его, но, узнав, что у больного нет средств заплатить за визит, ушел, не сделав назначения. Доктор был привлечен к суду и приговорен к штрафу и аресту на месяц на гауптвахте. Многочисленная публика, наполнявшая судебную залу, встретила приговор аплодисментами и криками «браво!».

Поступок доктора Проценко был возмутителен,— об этом не может быть и спору; но ведь интересна и психология публики, горячо поаплодировавшей обвинительному приговору — и спокойно разошедшейся после этого по домам; расходясь, она говорила о жестокосердном корыстолюбии врачей, но ей и в голову не пришло хоть грошом помочь тому бедняку, из-за которого был осужден д-р Проценко. Я представляю себе, что этот бедняк умел логически и последовательно мыслить. Он подходит к первому из публики и говорит:

— Как вы слышали, на суде было с несомненностью доказано, что я беден и не имел средств заплатить врачу; вы легко догадаетесь, что мне нужно не только лечиться, но и есть; дети мои тоже голодают... Потрудитесь дать мне рубля два-три.

— Прежде всего, голубчик, если ты этого *требуешь*, то я тебе ничего не дам,— отвечает господин, удивленный такой развязностью.— А если ты *просишь*, то, пожалуй, для спасения своей души я дам тебе пятачок; возьми и поминай раба божия такого-то.

— Нет-с, я не прошу, а требую, и не какого-нибудь пятачка, а по крайней мере рубля два-три. Визит врача стоит около этого, а вы видели, что с ним сделали за то, что он отказал мне в помощи,— и вы сами рукоплескали его осуждению. Если вы мне не дадите трех рублей, то я и вас посажу на скамью подсудимых.

Возмущенный господин, разумеется, зовет городового и, при всеобщем сочувствии публики, велит отправить нахала в участок. И там бедняк узнает, что не всегда можно мыслить последовательно, что врача за отсутствие бескорыстия можно упрятать в тюрьму, а все остальные люди

пользуются правом невозбранно распоряжаться своим кошельком и трудом; за отказ в помощи умирающему с голоду человеку им предоставляется право ведаться только с собственною совестью, и если совесть эта достаточно тверда, то они могут гордо нести свои головы и пользоваться всеобщим почетом.

XX

Первый долг всякого врача есть: быть человеколюбивым и во всяком случае готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимым. Посему всякий врач обязан по приглашению больных являться для подания им помощи. Кто это не сделает без особых законных к тому препятствий, тот, за такую неисправность и неуважение к страждущему человечеству, подвергается штрафу не свыше ста рублей и к аресту на время от семи дней до трех месяцев.

Так гласит 81 ст. Врачебного устава и ст. ст. 872 и 1522 Уложения о наказаниях. Напрасно во всем Своде Законов стали бы мы искать других случаев, в которых бы на людей налагалась *юридическая* обязанность «быть человеколюбивым» и устанавливалось наказание «за неуважение к страждущему человечеству». Подобные требования закон предъявляет к одним только врачам. Но неужели страдания человечества исчерпываются одними внезапными заболеваниями людей, и только в этом случае им нужна скорая безотлагательная помощь? Бесприютный человек может замерзнуть на подъезде никем не занятой квартиры, может умереть с голода под окном булочной,— и закон равнодушно отправит труп в полицейский приемный покой и ограничится констатированием причины смерти погибшего, владельцы дома и булочной могут быть спокойны: они не обязаны быть человеколюбивыми и уважать страждущее человечество. Но если врач, истомленный дневным трудом и предыдущею бессонною ночью, откажется поехать к больному, является закон и запрятывает «бесчеловечного» врача в тюрьму.

Заболевшего человека нельзя оставлять без помощи. Если предоставить врачам право отказываться от приглашений, то в нужную минуту невозможно будет добыть врача. У меня в смертельной опасности близкий, дорогой мне человек. Я еду за врачом. Он выходит ко мне в прихожую, пережевывая бифштекс, и хладнокровно заявляет: «Я сейчас ужинаю, а после ужина лягу спать; ехать поздно, поищите другого врача». В другом месте мне отвечают,

что врача нет дома, в третьем — что он играет в карты и не расположен ехать. Пока я рыскал по городу в поисках за врачом, больной умер; а мог бы быть спасен. Разве не врачи виноваты в его смерти, и разве не заслуживают они тюрьмы?

Но разве не владельцы домов с незанятыми квартирами виноваты в бесприютности бесприютных людей, не булочники — в голодании голодных? Так просто и близоруко решать общественные вопросы позволительно только детям. Нельзя, чтоб люди умирали с голоду и замерзали на улицах,— но общество все в целом должно организовать для них помощь, а не сваливать заботу на отдельных домовладельцев только потому, что у них есть незанятые квартиры, и на булочников, потому что они торгуют именно хлебом. Нельзя, чтоб бедняк умирал без врачебной помощи, нельзя, чтоб в ночное время люди не могли найти врача,— но об этом должно заботиться само же общество, устраивая ночные дежурства врачей и содержа специальных врачей для бедных. В Англии, Франции и Германии давно отменены законы, обязывающие врачей лечить бедных даром и являться к больным по первому призыву.

У нас общество не хочет затруднять себя лишними хлопотами; всю тяжесть оно сваливает со своих плеч на плечи единичных людей и жестоко карает их в случае, если они отказываются нести эту тяжесть. Несправедливость такого порядка вещей бьет в глаза, но так как она выгодна для общества, то ее не замечают и не хотят замечать. И вот, уклоняясь само от своей прямой обязанности, общество преисполняется благородным негодованием, когда те, на кого оно свалило эту обязанность, с недостаточною готовностью исполняют налагаемые на них требования. Происходит нечто невероятное: люди как будто теряют понимание самых простых вещей, о которых и спорить стыдно; с недоумением спрашиваешь себя,— неужели нравственная слепота способна доходить до таких пределов?

Вот что, например, писал г. А. П — в в № 8098 «Нового времени»:

Могут ли по ночам и по праздникам болеть зубы? Должно быть, не могут, судя по словам того лица, которое жалуется мне. У нас обрушиваются на врачей, когда последние не идут совсем или идут неохотно ночью к больному, а большая часть дантистов пользуется какою-то особенной привилегией, в силу непонятных обычаев, отдыхать в праздники и не тревожить себя ночью. Больной обращался к нескольким дантистам и ни одного не мог увидеть.

Заметка приведена мною совершенно точно; в ней так-таки и напечатано: «какая-то особенная привилегия» и «непонятный обычай». По отношению к какому другому работнику повернется язык даже у того же г-на А. П—ва сказать, что отдыхать в праздники есть особенная привилегия, и не тревожить себя по ночам — непонятный обычай? По отношению к самому себе г. А. П—в навряд ли нашел бы такой обычай особенно непонятным.

У меня был товарищ по университету, по фамилии Петров. Окончив курс, он поступил земским врачом в глухой уезд одной из восточных губерний, и я потерял его из виду. Года два назад в газетах, сначала провинциальных, потом и столичных, был опубликован возмутительный случай, героем которого оказался как раз этот мой товарищ. В деревне N.,— сообщали газеты,— волостной старшина поел гнилой рыбы и заболел. Он послал в соседнее местечко за земским врачом Петровым. Петров вместо себя прислал фельдшера. Больному становилось хуже. Он вторично послал за врачом, но приехал опять фельдшер. К утру старшина умер. Как оказалось, доктор Петров был в ту ночь мертвецки пьян. Земство немедленно уволило его. Месяца два имя Петрова не сходило со столбцов газет и прославилось на всю Россию.

Через полгода я увидел Петрова у себя в Петербурге; он приехал искать места и зашел ко мне. Загорелый и неуклюжий, в крахмальной манишке, к которой он не привык, Петров сидел, понурив лохматую голову, и рассказывал мне о случившемся.

— Все так и было, как в газетах описано,— верно. У нас была тогда ярмарка; амбулаторный прием в такие дни громадный, пришлось принять около двухсот человек,— ты-то поймешь, что̀ это значит. А в ночь перед этим позвали на роды в Щегловку, делал поворот, воротился домой как раз к приему, только стакан чаю и успел выпить. На ярмарку съехались кой-какие приятели. Сели мы вечером за винт, потом выпили. Выпито было действительно основательно... Идет этак неделя за неделей, месяц за месяцем, треплют тебя во все стороны,— так, брат, иной раз замутит, что и на свет не глядел бы. И я уж знаю о себе: подойдет такая линия,— бывает это раз пять-шесть в год,— задашь себе встряску, выпьешь, как следует,— непременно так, чтоб в похмелье быть, как в аду,— ну, и опять свеж и бодр... Воротился я, значит, домой. Зовут к больному,—

«помирает». Грешный человек, не мог ехать,— пришлось бы больничному мужику взваливать меня на телегу... Ну, вот и случилось...

Он помолчал.

— Ты, брат, не знаешь, что такое земская служба... Со всеми нужно ладить, от всякого зависишь. Больные приходят, когда хотят, и днем, и ночью, как откажешь? Иной мужик едет лошадь подковать, проездом завернет к тебе: нельзя ли приехать, баба помирает. Едешь за пять верст: «Где больная?» — «А она сейчас рожь ушла жать...» Участок у меня в пятьдесят верст, два фельдшерских пункта в разных концах, каждый я обязан посетить по два раза в месяц. Спишь и ешь черт знает как. И это изо дня в день, без праздников, без перерыву. Дома сынишка лежит в скарлатине, а ты поезжай... Крайне тяжелая служба!

Он задумался, положив руки на колени.

— Служба крайне тяжелая! — повторил он и снова замолчал.— В газетах пишут: «д-р Петров был пьян». Верно, я был пьян, и это очень нехорошо. Все вправе возмущаться. Но сами-то они,— ведь девяносто девять из них на сто весьма не прочь выпить, не раз бывают пьяны и в вину этого себе не ставят. Они только не могут понять, что другому человеку *ни одна минута* его жизни не отдана в его полное распоряжение... А это, брат, ох, как тяжело,— не дай бог никому!..

Я позволю себе познакомить читателя еще с одной газетной заметкой:

«Петербург в настоящее время буквально может быть назван «беспомощным»,— писал в июле 1898 г. хроникер «Петербургской газеты», г. В. П.— В течение последней недели мне три раза пришлось убеждаться в том, что летом столичные обыватели совершенно лишены медицинской помощи. Летом петербуржец не смеет болеть, иначе ему придется очень плохо: он рискует не найти доктора...» Рассказав, как ему и некоторым из его знакомых пришлось тщетно искать по всему Петербургу врача, г. В. П. заканчивает свою заметку следующими «очень интересными принципиальными вопросами»: «Имеют ли право врачи так игнорировать своими отношениями к пациентам, как они делают это в настоящее время? Являются ли врачи безусловно свободными людьми, могущими располагать своим временем по личному желанию? Короче, служат ли они обществу или нет?»

Вопросы, действительно, интересные... Служат ли врачи обществу или нет? Ведь всякое служение предполагает, по крайней мере, хоть какую-нибудь взаимность обязанно-

стей. Врачи уезжают на лето из Петербурга,— одни, чтоб отдохнуть от зимней работы, другие — потому, что прожить летом практикою в обезлюдевшем Петербурге трудно. Они должны оставаться, так как могут понадобиться г-ну В. П. и его знакомым, которые брезгуют работающими и летом больницами и думскими врачами. Ну, а если г. В. П. и его знакомые будут здоровы, позаботятся ли они о том, чтоб окупить содержание оставшихся для них врачей? С какой стати! Пусть живут как хотят, но пусть каждую минуту будут готовы к услугам г-на В. П.

Заметка хроникера «Петербургской газеты» ценна тою наивною грубостью и прямотою, с которою она высказывает господствующий в публике взгляд на законность и необходимость закрепощения врачей. «Являются ли врачи безусловно свободными людьми, могущими располагать своим временем по личному желанию?» Речь тут идет не о служащих врачах, которые, принимая выгоды и обеспечение службы, тем самым, конечно, отказываются от «безусловной свободы»; речь — о врачах вообще, по отношению к которым люди самих себя не считают связанными решительно ничем. С грозным, пристальным и беспощадным вниманием следят они за каждым шагом врача: «служи обществу», будь героем и подвижником, не смей пользоваться «непонятным обычаем» отдыхать; а когда ты истреплешься или погибнешь на работе, то нам до тебя нет никакого дела.

Недавно мы хоронили нашего товарища, д-ра Стратонова. Неделю перед тем он делал в частном доме трахеотомию и, высасывая из разреза трахеи дифтеритные пленки, заразился сам; он умер молодым, сильным и энергичным, и эта смерть была ужасна по своей быстроте и неожиданности.

В часовне стоял его гроб, увешанный ненужными венками. Пахло ладаном, под сводами замирала «вечная память», в окно доносился шум и грохот города. Мы стояли вокруг гроба —

И молча смотрели в лицо мертвецу,
О завтрашнем дне помышляя...

После него осталась вдова, дети; ни до них, ни до него никому нет дела. Город за окнами шумел равнодушно и суетливо, и, казалось, устели он все улицы трупами,— он будет жить все тою же хлопотливою, сосредоточенною

в себе жизнью, не отличая взглядом трупов от камней мостовой...

«Служат ли врачи обществу или нет?»

По подсчету д-ра Гребенщикова, от заразных болезней умирает 37% русских врачей вообще, около *шестидесяти процентов* земских врачей в частности. В 1892 году половина всех умерших земских врачей умерла от сыпного тифа. В каких бьющих по нервам условиях проходит деятельность врача, можно было достаточно видеть из предыдущих глав этих записок. Проф. Сикорский на основании официальных данных исследовал вопрос о самоубийстве среди русских врачей. Он нашел, что «в годы от 25 до 35 лет самоубийства врачей составляют почти 10% обычной смертности, т. е. в эти годы *из десяти умерших врачей один умирает от самоубийства*». Цифра эта до того ужасна, что кажется невероятною. Но вот другой исследователь, доктор Гребенщиков, на основании другого материала и совершенно независимо от проф. Сикорского, пришел к выводам, почти не разнящимся от выводов профессора; по Гребенщикову, за годы 1889—1892, самоубийство составляло 3,4% смертей врачей вообще и более десяти процентов смертей *всех* земских врачей.

Проф. Сикорский занялся, далее, сопоставлением своих данных с данными относительно других профессий в России и Западной Европе. Оказалось, что «*русские врачи имеют печальную привилегию занимать первое место в свете по числу самоубийств*». При этом замечательно следующее обстоятельство: врач, решившись на самоубийство, сумел бы легче, чем кто-либо другой, выбрать себе наиболее безболезненную смерть; на деле же оказывается, что в самоубийствах врачей поразительно часто фигурируют, напротив, самые мучительные способы: отравление стрихнином, серною и карболовою кислотами, прокол сердца троакаром и т. п. «Очевидно, —замечает проф. Сикорский,— значительное подавление инстинкта самосохранения делало для несчастных товарищей безразличным всякий способ прекращения жизни, лишь бы только достигалась цель».

Да, врачи «служат обществу», и служба эта не из особенно легких и безмятежных. А вот какая судьба ждет врачей, «отслуживших обществу». У нас существует вспомогательная касса врачей, учрежденная проф. Я. А. Чистовичем. Передо мною печатные протоколы заседаний комитета кассы на 1896 год. Вот две выдержки из них:

Доложена просьба участника кассы М. А. Высоцкого о назначении ему пенсии ввиду отсутствия средств к жизни и невозможности по болезни заниматься практикой. Г. Высоцкий, бывший ашинский городовой врач, 59 лет, не имеет никакого состояния, пенсии государственной не получает, не имеет родных, которые могли бы его приютить, не в состоянии пропитывать себя личным трудом и нуждается в постороннем уходе, вследствие того что страдает развитым пороком сердца и параличом мышц тела правой стороны.— Назначена пенсия в 300 рублей.

Доложена просьба женщины-врача Ек. Ив. Линтваровой о назначении ей пособия в размере 200 руб. ввиду ее весьма тяжелого материального положения, так как страдает хроническою малярией и сильным малокровием, развившимся после перенесенного сыпного тифа, которым заразилась на службе, будучи земским врачом. Проф. В. А. Манассеин и д-р Д. Н. Жбанков удостоверяют бедственное положение г-жи Линтваровой и необходимость иметь средства для лечения и пропитания.— Назначено 200 рублей.

Упомянутая касса — касса взаимопомощи, и составляется из ежегодных взносов членов кассы, которые одни только и имеют право на пособие. Общество, которому служат врачи, к этой кассе, разумеется, никакого касательства не имеет и не хочет иметь. Заражайтесь и калечьте себя на работе для нас, а раз вы выбыли из строя, то помогайте себе сами. Размеры назначенных пособий в приведенных выдержках говорят сами за себя, какую помощь может оказывать своим членам касса.

XXI

В докторской диссертации В. К. Анрепа, в числе других тезисов, помещен следующий: «Околоточные надзиратели, дворники и швейцары Петербурга обеспечиваются лучше служащих врачей». Это вовсе не преувеличение. Врачи многих городских больниц получают у нас 45—50 руб. в месяц; в Петербурге только совсем недавно жалованье больничным врачам увеличено до 75 руб. Городовые врачи, обремененные массою самых разнообразных обязанностей, получают жалованья двести рублей *в год*. По Гребенщикову, регистрация врачей по карточкам показала, что 16% всех служащих врачей получают жалованья меньше 600 руб. в год и 62% — не более 1 200 рублей. Очень распространено мнение, что незначительность получаемого содержания врачи легко восполняют частною практикою, что этим именно и объясняются скудные размеры назначаемого им содержания. Но ведь для частной практики прежде всего требуется свободное распоряжение своим временем; она

не может не отзываться на аккуратном несении службы,— это лежит в самой сути условий частной практики. Между тем, если врач «небрежно» относится к своей службе, то на него летят громы, и в это время люди забывают, что они же сами указывают на частную практику, как на подсобный заработок к скудному жалованью. Кроме того, этот подсобный заработок, вопреки общераспространенному мнению, очень невелик: по исследованиям Гребенщикова, у 77% всех врачей (считая и вольнопрактикующих) заработок по частной практике не превышает тысячи рублей в год. Мало есть интеллигентных профессий, труд которых вознаграждался бы хуже.

Рынок врачебного труда у нас давно переполнен, предложение значительно превышает спрос. Это ведет к конкуренции между врачами, в которой худшие из них не брезгуют никакими средствами, чтоб отбить пациента у соперника: приглашенные к больному, такие врачи первым делом раскритикуют все назначения своего предшественника и заявят, что «так недолго было и уморить больного»; последние страницы всех газет кишат рекламами таких врачей, и их фамилии стали известны каждому не менее фамилии вездесущего Генриха Блокка; более ловкие искусно пускают в публику через газетных хроникеров и интервьюеров известия о совершаемых ими блестящих операциях и излечениях и т. п. С другой стороны, немало врачей, убедившись в трудности и необеспеченности своей профессии, поступают в чиновники или берутся за какое-либо другое дело; по-видимому, число их все растет. За последние годы были опубликованы несколько случаев самоубийств врачей вследствие полнейшей голодовки; известны примеры, где врачи поступали на места фельдшеров с фельдшерским же жалованьем.

Люди, даже сравнительно образованные, нередко высказывают мнение, что причиною бедственного положения врачей является их тяготение к городам. Люди эти говорят: у нас около двадцати тысяч врачей, а население России составляет 128 миллионов. Какая тут может быть речь о перепроизводстве? Врачи не хотят идти в глушь, а хотят непременно жить в культурных центрах; понятно, что в этих центрах наблюдается перепроизводство, но перепроизводство это совершенно искусственное: врачи в центрах голодают, а деревня гибнет и вырождается, не зная врачеб-

ной помощи. У нас врачей слишком мало, а не много, и нужно всячески заботиться об увеличении их числа.

Деревня, действительно, гибнет и вырождается, не зная врачебной помощи. Но неужели причина этого лежит в том, что у нас мало врачей? Половина русского населения ходит в лаптях,— неужели это оттого, что у нас мало сапожников? Увеличивайте число сапожников без конца— в результате получится лишь одно: самим сапожникам придется ходить в лаптях, а кто ходил в лаптях, тот и будет продолжать ходить в них.

Врачи вовсе не обладают таким странным вкусом, чтоб предпочитать голодовку в городах куску хлеба в глуши. На вакансии земских врачей в самых глухих местностях, с самым скромным содержанием, всегда является масса кандидатов; напр., в 1883 году, как сообщалось во «Враче», на одну вакансию земского врача в Княгининском уезде было подано семьдесят шесть прошений, на другую, в Кашинском уезде, девяносто два прошения. Дело не в боязни врачей перед глушью,— дело просто в том, что деревня безысходно бедна и не в состоянии оплачивать труд врача. Восьмидесятые годы представляют немало попыток вольной врачебной практики в деревне; у всех еще в памяти имена д-ров Сычугова, Таирова и др. Но попытки эти лишь доказали, что люди, воодушевленные идеей, могут кое-как перебиваться в деревне без посторонней поддержки. Вопрос же вовсе не в том; вопрос в том, может ли средний врач,— не подвижник, а обыкновенный работник,— прожить в деревне врачебным трудом. Кто хоть сколько-нибудь знаком с положением нашей деревни, тот не будет спорить, что ее бедность и некультурность совершенно закрывают доступ к ней обыкновенному вольнопрактикующему врачу.

Материальная обеспеченность врачей все больше ухудшается. Между тем в последнее время у нас выступает новый им конкурент,—желанный и в то же время грозный,— женщина. Как везде, где она выступает конкуренткой мужчине, она за тот же труд довольствуется меньшею платою и тем самым понижает вознаграждение мужчины. Из приводимых д-ром Гребенщиковым данных видно, что средний размер жалованья служащих врачей-мужчин составляет 1 161 руб., тогда как врачей-женщин — 833 руб. С увеличением числа женщин-врачей они, несомненно, будут

оказывать все большее влияние на общее понижение платы за врачебный труд.

Таково положение врачей вовсе не у нас одних. В Западной Европе оно даже еще более бедственное. Везде — громадная армия врачей, без дела, без заработка, готовая идти на какие угодно условия. Лет восемь назад больничная касса в Будапеште заявила, что будет платить врачам за каждое посещение ими больного по сорок крейцеров (около 25 коп.); несмотря на это, желающих войти в соглашение с кассою оказалось множество. Больше половины берлинских врачей вырабатывает в месяц не более семидесяти пяти рублей; венские врачи не брезгуют платою в 20 крейцеров (12 коп.) за визит. Анри Беранже в своей статье «Интеллигентный пролетариат во Франции» говорит: «Целая половина парижских врачей находится в положении, не достигающем уровня безбедного существования; большая же часть этой половины в действительности нищенствует,— нищенствует в буквальном смысле этого слова, так как представители этой профессии нередко ночуют в ночлежных домах. В провинции из десяти тысяч врачей еле пять тысяч вырабатывают на приличное существование».

И в Западной Европе массы врачей не находят себе дела, разумеется, вовсе не потому, что потребность общества во врачебной помощи вполне насыщена; и там, как у нас, для громадных слоев населения врачебная помощь представляет недоступную роскошь. Это просто частичное проявление тех поражающих противоречий, которые, как корни дуба — в почву, прочно и глубоко проникают в самые основания нынешней жизни. Тысячи пудов хлеба и мяса гниют, не находя сбыта, а рядом тысячи людей умирают с голоду, не находя работы; потоками льется кровь, чтоб в отдаленнейших частях света отвоевать рынки для сукон и бархата, а люди, изготовляющие эти сукна и бархаты, ходят в ситце и бумазее.

XXII

Недавно рано утром меня разбудили к больному, куда-то в один из пригородов Петербурга. Ночью я долго не мог заснуть, мною овладело странное состояние: голова была тяжела и тупа, в глубине груди что-то нервно дрожало, и как будто все нервы тела превратились в туго натя-

нутые струны; когда вдали раздавался свисток поезда на вокзале или трещали обои, я болезненно вздрагивал, и сердце, словно оборвавшись, вдруг начинало быстро биться. Приняв бромистого натра, я, наконец, заснул; и вот через час меня разбудили.

Чуть светало. Я ехал на извозчике по пустынным темным улицам; в предрассветном тумане угрюмо дрожали гудки далеких заводов; было холодно и сыро; редкие огоньки сонно мигали в окнах. На душе было смутно и как-то жутко-пусто. Я вспомнил свое вчерашнее состояние, наблюдал теперешнюю разбитость — и с ужасом почувствовал, что я болен, болен тяжело и серьезно. Уж два последние года я замечал, как у меня все больше выматываются нервы, но теперь только ясно понял, до чего я дошел.

Семь лет я врачом. Как прожил я эти семь лет? Все они были жестокой насмешкой над тем, что я же, как врач, должен был предписывать своим пациентам. Все время нервы напряжены, все время жизнь бьет по этим нервам; чтоб безнаказанно переносить такое состояние, нужна громадная нервная сила, а между тем жить приходится так, что и самая железная устойчивость должна разрушиться. Для меня нет праздников, нет гарантированного отдыха; каждую минуту, от сна, от еды, меня могут оторвать на целые часы, и никому нет дела до моих сил. И вот с каждым годом все больше обращаешься в развалину-неврастеника; пропадает радость жизни и любовь к ней; пропадает, еще страшнее, отзывчивость и способность горячо чувствовать. А между тем видишь, что это есть еще в душе: стоит хоть немного пожить человеческой жизнью,— и душа возрождается, и кажется, что в ней так много силы и любви.

А в каких я условиях живу? После пятилетнего ожидания я, наконец, получил в больнице жалованье в семьдесят пять рублей; на него и на неверный доход с частной практики я должен жить с женой и двумя детьми; вопросы о зимнем пальто, о покупке дров и найме няни — для меня тяжелые вопросы, из-за которых приходится мучительно ломать себе голову и бегать по ссудным кассам. Мои товарищи по гимназии — кто податной инспектор, кто инженер, кто акцизный чиновник; за спокойную, безмятежную службу они получают жалованье, о каком я не смею и мечтать. Я даже лишен семейных радостей, лишен возможности спокойно приласкать своего ребенка, потому что в это время мелькает мысль: а что, если со своей

лаской я перенесу на него ту оспу или скарлатину, с которой сегодня имел дело у больного?

В утреннем тумане передо мной тянулся громадный город; высокие здания, мрачные и тихие, теснились друг к другу, и каждое из них как будто глубоко ушло в свою отдельную, угрюмую думу. Вот оно, это грозное чудовище! Оно требует от меня всех моих сил, всего здоровья, жизни,— и в то же время страшно, до чего ему нет дела до меня!.. И я должен ему покоряться,— ему, которое берет у меня все и взамен не дает ничего!

Думать, что его можно разжалобить,— смешно; смешно и ждать, что можно чего-нибудь достигнуть указанием на его несправедливое отношение к нам. Только тот, кто борется, может заставить себя слушать. И выход для нас один: мы, врачи, должны объединиться, должны совместными силами бороться с этим чудовищем и отвоевать себе лучшую и более свободную долю.

Я ехал пригородным трактом. Около заросших желтевшей травою канав тянулись деревянные мостки, матовые от росы. Из фабричных труб валил дым и темным, душным пологом расстилался над крышами. Извозчик остановился у ворот желто-коричневого деревянного дома.

По темной, крутой лестнице я поднялся во второй этаж и позвонил. В маленькой комнатке сидел у стола бледный человек лет тридцати, в синей блузе с расстегнутым воротом; его русые усы и бородка были в крови, около него на полу стоял большой глиняный таз; таз был полон алою водою, и в ней плавали черные сгустки крови. Молодая женщина, плача, колола кухонным ножом лед.

— Вы простите, доктор, что обеспокоил вас! — сказал мужчина, быстро поднимаясь мне навстречу и протягивая руку.— Дело у меня известное — туберкулез и вследствие этого кровохаркание. Да вот, очень уж жена пристала, непременно чтоб доктор приехал...

— Прежде всего ложитесь и не разговаривайте! — прервал я его.— Вам ни одного слова не следует говорить. И не волнуйтесь,— это вовсе не опасно.

— А я волнуюсь? — удивленно произнес он про себя, пожав плечом, и сел на постель.

Я уложил больного и осторожно приставил стетоскоп к его груди. Закинув свою красивую голову и прикусив тонкие, окровавленные губы, он лежал и, прищурившись, смотрел в потолок.

— Ваш муж чем занимается? — спросил я молодую женщину, кончив выслушивать и выпрямляясь. Она сидела у стола, со слезами на щеках, и с тоской следила за мною.

— Литейщик он по меди, в N-ском заводе работает... Господи, господи, до тридцати лет всего дотянул! А какой был здоровый!.. Медные-то пары — как скоро всю грудь выели!

Она, рыдая, припала грудью к краю стола.

— Ну, Катя, чего ты? Не так оно опасно! — нетерпеливо и ласково проговорил литейщик.— Слышала, и доктор сказал... С такими кровохарканьями и до пятидесяти лет доживают, не так ли? — обратился он ко мне.

— Да, конечно!.. Только не разговаривайте, лежите смирно... Бывают случаи, что и совсем выздоравливают...

Литейщик лежал, молча и подтверждающе кивая головою. Я сел писать рецепт.

— Боже мой, боже мой, как жизнь скоро-то сломала! — с всхлипывающим вздохом произнесла женщина.— Я вам скажу, господин доктор, ведь он нисколько себя не жалеет; как жил-то? Придет с работы, сейчас за книги, всю ночь сидит или по делам бегает... Ведь на одного человека ему силы отпущено, не на двух!..

Больной закашлялся и, наклонившись над тазом, выплюнул большой сгусток крови.

— Ну, будет! Что много разговариваешь? — вполголоса обратился он к жене, отдышавшись.

Я просидел у больного с полчаса, утешая и успокаивая его жену. Комната была убогая, но все в ней говорило о запросах хозяина. В углу лежала груда газет, на комоде и на швейной машине были книги, и на их корешках я прочел некоторые дорогие, близкие имена.

Я вышел и сел на извозчика. Теперь было совсем светло; туман поднялся от земли и влажными, серыми клубами полз по небу; в просветах виднелось чистое небо, освещенное солнцем. На улицах было по-прежнему тихо, но из труб домов уже шел дым, в окнах блестели самовары, и были видны люди; по сизым от росы мосткам вдоль канав прошел густо натоптанный черный след. Я вспомнил то настроение, с каким я ехал сюда и с каким смотрел на эти мостки и заросшие желтой травою откосы канав; настроение это показалось мне теперь удивительно мелким и чуждым; не

то чтоб мне было стыдно за него,— мне просто было странно и непонятно, как я мог ему отдаться.

Мы должны объединиться и бороться; конечно, это так. Но кто «мы»? Врачи? Мы можем, разумеется, стараться улучшить положение своей корпорации, усовершенствовать взаимопомощь, и другое в таком роде. Но борьба, борьба широкая и коренная, невозможна, если на знамени стоит голый грош. Наше положение тяжело. Но кому из посторонних оно может казаться таковым? На рогожных фабриках у нас рабочему ставится условием не просить по городу милостыни, женщина-работница принуждена у нас отдавать себя мастеру, быть проституткой, за одно право иметь работу... Было бы, конечно, очень хорошо, если бы мы получали оклады, какие получают инженеры, если бы мы могли работать, не утомляясь и не думая о завтрашнем дне. Но это легко говорить. Земский врач получает нищенское жалование, но не может деревня из своей черной корки хлеба создать ему мясо и вино. Вознаграждение врача вообще очень низко, и тем не менее не только для бедняка, а даже для человека среднего достатка лечение есть разорение. Выходом тут не может быть тот путь, о каком я думал. Это была бы не борьба отряда в рядах большой армии, это была бы борьба кучки людей против всех окружающих, и по этому самому она была бы бессмысленна и бесплодна. И почему так трудно понять это нам, которые с детства росли на «широких умственных горизонтах», когда это так хорошо понимают люди, которым каждую пядь этих горизонтов приходится завоевывать тяжелым трудом?

Да, выход в другом. Этот единственный выход — в сознании, что мы — лишь небольшая часть одного громадного, неразъединимого целого, что исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех.

1895—1900

ПО ПОВОДУ «ЗАПИСОК ВРАЧА»

[*Ответ моим критикам*]

«Was wir zu schaffen streben, ist schon dadurch ungemein schwierig, weil wir da mit dem schwierigsten Material, nämlich mit Menschen für die Menschheit arbeiten»[1].

Из письма *Бильрота* к проф. Гису (1893 г.).

Опубликованные мною «Записки врача» вызвали в печати большое количество отзывов и возражений со стороны товарищей врачей. Часть этих отзывов носила, к сожалению, характер чисто личных нападок, ни по содержанию, ни по тону не имевших ничего общего с критикой. Вместо того чтоб разбирать книгу по существу, главное свое внимание «критики» обратили на меня самого: тщательнейшим образом старались, напр., выяснить вопрос, что могло меня побудить написать мою книгу. По мнению д-ра М. Камнева, мотивы были вот какие: «Ругать не только легче, чем хвалить, но и выгоднее. Это, кажется, еще Белинский сказал. Что в том, что вы будете хвалить Шекспира? Его все хвалят. Но попробуйте ругать Шекспира, и вы сразу станете центром общего внимания: «Шекспира не признает... Должно быть, голова...»[2]. По мнению «Медицинского обозрения», целью моею было щегольнуть перед публикою своим «мягким сердцем»: все время непрерывное «позирование», «красивые фразы», «жалкие слова, рассчитанные на эффект в публике». Рассказываю я, напр., об обезьяне, на которой я делал опыты. «К чему эти трогательные страницы для публики? — спрашивает рецензент.— Чтобы увеличить количество антививисекционистов или же только затем, чтоб показать: смотрите,— я экспериментирую сердечно, даже со слезами, а другие, менее меня «мягкосердечные», мучат животных без сострадания и не могут на-

---

[1] «То, к чему мы стремимся, уже потому необычайно трудно, что мы работаем для человечества над самым трудным материалом, именно — над человеком».

[2] *Еженедельник «Практической медицины»*, 1901, № 17, стр. 299.

писать такого трогательного мартиролога»[1]. Самого меня разобрали по косточкам и неопровержимо доказали, что я—человек бесчестный и необыкновенно развязный[2], «дикарь» с громадным самомнением, несомненным эгоизмом, с повышенною половою раздражительностью, носящий в себе все признаки вырождения[3].

Сколько озлобления и негодования вызвала книга в некоторой части врачебного сословия, хорошо показывает письмо одного врача, напечатанное в № 5501 «Одесских новостей».

«Г. Редактор! — пишет этот врач.— Вы выражаете желание иметь перед глазами серьезный отзыв о книге Вересаева. Прочтите «Врачебную газету» за прошлый месяц: там помещен чудный фельетон, в котором достаточно ясно доказано, что каждый порядочный врач относится с презрением к дегенерату Вересаеву. Печально, что в наше время является такой фрукт, позорящий медицинское сословие; к счастью, между врачами почти нет разногласия на этот счет»[4].

Подобные отзывы слишком характерны, чтоб не быть отмеченными, но отвечать на них, разумеется, нечего. Перехожу к отзывам и возражениям, имеющим предметом мою книгу.

Возражения эти носят в общем поразительно однообразный характер и совершенно лишены индивидуальности· можно бы, изрезав статьи в куски, перетасовать их самым прихотливым образом, и получились бы новые статьи, по сути своей нисколько не отличающиеся от прежних. Ясно, что перед нами — нечто типическое, общее большому количеству врачей, и возражать приходится не против того или другого автора, а против целого миросозерцания, целого душевного уклада, одинаково выражающегося в многочисленных статьях моих русских, немецких, французских, английских и итальянских критиков.

За основу своих возражений я возьму направленную против «Записок» работу д-ра Н. В. Фармаковского, первоначально напечатанную во «Врачебной газете» и вышедшую затем отдельным изданием («Врачи и общество», Спб., 1902). Работа эта — наиболее обширная и систематическая, она представляет не ряд отрывочных возражений, а шаг за шагом рассматривает все главы «Записок». Благодаря этому и миросозерцание самого автора вырисовывается особенно ярко. Кое-где я буду дополнять его работу выдержками из статей других моих оппонентов.

---

[1] *Медицинское обозрение*, 1902, № 2. Рец. г-на Алелекова.

[2] *Медицинское обозрение*, l. c.

[3] *Проф. Н. А. Вельяминов* в речи на годовом собрании петербургского Медико-хирургического общества 30-го ноября 1901 г.

[4] Среди этой ругательной литературы первое место по справедливости должно быть отведено своеобразной работе московского профессора Льва Мороховца: «*Записки врача* В. Вересаева в свете профессиональной критики» (*Труды кафедры истории и энциклопедии медицины Императорского Московского Университета*, т. I, вып. 2, М., 1903). По тону и по приемам полемики книга представляет собою нечто прямо невероятное: самый бесшабашный фельетон уличной газеты может служить образцом корректности и добросовестности по сравнению с этим «трудом». Характерно, что на книге стоит пометка: «Печатается по определению медицинского факультета Московского университета».

I

Прежде всего следует отметить несколько замечаний, относительно которых я вполне согласен с моими оппонентами. Так, они указывают на то, что «Записки» мои нельзя назвать «Записками врача *вообще»*, что это лишь «Записки врача *Вересаева»*. Но я никогда не брался говорить от лица *«врача вообще»*. Да и что такое — «врач вообще»? Один совсем молодой врач, когда его знакомый, рассмеявшись за столом, подавился куском мяса, тут же сделал ему перочинным ножом трахеотомию и спас ему жизнь. Другой, уже старый врач, когда в его присутствии дама упала в обморок, так растерялся, что стал кричать: «Доктора! Пошлите скорее за доктором!..» Врачами были скептик Боткин и оптимист Эйхвальд, бессребреник Гааз и алчный Захарьин, Манассеин, неустанный борец за врачебную этику, и Шатуновский, втоптавший в грязь самую элементарную этику. Как можно всех их объединить под одним словом «врач»? Конечно, мои «Записки» суть только «Записки врача Вересаева». Но само собою понятно, что я не стал бы их опубликовывать, если бы видел в них отрывок из своей автобиографии, что ли. Мне кажется, что и в умственном и в нравственном отношении я стою на уровне, на котором стоит обыкновенный средний врач. Мои оппоненты старательно доказывают, что я не обладаю специальною врачебною одаренностью, что я «не родился врачом». Доказывать это совершенно излишне,— я сам вполне ясно говорю это в моей книге; но думаю, что врачами не родилось и большинство из тех людей, которые имеют у нас врачебные дипломы, как не родилось художниками и артистами большинство тех лиц, которые кончают курс в академиях художеств и консерваториях. Настоящих врачей у нас в России, может быть, всего несколько сотен, а врачебные дипломы имеют около двадцати пяти тысяч человек, они занимаются врачебною практикою и, в пределах возможного, делают свое не блестящее, но несомненно полезное дело. Сравнивая себя с этими ординарными врачами, я никак не могу признать себя стоящим много ниже их. Поэтому думаю, что пережитое мною переживалось далеко не мною одним.

Тем не менее спорить и доказывать, что такое-то переживание типично для врача,— совершенно бесцельно. Я говорю: «я испытал то-то»,— мои оппоненты возражают: «а мы этого не испытали». Каждый прав, и спорить тут не о чем. Но в некоторых из этих возражений слишком ясно сказывается тот идеальный шаблон, который в готовом виде всегда имеется у всякой профессии. Человек нашей профессии *должен быть* таким-то и таким-то, и по идеальной схеме этого *должного* требуют изображать то, что *есть;* каждый в действительности переживал все совсем иначе, но думает: «я это пережил случайно, все же остальные переживали совсем не так». И вот, если изображаешь пережитое, не ведаясь с указанным шаблоном, то все говорят, что это ложь и клевета на сословие.

Особенно возмутило моих критиков описание впечатления, производимого на студентов обнажением больных женщин. Все в один голос заявляют, что ни они и никто из студентов ничего подобного не испытывали, что я — необыкновенно развратный человек и своим описанием компрометирую все врачебное сословие. «Интересно бы знать,— ядовито спрашивает один из критиков,— в каком университете учился г. Вересаев и какого мнения о нем были его товари-

щи-студенты?» Мне кажется, в том, что я рассказываю, нет ничего, позорящего врачебное сословие. Конечно, начинающий студент *должен* смотреть объективно на все, что изучает,— на страдающих больных, на трупы, на обнаженных женщин. Но недостаточно надеть мундир студента-медика, чтобы сразу начать глядеть на все глазами врача; для этого требуется привычка. И не может студент на первого же оперируемого больного, вопящего и корчащегося от боли, смотреть, как на научный объект, не может без мистического трепета сделать первого разреза на коже трупа; не может он и бесстрастным взглядом смотреть на обнаженную перед ним молодую женщину, когда до этого времени такое обнажение неразрывно соединялось у него с представлением о совершенно определенном моменте. Было бы неестественно и невероятно, если бы было иначе. Большинство моих оппонентов уверяет, будто, по моим словам, «при исследовании женщины у студентов и *врачей* возбуждается эротическое чувство». О *врачах* я ничего подобного не говорю. Врачи к этому привыкли, настолько привыкли, что им уже кажется даже непонятным, как возможно было при этом что-нибудь испытывать. Не заподозревая искренности заявлений моих оппонентов, я думаю, что именно этим обстоятельством и объясняется категоричность их отрицания.

Обращаюсь к работе д-ра Фармаковского, в которой, как я говорил, наиболее полно представлены все существеннейшие возражения против «Записок».

Принимаясь за чтение моей книги, г. Фармаковский, как сам он сообщает, заранее представил себе, что он в ней найдет: автор, будучи врачом, несомненно станет на «субъективную сторону врача» и изобразит перед публикою его внутреннюю жизнь «живо, картинно и правдоподобно». С первых же страниц его постигает разочарование: лично мне присущие нехорошие свойства я «совершенно несправедливо обобщаю на всех врачей и тем самым компрометирую их». Это обстоятельство совершенно изменяет отношение г. Фармаковского к моей книге; у него является опасение, как бы читатели не вынесли из нее недоверия к врачам. Мысль эта немедленно подавляет в нем все остальное, всецело овладевает им и доводит его до того состояния, когда человек перестает понимать самые простые вещи. Достаточно ему теперь встретить в моей книге слово, которому можно придать неблагоприятный смысл,— слово, которое в связи с другими имеет совершенно невинное значение,— и г Фармаковский усматривает в нем опаснейшее колебание авторитета медицины и врачебного сословия

Рассказываю я, напр., о том, что, в бытность мою студентом, мне с непривычки было тяжело первое время смотреть на льющуюся при операциях кровь и слышать стоны оперируемых, но что привычка к этому вырабатывается скорее, чем можно бы думать. «И слава богу, разумеется,— замечаю я,— потому что такое относительное «очерствение» не только необходимо, но прямо желательно; об этом не может быть и спора». Казалось бы, что может быть невиннее и безопаснее того, что я говорю? Но нет, я употребил слово «очерствение». Употребил я его в кавычках, ясно этим показывая, что не признаю данного явления действительным очерствением, но уж все кончено: г. Фармаковский услышал слово «очерствение» и спешит выступить на защиту врачебного сословия.

«Не то «очерствение»,— заявляет он,— когда мы спокойно подходим к больному с благими намерениями облегчить его болезнь

или по крайней мере ободрить его угнетенный дух,— а то — худшее «очерствение», когда мы разводим свои сантиментальные идеи, вооружая и отвлекая несчастных страдальцев от тех quasi «очерствелых» сердец, которые своим «очерствением» попытались бы возвратить им потерянное здоровье!» (стр. 9).

Я рассказываю далее, как на третьем курсе, *при первом моем знакомстве с медициной*, я обратил преимущественное внимание на ее темные стороны, как постепенно я убедился в несправедливости такого взгляда и совершенно изменил свое отношение к медицине. Г. Фармаковский это первоначальное мое отношение, которое сам я называю «жалким и ребяческим», которое характеризую как «нигилизм, столь характерный для всех полузнаек», приписывает мне и длинно, старательно доказывает неосновательность такого отношения.

«Несмотря на то, что Вересаеву, как человеку компетентному в медицинском деле, была известна степень невиновности профессора, допустившего сделанный им при операции недосмотр отверстия в кишке, он все-таки счел себя вправе восклицать: как можно так «вполне спокойно» рассуждать «о погубленной жизни»?.. «Смеет ли подобный оператор заниматься медициной?» (стр. 23). И затем г. Фармаковский обстоятельно разъясняет, что во многих ошибках врачи совершенно неповинны, что ошибки возможны и в судейской области, и в железнодорожной жизни, поучает меня, что если я ношу звание врача, то должен связывать с ним обязанность не быть столь легкомысленным в своих суждениях и словах... Одного только г. Фармаковский не сообщает своим читателям: что *вся одиннадцатая глава моих «Записок»* посвящена разъяснению того, что врачи часто совершенно неповинны в ошибках, в которых их обвиняют.

«Столь же непонятным с точки зрения врача,— продолжает г. Фармаковский,— является еще *осуждение Вересаевым бессмысленного будто бы исследования тяжелых больных...*» «Против назначения больным безразличных средств опять-таки *возмущается* автор «Записок»... «Автор «Записок» напрасно *так зло смеется* над указанием для каждой болезни нескольких лекарств...»

Возражения все больше принимают совершенно водевильный характер. Я говорю: «студентом третьего курса я считал медицину шарлатанством», а г. Фармаковский возражает: «напрасно Вересаев считает медицину шарлатанством» — и старательно доказывает, что медицина не есть шарлатанство... Как объяснить такую странную непонятливость? Объясняется она очень просто: до испуганного слуха г. Фармаковского долетело слово «шарлатанство», и это слово непроглядным туманом скрыло от его глаз все остальное.

«В конце описания своей студенческой жизни,— говорит г. Фармаковский,— Вересаев хочет снять с себя ответственность за все нарисованные им тенденциозные картины врачебного быта, называя их следствием своего студенческого «нигилизма полузнайки» Неужели он и сам верит в возможность таким признанием стереть все впечатление, которое оставил на читателях своими вышеописанными картинами?» (стр. 27).

Представьте себе, г. Фармаковский,— верю, и думаю, что веру мою признает не лишенною основания всякий, кто *просто* будет читать мою книгу, а не хвататься испуганно за каждую фразу и обсуждать, как может понять ее неподготовленный читатель. Вот какое

впечатление выносит этот «неподготовленный» читатель при связном чтении моей книги:

«Шаг за шагом раскрывает г. Вересаев трудный путь врача, начиная со школьной скамьи, с молодой, горячей веры в науку медицины до полного отчаяния перед бессилием ее и заключая спокойною уверенностью в несомненной пользе врачебного искусства» (А. Т. «О врачах», «*Курьер*», 1901, № 132).

«Автор подробно рассказывает о том, как первое знакомство с медициной, на студенческой скамье, вызвало в нем отрицательные, пессимистические впечатления, которые он характеризует названием «медицинского нигилизма». Но по мере того как он углублялся в медицинскую науку, она обращалась к нему другой своей стороной,— и преувеличенный скептицизм сменялся верой в могущество упорного стремления к истине» (Северов, «Русская литература», «*Новости*», 1901, № 134)

«Но этот кризис сомнения тянется недолго,— говорит г. Т. де-Вызева в предисловии к французскому переводу «Записок врача».— Студент вскоре начинает понимать, что если медицина знает и мало, то он-то сам, во всяком случае, не знает совсем ничего и не имеет права судить о науке, ему неизвестной.. Вскоре в нем не остается и следа наивного скептицизма «полузнайки» [1].

Так приблизительно понимает мой рассказ и большинство неподготовленных критиков. Удивительное дело! Пишет о «Записках врача» не-врач, и он совершенно ясно и правильно понимает то, что я хочу сказать; пишет врач — и он, подобно г. Фармаковскому, не понимает самых ясных вещей и в каждом самом невинном слове видит обвинение врачей и медицины в ужаснейших грехах [2].

Приведенные примеры избавляют меня от необходимости следовать дальше за г. Фармаковским в его возражениях на мое понимание медицины. Я отмечу только еще два образчика его критики. По г. Фармаковскому «оказывается, что медицину, если ее поподробнее разобрать и если вникнуть в суть ее значения и смысла, придется приравнять к галстуку европейского костюма» (стр. 108). Это мнение, по словам г. Фармаковского, я привожу «как бы с одобряющей улыбкой» (стр. 67), и г. Фармаковскому «больно слышать это из уст врача». Я попрошу читателя раскрыть мои «Записки» на соответственной странице, и он увидит, что указанное сравнение высказывает отчаявшийся в медицине больной а я подробно доказываю неосновательность такого сравнения. Как мог г. Фармаковский не заметить этого? Он, конечно, заметил, но ему доподлинно известно, что «из всех сопутствующих рассуждений эта фраза возьмет главенство над чувством непосвященного читателя» (стр. 67),—так верно известно, что в дальнейшем он уже считает себя вправе говорить, будто это я доказываю читателю, что медицина подобна галстуку... Г. Фармаковский либо непо-

---

[1] Mémoires d'un médécin, Paris, 1902, pp. V—VI.—Кстати: в том же предисловии г. Вызева сообщает, что «Записки врача» «sont publiés sous un pseudonyme par un des plus savants médécins de St. Petersburg» *. Для чего понадобилась г-ну Вызеве эта выдумка?

[2] В этом отношении особенно характерна курьезная брошюра г-на Г. Медведева: «Врач-художник. Ответ на книгу Вересаева *Записки врача*», Спб., 1903.

* «были опубликованы под псевдонимом одним из самых ученых медиков С.-Петербурга» (*франц.*).— *Ред.*

следователен, либо слишком самоуверен: зачем он в своей брошюре приводит это гибельное для медицины сравнение ее с галстуком? Чем он гарантирован, что «из всех его сопутствующих рассуждений» эта фраза также не «возьмет главенства над чувством непосвященного читателя»? Или он так уж уверен, что его «рассуждения» убедительнее моих?

В главе XII «Записок» я рассказываю, как тяжело мне было притворяться перед больными и обманывать их и как я убедился, что иначе не может быть, что обман часто необходим. Г. Фармаковский, по своему обыкновению, подхватывает одно слово «обман»—и длинно, обстоятельно начинает доказывать... что обман часто необходим! И он поучает меня, что такой «обман, раз он необходим для пользы самих же пациентов, едва ли может считаться пороком и ставиться медицине в укор»! (стр. 33).

Но ведь, серьезно-то говоря, что же это, наконец, такое,— наивная слепота или злостная недобросовестность? Скучно вести такого рода полемику, спорить не по существу, а лишь восстановлять смысл твоих слов. Я не стал бы этого делать, если бы склонность к подобным извращениям была лишь специальною особенностью г. Фармаковского. Но как раз он — еще один из сравнительно добросовестных моих оппонентов; другие же позволяют себе такие извращения моих слов и мыслей, что неприятно и возражать им. Предлагаю читателю прочесть, напр., уже отмеченную выше рецензию г. Алелекова в «Медицинском обозрении» или «труд» профессора Л. Мороховца, и он увидит, до каких неприличных передержек способны унижаться некоторые из моих оппонентов.

II

В девятой главе «Записок» я рассказываю, что, взявшись за практику, я живо почувствовал, какая громадная область знаний нам недоступна, как мало мы еще понимаем в человеческом организме. «Так же, как при первом моем знакомстве с медициною, меня теперь опять поразило бесконечное несовершенство ее диагностики, чрезвычайная шаткость и неуверенность всех ее показаний. Только *раньше я преисполнялся глубоким презрением к кому-то «им», которые создали такую плохую науку;* теперь же ее несовершенство встало передо мною *естественным и неизбежным фактом*, но еще более тяжелым, чем прежде, потому что он наталкивался на жизнь». Г. Фармаковский, с своею обычною добросовестностью, излагает это место так: «следует вывод, что в медицинской науке все еще темно и непонятно, а потом указывается на *заслуженное презрение к врачам, которые создали такую плохую науку*» (стр. 47).

«Врачи,— продолжает г. Фармаковский,— не достигли до такого полного понимания человеческого организма, чтоб каждое нарушение его функций и действие на него различных средств являлось бы для них совершенно понятным. *А это, по мнению Вересаева, не дает нам права приступать к лечению больных, так как мы всегда рискуем сделать ту или иную ошибку*» (стр. 69). И длинно, длинно, на протяжении двадцати пяти страниц, с удручающим многословием, переходящим положительно в пустословие, г. Фармаковский доказывает, что если нужно опорожнить кишечник больного, то врач вправе дать ему касторку, хотя и не знает точно сути ее действия; что если у больного поражен ревматизмом сустав, то для врача «рациональнее

тотчас же приступить к лечению этого сустава, чем изнывать над тем, почему поражен именно сустав, а не мозг». «Таким образом,—победоносно заключает г. Фармаковский,—обязанность каждого врача должна заключаться вовсе не в сокрушении о том, что он не может вознестись на небо и собрать с него всех блистающих звезд. Нет, врач должен в пределах возможного исполнять свое дело и облегчать участь страждущих людей» (стр. 70).

Все это, разумеется, святая истина, плоская до самой образцовой банальности, и читателю, прочитавшему мою книгу, не к чему объяснять, что всеми своими двадцатью пятью страницами г. Фармаковский выстрелил на воздух. Я привел это место не для того, чтоб продолжать опровергать те нелепости, которые г. Фармаковский мне приписывает. Но на этих двадцати пяти страницах очень ярко выделяется одна характерная черта, объединяющая г. Фармаковского с большинством моих оппонентов,—это именно чрезвычайно ироническое отношение к «небу и блистающим на нем звездам», т. е. к жажде широкого и коренного понимания окружающего. В чем тайна зарождения и развития болезней? В чем суть действия вводимых в организм лекарственных средств? Г-на Фармаковского такие вопросы приводят в крайне смешливое настроение и напоминают ему вопросы хемницеровского «метафизика», интересовавшегося «сущностью» брошенной ему в яму веревки. Отравился больной, ну, и нужно ему впрыснуть апоморфин, чтобы вызвать рвоту. Г. Фармаковский уверяет, что я в подобном случае должен только всплеснуть руками и начать «изнывать» над вопросом: «как я могу впрыснуть больному апоморфин, если не знаю, почему он действует именно на рвотный центр?» Нечего, конечно, опровергать эту фантазию г. Фармаковского, но как характерен самый его прием, которым он пытается доказать вздорность всяких, сколько-нибудь широких запросов, всякой неудовлетворенности данным состоянием знания. К чему все это? Бесконечное количество шатких теорий о действии железа на малокровие и научно установленный факт действия микроорганизмов на нагноение — для г. Фармаковского это решительно одно и то же, сам он всем одинаково доволен. Что за «метафизика» делать тут какое-нибудь различие!

Wie könnt ihr Euch darum betrüben!
Thut nicht ein braver Mann genug,
Die Kunst, die man ihm übertrug,
Gewissenhaft und pünktlich auszuüben? [1]

«Как часто нам, врачам, приходится говорить себе, сколько прорех в нашем знании и нашей деятельности! — писал Бильрот проф. Гису в 1861 г.— Преследуемый таким настроением, я опять и опять испытываю потребность в положительном исследовании, опять и опять берусь за микроскоп: тут я знаю, что я вижу, и знаю, что оно именно таково, каким я его вижу. Вот вам причина, почему мне мои анатомические работы милы и становятся все милее». «Я часто ловлю себя на том,— писал он же проф. Бауму в 1877 г.,— что естественно-научный патологический процесс, собственно, больше интересует меня в больном, чем терапевтический результат. Как *ни*

[1] Как можете вы этим огорчаться? Разве не довольно для человека, если он добросовестио и точно будет применять к делу искусство, которому его обучили?

утопична мысль: «если мы узнаем причины всех нарушений природных процессов, то из этого уже само собою вытечет верное лечение», но мне очень трудно отделаться от нее».

Не правда ли, г. Фармаковский, какой «метафизик» этот Бильрот? Сам же признает, что мысль «утопична», а не может от нее отделаться! И как это он не способен понять, что «обязанность врача заключается вовсе не в сокрушении о том, что он не может вознестись на небо, а в том, чтобы в пределах возможного исполнять свое дело и облегчать участь страждущих людей!»

Не всем нам, врачам, суждено обладать талантом Бильрота, это зависит не от нас; но все мы, однако, должны хранить в душе его «святое недовольство», и горе той профессии, где на месте этого «святого недовольства» воцаряется безмятежное, любующееся собою научное самодовольство гетевского Вагнера.

III

Нет ни одной науки, которая приходила бы в такое непосредственно-близкое и многообразное соприкосновение с человеком, как медицина Все прикладные науки своею конечною целью имеют, разумеется, благо людей, но *непосредственно* каждая из них стоит от человека более или менее далеко. Совсем не то видим мы в медицине. Реальный, живой человек все время, так сказать, заполняет собою все поле врачебной науки. Он является главнейшим учебным материалом для студента и начинающего врача, он служит непосредственным предметом изучения и опытов врача-исследователя; конечное, практическое применение нашей науки опять-таки сплетается с массою самых разнообразных интересов того же живого человека. Словом, от человека медицина исходит, через него идет и к нему же приходит.

Такое тесное и многообразное соприкосновение медицины с живым человеком, естественно, ведет к тому, что интересы медицины, как науки, постоянно сталкиваются с интересами живого человека, как ее объекта; то, что важно и необходимо для науки, т. е. для блага человечества, сплошь да рядом оказывается крайне тяжелым, вредным или гибельным для отдельного человека. Из этого истекает целый ряд чрезвычайно сложных, запутанных противоречий. Противоречия эти били мне в глаза, били, казалось мне, и каждому врачу, не потерявшему способность смотреть на жизнь с человеческой, а не с профессиональной точки зрения; и противоречия эти я изложил в своей книге.

Посмотрим же, как отнесся к ним г. Фармаковский. Я указываю, что в обучение на больных у нас входит значительный элемент принуждения,— что, напр., невежественная мать, для которой вскрытие ее умершего ребенка представляется самым ужасным его поруганием, принуждается идти на это горькою необходимостью «Но ведь это предрассудок! — возражает г. Фармаковский.— А раз это предрассудок, то всякий развитой, интеллигентный человек должен против него бороться, а не раздувать его» (стр. 20). И г. Фармаковский говорит уже, что я «проповедую поход против вскрытий», и скорбит о «плохой услуге», которую я этим оказываю публике. Читатель видит, что г. Фармаковский самым старательным образом *обходит* вопрос, о котором идет речь: конечно, «с предрассудками нужно бороться», но то же ли это самое, что *заставлять* человека с предрас-

судком наступать ногою на его предрассудок? Я вот лично глубоко, напр., убежден, что наша стыдливость есть предрассудок; значит ли это, что я имею нравственное право заставить человека раздеться донага и выйти в таком виде на улицу? Смешно предполагать, чтобы г. Фармаковский не понимал этой разницы,— почему же он ее не видит? Потому что во всем вопросе его интересует только одно,— как бы от обсуждения вопроса в публике не увеличилась боязнь вскрытий; до остального ему решительно нет дела. Уж совершенно откровенно высказывается на этот счет другой мой критик, д-р К. М. Горелейченко; он прямо спрашивает: «*Почему это Вересаеву понадобилось стать на точку зрения отца-бедняка? Непонятно!*» — и утешается вполне справедливою мыслью, что бедняку же будет хуже, если он, из боязни вскрытий, не понесет и другого своего ребенка в больницу [1].

Переходим к вопросу, который составляет одно из самых больных мест врачебной жизни,— к вопросу о поразительной неподготовленности молодых врачей к практической деятельности. Я рассказываю в своей книге о ряде ошибок, наделанных мною в начале моей практики. Мои оппоненты подвергают эти ошибки самой уничтожающей критике, доказывают, что они были ошибками и что сделал я их лишь потому, что я исключительно плохой, неспособный врач; обобщать же эти ошибки никак не следует. Конечно, практическая подготовка врачей несовершенна, «но,— пишет г. Фармаковский,— в большинстве случаев неопытность молодого врача обыкновенно выражается скорее отсутствием всякой помощи больному, чем принесением ему вреда» (стр. 28).

«Для того, чтобы «не вредить»,— пишет и д-р С. Вермель,— каждый врач, средний врач вполне подготовлен! Ошибка всегда возможна, но от ошибок до трупов так же далеко, как от неба до земли. Надо уж очень быть храбрым, чтобы вредить» [2].

Также и по мнению д-ра И. И. Бинштока, я должен был предупредить читателя, что это только я вышел из университета таким мало знающим врачом, неопытность же других врачей больше выражается лишь в том, что они «обливаются холодным потом при первых своих назначениях». И опять выдвигается на сцену грозный призрак «читателя», «который должен прийти в ужас при мысли, кому приходится доверять свое здоровье, жизнь, и к тем бесконечным обвинениям, которые в таком изобилии сыплются на врачей, прибавляется еще одно, быть может, самое ужасное, удостоверенное врачом» [3].

Мои ошибки доказывают лишь одно — что я плохой врач. Хорошо. Но, гг. Фармаковский, Вермель, Биншток! Расскажите же о

[1] «За и против «Записок врача» Вересаева», Спб., 1902, стр. 12.— Г. Фармаковский отмечает у меня, между прочим, одну, «фактическую неточность». «В больницах,— говорит он,— после смерти вскрываются только безродные больные; у тех же, которые имеют родственников, вскрытие производится лишь с разрешения этих последних». Смею уверить г. Фармаковского, что у нас много больниц, в которых совершенно не считают нужным ведаться с желанием родственников.

[2] «Записк врача *Записках врача», «Русское слово»*, 1902, № 6.

[3] *«Практический врач»*, 1901, № 1.

ваших ошибках, но только расскажите искренно; это было бы важнее и нужнее для дела, чем ломиться в открытую дверь и с торжеством доказывать, что мои ошибки были ошибками. Право же, это слишком нетрудно! Напомню вам, что когда Пирогов опубликовал свои «Анналы», где вполне откровенно рассказал о всех своих ошибках, то нашлись критики, которые, разобрав эти ошибки, убедительнейшим образом доказали, что они были совершенно «непозволительны». А ведь Пирогов был несомненный гений, а критики его были столь же несомненным ничтожеством. Мы же с вами одинаково — обыкновенные средние врачи.

Но допустим, что вы, действительно, имеете право так победоносно критиковать мои ошибки, что у вас в прошлом нет воспоминаний, которые бы тяжелым камнем лежали у вас на душе. Но вы утверждаете, что и все врачи вообще—такие же хорошие врачи, как вы, что это только я один представляю печальное исключение. К счастью, во врачебном сословии немало людей, которые действительные, идеальные интересы нашего сословия ставят выше трусливого соображения,— что скажет о нас публика.

«До сих пор,— пишет проф. П. В. Буржинской о «Записках врача»,— не приходилось встречаться с таким правдивым изложением некоторых отрицательных сторон медицинского образования. Несомненно, что автор действительно пережил и перечувствовал все или почти все рассказанное. *Да и кто из нас, врачей, не пережил того же в большей или меньшей степени?*.. По окончании курса,— рассказывает профессор о себе,— я вынес убеждение, что среди нас, только что получивших лекарский диплом, вряд ли был хоть один, который бы не знал, что такое saccus coecus retro-sternocleidomastoideus, но многие ли умели сделать горлосечение задыхающемуся ребенку и уверенно определить положение плода?»[1]

«27-го апреля,— читаем мы во «Врачебной газете» (1902, № 19, стр. 445),— состоялось второе заседание Общества кременчугских врачей, посвященное, главным образом, прениям по поводу «Записок врача» Вересаева. Старший врач губернской земской больницы А. Т. Богаевский говорил очень пространно о неподготовленности врача к практической деятельности, иллюстрируя это фактами из личной практики, о заслуге Вересаева, поднявшего этот вопрос перед обществом и теми, «кому ведать надлежит», и т. д.

Д-р Григорий Гордон пишет в «С.-Петербургских ведомостях» (1902, № 25):

«*То, что рассказывает Вересаев о начале своей практики, мог бы повторить каждый из нас о себе.* Ясно, что современная постановка медицинского образования требует коренной реформы, которая должна явиться в самом недалеком будущем. *Нужно удивляться, как может и далее существовать такой порядок вещей.* Не странно ли, что врачи, ежегодно собирающиеся на съезды, до сих пор ни разу не выбрали этого вопроса предметом своих обсуждений и, возбуждая постоянно массу ходатайств, никогда не хлопотали об его упорядочении. Как объяснить себе это?»

Я приведу еще почти целиком одно письмо молодого врача, напе-

---

[1] «Письмо в редакцию», «*Врач*», 1901, № 9.

чатанное в № 347 «Новостей» за 1901 г. Оно несколько длинно, но рисует чрезвычайно ярко ту беспомощность, с какою начинающий врач принужден вступать в практику.

«В № 49 «Врача»,— пишет этот врач,— напечатана речь проф. Вельяминова, касающаяся «Записок врача» Вересаева. В этой речи, между прочим, сказано: «Молодых врачей допускают к операциям ведь не прямо с улицы; они подготавливаются к этому годами, пользуются руководством более опытного хирурга и, приступая к своему делу, действуют сознательно и целесообразно». Когда я прочитал эти строки, мне стало невыносимо грустно. Я не могу допустить, что проф. Вельяминов заблуждается искренно, что ему в действительности неизвестен тот багаж опытности и знаний, с каким молодые врачи вынуждены иногда приступать к трудным и ответственным операциям. Неужели он находит постановку обучения хирургии на медицинских факультетах правильною и думает, что врачи сейчас по окончании курса могут относиться сознательно и целесообразно к больным?! И каким образом могло бы выработаться подобное сознательное отношение у студентов, которые не проделали ни одной, хотя бы самой пустячной, операции за все время своего обучения и вся хирургическая деятельность которых сводилась исключительно к созерцанию того, как оперировали профессор и его ассистенты? Тот студент, которому удалось вскрыть нарыв на пальце, считается счастливым. Но счастлив и тот студент, который мог хорошо проследить ход нескольких операций, произведенных его учителем, так как вокруг больного склоняется обыкновенно несколько голов ассистентов, заслоняющих совершенно поле операции. Студенты в таких случаях подобны зрителям, сидящим на галерке, откуда видны одни только ноги актеров.

Я сильно интересовался хирургией в университете и употреблял все усилия, чтобы проследить возможно большее число операций. С этою целью я приходил пораньше в аудиторию, занимал наилучшее место, а во время операции взлезал на столы, вытягивал шею, принимая самые неудобные позы, и... ничего не мог разглядеть, несмотря на свое превосходное зрение. Что-то резали, текла кровь, что-то вытирали губками, а потом набивали тампонами или зашивали. Операции, к тому же, производились в большинстве случаев самые сложные и доступные только для самых опытных техников, как, например: удаление больной почки, вскрытие нарыва печени, иссечение омертвевшей кишки, удаление зоба и т. д. Такие операции, конечно, способствовали усовершенствованию техники ассистентов, но для студентов являлись не более, как фокусом, сеансом черной магии. Так как я обратил на себя внимание ассистентов своим усердием, то мне позволяли иногда присутствовать на перевязках, и тогда я имел возможность ясно видеть течение операционной раны. А несколько раз позволили даже произвести вскрытие нарыва. И я считался одним из самых опытных хирургов на курсе...

Когда же я, по окончании университета, побуждаемый острой нуждой, вынужден был занять место земского врача, жизнь зло подшутила надо мной. На первой же неделе ко мне доставлен был крестьянин, который во время резки свиней упал и накололся на острый нож. Нож вонзился в грудь под ключицей. Кровь брызнула фонтаном. Увидав это ранение, я сообразил, что у больного перерезана

подключичная артерия и что ее необходимо перевязать. На трупах я проделывал эту операцию неоднократно, на живом человеке никогда. Зная, как опасна эта операция, я не решился ее сделать и, наложив давящую повязку, чтобы остановить кровотечение, отправил больного в губернскую земскую больницу, за сорок верст. Больной по дороге скончался от потери крови.

Вскоре затем я призван был к роженице, которая нуждалась в акушерской помощи. Пришлось накладывать щипцы. Я многократно их накладывал на куклах, но никогда на человеке. Щипцы никак не укладывались и все соскакивали. Я бился, бился и ничего не мог поделать. Я плакал от сознания своей беспомощности, но принужден был уложить несчастную в телегу и отправить ее в губернскую больницу (в позднюю осень, сырую и холодную!). К счастью, женщина осталась в живых, но ребенок погиб. Я бросил после этого земскую службу и поехал наново учиться...»

Само собою разумеется, что все это пишут и говорят такие же плохие, бездарные врачи, как я. Но ведь оказывается, во врачебном-то сословии не только я один так плох,— значит, это не исключительное явление, с этим нельзя не считаться... Нет, как хотите, а это страшно: вопрос со зловещей настойчивостью бьет в глаза, пахнет кровью и трупом, а гг. Фармаковские, Бинштоки и Вермели ясными глазами, не сморгнув, смотрят на него и говорят: тут все совершенно благополучно! «Неопытность молодого врача обыкновенно выражается скорее отсутствием всякой помощи больному, чем принесением ему вреда». Что такое? Да разве отсутствие помощи не есть принесение вреда? Разве *не* сделать в нужную минуту трахеотомии, *не* определить положения плода, *не* перевязать подключичной артерии, *не* наложить щипцов — не значит принести больному вред? Пусть так, но дело совсем не в этом, дело в том, можно ли об этом говорить? А ну, как об этом узнает «читатель» и «придет в ужас при мысли, кому приходится доверять свое здоровье и жизнь!..»

IV

Но вот другой вопрос,— вопрос чрезвычайно сложный, трудный и запутанный, вытекающий из самой сути медицины, как науки, так тесно связанной с человеком,— вопрос о границе дозволительного врачебного опыта на людях, о тех трупах, которые устилают путь медицины. Ведь этот вопрос необходимо выяснить во всей его беспощадной наготе, потому что только при таком условии и можно искать путей к его разрешению... Нет! — заявляют мои оппоненты,— никакого и вопроса-то такого нет, вся же суть опять только в том, что сам Вересаев — очень плохой врач, да притом еще страдающий неврастенией; потому-то первые операции его так неудачны, потому-то применение им новых средств ведет к гибели больных. Устилая лишь свой путь трупами, он, как и подобает неврастенику, сваливает свою личную вину не на себя, а на ни в чем не повинную медицину

«Между тем,— пишет д-р И. И. Биншток,— сотни врачей, вдали от университетов, нередко по одним только описаниям, делают самые сложные операции в крайне неблагоприятной обстановке. Врачи эти безропотно несут свой тяжелый труд в сознании той пользы, которую они приносят ближнему. Бесспорно, и у этих скромных тру-

жеников бывают неудачи, и у них больные умирают, и в них многие готовы бросить камень, но это делает публика; а г. Вересаев, обобщая свои личные неудачи, как бы выступает, сам того не сознавая, в помощь публике и выдвигает против врачей *весьма тяжкие обвинения*».

Как видите, г. Биншток самого вопроса совершенно не хочет замечать, его опять-таки интересует здесь исключительно лишь одно,— как бы по этому поводу против врачей не выдвинули «тяжких обвинений». Совершенно так же смотрит на дело и г. Фармаковский.

«Там, где ради пользы человека берут на себя риск спасти его от смерти и тяжких страданий,— жалуется он,— там совершается великое преступление! Там говорят, что члены сословия идут «по трупам», что их карьера составлена на множестве «погубленных ими жизней» (стр. 36). И опять возвращается он к этому на стр. 44: «Много напрасных обвинений приходится выслушивать нам, врачам, от непонимающих сути дела людей, но никогда не было еще так больно, как теперь, когда все это слышишь со стороны врача, знакомого со всею сутью вещей».

Я спрошу г. Фармаковского: что же он в конце концов, признает или нет, что наши успехи идут через трупы? Замечу, кстати, что фраза: «наши успехи идут через горы трупов» принадлежит не мне, а Бильроту; замечу, что я привожу эту фразу вовсе не в «обвинение» врачей, а только указываю ею на тот сложный, трудный и, к сожалению, совершенно игнорируемый вопрос, который вырастает из самой сути нашей деятельности. Признает существование этого вопроса г. Фармаковский или нет? «Признает ли...» Да он его вовсе и не хочет знать; когда его пытаются поднять, г. Фармаковский испытывает только ощущение чуть не личной обиды. Что же касается самого вопроса, то что же в нем особенного? «А какие другие стороны человеческой деятельности не сопряжены с жертвою целого ряда человеческих жизней? Разве наша железная дорога не идет по насыпям, укрепленным зарытыми в них костями погибших при ее постройке и крушениях людей? Разве то золото, которое в виде браслет облекает пухлые ручки наших дам, не задушило в недрах земли целые сотни и тысячи несчастных людей? Разве наши трюмо и зеркала... Разве те письма, которые разносят почтальоны... (и т. д., и т. д.). Во всех этих случаях гибнет народ. И все-таки не говорят, что развитие этих дел идет «по грудам трупов загубленных ими людей» (стр. 36).

Не говорят? Полно, г. Фармаковский, так ли? Могу вас уверить,— есть много людей, которые усиленно говорят об указанных вещах. Но, к сожалению, рядом с ними есть еще больше людей, которые, подобно вам, лишь кивают при этом на соседей и возражают: «у них так же скверно, как у нас,— следовательно, у нас все благополучно, и люди, утверждающие противное, руководствуются исключительно целью нанести нам обиду».

Говоря о первых операциях начинающих хирургов, я привожу слова Мажанди, рекомендующего врачам предварительные упражнения на живых животных. «Кто привык к такого рода операциям,— говорит Мажанди,— тот смеется над трудностями, перед которыми беспомощно останавливается столько хирургов». По этому поводу мне пришлось слышать от одного молодого хирурга чрезвычайно любопытное наблюдение. Он уже несколько лет занимается хирургией; в прошлом году ему пришлось для докторской диссертации произвести ряд сложных

операций в брюшной полости кроликов и собак; и его поразило, насколько увереннее и искуснее стал он себя чувствовать после этого в операциях на людях.

Казалось бы, невозможно оспаривать, что непосредственный переход от трупа к живому человеку слишком велик, что совет Мажанди, чрезвычайная важность которого совершенно ясна даже à priori *, во всяком случае заслуживает самого серьезного внимания и самой тщательной проверки. Оказывается, все это совершенный вздор: начинающие врачи нисколько не нуждаются в подобных упражнениях, суть же дела опять-таки в том, что я, Вересаев,— очень плохой врач и ничего толком не умею сделать. «Напрасно поэтому,— говорит д-р М. Камнев,— г. Вересаев делает из своих неудач вывод о негодности молодых врачей к хирургии и о необходимости учиться операциям на животных по совету Мажанди» [1].

По уверению г. Камнева, это совершенно излишне...

А вот что говорит приват-доцент Московского университета А. П. Левицкий, преподаватель хирургии, вот уже несколько лет предоставляющий своим слушателям-студентам оперировать на живых животных:

«Трудно представить себе хорошую технику у врача, которому приходится впервые производить операцию у человека, еще труднее допустить у него полное самообладание при операции, что, конечно, необходимо. Говорю об этом так уверенно на основании многолетних наблюдений... Это побудило меня, при чтении лекций по хирургической патологии, ввести занятия на животных, с целью приучить слушателей владеть ножом, останавливать кровотечение, производить трахеотомию, разбираться во вскрытой брюшной полости и т. д. Мои выводы из этих занятий таковы: 1) слушатели довольно быстро осваиваются с необходимою элементарною техникою (безупречно накладывались швы на кишечник и на венозные стенки), 2) скоро приобретали уверенность при своих действиях ножом, чего не было в начале занятий. *От самих слушателей, из которых многие уже врачи и специалисты-хирурги, я не раз слышал, что предварительные занятия на животных сослужили им хорошую службу, когда пришлось впервые оперировать на человеке»* [2].

V

Идем далее. Прививки болезней здоровым людям с научной целью. Тут все мои оппоненты единогласно заявляют, что подобные опыты заслуживают безусловного порицания, но... Но,— пишет д-р Макс Нассауэр из Мюнхена,— Вересаев «весь врачебный мир делает ответственным за промахи отдельных лиц и не отмечает, что большинство врачей не имеет к этим опытам никакого отношения» [3]. То же самое заявляют и другие мои оппоненты, и только г. Фармаковский, выразив свое безусловное порицание опытам, опять спешит при-

---

[1] *Еженедельник*, 1901, стр. 300.

[2] «Операции на животных в целях преподавания хирургии» (*«Вестник Спб. Врач. Общества взаимной помощи»*, 1902, № 1, стр. 23).

[3] «Bekenntnisse eines Arztes». *Frankfurter Zeitung*, 1902, 24 Mai.

* Наперед, без проверки (*лат.*).— *Ред.*

бавить: «Да если принять во внимание преступление только этих отдельных лиц, то больше ли оно тех преступлений, которые совершаются в других сословиях общества?» — и следует обстоятельное перечисление преступлений «других сословий общества» (стр. 43—44).

Раз эти опыты всеми осуждаются, то для чего я говорю о них? — спрашивают меня мои оппоненты. «Ну скажи сам, какая от этого польза нам, какая польза прежде всего миру? — спрашивает меня д-р Л. Кюльц, обращаясь ко мне по-товарищески, на «ты».— Скверная та птица, которая гадит в собственное гнездо!.. Подумай о том, что цитированные тобою исследователи, правда, сделали промах в выборе средств, но что они стремились при этом к цели, которая послужила к добру тысячам. Подумай о том, что все эти дела *принадлежат прошлому*. Зачем ты снова разрываешь старые, зарубцевавшиеся раны, зачем выгребаешь из углов истлевшие остатки прошлого?» [1]

«Поступок врачей-фанатиков бесчеловечен,— заявляет и доктор К. М. Горелейченко.— Он медицинской прессой осужден, это *дело прошлого, нескольких десятилетий;* и в настоящее время едва ли может повториться что-либо подобное» [2].

Это дело прошлого!.. В данное время я не могу пользоваться сколько-нибудь богатою медицинскою библиотекою, поэтому приведу опыты над людьми, совершенные за последние два года (1900—1901), так, как они изложены во «Враче», органе энергичного и неутомимого борца против таких опытов — покойного профессора В. А. Манассеина; вместе с этим я буду приводить и соответственные замечания Манассеина.

«Врач», 1900, № 3, стр. 95. Недавно в Вене разбиралось дело д-ра Грасса. Дело было возбуждено по жалобе больного, которому Грасс позволил себе впрыснуть под кожу убитую разводку гонококков (по счастью, без всякого вреда). Суд оправдал врача, но единственно потому, что прошел уже срок, в течение которого можно было предъявить автору обвинение.

№ 5, стр. 144. Д-р Цанони, желая изучить сочетание микробов в легких при чахотке, счел себя вправе *(?!—Ред.)* брать для этого содержимое из пораженных участков легкого. Дезинфицировав кожу, он вкалывал в легкие чахоточных больных полые иглы и таким образом извлекал содержимое. Прокол делался иглами в 7—8 сант. длиною «и не очень тонкими» *(Подстроч. примеч.* Работа д-ра Ц. еще раз заставляет нас подчеркнуть, казалось бы, не требующее доказательств положение, что больные — не материал для опытов, как бы интересны эти опыты сами по себе ни были, и все, что не прямо необходимо для помощи им, допустимо лишь с *полного* ведома и согласия их самих.— *Ред.).*

№ 6, стр. 178. Д-р де-Симони, желая выяснить, составляет ли так называемая Фришевская палочка специфический возбудитель риносклеромы, вводил ватные пробки, пропитанные разводками этой палочки в нос людей, страдающих сильно развитою чахоткою легких. (Опять непростительные и возмутительные опыты! — *Ред.).* Результат опытов был всегда отрицательный.

---

[1] *Dr L. Külz.* «Antwort auf die Beichten des Arztes Weressajew». Leipzig-Reudnitz, 1902, p. 30.— Есть русский перевод.

[2] «За и против Вересаева», стр. 14.

№ 7, стр. 213. Д-р Гердер (в Париже) испытывал новый способ лечения бугорчатки впрыскиваниями глицериновой вытяжки из тресковой печени. Сначала автор испытывал эти впрыскивания у чахоточных и получал некоторое улучшение, у некоторых, однако, «реакция» сопровождалась повышением температуры до 39° и 40°; впрочем, у этих больных наблюдались повышения температуры и от впрыскиваний соленой воды (ради чего делалось впрыскивание этой соленой воды? Очевидно, больные служили «материалами» для опытов! — *Ред.).* Для выяснения способа действия этих впрыскиваний автор произвел ряд опытов на кроликах и свинках (Не правильнее ли было бы начать с опытов на животных, а не на людях? — *Ред.).*

№ 24, стр. 737. Желая определить давление в легочных мешках здорового человека, д-р Э. Арон (из Берлина) счел себя вправе *(!! — Ред.)* произвести опыт на двух лицах, предварительно объяснив им, ради чего подобные опыты над ними производятся. Арон убежден, что при тщательном соблюдении чистоты всякая опасность такого опыта устраняется. Впрыснув под кожу кокаин, он вкалывал в межреберье троакар, соединенный с манометром; при этом больной мог делать вдохи лишь не очень глубокие, так как при глубоких легкое задевало за кончик троакара, что вызывало сильнейшую боль (Хороша безопасность опыта! — *Ред.)*... Несмотря на безвредность (?) употребленного способа, едва ли кому-нибудь представится случай применить его на большом числе лиц. Поэтому Арон выражает сожаление о том, что хирурги при операциях в грудной полости не производят подобных измерений. (Хирург нравственно обязан не осложнять операции и даже не удлинять ее ничем, что не нужно для блага больного.— *Ред.)*

№ 26, стр. 814. Общая, а за нею и врачебная печать Германии [1] крайне взволнованы обвинениями терапевтической клиники проф. Штинтцинга в непозволительных опытах над больными. Поводом к этим обвинениям послужила статья бывшего ассистента клиники д-ра Штрумбеля. В статье этой, действительно, встречаются прямо невероятные места. Вот два из них (речь идет о лечении сахарного мочеизнурения сухоядением): «Уже в первые дни для меня стало ясно, что без запирания на ключ моего первого больного точное исследование будет невозможно. Поэтому больной был помещен в небольшую комнату на чердаке клиники, имеющую два окна с крепкой железной решеткой. Дверь комнаты хорошо и крепко запирается. Ключ от нее был всегда у меня в кармане. Но, думая, что я таким образом предохранил себя от обмана, я ошибался: два или три раза, когда результаты исследования не согласовались между собою, я приналег на больного с допросом, и он признался, что во время сильного дождя он высунул в окно сосуд и из проходившей по крыше полутрубы добыл таким образом пол-литра дождевой воды. Однажды я убедился, что больной пил воду, данную ему для мытья; с тех пор во время дней опыта я не давал ему мыться. Однажды ночью больной, мучимый жаждой, выпил 1 400 кб. см. собственной мочи, а в последний день опыта над обменом веществ больной, в течение нескольких дней получавший очень мало питья, сломав решетку у окна, вылез на крышу и затем, сломав решетку в другом окне, пробрался в комнату служанки, где его накрыли как раз еще вовремя, когда он

[1] Общая, а *за нею* уже и врачебная печать!..— *В. В.*

подходил к крану водопровода... «Второго моего больного я тоже держал под замком, предварительно вставив в окно тройную железную решетку. В этом опыте — правда, с существованием уже грозных расстройств в общем состоянии больного,— мне удалось существенно ограничить постоянное отделение мочи и даже на полтора часа совсем прекратить его, причем я отлично сознавал, что при постоянном надзоре за пульсом и сердцем, я дошел до границ дозволенного (!— *Ред.)*. Если бы больной промучился жаждою еще часа два, то отделение мочи, быть может, и совсем бы прекратилось, а, вероятно, вместе с ним прекратилась бы и работа сердца»[1].

№ 42, стр. 1286. Интересуясь вопросом о невосприимчивости к болотной лихорадке, проф. Челли проделал такие опыты. Одному человеку автор, «впрыснув большое количество крови, взятой от больных с легкой и тяжелой трехдневными лихорадками, не мог вызвать у него никаких признаков заболевания...» Далее, Челли испробовал влияние разных лекарственных веществ на невосприимчивость к *искусственной* болотной лихорадке. (Мы не раз уже высказывали наше глубокое убеждение в непозволительности подобных опытов. Даже и при *вполне сознательном* согласии на опыт лиц, ему подвергаемых, врача должно бы остановить то простое соображение, что он отнюдь не может быть уверенным в безвредности производимого опыта.— *Ред.)* Различные вещества дали самые разнообразные результаты: йодистый калий и антипирин, например, оказались совершенно бесполезными в смысле предохранения от заболевания[2] и т. д.

«Врач», 1901, № 15, стр. 578. Франк и Веландер, исследуя вопрос о предупреждении гонорреи, производили следующие (непозволительные, по нашему мнению.— *Ред.)* опыты: двум лицам в отверстие мочеиспускательного протока на платиновом ушке вводилось перелойное отделяемое, содержавшее гонококки, затем, по прошествии пяти минут, одному из этих лиц вкапывали две капли раствора протаргола, другому же вкапывания не делалось. Первый из подвергшихся опыту оставался здоровым, *второй же заболевал перелоем.*

№ 30, стр. 949. Мур, занимаясь вопросом о лечении сифилиса специфическою сывороткою, впрыснув одной больной с неоперируемым раком сыворотку, после чего последовательно привил ей отделяемое всех трех основных периодов сифилиса. Заражения не последовало.

№ 32, стр. 987. Д-р Кистер (в Гамбурге) изучал значение для здоровья борной кислоты. Трем здоровым лицам автор давал по три грамма борной кислоты в сутки; уже спустя короткое время здоровье у них расстраивалось; появлялись рвота и понос, а на 4—10 дни — белок в моче. Назначение одного грамма в сутки в течение нескольких дней четырем лицам не оставалось без влияния на здоровье: являлись понос и рвота... Таким образом, борная кислота, принимаемая даже в небольших количествах, оказывается небезвредной.

---

[1] Профессор Штинтцинг, вынужденный печатью дать объяснение, напечатал удивительное оправдательное письмо, где утверждал, что «опыт был предпринят для лечения больного, а не ради научного исследования», что больной добровольно согласился на опыты и во всякое время мог их прекратить. Достаточно прочесть само описание опытов, чтобы увидеть, сколько правды в письме профессора.—*В. В*

[2] *Искусственной* болотной лихорадкой — т. е. больному прививали ее, и он заболевал! — *В. В.*

№ 35, стр. 1073. Профессор Тенниклайф и д-р Розенгейм исследовали влияние борной кислоты и буры на общий обмен у детей ввиду того, что мнения о безвредности этих веществ расходятся. Возраст детей в опытах авторов колебался от $2^1/_2$ до 5 лет. При этом выяснилось, что ни борная кислота, ни бура в средних приемах не оказывают никакого вредного действия на общее состояние детей.

№ 37, стр. 1151. Газеты сообщают об опытах, проделываемых американскими врачами на людях. Из восьми лиц, согласившихся за деньги подвергнуться укусам комаров, заведомо зараженных чужеядными желтой лихорадки, двое умерли, трое при смерти, двое выздоравливают после тяжелого заболевания, один остался здоровым.

№ 39, стр. 1202. Ввиду все учащающегося применения формальдегида для предохранения от порчи пищи, особенно молока, проф. Тенниклайф и д-р Розенгейм сделали попытку выяснить, путем прямых опытов на детях, влияние этого вещества на питание и обмен. Опыты были произведены на трех детях (вполне здоровый мальчик $2^1/_2$ лет, вполне здоровый мальчик 5 лет и «слабоватая девочка четырех лет, дурного питания, поправлявшаяся после пневмонии»). *Выводы:* 1) У здоровых детей формальдегид, прибавляемый к молоку в количестве до 1 : 5 000, не обнаруживает заметного влияния на обмен азота и фосфора и на усвоение жира. 2) При слабоватом здоровье это вещество действует на упомянутые процессы *заметно пагубно*, по всей вероятности, изменяя панкреатическое пищеварение и слегка раздражая кишечник и т. д.

Вот они — истлевшие остатки прошлого, вот они — старые, давно зарубцевавшиеся раны!.. Мои оппоненты усиленно корят меня за то, что я в своей книге взвожу на врачебное сословие массу самых тяжких обвинений. Я решительно утверждаю, что никаких таких обвинений я не взвожу; нельзя же в самом деле, подобно г. Фармаковскому, в указании на трагические конфликты медицинского дела видеть чуть не личное себе оскорбление. Не обобщаю я также отдельных поступков единичных лиц. Если бы из приводимых мною опытов вытекал лишь вывод, что сотня — другая бессердечных врачей забыли свои элементарные обязанности по отношению к больным, я б не стал приводить этих опытов.

Но из приводимых опытов вытекает совсем другой вывод, и это есть единственное, действительное *обвинение*, которое я взвожу на наше сословие,— обвинение в поразительном равнодушии, какое встречают описанные опыты во врачебной среде. На этом обвинении я настаиваю, да и как не настаивать на нем? Как были бы возможны подобные опыты, если бы мы относились к ним должным образом? У нас есть богатая врачебная печать, бесчисленные общества и съезды,— где же и когда выступали они против такого позорнейшего предательства врача по отношению к больному? Борьба с этим составляет лишь единоличную заслугу покойного Манассеина[1]. Если бы вся врачебная печать, все общества и съезды так же беспощадно

[1] Посмотрите вышеприведенное описание опытов во «Враче». В феврале 1901 года Манассеин умер, еще одно примечаньице, и редакция замолкает, и дальнейшие опыты с самым «объективным» равнодушием приводятся наравне с сообщениями о новой теории рахита и о случаях нервного выпадения волос.

и энергично, как он, выступали против каждой попытки врача обратить больного в предмет своих опытов, то ведь только сумасшедшему могло бы прийти в голову печатать о таких опытах, как только сумасшедшему может прийти в голову рассказывать в газетах о совершенном им, скажем, убийстве ребенка. Между тем в действительности все подобные сообщения проходят так мирно и тихо, что вот оказывается даже возможным утверждать, будто все это уже миновало и теперь ничего подобного не происходит. Кругом десятками творятся форменные живосечения над людьми, а гг. Кюльц и Горелейченко *даже ничего не слышали об них!* Разве это не характерно?..

«Опытов над живыми людьми,— пишет г. Алелеков в своей рецензии на «Записки»,— никто не оправдывал и никогда не оправдает, но поголовное обвинение врачей в «бездействии», в отсутствии протеста и борьбы против таких опытов есть совершенно несправедливый укор медицине, не ответственной за проступки немногих личностей; а призыв общества к «принятию мер к ограждению своих членов от ревнителей науки» — есть только несправедливый и позорный призыв к борьбе со всеми врачами, столь же логичный, как крик толпы: «Бей их всех, там после разберем, кто воровал и кто помогал!» Нам стыдно за прибегающего к таким приемам человека, притом же врача!» [1].

Вдумайтесь в смысл этих слов. Обвинять врачей в бездействии — несправедливо, потому что «медицина не ответственна за проступки немногих личностей» (т. е., значит, врачи вправе бездействовать?); а призывать общество к борьбе — не только не справедливо, но даже позорно и нелогично... Удивительное дело! Тут такой туман, такая притупленность самого элементарного нравственного чувства, что положительно начинаешь теряться. Ведь вопрос ясен и гол до ужаса: совершается позорнейшая гнусность, которой, как соглашаются все мои оппоненты, «никто не оправдывает» (как мягко!). Что же делать? Казалось бы, и ответ не менее ясен, чем сам вопрос: нужно всем соединиться, поднять общественное мнение, не успокаиваться, пока с корнем не будет вырвана эта гнусность, пока она не отойдет в область невероятных преданий.— сказать: «да, наша вина, что мы терпели до сих пор на своем теле эту позорную болячку...»

Но нет, тут есть нечто еще более ужасное: а ну, как публика подумает, что «медицина ответственна за проступки немногих личностей», и закричит: «бей их всех, не разбирая!» Лучше уж потщательнее прикрыть свою болячку — и молчать, молчать...

VI

Мои критики дружно указывают на «непозволительное сгущение красок» и «несомненные преувеличения», которыми полна моя книга. Отвечать на этот упрек было бы крайне трудно и совершенно бесцельно, если бы вопрос носил, так сказать, количественный характер. Я, скажем, совершил пять врачебных ошибок, другой — две, третий — десять; у меня было столько-то несчастных операций, у другого — столько-то. Как доказать, как проверить, какое количество типично для среднего врача? Но дело тут совершенно в другом... «Вра-

---

[1] *Медицинское обозрение*, 1902, № 2, стр. 169.

чебная газета», в которой печаталась разобранная выше статья д-ра Фармаковского, заявляет в № 51 (1901 г.), что статья эта «ясно доказывает несомненные преувеличения г. Вересаева». В чем же заключаются эти преувеличения? Вот что говорит о них сам г. Фармаковский:

«Вересаев отрицает свое сгущение красок И в доказательство того, что этого сгущения нет, он приводит свои ссылки на целый ряд документальных данных. Но на этот довод можно было бы возразить таким примером. Представим себе, что мы имеем перед собою назначенную врачом микстуру, содержащую в себе серную кислоту. И вдруг к такому больному приходит химик-дилетант. Прочтя на сигнатурке страшное название серной кислоты, этот химик стал бы уверять больного, что в его лекарстве находится страшный яд; и в доказательство своих доводов он обычными химическими путями извлек бы эту кислоту в чистом виде и показал бы ее едкие свойства на деле. То самое лекарство, которое имело приятный кисловатый вкус, вдруг содержит вещество, прожигающее даже грубую кожу руки. И если бы кто-нибудь стал упрекать доброжелателя-химика в произведенном им сгущении положенной в лекарство кислоты, в силу чего она приняла такие едкие свойства, то химик, подобно Вересаеву, всегда бы мог возразить, что он документальными данными докажет присутствие этого едкого вещества в лекарстве и что в своих химических манипуляциях он не вносил его извне» (стр. 137).

Г. Фармаковский своим примером чрезвычайно удачно охарактеризовал различие точек зрения, с которых мы смотрим на дело. Тот напиток, от которого мы вместе с г. Фармаковским пьем, вызывает в нас совершенно различные ощущения. У г. Фармаковского он вызывает лишь ощущение «приятного кисловатого вкуса», «едкие свойства» можно в нем обнаружить лишь совершенно непозволительным путем искусственного экстрагирования «всех слабых и дурных сторон медицины»; в действительности такими свойствами напиток не обладает. Тут, действительно, наше коренное, главнейшее разногласие, из которого вытекают все остальные. Читатель видел, что г. Фармаковский, как и прочие мои оппоненты, спорил не о том, *насколько* едок наш напиток,— он именно спорил и доказывал, что наш напиток есть очень приятная на вкус кисловатая водица.

Но читатель видел и те приемы, к которым для этого приходилось прибегать г. Фармаковскому. Одни вопросы он старался подкрасить, другие отметал в сторону успокоительным замечанием: «а разве в других профессиях лучше?» — третьих, наконец, просто не хотел замечать, закрывал на них глаза. И вот вопросы, полные самого глубокого трагизма, самой «едкой кислоты», благополучно растворились в его брошюре в невинную и приятную на вкус кисловатую водицу...

Автор «Общественной хроники» в «Вестнике Европы» (1902, № 3), отмечая предпринятый против «Записок» «профессиональный поход», с недоумением спрашивает: «Что, собственно, не понравилось в них значительной части медицинского мира?» Подробно разобрав содержание книги, он не находит в ней ничего, что оправдывало бы вызванное ею негодование; единственное объяснение оказанному ей приему, по мнению уважаемого автора, «поневоле» приходится видеть в следующем: «Кто забыл тяжелые впечатления, испытанные в молодости, кто хорошо устроил свою личную жизнь и привык убаюкивать себя мыслью, что так же хорошо все устроено и в окружаю-

щем его мире, того не могла не потревожить,— а следовательно, и раздражить,— книга г. Вересаева».

Я решительно не могу согласиться с таким объяснением. Правда, в злобных инсинуациях некоторых из моих критиков слишком ясно сказывается потревоженное благодушие людей, для которых их личное благополучие обозначает и благополучие всего окружающего. Но таковы далеко не все мои критики. Взять хоть бы того же г. Фармаковского: насколько можно судить по его брошюре, он, по-видимому, человек хороший и симпатичный, таковы же, несомненно, и большинство моих оппонентов. Мне кажется, суть здесь не в эгоистической неподвижности сытого благополучия, суть дела гораздо глубже и печальнее: она заключается в той иссушающей, калечащей душу печати, которую накладывает на человека его принадлежность к профессии.

На все явления широкой жизни такой человек смотрит с узкой точки зрения непосредственных практических интересов своей профессии; эти интересы, по его мнению, наиболее важны и для всего мира, попытка стать выше их приносит, следовательно, непоправимый вред не только профессии, но и всем людям. Конечно, в луне и солнце пятна есть,— есть они и в его профессии; но если их и можно касаться, то нужно делать это чрезвычайно осторожно и келейно, чтоб в посторонних людях не поколебалось уважение к профессии и лежащим в ее основе высоким принципам... Но ведь всякая профессия имеет дело с людьми, ее темные стороны отзываются на людях страданиями и кровью? Что же делать,— пусть так, но для тех же людей еще важнее, чтобы в них прочно было доверие к столь необходимой для них профессии.

Такое настроение, разумеется, меньше всего способствует энергичной и плодотворной борьбе с темными сторонами профессии: как возможна такая борьба, если на каждом шагу приходится пугливо оглядываться, не доносится ли шум борьбы до уха непосвященного человека? А ухо этого «непосвященного», как нарочно, удивительно чутко на такой шум. И вот самые жгучие вопросы профессии начинают замалчиваться, начинают решаться каждым лицом отдельно, втихомолку, и, наконец, совершенно теряют для него всю свою «едкую кислоту». И он уж вполне искренне испытывает от них только «приятный кисловатый вкус» и с невозмутимым самодовольством утверждает, что в его профессии все очень хорошо и благополучно.

Есть старое правило Канта: «Действуй так, чтобы можно было представить себе, что правила твоей деятельности могут быть возведены во всеобщий закон, обязательный для всех, чтобы при этом не выходило никакого противоречия». Это правило совершенно чуждо и не может не быть чуждым всякому человеку профессии. Для такого человека *его* профессия есть нечто совершенно другое, чем все остальные. Если он, напр., врач, то будет искренне негодовать и удивляться, для чего это нужно скрывать от кого-нибудь темные стороны судейской, адвокатской, путейской, духовной профессии; будет, подобно г. Фармаковскому, от души восхищаться, «как глубоко проникает великий писатель в своем «Воскресении» в душу заседающих за столом судей» (стр. 102). Но если этот человек принадлежит к судебному миру, то по поводу того же «Воскресения» он (как это в действительности и было) с негодованием станет утверждать, что психологическая проницательность изменила на этот раз великому писателю, что он с непозволительным легкомыслием нарисо-

вал ряд карикатур, не подумав о том, что «непосвященный читатель» по прочтении его романа потеряет всякое уважение к высоким принципам состязательного процесса и гласного суда.

VII

Критики мои настойчиво указывают еще на те противоречия, которыми полна моя книга. На протяжении почти всего своего фельетона в «Frankfurter Zeitung» * д-р Нассауэр занимается сопоставлением разных мест моей книги с указанием на их «противоречивость» и на мое «колеблющееся мышление». В чем же заключаются эти противоречия? Я выступаю, напр., защитником живосечений, доказываю их неизбежную необходимость для науки и в то же время рассказываю о мучениях, которые испытал, делая научные опыты над обезьяной. Я говорю о трупах, которыми сопровождается введение новых средств и изобретение новых операций, и в то же время заявляю: «Путем этого риска медицина и добыла большинство из того, чем она теперь по праву гордится. Не было бы риска, не было бы и прогресса; это свидетельствует вся история врачебной науки». И все в таком роде.

Противоречия ли это? Конечно, противоречия. Но дело в том, что это противоречия не логические, а противоречия *жизни*. Противоречия первого рода устранить было бы легко. «Живосечения необходимы», «прогресс науки невозможен без риска». Мои противники так и поступают. Логически выходит гладко, но при этом ни на каплю не уничтожаются те жизненные противоречия, которые остаются лежать невскрытыми под логически-безупречными фразами. Для многих из указанных жизненных противоречий я не могу найти решающего выхода Некоторых из моих критиков это обстоятельство приводит в самое веселое настроение. Вот, напр., какими вставками сопровождает один из моих французских критиков выдержку из моей книги:

«И я думал: нет, вздор все мои клятвы! Что же делать? Прав Бильрот — «наши успехи идут через горы трупов». *(Тремоло в оркестре!)* Другого пути нет... Но в моих ушах раздавался скрежет погубленной мною девочки, и я с отчаянием чувствовал, что у меня не поднимется рука на новую операцию. *(Занавес опускается.)* «Мелодрама» закончилась».

«Что же делать? Где граница дозволенного? — продолжает цитировать меня тот же критик — Каждую дорогу мне загораживает живой человек; я вижу его и поворачиваю назад». Нечего сказать, поелестно поставленный вопрос! Хотите вы знать ответ Вересаева? Вот он во всей своей сложности: *я ничего не знаю!*.. Мы удовлетворены...» [1]

Удовлетвориться этим, конечно, нельзя. Но следует ли отсюда, что можно игнорировать или, еще хуже, высмеивать самый вопрос о «живом человеке», загораживающем пути медицины? Ведь как ни стараться отмести этот вопрос в сторону, как ни высмеивать его, он все-таки черным призраком будет стоять над наукою и неуклонно требовать к себе всего внимания людей, для которых этические вопросы нашей профессии не исчерпываются маленьким кодексом профессиональной этики.

---

[1] *La Médecine Moderne*, 1902, № 24, p. 200.

* «Франкфуртская газета» *(нем.)*.— *Ред.*

Как это ни печально, но нужно сознаться, что у нашей науки до сих пор нет этики. Нельзя же разуметь под нею ту специально-корпоративную врачебную этику, которая занимается лишь нормировкою непосредственных отношений врачей к публике и врачей между собою. Необходима этика в широком, философском смысле, и эта этика прежде всего должна охватить во всей полноте указанный выше вопрос о взаимном отношении между врачебною наукою и живою личностью. Между тем даже частичные вопросы такой этики почти не поднимаются у нас и почти не дебатируются. Не странно ли, что такой трудный и сложный вопрос, как, напр., вопрос о границе дозволительного врачебного опыта на людях, оставляет совершенно безучастными к себе все наши общества и съезды, что на них сказано по этому вопросу, несомненно, во сто раз меньше, чем хотя бы по вопросу о врачебной таксе? Что же касается указанного общего вопроса, то он, сколько мне известно, даже никогда и не ставился. Между тем именно он-то должен был занимать в медицинской этике центральное место.

Но для этого прежде всего, разумеется, нужно не скрывать и не смазывать тех противоречий, из которых вытекает указанный вопрос; напротив, противоречия должны быть выяснены вполне, во всей их тяжелой и мучительной остроте. Мне возражают: «Но ведь они неразрешимы, эти противоречия, они подавляют своею жуткою безысходностью; для чего их поднимать, если выхода все равно нет?» А какой вообще вопрос возможно решить, если его не поднимать? Какой сколько-нибудь сложный вопрос, будучи поднят, может быть легко и быстро приведен к окончательному решению? Решен ли трудный вопрос о врачебной тайне,— единственный усердно дебатируемый врачами этический вопрос, выходящий из рамок узко-профессиональной этики? Конечно, нет. А между тем разве обсуждение его не оказалось полезным? Если он и не решен, то вся масса доводов за и против дает каждому отдельному врачу возможность легче и правильнее прийти к определенному решению в каждом данном случае.

Иногда же и выхода-то из противоречия нет только потому, что его не ищут, он оказывается даже найденным, но почти никому неизвестным. Таков, напр., вопрос о первой операции; предварительное оперирование на живых животных, как мы видели, значительно упрощает его. Еще семьдесят лет назад на это мимоходом указал Мажанди, уже несколько лет д-р А. П. Левицкий в Москве применяет это на практике. Но вопрос не поднимаемый, замалчиваемый не требует и ответа, и все потихоньку идет прежним путем.

Как видим, среди указанных «неразрешимых» вопросов есть вопросы, для которых существует совершенно определенное практическое разрешение, только нужно его поискать; возможно, что и для некоторых других вопросов найдется, при желании, столь же удовлетворительное решение. Оставляя в стороне возможность такого коренного, практического решения частичных вопросов нашей этики и возвращаясь к ее общей задаче, повторю еще раз, что главная задача ее, по моему мнению, заключается во всестороннем теоретическом выяснении вопроса об отношении между личностью и врачебною наукою в тех границах, за которыми интересы отдельного человека могут быть приносимы в жертву интересам науки. Понятно, что это не есть специальный вопрос какой-то особенной врачебной этики,— это большой, вековечный, общий вопрос об отношении между лично-

стью и выше ее стоящими категориями — обществом, наукою, правом и т. д. Но, не составляя специальной особенности медицинской науки, вопрос этот в то же время слишком тесно сплетается с нею и не может быть ею игнорируем, не может, как это есть теперь, в одиночку и втихомолку, в полной темноте, решаться каждым врачом отдельно для его собственных надобностей.

С другой стороны, вопрос этот не может быть только придатком на теле медицины, он должен быть соками и кровью, насквозь проникающими весь организм врачебной науки. Ее тесная и разносторонняя связь с живым человеком делает необходимым, чтобы все, даже чисто научные вопросы решались при свете этого основного этического вопроса И даже простая постановка его — и та уж имела бы огромное значение, потому что создала бы ту этическую атмосферу, в которой бы ярко и чутко сознавалась нами вся тонкость нашей нравственной ответственности перед прибегающим к нашей помощи человеком.

«Не думай,— обращается ко мне в своем «Ответе» д-р Л. Кюльц, типический немецкий Фармаковский,— не думай, что вопрос успешного отправления врачебной практики прежде всего должен решаться с философской точки зрения. Куда приведет это? Куда это привело тебя? У нас есть на этот счет прекрасная пословица, гласящая: суди, дружок, не выше сапога,— ne sutor supra crepitam...» [1].

Помилуйте, мы с вами не ребята,

не ребята, г. Кюльц, и не сапожники! К чему такое скромное мнение о нашем «ремесле», к чему такой трепет перед философией? Вы спрашиваете,— куда приведет это, куда это привело меня? Меня это привело к глубокому убеждению, что узкие вопросы врачебной практики *прежде всего* должны решаться именно с философской точки зрения; и только в этом случае мы сумеем, наконец, создать настоящую медицинскую этику, в основу которой ляжет глубокое изречение одного из самых привлекательных по душевному строю врачебных деятелей,— то изречение Бильрота, которое я привел в эпиграфе: *«Мы работаем для человечества над самым трудным материалом, именно — над человеком».*

VIII

В заключение — еще одно замечание по поводу брошюры г. Фармаковского. Последнюю, заключительную главу «Записок», как это ни невероятно, г. Фармаковский понял вот как:

«Наблюдая все бедствия нищеты, нельзя же нам, врачам, подобно Вересаеву, не считать себя вправе стремиться к улучшению своего быта лишь только потому, что мы встречаем людей, живущих еще хуже нас. Не следует *стараться унизить свое социальное положение до них.* Не могу согласиться с Вересаевым, что если деятельность описанного им литейщика вогнала его в чахотку, то и *ему, Вересаеву, нельзя заботиться о своем здоровье и об улучшении своего быта...»* «Нет! — бодро восклицает г. Фармаковский,— покуда не

[1] «Antwort», p. 31.

все мы дошли до такого отчаяния, как Вересаев, встанем мы за свои права! Улучшив свой быт, мы улучшим и судьбу тех несчастных страдальцев, о которых Вересаев упоминает в заключении своих «Записок» и тяжелое положение которых не позволяло его расстроенной фантазии заботиться о своей собственной жизни» (стр. 146—148).

Нужна большая, столь характерная для г. Фармаковского беззаботность по отношению к «небу и блистающим на нем звездам», чтоб умудриться *так* понять мои слова. С чувством глубокого удовлетворения могу отметить, что все-таки не все врачи, по крайней мере за границей, так безнадежно увязли в засасывающей топи узкого и близорукого профессионализма. «Изображая оборотную сторону врачебной практики,— пишет д-р Линзмайер о «Записках»,— автор как будто грозит заехать в фарватер обычных врачебно-социальных статей последнего времени, сосредоточивающихся в призыве: «Врачи, соединяйтесь против врага!» Но в заключительной главе, где от маленького врачебного сословия он обращает взгляд на большое горе большинства народа и признает, что «исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех»,— в этой главе автор поднимается на высоту, которая должна увлечь каждого чувствующего и думающего человека» [1].

Я глубоко убежден, что на эту «высоту», рано или поздно, необходимо должны будут подняться все, сколько-нибудь думающие и чувствующие люди нашего сословия. Но почему,— спрошу я еще раз то, что уже спрашивал в «Записках»,— почему так трудно понять это нам, которые с детства росли на «широких умственных горизонтах», когда это так хорошо понимают люди, которым каждую пядь этих горизонтов приходится завоевывать тяжелым трудом?

Июль 1902 г

Постоянно продолжают появляться все новые брошюры и статьи по поводу «Записок врача». К сожалению, литература эта, столь значительная в количественном отношении, качественно чрезвычайно малоценна: все то же негодование на «тяжкие обвинения», примеривание, как поймет такое-то место «непосвященный» читатель, торжествующие указания на мои будто бы постоянные противоречия — этим исчерпывается содержание большинства статей [2].

Но в последнее время появились две брошюры, значительно уклоняющиеся от обычного типа; обе, хотя и по разным причинам, заслуживают серьезного внимания.

Одна из этих брошюр принадлежит перу киевского профессора-психиатра И А. Сикорского [3] По мнению профессора, «Вересаев остался писателем непонятым как своими противниками, так и приверженцами»; но винить в этом никого нельзя, потому что «художественные темы, за которые взялся Вересаев, во всяком случае новы, и для критической оценки их требуется художественная и психологическая, а может быть, даже психиатрическая подготовка» (стр. 8).

---

[1] *Wiener Klinische Rundschau*, 1902, № 19, p. 404.

[2] Исключение представляет интересная книга д-ра Д Н. Жбанк «О врачах». Москва, 1903.

[3] «О книге В Вересаева *Записки врача* (что дает эта книга науке, литературе и жизни)». Киев, 1902.

В книге увидели «произведение медицинское, т. е. трактующее о медицине и врачебном быте. В этом заключалась основная ошибка критиков и читателей. Самым справедливым, быть может, единственно справедливым отношением к книге будет взгляд на нее как на произведение художественное, к которому может быть применен единственный прием оценки,— критика научно-литературная» (стр. 29). «По нашему мнению,— заявляет проф Сикорский,— успех книги Вересаева в России и отчасти за границей зависит от двух главнейших условий,— от несомненных художественных достоинств, какие ей присущи, но еще более от того, что автору ее удалось попасть в колею нового, назревающего вопроса, имеющего высокое практическое значение для жизни. Его книга надолго останется поучительным материалом, в котором психологическая медицина и психология найдут для себя интересные указания Новый вопрос, о котором мы сказали,— это вопрос о «неполных или недоразвившихся» характерах. Существенную черту этих характеров составляет слабое развитие воли, при достаточном, иногда даже весьма тонком, развитии ума и, в особенности, чувства. Книга Вересаева представляет собою талантливо проведенное, художественное изображение человека, обладающего очерченным сейчас характером. Изображение доведено до мелких подробностей, до множества едва уловимых, едва заметных деталей. С этой стороны книга приобретает большую ценность для психолога, психиатра, педагога-криминалиста По своей художественной манере контрастов Вересаев, для большей рельефности картины, заставляет своего героя быть врачом, т. е. исполнять такую профессию, которая безусловно требует нормально развитой воли. При такой постановке задачи своеобразный склад характера изображаемого лица выступает со всею пластичностью и наглядностью, как при реактиве. *В этом состоит художественный замысел «Записок врача», и он вполне удался автору»* (стр. 10).

Профессор обстоятельно рассматривает с этой стороны мою книгу и осыпает меня комплиментами. «С истинною художественною проницательностью» (стр. 18), «с замечательной художественностью» (стр. 19), «с редкою художественностью» (стр. 24) изображаю я такие-то и такие-то особенности душевного склада своего безвольного героя При моей «психологической проницательности», полагает проф. Сикорский, я «мог бы избрать иную научную карьеру, способен был бы глубоко проникнуть в тайники сложнейших явлений психической жизни, руководствуясь одним только художественным вкусом» (стр. 24).

Я совершенно сконфужен. Никогда еще не приходилось мне читать такой лестной оценки моего «художественного дарования», но... но,— да простит меня проф. Сикорский,— комплименты его опираются на такие бьющие в глаза противоречия, что получают чрезвычайно странную окраску. «Художественные темы, за которые взялся Вересаев, новы»,— заявляет профессор на стр. 9. Эта новая тема заключается в данном мною (по толкованию проф. Сикорского) типе «колеблющегося, сомневающегося, ноющего, бессильного человека». Тип же этот, как совершенно справедливо замечает проф. Сикорский,— «старый тип, хорошо известный в русской литературе» (стр. 30). В чем же новизна моей темы?.. Далее проф. Сикорский говорит: «Выходит, как будто Лев Толстой, со своим талантом и своими гораздо более важными темами, производит меньшее впечатление, чем Вересаев»; ни Толстой, ни Чехов и Горький «далеко не вызвали того всеоб-

щего раздражения и беспокойства и того смутного, но щемящего интереса, как разбираемая книга Вересаева» (стр. 4). Интерес, возбужденный «Записками врача», как мы уже видели, профессор объясняет двумя причинами: во-первых,— их «несомненными художественными достоинствами»; во-вторых, главное,— тем, что «автору удалось попасть в колею нового, назревающего вопроса»,— вопроса «о неполных или недоразвившихся» характерах. И проф. Сикорский совершенно не замечает, как неудачно его объяснение. Он называет, между прочим, Чехова. Произведения этого писателя в несравнимо большей мере удовлетворяют как раз тем двум условиям, которыми профессор объясняет успех «Записок врача». Во-первых, мое «художественное дарование», как справедливо замечает и сам профессор, совершенно даже несравнимо с дарованием Чехова. Во-вторых,— главный, почти единственный тип, который с почти болезненной настойчивостью рисуется Чеховым в самых разнообразных видах, есть как раз тип человека с атрофированною волею. Как же этими причинами можно объяснить тот большой интерес, который вызвали к себе мои «Записки» сравнительно с произведениями Чехова (что, кстати сказать, совершенно и неверно)?

Иногда похвалы проф. Сикорского настолько переходят всякую меру, любезность его так бесконечна, что под нею уже совершенно ясно чувствуется скрытая улыбка данайца. Между прочим, профессор останавливается на XIV и XV главах, где я говорю о будущем медицины. Изложенные в них мысли представляются проф. Сикорскому «скорее игрою необуздываемого воображения, чем здравою работою реального ума; герой «Записок» думает, что вздумается, его воля не кладет предела потоку мыслей, носящих явно несбыточный и невероятный характер» (стр. 15). Чего еще яснее? Мысли, изложенные в указанных главах, вздорны, притом сами главы «вставлены в книгу искусственно, без логической связи и необходимости» (стр. 17). Казалось бы, вывод может быть только один: эти главы никуда не годны и лишь портят мой «в высшей степени ценный труд». Но нет. на моей художественной палитре нет неверных красок! Оказывается, у меня был тут тонкий расчет: «введением этих глав автор, очевидно, желал только указать на характер мышления своего героя; этим, в самом деле, иллюстрирован умственный склад героя и его отличительные черты» (стр. 17).

Но что же значат эти безудержные восхваления, которые проф. Сикорский расточает моему *художественному дарованию?* Вот что. «С нашей точки зрения,— пишет он,— не представляется никаких оснований для полемики с художником. Не медицину изображал Вересаев,— таково наше мнение,— но человека, который очень своеобразно воспринял медицину и не менее своеобразно отразил ее в своей односторонней душе. *В этом один он повинен*, если только здесь кто-нибудь сумеет найти вину» (стр. 30).

Узел развязан, разгадка найдена. Мрачные, мучительные вопросы, на которые так настоятельно нужны ответы, озаряются розовым эстетическим светом, и остается только спокойно любоваться на них. Опыты над живыми людьми?.. Об них не стоило бы говорить, ведь это «было в минувшее, уже невозвратно минувшее время» — в пятидесятых годах (о более поздних опытах, вплоть до настоящего времени, профессор умалчивает); но с какою «замечательною художественностью» Вересаев отмечает «психический курьез» умственного склада своего героя,— склонность «обращаться к архаическому прошедшему,

вообще — в сторону от действительности и фактов» (стр. 19)[1]. Первая операция на живом человеке?.. Ясно, как день, что причиною неудачной операции было только то, что вересаевский герой не имел силы воли сконцентрировать свое внимание на самой операции; но как «превосходно» это описание «двоящегося внимания» у безвольного героя!.. И так относительно всего.

Всякого рода критика законна, в том числе, конечно, и художественно-эстетическая и психологическая,— почему не подвергнуть мою книгу и такой критике? Но проф. Сикорский не только психиатр, он раньше и главнее — *врач*, и естественно было бы ждать от него более широкой постановки вопроса, тем более что статье о моей книге он дал многообязывающий подзаголовок: «Что дает эта книга науке, литературе и жизни». Скажем, герой «Записок» правильно истолкован проф. Сикорским; но сам же профессор находит, что подобные моему герою люди «могут явиться живою, неугомонною совестью врачебного сословия», что книга моя «может быть названа зеркалом профессиональной совести» (стр. 26). Почему же он ни одним словом не коснулся вопросов, тяготящих эту совесть, туч, отражаемых этим зеркалом? Ведь если книга моя представляет собою хоть маленький осколок такого зеркала, то этим она дает «науке, литературе и жизни» гораздо больше, чем все ее «редкие», «замечательные» и «истинно-художественные» психологические красоты, восхваления за которые я принять от г-на профессора почтительнейше отказываюсь.

Статья проф. Сикорского вызвала очень восторженный отзыв другого киевского проф., А. С. Шкляревского. «С появлением труда проф. Сикорского,— пишет проф. Шкляревский,— критика книги г. Вересаева вступила в новый и решительный фазис. Полемизировать с проф. Сикорским по поводу высказанных им взглядов невозможно, потому что они основаны на неопровержимых фактах и столько же неопровержимых из них выводах. Ему удалось разгадать ту загадку сфинкса, которая вот уже два года кошмаром тяготеет над нашей литературой»[2].

По моему мнению, труд проф. Сикорского представляет собою лишь чрезвычайно искусную попытку эскамотировать сущность этой «загадки» и перенести центр тяжести в безразличную область художественности и психологии. Но недавно по поводу «Записок врача» вышла другая брошюра, после которой, по моему мнению, спору о моей книге, действительно, пора бы вступить в «новый и решительный фазис». Эта брошюра принадлежит д-ру М. Л. Хейсину и издана в Красноярске, по постановлению Енисейского общества врачей[3].

Д-р Хейсин обладает одним чрезвычайно важным достоинством,— откровенностью, отсутствие которой так томит и раздражает в возражениях других моих оппонентов. Читатель видел на работе д-ра Фармаковского, как усиленно старается он отвильнуть от встающих

---

[1] Сухое описание опытов, состоящее почти сплошь из цитат, занимает в моей книге больше тридцати страниц; хороша «замечательная художественность» приема!

[2] «Книга г. Вересаева перед судом психологии», Киев, 1902, стр. 21.

[3] «К вопросу о врачах», Красноярск, 1902.

перед ним вопросов и всячески замутить их. Я утверждаю, напр., что успехи медицины идут через трупы. Что можно по этому поводу говорить? Можно либо доказывать, что это неверно, либо, признав факт верным, доказывать, что медицина имеет право идти по трупам, либо, наконец, отвергнув такое ее право, искать выхода из существующего положения. А как возражает г. Фармаковский? «Вот нам, честным труженикам, бросают в лицо тяжкое обвинение, что мы идем по трупам. О, как это больно... А какие другие профессии не идут по трупам? Тем не менее их вот не обвиняют в этом!» Вы чувствуете, как под этими жалобами копошатся две друг друга исключающие правды, и каждая из них тщательно старается спрятаться за другую: ведь если медицина права, то нет тяжкого обвинения; если есть тяжкое обвинение, то медицина не станет правее от того, что и в других профессиях наблюдается то же самое.

Приведу один еще более яркий пример такого сожительства двух совершенно несовместимых правд. Читатель видел, как определенно высказалось «Медицинское обозрение» относительно приведенных в моей книге опытов над живыми людьми. «Опытов этих,— заявило оно,— *никто не оправдывал и никогда не оправдает*»[1]. И вот всего через несколько номеров то же «Медицинское обозрение» пишет: «Когда же Вересаев поймет, что медицина есть наука опытная, что каждый врач всю жизнь *принужден* делать опыты над людьми? *Непозволительные* опыты всюду принадлежат к редкостям, а у нас в России до сих пор нашелся *один* такой экспериментатор,— г. Шатуновский»[2]. Все курсивы в последней цитате принадлежат самому «Медицинскому обозрению». И опять,—что может быть определеннее как раз в противоположную сторону? *Непозволительные* опыты до сих пор совершал в России лишь *один* врач — Шатуновский, но, как всем известно, Шатуновский никаких опытов и не совершал, а просто прививал своим пациентам сифилис, чтоб потом брать с них деньги за лечение: ясно, значит,— в России у нас непозволительных опытов *совсем не было*, значит, приведенные у меня опыты профессоров Тарновского, Ге, Гюббенета, ряд опытов, отмеченных Манассеиным во «Враче»,— всё это опыты позволительные. «Медицинское обозрение» даже негодует, как я этого до сих пор не могу понять,— а рядом с этим само же заявляет, что подобных опытов «никто не оправдывал и никогда не оправдает!» По такому основному вопросу медицинской этики, как вопрос о праве врача делать опыты над своими больными, один из наиболее авторитетных и уважаемых органов русской врачебной печати одинаково категорически высказывает два совершенно противоположных взгляда.

Упомянутая выше брошюра д-ра Хейсина ценна именно тем, что в ней нет и следа этого виляния, нет лицемерных заявлений, что «никто не оправдывает», тогда как сам же заявляющий оправдывает; г. Хейсин не отрицает также «pour les gens»* того, что «между своими» ни один врач отрицать не станет. Ввиду этого брошюра стоит того, чтоб заняться ею подробно.

Д-р Хейсин подходит вплотную именно к той стороне моей книги, которая только и может быть предметом серьезного спора, имен

---

[1] *Мед. обозр.*, 1902, № 2, стр. 169.
[2] *Мед. обозр.*, 1902, № 7, стр. 604.
* «Для людей» *(франц.).— Ред.*

но к «этико-философской» стороне ее. Вполне правильно он отмечает, что центральным вопросом является здесь вопрос об отношении между живою человеческою личностью и прогрессом науки, вполне правильно также он видит «объединяющую точку зрения» моей книги в том, что я на первый план выдвигаю интересы этой человеческой личности. Г. Хейсин самым решительным образом выступает против такой точки зрения и не может найти достаточно презрительных слов, чтоб заклеймить ее.

Почему интересующие меня вопросы представляются мне тяжелыми и настоятельно требующими разрешения? Потому что я смотрю на них с точки зрения «обывательской», «сантиментальной» гуманности. Но «человек, заинтересованный в развитии медицины, верящий в науку, любящий медицину, должен был смотреть на эти вопросы под другим, более широким углом зрения, и они у него потеряли бы тот ужасный, с обывательской точки зрения, характер, какой они носят у Вересаева» (стр. 24). «Обывательская гуманность совершенно не мирится с поступательным ходом прогресса в любой области человеческих отношений. Когда мы начнем говорить о прогрессе, о развитии, тогда нам приходится прибегать к другим критериям. Поступательное движение жизни человечества совершается ценою постоянного жертвования частных интересов и личного страдания» (стр. 21). «Если мы теперь обратимся к Вересаеву, то увидим, что у него постоянно в душе идет конфликт между обывательскою гуманностью и прогрессом медицины, и всегда почти преобладает тон гуманности сантиментальной» (стр. 23).

«Может ли прогресс в любой области вообще развиваться без «жестокости»? Весь путь прогресса, достигнутого нами теперь, усыпан не розами, а весь обагрен кровью. Всякая новая идея принуждена была оставлять в истории кровавый след, как только она хотела выйти из узких рамок. *Даже самые гуманные идеи распространялись и завоевали себе власть огнем и мечом. Вспомним хотя бы победы христианства над языческим миром»* (стр. 35).

Можно бы подумать, что последние, подчеркнутые мною, слова г. Хейсин написал просто, так сказать, с разбегу, что это описка, которую невеликодушно ставить ему в счет. Конечно, кто же не знает, что «весь путь прогресса обагрен кровью», но ведь опять же это тоже старая истина, что идеи распространяются и завоевывают себе власть не огнем и мечом, а *под* огнем и мечом, что обязанные огню и мечу победы «христианства» над языческим миром были самым полным и трудно поправимым *поражением* христианской идеи. Но нет, у г. Хейсина это не описка. Если не меч и огонь («с развитием истории смягчаются грубые формы всякого рода завоеваний»,— замечает г. Хейсин),— то более современные, не пахнущие гарью и кровью формы насилования чужой души являются для г. Хейсина чрезвычайно важными факторами в распространении прогрессивных идей. Г. Хейсин цитирует следующее место из одной статьи о моей книге: «Говоря об оскорблении женской стыдливости при исследовании в клиниках, Вересаев опять становится на страже интересов живой человеческой личности. Он соглашается, что в чувстве стыдливости много условного, временного, но, пока это чувство так сильно в людях, с ним надо считаться. Во-первых, «ради науки нельзя попирать личность», а во-вторых, попирание этого чувства ведет к серьезным последствиям. *Пока служители науки должны считаться с*

проявлением человеческой личности, с ее чувствами, как бы извращены они ни были» (курсив г. Хейсина)[1]. Вот, господа, она, эта обывательская точка зрения! — восклицает г. Хейсин.— Как же можно иначе бороться с предрассудками? Ведь всякая борьба с предрассудками есть своего рода топтание живой человеческой личности!» (стр. 31).

В этом есть, как мы сейчас увидим, одна даже очень хорошая сторона. Пока же идем дальше. «Если мы обратимся теперь к ламентациям Вересаева по части вскрытий,— продолжает д-р Хейсин,— то тут становятся совершенно непонятными его громы против вскрытий в больницах» (г. Хейсин позволяет себе маленькую неточность: я вооружаюсь только против *принудительных* вскрытий, а не против вскрытий вообще,— напротив, я доказываю чрезвычайную их важность и необходимость для науки). «Вообще, вопрос об исследованиях, вскрытиях ставится автором слишком слезливо. Но вот что важно,— он подчеркивает другую сторону дела (вот что важно, г Хейсин: *я только* об этой именно другой стороне и говорю). Он указывает на то, что объектом этих учений является *бедный класс*, и только нужда гонит бедняков в клинику на пользу науки и школы. Это, конечно, совершенно справедливо. Богатым людям, конечно, нечего приносить себя в жертву науке и школе. Общественное чувство им большею частью чуждо. Где позволит себе (?) какой-нибудь буржуа, чтобы его ожиревшую печень прощупывали студенты; где позволит себе богатая маменька отправить свою дочку в клинику на прием. Где позволит себе (?) богатый человек вскрыть труп своего сына или родственника. Тут общее явление. Для развития науки служат также главным образом необеспеченные классы общества; хорошая *сторона здесь та, что среди этих классов естественным путем (!) развивается общественное чувство»* (стр. 32—33).

Вы возмущены, читатель? Вы недоумеваете, как может повернуться язык путь самого явного экономического принуждения называть «естественным путем»? Полноте, что за «обывательская точка зрения»! Помните, что «даже самые гуманные идеи распространяются огнем и мечом»,— отчего же, если хорошенько прижать бедняка к стене, в нем не разовьется «общественное чувство»? Меня смущает только вот что: когда бедняка прижимают к стене, у него иногда развивается не то «общественное чувство», которого добивается прижимающий, а чувство протеста против гнета, сознание, что и он, член «необеспеченного класса», имеет право свободно распоряжаться своею личностью. Само собою разумеется, такой результат совершенно «неестествен», но, к сожалению, в жизни иногда бывает. Я сообщаю, напр., в своей книге о стачке рабочих касс против берлинской больницы Charité; рабочие, между прочим, требовали, чтобы «больным была предоставлена полная свобода соглашаться или не соглашаться на пользование ими для целей преподавания». Как быть ввиду такого «неестественного» события? Ведь только, пожалуй, и остается, что прибегнуть к старому, уже испытанному историей средству,— к огню и мечу.

Решительный облик г. Хейсина уже достаточно ярко обрисовался из приведенных его рассуждений. Ясно, каковы будут его ответы на

---

[1] *Е. Колтановская*, «Медицина перед судом жизни», *Образование*, 1902, № 2, стр. 69.

поднимаемые в «Записках» вопросы. Идут ли успехи медицины через трупы? Да, идут,— твердо отвечает г. Хейсин,— по крайней мере, у светил хирургии. «Конечно, колоссы хирургии не останавливаются ни перед какими операциями, и для них часто оперированные — *объекты, на которых они пролагают новые пути в хирургии. Меня за границей всегда поражали отношения к больным у крупных хирургов.* И действительно, можно сказать, деятельность каждого крупного хирурга имеет на своем пути не один труп. Но если мы вспомним, что все наши завоевания в хирургии обязаны им, мы должны будем *лишь констатировать факт* и признать, что смотреть здесь с точки зрения простой гуманности — значит создать тупой угол для прогресса медицины» (стр. 39).

«Перехожу теперь к вопросу об экспериментах на людях,— продолжает г. Хейсин.— Ввиду того, что Вересаев стоял на точке зрения гуманности, страждущей личности, он не классифицировал эти опыты и отнесся ко всем им одинаково». Д-р Хейсин исправляет мою ошибку и классифицирует. Во-первых, «подавляющее большинство опытов производится над идиотами, прогрессивными паралитиками в последней стадии болезни, когда едва ли чем-нибудь отличается человек от животного, над саркоматозными больными в самой последней стадии развития и т. п. Но, скажут, какое право имеет человек сокращать хоть на один день жизнь другого? Я думаю, что если польза от этого эксперимента велика, то приходится этою теоретическою гуманностью пожертвовать. Большинство (?) приводимых Вересаевым опытов относится к этой категории. *Не знаю, какая польза будет от того, что общество заступится за таких больных»* (стр. 34). Вот какая: умирать, г. Хейсин, тяжело, и тяжелы смертные страдания; и для каждого члена общества нужна гарантия, что в один прекрасный день, под маскою врача, к нему не придет г. Хейсин и не скажет: «Едва ли теперь этот человек отличается чем-нибудь от животного,— несите его в лабораторию!» Если к тому же читатель выберет из моей книги — даже не подавляющее большинство, а хотя бы только половину опытов, которые можно отнести к указываемой г. Хейсиным категории, то он увидит, как бесконечно-либерален г. Хейсин в определении границы, за которою человек «едва ли чем-нибудь отличается от животного»; за эту границу попадают у него *все сколько-нибудь тяжелые больные.*

Что касается, во-вторых, «опытов на здоровых людях вообще», то и здесь, по г. Хейсину, я стою на точке зрения сантиментальной гуманности. Между тем, как мы уже знаем, «может ли прогресс в любой области развиваться без жестокости?» Кроме того, «при обсуждении вопроса об экспериментах мы не должны забывать психологию людей, ищущих истину... Что делать такому человеку? Он не может себя, допустим, сделать объектом. Он убеждает других, или, наконец, он разрешает себе перейти границу дозволенного. Кто дозволяет? Какое право сильнее,— право ли своего глубокого, могучего побуждения, или *формальное право?»* (стр. 35—36). На этом основании г. Хейсин оправдывает все опыты, которые способствуют прогрессу медицины. «Из всей вересаевской мартирологии,— заключает он,— остается еще небольшая группа прививок, сделанных *без всякого оправдания* (!). Такие опыты — это симптомы современного разврата мысли, и, конечно, к ним не может быть двойного отношения» (стр. 36).

Ну, спасибо и на этом! Делать над своими больными опыты «без всякого оправдания» (т. е. для собственного удовольствия) врачам все-таки недозволительно.

До сих пор, как видим, взгляды г. Хейсина чрезвычайно стройны и последовательны. Вот больная профессора Бортоло, с воткнутыми в мозг иголками электродов, бьющаяся в конвульсиях от пробегающего через ее мозг электрического тока,— «не знаю, какая польза обществу заступаться за нее: ведь едва ли она чем-нибудь отличается от животного!» Вот 18-летняя девушка — Берта Б., которой профессор Бэреншпрунг с успехом привил сифилис,— «при обсуждении общих вопросов нельзя брать критерием истины обывательскую гуманную точку зрения; чувство жалости не может служить решающим моментом»... Прогресс, прогресс,— вот о чем забывает «обыватель», испытывая «жалостливое участие ко всем неприятностям, болям, страданиям каждого отдельного лица».

Но есть в моей «сантиментальной мартирологии» еще ряд опытов, против которых вооружается и г. Хейсин; именно, он самым категорическим образом высказывается против опытов на *арестантах и проститутках*. «Здесь нет никакого оправдания,— заявляет он,— и врачи, которые осмеливаются над ними совершать свои эксперименты только потому, что это люди в их глазах *падшие*, заслуживают полного осуждения» (стр. 35). Не правда ли, странное ограничение? Г. Хейсин сам говорит, что «объекты для прививок вербуются в невежественной и несостоятельной части общества, что ни один экспериментатор не станет делать прививок на состоятельных людях» (стр. 37). Почему же опыт, произведенный, напр., над невежественным рабочим, представляет лишь нарушение «формального права», а опыту над арестантом «нет никакого оправдания»? Почему г. Хейсин оправдывает проф. Гюббенета, привившего сифилис больному солдату, и с негодованием клеймит д-ра Фосса, привившего сифилис проститутке?

А это не единственная странность у г. Хейсина. Заведя дальше речь о регламентации проституции, он неожиданно заявляет, что врачебно-полицейский надзор над проституцией «не только не годен в санитарном и гигиеническом отношениях», но и представляет собою *«безнравственный факт»* (стр. 42), что в «нравственном отношении это — поразительное преступление общества и врачей над целым классом людей» (стр. 43). Позвольте, г. Хейсин,— вы как будто сбиваетесь на «обывательскую точку зрения», как будто начинаете заражаться «сантиментальною гуманностью»! Раз упомянутый надзор есть факт безнравственный, то он, разумеется, останется таковым и в том случае, если бы был даже крайне полезен в гигиеническом и санитарном отношении (последнее, как известно, энергично и доказывают противники аболиционизма). Если же правы не аболиционисты, а их противники, то, с точки зрения г. Хейсина, почему это насилие недопустимо? Во-первых, стыдливость есть предрассудок, а, как доказал г. Хейсин, «считаться с проявлением человеческой личности, с ее извращенными чувствами» есть непозволительная сантиментальность: «всякая борьба с предрассудками есть своего рода топтание живой человеческой личности». Во-вторых, указываемое насилие производится над проституткою, личность которой и без того топчется без меры, так что «едва ли она отличается чем-нибудь от животного»; раз польза от этого надзора велика, то «теоретическую гу-

манностью приходится пожертвовать. Не знаю, какая польза будет от того, что общество заступится за таких своих членов».

Но что же все это значит? Почему г. Хейсин, так свободно шагающий через трупы и самые элементарные права личности, вдруг останавливается перед проституткою и впадает в ту «обывательскую сантиментальность», которую только что так старательно высмеивал? Есть люди, сознанию которых говорят только яркие, кричащие краски, которые способны, напр., заметить топтание личности человека лишь в том случае, если этот человек стоит перед ними «с искаженным от страдания лицом», «давясь дикими проклятиями». К разряду таких людей, по-видимому, принадлежит и г. Хейсин. То бесконечное попрание личности, которое претерпевает проститутка, говорит и г. Хейсину, что у личности есть известный круг прав, на которые *никто и ничто* не смеют посягать, посягновению на которые «нет никаких оправданий». Но вот исчезли искаженные лица, смолкли дикие проклятия,— и г. Хейсин подбадривается, начинает говорить о неизбежной «жестокости» прогресса и презрительно кивать на «обывательскую точку зрения». И при чем тут эта, так полюбившаяся г-ну Хейсину, «обывательская точка зрения»? Право, подумаешь, именно чрезмерным уважением к личности грешит наш обыватель!

Читатель, может быть, скажет, что не стоило заниматься брошюрою г-на Хейсина,— слишком уж она непродуманна, легковесна и развязна. Я с этим не согласен, мне его брошюра представляется симптомом чрезвычайной важности, и вот почему.

Давно уже прошло то время, когда человек сам по себе являлся ничем, когда его роль в жизни была ролью клеточки в живом организме. В древней Греции «божественные» Платоны могли мечтать, напр., о том, чтобы в идеальном государстве старшины его, как скотоводы, определяли, какие мужчины и женщины должны вступать между собою в брак и как часто они могут производить детей. В настоящее время об этом мечтают только Аракчеевы. Общее благо, прогресс, развитие науки,— мы согласны приносить им жертвы лишь в том случае, если эти жертвы являются свободным проявлением нашей собственной воли: *единственное* ограничение нашей личности мы признаем лишь в таких же, как наше, правах других личностей. Мы даже будущего всеобщего благополучия не можем принять иначе, как под условием свободного распоряжения своею личностью. Как говорит Бёрне: «Muss ich selig seig sein im Paradiese, dann will ich lieber in der Hölle leiden,— если я *должен быть* счастлив в раю, я предпочитаю *по собственной воле* страдать в аду». От дикой аракчеевщины г-на Хейсина на нас несет запахом затхлого застенка. Естественно, что при таком положении дел вопрос и о правах человека перед посягающею на эти права медицинскою наукою *неизбежно* становится коренным, центральным вопросом врачебной этики; вопрос о том, где выход из этого конфликта, не может и не должен падать до тех пор, пока выход не будет найден. И только в *одном единственном* случае этот вопрос можно игнорировать,— если смотреть на него так, как смотрит г. Хейсин. А вопрос этот игнорирует большинство моих оппонентов.

Они будут против этого возражать, они скажут: «г. Хейсин редкий урод во врачебном сословии, и к нему возможно только одно совершенно определенное отношение». Но это будет только отвод или обман себя. Чем отличается от д-ра Хейсина хотя бы «Медицинское обозрение», оправдывающее самые возмутительные опыты

над больными, и где во врачебной печати были протесты против этого? Что значит заявление одного из моих критиков, г. Медведева, что «частые восклицания Вересаева: «где же выход?» есть лишь *риторическая фигура»*?[1] Человеку настолько чужды и непонятны отмечаемые в книге конфликты, что он не способен увидеть в них ничего, кроме риторического приема. Что значат благодушные уверения другого моего критика, прив.-доцента В. В. Муравьева, что «в основе своей» книга моя является «оправданием современной медицины» и доказательством, что в ней все обстоит совершенно благополучно[2]. Что значат уклончивые ссылки г. Фармаковского на то, что «и в других профессиях» совершается то же самое, что во врачебной?

Есть старая, идущая из седых времен легенда об одном фантастическом животном — василиске. «Нет в природе существа злее, страшнее василиска,— говорит Плиний.— Одним взглядом своим убивает он людей и животных; его свист обращает в бегство даже ядовитых змей; от его дыхания сохнет трава и растрескиваются скалы. Но есть средство и против василиска. *Стоит только показать ему зеркало,— и он погибает от отражения своего собственного взгляда»*. Я очень желал бы, чтоб брошюра господина Хейсина сыграла роль такого зеркала. Может быть, не один из моих критиков, взглянувши в это «зеркало», почувствует, что г. Хейсин только оформляет и откровенно высказывает то, что в полусознанном состоянии было и у него самого в душе; ему станет стыдно вместе с г. Хейсиным «лишь констатировать факты», он перестанет плакаться на взводимые мною на врачей «тяжкие обвинения» и предпочтет искать выхода из тех противоречий, которые возникают между интересами науки и неотъемлемыми правами человека.

Январь, 1903 г.

---

[1] «Врач-художник», Спб., 1903, стр. 28.

[2] «*Записки врача* Вересаева и медицинская наука», М., 1902, стр. 10.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первыми произведениями, вышедшими из-под пера В. Вересаева, были стихи. Юношей он мечтал стать поэтом. В 1885 году в журнале «Модный свет» В. Вересаев даже напечатал стихотворение «Раздумье». Однако в том же 1885 году (8 мая) он записывает в своем дневнике: «...Во мне что-то есть, но... это «что-то» направится не на стихи, а на роман и повесть»[1].

В. Вересаев решительно обращается к прозе. Уже в декабре он заканчивает рассказ «Мерзкий мальчишка» (напечатан во «Всемирной иллюстрации», 1887, № 959). Своим ранним поэтическим опытам, переводам, как, кстати, очеркам, публицистическим и научным статьям, писатель позже значения не придавал и никогда не включал их в сборники и собрания сочинений. Началом серьезной литературной работы он считал рассказ «Загадка».

Появление в журналах первых рассказов начинающего писателя не вызвало интереса критики. Но когда в 1895 году народнический журнал «Русское богатство» опубликовал повесть «Без дороги», в критике разгорелись жаркие споры. Эти споры усилились после выхода в 1898 году «Очерков и рассказов» В. Вересаева («На мертвой дороге», «Товарищи», «Порыв», «Прекрасная Елена», «Загадка», «Без дороги», «Поветрие»).

Критика единодушно сходилась на том, что «рассказы В. Вересаева... сразу же выделили автора из сероватой толпы многочисленных сочинителей очерков и рассказов», что в его «лице... литература получит новую незаурядную силу». Причем такие выводы делались отнюдь не потому, что в Вересаеве увидели будущего

---

[1] Здесь и далее при ссылках на личный дневник В. Вересаева указывается только дата записи. Дневник хранится у В. М. Нольде

крупного художника,— как раз чисто художественные достоинства его первых произведений вызвали кое у кого из рецензентов крайне скептическое отношение. «Вересаев по свойству своего таланта — не художник,— писал Вл. Боцяновский.— Он пользуется беллетристической формой как средством пропаганды или просто изложения разного рода учений и теорий» («В погоне за смыслом жизни», «Вестник всемирной истории», 1900, № 7).

В. Вересаев привлек внимание прессы стремлением заглянуть в самую глубь жизни, отметить самые больные жизненные вопросы, привлек внимание тем, что «прекрасно обрисовал» «переходный, мучительный момент в жизни нашей русской интеллигенции», когда в начале 90-х годов в жизнь «шумно» вошли марксисты и перед ними отступили растерявшиеся народники (Марк Павлович. «Литература и жизнь», «Восточное обозрение», 1899, № 275, 21 декабря).

Но если одаренность В. Вересаева, его писательская «вдумчивость», злободневность его творчества не вызывали у критики разноречивых мнений, то вокруг оценки идейной направленности «Без дороги» и «Поветрия» разгорелось подлинное сражение. Представители борющихся лагерей в русской общественной жизни 90-х годов стремились взять молодого писателя себе в союзники, а если это не удавалось, то пытались всячески ослабить социальную остроту его произведений и в этих целях не останавливались перед откровенным извращением творчества В. Вересаева. Либеральная критика, например, пробовала изображать писателя этаким «лириком в прозе», лириком «в элегическом роде», поэтому наименее удачными вещами считала «Без дороги» и «Поветрие», ибо «эпический дар у г. Вересаева» «не богат», а «идейность» и «тенденциозность» ему прямо противопоказаны; поэтому, оказывается, лучшее в страстной антинароднической повести «Без дороги» — «элегическая, лирическая симфония», а в глубоко революционном «Поветрии» «живо и искренне все, что воспроизводит настроение грустящего человека» (А. Налимов. «Из жизни и литературы. Современные элегии в прозе. В. Вересаев. Очерки и рассказы. СПб. 1898», «Образование», 1899, №3).

Однако в основной массе либеральная критика встретила В. Вересаева откровенно враждебно: истолкование его творчества в приемлемом для либералов духе было уж слишком неубедительно. А. Скабичевский, отмечая, что повесть «Без дороги» «талантлива», вместе с тем заявлял: «...герои повести... невольно возбуждают в нас ироническую улыбку»; они просто «ломаются» и кокетничают мнимой значительностью своих требований к жизни в то время, как «служба в земстве, борьба с тифом и холерою,— разве это не идея, не знамя, не путеводная звезда, не дорога»?! («Литературная хрони-

ка, «Без дороги» г. Вересаева», «Новости», 1895, № 253, 14/26 сентября).

Народническая критика, а отчасти и либеральная, на первых порах не разобравшись в истинном звучании вересаевских повестей и рассказов, причислила писателя к народникам. Но появление «Поветрия» не оставило сомнений, что по отношению к народникам у В. Вересаева «проскальзывает... усмешка», и, даже больше того, народники ему прямо враждебны. В критике усилились тенденции изображать автора «Поветрия» писателем «бездорожья»: «он сам и его герои решительно не знают, куда идти, что делать, где и в чем правда» (Скриба. «Письма о литературе. О г. Вересаеве», «Одесские новости», 1898, № 4498, 30 декабря); «автор показывает большую наклонность к пессимизму», «проглядывает... отсутствие веры в жизнь, сомнение в том, что в жизни существуют и положительные элементы, задатки лучшего будущего», читатель выносит «не бодрящее, а подчас даже мертвящее впечатление» (Н. И. Р. «Вересаев В. «Очерки и рассказы». «Сын отечества», 1898, № 318, 23 ноября /5 декабря). В. Вересаев объявлялся писателем, который никакой теории не сочувствует: «...он не народник... он и не марксист», «...г. Вересаев говорит народникам: вы правы, а марксистам: не могу с вами не согласиться», он — «уклончивый талант» (М. А. Протопопов. «Беллетристы новейшей формации, «Русская мысль», 1900, кн. IV). Народникам и либералам не хотелось отдавать В. Вересаева марксистам!

Но В. Вересаев вовсе не относился к марксизму как к очередному «поветрию» В «Воспоминаниях» он писал, что в этом рассказе он «решительно порывал с прежними своими взглядами и безоговорочно становился на сторону нового течения». Кстати, есть основания предполагать, что и заголовок рассказа — «Поветрие», который прежде всего использовали народники и либералы, доказывая сдержанное отношение писателя к марксизму, появился лишь как уступка цензуре. 23 марта 1897 года В. Вересаев отметил в дневнике: «Вчера сдал в редакцию свой рассказ «На повороте»; он мне нравится...» Никакой другой из известных нам рассказов этого времени, кроме «Поветрия», не мог называться «На повороте». Вполне возможно, что это — первоначальное название рассказа, измененное в силу тех серьезных цензурных затруднений, которые встретило «Поветрие» при прохождении в печать.

Наиболее дальновидные представители народников понимали, что отрицать марксистскую настроенность В. Вересаева невозможно. Идеолог народничества Н. Михайловский, еще недавно приветствовавший вхождение В. Вересаева в литературу, после «Поветрия»

заявил, что молодой писатель не оправдал надежд, что талант его оскудел.

Надо учитывать, что рассказ «Поветрие» в силу цензурных причин не смог четко определить идеологические симпатии В. Вересаева; зато его рассказы о крестьянстве («Лизар», «В сухом тумане», «К спеху» и др.) окончательно рассеивали сомнения, с кем пошел писатель. Критика самых разных направлений должна была признать, что В. Вересаев чужд той идеализации деревни и мужика, которой занимались народники, что его творчество — приговор страшной действительности царской России.

Крестьянские рассказы В. Вересаева, судя по письму к нему М. И. Водовозовой от 22 июля 1901 года, были весьма одобрены Л. Н. Толстым: «Ваши рассказы ему очень понравились. Лев Николаевич говорит, что некоторые из них напоминают ему Тургенева, что в них столько чувства меры и красоты природы и видна искренность и глубоко чувствующая душа» (В. М. Нольде. «Творчество В. В. Вересаева в дореволюционной России». Диссертация, М., 1948). Сочувственно отметил крестьянские рассказы и А. П. Чехов. «Вы читаете теперь беллетристику, так вот почитайте кстати рассказы Вересаева,— писал Антон Павлович А. Суворину 1 июля 1903 года.— Начните со второго тома, с небольшого рассказа «Лизар». Мне кажется, что Вы останетесь очень довольны» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, М., 1951, стр. 117).

В. И. Ленин в «Развитии капитализма в России» сослался на «Лизара», как на правдивый «отзыв» о «жизненном уровне и условиях жизни русского крестьянина» (В. И. Ленин. Соч., т. 3, изд. 4-е, стр. 233—234).

К концу 90-х годов критика в большинстве своем вынуждена была признать, что В. Вересаев пошел с марксистами и, как верно заметил А. В. Луначарский в связи с рассказом «На эстраде», бесповоротно стал «защитником тенденциозного искусства», искусства активного вмешательства в жизнь, искусства революционного («О художнике вообще и некоторых художниках в частности», «Русская мысль», 1903, № 2).

ЗАГАДКА. Впервые напечатано в журнале «Всемирная иллюстрация», 1887, № 971, с подзаголовком: «Эскиз В. Викентьева». Написано в 1887 году.

В. Викентьев — первый псевдоним писателя, которым он пользовался до 1892 года, когда в июньском и июльском номерах «Книжек недели» появились очерки «Подземное царство» за подписью: В. Вересаев.

Над рассказом «Загадка» В. Вересаев работал в начале лета 1887 года в Туле во время каникул между третьим и четвертым курсом учебы в Петербургском университете. «Писал его с медленною радостью, наслаждаясь, как уверенно-спокойно работала голова. Послал во «Всемирную иллюстрацию». Напечатали в ближайшем номере. И гонорар прислали за оба рассказа. Вот уж как! Деньги платят. Значит, совсем уже, можно сказать, писатель»,— вспоминал В. Вересаев в мемуарах

В 1895 году рассказ подвергся серьезной переработке: было устранено резкое противопоставление нравственно ограниченных жителей провинциального города возвышенному герою, что придавало переживаниям последнего определенную исключительность (сняты эпизоды, открывавшие и заключавшие рассказ), упрощен язык, ранее отличавшийся претенциозной образностью, нарочитой восторженностью; место действия перенесено в помещичью усадьбу. В новом варианте рассказ вошел в «Очерки и рассказы», СПб, 1898.

В дальнейшем В. Вересаев вносил в текст лишь незначительные стилистические исправления.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. I, изд. т-во «Недра», М., 1929.

ПОРЫВ. Впервые опубликовано в журнале «Книжки недели», 1889, № 11, с подзаголовком: «Рассказ». Написано в 1889 году.

Определить время работы В. Вересаева над «Порывом» позволяет его дневниковая запись от 11 октября 1889 года: «В «Неделе» принята моя повесть, над которой работал более двух лет».

В основу произведения, по свидетельству писателя, положен автобиографический материал: конфликт рассказа во многом воспроизводит некоторые разногласия В. Вересаева с отцом.

В первоначальной редакции рассказ назывался «Предатель», в варианте, отправленном в редакцию «Недели»,— «Без пути».

Извещение редактора П. А. Гайдебурова о том, «что рассказ принят и пойдет в ближайшей «Книжке недели», принесло автору «большую радость»: с «Порывом» начинающий писатель связывал определение своих литературных возможностей. 11 октября 1889 года он пишет в своем дневнике: «Первый более серьезный дебют. Есть ли у меня талант? Почти всегда готов ответить — нет; только в те минуты, когда пишу, все существо вопиет: есть! есть!.»

Однако П. Гайдебуров, признав, что «рассказ очень хорошо написан», в то же время решил, что «ему вредит неясность основного мотива» и самостоятельно провел в рассказе значительную правку, дав, кстати, новый заголовок — «Порыв»

Редакторский произвол глубоко огорчил В. Вересаева: «Сегод-

ня пришла сюда ноябрьская «Книжка недели». В ней напечатан мой рассказ... Никогда я не был так несчастен, как сегодня, читая свое напечатанное произведение. Все, что мне казалось в рукописи таким оригинальным и сильным, оказалось так ординарно, так банально! А к этому еще: редактор «исправил» кое-что. Много говорят о самолюбии молодых авторов,— я стараюсь свести свое горе к этому, но не могу. Как будто по новой, только что нарисованной картине кто-то провел властной рукой — и смешал еще свежие, не высохшие краски, так что только контуры прежнего просвечивают. Не могу я свести все к попранному самолюбию, видя, что вычеркнуты «длинноты», которые одни лишь делали действующие лица живыми: в картине наводнения толкаются какие-то безличные марионетки, везде как будто все нарочно подстрижено и подрезано так, чтоб не было ни в чем правды... Неужели даже такие тернии необходимы при вступлении на литературный путь? Но как же больно они колятся!.. Слезы душат, ничего в голову не идет...» (7 ноября 1889 года).

А в «Воспоминаниях» В. Вересаев писал: «Рассказ был сокращен почти вдвое, вычеркнуты были места, совершенно необходимые для понимания смысла рассказа и развертывающегося в нем действия, конец был редактором выкинут и приделан свой...»

Писатель обращается к знакомым с просьбой прочитать «Порыв» и честно оценить его, просит сообщать ему все, что им приходится слышать о рассказе. Отзывы были неизменно благоприятные, читатели сулили В. Вересаеву «громкую будущность», но отношение к рассказу «просвещенного Гайдебурова» настолько больно ранило начинающего писателя, что он все больше сомневается в своем литературном призвании, все больше склоняется к мысли, что Гайдебуров прав. «Пора подвести итог моему «Порыву»,— отмечает он в дневнике 25 апреля 1890 года.— Гайдебуров писал: «рассказ очень хорошо написан, но ему вредит неясность основного мотива». Пока с ним совершенно согласен: выведена семья хорошая — и вдруг мальчик взбесился, неизвестно с чего. Если (с трудом) и можно допустить возможность описанного случая, то заниматься им не стоило, так как он никакого общего характера не имеет». И все-таки, после долгих размышлений, В. Вересаев не согласился с Гайдебуровым. Он включал «Порыв» во все свои собрания сочинений и основные сборники, а в воспоминаниях «В студенческие годы», написанных в 1930—1935 годах, когда уже «мог судить беспристрастно» о рассказе, совершенно категорически заявил: «Я все-таки остался при мнении, что исправления и сокращения были сделаны Гайдебуровым наспех, неумело и небрежно, совершенно без понимания основной мысли рассказа, которая, по собственным

его словам, была для него неясна. При отдельном издании большинство сокращений пришлось восстановить». В «Очерках и рассказах» (1898) В. Вересаев восстановил большинство сокращений, сделанных Гайдебуровым, а для Полного собрания сочинений, вышедшего в изд. т-ва А. Ф. Маркс в 1913 году, автор к тому же существенно изменил и финал журнального варианта, где рассказ кончался следующей фразой: «Без единой мысли в голове смотрел я перед собой,— и тоска, гнетущая тоска сжимала сердце...» В варианте же 1913 года появился новый мотив: «А все-таки ты не виноват!»

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. II изд. т-во «Недра», М., 1929.

Как свидетельствует племянница и литературный секретарь писателя В. М. Нольде, в изд. «Недра» из рассказа по недоразумению выпала фраза, по мнению В. Вересаева, важная для понимания идеи произведения: «... но зато, если бы нашелся в то время кто-нибудь, кто сказал бы мне: ты ненавидишь отца — ненавидеть его не за что; он тебя любит — плати ему такой же любовью; но не позволяй оковывать себя ею, оставь за собой навсегда право чистого порыва, право беззаветного отклика на чужие страдания» (В. В. Вересаев, Соч. в четырех томах, т. 1, М., 1948, стр. 690).

ТОВАРИЩИ. Впервые опубликовано в журнале «Книжки недели», 1893, № 5. Написано в 1892 году.

Замысел рассказа о своих недавних «товарищах» по университету, которые «равнодушно растоптали» былые идеалы «как затасканную ветошку» (20 января 1890 года) относится, очевидно, к началу 1890 года. Именно с этого времени писатель заносит в свой дневник наблюдения и мысли, прямо перекликающиеся с рассказом «Товарищи». Так, 20 января 1890 года, вернувшись в Дерпт после посещения Петербурга и Тулы, В. Вересаев с горечью отмечает омещанивание «товарищей-филологов». Сходные мотивы звучат и в записи 27 июля 1890 года, сделанной после двухнедельного пребывания в Екатеринославской губернии: «Молодые инженеры, два-три года со студенческой скамьи,— и уже ничего не осталось». А 25 августа 1890 года В. Вересаев уже прямо заявляет, что собирается, если не помешает учеба, написать вещь с моралью «печальной»: «пути все потеряны, тоска без просвета и надежды». Материалом для решения этой темы мыслилась студенческая жизнь В. Вересаева в Петербурге. Однако к работе этой писатель, судя по всему, тогда так и не приступил, а лишь позднее, в 1892 году, написал рассказ «Товарищи».

После первой публикации рассказа автор продолжал работу над С издания «Очерков и рассказов» (1898) город Пожарск в

рассказе становится Слесарском, Михаил Дмитриевич — Василием Михайловичем; для того же издания проведена незначительная стилистическая правка. Кроме того, В. Вересаев дописал новые куски: со слов «А они оборачиваются...» и до «... густым смехом» (стр. 73 наст. тома); со слов «Василий Михайлович сидел у окна...» и до «...принял участие в общем разговоре» (стр. 72—73 наст. тома); со слов «И Василий Михайлович пел...» и до «крепко верящий в себя» (стр. 75—76 наст. тома).

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. II, изд. т-во «Недра», М., 1929.

БЕЗ ДОРОГИ. Впервые опубликовано в журнале «Русское богатство», 1895, № 7—8. Написано в 1894 году.

Самым ранним бесспорным свидетельством о начале работы В. Вересаева над повестью является дневниковая запись от 30 ноября 1892 года, сделанная в Дерпте: «Сильно в настоящую минуту занят повестью, в которую всажу свою холеру и которая пока мне нравится страшно». Однако есть все основания думать, что писатель приступил к повести несколько раньше. 27 июня 1892 года В. Вересаев отмечает в дневнике, что «по Волге надвигается холера», и с этих пор дневник по большей части состоит из записей, так или иначе использованных в повести. Некоторые же из них просто совпадают с текстом «Без дороги»,— например, рассказ Виктора Сергеевича о больной старухе, которая вместо того, чтобы вылить раствор карболки в отхожее место, выпила его. А 26 сентября В. Вересаев пишет, что увозит с рудника Карпова в Екатеринославской губернии, где был на борьбе с холерой, «много драгоценных наблюдений». Видимо, к лету 1892 года и следует отнести начало работы писателя над повестью

Как и в большинстве случаев, В. Вересаев, создавая «Без дороги», строго опирался на те факты, которые непосредственно наблюдал; работая над образами героев, шел от хорошо знакомых людей. При изображении села Касаткино, где происходит первая половина действия повести, автор использовал свои впечатления от села Зыбино, Тульской губернии, где находилось имение двоюродного дяди писателя — Гермогена Викентьевича Смидовича. В Зыбине В. Вересаев бывал нередко, в частности в период работы над повестью трижды: в конце июня — начале июля 1892 года, в последние дни июля 1893 года и в июне — августе 1894 года; Пожарск — это, конечно, во многом Тула, а описывая события в Заречье — место действия второй части «Без дороги»,— В. Вересаев, несомненно, использовал свои впечатления о работе в Екатеринославской губернии, где

он заведовал холерным бараком Вознесенском руднике П. А. Карпова, недалеко от Юзовки.

В главных героях повести можно узнать некоторые черты реальных лиц: прототипом дяди Чеканова был Гермоген Викентьевич Смидович, Наташа вобрала в себя многие качества его дочерей Инны и Марии. С Инной, «человеком с колоссальной энергией, способной из-за идеи пойти на все» (1 августа 1893 года), В. Вересаев именно летом 1892 года вел постоянные разговоры о роли женщины в обществе, о путях борьбы за лучшее будущее людей, то есть примерно о том же, о чем беседуют в повести Чеканов и Наташа. Что касается Марии (впоследствии она стала женой В. Вересаева), то ей посвящены в дневнике многие записи, которые перекликаются с эпизодами повести, связанными с Наташей. Сам автор пишет в дневнике: «С образом Маруси у меня мешается образ Наташи моего рассказа и мне не хочется определять, где кончается одна и начинается другая» (1 августа 1893 года).

Степан Бондарев почти точно списан с санитара из шахтеров Степана Бараненко, а Чеканову писатель передал многое от своих собственных поисков «смысла жизни».

Все это, разумеется, не значит, будто В. Вересаев представал к повести этаким копировщиком, а не художником. Просто «Без дороги» — яркий пример, насколько В. Вересаев стремился твердо держаться реальных фактов действительности при создании своих произведений, которые современники справедливо называли летописью русской жизни.

Летом 1894 года работа над повестью была завершена. 24 августа В. Вересаев записал в дневнике: «Кончил свою повесть «Без дороги» и на-днях посылаю в «Русскую мысль». Ничего из написанного мною не было мне так дорого, как эта вещь. Примут ли? Произведет ли она впечатление? Вопросы тяжелые, потому что должны решить мою будущую литературную судьбу».

1 декабря 1894 года писатель получил письмо из «Русской мысли» с отказом. Трудно объяснить причину этого отказа: позже именно «Русская мысль» напечатала один из наиболее одобрительных отзывов об этой повести.

В декабре этого же года писатель передал «Без дороги» народническому журналу «Русское богатство», и снова начались долгие волнения, отчаяние сменяла надежда, надежду — отчаяние. «Уже три месяца прошло и ответа нет,— записывал В. Вересаев в дневнике 3 марта 1894 года.— Вероятно и там не примут... А между тем перечитывал опять и опять,— и все-таки написанное кажется мне живым, оригинальным и сильным. Лучшего не напишешь. Вкуса ли нет во мне никакого?..» Страшила перспектива стать «карикатурным»

«непризнанным гением». «Все равно: отказаться от писательства для меня равносильно смерти, если же получу отказ, то откажусь бесповоротно...» Наконец, в последних числах марта 1895 года В. Вересаеву сообщили, что повесть «Русским богатством» принята причем редакция отметила, что «в настоящее время редко приходится читать такие хорошие вещи». Молодого автора пригласили постоянно сотрудничать в журнале. (Об истории появления повести в «Русском богатстве» см. воспоминания В. Вересаева «Н. К. Михайловский», т. V наст. изд.) По свидетельству В. М. Нольде, «Вересаев часто впоследствии удивлялся, как редакция «Русского богатства» сразу не поняла выраженного в повести полного разочарования в народнических идеях» (В. В. Вересаев. Соч. в четырех томах, т. 1, М., 1948, стр. 691).

Повесть «Без дороги» подверглась цензурным нападкам. «Сегодня в редакции «Русского богатства» видел корректурные листы своей повести с цензорскими помарками,— записывал В. Вересаев в дневнике 7 июля 1895 года.— Боже мой, да ведь это совсем времена Николая I! У меня было: «Пусто и мертво в сердце; жизнь молчит, как могила. Хватаешься за книгу: книга, научи! Но книга молчит,— холодная, бесцветная...» Подчеркнутое цензор не пропустил!

— Он, видите ли, большой почитатель литературы,— с улыбкою сказал Иванчин-Писарев,— так вот не мог допустить распространения таких мнений, что будто книга ничему не может научить».

Включая повесть «Без дороги» в сборник «Очерки и рассказы» (1898), В. Вересаев сделал целый ряд вставок. Являются ли они восстановлением цензурных изъятий, сказать трудно Но подавляющее большинство добавлений 1898 года носит откровенно социально-обличительный характер. Так, в издании 1898 года появились строки: со слов «Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами...» и до слов «...уничтожиться, уничтожиться совершенно — единственное для меня спасение» (стр. 80—81 наст. тома); со слов «Общество, живущее трудом этого народа...» до слов всякая милостыня есть разврат» (стр. 113 наст. тома); «Оно всем обязано народу и ничего не отдает ему» (стр. 113 наст. тома); со слов «Когда погорелец приходит к мужику...» до слов «...не имеющих между собою ничего общего...» (стр. 115 наст. тома); со слов «Нужно умирать...» до слов «...так и должно было быть...» (стр. 156 наст. тома); со слов «Я в пять недель...» до слов так больно бьет мне теперь в глаза...» (стр. 156—157 наст. тома).

Многократно повесть правилась автором стилистически.

Появление «Без дороги» в журнале породило горячую полемику

в печати и споры в читательской среде. Повесть «ударила по сердцам и ударила сильно...— отмечал В. Вересаев в дневнике 26 сентября 1895 года,— ...куда не придешь, везде говорят о «Без дороги»... От многих и многих я слышал, что они плакали над последнею сценою. Я слышал восторженные отзывы, от которых краснел видел пристальные, внимательные взгляды, под которыми чувствовал себя неловко и делался неестественным».

Много позже, в автобиографии 1924 года, В. Вересаев написал: «В «большую» литературу вступил повестью «Без дороги» («Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. I, Гослитиздат, М., 1959, стр. 234).

В дооктябрьские годы вторая часть «Без дороги», названная «Страшная смерть невинного человека. Быль», неоднократно издавалась в Харькове и Москве.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев, Избранное, Гослитиздат, М., 1944.

ПОВЕТРИЕ. Впервые опубликовано в сборнике В. Вересаева «Очерки и рассказы». СПб., 1898. Написано в 1897 году.

Рассматривая «Поветрие» как произведение, непосредственно продолжающее «Без дороги», В. Вересаев предложил рассказ журналу «Русское богатство», где впервые увидела свет повесть «Без дороги», хотя и сильно сомневался в возможности публикации «Поветрия» в этом журнале. Народническое «Русское богатство» не могло принять откровенно марксистской направленности «Поветрия» — рассказ был отвергнут. Тогда «Поветрие» было передано В. Вересаевым марксистскому журналу «Новое слово», рассказ там приняли, но напечатать не успели: журнал закрыли. «Я предложил рассказ «Миру божьему», в последние годы начавшему решительно склоняться к марксизму,— вспоминал В. Вересаев.— «Мир божий» отказался поместить рассказ, и секретарь редакции, Ангел Иванович Богданович, откровенно сознался мне, что напечатать рассказ они боятся: он, несомненно, вызовет большую полемику и обратит на их журнал внимание цензуры». Удалось напечатать «Поветрие» лишь в первой книге рассказов В. Вересаева (см. подробнее в воспоминаниях «Н. К. Михайловский», т. V наст. изд.).

В дальнейшем, вплоть до последнего прижизненного издания (В. В. Вересаев, Избранное, Гослитиздат, М., 1944), рассказ многократно подвергался стилистической правке, а в 1909 году («Рассказы», т. I., М.) автор произвел и более серьезные изменения в тексте: старый подзаголовок «Эскиз» заменил новым — «Эпилог», обращая внимание на неразрывность рассказа и повести «Без дороги»; сильно сократил теоретические споры. Это объяснялось тем, что они к тому

времени в значительной мере потеряли актуальность, и тем, что В. Вересаев был недоволен перегруженностью «Поветрия» диалогом в ущерб действию; сократил также описания операции и настроения Сергея Андреевича, как не имеющие прямого отношения к основной мысли рассказа.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев, Избранное, Гослитиздат, М., 1944.

НА МЕРТВОЙ ДОРОГЕ. Впервые напечатано в журнале «Русское богатство», 1896, № 11, с подзаголовком: «Из летних встреч». Написано в 1896 году.

В журнальном тексте не было реплики Никитина: *«Двенадцать человек погубили!..»* (стр. 183 наст. тома); Иловайские рудники назывались Равицкими; отсутствовал абзац со слов «— Прошибешь их плантами!..» и до «...ч-черт их душит!..» (стр. 185 наст. тома).

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. I, изд. т-во «Недра», М., 1929.

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА. Впервые напечатано в сборнике В. Вересаева «Очерки и рассказы», СПб., 1898, с подзаголовком: «Очерк». Написано в 1896 году.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. I, изд. т-во «Недра», М., 1929.

ЛИЗАР. Впервые опубликовано в газете «Северный курьер», 1899, № 1, 1 ноября. Написано в 1899 году.

При переизданиях В. Вересаев отказался от подзаголовка «Из летних встреч», частично опустил авторские рассуждения о страшной философии «сокращения человека». Включая «Лизара» во второй том «Рассказов» (СПб., 1902), В. Вересаев снял финал газетного варианта: «Мы поехали дальше. Я смотрел на морщинистую шею Лизара, на его большую, втянутую в плечи голову, и в моей памяти всплывали некоторые из прежних встреч и разговоров... Года два назад весною мне пришлось быть в Киеве. Однажды вечером я зашел в странноприимницу Михайловского монастыря; на большом дворе, обнесенном белой каменной оградой, стояло невыносимое зловоние от испарения отхожих мест; около стен большими группами помещались на земле загорелые, отрепанные богомольцы; одни ужинали, другие уж спали. Я разговорился с одной молодой хохлушкой из-под Нежина. Она пришла в Киев не на богомолье, а искать работы и вторую неделю ютилась в странноприимнице, питаясь краюхою окаменевшего хлеба, принесенной из дому.

Она долго рассказывала мне о своих домашних делах: муж ее вместе с братом сидит на полутора десятинах земли; у нее четверо

детей, и муж страшно бьет ее за плодовитость. Узнав, что я врач, она быстро взглянула на меня, вспыхнула и неуверенным голосом предложила мне тот же вопрос, с которым Лизар посылал своих снох к докторам. Впоследствии от многих земских врачей и особенно акушерок я не раз слышал, что им частенько приходится иметь дело с подобными просьбами деревенских мужей и жен. А месяц назад на голодающем юге Вятской губернии из уст самого настоящего «голодающего» я услышал привет начинавшейся цинге, несшей за собой то же желанное «сокращение человека».

В то время все это казалось мне случайным и исключительным: мало ли что может прийти в голову единичным людям, растерявшимся перед окружающими их жизненными неурядицами! Но теперь дело встало предо мной в другом свете. Проповедь Лизара как будто подводила какой-то итог,— как будто резко и определенно высказывала только то, что носится в воздухе повсюду... Двигающаяся в известном направлении жизнь использовала все пути и в конце концов уперлась в слепой закоулок. Выхода из этого закоулка нет. И вот естественно намечается и все больше зреет новое решение вопроса».

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Избранное, Гослитиздат, М., 1944.

В СУХОМ ТУМАНЕ. Впервые опубликовано в журнале «Начало», 1899, № 3. Написано в 1899 году.

При переизданиях рассказ подвергался небольшой стилистической правке, а при включении во второй том «Рассказов» В. Вересаева (СПб., 1902) был незначительно сокращен автором: снят подзаголовок «Из летних встреч. Очерк»; после фразы «А предложение все порвать и жить в городе звучало прямо насмешкою над многими из тех, к кому было обращено» (стр. 212 наст. тома) в журнале следовали семь строк о бедственном положении рабочих, которым «при найме на фабрику ставится условием... не просить по городу подаяния!»; вслед за словами «а человеку полагается жениться именно для того, чтоб иметь жену...» (стр. 212 наст. тома) в том же журнальном тексте шли двадцать строк авторских рассуждений о процессе перераспределения сил между городом и деревней, о разорении деревни, превращающейся в «уродливые, исключительно женские поселения».

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Два конца. Рассказы, изд. «Федерация», М., 1932.

К СПЕХУ. Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1901, № 1, с подзаголовком: «Из летних встреч». Написано в 1899 году.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Два конца. Рассказы, изд. «Федерация», М., 1932.

РЕБЯТА. Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1900, № 2, под названием «Вечером» и с подзаголовком «Картинка». Написано в 1900 году.

Заголовок «Ребята» появился в третьем томе «Рассказов» В. Вересаева (СПб, 1903). Вплоть до Полн. собр. соч. в изд. «Недра» (т. IV, 1928) рассказ подвергался лишь незначительной правке. Для этого же издания автор, ничего не изменив в идейном звучании произведения, фактически переписал рассказ заново.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев Полн. собр. соч., т. IV, изд. т-во «Недра», М., 1929.

ВАНЬКА. Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1901, № 3. Написано в 1900 году.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Избранное, Повести и рассказы, М., 1935.

НА ЭСТРАДЕ. Впервые опубликовано в сборнике «Литературное дело», СПб., 1902, где рассказ датирован автором сентябрем 1900 года.

Начиная с третьего тома «Рассказов» В. Вересаева (СПб., 1903) «На эстраде» печатается без подзаголовка «Маловероятный случай», который был в первой публикации.

Печатается по изданию: В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. I, изд. т-во «Недра», М., 1929.

ЗАПИСКИ ВРАЧА. Впервые опубликовано в журнале «Мир божий», 1901, №№ 1—5.

«Предисловие к первому изданию» появилось в № 5 «Мира божия» за 1901 год, оно было напечатано вслед за последней главой «Записок врача» и называлось иначе: «По поводу «Записок врача». Лишь начиная с первого отдельного издания книги (СПб., 1901) стало печататься как предисловие, имело «постскриптум», впоследствии снятый автором: «В разных местах «Записок» я называю по фамилии больных и врачей, с которыми мне приходилось иметь дело. Ввиду обращенных ко мне запросов считаю нужным объяснить то, что и само по себе, казалось бы, совершенно ясно,— что в беллетристической части «Записок» не только фамилии, но и самые лица, и обстановка — вымышлены, а не сфотографированы с действительности».

«Предисловие к двенадцатому изданию» впервые

опубликовано в Полном собрании сочинений В. В. Вересаева, т. II, изд. т-во «Недра». М., 1928.

Мысль написать «Дневник студента-медика», который позже вылился в «Записки врача», возникла у В. Вересаева, видимо, в конце 1890 — начале 1891 года, когда писатель учился на третьем курсе медицинского факультета Дерптского университета. 23 января 1891 года он пометил в дневнике: «С завтрашнего дня открываются клиники. Много, вероятно, будет интересного и характерного. Буду заносить сюда», то есть в дневник. Однако загруженность учебой и болезнь руки не позволили тогда В. Вересаеву вплотную заняться книгой. «Об одном я особенно жалею,— что мой писчий спазм разыгрался в этом году, когда я вступил в область медицины. Я хотел искренно и правдиво заносить сюда свои впечатления,—сколько было бы интересного! Страшно жалко. Сделать ретроспективно,— уж не то выйдет, да и не припомнишь теперь всего; многие ощущения переживаются только раз и больше не возвращаются» (14 марта 1892 года). Тем не менее В. Вересаев не оставляет намерения написать эту книгу, считая, что она может иметь большое общественное значение: «И вот я — врач... Кончил я одним из лучших, а между тем, с какими микроскопическими знаниями вступаю в жизнь! И каких невежественных знахарей выпускает университет под именем врачей! Да, уж «Дневник студента-медика» я напишу и поведаю миру много-много, чего он не знает и о чем даже не подозревает...» (18 мая 1894 года). Но кратковременная врачебная практика В. Вересаева в Туле (летом 1894 года), а затем служба в Барачной больнице в память Боткина в Петербурге (октябрь 1894 — апрель 1901) превратили замысел «Дневника студента-медика» в книгу «Записки врача», над которой автор непосредственно работал с 1895 по 1900 год. В это время в записной книжке писателя появляются новые разделы — «Больница» и «Дежурство»,— куда он теперь уже тщательно записывает примечательные случаи из своей собственной практики и практики коллег-врачей. Немногочисленные, но яркие и выразительные записи студенческого дневника писателя также были использованы в книге. Так, например, весь эпизод из II главы, где студентам впервые приходится видеть полуобнаженную женщину, текстуально совпадает с дневниковой записью 3 февраля 1891 года, а рассуждения, открывающие IV главу, перекликаются с записями от 8 декабря 1890 года и 18 мая 1894 года. В «Воспоминаниях» В. Вересаев прямо свидетельствовал, что в «Записках врача» отразились его личные «впечатления от теоретического и практического знакомства с медициной, от врачебной практики». Но вместе с тем и подчеркивал: «Книга эта — не автобиография, много переживаний и действий приписано мною себе, тогда как я наблюдал их у других» (см. т. V).

Завершив работу над «Записками врача» к осени 1900 года, В. Вересаев первоначально намеревался напечатать их в народническом журнале «Русское богатство». Однако к этому времени отношения писателя с народниками настолько обострились, что он забирает рукопись из «Русского богатства» и публикует ее в «Мире божием» (подробнее см. об этом в т. V).

«Записки врача» имели «успех... небывалый». Они вызвали одобрение Л. Толстого. «Записки врача» «дали мне такую славу,— вспоминал В. Вересаев,— которой без них я никогда бы не имел и которой никогда не имели многие писатели, гораздо более меня одаренные». Вокруг книги разгорелись жаркие споры. В эти дискуссии включился и сам автор. В петербургской газете «Россия» (1901, № 941, 7/20 декабря) он напечатал небольшую заметку «Моим критикам (Письмо в редакцию)». Непосредственным поводом для письма явился опубликованный в газетах отчет о речи проф. Н. А. Вельяминова, произнесенной им на годовом собрании медико-хирургического общества и посвященной разбору «Записок врача». Речь профессора, как и большинство других критических выступлений в связи с «Записками врача», страдала, по мнению В. Вересаева, одним общим недостатком: все описанное в книге считали присущим лишь одному В. Вересаеву, а он-де «человек крайне легкомысленный, невдумчивый, сентиментальный, развратный, вырождающийся, обуянный самомнением, погрязший в «эгоизме» и т. п. Но при этом критик проходит полным молчанием тех,— может быть невольных,— моих союзников, свидетельства которых я привожу в своей книге,— отмечает В. Вересаев. Вересаев подчеркнул, что «с громадным интересом» читает все статьи о «Записках врача», готов исправлять книгу, освобождая ее от ошибок,— «но те возражения, которые мне до сих пор приходится встречать, лишь все больше утверждают меня в мнении, что я поступил вполне правильно, опубликовав свои «Записки врача»,— пишет он.

Реакционная пресса продолжала нападки на книгу. Видя в ней документ огромной обличительной силы, пресса пыталась изобразить дело так, будто «Записки врача» не отражают действительного положения вещей, а явились следствием «неврастенического копания» В Вересаева «в собственных ощущениях». Тогда писатель решил дать достойный и аргументированный отпор попыткам снизить общественную значимость книги. В 1902 году журнал «Мир божий» (№ 10) публикует его статью, названную автором так, как вначале было названо предисловие к первому изданию: «По поводу «Записок врача», с подзаголовком: «Ответ моим критикам». В 1903 году в Петербурге эта статья, значительно дополненная, вышла отдельной бро-

шюрой. О характере дебатов вокруг «Записок врача» можно судить и по воспоминаниям В. Вересаева (см. «Записки врача», т. V).

В. Вересаев отстаивал и пропагандировал свою точку зрения не только путем споров с критиками-оппонентами. В 1903 году в Москве он выпускает со своим предисловием и в собственном переводе работу немецкого д-ра Альберта Молля «Врачебная этика. Обязанности врача во всех проявлениях его деятельности» — книгу, в известной мере перекликающуюся с «Записками врача». В том же году В. Вересаев ведет переговоры об участии в «Сборнике рассказов и очерков об условиях жизни и деятельности фельдшеров, фельдшериц и акушерок..» (Рукописный отдел Государственной библиотеки имени В. И. Ленина).

Несмотря на нападки известной части критики, «Записки врача» неизменно пользовались огромным читательским спросом, одно издание за другим расхватывалось моментально. При жизни писателя они выходили четырнадцать раз, не считая журнальной публикации; широко издавались «Записки врача» и за границей.

После опубликования «Записок врача» работа В. Вересаева над их текстом в основном сводилась к небольшой стилистической правке, а также сокращению примеров и аргументации в тех случаях, где тот или иной тезис казался и без того доказанным. Так, в главе II выброшены рассуждения о том, что нехватка больных, которые согласились бы стать материалом для «изучения», приводит к увеличению количества бесплатных мест в клиниках, мест для бедняков. А бедняки протестуют против превращения их в учебные экспонаты. Одно из требований берлинской стачки рабочих касс в 1893 году сводилось к следующему: «...больным должна быть предоставлена полная свобода соглашаться или не соглашаться на пользование ими для целей преподавания». Снята заключительная часть главы III, где приводятся факты схоластического характера обучения на медицинских факультетах: «Знания требовались громадные и по крайней мере три четверти из них представляли совершенно ненужный балласт, который по сдаче экзамена немедленно выбрасывался из памяти»; например, «нужно было знать все химические реакции на атропин,— реакции, из которых сами мы не проделали ни одной... Такая чисто школьная постановка дела превращала экзамены в уродливую и очень неумную комедию; вместо действительных знаний, которыми должен обладать всякий врач, на экзаменах требуется невообразимая мешанина, помнить которую возможно только до экзаменов».

В начале главы V сокращены рассуждения о чудовищной эксплуатации врачей городскими властями и такой разительный факт: «У нас же в 1894 году в петербургской думе одним из гласных было внесено предложение совсем уничтожить жалованье

больничным врачам, так как всегда найдется достаточно врачей и даровых. «Врачи,— заявил он,— должны быть уж и тому рады, что их допускают в больницы...»

Всего сравнительно с первой публикацией В. Вересаев в дальнейшем сократил около трех десятков таких примеров.

На склоне лет, в годы, когда многие вопросы, поставленные «Записками врача», были давно разрешены советской действительностью, В. Вересаев решил создать новый вариант книги. В 1936 году издательство «Советский писатель» в Москве выпустило «Записки врача» со следующим предисловием писателя.

«Предисловие к четырнадцатому изданию

Прошло тридцать лет с того времени, как предлагаемые записки врача были впервые опубликованы. За этот промежуток произошли огромные изменения как в достижениях врачебной науки, так и в общих условиях деятельности врача в нашей стране. Познание жизни здорового и больного организма продвинулось неизмеримо вперед, горизонты врачебной науки значительно расширились. С другой стороны, то, о чем в прежние времена можно было только мечтать как о далеком будущем, стало теперь наличным фактом: в первую очередь как главная задача медицины встало предупреждение болезней; изменившиеся общественные условия дают врачебной науке возможность не довольствоваться при лечении болезней паллиативами, а устранять самые причины, вызывающие болезнь.

Однако многие из вопросов, затронутых в «Записках», не потеряли своего значения и в настоящее время. Есть ряд положений, в которых между врачом и больным происходят непрекращающиеся недоразумения; предъявляются к медицине требования, которых она еще долго не в состоянии будет удовлетворить; не определены в достаточной мере границы дозволительных опытов на живых людях; подготовка молодых врачей к самостоятельной практической деятельности все еще оставляет желать многого, что выразительно было подчеркнуто в недавнем постановлении Совнаркома. Молодые люди, избирая врачебную профессию, не имеют и отдаленного представления о характере будущей своей деятельности и о качествах, требующихся от врача. Герой моих записок,— конечно, человек, не годящийся во врачи. Но таких много. Я знаю немало случаев, когда начинающий, прочитав мои «Записки», отказался от намерения стать врачом. И хорошо сделал. И знаю другие случаи, когда именно чтение моей книги утвердило начинающего в решении избрать профессию врача. У такого — есть то, что нужно для врача.

Я рассказываю в своей книге о различных этапах, через которые проходил мой герой в своем отношении к медицине,— о пережитом им

«нигилизме полузнайки», о тяжелых сомнениях и разочарованиях во врачебной науке, обманувшей его ожидания, и о конечном приходе к убеждению в могучей силе науки и к горячей вере в нее. В давней полемике с критиками «Записок врача» мне уже доведось отметить одно курьезное обстоятельство. Пишет о моей книге не врач,— и он совершенно правильно ориентируется в этих этапах, через которые молодой врач приходит к убеждению в полезности и силе врачебной науки. Пишет врач,— и в паническом профессиональном испуге он выхватывает из моей книги отдельные выражения, обсуждает, как сможет понять их «неподготовленный читатель», и твердит о подрыве мною веры в медицину. То же повторяется и теперь. Еще совсем недавно харьковский профессор В. Коган-Ясный, рассказав в газете о двух случаях излечения тяжелых болезней, закончил свою статейку нелепейшим воззванием: «Сожгите вашу книгу отчаяния, товарищ Вересаев!» Не вижу основания к производству подобной операции, потому что никакого отчаяния не испытываю, и могу только посоветовать профессору пообъективнее читать книги, обрекаемые на сожжение.

В предлагаемом издании книга моя значительно сокращена. Выкинут целый ряд глав, для настоящего времени потерявших значение. Я оставил, однако, главу, трактующую о частной практике врача. Проклятый рубль, непрестанно шелестевший в прежнее время между врачом и больным, в настоящее время все больше отходит в область темного прошлого. Но пусть современный читатель знает, какие уродливые для обеих сторон отношения создавал этот рубль.

Москва,
20 мая 1935 г.»

В издании 1936 года автором были сняты главы II, XV, XX, XXI, а в главах VII, VIII, X, XIX произведены сокращения. Причем в основном выбрасывались публицистические куски, что еще больше придало «Запискам врача» характер повести.

В самые последние годы жизни В. Вересаев несколько изменил свое отношение к «Запискам врача». В воспоминаниях, написанных во второй половине тридцатых годов, он заметил: «Не люблю я этой моей книги. Она написана вяло, неврастенично, плаксиво и в конце концов просто плохо. Я не отказываюсь ни от чего, что там писал, все это нужно было написать, но можно было выразить мужественнее. И лучше» («Записки врача», т. V). Эта оценка явно несправедлива, но любопытна как образец исключительной требовательности к себе писателя.

В настоящем собрании сочинений «Записки врача» печатаются по последнему прижизненному изданию полного текста книги: В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. II, изд. т-во «Недра», М., 1929.

Ю. Бабушкин

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1887—1900

В. Вересаев. *Ю. Бабушкин* 3

Загадка 44
Порыв 48
Товарищи 71
Без дороги 79
Поветрие 158
На мертвой дороге 179
Прекрасная Елена 192
Лизар 198
В сухом тумане 205
К спеху 215
Ребята 219
Ванька 229
На эстраде 237

Записки врача 244
«По поводу «Записок врача» 424

Примечания 460

В. ВЕРЕСАЕВ

Собрание сочинений
в 5 томах. Том I.

Иллюстрации художника
П. Я. Караченцова

Оформление художника
В. Левинсона

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 29/XII 1960 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 12. Заказ № 2965. Форм. бум. 84 × 108 1/32. Бум. л. 7,5. Печ. л. 24,6 + 5 вклеек (0,31 печ. л.) Уч.-изд. л. 28,89. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, улица «Правды», 24